



НИЖНИЙ  
НОВГОРОД

ISSN 2313-836X

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ

2014-2024

10

ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЫПУСК

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ

НИЖНИЙ  
НОВГОРОД

2014-2024

10

ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЫПУСК



«КНИГИ»  
НИЖНИЙ НОВГОРОД  
2024

## СОДЕРЖАНИЕ

СЛОВО ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА . . . . .	5
<i>Проза</i>	
<b>Анна АНДРОНОВА</b> ОХОТНИКИ НА ПРИВАЛЕ . . . . .	6
<b>Осип БЕС</b> ВОРОБУШЕК . . . . .	23
<b>Дмитрий БИРМАН</b> ЮБИЛЕЙ . . . . .	40
<b>Владимир ГОФМАН</b> ПОСЛЕДНИЙ ЛЁД . . . . .	43
<b>Ирина ДРУЖАЕВА</b> ЛАРИОНОВА ОБИТЕЛЬ. . . . .	48
<b>Геннадий ЁМКИН</b> ЛИЛИИ БЕЛОСНЕЖНЫЕ . . . . .	58
<b>Николай ИВАНОВ</b> АРТЁМ ВОЕВОДА – БОЕЦ РЕСПУБЛИКИ . . . . .	63
<b>Андрей ИУДИН</b> НЕЗАБЫТЫЙ . . . . .	75
<b>Павел КРУСАНОВ</b> ПАСТОРАЛЬ . . . . .	84
<b>Дмитрий ЛАГУТИН</b> ПАР . . . . .	109
<b>Павел ЛАПТЕВ</b> КАМЕНЬ. . . . .	120
<b>Денис ЛИПАТОВ</b> ДЖИНА . . . . .	124
<b>Александр ЛОМТЕВ</b> ХРОНИКИ УХОДЯЩИХ ВРЕМЁН . . . . .	129
<b>Александр ЛУШИН</b> МУХА БЛЯХА . . . . .	132
<b>Олег МАКОША</b> ТЕТЯ МОТЯ . . . . .	136
БУДЬ МНЕ СЕСТРОЙ . . . . .	138
<b>Михаил ПЕСИН</b> И В МОЛОДЫЕ НАШИ ЛЕТЫ... . . . .	140
<b>Олег РЯБОВ</b> НА КРАЮ ЗЕМЛИ . . . . .	161
ХОЧУ В СЕМЬЮ . . . . .	165
<b>Николай СВЕЧИН</b> В ЧЕЧЕНСКИХ ГОРАХ . . . . .	178
<b>Владимир СЕДОВ</b> «РУССКИЙ КЛУБ». Фрагмент романа . . . . .	191
<b>Роман СЕНЧИН</b> ШУТКА . . . . .	204
<b>Михаил ТАРКОВСКИЙ</b> СКВОРЕЧНИК . . . . .	212

## Поэзия

<b>Владимир АЛЕЙНИКОВ</b>	
И ВО ВСЕ НЕ О ТАКОМ...	223
<b>Владимир БЕЗДЕНЕЖНЫХ</b>	
А КТО СКАЗАЛ, БУДТО ЖИЗНЬ ЛЕГКА?..	228
<b>Александр БОБРОВ</b>	
СМЯГЧАЮЩИЙ СВЕТ	231
<b>Глеб ГОРБОВСКИЙ</b>	
ПОКЛОН ВОЛГЕ	236
<b>Игорь ГРАЧ</b>	
ДОНБАССКОЕ ИНФЕРНО	246
<b>Анна ДОЛГАРЕВА</b>	
О ВОЙНЕ И ЛЮБВИ	253
<b>Максим ЗАМШЕВ</b>	
ПОЛЮБИТЬ БЫ ТАК, ЧТОБ УВИДЕТЬ БОГА...	262
<b>Олег ЗАХАРОВ</b>	
КОНТРОЛЬНАЯ РИФМА В ВИСОК	267
<b>Геннадий ИВАНОВ</b>	
ТЫ НУЖЕН ЗДЕСЬ И РОДИНЕ, И ЧЕСТИ	272
<b>Людмила КАЛИНИНА</b>	
ЯСНАЯ ДОРОГА ВПЕРЕДИ	277
<b>Игорь КАРАУЛОВ</b>	
НАМ РОССИЯ – БОЛЬШАЯ, НА ВЫРОСТ...	282
<b>Надежда КНЯЗЕВА</b>	
ОН В ТЕБЕ РАЗГЛЯДЕЛ СВЕТ...	289
<b>Ксения КРУТИНА</b>	
ГОРОД, ВИДИМЫЙ В СНОВИДЕНЬЕ	295
<b>Елена КРЮКОВА</b>	
ТЕРМИНАЛ. Фрагменты	296
Из новой книги стихотворений «ИРКУТСКИЙ РЫНОК»	303
<b>Юрий КУБЛАНОВСКИЙ</b>	
ДОНБАССКИЙ ТРИПТИХ	306
<b>Дмитрий ЛАРИОНОВ</b>	
ОСТАНЕШЬСЯ С СОБОЙ НАЕДИНЕ...	309
<b>Марина КУДИМОВА</b>	
И РИФМА РЯБИНЫ, И ПАМЯТЬ МАРИНЫ...	313
<b>Марина КУЛАКОВА</b>	
СТРОЮ ДОМ	316
<b>Юрий НЕМЦОВ</b>	
НОЧЬ ДАЖЕ ЛЕТОМ СЛУЧАЕТСЯ КАЖДЫЙ ДЕНЬ...	318
<b>Александр ОРЛОВ</b>	
ДОЧЕНЬКА	323
<b>Алексей ОСТУДИН</b>	
ИЗ МОДЕМА ВЫГНАЛИ АДАМА...	324
<b>Николай РАЧКОВ</b>	
МЫ РОДИНЫ СВОЕЙ НЕ ЗАМЕЧАЕМ...	330
<b>Евгения РИЦ</b>	
А ЛИСТ ПОДНИМАЛСЯ ДО НЕБА, А ПОСЛЕ СПУСКАЛСЯ НА НЕБО...	335

<b>Юрий РЯШЕНЦЕВ</b>	
Я ВСЕ ИСПЫТАЛ: И УПАДОК, И ДЕРЗКИЙ ПОДЪЕМ....	338
<b>Евгений СЕМИЧЕВ</b>	
В ДУШЕ МОЕЙ СНЕЖНАЯ ТЬМА....	342
<b>Николай СИМОНОВ</b>	
ЧТО ДЛЯ ШТАТОВ ХОРОШО...	348
<b>Юрий УВАРОВ</b>	
ЗАМОРОЗКИ	352
<b>Маргарита ФИНЮКОВА</b>	
ПЕРЕЛЁТ-ТРАВА.	353
<b>Игорь ЧУРДАЛЕВ</b>	
...ОТКРЫЛСЯ СВЕТ, ПРИНЯВ МЕНЯ НАЗАД	354
<b>Евгений ЭРАСТОВ</b>	
ДУШОЮ БОЖЬИ, А ТЕЛОМ – КНЯЖЬИ...	361

### *Публицистика*

<b>Павел БАСИНСКИЙ</b>	
АННА – ДОЧЬ ПУШКИНА	368
<b>Валерия БЕЛОНОГОВА</b>	
ЛЕГЕНДА О ГАМЕЛЬНСКОМ КРЫСОЛОВЕ	373
<b>Николай БЕНЕДИКТОВ</b>	
ИМЯ РОССИИ	378
<b>Нина ЗВЕРЕВА</b>	
«ПИСЬМА БЛОКА?!. ВЫ ТРОГАЛИ ИХ РУКАМИ?!».	388
<b>Игорь ЗОЛОТУССКИЙ</b>	
ПЕРВЫЙ ПОЭТ НАЧАЛА ХХ ВЕКА	397
<b>Алексей ИВАНОВ, Юлия ЗАЙЦЕВА</b>	
ДЕБРИ. Фрагменты	411
<b>Ярослав КАУРОВ</b>	
ГОРОД СЧАСТЬЕ. Глава из очерка «Юродивый нашего времени».	419
<b>Владислав ОТРОШЕНКО</b>	
ПОСЛЕДНЕЕ ОЗАРЕНИЕ ПУШКИНА.	430
<b>Захар ПРИЛЕПИН</b>	
ЕСЕНИН. ОБЕЩАЯ ВСТРЕЧУ ВПЕРЕДИ. Фрагменты книги	441
<b>Андрей РУДАЛЕВ</b>	
ПОБЕДИТЬ. Василий Белов в дни российской спецоперации	451
<b>Николай ФОРТУНАТОВ</b>	
НЕЧАЯННАЯ СЛАВА. Жизнь и труды Павла Ивановича Мельникова – Андрея Печерского (фрагменты)	456
<b>Александр ЦИРУЛЬНИКОВ</b>	
ЗНАМЯ ПОБЕДЫ: БЫЛЬ И НЕБЫЛИЦЫ	475
<b>Михаил ЧИЖОВ</b>	
«ЕГО ЖИЗНЬ НЕЛЬЗЯ БЫЛО ОТДЕЛИТЬ ОТ ЕГО КНИГ» К 120-летию со дня рождения Аркадия Гайдара (1904–1941)	498

---

## СЛОВО ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

*10 лет – это безусловный юбилей!*

*В конце 2013 года случилось первое всероссийское литературное собрание, созванное по инициативе нашего президента, – я там представлял нижегородское писательское сообщество. Вернувшись домой, пришлось доложить о нашей работе на этом собрании в областном министерстве культуры, и немедленно руководством министерства было принято решение о возрождении журнала «Нижний Новгород».*

*«У нас появился свой дом!» – заметил радостно в те дни Захар Прилепин. Это не просто фигура речи: мало кто представляет, что публикация в толстом литературном журнале – важный элемент творчества писателя. И Пушкин в 1814 году, и Достоевский в 1844-м, и Солженицын, и Бродский, уже в XX веке, начинали свой путь в бессмертие с журнальных публикаций.*

*Необычная, строго продуманная система финансирования журнала областным правительством в виде закупки всего тиража (800 экземпляров) через областную библиотеку имени Ленина для дальнейшего распределения в публичные библиотеки области и города, сделало его визитной карточкой для нижегородских писателей, которые часто выступают на этих площадках. Тридцать процентов всего объема журнала отданы писателям-землякам. Надо добавить, что печатные экземпляры журнала бесплатно рассылаются и в ряд крупнейших библиотек страны.*

*У журнала имеется свой сайт со значительной и постоянно растущей аудиторией – его посетили за десять лет порядка ста тысяч человек.*

*Более 700 писателей-авторов отметились за эти годы на наших страницах.*

*В 2020 году литературно-художественный журнал «Нижний Новгород» был награждён золотым дипломом Славянского форума искусств «Золотой Витязь» за повышение престижа и значимости литературного творчества. Журнал уже может гордиться новыми, нами открытыми именами молодых авторов, которые крепко заявили о себе и, надеюсь, станут будущим нашей литературы. А потому ещё и надеюсь, что это не последний юбилей, который отметит наш журнал «Нижний Новгород».*

*В этом специальном юбилейном выпуске журнала представлена подборка наиболее ярких и запомнившихся членам редколлегии публикаций за минувшие десять лет.*

*Олег РЯБОВ,  
член Союза писателей России*

**Анна АНДРОНОВА**

*Нижний Новгород*

(№ 6, 2017)

## ОХОТНИКИ НА ПРИВАЛЕ

– А на той неделе что за баба была? – спрашивает молодой на койке слева, Байкеев. – Ну, врачиха? – И для верности показывает руками силуэт «врачихи» – рисует ладонями крупные сходящиеся и расходящиеся волны.

– Так та в отпуск ушла, – откликаются койка справа, – она до-олго у нас была, тебя-то в пятницу перевели, а мы уж по неделе чалимся.

Новый врач – Анастасия Васильевна, Настя, – кафедральный сотрудник. У неё силуэт не очень убедительный, достаточно обозначить ладонями две параллельные линии на небольшом расстоянии. Говорит складно и ловко, как по книге, но тихо. Улыбается редко и уж больно худа – щупленькая и голенастая, как птенец. На затылке хвост застегнут пластмассовой заколкой. Зовут её в палате за глаза, конечно, Настенькой и уверены, что она только из студенток вышла. Первый раз вообще приняли за санитарку. «Дочка, мне бы утку принести...» Она покраснела, замаялась на минуту, потом уже представилась по всей форме: «Я ваш новый доктор». И до сих пор Настя краснеет, стоит только дверь в палату открыта, она вообще легко краснеет и притворяться умеет плохо – все на лице написано. А мужики не унимаются: «Вы на практике? Помощница?» Смеются, шуточки отпускают. Настя их от беспомощности строжит, старается разговаривать коротко, сухо, сыплет научными терминами. Получается плохо.

Зато лечить получается хорошо. На самом деле Насте уже тридцать пять и она далеко не студентка – десять лет стажа. За это время чего только не навидалась и тут, в кардиологии, и вообще. Родила дочь, с мужем развелась. Прожили вместе пять лет зачем-то, по инерции. Зато Марусе уже три года. Настина мама срочно вышла на пенсию, сидеть с внучкой, чтобы дочь могла защититься на местной кафедре и спокойно работать. Зарабатывать. Надо добывать, пахать и кормить семью. У Насти ставка в отделении, ставка на кафедре, частный центр по субботам. Несмотря на то что выглядит Настя как восьмиклассница, её выносливости может позавидовать любая лошадь. А мужики в десятой палате никак не начнут принимать её всерьез!

Палата по коридору как раз последняя, дальше только санитарская, судномойка и душ, а напротив – служебный туалет. С тех пор как палату приняла, Настя в туалет почти не ходит. Дверь в десятой постоянно открыта, и каждый из четырех внимательно следит, как она копают-



ся тугим ключом в скважине. Иногда здороваются или, того хуже, выходят спросить что-нибудь. Мнутя в тесном тут коридорчике, будто дожидаются нарочно, когда откроется дверь и обнажится бежевое кафельное нутро служебной кабинки, рулон мягкой двухслойной бумаги, которую покупают вскладчину, и махровое полотенчику у раковины, с такой домашней, даже интимной, петелькой для крючка. Словом, зрелище совершенно не для посторонних. Настя вообще не из тех, кто и в знакомой компании открыто заявляет о своих физиологических потребностях, а уж с абсолютно чужими, с пациентами – тем более. Настя уверена, что с ними надо держать дистанцию, никаких шуток и улыбок, никакой фамильярности, никаких вопросов: «А вы замужем, Анастасия Васильевна?» Это совершенно лишнее.

Две её женские палаты у самого входа в отделение. И с женщинами вообще Насте спокойнее и проще. Они её зовут «дочкой», подкармливают частенько то яблочком, то апельсином, то шоколадкой. Пихают в карманы. Неудобно, конечно, но не драться же с ними? А с мужиками у Насти и здесь, и в жизни вечно одно расстройство. Этот «заезд» особенно. Первый принятый Настей из реанимации в эту палату сразу умер. Ночью в её же дежурство захрипел, потерял сознание, неуспешная реанимация. Разрыв миокарда. Дальше перевели – тоже с обширным инфарктом – Павленко, сгрузили к окошку на левую койку. Пеструхин и Великанов достались от предыдущего врача. В пятницу во второй половине дня, перед самыми выходными, положили Байкеева сорока трех лет, с тяжелым сосудистым поражением, после клинической смерти, из реанимации перевели. Полный комплект.

Дед Павленко у окна, или, как он говорит, «Павленка» – носит очки на широкой белой резинке. Она завязана грязными узелками вокруг расшатанных пластмассовых дужек. Снятые и брошенные на кровать, очки напоминают большое расплющенное насекомое с разъехавшимися лапами. Такая же, как на очках, белая резинка выглядывает спереди из его растянутых и выцветших черных трико. Она настолько старая, что составляющие её каркас тонкие эластичные нити размахрились, и края пошли оборкой. Взгляд у Павленки дикий, вытаращенный. Редкие волосы на голове всегда в беспорядке. Казенного вида тапки на два размера велики. Майка, наоборот, маловата. Дед постоянно поет, читает стихи, пишет что-то на больших белых листах. Говорит много и бурно без существенных, продолжая понятную только ему мысль. Когда у него болит сердце – обижается на всех и ложится, отвернувшись к стене. В хорошем настроении много звонит по телефону и так же громко и бессвязно объясняет что-то разным собеседникам. Телефон у него огромный, допотопный, размерами и формой напоминающий мьльницу, обернут мутным полиэтиленом и заклеен скотчем. Павленка – член какой-то то ли секты, то ли общины, о чем со слезами на глазах Насте сообщила его дочь. Она приходит всегда тайно, с дедом они не разговаривают, в ссоре. Дочь подкладывает в холодильник в коридоре свежие продукты. Надписывает пакет, чтобы не перепутал. Забирает оттуда же пустые судки. Находит Настю и плачет. Дочь в таких же, как у папы очках, только с целыми дужками и тоже вытаращенная. В розовой кофточке с рюшами, с крашеными кудрями на макушке, примятыми жесткой норковой шляпой. Слезы её, чувствовала Настя, все-таки связаны с тяжелой болезнью папы, а не с тем, что все свое имущество – дом и квартиру покойной жены – он, видимо, сдал в секту. В деловые разговоры он не вступает, злится. «Захомутали! – всхлипывает дочь. – Целыми днями поет с ними,



дом забросил, да и, видно, на них переписал уже... Как мама умерла... А скажите, доктор, надежда-то есть у нас? Очень плохо?» С моленья Павленку и привезли, он там сознание потерял в духоте.

– В первом автопарке я бы ни за какие коврижки работать не стал, блин, – горячится с утра Великанов. – У нас и кормежка, и обслуживание. Если, к примеру, ты на маршруте поломался – все. Сиди, кури, жди, когда приедут. Запчасти обеспечат. А в первом, слышь, самим, блин, приходится. И работают там кто? Слышь – чурки одни...

– Да ладно, – задорит его Байкеев, – у тебя социальный автобус, пенсионеры, и ездите вы медленно, чему там ломаться-то?

– А куда торопиться, блин, куда гнать? Машины все, конечно, бэушные, но добротные, немецкие.

– А ты на каком работаешь? – подключается Павленка.

– На сто шестнадцатом, от Дола езжу до машзавода. Разворачиваюсь и обратно...

– О! – радуется Байкеев. – Так мы там, у завода, на лед заходим! Там тропа всегда есть. И ехать быстро с этой стороны, от центра, сразу через мост и налево. Там ещё парковаться удобно у автосервиса, где конечная маршруток.

– Эти, маршрутисты, блин! Накануне как раз выруливаю первый круг, и тут этот, блин, особо резвый...

– Туда бы сейчас, на лед, на реку, – Байкеев мечтательно поворачивается к окну. С шестого этажа видны только утыканые антеннами белые крыши, кусочек городского парка с сонными липами, зеленый жестяной скат и шпиль угловой башни кремля. За ними вниз под гору, начинается набережная и Река.

– Куда?

– Мы, бывало, выйдем, затемно, конечно...

Раньше уезжали за сто, за двести километров, на водохранилище или на залив большой компанией. Покойный тесть был сумасшедший рыбак и заразил, ни одного выходного не пропускали. Сначала на «Жигулях» его, потом сам «Ниву» купил. «Хонду». Теперь на «Тойоте». Только далеко не получается. Времени до обеда – только до места добрел, лунок насверлил – а ехать уже надо. Жена Людмила у Байкеева сильно пила и жила отдельно. На нем осталась дочь Анюта десяти и сын Витя – пяти лет. В молодости Люда была веселая и яркая. Чернобровая, высокая, фигуристая. Одевалась нарядно, сама шила. Никакой косметики ей не надо было – брови, ресницы, волос целая копна – все своё, натуральное. Любила гостей, застоля, песни. Гостей часто принимали – раз в неделю звали кого-то. Детей долго не было, и Людмила просто вела дом, работала, угощала и угощалась сама. Совсем круто пить стала уже после Вити. Появились подруги странные, приходили с утра с пивом или слегка навеселе. В субботу с неизменной бутылкой шампанского. Сам Байкеев в будние дни с работы приходил поздно, а в субботу всегда уезжал на рыбалку. Тот год, когда жена окончательно спилась, фирма Байкеева получила большой контракт, просто из сил выбивались – оснащали кондиционерами огромный торговый центр, заново построенный. Одни нервы. Бывало, что и за полночь он с объекта возвращался, валился сразу в постель. Каждый день Людмила была пьяна и в компании. «У нас гости!» При его появлении эти «гости» на неверных ногах расплозились по домам. Посуда валялась в раковине невытая, грязное белье кучей на полу у стиральной машины. Анюта с Витей ложились сами, еду уносили в комнату. Орал телевизор. Людмила вскоре уволилась, чтоб не уво-

лили за прогулы. Лечиться не хотела. Раз пять он ей вызывал трезвилку по объявлению. Сколько раз сам выхаживал – не сосчитать.

У Байкеева с детства в голове был простой, но верный план устройства. Жена – красавица. Дети. Сына – папина надежда, и дочь – чтоб на жену похожа. Чтобы дом – полная чаша. Холодильник там, телевизор. Шашлыки с друзьями на природе. Баня. Летом – на море всей семьей. Когда красивая статная Людмила превратилась в пьяную опухшую бабу, неряшливую и сутулую, кухня заросла грязью, а нормальные друзья в дом ходить перестали, Байкеев сначала растерялся и обиделся. Все будто вокруг разрушилось, расшаталось. Давняя мечта обернулась обратной своей стороной, будто в насмешку. За что? Ребятишкам за что? Обижался Байкеев недолго, а в очередной запой, выпроваживая после трудного рабочего дня жениных собутыльников, он впал в ярость и выгнал всех, вместе с Людмилой. Она с удовольствием поселилась в бывшей родительской однокомнатной квартире на Заречке. Звонила редко, только если он забывал перечислить деньги на карточку. Тут она выныривала из ниоткуда, могла и приехать. Дети её побаивались, Байкеев им был и отец, и мать, и нянька. На рыбалку его отпускала теща, сидела она с детьми и сейчас, но была недовольна – пришлось взять административный отпуск.

– Сядем в машину, по первой дернем. Сперва, конечно, чай, бутерброды там, хлеб. У кого чего. Я кофе беру, у меня термос большой двухлитровый.

За руль обычно сажали не берущего в рот ни грамма Толю Чижова, главного кореша, ещё с политеха, и многодетного отца трех дочерей. Он не пил категорически и, самое главное, не завидовал. Редко, когда он не мог вырваться, тогда Байкеев вел сам, а «отогревался» уже дома, после руля.

Утро вторника не задалось. Маруся забыла куклу и долго редела в садике, не хотела раздеваться, не отпускала. Настя опоздала на утреннюю конференцию, и начмед стыдила её при всех, как студентку. Половина выписной справки в компьютере пропала, потому что Настя забыла вовремя сохранить. В довершение всех бед пришел сын умершего на той неделе пациента. Полный бледный мужчина лет пятидесяти, с растрепанными, давно не стриженными сивыми волосами, блеклыми глазами навывкате. Он мялся, нервничал, три раза назвал ее Анастасией Семенной вместо Васильевны, хотя Настя его три раза спокойно и доброжелательно поправила. Он тер одной рукой другую, теребил и разглаживал уже изрядно помятый на животе синтетический свитер, переступал ногами.

– Я бы хотел, э-э-э... сходить в палату, где ну... где умер отец.

– Не знаю, удобно ли, там все-таки другие большие лежат, – сомневалась Настя, – и на той кровати тоже. Все с инфарктами, тяжелые. Приятно ли им будет? Они же лечатся.

Умирали в отделении не так чтобы ежедневно, но часто. И правило негласное существовало – вновь прибывшим не сообщать, на какую койку они легли. Зачем? Всякие бывали случаи на Настиной памяти, когда новенькие вообще отказывались лежать, домой убежали, когда им хуже становилось. Некоторые скандалили, требовали в другую палату перевести. Эти дополнительные трудности никому не были нужны.

– Понимаете, – сын, на минуту остановившись, принялся снова наматывать свитер на пальцы рук, выкручивая их то вправо, то влево, – мы десять лет не виделись. Я в другом городе давно живу, мы переехали.

Я, э-э-э, работаю там. И мы, и мы... В общем, мы встретились, а у него инфаркт. Его сюда. В реанимацию не пускают, а тут и... то есть к вам наверх перевезли, а ночью – звонок, – он отдышался и приготовился рассказывать дальше.

Дальше Настя знала. Больной с самого начала был так тяжел, что и те трое суток, что он прожил в реанимации, были чудом.

– Пойдемте со мной, – сказала она, – ненадолго. Койка слева перед дверью. Только давайте не будем волновать больных. Я прошу...

В палате смеялись, громко, дружно, на все голоса. Крякал и присвистывал Павленка, ему вторил близко у двери Пеструхин, рядом с ним глубоко бухал, закашлявшись, Великанов – три дня как бросил курить. Басил Байкеев. Сын покойного остановился как вкопанный, посмотрел на Настю с удивлением – куда привела? Настя же сама была не рада, что уступила. Вечная эта её манера – не перечить. Она прислушалась.

– Это ладно, а вот у нас как-то...

– Нет, подожди, это ты заливаешь – пятнадцать килограмм! Ты её что, на канате тащишь?

– Сейчас скажет, что это у неё только хвост пятнадцать!

– И глаза, глаза... Во-от такие! – снова заржали.

Настя толкнула дверь, и они вошли. Мужики сидели вчетвером на кроватях у окна. Они мгновенно прыгнули на свои места, замолчали и дружно устали на посетителей. «Как дети», – подумала Настя. Также ребята в группе затихали и поворачивали головы, стоило только открыть дверь кому-нибудь из родителей. С высоты взрослого роста видны только удивленные глаза – голубые, серые, карие. Сын покойного впился взглядом в левую койку, скручивая свитер в жгут и пытаясь запахнуть его под брючный ремень. Закашлялся Великанов. Вскочил и отошел к тумбочке Байкеев. Догадался. Настя замялась у двери, чувствуя, как загораются щеки, и не зная, что сказать. Тут только что было весело, и весело некстати, совсем не так, как представлялось, наверное, сыну покойного. И не так, как хотелось Насте – соответственно тяжести заболевания и остроте момента – скорбного и напряженного.

Постояли. Настя молча рассматривала стену над койкой.

– Ну всё. Пойдемте. Пойдемте же! – заторопила она сына. Он закивал послушно, хотел было спросить что-то, но передумал.

– Почему они смеются, над чем? – сын еле поспеивал за бегущей по коридору Настей.

– Не знаю. Просто говорили о чем-то своем. Ну, не над нами... не над вами же, – поправила Настя, – они смеются!

– Нам в справке написали «инфаркт миокарда», – сын не отставал и явно планировал ещё с ней разговаривать, оглядываясь, где бы лучше встать, поэтому теснил Настю к стене у сестринского поста, успевая при этом что-то поправлять и оглаживать в своем костюме. Хотя непохоже было, что он чем-то недоволен или не согласен с диагнозом. Может быть, ему было просто больше не с кем поговорить об умершем внезапно отце?

– Да, мы тоже вашему папе... то есть мы ему то же поставили. У него и был инфаркт, он с ним в реанимацию поступил, с болью, с плохой электрокардиограммой. И сначала он там, на первом этаже, лечился. Получил экстренную помощь. В полном объеме, – на всякий случай Настя постаралась быть официальной, – тромболитический ему провели, то есть растворили тромб. Болевой синдром купировали. Он был стабилен.

– А у этих? – не слушал сын. – У них тоже, вы сказали, инфаркт?

– Ну-у да. И у них, – вынуждена была согласиться Настя.

– Почему же тогда?

Он просто не хотел уходить. И не мог понять, почему сейчас в палате, где умер его отец – «обширный передний трансмуральный инфаркт миокарда, истинный разрыв сердца», правильный Настин диагноз, – почему им так весело?

– Они что, э-э-э, не могут, ну... так же, как отец?

Конечно, Настя могла бы сейчас объяснить, что у Павленки такой же в точности инфаркт, обширный, опасный. Великанову, несмотря на сделанную в первые сутки операцию, придется уходить на инвалидность – в автобус его уже не посадят. А учитывая, в каком состоянии его почки, плюс тяжелый бронхит курильщика, словом, ничего хорошего. Пеструхин вроде бы лучше, но он от хирургического вмешательства отказался. Дальше – непредсказуемое будущее. А Байкеев вообще ожидает перевода в кардиохирургический центр. Ему надо шунты пришивать, так все плохо. Но нельзя же прийти на обход в палату и с порога заявить – не смейтесь, мол, больше, вы можете умереть в любой момент! Настя вздохнула.

– Если у вас еще есть конкретные вопросы, мы можем пройти в кабинет к заведующему, затребовать историю.

Нет, история ему была не нужна.

– Я просто тут ещё постою немного и пойду. Спасибо вам, Алевтина Васильевна.

– Анастасия...

– Да пойми ты, дед, дело же не в наживке, а в самой мормышке! – горячится Байкеев. Наживка вообще не нужна. А фокус в том, чтобы так ею играть, ну, дергать, чтобы рыба захотела её заглотать. Понял?

– Дурят честного судака, как лоха последнего, – опять рассмеялся Великанов.

– Как же не в наживке, на что ж она пойдет, рыба-то? – удивляется Павленка.

– Так дергать её надо, Михалыч, понимаешь? – Бфйкеев для верности ещё показал рукой как. Это движение было ему знакомо, привычно и явно доставило удовольствие. – И у каждого своя метода, свой секрет. Лунок-то навертеть любой дурак может – ходи да крути, а самый азарт потом начинается. И кто как привык. Я, например, с колонок ловлю, у меня пенка под колени специальная приспособлена. Толик с ящика – сидя. А Мишка ещё у нас, тоже приятель мой, он – на корточках возится. Ноги только устают. Сначала буром крутишь – руки, а потом так и этак корячишься. Не знаешь, как сесть удобнее. Штаны-то толстенные.

– И как не мерзнете вы? – подает голос Пеструхин. Ему сегодня плоховато было с самого утра. Два раза под язык прыскал, медсестра приходила мерить давление.

– Ну, тут у нас полный порядок. Экипировка – будьте спокойны, какой хочешь мороз выдержит. Это тебе не прошлый век, когда в тулупах сидели. У тестя моего такой был, офицерский. Все плечи к концу рыбалки отмотает, такая тяга.

– Да, – подтверждает Великанов, – сейчас технологии, блин, синтетика. Только летом-то лучше. Мы с дочками, пока они маленькие были, на лодку сядем, бывало, и на простую удочку. Я сам делал. Все, как их,

грузила, поплавки, как положено. Поплавки им нравилось чтоб красные, поярче. Червячка, и в воду. Утро, тишина, природа!..

– Да где ж природа – комары одни!

– Нет, подожди, Валер, – не унимается Павленка, – как же без наживки? Это ты мудришь чего-то. Вот у нас в деревне, да. На червя. Самых жирных всегда у навоза копали. И на горох ещё, кашу такую варили густую. На плитке. Это на донку когда. Хлебцем маленько прикормишь её и знай таскай. Колокольчик звенит, а ты таскай! Места только надо знать.

– Нет, Михалыч, не нужен горох никакой...

Поначалу они были в ссоре. Пока не привезли из реанимации мрачного Байкеева, Павленка в палате разливался соловьем. Читал стихи, вооружившись своими раритетными очками, пел псалмы и хаял правительство, поминая ежеминутно всех предыдущих правителей от Сталина до Ельцина. При них все было у Павленки хорошо – порядок был. Сильная армия. Дешевые продукты. Главное, жена была жива и они бесплатно ездили в санаторий, в Евпаторию. При Горбачеве Павленке особенно радостна была борьба с алкоголиками, за которых всегда горячо вступался завязавший много лет назад Великанов. Пеструхин в дискуссиях не участвовал, спасался наушниками – у него было маленькое радио. Деваться им друг от друга было некуда, гулять по коридору пока запрещено, палата маленькая. Павленка и по палате с трудом передвигается на костылях, отвык, пока в реанимации находился на строгом постельном режиме. Коленные суставы у него сильно деформированы артрозом, большие, бугристые. Из них косо внутрь торчат хилые бледные голени. Он с утра ковлял к раковине умываться и бриться, а потом уже устраивался крепко на койке, раскладывая вокруг свои бумаги, телефон, буклеты с песнями и газеты. Байкеев же в первый день обозначил: «Дед, о политике ни слова, мне волноваться нельзя, понял?» Павленка обиделся и притих. Пару дней дулся и ворчал, но потом помирились. Байкеев деда в самое сердце поразил своими нарядами – белым спортивным костюмом из атласной пижонской ткани и алыми шортами. Олимпийка туговата, молния с трудом сходится на плотном животе, зато в расстегнутом вороте хорошо виден здоровенный золотой крест на толстой цепи. Видно, за эту толщину и тяжесть золота Павленка Валеру Байкеева сильно зауважал. Только все удивлялся, как такой молодой, а уже тут, с ними в одной палате. И при таких средствах на общих основаниях больничный супец хлебает?

На ночь Павленка снимает трико и спит, как есть в «семейках» и майке. Пеструхин педантично переодевается в полосатую пижаму. Великанов – просто в трусах и укрывается только простыней – ему жарко. А Байкеев надевает для сна темно-синюю футболку со сложной не нашему написанной фразой на спине. По утру, когда Валера в свою очередь бреется у раковины, дед Павленка вооружается очками, привстает на костылях и пытается эту надпись постичь. Спрашивать перевода пока не решается.

Не дай бог заговорить с Павленкой о коленях. Это вызывает реакцию бурную и непредсказуемую, а главное, его не остановишь потом. Его мечта – операция на суставах, и год назад он наконец-то, со слов дочери, дождался квоты и очереди, сдал анализы и лег в ортопедический центр на протезирование. Сначала должны были поменять один сустав, а в течение года – второй. Через неделю его выписали – подлечить сердце. То ли действительно были плохие кардиограммы, Павлен-



ка рассказывал, что каждый день снимали, то ли не было подходящих протезов. Но остался он без операции.

– Что, больно? – неосторожно спросила Настя, когда Павленка при осмотре задел непослушной ногой тумбочку и поморщился.

– Позвонят, они сказали, вызовут. Как же! Ищи ветра в поле! А суставы мои небось загнали уже за доллары. Дорогие, это, как их, мне сосед по палате говорил – импортные!

– Да что вы, куда загнали, Павленко! Это ж квота!

– Знаем мы квоты ихние, все распродали, разворовали! Взятки только берут, врачи, называется! Снимали, снимали пленки эти, тьфу, кардиограммы! Бабенка какая-то приходила, глядела, мордой трясла, руками разводила. Плохие, что ли?

– Это терапевт, наверное, – успела вставить Настя.

– Одна шайка! Ритмия, говорят, и все. Подлечить, ага. А глаза неприятные такие, и все щурит. И хирург этот, башка, как у лошади. Один раз зашел только и пальцем ткнул. Даже не посмотрел по-хорошему. Снимки велел переделывать, облучили всего, как кролика подопытного. То им легкие надо просветить, то ноги. А сам уж, продал небось налево, ноги-то мои! Тьфу!

– А кардиограммы у вас не сохранились, аритмия какая там была, не помните? Мерцательная? – озабоченно спросила Настя.

– Да я сжег все дома.

– .?!

– Ага, в печке. Ну его. И снимки выбросил, а то они воняют, когда горят. Всю карточку и бумаги – на хрен в огонь! Мы вам позво-оним, – он изобразил, видимо, хирурга с «лошадиной головой», – как же! Я им специально телефон дал со старой квартиры, от жены осталась в народной стройке. Там не живет никто и не плотим. Что? Съели? Пусть поищут теперь Вадим Михалыча, побегают за ним! Что-то не звонят, поганцы, загнали суставы мои и жируют!

– Господи, зачем вы телефон-то неработающий дали! Как они вам дозвонятся?

– А я о чем? Год уж прошел, а никто не чешется...

В любом случае на операцию сейчас Павленке путь заказан. А вероятнее всего, вообще заказан. Если он этот инфаркт переживет, непонятно, как дальше ему.

– Давайте чуть-чуть по палате до окна ходить, хорошо? А то вообще ничего у вас сгибаться не будет. И упражнения, зарядка. Только лежа и сидя – согнули чуть-чуть и разогнули.

– Вот и этот у них тоже – сгибай, говорит. А шарниры мои новые налево...

Рентген назначен и кашляющему Великанову, Пеструхину – капельницу. Кардиограмма плохая, но от операции он, как и раньше, отказывается. Заведующий с утра пораньше позвонил жене, вызвал на беседу. Она обещала подъехать. Настя движется сегодня против часовой стрелки. Следующий на обходе – Байкеев.

– Вставайте и раздевайтесь, мне нужно вас послушать как следует.

Настя красная, как помидор, стоит и покорно ждет, пока огромный Байкеев расстегнет и стянет свою узкую олимпийку, выпутается из рукавов. Бедный, бедный. Такой большой, сильный мужчина и такой несчастный, растерянный, как ребенок. Нет, строго приказывает себе Настя, только не жалеть, не думать – кто он ей? Очередной больной. Точка. Настина макушка находится на уровне байкеевского чудовищного

креста. Сердце её бухает, кажется, прямо в багровые щеки. Бух, бух! А его под стетоскопом вторит – бух! Бух-бух! Тонкая мембрана шуршит по густо заросшей широченной груди, под левым соском, как раз на уровне неритмично скачущей верхушки сердца, – старая синяя татуировка: «А (II) Rh (+)». Группа крови распространенная, написанное на груди Настя уже подтвердила в лаборатории. Мускулатура впечатляющая. Ключицы толщиной с её плечевую кость. Аритмия.

– Монитор надо ставить, – вслух говорит Настя, – кардиограмму за сутки смотреть. Поворачивайтесь.

Байкеев замер, почти не дышит.

– Доктор, а может, вы посмотрите эту, мою, как её – коронографию...

– Коронаро.

– Вот. Её! Может, не надо меня резать, а? Может, так? Подлечить ещё. Капельницы, хоть по три в день, а?

Прикосновение Настиных крошечных холодных пальцев внушает ему ужас. Он потеет от страха и неловкости. Большой, несуразный и неповоротливый, затянутый в белую скользкую материю. Он задерживает дыхание, втягивает, насколько может, круглый, непонятно откуда взявшийся живот. Ждет.

Станный он, этот Байкеев. Сначала выписаться хотел, просился домой. У меня, говорит, дети одни. Оказалось, что он – одинокий отец. Куда жена делась, Настя постеснялась спросить. В тумбочке дешевые сигареты, вчера клялся, что с реанимации ни одной не выкурил. Звонит он только приятелям или по работе. Ругает каких-то техников, прикрывая рукой трубку, прямо на обходе. Потом, правда, всегда извиняется. На слово «родственники» пожимает плечами. Лицо у него мясистое, некрасивое. Нос картошкой, большие щеки, квадратный заросший подбородок, спутанные темно-русые волосы. Крест этот. Глаза смешно и очень близко посажены, зеленые, тоскливые собачьи глаза.

– А, доктор? Ведь сейчас не болит уже ничего?

У Насти глаза серые в коричневую разномастную крапинку, как кушечье яйцо. Уголок рта чуть испачкан красным – на завтрак ела творог с малиновым вареньем. Ростом она чуть выше дочки Анюты, а в бедрах даже уже. Если бы Байкеев решился, он бы поднял её сейчас под мышки, оторвал от пола, чтобы её пестрые глаза оказались на уровне его. Вблизи она постарше, чем кажется. Качает головой.

– Нет, Байкеев. У вас выхода другого нет. Мы же уже сто раз разговаривали.

Ну да, разговаривали. И заведующий отделением так же говорил. Сказал, что он ещё не самый молодой на такую операцию. «Анастасия Васильевна – опытный врач. Вы не думайте, вы ей верьте». Он верит, поворачивается, обливаясь потом, усердно дышит, как она велит. Вдох, выдох. По бокам просто течет, неудобно, стыдно. В палате душно, жарят батареи. Мнительный Пеструхин не позволяет открывать окно, только щелку на микропроветривание. Где ж тут не потеть.

– Все, одевайтесь. Перевод ваш мы на понедельник планируем. Место уже дали в кардиоцентре.

К ужасу своему, он видит, как Настя украдкой вытирает кругляш стетоскопа о полу халата. Кошмар! Выхода нет.

– А вот скажи, Валер, – не отстает Павленка, как только за Настей закрылась дверь, – и хищную рыбу на такую удочку без наживки? Или её на спиннинг?



Байкеев не отвечает, он улегся на койку, уставился в поток. Руки у него заложены за голову, и раскинутые локти заходят за края матраса с обеих сторон.

– У нас в деревне раньше таких щук ловили, ай-ай! Говорят, прям с лодку размером, с плоскодонку. У нас там речушка Пестырь, вроде узенькая, но глыбкая, с омутами. Там и ловили таких огромных. А потом, как подпрудили речку-то, заболотили все. И не стало их. Зато утки поселились.

– Утка – дело хорошее, – вступает Пеструхин. Он аккуратно расправил простыню, взбил подушку, встряхнул одеяло. Приготовил очки и книгу – сейчас ему принесут капать. – На утку с собакой надо. У меня знаете, моя какая, Вестка? Вымуштрованная, как солдат. В любую воду за уткой кинется. И несет аккуратно, не прикусывает. Такую помощницу поискать, сколько раз продать просили, свои же, охотники. Я – ни за что! Столько лет учил, столько тренировал. Без собаки на болоте куда? Ну, пальнешь, а дальше? Тут все важно, мелочей нет, тут наука целая. На лету утку добыть – это вам не рыбок из воды дергать. Будешь в тушку целиться, когда она летит, всю дробь зря изведешь. Пока заряд летит, утка тоже на месте не стоит, она вперед чешет что есть сил. Поэтому рассчитать надо – не в тушку целиться, а как будто в воздух впереди неё. Тогда только попадешь. Это, брат, только с опытом приходит. А потом уже собаку запускаешь. Я вот, к примеру...

– Ну так чё, Валер? Щуку-то такую крупную тоже без наживки? – перебивает его Павленка.

«Большая щука невкусная, – грустно думает Байкеев, рассматривая сероватый в трещинах, давно не беленный потолок, – мясо волокнистое, тиною воняет. И сама, видать, помирать собралась, раз такая громадная зверюга на блесну купилась».

– А у нас в деревне в войну вообще любого зверя били, любую птицу. Лишь бы съесть... – не дождавшись ответа, со вздохом продолжает Павленка.

Ночью Байкеев сопит и возится на узкой кровати. Сна нет. Страшно хочется курить. Великанов на расстоянии руки храпит, как черт последний. Всхрюкивает и рычит.

– Андреич, Андреич! Ну повернись ты на бок, что ли, задолбал уже!

Великанов вопросительно хрюкает и поворачивается. В груди у него раздуваются и шуршат невидимые меха. На боку он сразу откашливается мокро и смачно, приподнявшись на руке, сплевывает в банку, приготовленную под кроватью. Снова укладывается. На некоторое время все стихает. Павленка перестает бормотать и чесаться, Пеструхин посвистывать носом. На минутку Валере кажется, что Пеструхин совсем затих. Не дышит? Лежит на спине в своей глупой полосатой пижаме. Ровненько поперек груди закрытый одеялом. Руки вдоль туловища. Обширная кудрявая борода доходит до кармашка пижамной куртки. Кажется, она не двигается. Байкееву он напоминает комический персонаж из киножурналов советской юности – желтая борода, круглая шевелюра, речь такая правильная, и сам весь он как председатель ЖЭКа или профкома. Основательный, но бесполезный – зубы в стакане, туалетная бумага на полочке, мыло в мыльнице.

– Эй, эй! Как там тебя?

Подойти страшно, да и не хочется других будить. Нет, дышит, дышит Пеструхин. И даже как будто рукой шевельнул. Свет уличных

фонарей сюда почти не доходит, высоко. Темно, тихо. Все спят. Байкеев тоже засыпает, наконец, и снится ему темная тропа в снегу, Мишкины лохматые серые валенки с калошами и камуфляжные толстые штаны, плотно натянутые на голенища. «Хрум-хрум», – утаптывали тропу валенки. Мишка шел первый, тропка была старая, нехоженная, ноги у него изредка проваливались глубоко в снег, и Байкеев старался ставить свои «хаски» сорок шестого размера не в след, а рядом, чтобы сзади идущему Толику было полегче. Толик из них троих всегда был самый хилый и тощий. Быстро уставал. Пока добирались до своего места по льду, пару раз садился отдохнуть, хотя никогда в жизни не курил и не пил вина. В тот день Байкеев чувствовал, что ему, как Толику, надо бы присесть и размотать душащий колючий шарф. Расстегнуть куртку.

Накануне он притащился домой часов в десять, устал как последний пес. Теща по телефону уже шипела и плевалась ядом – в доме еды ни грамма, уроки не учены, унитаза не чищен. Старая песня. Байкеев её давно научился пропускать мимо, но за продуктами в ночной супермаркет заехать пришлось. Плюхнулся на кухне без сил, спасибо, Анютка сразу кинулась разбирать пакеты. Где-то, то ли в спине, между лопатками, то ли в груди по самому центру, как будто положили уголек. Байкеев поел гретых макарон с сосиской, выпил чаю. Теща хоть и бранилась, но ужин свято соблюдала. Внука уложила сытым, внучке проверила русский. Уже у выхода посетовала, что три раза переписывали упражнение. Не было сил встать и запереть за ней дверь, заглянуть, как там Витька – спит уже. Анютка сама вымыла тарелку, сама принесла ему пепельницу, расставила в коридоре обувь, снесенную в кучу волной бабушкиного недовольства. Хорошая жена кому-то будет. Старательная, заботливая. Не похожа она на Людмилу, на него похожа – крепкая, основательная. Серьезная девочка. Анюта присела рядом на краешек стула, прижалась.

«Доченька моя, умница...» – он погладил теплую спину, гладкую аккуратную головку, туго заплетенную косу. С удивлением отметил, что рука дрожит. После сигареты, впервые за день выкуренной в тепле и покое, а не на бегу, и второй чашки крепкого чая стало полегче. Отпустило, и он быстро заснул, радуясь, что очередная гнусная и суматошная неделя закончилась. Завтра была суббота и рыбалка.

В шесть утра в кромешной темноте он старательно топал за Мишкой по занесенной за ночь тропе. Они взяли слишком далеко вправо, к самому мосту. Слишком долго шли, слишком долго разгребали толстый снег и сверлили при бледном свете голубоватой иллюминации монастыря на той стороне Реки. Рыбы не было. Ломило левую руку. Часам к семи посерело, из темноты вдалеке вырос мост. Верхняя его кромка, как гирляндой на крыше, была обозначена вереницей движущихся фар. Начинаясь заречная утренняя пробка. Полвосьмого, ещё в сумерках, вдруг ртутно заблестела стеклянная стена завода на высоком левом берегу. Чуть спустя из-за одинаковых оранжево-белых кубиков микрорайона, глубоко вошедших в Реку на излучине, показалось, наконец, холодное розовое солнце. Отметилось на всех окнах в округе, часам к десяти пожелтело и стало даже пригревать над головой, а к одиннадцати, когда все они втроем уже устали от его нестерпимого снежного блеска, закрылось тучами. Стало ветрено, ещё похолодало. Байкеев к этому времени совершенно уже выбился из сил. Хотелось откинуться назад, улечься прямо на снег. Закрывать глаза. Его как-то знобило, лоб под шапкой был холодный и

влажный. Остывший в термосе кофе не лез в горло, предложенная Мишкой традиционная фляжка (он хуже семилетнего коньяка или серьезной «Белой лошади» никогда не наливал) почему-то вызывала тошноту. Курить было больно, дым жег и царапал внутри, кружилась голова. «Грипп, наверное, начинается, ребят бы дома не заразить», – думал Байкеев. Проклятая рыба делась куда-то. Мелочь Толик побросал себе, даже показывать не стал. Коту. Наконец, двинулись обратно. И тут уже Байкеев стал просто помирать. Ноги не шли, ящик казался неподъемной тягой, ремень давил на плечо, и никак было не решить, как его легче повесить. Уголек за грудиной разгорелся и припекал по-настоящему, не давал дышать. «Точно, грипп». На стоянке машин Байкеев неожиданно потерял сознание, грохнувшись лицом в сугроб. Мишка с Толиком, которые ушли далеко вперед и уже складывали шмотки в багажник, сначала даже не увидели, что случилось. Не поняли. Он и сам не понял, очнувшись, подумал, что ужасно глупо так вот споткнуться, и опять отключился. Прилетевшая в считанные минуты «Скорая» привезла его по месту происшествия в дежурную терапию. Там его прямо с колес закатили в реанимацию и в диагностическую операционную, а через несколько часов он уже знал, что у него инфаркт, что сделать сейчас ничего уже нельзя и что в связи с изменениями во всех сосудах сердца надо делать большую серьезную операцию. Позже и не здесь.

Он не поверил, конечно. В первый же день перевода в отделение, вот в этой палате, решил, что жизнь его не кончена, надо бороться. Надо собраться и разозлиться опять как следует, чтобы вернуть покосившийся каркас жизни в прежнее устойчивое положение. «Мужик ты или нет?» – подтвердил по телефону Мишка. Байкеев побрился, надел свежую майку, присланную тещей, и отправился в подвал курить. До лифта он вроде бы дотопал без потерь. Спустился. Курильщики толпились внизу у открытой морозной двери, весело выдыхали дым, галдели. Пустили его поближе к воздуху, «подышать». Байкеев прикурил, пару раз затянулся и опять потерял сознание. Очнулся в коридоре своего этажа на каталке. Рядом шагала маленькая тощенькая барышня в белом халате. Увидев, что он открыл глаза, барышня взялась цыплячьей лапкой за его запястье, густо покраснела и, заикаясь, представилась: «Я в-ваш лечащий врач, Анастасия Васильевна. Курить вам сейчас нельзя...»

Все утро следующего дня Пеструхин пробыл в героях. С пяти утра ему вызывали дежурного врача – снова побелело сердце. Кололи и капали. Потом пришла Настя. Потом заведующий один. Потом опять вместе с Настей, и ещё раз с женой Пеструхина – низенькой плотной бабушкой с рябым улыбающимся личиком-репкой. Пеструхины выступали единым фронтом – против операции. Заведующий сердился и пугал. Настя чуть не плакала от бессилия. «Умрет, умрет ведь!» И слово это, сказанное жене в кабинете, не помогло. В обычный обход Настя пошла перед самым обедом. Пеструхина ещё была в палате, расставляла на тумбочке плоски с домашней едой, пирожки и хлеб, завернутый в салфетку. Как ни в чем не бывало. Винегрет, куриные котлетки. Настя сердито и молча слушала больных, мерила давление, что-то себе записывала в блокнотик. У Пеструхина сто двадцать на семьдесят, нормальное.

– Как у космонавта, – нервно смеется Пеструхин.

– Нет, – сухо, без улыбки замечает Настя, – *вам* в космос нельзя.

– Страшно в космосе-то лететь, а? В ракете-то там болтаться. А ну как чего? – подхватывает Павленка. Напряженная обстановка его угнетает.

Настя вспомнила, как давно когда-то, в институте, ходила на лекцию-встречу с космонавтом. Фамилия его из памяти стерлась, но кое-какие моменты остались. Он довольно живо и интересно рассказывал о полетах, показывал красивые слайды и фотографии. Потом его спросили именно об этом – не страшно ли ему было? «Ну, вы знаете, мы ведь всегда были заняты делом. Время заполнено, некогда рассуждать». Потом он немного замялся и продолжил: «Если не думать, что тебя от безвоздушной бескрайней черноты отделяет только тоненькая обшивка корабля...»

– Страшно, не страшно, а работу делать надо, – в тему подтвердила Пеструхина, – я на кран пришла работать молоденькой девчонкой, мне девятнадцать лет было. В ученицы. Моя крановщица на верхотуре песни пела, бутерброды ела и вообще себя как на земле вела. А я только вскарабкаюсь, у неё за спиной за спинку сиденья ухвачусь – мамочки родные! Снимите меня отсюда! Мой, хозяин (Пеструхин неодобрительно качает головой – это он), я уж замужем была, говорит, мол, уходи, Татьяна, что, работы другой нет? А мне стыдно, я комсомолка, а на крану работать не могу? Это ж и медведя, вон, мы ходили, в цирке выучили под гармонь поворачиваться, а я не смогу?

– И чего?

– И привыкла! Сорок лет проработала. Все можно перенести, ко всему привыкнуть!

– Что ж вы операцию не хотите делать? – громко спрашивает Настя и сразу краснеет. Байкеев следит за ней сбоку, он знает уже, что она обязательно вспыхнет щеками, что бы ни сказала.

– Операцию нет. Это мы не согласные. Это тебе не кран, не машина. Это в организм шланги засовывать надо.

– Боже мой, какие шланги!? Это катетер тоненький, мы же все объясняли, рассказывали.

– Операцию мы не будем, – Пеструхины тверды. Он уже потирает грудь рукой, пора брызгать под язык лекарство. Жена поглаживает его по плечу. Единодушны.

Целый день ему плохо, душно, больно. Открывали окно. Сестрички закатали в палату баллон с кислородом, Пеструхин периодически дышит через маску. Жена уехала домой, ухаживает за соседом Великанов. Он самый ходячий, кроме того, ему смертельно хочется курить, хоть на стены бросайся. Газеты все перечитаны, разговоры заглохли. Скука. Великанов принес обед, посадил на подушки повыше, крикнул санитарку. Пока ждали – подал утку сам.

– Да ладно, блин, какие церемонии.

Пеструхин похлебал бульончика, поковырял домашнюю котлетку с винегретом. Ему лучше, отпускает потихоньку.

– А вы... а ты на охоту ездешь? На уток охотишься?

– Ну да. И на уток, и на другую птицу. На зайца. Я же говорю. Собака у меня, Вестка. Вот мою сейчас наругал, хозяйку. Гуляют мало, ленятся. Внучку не заставишь, а ей ходить надо, собаке. Бегать. Утром час и вечером. Мясо я ей всегда на рынке беру. Щеки там или обрезь. Но запарить надо кипятком, а то у неё несварение бывает. Она уж в годах у меня, восемь лет.

– А перья, перья с утки ты куда деваешь? – спрашивает самое интересное Павленка.

– Смотри какая утка. Да и выкидываем. Крылышко есть у хозяйки моей от селезня – пыль вытирать. Зеленое такое с переливами. А так что? Отход – перья.

– Да-а, – осуждающе качает головой Павленка, – ну а готовит кто? Утку-то? Сам?

– Почему сам? – обижается Пеструхин. – Жена готовит. И жарит, и парит. И в морозильник кладем. Бывало, что и гуся дикого добывали, в духовке делала. Вкусно.

– И что, с каждой охоты с уловом? То есть с добычей? – интересуется Байкеев.

– Ну, можно сказать, что и с каждой. Вот один раз, – Пеструхин улыбается своему воспоминанию, потягивается ногами в кровати. Боль совсем отпустила, можно увезти кислородный баллон – мешает разговору, стоит по самой середине палаты, загораживает слушателей. Пеструхин охотничьи байки любит, но рассказывает их не как анекдоты, а обстоятельно, не торопясь. – Один раз, помню, заехали далеко. Машина застряла у нас, один товарищ пошел в поселок лебедку искать...

– А машина-то какая?

– УАЗ старый. Как сейчас говорят – внедорожник. Но сели крепко, по самый борт с одной стороны. Вещи все вытащили, ну и вот. Чего я говорил?

– За лебедкой товарищ пошел, – Байкеев немного оживился – про машины он любил.

– Да. Вещи, значит, вытащили, а я думаю, дай, думаю, пройдусь болотцем. Все же мы за уткой поехали. А осень была, красота – дух захватывает. Там такие перелески, листья желтые, клены и поле, значит, сжатое. А вот так, – Пеструхин показал наглядно, согнув пододеяльник у себя на коленях в один из перелесков, разгладив посередине, – вот и поле, – ближе к животу примял, – а тут, значит, болотце такое и осинки низенькие, молодые. Травища! Ну ни одной птицы. Вестка все обошла, обнюхала – пусто. Ну, думаю, тут сядем, посидим, к машине не хотелось идти, на лужу опять смотреть. Сел, чайк у меня в термосе, на пояс прицеплен. А ружье в руке держу, заряжено на всякий пожарный. Да. О чем это я?

– Сели вы с собакой... – напоминает Байкеев, кивая на мятое «болотце» на пододеяльнике.

– И да. Трава, сноп такой, кочка под деревом. Так-то пожухлая вся вокруг, а под деревом – зеленый ещё куст, осока не осока, бог её знает. А ружье, значит, в руке.

Обстановка нагнеталась, чувствовалось, что развязка близко.

– Ну-ну? – нетерпеливо подгоняет Павленка.

– Я ногой вот так вот траву прижимаю, – Пеструхин прижимает ногой пододеяльник, все замерли, смотрят на «кочку», Великанов встал со своей койки и облокотился о спинку пеструхинской, – а ружье в руке. И тут из-под ноги у меня как выскочит! Скок! Я – раз! Бах его!

Пеструхин прицеливается куда-то в пол и бьет.

– Кого бах-то? – уточняет Байкеев.

– Да заяц, представляете? Здоровенный русачина такой! Он осенью как раз ложится. Крепко лежит. В траве, под кустами, на полянках таких. На него пока не наступишь, не шелохнется. И я его, значит, утиной дробью – бах!

– И все? – разочарованно отходит Великанов.

– Ну, напугал, черт... – Павленка потирает грудь.



– Лес-то сырой, – оправдывается Пеструхин, – а сесть надо было, чайку выпить. Я и решил на кочку на эту.

– Ну а собака, подожди-ка ! Собака-то твоя куда глядела? Чего она нюхала?

– Так ты знаешь, заяц какой хитрющий зверь? Он лежит и не дышит, так прячется!

– И не пахнет?

После ужина Пеструхина спустили в реанимацию. На этот раз приступ был тяжелее, чем раньше. Ни капельница, ни уколы не помогали. Кислородная маска его душила, лицо было серое, мокрое, дыхание клокотало, как в чайнике. «Отек легких», – сказал жене по телефону молодой бородатый врач-реаниматолог. Кажется, это он неделю назад принимал Байкеева. Когда суета стихла, пришла санитарка тетя Даша, протерла спинку кровати тряпкой, вещи Пеструхина из тумбочки собрала в пакет, поменяла белье. Перестелила все быстро и ловко, подушку в свежей наволочке поставила в центре уголком, как в пионерском лагере. Кислородный баллон укатали ещё раньше, как будто и не было тут никакой суматохи, никаких уколов и разговоров, и вообще, никакого Пеструхина.

– Так он чего? Того? – испугался Великанов.

– Чего «того»? – грозно обернулась тетя Даша. – Положено перестелить!

– Он что, не вернется сюда, в эту палату? – осторожно уточнил Байкеев.

– Вернется, вернется, – заученно забубнила санитарка, – подлечат его там и привезут. И вещи, если что, вернем, все обратно застелим, разложим...

После её ухода делается совсем тоскливо и темно. Тихо. За закрытой дверью не громыхают швабрами, не течет вода в туалете, не подвываёт служебный лифт. Рабочий день у дневной смены давно закончился, ужин разнесли, пол в коридоре вымыли. У соседей за стенкой бормочет телевизор. Великанов подумывает, не пойти ли туда посмотреть очередную серию про бандитов.

– Ну а ты чего, Андреич, молчишь? Сам-то охотишься? Или как?

– Да я больше по грибы сейчас, знаешь, блин, с корзиной, по лесу. Я не стреляю.

Великанов худой, жилистый, сутулый, с впалым животом. Лицо узкое, скуластое, с крупным носом, зато глаза хорошие – настоящего голубого цвета. К нему ходит симпатичная моложавая женщина в беретке и две такие же голубоглазые девочки-школьницы с одинаковыми косичками. Они садятся на кровать рядышком, прижимаются, каждая со своего бока. Жена аккуратно пристраивается на стуле напротив. Разговаривают они всегда шёпотом, тихонько хихикают. Мать одергивает дочек, если они слишком громко смеются. Перед уходом они все-таки виснут у него на шее, а жена, коротко обернувшись, целует в запавшую серую щеку. Весь по плечам, спине и груди Великанов разрисован татуировками. В отличие от загадочной надписи на футболке Байкеева эти узоры дед Павленка в первый же день внимательно изучил. Никаких загадок – сидел, резал вены дважды на правой руке, потому что левша. Над ключицей – следы ножевого ранения. Всякое было.

Он тоже помнил свой мокрый осенний лес, ружья, сваленные в углу деревенской избы с низким потолком, рыжую суетливую собаку. При-

ехали охотиться на кабана. Два дня выпивали с хозяевами избы – семейной парой. Бабенка-хозяйка совсем молодая, но беззубая и пьяная, а мужик её вообще лежал на диване и «мама» сказать не мог. Пол к утру леденел, печь дымила. Пили самогон и ждали кого-то, кто по-настоящему разбирается в кабанах и отведет на место. Великанов на охоту отродясь не ходил, поехал за компанию, причем компания была не близкая, так – знакомые знакомых. Наконец из города прибыл специалист по кабанам в дорогой кожаной куртке – Колпаков В.Н. Привез хорошего чая, сала, шпрот и болгарских сигарет, пообещал, что знает здесь каждую кабанью тропу. В какое-то утро рано, с тяжелыми мутными головами, они растолкали вечно спящего хозяина. Тот откуда-то привел лошадь и подвез их на телеге километра три вглубь леса. Точно было мокро везде – и трава, и большие желтые липовые листья на дороге, с ладонь размером. Притащились куда-то на старую, заросшую тропу, довольно широкую. Сзади было место открытое, вроде поляны, с мелкими молодыми деревцами. Впереди – пригорок и редкая березовая рощица. Место это долго снилось потом Великанову – белые тонкие стволы, низкие кривые елки между ними, белесая жухлая трава по пояс. Надо было стоять тихо и ждать, не сходя с места, пока другая группа – двое мучимых похмельем загонщиков – не спугнет в их сторону кабана. Представлялось, что он будет, вероятно, один. Колпаков В.Н. жестами показал, что надо спрятаться и не разговаривать, держать ружье наготове. Ещё показал что-то руками, непонятное, и исчез за березками. Сколько Великанов там промаялся, он вспомнить не мог. Курить было нельзя, шевелиться тоже. В глазах рябило от листьев, в голове гудело, во рту пересохло. И спать вдруг захотелось смертельно. Когда на пригорке за стволами кто-то громко завозился и захрустел ветками, Великанов радостно вскинулся из полудремы и выстрелил не целясь. Грохнул ещё один выстрел и ещё сбоку. Кажется, их было три или четыре. Стреляли все. Никаких кабанов не было, Колпаков В.Н. был убит наповал выстрелом в грудь. Как выяснилось позже, из ружья Великанова, хотя он, убей бог, не мог вспомнить, которое было его из брошенных в суматохе на траву. Алкашей – хозяев избышки – еще до приезда ментов сдуло как ветром. Возвращались все, включая мертвого Колпакова, на той же телеге, но возница уже был при погонах. Вероятно, лошадь в этих местах была одна на все случаи жизни.

Во время суда Великанов узнал от адвоката, что есть такие слухи. То есть поговаривают, проверяют версию. Словом, подозревают, что Колпакова замочил один из «охотников», как раз нарочно, потому что он много лет утешал колпаковскую жену, а теперь, наконец, получил право утешать её легально в доставшейся от покойника трехкомнатной квартире, в его «Волге» и на кирпичной даче с гаражом и баней. Дальше слухов дело не пошло, неумышленная вина Великанова была полностью доказана, плюс отягчающее состояние опьянения. Великанова отправили в колонию, потом на поселение на семь лет. Все эти годы, что бы ни происходило, он мечтал найти на воле настоящего убийцу и свернуть ему шею. Боялся только, что плохо его помнит, может не узнать. Вышел, пил и завязывал, ещё раз попал по глупости в то же учреждение на два года. Вышел и очень удачно устроился грузчиком в пекарню, встретил Верочку, женился, родил двух девочек одну за другой. Прошло лет пятнадцать с того дня или больше, все вроде бы забылось, а десять дней назад за рулем обгоняющей по встрече маршрутки он увидел того самого стрелка.



Верхний свет так и не зажгли, неохота было вставать. Павленка включил ночную лампу над своей кроватью, читает что-то, записывает. Диктует себе, шелестит, пищит телефоном. Байкееву из-за спины его не видно, только слышно этот шелест и шёпот. Заснуть бы, что ли. До понедельника ещё четыре дня. Выхода нет.

Усыпят наркозом, распилят грудину, остановят сердце. Потом вырежут вены с ноги и пришьют к сердечным сосудам, чтобы не болело больше. Зашьют и разбудят. Сердце должно сразу заработать. Вот это Байкеев понял из того, что долго и научно рассказывала ему Настя. Говорила она уверенно и складно, но по глазам, которые она старалась спрятать от него, было понятно – что-то знает другое. Может быть, плохое? Страшное? Он потрогал грудину под майкой – твердая. Поводил пальцами, развел в стороны руки, глубоко вздохнул. Где-то там внутри тупо и глухо тянуло. Ну и работка у людей! Какая там, интересно, пила – циркулярная? Байкеев пошевелил ногами. Болеть, наверное, будут, как у деда. Волосы сбреют или сам? А на груди? Он, заволновавшись вдруг, просунул руку под майку и поворошил свою жесткую растительность. Как же резать-то будут, если не сбрить? «Вы ей верьте, Байкеев, она опытный врач». Он и верит, что ещё остается?

– А я вот что помню, – неожиданно громко завел Павленка, задумчиво спустив очки на кончик носа и отложив стопку бумаг, – пацанами ещё мелкими были, так ходили в школу в соседнюю деревню, у нас не было своей. Километров восемь, ну шесть, если напрямик. Бывало, зимой бежим в темноте, душа в пятки уходит! Страшно. Ни фонарей, ничего не было. Это как раз перед войной. Бежим, значит, дорога еле видна, а в лесу, с боков-то, глаза такие блестят и тени. Волки, значит. Мы на дерево – раз! А они снизу ходят. Холодно. Ну, родня наша с работы придет – ага, нет учеников-то, не явились. И за нами с факелами, с ружьями по дороге. Так и снимали нас, разгоняли тварей этих. Часа по два, по три иной раз на дереве-то высидим, все задрогнем, затекет все – руки, ноги, а сидим! Только упади – сожрут!

– А чего так мучились-то, блин, Михалыч? – удивляется Великанов. И сразу хрипит, кашляет и сплевывает.

– К знаниям тянулись? – посмеивается Байкеев. За разговором как-то веселее. До понедельника надо дотянуть.

– Так голодно было, Валер, нас у мамки четверо. А в школе жрать давали. С колхозу бачки привозили с похлебкой и хлебца маленько или сухарей, чтоб не померли. Жрать очень хотелось, Валер, до сих пор помню, а чему учили – убей бог, забыл!

За дверью десятой палаты опять рассмеялись.

**Осип БЕС**

*Нижний Новгород*  
(№ 1, 2024)

## ВОРОБУШЕК

*Для Таси*

Когда твое такси скрылось из вида, я еще долго стоял на одном месте, глядя в ту точку, где автомобиль прощально моргнул мне габаритами. Затем поднял глаза, посмотрел в черное небо, посыпавшее город колючей снежной картечью, натянул капюшон, уже не волнуясь, что волосы паклей прилипнут ко лбу, и зашагал прочь без какого-либо временного маршрута.

Зима еще огрызалась последними метелями, но атаки ее захлебнулись, исчерпав боекомплект. Февраль, растеряв все снабжение, сегодня перевалил за свою середину. Несмотря на то что девушки на улицах еще прятали от снега и ветра букетики в этот насквозь коммерческий праздник, мобики в окопах месили уже совсем весеннюю грязь.

Все шло своим чередом. Кто-то сбежал из страны, кто-то мобилизовался и уехал на фронт, кто-то, как я, просто болтался без дела по городу, не зная, куда себя деть. Лента новостей полыхала невиданными сражениями ботов, бурлила проклятьями, зевала докладами и сообщениями о погибших и раненых, которые приходили теперь почти каждый день, одинаковые и скучные. Хорошо, что ты не читала такие новости, порой даже мне становилось от них тошно, я с удовольствием и сам бы их не читал.

Мы встретились пару лет назад, и, кроме той, первой встречи, у нас было еще несколько свиданий. Не знаю, что ты сама думала о них, но я определенно считал эти встречи свиданиями. А поскольку в последнее время мне не с кем стало разговаривать, делиться мыслями и происходящим вокруг, то я начал разговаривать с тобой, избрав для этого достаточно необычный способ. Наши встречи были настолько редкими, что я принялся обо всем рассказывать тебе мысленно, и с тех самых пор ты всегда находилась рядом со мной, пусть даже несколько виртуально.

В конце концов, у людей есть не только внешний, но и внутренний мир, так почему тебе не пожить в моем? Пусть в нем обитают не одни лишь мрачные призраки.

Тем временем война затягивалась. Быть позитивным и видеть вокруг только хорошее решительно не получалось. Но война контрастна, на фоне самых черных теней свет воспринимается ярче. В этом красота войны.

Однажды я обещал тебе доказать, что война бывает красивой. Тогда я не знал, что мое стремление забросит меня в самую ее столицу, в город, имя которого звучит чаще других из любого утюга, телевизора или

компьютера. В город, в котором, несмотря на обстрелы, распускаются цветы, а люди делят со мной последнюю банку консервов. А вокруг будет весна, и я буду курить на пустой, словно вымершей, простреленной насквозь улице, и только фонарь составит мне компанию.

В один прекрасный день мне позвонил мой донецкий товарищ по имени Денис и в ходе беседы, шутя, пригласил меня к себе в гости, а я, не придав значения своим словам, неожиданно для себя согласился.

«Серьезно приедешь?» – удивился Денис. «Почему нет?» – не менее удивленно подтвердил в ответ я.

Поразмыслив, я, конечно, пришел к выводу, что затея, мягко говоря, сомнительная, однако заднюю включать было уже поздно. Еще не хватало, чтобы меня посчитали трусом. Я вообще очень легко ведуся на такие предложения, от этого у меня куча проблем. Это называется «взять на понт». И я боюсь, что однажды кто-нибудь вынудит меня, например, спрыгнуть с крыши. То же самое касается и моих увлечений – дельтаплана, мотоцикла и сплавов на построенных из всякого хлама лодках, вопреки любым требованиям техники безопасности.

Однажды я отдыхал в Абхазии, и хозяйка домика, где мы с друзьями снимали комнату, действительно рекомендовала нам ни в коем случае не лазить по местным развалинам, так как они до сих пор заминированы. Но развалины были столь притягательны и живописны, что, вооружившись фотоаппаратом, я, конечно, туда пошел. Тогда обошлось. Обойдется ли в этот раз?

И вот в один мартовский вечер я, стоя на автовокзале нашего города и жуя пирожок, безразлично наблюдал за воробьем, который прыгал вокруг меня и что-то отчаянно чирикал.

Но это было позже. Сейчас же, возле такси, ты обняла меня на прощание и как-то очень наивно положила мне голову на грудь. Мне нестерпимо захотелось смахнуть ладонью колючий снег с твоих волос, но я этого не сделал. А еще я, неизвестно почему, прошептал про себя: «Воробушек». Не знаю, как такое сравнение пришло мне на ум. «Маленький, хрупкий, тебя защищать хочется! Всегда теперь буду тебя так называть». Но я опять ничего тебе не сказал, и ты уехала, а я остался стоять, глядя в черное небо.

\* \* \*

Эта поездка – еще одна из дурацких авантюр, в которые я влезаю с завидным постоянством. Я говорил тебе однажды, раздуваясь от важности, что нарочно ищу сложные жизненные маршруты, для того чтобы жизнь была интересней.

Это не так. Точнее, не совсем так. В действительности я с детства привык вначале делать, а потом уже думать, что неизменно приводило к самым непредсказуемым последствиям. Меньше всего хотелось бы рассказывать тебе про исключительность и «некаквсейность» своего характера, как это любят делать многие искатели адреналина. Мне одинаково противны как обыватели, так и их оппоненты, эти напыщенные псевдогерои.

Пробираться по колено в ледяной воде болота в непроходимом лесу, а потом месяцами доставать из земли чьи-то чужие кости – профессия археолога, которую я выбирал себе под стать, любимая, но не всегда приятная. Тащить, отдуваясь, в гору неуклюжую на земле конструкцию дельтаплана, чтобы несколько секунд повисеть под ним в воздухе, ри-

скую затем сломать себе в лучшем случае ногу, – игра, не стоящая свеч. А рокот и фыркание мотоцикла – это всего лишь эхо несбывшейся детской мечты, помноженной на банальные условия городского трафика.

В общем и целом, мои «странствия и приключения» – это всего-навсего следствия необдуманных поступков. Но, безусловно, в таком образе жизни имеются и свои плюсы, мне не придется выдавливать из себя сюжеты для будущих книг.

Шофер посигналил, воробей улетел, я доел пирожок и полез в салон микроавтобуса, который должен был доставить меня в столицу, где мне надлежало пересесть на автобус уже до Донецка.

«Почти тридцать часов на заднице, с одной пересадкой и короткими перекурами, – прикинул я в уме, – сомнительное удовольствие».

Я осмотрелся. В салоне кроме меня находилось несколько вездесущих узбеков, дремал мужик пролетарского вида и две девочки-нимфетки громко обсуждали ролики в интернете.

Сейчас дверь микроавтобуса закроется, и время потечет совсем в другом ритме, а все эти люди и многие другие, встретившиеся мне позже в пути, превратятся в декорации. Так будет продолжаться ровно до тех пор, пока подошва моего запыленного ботинка вновь не коснется этой платформы. Если я, конечно, вернусь.

Знаешь, у меня в последнее время появилось странное чувство, что теперь есть то место, куда можно вернуться. Раньше такого места у меня не находилось, и я был волен болтаться где попало с наплевательским отношением как к самому себе, так и ко всему, что меня окружало. Но микроавтобус тронулся, остался за спиной наш с тобой мирный город, а за мной по всем дорогам потянулась теперь звенящая цепь невидимого якоря.

\* \* \*

– Первый раз? – пограничник оторвал взгляд от монитора и внимательно посмотрел на меня.

– Да, – кивнул я в ответ.

Он еще раз взглянул на меня, теперь как на полного кретина, и снова уставился в монитор. Я же раздумывал над тем, не связана ли заминка на КПП с моим сомнительным политическим прошлым, настоящим и, видимо, будущим. Но все обошлось, покопавшись в компьютере, пограничник вернул мне документы, и я вышел на улицу к автобусу и ожидавшим возле него только меня остальным пассажирам.

Еще в Москве на автовокзале, когда покупал билет, я заметил несколько странное к себе отношение. Кассирша, услышав, куда я еду, принялась слишком участливо разъяснять мне подробности отправления автобуса, расписания остановок и прочие детали поездки. Мне даже стало интересно, сколько молодых людей с рюкзаками цвета хаки проходят мимо нее каждый день.

В салоне оказался только один парень, которого я мысленно отделил от остального дорожного люда. На нем были черные тактические брюки, берцы-облегченки, а из-под воротника куртки выглядывала табуировка с трилистником клевера, набитая на шее. С ним мы покурили пару раз на остановках и обменялись незначительными фразами. Остальные же пассажиры были явно гражданскими и занимали примерно одну пятую мест от общего числа в почти пустом двухэтажном донецком автобусе.

Я, расположившись сразу на двух креслах, было решил, что доеду до места с комфортом, но после Воронежа народ стал прибывать, и вскоре на соседнее кресло втиснулась объемистая тетка с авоськой. Прижавшись к окну, я попробовал читать, но голова была тяжелая, и слова «Конармии», которую я брал в дорогу, отказывались складываться в осмысленные предложения. Строчки расплывались и прыгали, и вскоре я задремал, очнувшись уже на КПП.

Пройдя пропускной пункт и глядя в окно, за которым была абсолютная чернота, я немного поразмыслил над тем, что теперь нахожусь на территории воюющей республики, но сделал для себя вывод, что внутренне во мне ничего не изменилось. Сознание безразлично прочертило границу на невидимой карте, только и всего. Не было ни страха, ни боли, не было обстрелов и развалин, я не видел искореженной техники и чужого горя, не было людей. Была только непроницаемая чернота стекла, прыжки автобуса на неровной дороге и условная линия, разделившая нас с тобой.

Покопавшись в телефоне и поняв, что за условной линией исчезли интернет и мобильная связь, я стянул с себя куртку, повозился в кресле, безуспешно пытаясь придать комфортное положение телу в отведенном мне тесной пространстве, и, с досадой вздохнув, окончательно закрыл глаза.

Снилась почему-то бывшая, с которой мы ругались за столиком в кафе. Она долго выговаривала мне что-то обидное, а затем ушла, прежде чем я успел ей ответить, дверь за ней захлопнулась, а я, с трудом проснувшись, отделался, наконец, от неприятного сна.

Автобус не двигался. По возне в салоне я понял, что это очередная остановка. Куртка, которую я подкладывал под голову, сползла, и физиономия моя частично приклеилась к стеклу. Я разлепил глаза и, не отрывая от стекла головы, уставился в хмуро начавшееся утро.

На фоне однообразного неба то тут, то там торчали ровные зубцы терриконов. «Слишком ровные», – вяло подумал я, вспоминая, что терриконы видел в детстве на Урале, но они были там немного другие и назывались как-то иначе.

Еще за окном находилась пара ларьков и улица в стройный ряд двухэтажных домов. Но линия крыш вдруг оборвалась под моим сонно блуждающим взглядом. Одного из домов на месте не оказалось. То есть он должен был там быть, как, например, зуб в челюсти, но его там не было, и от этого картинка выглядела неправильной и неестественной.

– Господи! – зашептала потеснившая меня в Воронеже тетка; когда автобус тронулся, мы проехали мимо и смогли рассмотреть то место, где находился провал. Ни развалин, ни следов пожара я не заметил. Так бывает, когда на целом яблоке появляется первый след от укуса. Словно улице кто-то укусил.

По разговорам пассажиров я понял, что мы проехали Макеевку.

Многократно слышимые ранее названия начинали вливаться в мою нынешнюю реальность и обретали в ней форму.

Далеко ли Макеевка от Донецка, я не знал, да и вообще не имел ни малейшего понятия, где нахожусь. Спрашивать у соседей мне не хотелось, а ориентироваться по времени прибытия, указанному в билете, было нельзя. Нас предупредили еще на столичном вокзале, что автобус запросто может опоздать на пару часов. «Если вообще доедет», – добавил тогда я про себя.

Сейчас же где-то неподалеку от нас несколько раз ухнуло и продолжило ухать подалеже, уже за спиной. «Доберется ли автобус?» – вопрос из области черного юмора сразу переключался в насущную область.

Но я отметил, что данный факт несколько меня не встревожил. Автобус вполне может не доехать, но я решил разбираться с проблемами по мере их поступления, поэтому полез в карман за влажными салфетками и попытался привести в порядок свою помятую в дороге рожу.

Влажные салфетки крайне полезная вещь, когда в городе перебои с водой. Эти перебои спустя некоторое время стали волновать меня куда больше постоянных обстрелов. «Умирать надо опрятным», – думал я, недобро поглядывая на выломанные рамы окон, наспех заколоченных листами OSB прямо над моей головой. Без воды опрятным быть тяжело, а умирать грязнулей неудобно перед людьми.

Странные мысли приходили там на ум, но об этом я расскажу тебе немного позже. А сейчас, все же нетронутым добравшийся, автобус тормозил на площади вокзала «Южный» города Донецка.

\* \* \*

– Не пристегивайся, – предупредил меня таксист, когда мы, с моим товарищем Денисом, забрались в машину, а я, плюхнувшись на переднее сиденье, по привычке потянул на себя ремень, – будет прилет, отстегнуться не успеешь.

«Ох уж мне эти предосторожности, – зло подумал я. – Если прилетит поблизости или же непосредственно в машину, то какая мне на хрен будет разница, пристегнут я или нет?»

Меня всегда умиляли некоторые правила безопасности. Например, обязательный шлем вкупе с дельтапланом. При нужном «везении», если воткнуться носом в землю, свалившись с порядочной высоты, голова твоя, возможно, уцелеет, а вот плечи... плечи, скорее всего, вырвет рамой, и у тебя будет замечательная возможность оценить, что плеч у тебя больше нет. Это как спасательный круг в северных морях – промучаешься чуток подольше. Про такие естественные здесь вещи, как каски и броники, даже заикаться не стоит, тут каждый решает сам.

Я оставил в покое ремень безопасности, чтобы не обижать таксиста, хотя предпочел бы пристегнуться. Большинство местных водителей ездят здесь как попало, а военным на правила дорожного движения вообще насрать. Нет, под танк, конечно, попасть сложно, танков я в городе, по крайней мере, не видел, а вот заехать под какой-нибудь армейский «Урал» проще простого.

Я знаю, что такие детали не слишком тебя заинтересуют, но мне придется упоминать о них и дальше. В этой картинке важны даже невыразительные для тебя штрихи.

Мы перекусили у подруги моего товарища и отправились в центр города уже на автобусе.

Дождаясь его на остановке, я разглядывал синеватые пирамиды терриконов вдаль, когда оттуда отработали «Грады». Залпов слышно не было, но дымные шлейфы их снарядов потянулись куда-то в сторону Авдеевки и некоторое время висели в воздухе, пока не растаяли на легком ветру.

Тут же прилетела ответка. Разрывы ее снарядов напротив были слышны хорошо, но куда они угодили, видно не было, а канонада продолжилась, уже удаляясь.

К канонаде я привык почти сразу, как приехал. Она постоянна, и привыкнуть к ней довольно легко, как к тиканью часов или, например, к капанью воды из протекающего крана. Лишь первое время я донимал



Дениса вопросами о том, «прилетело» это или «улетело». Он мне объяснил, и через какое-то время я решил, что научился разбираться в происхождении различных тревожных звуков. Как позже выяснилось, думал я так зря.

Тем временем потрепанный «пазик» довез нас до центра, и, спугнув стаю нахальных голубей, мы затопали в сторону бульвара Пушкина.

Голубей здесь, кстати, полно, и среди них очень много белых. Никогда не видел столько белых голубей. Ты бы, наверное, тоже удивилась.

Эти птицы мира прекрасно приспособились к войне. Они привыкли к обстрелам, их численность на улицах возросла, в отличие от людей, которые сидят по домам. А вот воробьев я почему-то здесь почти не видел.

Тебя, Воробушек, мне тоже тяжело здесь представить. Нет, на улицах много девушек, в процентном соотношении к остальным проходим. Они ничем не отличаются от девушек в нашем с тобой городе: каблучки, весенние короткие юбки. Многие из них служат, многие специально приехали сюда из других городов, где-то здесь, в волонтерских организациях, есть даже пара моих подруг.

Но тебя представить в этом городе у меня не получится. Да и не хочется мне тебя здесь представлять. Ты настолько чужда происходящему вокруг, что я не уверен, поймешь ли ты все то, что я захочу тебе рассказать.

Ты далеко, и слава богу, а я здесь, и я буду гулять по бульварам, слушая неумолкающий назойливый гул.

Ты не любишь эту войну, ты вообще войну не любишь. «Зачем это все нужно?» – спросила однажды ты.

Я не знаю. Может быть, только затем, чтобы однажды «здесь» не оказалось около тебя.

Побродив по центру, мы зашли в пиццерию. Я взял себе кружку местного пива, непьющий Денис заказал себе кофе. Мы прошли в пустой зал и уселись за столик у окна.

Здесь не Сталинград, конечно, кафе и бары работают, хотя многие из них закрыты. Работает сеть местных супермаркетов, не столкнувшись еще с натиском «Пятерочек» и «Магнитов». Подобная встреча сулит супермаркетам катастрофу похуже любой стрельбы. Открыт кинотеатр, и на его экранах все те же шедевры отечественного кинематографа. Центральный рынок открыт, несмотря на то что недавно попал под обстрел.

Но людей везде было мало. Я поглядел в окно на пустынную улицу. Если выйти в нашем городе погулять воскресным утром, то будет так же безлюдно, как субботним вечером в Донецке. Позже один ополченец ответил на мой вопрос о том, почему сидеть в доме безопаснее, чем находиться на улице.

«Чтобы сложить дом, надо его целенаправленно обстреливать, – объяснил он, – одного снаряда недостаточно, а кому придет на ум специально шмалять по зданию с гражданскими и тратить на них боезапас?»

Больших разрушений в центре я действительно не заметил, но это не значило, что их не было совсем. Хвала коммунальщикам, они ментально латали посеченные осколками дома и чинили разбитые тротуары. Времени не хватало только на окна. Оттого многие из них были забиты плитами OSB, и если оглядеться по сторонам, то становилось понятно, куда именно недавно прилетело. Почему именно OSB, осталось для меня загадкой.



После девяти вечера город совсем вымирал. Закрывались кафе и супермаркеты, переставал ходить транспорт, а запоздавшие прохожие спешили по домам. На улицах оставались лишь редкие подвыпившие компании или же бродили небольшими группками военные. Первое и второе легко могло совмещаться.

Касаемо военных – конечно, это были не солдаты регулярных войск, а скорее представители разношерстных добровольческих формирований. Шевронов и других знаков различий они, как правило, не носили, оттого, кто перед тобой, понять было практически невозможно. Естественно, что подобные личности не были, аки Рэмбо, увешаны с ног до головы всевозможным вооружением, но гадать, не припрятал ли за пазухой подвыпивший боец гранату, у меня никакого желания не возникало, поэтому я, если мне случалось совершить вечерний променад, обходил таких персонажей стороной.

Тем не менее город продолжал жить своей околовоенной жизнью. Люди вставали утром, одевались, завтракали и, пробив в компостере билет, ехали на работу. Компостер, разумеется, вызвал у меня настоящий восторг!

Он, понятное дело, был не таким, похожим на дырокол, приспособлением, как в моем незапамятном детстве, но от него все равно потянуло теплом воспоминаний. На долю секунды меня перебросило из троллейбуса в воюющем городе на десятки лет назад в желтый автобус ЛиАЗ, к инею на его стеклах, в маленький сибирский городок за окном.

Но местные жители привыкли к компостерам, к тому, чтобы каждый день пробивать в них свой билет. За девять лет притупятся любые чувства, кроме, пожалуй, усталости. Она будет только копиться. Я видел ее здесь на многих лицах мужчин и женщин, молодых людей, и на лицах совсем юных девушек. И не надо мне что-то рассказывать, сыпать бравадами, я скорее поверю своим глазам. Эти люди устали. Устали и от тех и от этих, устали от пустых надежд и таких же пустых обещаний. И оттого, что хлеб подорожал.

Да. Именно тот самый условный хлеб. В таком состоянии тебе становится пофигу на весь театр военных действий вместе с маршалами и генералиссимусами, пофигу на то, что там удумали президенты и их кабинеты министров, наплевать на всю экономику и геополитику, тебя интересует, когда в твоём магазине появится хлеб, а в кране вода. Нужно правильно расставлять приоритеты.

Мне хотелось бы рассказать тебе об этом больше, но я еще обязательно вернусь к этой теме.

Мы поднялись из-за столика пиццерии, попрощались с девушкой за кассой и, оставив ее одну в пустом кафе, вышли на улицу. Нужно было возвращаться на квартиру к Наде, подруге моего товарища, где мы временно разместились, сегодня был день воды.

Воду в Донецке давали один раз в три дня с семи до девяти вечера, но этого могло и не произойти, а значит, необходимо было не только успеть провести различные гигиенические процедуры, но и наполнить водой все резервуары в доме. Пятилитровые пластиковые баклажки были обязательным атрибутом почти любых помещений.

Когда я приехал сюда, отсутствие воды стало для меня серьезной проблемой. Дело в том, что у меня уже очень давно выработалась одна привычка, которой я привык потакать. Не знаю, можно ли назвать ее дурной, но заключалась она в том, что я толком не мог проснуться, если прямо из постели не попадал сразу в душ. Это создавало массу

неудобств во время экспедиций, политических съездов или литературных семинаров, когда мы делили один номер в гостинице на несколько человек. Обычно я вставал раньше всех, чтобы, никому не мешая, просыпаться под струями воды, а дома даже умудрялся выкуривать первую утреннюю сигарету, стоя под душем. Если же этого не происходило, то мое утро становилось неполноценным и весь последующий день я чувствовал себя неуверенно. Но что поделать, здесь мне пришлось терпеть.

Сегодня вода была, и мы, заказав какой-то еды – доставка в Донецке тоже работала, – и вытащив из холодильника пару запотевших бутылок, расселись в гостиной за маленьким столиком. За окнами были слышны далекие разрывы, в ванной шумел кран, и, ведя неторопливую беседу, мы отвлекались от нее только на то, чтобы поменять баклажки.

Я старался посвятить новоиспеченных россиян в тонкости русского быта, они же делились со мной подробностями будней донецких.

– Да, – вспомнил я, – я хотел в качестве сувенира осколок домой привезти, желательно не в собственном теле. Где мне его взять?

– На балконе посмотри, – улыбнулась Надя. – Там в шкафу кусок от снаряда лежит.

Куском от снаряда оказался блок стабилизатора ракетной части реактивного снаряда установки «Град», двадцатидвухмиллиметровая стальная хреновина, весом килограммов шесть и сантиметров тридцать в длину.

– Мне его друзья на день рождения принесли.

Надя тоже выглянула на балкон, где я вертел в руках ржавую железяку. Железяка была безвредной, но, несмотря на это, выглядела крайне опасно.

– Где они его взяли?

– Да здесь недалеко, в лесопосадке нашли, мы потом в него цветочки ставили. Если хочешь, забирай, – закурив сигарету, добавила Надя.

– Если его у меня на КПП найдут, то меня посадят. Не исключено, что прямо на него, – мрачно пошутил я и тоже закурил.

\* \* \*

– Когда уже воду нормально дадут?

– Когда Славянск возьмем.

– Пойдем возьмем?

– Пойдем.

Двое добровольцев лениво шутили, стоя за барной стойкой, когда я спустился в штаб.

Формально я относился к одному из добровольческих движений, а в кармане у меня лежал шеврон с изображенной на нем гранатой. Правда, прилепить мне его было некуда, я сознательно не брал сюда из дома армейских вещей и ходил исключительно в гражданке, инстинктивно чувствуя, что этот городской доспех прикроет меня лучше камуфля. Но шеврон с собой носил, так, на всякий случай.

После выходных моим друзьям нужно было выходить на работу, и оставаться у них мне было неудобно, поэтому я, подхватив рюкзак, отправился селиться в местный штаб организации. Кров и пища для приезжих волонтеров в нем имелись, и сильная помощь требовалась всегда.

Штаб находился в подвале, в бывшем помещении маленького бара, неизвестно какими путями доставшегося движению, и от бара там со-

хранилась барная стойка и стеклянный холодильник, в котором обычно хранят пиво и газировку. В основном помещении, по углам, на сложенных друг на друга поддонах размещались несколько лежаков, на одном из которых я позже и расположился. Там же была небольшая кухонька, со всем необходимым, туалет и подсобка, переделанная под склад. Стены были увешаны флагами и плакатами, а свободное место делили между собой различные детали военного обмундирования и вездесущие баклажки с чистой водой.

В штабе вечно толкался разношерстный народ. Волонтеры и журналисты, мобилизованные в увольнении и добровольцы. Кто-то приходил или уходил, приезжал или уезжал. Здесь можно было отдохнуть и переночевать, перекусить или же просто выпить кофе. В штабе всегда бурлила околофронтальная жизнь.

Своего земляка Юру я разыскал в подсобке.

– Пойдем, поможешь мне замок к двери приладить? – с ходу деловито предложил он, доставая из недр стеллажей испачканный маслом замок.

– Пойдем, – пожал я плечами.

– Прилетело тут недавно, – уже на улице буднично бросил Юра, заметив, что я разглядываю разбитые рамы первого этажа, прямо над нашими головами, – вон туда, на проезжую часть.

Я оглянулся. Действительно, в окнах первых этажей окружающих домов не было стекол.

– Посвети телефоном, а то я шурупа не вижу...

Внезапно, казалось, совсем неподалеку пять раз что-то сухо хлопнуло, треск прокатился мимо нас по улице и затих за углом дома.

– ПВО, что ли, наше работает? – пробормотал под нос Юра, продолжая ковырять отверткой замок. – Ты к нам надолго?

– Не очень, – перестал озираться я, – так, осмотреться...

– Ты вовремя, вечером девчонки шашлыки обещали. Поедешь завтра к Аркадичу?

– Что за Аркадич?

– Как тебе сказать? – Юра, наконец, закрутил неподатливый шуруп и выпрямился. – Завтра сам увидишь. У него, в общем, надо было уголь для шашлыков брать. У Аркадича угля много.

Перепрыгнув через бордюр, за нашими спинами на тротуаре остановился короткий белый микроавтобус «Тойота». Из него выскочил парень в камуфляже и с таким же шевроном на левом рукаве, что лежал и в моем кармане.

– Вы чего на улице делаете? – вместо приветствия выпалил он. – Прилет же был рядом!

– Где?

– Там, – парень неопределенно махнул рукой в ту сторону, где только что раздавались хлопки, – мирняк вроде посекло. Оглохли вы, что ли?

– Да слышали, – Юра покосился на меня, – замок вот чинили.

– Ну вы на всю голову... – парень закурил, – замок они, блин, чинили! Принимай обновку, – обратился он уже к Юре и кивнул на белый микроавтобус.

– Откуда подгон? – Юра пнул по широкому колесу «Тойоты» и заглянул в салон.

– Ну как обычно, всем миром собирали по копейке, плюс власти раскошелились. Вещь! – Парень, которого звали Леха, обошел вокруг автомобиля. – Дизельный, полный привод. АГС бы еще в него поставить,

цены бы ему не было! – мечтательно добавил он, осмотрев заднюю дверь машины.

– На склад генераторы приедут в пять, – оборвал Юра его грезы, – надо ехать разгружать. Вот и обкатаем обновку.

Я тоже решил поехать на склад. Просиживать штаны в штабе становилось скучно, да и бездельничать мне не позволяла совесть. Поэтому, прихватив пару сигарет с барной стойки, там всегда валялись несколько общаковых пачек, а мои деньги постепенно заканчивались, я пятым полез в «Тойоту», вслед за двумя молодыми парнями, волонтерами из Питера.

Мы проехали центр и, минуя обложенную мешками с песком заправку, повернули в промзону. Потянулись притихшие заводы, их огромные пустые здания выстроились вдоль дороги, трубы не дымили, а большие железные ворота проходных давно некому было открывать. Зато то тут, то там к заводским заборам прилепились многочисленные салоны ритуальных услуг, пыльные пластиковые венки висели на стенах, а из дворов, если таковые имелись, маячили серые силуэты надгробных плит.

Но жизнь все-таки продолжалась. Странная, на контрастах, жизнь. Когда мы сворачивали к складу, мимо нас с ревом промчался блестящий хромом и глянцевыми боками мотоцикл. Я с недавних пор стал внимательнее присматриваться к мототехнике, и мне показалось, что это был «Харлей Дэвидсон», совсем неуместный здесь, среди брошенных громадин заводов, но подробно разглядеть мне его не удалось.

– Да че вы их вчетвером таскаете?! – орал на грузчиков водитель КамАЗа, когда мы въехали на территорию склада. – Берите вдвоем! Мне их вот такие студенты, – водитель продемонстрировал грузчикам мизинец, желая объяснить физические характеристики студентов, – вдвоем грузили!

– Вот и вез бы сюда своих студентов, а нам здесь еще до темноты пахать, – огрызались в ответ грузчики.

– Да какой дурак сюда поедет? – грустно вздохнул водитель, намереваясь забраться в свою кабину.

– Не кипятись, земляк, – Юра хлопнул его по плечу, – мы же приехали. Сейчас все разгрузим.

На номере КамАЗа стоял код нижегородского региона, и поэтому водила, благодарно крикнув, взялся нам помогать. Но, несмотря на это, дело пошло немногим быстрее. Весившие по сто двадцать килограммов коробки с генераторами выскальзывали из рук, пальцам не за что было уцепиться, и в итоге мы провозились с ними до самого вечера.

Костер уже догорал между сложенных вокруг кирпичей, когда мы вернулись в штаб.

– Осталось что-нибудь? – поинтересовался Юра, подходя к огню.

– Да, мы вас ждали, – поднялась навстречу девушка Ольга, руководитель штаба, – чего вы так долго?

– Да... – вместо ответа махнул рукой водитель Леха, отряхивая свою запыленную «горку», – так где мясо-то?

– Внутри унесли, – Ольга оглядела потемневший двор. – Надо будет здесь прибраться на днях, мусор, листья, палки всякие валяются, некрасиво, – добавила она и притоптала подошвой тактического ботинка остывающие угли.

К вечеру в штабе осталось совсем мало людей. Кроме нас там была еще только пара питерских волонтеров. На складном походном столике стояла тарелка с дымящимися кусками мяса, буханка ржаного хлеба,

несколько бутылок вина и пара бутылок джина. Дополнял натюрморт армейский нож с зазубренным сверху лезвием.

Не дожидаясь остальных, Леха воткнул нож в ближайший кусок и, обжигаясь, схватил его зубами.

– Не ешь с ножа, злой будешь, – улыбнулась, глядя на него, Ольга.

– Я и так злой! – промычал Леха в ответ.

– Жестковато получилось, – Ольга принесла с кухни посуду, – надо было шею брать, но ее не было, пришлось купить окорок.

Дневная усталость дала о себе знать, и в основном все ели молча, разместившись на лежаках, время от времени поднимая из своих углов пластиковые стаканы и произнося дежурные тосты. Так и не допив вино и едва попробовав джин, люди начинали раскладывать спальные. Я тоже клевал носом, но все же решил перед сном подняться на улицу и выкурить дежурную сигарету.

Арта громыхала за городом отдаленными грозами, но здесь было тихо и даже спокойно. Совершенно пустые улицы освещали только фонари, и создавалось ощущение глубокой ночи, хотя часы показывали чуть больше двенадцати. Окна в домах не горели. Позже Леха рассказал мне, что высотка напротив штаба полностью пуста, а жильцы уехали оттуда после прилета.

Я докурил, выбросил сигарету и вдруг почувствовал себя единственным человеческим существом во всем городе. А Донецк забылся во круг меня тяжелым тревожным сном, и неизвестно зачем освещали его безлюдные улицы, площади и проспекты никому не нужные фонари.

\* \* \*

Аркадич, несмотря на свои восемьдесят два года, оказался весьма бойким стариком. Он везде и всюду старался нам подсобрать и не слушал наших протестов. Был, казалось, сразу за каждым углом и в каждой разрушенной комнате.

Я не уточнял, что конкретно прилетело к нему в дом, но, судя по виду, остальные дома в частном секторе оставались целыми, а вот дом Аркадича превратился в руины. Второго этажа не было вовсе, первый же выгорел и частично обвалился. Попадание получилось достаточно точным, с небольшим разлетом, на заборе из профнастила, в двух метрах от дома не было ни царапины, так же не пострадали и бытовые постройки. В одной из них и ютился теперь Аркадич.

Мы приехали примерно к обеду. Я и два молодых питерских парня, Никита и Дмитрий, те, что помогали вчера разгружать тяжелые генераторы.

Наши волонтеры приезжали сюда уже не в первый раз, когда было время и когда люди не были заняты на других работах. Разгребали завалы, вывозили мусор и старались спасти то небольшое уцелевшее, что не уничтожил пожар.

Аркадич был благодарен и обычно в конце дня угощал чем мог приехавших к нему парней и девчонок. Водилась у него и водка. Поэтому поработать у Аркадича считалось делом весьма почетным.

Натянув на себя чьи-то промасленные штаны, спецовку и вздохнув о том, что подходящей обуви в штабе для меня не нашлось, я тоже отправился к нему.

Войдя во двор, переступая через куски бетона, я вдруг поймал себя на мысли, что стараюсь обходить обломки только затем, чтобы не поцарапать



о них свои «рейнджеры», не задеть ненароком носком ботинка обугленный кирпич.

Мне стало стыдно, я пинком отшвырнул в сторону кирпичный осколок, но все-таки решил раздобыть у Аркадича рабочую обувь.

Я снова вспомнил этот пустяковый случай, когда вернулся в штаб. Случай наглядно продемонстрировал ту самую пирамиду ценностей, в которой находились вода и хлеб, и прочие, казалось, мелочи, для местных жителей, по сравнению с глобальными событиями, происходящими вокруг. Об этой шкале приоритетов я заикался тебе ранее.

Ты можешь себе представить, что где-то совсем рядом сходятся две армии и люди рвут друг друга в клочья, совсем близко падают снаряды, постоянно слышен гул канонады, а ты стоишь на горячих еще развалинах, чешешь репу и думаешь: «Грязно тут у вас, как бы мне ботинки не испачкать?»

Человек на войне быстро учится ценить то небольшое, что у него осталось, и то, на что он еще способен повлиять. Предотвратить попадание невозможно, а вот уберечь условные ботинки вполне по плечу.

Войдя во двор, я искренне обрадовался тому, что в огороде у Аркадича стояли две ванны, наполненные чистой водой. Я сильно хотел пить, а еще переживал, чем буду оттирать сажу с лица после работы. Конечно! О чем еще здесь переживать?

Из предложенных инструментов я выбрал почти родной в моей археологической работе «фискарь». Полностью металлическую лопату марки Fiskars. Уж не знаю, откуда она оказалась у Аркадича. Я повертел в ладонях привычную железную рукоятку, проверил лезвие, его стоило бы заточить, но, чтобы копать камни, оно, в принципе, подходило.

Фискарь, лязгнув, зарылся в кучу бетонного крошева. Работа началась. Из-под обломков показались первые артефакты. Оплавленные компьютерные диски. Они все еще переливались тускло потемневшей радугой.

Один из них уцелел, на нем виднелась сделанная черным маркером надпись: «Семейный архив», но вряд ли диск читался после такого жара.

Остатки бытовой техники, осколки посуды, словно кусочки керамики, выныривали из-под стального лезвия. Все это безжалостно сыпалось в мусорные мешки, набитые прошлым добродушного старика.

Я вошел в раж. Типичный азарт археолога, которому не терпится узнать, что покажется из-под лопаты в следующий момент.

Внезапно фискарь неприятно спружинил назад при следующем ударе. Так бывает, когда под лопату попадает резина, ткань или достаточно плотная бумага. Я пошарил за спиной рукой в поисках совочка, сообразил, наконец, что я не на раскопках, взял какую-то палку и расковырял ею кирпичный балласт. Под ним, среди углей, белел корешок книги, я потянул за него, вытащил и грустно улыбнулся. Книга называлась: «На Западном фронте без перемен». Я отложил ее в сторону и снова загнал лезвие фискаря в обугленную глубину завала, но эффект повторился.

На этот раз я, чуя очередную добычу, поумерил пыл. Кончиком штыка срезал несколько сантиметров угольно-пыльной поверхности и выудил на свет следующую книгу. Ту самую «Конармию», что лежала и у меня, на дне моего рюкзака.

Дальше книги шли одна за другой. Чего тут только не было! Научные труды, большие и тяжелые фолианты энциклопедий, разноцветные альбомы известных художников, советская и зарубежная классика.

Теперь уже мы, с моими коллегами-волонтерами, все втроем кинулись руками разгрести мусор, выхватывать из его недр новые находки и, в восторге, стирать с них копоть грязными ладонями. Библиотека Аркадича действительно впечатляла.

Удивительно, но книги практически не пострадали, испачкались, закоптелились, но странички их остались целыми. Только чуть суховатыми и ломкими на ощупь. Такого не бывает у домашних, благополучных книг.

Осторожно мы выносили их во двор, складывали стопками и укрывали брезентом.

Под конец рабочего дня у меня выдалось время отложить фискарь и немного осмотреться.

Начало смеркаться, и руины, окончательно растеряв скупые цвета, почернели и замерли неестественным силуэтом разрушенного дома. Парни ушли ужинать в бытовку к Аркадичу, я же, включив камеру в телефоне, решил еще раз пройтись по комнатам.

О назначении их я мог догадываться только по сохранившейся кое-где мебели.

Первая комната была почти не тронута огнем. Небольшой диванчик устроился в углу, простой, еще советский письменный стол, упавшие табуретки, одна которых беспомощно подняла ножки к потолку. Обои в цветах едва попробовало пламя.

Кухня тоже уцелела. Все находилось на своих местах. Газовая печь, раковина, в ней повернутый набор кран, кастрюльки на полках, чайник на плите. Застывший мирный быт, жуткая в своем спокойствии кухня.

Взрывная волна не пожелала сюда заглянуть, огонь побрезговал предложенным угощением. Ни один магнитик не упал с холодильника, ни одна ложка не скатилась со стола. Все осталось на месте, но все почернело, каждая мелочь сделалась угольно-черной. Война порой бывает большим оригиналом.

Я, будучи дизайнером по образованию, по достоинству мог оценить эти ее таланты. Война с легкостью превращала в арт-объекты не то что дома и улицы, но целые города. Мне было чему поучиться у этого маэстро. И, что скрывать, камеру в телефоне я включил в том числе и затем, чтобы запечатлеть ее дизайнерский проект.

В следующей комнате меня ждала следующая инсталляция. Задумка была не нова, идеальным было исполнение.

В одном из отсеков обугленного шкафа помещался телевизор. Благодаря умелым рукам огненного скульптора телевизор показал свое истинное лицо. С полки стекало расплавленное чудовище – олицетворение ужаса и боли.

Пару дней назад в центре города снаряд угодил в тротуар рядом с витриной одного модного магазинчика. К тому времени, когда я проходил мимо, витрину уже залатали вездесущим OSB, но вывеску не тронули. Что было там написано раньше, разобрать не представлялось возможным. Буквы вырвало взрывом, и они повисли на проводах электроподсветки в неправильном порядке. Жутко становилось от того, что буквы будто бы складывались в короткие и отрывистые слова, похожие на гортанное воронье карканье, а слова, в свою очередь, в предложение из двух строк. В том странном языке доминировали согласные, гласных букв почти не было. Так война изобретала свой собственный язык.

Вечер опустился на импровизированную галерею. Скелет лестницы, упавшийся рогами в пустоту, причудливые силуэты обвалившихся



стен скрывала темнота, и я решил присоединиться к моим трапезничающим коллегам.

Когда я вошел, Аркадич вскрывал банку с паштетом. На столе стояла консервированная сайра, сардина, лежала распакованная пачка галет. Галеты в данном случае предполагалось употреблять в качестве хлеба, паштет стоило намазывать именно на них.

– О, писатель вернулся! – усмехнулся Аркадич, обернувшись ко мне. Видимо, кто-то из молодых коллег уже взболтнул ему о роде моих занятий. – Присаживайся к столу, угощайся Батькиными подарками.

– Покорнейше, – улыбнулся я и полез на свободное место.

«Батькиными подарками» Аркадич шутя именовал гуманитарку из Белоруссии. Да и вообще он любил шутить.

Много лет Аркадич трудился на научном поприще, о чем поведал нам, разливая водку. Даже изобрел какие-то «магниты». Что это за магниты и зачем они нужны, я как истинный гуманитарий, конечно, не понял, но было ясно, что открытие крайне полезное.

Его помотало по тогдашней, еще общей стране, в связи с чем у него накопилось множество интересных баек, которыми он с удовольствием делился. Случилось ему жить и работать и в нашем с тобой мирном Горьком городе.

Я смотрел на него и поражался тому, сколько тепла осталось в этом пожилом человеке.

Аркадич тем временем пододвинул банку с рыбой ближе к центру стола, кивнул на нее волонтеру Никите и хлопнул того по плечу.

Сколько таких банок у него самого? Сколько галет? У него за спиной была долгая и сложная жизнь, и вот на финишной прямой случайный снаряд превратил всю его жизнь в руины, и никуда не годный диск «Семейный архив» торчит там среди обломков кирпичей. А он, Аркадич, улыбается и продолжает угощать галетами и водкой совершенно случайных для него людей, сидя в маленькой бытовке, в прифронтовой зоне, на самом берегу войны.

Мне почему-то вспомнилась история об одном профессоре математики из блокадного Ленинграда. Суть истории была в том, что профессор высчитал процент попадания авиабомбы именно в его квартиру. Процент оказался ничтожным. Профессор просидел в своей квартире до конца блокады и в бомбоубежище он не ходил.

– Снаряд дважды в одну воронку не попадает, – неуклюже ляпнул я и осекся, когда речь за столом пошла о недавних прилетах.

– А мне и одного хватило, – добродушно заметил Аркадич и разлил остатки водки.

Он подошел ко мне, когда мы уже собирались уезжать.

– Послушай, писатель, ты ведь напишешь о нас? Обо всем этом? Чтобы люди знали...

– Напишу, я обязательно напишу!

Я посмотрел в глаза старика, но опустил свой взгляд на непоцарапанные свои ботинки.

\* \* \*

Ты как-то сказала, что я совсем не знаю тебя, а здесь мне стало казаться, что я знал тебя всегда, просто никак не мог найти.

Но однажды я тебя нашел. Помнишь? Литературный фестиваль, на который я, в общем, не собирался и вдобавок заболел. Но там было на-

значено несколько важных встреч, и ехать было необходимо. Немного отлежавшись и поскрипев зубами, я с грустью понял, что безнадежно опоздал на наш писательский автобус, а прибыв на вокзал, выяснил, что никаких рейсов в нужное мне место в ближайшие дни не будет.

И вот тогда я совершил тот самый необдуманый поступок, из тех, о которых я тебе уже рассказывал. Хотя меня здорово пошатывало, голова кружилась, а перед глазами расплывались разноцветные круги, я решил, что доберусь на фестиваль во что бы то ни стало.

Не буду считать, сколько километров я прошел пешком, сколько машин сменил, добираясь туда автостопом, но затемно я был на месте. А утром я впервые увидел тебя.

Все эти события я прокручивал в памяти, лежа на поддонах в темноте штаба и дожидаясь утра. Всю ночь я не мог уснуть, у меня такое часто бывает, но сегодняшняя бессонница носила несколько иной характер.

«Может быть, просто весна? – предположил я и сам же себя опроверг. – Весна здесь давно, и я давно акклиматизировался. Зима кончилась и в моем городе, зима кончилась везде...»

Но я чувствовал едва заметную перемену вокруг. Любая вещь, на которую падал мой взгляд, выглядела теперь чуть иначе. Армейские рюкзаки и разгрузки, темной массой сваленные в углу, осколок сто двадцатой мины с хвостовым оперением, что закатился под Лехин лежак и был мне отсюда виден, даже сам Леха, блаженно и глупо улыбавшийся во сне. Все стало чуточку другим, поменяло окрас, осветлело.

Я прислушался к себе. Новое чувство не несло той тревоги, которая в последнюю зиму так часто глодала изнутри мои ребра. Не было тупой отрешенностью, когда я молча наблюдал за сигаретой, пока белый пепел не падал на пол. И безнадегой зимних моих ночей оно тоже не было.

И чувство не было новым. Я просто забыл, как его зовут. Зима кончилась, Воробушек. Зима кончилась и во мне.

– Подъем! – ворвалась в комнату Ольга.

Парни заворочались и заворчали. Я же подскочил сразу, радуясь отсрочке для своих навязчивых мыслей, которые упорно толкали меня к единственно верному объяснению всех моих перемен.

– Та-а-ак, – заприметила меня Ольга, – диспозиция такая: берешь вот этих двух гавриков, – Ольга не глядя кивнула в сторону Дмитрия и Никиты, – и еще одного, он вчера из Ростова приехал, сейчас пока на другой хате сидит, и устраиваете во дворе субботник. Ты за главного. Все понятно?

– Товарищ командир, – деланно заканючил я, настроение мое было странно приподнятым, – дык у нас же ж инструменту нема, негоже пятерней, аки граблями, дворы убирать.

– Не паясничай, – скривилась Ольга, – на складе есть две лопаты и грабли, у Юры спроси. А остальной инвентарь я скоро вам предоставлю.

Пока я брал у Юры лопаты, парни дожидались меня во дворе, туда же подъехал и новенький и теперь нерешительно мялся в стороне. Я оглядел его, он был совсем еще мальчишкой, в какой-то нелепой кепке, в разбитых берцах и растянутой футболке «Гражданская оборона», впрочем, когда-то и я выглядел точно так же.

Я подозвал его к остальным.

– В общем, так, бойцы, делаем следующее: квадратное катаем, круглое... круглое вообще не трогаем, пусть себе лежит. Ну, вы знаете. Погнали?

– А если мы «Лепесток» найдем, его отдельно положить? – вдруг подал голос новенький.

Я уставился на него, силясь понять, серьезно он или нет. Наличие в траве противопехотной мины «Лепесток» было вполне возможным, хотя и маловероятным, встречались они в основном на окраинах города. Но сейчас меня интересовало, шутит ли он или серьезно решил производить с «Лепестком» какие-нибудь манипуляции. Все-таки решив, что шутит, я иронично ответил:

– Лично тебе я разрешаю положить его себе в карман, на память... вечную.

Но, подойдя к зевающему Никите, все же предупредил:

– Вы приглядывайте за ним, как бы он тут у нас на собственной зажигалке не подорвался.

Погода была отличная. Конец марта в Донецке напоминал начало мая в нашем городе. Цвели деревья. Что это за деревья, а быть может, и кусты, я не знал, раньше я таких не видел. Пробивалась зеленая трава, скрывая всевозможные неприятности, а над головой было опасное, но такое синее небо, что кружилась голова, если долго на него смотреть.

– Есть у кого курить? – окликнул я парней, которые втроем безуспешно записывали в черный пластиковый пакет огромную кучу сухих, жухлых листьев.

– Я хотел в штабе взять, – выпрямился Дмитрий, – но на стойке ничего не было.

– Вот жлобы, – процедил я, – отправили в мусоре копаться и даже куревом не снабдили.

– У меня есть, – опять удивил новенький, – только я таких раньше не видел. «Погони» называются.

Он покопался в своем рюкзаке, извлек оттуда блок сигарет в целлофановой, прозрачной упаковке и протянул мне.

– Ты где их взял? – спросил я, разглядывая сквозь целлофан белокоричневые, мягкие пачки.

– В ларьке купил.

– Не «Погони», а «Родопи», совсем по-русски читать разучились. – назидательно начал я, и задумавшись, добавил: – Не иначе, дедушкин запас. Я таких с детства не видел. Лучшие сигареты Союза, говорят, когда-то были. Болгарские вроде...

Я повертел блок в руках, акцизы на пачках были свежие, но в Донецке случались и не такие чудеса.

– Народ, гляньте сюда, – отвлек нас Никита, ковырявший неподалеку лопатой листву. – Как думаете, они живые?

– Да, живые, вон та рожками шевелит.

Дело было в том, что под прошлогодними прелыми листьями Никита обнаружил колонию улиток, и событие привлекло всеобщее внимание.

– Это, наверное, виноградные, – неуверенно предположил Дмитрий.

– Нет, виноградные больше, – я знал точно, потому что когда-то виноградные улитки были моими питомцами. Однажды они, непонятно какими путями, сбегали из своего аквариума всем выводком, и я, придя домой, принял их за рассыпанную по полу картошку.

Эти же улитки были размером с грецкий орех, да и выглядели они на орехи похожими. Я протянул одной из улиток палец, и она тут же к нему прилепилась.

– Привет, поедешь со мной на Большую землю? – улыбнулся я. – Я тебя Беженцем назову.

Но, сообразив, что улитка, пожалуй, не выдержит дороги, я опустил «беженца» обратно к его панцирным собратьям.

– Парни, давайте их обратно листьями закидаем, мы им, наверное, всю экосистему испортили, – предложил Никита и, не дожидаясь ответа, высыпал на обнаруженную колонию целый пакет сухих листьев, который набивал последний час. Но его поступок возражений ни у кого не вызвал.

Появилась Ольга.

– Прикиньте! Мне это в местном ЖЭКе дали, – она гордо продемонстрировала вязанку лопат и грабель, компактно уложенных в зеленую тачку, – говорят, что инструмента у них полно, а людей совсем нет. Очень благодарили за помощь.

Я, не особо слушая Ольгу, сорвал с ветки маленький, липкий листочек и растер его в пальцах. Я каждую весну так делаю, есть у меня такой ритуал. Поднес пальцы к лицу и вдохнул исходящий от них аромат, они пахли свежей листвой и жизнью терпко и горьковато.

На ограду двора уселся воробей, посмотрел на меня глазом-бусинкой, прочирикал что-то и улетел.

Я не услышал свиста, просто почувствовал колебания воздуха.

«Это прилет», – успел безразлично подумать я и еще раз успел вдохнуть горький аромат листьев.

Мне еще столько нужно тебе рассказать об этом городе, здесь столько для меня нового.

Рассказать о его людях, о детях. Особенно о детях. Представляешь, где-то слышен обстрел, а на лужайке спокойно играют дети. Смеются, бегают друг за другом, качаются на качелях, будто и нет никакой войны. Я был поражен, наблюдая такую картину на набережной. Здесь, кстати, прекрасная набережная, я бы очень хотел, чтобы ты тоже увидела ее.

Это чудесный город, и я безоговорочно его полюбил.

Но всего не уместить в один рассказ, я постараюсь исправить эту несправедливость, когда вернусь.

Но я не вернусь.

«Снаряд попал во двор жилого дома в Донецке, есть сведения о погибших и раненых», – промелькнет в новостной ленте.

Возможно, это сообщение останется незамеченным. Может быть, кто-нибудь оставит комментарий, а кто-нибудь поставит сообщению лайк, и останется только гадать, что имел в виду этот человек.

Мне лично все равно. Ты не читаешь такие новости. И это правильно. Если б я мог, я бы и сам их не читал.

## Дмитрий БИРМАН

*Нижний Новгород*

(№ 1, 2022)

### ЮБИЛЕЙ

Юбилей не задался. Расслабив узел модного галстука, Александр Николаевич Синельников раздраженно смотрел на действие, эпицентром которого был он сам.

Гости уже находились в том состоянии, когда причина и место не имеют значения. Лихой разгуляй взрывался то дружным: «Ура имениннику!» (при этом в сторону Синельникова никто не смотрел), то яростным «танцем животов» (публика на торжестве была зрелая и упитанная).

Черт его дернул пригласить Ленку на своё шестидесятилетие!

Как-то вечером, примерно за месяц до юбилея, он отправил ей СМС, наслаждаясь своим благородством и умением забывать обиды, уверенный, что она откажется.

Александр Николаевич прожил в первом браке двадцать пять лет. Через полгода после того, как отпраздновали серебряную свадьбу, он собрал чемоданы и ушёл к Ларочке.

Ленка не скандалила, но историю о своей тяжелой доле разнесла по всему городу.

Дескать, не нужна стала и оставил её муженёк без средств к существованию после двадцати пяти лет счастливой семейной жизни.

Про «счастливую» семейную жизнь и «без средств» было полное враньё!

Ругались часто, последние пять лет спали в разных комнатах, а сын вырос не в любви и радости. К тому же Синельников оставил Ленке большую квартиру в центре города, дачу в сосновом бору, дал денег на бутик элитной одежды, который она давно мечтала открыть, и определил ежемесячную материальную поддержку. Кроме того (ну, это само собой), все расходы сына, уехавшего после университета покорять Москву, тоже были на нём.

Только по-хорошему с Ленкой не получалось. Общаться перестали совсем, даже при встрече не здоровались.

Постепенно новая жизнь вытеснила из Александра Николаевича раздражение на Ленкино враньё и на то, что часть друзей, поддавшись на него, перестали общаться с Синельниковым.

Ларочка родила ему дочку, наладила быт, окружила теплом и любовью.

Незаметно пролетели десять лет. Сначала Синельников не хотел отмечать день рождения, потом думал перенести юбилей на следу-



ющий год – пандемия диктовала новые условия жизни, но Ларочка настояла.

– Надо обязательно отмечать, Сашунь! И день в день! – ласково нашептывала она ему перед сном, а когда он пытался возражать, закрывала его рот долгим поцелуем.

– Сашок, чет ты того! – навис над ним Леха Рогов, школьный товарищ и партнёр по бизнесу.

– Нормально! – Синельников наконец справился с узлом на галстук, расстегнул две верхние пуговицы на рубашке, шумно вдохнул воздух и вытер салфеткой мокрую от пота шею.

– А Ларунчик где?

– Свету домой повезла.

Леха качнулся, аккуратно взял бутылку водки, разлил в рюмки до краев и сказал:

– За тебя, Сашок! Знаешь, как я тебя люблю?!

Леха давно, ещё с начала девяностых, обязательно покупал в дьюти фри «Фаренгейт».

– Леха, я скоро огурцы есть перестану! – возмутился Синельников вдыхая плотный шлейф аромата туалетной воды от Кристиан Диор.

– Ничего не огурцы! – возмутился Рогов. – Это запах океана!

– Лучше бы ты на океан поехал и нанюхался на год вперёд! – морщился Александр Николаевич.

Когда Ларочка вернулась с педикюра-маникюра, на который, по её возмущенному рассказу, нерадивой маникюрше потребовалось четыре часа, он сразу узнал этот запах. Он ни с чем не мог его спутать. Тогда впервые в жизни он смолчал. Сделал вид, что ничего не случилось. Просто он очень любил дочь и свой бизнес, который медленно, шаг за шагом выстраивал уже тридцать лет.

Вот только Ларочку он перестал хотеть, хотя она, начитавшись в интернете и наобсуждавшись в фейсбуке о снижении (с возрастом) либидо, сделалась в постели абсолютной затейницей.

– Любишь? – Синельников приобнял Лёху за шею.

– Очень! – ответил тот и ткнулся мокрыми от морса губами в щеку партнера.

Лёха развёлся после того, как, неожиданно вернувшись домой, застал жену, нежно ласкавшую язычком причинное место Синельникова-младшего. Он просто повернулся, ушёл хлопнув дверью и больше никогда не приходил в свою квартиру. Даже за вещами. Купил всё новое и стал снимать жильё, обязательно меняя его не реже чем раз в год.

Так же Лёха поступал и с женщинами.

Александр Николаевич тогда, первый раз в жизни, ударил сына по лицу и отправил с глаз долой в Москву.

Синельников-младший на отца не обиделся, но отгородился от него стеной вежливого молчания. Вот и теперь – прислал в подарок дорогие часы, с гравировкой на обратной стороне «Don't worry, be happy!», а сам не приехал.

Синельников сначала убрал красивую коробку полированного дерева подальше, в нижний ящик письменного стола, а потом все же надел Бреге на левое запястье, под праздничный костюм.

Юбилей начался складно и весело. Приглашённый ведущий искрометно шутил, гости вкушали деликатесы и ждали, когда вечер украсит приглашённая звезда. Кто-то говорил, что Агутин, кто-то, многозначительно поднимая брови шептал, что Шуфутинский.

Ленка пришла в коротком платье с глубоким декольте.

«Подтяжку, что ли, сделала? Губы вроде силиконовые. Да и грудь больше, и выше стала», – Александр Николаевич с интересом рассматривал бывшую жену.

Когда, как пел Высоцкий, «дошло веселие до точки», к гостям вышел Леонид Агутин. Синельников понял, что в грязь лицом не ударил и многим утер нос, показав, что такое юбилей.

Он вышел на улицу немного освежиться. Конец мая. Теплый ласковый ветерок.

– А помнишь, двадцать пять лет назад была такая же погода, мы убежали с твоего дня рождения и ты любил меня на скамейке в парке? – Ленка выдохнула дым.

Её глаза горели, как огонёк сигареты, а он вдруг, не понимая, что с ним, притянул к себе давно уже нежеланную бывшую жену и начал жадно целовать губы, шею, грудь.

– Любовь вернулась?! – визгливый голос Ларочки за его спиной обещал феерический скандал.

– Да пошли вы все! – Синельников оттолкнул Ленку, отмахнулся от жены и, вернувшись к своему именинному столу выпил фужер водки.

Александр Николаевич не простил себе, что, не сдержавшись, ударил тогда сына. Он тяжело переживал, что они почти перестали общаться. Прошло уже десять лет, но Синельников так и не находил ответа на вопрос, который мучил его все эти годы.

Он часто просыпался ночью, выскальзывал из-под одеяла, придерживая ручку, аккуратно, чтобы не разбудить Ларочку, закрывал дверь в спальню, шёл на кухню и долго стоял у окна. Мысли роились, наскокивая одна на другую, то вдруг разбредались в потаённые уголки, и он бездумно смотрел на мерцающее название бара в доме напротив. Буквы складывались в какой-то узор, как цветные стеклышки в калейдоскопе его далекого детства, а потом снова становились буквами. «БарСук» – именно здесь Синельников познакомился с Ларочкой.

Он не находил ответа на вопрос, мучивший его все эти годы.

«Как, почему и зачем Лёхина жена всё это затеяла?!» – бесконечно крутилось у него в голове.

Александр Николаевич вытер обильно увлажнённую Лёхой щёку и, продолжая обнимать левой рукой, правой накинул на его шею нарядный, недавно развязанный галстук и, ухватив его уже обеими руками, начал душить Рогова.

«Мальчик хочет в Тамбов!» – голосил зал, хрипел, становясь красным как свекла, Леха, через открытое окно слышался женский визг.

Вновь обретая утраченную легкость и уверенность, юбиляр, чуть ослабив петлю, шептал Рогову:

– Любишь, сука? Любишь?!

**Владимир ГОФМАН**

*Нижний Новгород*

(№ 2, 2017)

## ПОСЛЕДНИЙ ЛЁД

В середине апреля, а иногда и чуть раньше, выдаются в нашей местности особенно теплые деньки, когда под крышами с северной стороны вовсю капает, а с южной, на припеке, и крыши-то уж сухие. Вот такой денек был сегодня. За оврагом, в парке, грачи орали радостно. Дровами пахло, березой. И небо – без облачка, синее-синее, какое только весной и бывает.

Я строгал доску около дома, когда прибежала соседка Тамара. Едва завидя меня, закричала:

– Сергеич, спасай!

И руками по бедрам плещет, как гусыня на взлете.

Я положил рубанок и отряхнул с рубахи стружки. Такой уж я человек – спешить не в моих правилах.

– От кого тебя, заполошную, спасти?

Тамарка, она такая – чуть что, орет не своим голосом, будто конец света наступил, хотя его по телевизору еще в декабре обещали – не случилось, а многие у нас в селе всерьез готовились, вон, Михалыч, тот водки два ящика купил и землянку еще с осени в саду выкопал глубокую. Землянка обвалилась, а водку до декабря, пока ждали конца света, всю выпили. Да. Но в целом Тамарка баба хорошая, не злая, только вот без тормозов что ли. И глотка луженая. Как закричит – за оврагом слышно.

– Спасай, Сергеич! – задыхнулась она. – Там, – она махнула рукой в сторону реки, – там человек тонет!

Ага! На сей раз не зря, значит, горло дерет. По весне у нас такое случается – тонут люди, рыбаки, конечно. Кому ж еще? Тут раздумывать некогда. Я схватил с завалины лестницу и рванул к обрыву.

Лично я по последнему льду не рыбачу. Конечно, охота, а кому не охота? Но у меня есть лекарство против той охоты. Как только засосет под ложечкой при виде рыбаков, рассеянных по синему с чернотой льду на весеннем горячем солнышке, так я вспоминаю, как тащил из полыньи друга своего Палыча...

От моего дома до берега рукой подать. Подбежал я, гляжу под обрывом, метрах в десяти, мужик в промоине бьется. Ящик валяется в стороне и шапка камуфляжная с ушами. Пытается бедолага локтями на лёд опереться, а тот ломается, и никак он точки опоры не обретет.

– Эй, – кричу. – Не волнуйся! Щас я тебя достану!

По тропинке спускаться к реке – время драгоценное терять. Тут ведь каждая секунда дорога, известно. Я лестницу с обрыва сбросил, а сам

за ней следом на заднице, как на санках, по откосу вниз. Ничего, без задёва прокатился, до самой кромки. Гляжу, а мужик-то тем временем на лёд выполз, на четвереньки поднимается. Я опять кричу ему:

– Не вставай, дурак! Ползи!

Ну, не слышит, это понятно, в трансе человек, соображение отсутствует. Встал на ноги, оглядывается. Лёд – хрусть, и снова он в воде, одна башка торчит, без шапки. Я лестницу прилаживаю, к нему толкаю, чтобы ухватился он за неё, тогда его можно будет волоком вытащить. Бляха-муха, не достаёт лестница! А с обрыва Тамаркин голос пронзительный:

– Ну что, Сергеич? Чего ждешь?

Ждешь! Где тут ждать-то? Тебя бы сюда, громогласная! Я только рукой отмахнулся – замолчи, мол, и иди отсюда. Не ушла. Стоит на обрыве, как статуя Свободы. Ладно, не до тебя.

Толкая перед собой лестницу, я сделал несколько шагов вперед. Лёд крошился и шипел, как шкварки на сковородке – не лёд, одно название! Следы тут же наполнялись черной водой. Зыбкое дело. Так далеко не уйти. А правая нога тем временем, чувствую, проваливается все глубже.

Я с маху повалился в ледяное крошево.

Весенний лед самый опасный. По осени он хоть и тонкий, но прочный и держит надежно, а уж если толщиной со спичечный коробок – иди смело, будет прогибаться, но не проломится. Иное дело весной, когда он становится пористым, почернеет, вода ест его и снизу и сверху. Тут провалиться, как нос почесать!

Вот, помню, года четыре назад в такое время пошли с Палычем на рыбалку. Обычно ведь как? Из дому надо выйти пораньше, пока морозец за ночь воду поверху стянул и получилась этакая крепкая корка, у нас её наслудой называют – ходить по ней одно удовольствие. Часов до одиннадцати можно рыбачить смело, а после всё – уходи. Так мы всегда и делали, а в тот раз засиделись – окунь резво на безмотылку ловился. Глядь, а на льду-то никого кроме нас уже и нету.

Смотали удочки. До берега метров сто. Палыч только шаг один всего и сделал. Схрумкало негромко, и он, глядь, поплавок меж льдин колыхается! Вот так клюква, как говорил мой дед! Я сбросил с плеча ящик и бур Палычу протягиваю, дескать, хватайся, а он – нет, так же, как вот этот, локтями лёд крошит. Лёг я на брюхо и бур ему прямо к носу подсунул. Ага! Ухватился, чудило, за шнек, ну, я тянуть. И вытянул его на лёд. Такое дело. Лежим, как два тюленя. Мне аж как-то не по себе стало. И Палыч молчит, словно язык проглотил. На ноги-то встать боимся. Да. Так мы с ним оба до берега по-пластунски и ползли, а ящики на льду забыли – пропади они пропадом вместе с рыбой!

С тех пор по черному льду на рыбалку ходить я зарёкся.

А вот, однако, опять довелось хлебнуть адреналину! Подтолкнул я лестницу, гляжу, конец-то почти у самой кромки, где мужик барахтается, ему только бы руку протянуть. Он и протянул. Но не ухватился – камнем ушел под воду. Мгновенно. Я глаза его увидал – белые. А рука из полыньи пальцами враспырку так... будто пока, мол... Как Брежнев с мавзолея. И всё. Тихо стало. Потом Тамаркин крик раздался:

– Уто-о-п!

Но я на неё не глядел, не до того было. Будто паралич со мной сделался – лежу мордой в ледяной жиже и не могу ни рукой, ни ногой двинуть. Сколько времени прошло – не помню. Да немного, наверно.

Надо, думаю, выбираться. Собрался с духом и так же, лежа на брюхе, развернулся головой к обрыву. Потом зацепил на локоть лестницу и пополз на берег. А из головы не идет – как же так, вот только что был человек и нету его. Лежит на дне и не трепыхается больше, как бы согласен на такую жуткую участь.

До берега я добрался, а дальше идти – сил нет. Сел на бревно под обрывом, закурить хотел, да сигареты в кармане подмокли, так и бросил пачку в снег. Что ж, думаю, Тамарка, однозначно, в администрацию побежала, и это правильно. Значит, скоро явится, как положено, к месту происхождения участковый. Чего же мне домой тащиться, когда все равно сюда потом пойдем? Буду ждать.

Так и сидел я, а в голову разные мысли лезли – сначала отрывочные какие-то, а потом выстроились и понял я, что думаю про жизнь и про смерть. Вроде бы и думать тут нечего – живешь на земле, вот она и жизнь, а помирать все одно придется, вот тебе и смерть. Но так уж видно человек скроен, что начинает размышлять – зачем да почему? А когда у тебя на глазах вот так – был и нету – поневоле задумаешься.

Скажем, такой случай. Лет пять, пожалуй, тому. Работал я в городе на шабашке плотником – реставрировали клуб, понятно, из церкви в свое время перестроенный, а теперь опять под храм властью возвращенный. Дело к зиме, ну, руководство решило центральный барабан под куполом фанерой перекрыть – для сохранности тепла, значит. Высота от пола до этого барабана – метров двадцать, не меньше. У нас допуска, понятно, нет. Вызвали промышленных альпинистов, так теперь эти верхолазы называются.

Пришли трое парней, начали работать. Сразу видно – дело знают. Зарешетили барабан, уложили листы ДСП, стали их закреплять. Я еще подумал – им бы каждый лист сразу крепить надо, по отдельности, чтобы надежно, а не выпендриваться.

Ходят там, на верхотуре, песенки попевают. Про оранжевый галстук и всё такое. А я внизу пол ремонтировал, так что всё происшедшее собственными глазами натурально наблюдал. Точнее, как Сашка-то, самый из них младший, на край незакрепленного листа встал, я не видел, а как спорхнул он сверху – это да. Слышу крик: «Ма!...», вскинулся, а он уж в воздухе. Между небом и землей. Я и шевельнуться не успел. Быстро, считанные секунды. Хрясь! И брызги кровавые по сторонам...

Парню двадцать два года было, красивый, здоровый – жить бы да жить. А тут такая клюква... Смерть нелепая. Почему? Я тогда над этим голову ломал, а что толку – все равно не узнаешь. И заползает мысль: зачем все это, если даже сама жизнь зависит от случайности, или стечения обстоятельств, собственной глупости, наконец?

Этот пример про безответственность, я её глупостью называю. А вот другой – про случайность. У Тамарки, соседки моей, ерихонской трубы, племянница есть, была, вернее... Девчонка – золото! Училась в университете, заканчивала уже – умница, и с виду симпатичная, скромная, не в пример нынешним. В общегититии жила, комната на двоих с подружкой. И вот, прошлой весной дело было, полезла на подоконник, чтобы форточку открыть. Вот как это – человек форточку открыть намерен, воздуху ему охота свежего глотнуть, а выходит, что за смертью своей он на подоконник-то полез!

В оконном стекле была трещина, девчонки её скотчем заклеили. Ну, трещина и трещина – сто лет до неё никому дела не было. И форточку каждый день открывали. И племянница Тамаркина в то окно по сто раз



на дно, наверно, выглядывала, не зная и не предполагая, что вот она, смерть её – рядом, в той трещине и заключается, ждет своего часа... А кто тот час определил? Никому неизвестно.

Ладно, открыла девчушка форточку да и покачнулась, сердечная, на узком-то подоконнике и, чтобы удержаться, оперлась на треснутое стекло. Стекло расколосась, и она на острые зубцы – грудью. Зажала рану, еще и крови нету. Это потом уже... А подружка, видя, что та за локти себя обхватила, спрашивает: «Что, дескать, локтем ударилась?» – «Нет, – отвечает, – не локтем». И померла в ту минуту. Не успела и понять, что померла, я так думаю... Осколки стекла ей сердце и легкие напололам перерезали...

Что это как не случайность? Ведь форточку могла и подружка открыть, так? Так. А стекла могли в ребро воткнуться, могли? Могли. Так нет же! Только что девчонка конспект читала по истории средних веков, например, и вот – дзень – и лежит она на полу вся в крови, мертвая, а в молодых глазах удивление. Это как объяснить?

Если Бог жизнью и смертью распоряжается, то зачем Ему надо людей в самом замечательном возрасте забирать? Мысль эта крамольная всегда мне душу мутит, и я её гоню, конечно. Да только возвращается она снова и снова. Знаю ведь ответ, знаю, читал, и почему младенцы умирают, а что-то во мне не соглашается, вроде, несправедливость некая, и всё не так должно быть... А как? Всем вечно жить, что ли? Или умирать одним старикам? Так чем они хуже? Уж если жить вечно, так всем. Однако вот несколько минут назад мужик-то в польнье, как за жизнь царапался, и вдруг – раз, и нету! Можно, конечно, сказать: а не лезь, куда не следует, береженого, мол, бог бережет. Можно. Да что толку – утопленнику оттого легче не станет. Ему-то уж все равно.

Сидел я так и думал. Милиция, известное дело, у нас никогда не топчется. Так что времени у меня для размышлений было предостаточно. И вспомнился мне вдруг анекдот. Умер никчемный мужичонка и предстал пред Божьи очи. «Ну вот, – говорит ему Господь Бог. – Вот и кончилось, человек, твое земное житие». А мужичонка-то, вроде меня, вопросительный, возьми да и спроси Бога: «А зачем оно было мне дано, это самое земное житие, коли все равно помирать пришлось?» – «Как же, – беседует с ним Бог, с совопросником-то никчемным. – Как же, – говорит. – У каждого своя задача на земле имеется». – «И у меня была, что ли?» – «И у тебя». – «Это какая же?» – продолжает вопрошать с недоверием новопреставленный. «Помнишь, ты на курорт в Кисловодск ездил?» – «Ну, помню», – насторожился тот. «А в ресторане с Валентиной из Тулы, помнишь, как гулял?» – «Э-э, допустим...» – «Так, так, – говорит Господь, – а помнишь, за соседним столиком шикарная дама сидела?» Наморщил мужичонка лоб. «Нет, не помню». – «Ну-ка, ну-ка, припомянай!» – «Что-то такое вспоминается, правда...» – «Она еще тебя попросила соль передать, вспомнил? А ты не передал». – «Нет, это уж, точно, не помню!» Вздохнул Господь сокрушенно: «А вот она и была твоя задача на земле – соль той даме передать!»

Анекдот, конечно, аллегория, так сказать, а однако... Я вот живу уже седьмой десяток. Значит, соль-то еще не передал? И тут, будто голос во мне: «Передал!» Вздрогнул я даже. Как так? «А вот лестница-то и была твоей солью». Это уж и не голос, а я сам как бы отвечаю себе, а вроде и не я. «Так он не дотянулся до лестницы», – это я про утонувшего. «Так что, ты ж свое дело сделал?» А если бы...

---

Тут раздался шум мотора. Я поднял голову – на обрыве, заслоняя апрельское солнце, на месте громогласной Тamarки стоял, уперев руки в толстые бока, наш участковый по прозвищу Винни-Пух. Ну вот, подумал я, сейчас он тебе вопросы будет задавать. И все философские мысли улетучились из моей головы, словно их, как тучу комаров ветром с Волги сдуло.

## Ирина ДРУЖАЕВА

Городец, Нижегородская область  
(№ 1, 2023)

### ЛАРИОНОВА ОБИТЕЛЬ

Поддужные колокольчики почтовой тройки бренчали нервно и вразнобой. Ухабистая грунтовка петляла меж старых замшелых елей и сосен, почерневших от старости необъятных берёз с корявыми кряжистыми ветвями, вплотную подступавших к дороге.

Старый кондовый лес, густо заросший по низу колючими кустарниками и молодой порослью, укутанный в густые зелёные мхи и разноцветные лишайники, окружал старый Семёновский тракт плотной, тёмной, таинственной стеной. Этот веками проторённый путь вёл от Бора вдоль Линды в Семёнов и дальше, в керженские дебри.

У каждой развилки старой скитской дороги безмолвно встречали путников строгие староверские кресты да мелькали порой среди пожелтевших берёз деревянные безглазые голбцы.

Дорога становилась порой такой узкой, что сердитые колючие еловые лапы пытались достать и возницу, и его пассажира, словно грозя нарушителям границ и спокойствия этого древнего мира.

– Вот ведь, дорожина! На тихом ходу не задремлешь! Жуткое место! Добраться бы до станции до темноты!

Ямщик боязливо озирался, вглядываясь в мрачноватые заросли, со всех сторон обступившие тарантас.

Его пассажир, служащий почтовой службы Алексей Колчин, молча перекрестился и потрогал лежащую рядом саблю и кожаную сумку с пистолетом. Вместе с почтальоном в скрипучем тарантасе подпрыгивал на кочках, плыл над глубокими лужами грунтовки кованный сундучок с деньгами и почтой, желанная добыча для лихих людей.

Служба почтовая опасна и сродни солдатской, ни днём ни ночью покоя нет.

Тяжёлые дороги, то жара, то стужа, вечно замёрзшие и затёкшие от неудобной позы ноги. Из повозки выберешься – ещё долго звенят в ушах колокольчики и качает то назад, то вперёд.

А придётся ночью на почтовой станции заночевать, хоть и накормят почтальона бесплатно, и лежанку дадут, но сон у него тревожный, – вполглаза, сундук под голову, пистолет в руку.

А платили почтальонской шушере, как и ямщицкой черни, сущие копейки. Трудная работа у тех и других, а малооплачиваемая. А вот цели разные. Почтальону надо доехать поскорее, а ямщику главное – лошадей поберечь, где можно, шажком пустить.

Но на Семёновском тракте и ямщик не против быстрой езды, в страхе от тёмного леса и разбойников, которым эти дебри – дом родной. Да не разгонишься на ямах и ухабах.

Остаются русский авось и молитва. Да оберег всех перевозчиков и путешественников – иконка Святого Христофора на груди.

На службу почтовую Алексея нужда привела. От родителей остался ему маленький домишко возле Почаинского оврага в Нижнем, а больше ничего. Большой силой и смекалкой парня природа не наделила, худой, шуплый и не очень удачливый, в других местах оказался не к месту. Лучшей работы не нашёл, в почтальоны приткнулся, тут и остался. Пока один жил, всё было неплохо. Но как женился пять лет назад, трудностей прибавилось. Дочка Анютка родилась хорошенькой и здоровой, но и тут не повезло. Напугалась девчонка огромной соседской собаки. Да так, что перестала разговаривать и при любом испуге падать начала и в припадках биться.

Алексей от жалости к дочке места себе не находил. А чем помочь? Всё, что скопили с женой, на докторов потратили, да всё без толку. Только и осталось отцу, что побаловать чем можно Анюту. И в этот раз он пустился в опасную дорогу, считать полосатые вёрсты, ради Анютки, в надежде на хорошее вознаграждение.

При мысли о дочери Колчин тяжело вздохнул. И поёжился от студёного воздуха. Начало октября выдалось сырым и холодным.

После утреннего дождя осталась в воздухе взвесь мелких капель, скрывающая очертания деревьев. В такое ненастье сглаживалось понятие времени суток. Без ветра и солнца уже с обеда длились унылые серые сумерки.

Перед почтальоном маячила, покачиваясь, широкая спина толстого ямщика с кожаным номерком на тулупе. Почтальон задремал на миг, но очнулся от неясной тревоги.

Где-то рядом гукнул сыч, одиноко и угрюмо. Лес стоял вдоль дороги плотными чёрными стенами, из него словно исходила тьма.

Алексей вдруг почувствовал страх и инстинктивно достал из сумки пистолет.

Тишину дебрей разрезал, словно острый нож масло, звонкий свист. От этого звука и ямщик, и почтальон вздрогнули и покрылись холодным потом.

– Гони! – в ужасе прокричал Алексей.

Но испуганно фыркающих коней уже хватало под уздцы смутные тени мужиков. Алексей, словно оцепенев, увидел, как топор разбойника опустился на голову ямщика, капли горячей крови упали на лицо и руки Колчина.

И тут перед ним выскочила из тумана гнусно улыбающаяся бородастая рожа. В голове мелькнуло лицо дочери, Колчин очнулся от сковавшего его страха и выстрелил прямо в ощерившийся беззубый рот. Алексей выскочил из тарантаса, держа в руке бесполезный теперь однопалатный пистолет. Один из лиходеев успел ударить его ножом по руке. Другой разбойник уже занёс над почтальоном топор.

И тут произошло то, что не укладывалось в голове в рамки возможного.

Раздались крики ужаса перепуганных разбойников. Алексей успел увидеть, как мелькнула рядом неясная тень собаки, как бросилась она на мужика, ранившего его, и то ли отгрызла, то ли разом откусила голову злодея, и она покатилась к ногам остолбеневшего на миг Колчина. А собака вдруг поднялась на задние лапы. Не то пёс, не то человек взглянул на Алексея и исчез из вида вдогонку за грабителем.

У почтальона волосы встали дыбом, он бросился бежать без оглядки, не разбирая дороги, боясь страшной погони. И непонятно было, что страшнее – разбойники-убийцы или то непонятное и неведомое существо, которое с ними расправилось. Он бежал и повторял одно лишь слово.

– Свят! Свят! Свят!

Алексей не помнил, как проскочил колючие заросли, как метался между стволами шершавых сосен, как перескакивал поваленные деревья.

Колчин бежал, сколько мог. А потом упал возле корней берёзы. Поначалу он слышал лишь бешеный стук сердца и своё частое дыхание. А когда успокоился, стали слышны непонятные шорохи леса. Хрустели, ломаясь, сухие ветки, шуршала опавшая листва, и казалось, что рядом кто-то вздыхает. В полутьме со всех сторон словно подкрадывалось нечто незримое и непонятное.

Алексей схватился за раненое левое предплечье. Рана была глубокая, и весь рукав форменной шинели пропитался кровью. Она стекала по руке, капала с пальцев в траву. У почтальона закружилась голова.

– Вот и всё! Прости меня, дочка! Не привезу я тебе подарков...

Колчин увидел над собой смутный силуэт человека с собачьей головой, и сознание его помутилось.

Алексей очнулся и, не открывая глаз, прислушался к звукам. Он помнил всё, что с ним случилось, и просто боялся увидеть что-то ужасное рядом. Но воздух был тёплым, пахло кашей и лампадным маслом, а старческий голос монотонно шептал знакомую молитву.

По щеке почтальона скатилась слеза, он погладил старинный крест и образок на груди здоровой рукой, открыл глаза и перекрестился.

– Слава тебе, Господи...

Колчин лежал в избе с низким потолком на покрытой овчинным тулупом широкой лавке. Из угла, освещённого трепетным пламенем лампы и свечей, с древних икон сурово смотрели лики святых. А перед иконами на коленях стоял человек в чёрном одеянии.

Раненый пошевелился и застонал от боли. Рука была кем-то умело перевязана, но сильно болела.

Старик поднялся и подошёл к Алексею.

– Очнулся, мил человек? Вот и славно! Свезло тебе, такой лютой смерти избежал! Как только таких супостатов земля носит!

Голос у старца был ласковый и спокойный. Алексей облегчённо вздохнул.

– Где я? Кто вы?

Старик подоткнул под бок раненого старое лоскутное одеяло и погладил образок святого на груди Алексея.

– У добрых людей. Отец Иоанн я. Лежи спокойно, рану не разбереди. А образок хороший носишь. Потому и помощь вовремя получил.

Алексей с благодарностью увидел рядом свои постиранные вещи. Даже перепачканную кровью шинель кто-то заботливо вычистил и аккуратно заштопал.

Рана оказалась тяжёлой. Колчин медленно шёл на поправку с помощью монахов маленького староверского скита и с интересом приглядывался к месту, в котором оказался.

В обители было человек тридцать мужиков разного возраста. Были и глубокие старцы. Колчина никто не чурался, отдельной посуды не предлагал. Значит, к поморскому согласию они не относились. А к ка-



кому толку старой веры относилась здешняя братия, почтальон не выведывал. Никто не запрещал Алексею ходить где хочет. Но и без пригляда не оставляли. У него всегда было чувство, что кто-то наблюдает за ним.

Несколько старых деревянных домов, в которых жили монахи, с моленной комнатой в одном из них, соединялись меж собой крытыми переходами. Позади располагались скотный двор, конюшня с лошадьми, сарай, огород, вспаханное поле.

Скитские строения располагались на берегу неширокой, но глубокой речушки с быстрым течением. На ней даже виднелась небольшая мельница. А вокруг частоколом стоял дремучий лес, словно отделяя и охраняя скит от остального мира.

Алексей походил по краю чащи. Но наезженной дороги нигде не обнаружил.

– А как вы добираетесь сюда без дорог?

На этот простой вопрос монахи ответили столь же просто.

– А никак. Зачем? Всё, что надо, у нас есть. Лес, река да огород кормят. Слава Богу, урожай нынче хороший. Всё уже в закрома прибрали. И лес здесь благодатный. И речка, хоть невеличка, а рыбой богата.

Кормили гостя просто, но сытно. А ещё поили отварами трав и ягод. Отец Иоанн делал Алексею перевязки с ароматной мазью.

Чем лучше становилось Колчину, тем больше вопросов теснились в его голове.

Почтальон думал о том страшном вечере в лесу. Кого он видел в тумане? И как он сам попал в скит? И отпустят ли его восвояси или отсюда нет исхода обратно в мир?

Монахи вставали на рассвете, проводили время в труде и молитве. Раненного гостя никто не принуждал к строгому распорядку. В поисках отца Иоанна Колчин заглянул в моленную.

В комнате, наполненной старинными образами, всегда теплились лампы. Алексей впервые с интересом разглядывал иконы древнего письма. И застыл возле одной из них. По спине поползла струйка холодного пота.

– Что это?

Колчин вздрогнул от прикосновения. Отец Иоанн подошёл совсем неслышно и внимательно смотрел на гостя.

– Чего испугался-то?

Алексей не мог отвести взгляд от странной иконы. Она была в почерневшем от времени, но местами до блеска отполированном, серебряном окладе и занимала самое центральное место иконостаса. Икону явно выделяли и особо почитали. И чаще других образов прикладывались к ней. С чёрной закопчённой доски строго смотрел на Алексея человек с головой то ли собаки, то ли другого неведомого существа со звериным оскалом.

Существа, с которым почтальон столкнулся на Семёновском тракте. Алексей не сомневался, что это именно так. Неизвестный художник явно видел это существо своими глазами, так как оно было слегка похоже на собаку, но отличалось от неё.

– Кто это? – Колчин спросил почему-то шёпотом.

– Святой Христофор. Аль не узнал? У тебя на груди иконка его висит, такая же старинная видать! Ныне пишут его иначе, с человеческим ликом. А этой иконе несколько веков. Мы здесь почитаем его особо.

– Так образок крошечный, толком и разобрать уже, кто на нём. А тут...

Иоанн указал на лавку.

– Присядем. Ты, вижу, давно поговорить о чём-то хочешь.

Алексей рассказал Иоанну всё, что произошло с ним и ямщиком на дороге. И о странном страшном существе, расправившемся с разбойниками.

– Выглядело оно точь-в-точь, как этот святой на иконе. Как такое может быть? И почему этот пёс-человек не разорвал на куски меня, когда я упал от слабости?

Отец Иоанн покачал головой.

– Раз хочешь знать, расскажу. Не знаю, отпустит он тебя или нет. Не мне решать. Но только поклянись самым дорогим, что сохранишь чужую тайну. Подумай, прежде чем ответить. Это совсем не так просто, как кажется. Искушений много будет...

– Клянусь, батюшка! Самым дорогим, что есть – дочкой клянусь, никому слова не скажу.

– Что ж. Слушай. Скит этот на реке, почитай, два века стоит.

Трудные были времена. То гонения, казни, ссылки всем, кто старую веру исповедует. То послабление ненадолго. И опять разорение монастырям и скитам, добрым людям испытания да мытарство.

А про нашу Ларионову обитель никто слыхом не слыхивал, видом её не видывал. Ни царские, ни церковные власти к нам не наведывались. Никто не проверял, не разгонял, не притеснял. Вот и смекай, почему? Потому, что у монастыря защитник есть. Никто сюда без его разрешения не войдёт и не выйдет. А появился он в стародавние времена, при первом настоятеле, старце Ларионе. Старец сюда, в дебри лесные, с севера пришёл вместе с несколькими братьями соловецкими. Тут и обосновались, обжились...

Отец Иоанн рассказывал, а Алексей слушал затаив дыхание.

Недалеко от скита охотник-отшельник жил. Нелюдимый да жестокий. И зверью, и новым поселенцам-соседям житья не давал. По всему лесу вокруг капканов наставил. И вокруг обители тоже, да прикроет так – не увидеть.

В такую ловушку и попал по весне маленький щенок. Нашёл его сам старец Ларион. Никто не верил, что выживет пёс. Уж очень серьёзны были раны. Братья монастырские щенка разглядывали, дивились на вид его странный: вроде пёс, а вроде и нет. Не пойми кто. Уговаривали настоятеля животину утопить, чтоб не мучилась. Ларион не позволил:

– Всё Богово. И это создание тоже. Судьба ему выжить – пусть живёт с нами. А вот с охотником поговорить надо. За ограду страшно выйти – любой может в капкан попасть.

Пошли к нелюдимому соседу три самых сильных монаха. Кто его знает, что этому отшельнику в голову взбредёт? То, что они увидели возле избушки охотника, перепугало братию до смерти. Возле крыльца трава была залита кровью, повсюду разбросаны останки человека. Голова охотника лежала на крыльце, огрызненная неведомым зверем.

Ни оружия, ни капканов нигде не нашли.

Зверья в девственных таёжных лесах Заволжья много было. Решили, что волки задрали отшельника. Хоть сомнение многим затылок холодило. Не слыхивал никто, чтоб об эту пору волки на человека нападали.

Похоронили охотника по православному обычаю рядом со скитом на песчаном холме, положив начало скитскому погосту. Молились после этого иноки истовей, чем прежде.

Старец Ларион костоправом был и травником. Выходил щенка. Поначалу щенком считали, похож был на собаку. А когда пёс подрос, удивил всех несказанно. Вовсе не собакой оказался. Человеком. Только с головой, на собачью похожей.

Псоглавец . Люди и слово это забыли уже. А племена такие жили в старину во многих местах. Оказалось, что среди здешних лесов и болот тоже обитали.

Теперь монахи по лесу с опаской ходили. И многим казалось, что наблюдает за ними кто-то в чаще. Но не показывается. Пришлось инокам с этим смириться. Без даров леса тут не прожить. Он и кормит, и греет.

Старец псоглавцу имя дал по дню наречения – Виссарион. Братия поначалу с отношением к новому члену общины не определилась. Одно дело – щенка приютить. И совсем другое – существо непонятное и пугающее. Но все споры затихали, когда рядом Виса оказывался. Всех псоглавец очаровал. Ласковый, а глаза такие удивительные – огромные карие с золотистыми искрами, свет излучающие.

Окончательно примирила монахов с присутствием Висы древняя икона святого Христофора с пёсьей головой. Большая икона в серебряном окладе, одна из немногих, которые удалось старцу принести с Севера.

Пока думали да спорили, рос Виссарион не по дням, а по часам. Ходит на двух ногах, одежду ему справили, слова понимает. И что совсем чудно, его тоже все понимать стали, без слов. Словно мысленно разговор ведёт. А потом и говорить начал – невнятно, но разобрать можно. Как – неисповедимо.

Поздней осенью в скиту переполох случился. Из леса иннок грибник прибежал, криками всю братию собрал. Руками машет, на опушку чащи показывает. А там... На краю леса псоглавцы стоят. Сколько, со страху не разобрали. Много.

Виса увидел их, закружился волчком, на четыре лапы встал и убежал к лесу. Все псоглавцы вдруг поклонились в сторону скита и мгновенно пропали из вида. Не было Висы три дня. Три дня монахи от страха тряслись, выйти из изб боялись. А как взаперти усидишь? Хозяйство, скотина внимания требуют.

Но никто настоятеля не попрекал, что приютил существо странное. Все к Виссариону привязались.

На четвёртый день вернулся Виса. Один. Без одежды. Долго с Ларионом в келье разговаривал.

Когда все на вечерню в моленной собрались, Виса, уже в штанах и рубахе, монахам поклонился и заговорил. Где вслух, а где без голоса, сразу в голову проникая, рассказал свою историю.

Псоглавцы жили в этих местах до того, как сюда пришли люди.

Сначала многочисленное племя мари поселилось в девственных лесах Заволжья, потом появились русские поселения. Псоглавцы, обладая способностями предвидеть, предчувствовать и понимать без слов другие существа, своё присутствие особо не показывали, но и не прятались. Много вокруг Линды да Керженца было и есть глухих и недоступных мест. Они наблюдали за происходящим. До поры. Пока не встретились с неоправданной злобой, жестокостью и агрессией.

Убить псоглавца не так просто, он провидец, обладает невероятной силой, скоростью, острейшим зрением, различает запахи на многие

километры вокруг. А ещё... Наделён зубами, прочными и острыми, как лезвие бритвы. И отсутствием неоправданной агрессии. В племени псоглавцев не было придумано оружия.

Но вид псоглавцев был так неприятен, странен и пугающ для многих людей, что побуждал желание уничтожить неведомое существо. Есть люди, от природы наделённые звериной сутью убийцы, а есть такие, кто от страха зверем становится, столкнувшись с непривычным и непонятным, а потому – страшным.

Пришлось племени необычных людей применять для защиты себя самое страшное, что у них есть – острые и прочные зубы. Так что не только вид, но и упоминание о псоглавцах стало внушать ужас другим племенам, населявшим Заволжье.

Шли века, людей в крае становилось всё больше, а вот псоглавцев всё меньше, хоть и жили они гораздо дольше людей, многие и до трёх столетий дотягивали. По неведомой причине детей у племени рождалось очень мало, а выживало ещё меньше. Каждый малыш становился событием, и берегли его всем племенем, скрывающемся среди топких болот и непроходимых дебрей.

Старец Ларион и братья сильно рисковали, приняв в скит Вису. Любителя капканов, от которых пострадал ребёнок, безжалостно и без нужды убивавшего всё живое, жестоко уничтожили. Монахи и не догадывались, что соплеменники Висы всё это время были рядом денно и ночью, наблюдая за малышом.

У псоглавцев было острое чувство справедливости, свои понятия о добре и зле, о милосердии и благодарности. Порой отличные от привычных людских. И способы наказания и расправы тоже до дрожи жёсткие и нечеловеческие. И, как оказалось, способы вознаграждения тоже невероятные.

Псоглавцы знали, чувствовали, что малыш смог выжить только благодаря целительскому дару старца и доброму отношению всей братии. И не пугали монахов все эти долгие месяцы, не пытались показываться или выкрасть Вису. Просто общались с ним всё это время так, как дано им с рождения, – на расстоянии, мысленно.

Но места здешние, глухие по меркам людским, стали слишком суetyными для псоглавцев. Этой осенью удивительное племя уходило в другие края, отдалённые и безлюдные. Вот тогда и пришли они попрощаться с монахами и Висой, хоть раз обнять его. Подросший псоглавец принял уже своё решение. И был понят своим племенем. Он оставался.

Лучшие предсказатели увидели будущее края, новые гонения и мучения ревнителям старой веры, убийственные костры, ямы и кандалы. И Висе не препятствовали из благодарности к спасителям стать хранителем, защитником и оберегом обители. Наоборот, поручили ему эту службу от лица племени.

Алексей впервые прервал рассказчика.

– Так это был он? Со мной, в лесу?

Старец кивнул.

– Да. Он живёт так, как хочет. У Виссариона есть своя келья с отдельным входом. Когда он здесь, одевается, в трапезной питается с нами. Много читает, книги священные изучает. Но когда у него случаются видения, может исчезнуть на несколько дней. Несёт свою службу. Два с лишним века уже несёт.

Никто враждебный к скиту и близко не подходил.

Без его разрешения мы новых насельников не принимаем. Висе стоит в глаза человеку посмотреть, он сразу скажет, по судьбе ли ему тут быть. Почитай больше половины братии он от разных напастей спас или от лютой смерти. И всем им тут дом родной. Вот и твою судьбу ему решать. За всё время моё тут один случай был, что разрешил он уход из скита.

Про псоглавца в лесах все местные знают. Легенды разные ходят. Никому и в голову не приходит встречи с ним искать. Причину ты своими глазами видел.

Не любит Виссарион воров, убийц, разбойников разных. А их в эти края как магнитом тянет. Но по этой части тракта лихие люди с опущенной головой и на полусогнутых идут, все молитвы вспомнят, пока минуют.

Те, что на тебя напали, не здешние. Впервые решили на керженских зимницах побывать. Туда путь держали. Да не там лиходействовать стали. Не потерпел защитник такой наглости, в его владениях добрых людей губить. За одного доброго человека спасённого он без жалости всех и положил. Тут я бессилен Вису переделать. Такое у него врождённое чувство справедливости. А нам лишь молиться за него остаётся.

Думаю, что теперь ты готов к встрече с ним. Да не трясись. Если любовь твоя к дочери велика, собери все силы для этого разговора. О ней думай.

А уж я помогу чем могу. У нас в скиту всегда целители были. Вот и мне умение передали.

Старец Иоанн поднялся с лавки.

– Иди за мной, он зовёт.

У Алексея вдруг закружилась голова, а ноги словно свинцом налились. Он боялся упасть в обморок и всё испортить.

Но едва переступил порог кельи, страх исчез без следа. И странное обличье двухметрового Виссариона не напугало. Псоглавец пристально посмотрел в глаза Колчина.

– Видел твой образок. Откуда он у тебя?

– От деда достался.

– Деда Иваном звали?

Колчин с удивлением смотрел на Виссариона.

– Да, Иваном.

– Знаком мне этот образок. Сам Ивану передал. А слово данное дед твой сдержал. Никому не рассказал про тайны здешние.

– Так он был здесь, дед Иван?

– Хорошим человеком он был. Ты послабее, Алексей. Тяжело тебе будет тайну нашу хранить. А придётся. Ладно, некогда нам разговоры вести.

Псоглавец взял со стола маленький образок и протянул Алексею.

– Идти ты уже можешь. Торопиться надо, а то беда случится. Вот для дочки образок. Пока он при ней – всё будет хорошо. Я сам тебя провожу.

После неспешных, спокойных дней, проведённых в обители, за которые он залечил рану, отдохнул и отъелся, отрешился от забот и проблем, всё изменилось за несколько минут.

Алексей смутно помнил потом суетливые и быстрые проводы. Иоанн передал ему травы и настойку для дочки, монахи собрали узелки с едой и проводили к воротам. Когда Колчин увидел осёдланного коня, чуть не заплакал от досады.



– Так ведь я никогда верхом не скакал.

– Ничего, и одной рукой удержишься за меня, – Виссарион вскочил в седло, монахи помогли Колчину устроиться за ним.

Алексей обнял Вису правой рукой, со всей силы вцепившись в его одежду. И конь тронулся.

Псоглавец гнал коня сквозь чащу, ветки безжалостно хлестали почтальона по голове и спине, лицо он прятал за спиной Висы.

Скакали порой по тракту, порой по лесу, а порой едва пробирались сквозь валежник. Виса выбирал дорогу, чтобы никто не попался на пути.

И лишь когда Алексей совсем обессилел и стал терять сознание от неудобной позы, Виссарион остановил коня и помог спуститься Колчину.

– Всё. Отдохни малость. А дальше – пешком. Что людям сказать, тебя Иоанн научил. Не увидимся больше. Встреч с нами не ищи.

Псоглавец вскочил на коня и исчез из виду, словно и не было никого.

Почтальон сидел на холодной обочине и как околдованный слушал многоголосую тишину леса. Она неуловимо звенела и состояла из множества чуть слышных и совсем почти неслышимых приятных уху звуков. К ним добавилось что-то совсем другое, приближающееся и звонкое.

– Колокольчик! – обрадовался Колчин.

Удивлённый ямщик притормозил коней возле человека в форме почтальона.

Алексей вздохнул полной грудью. Он возвращался из другого мира в прежнюю жизнь, полную забот и тревог, но такую желанную сейчас.

Дома было столько радости! Ведь Алексея считали убитым двадцать дней! Долгих и чёрных, как ночь без луны.

Первое, что сделал Алексей, попав домой, – повесил на шею Анютке иконку, подаренную Виссарионом. Псоглавец не зря торопил Колчина, дочке несколько раз становилось очень плохо в эти дни. Травы от Иоанна и образок сделали чудо, в которое он поверил ещё в скиту. Девочка не испугалась изображения Христофора-псоглавца на образке, наоборот, гладила иконку и ласково шептала:

– Собачка! Хорошая!

Анютка быстро поправилась. Перестала заикаться и падать. Приступы больше не повторялись. И, на удивление всей улице, вдруг полюбила собак. Без страха подходила и к маленьким шумным собачонкам, и к огромным сторожевым псам. И они никогда на неё не лаяли, а наоборот, ласкались и защищали.

На службе удивления было тоже немало. Алексей узнал, что следом за ним в Семёнов по служебной надобности мчались на почтовых судебные следователи из Нижнего. Они и застали на дороге страшную картину: возле тревожно храпящих коней – зарубленного ямщика, одного застреленного разбойника и ещё трёх, загрызенных неведомым зверем. Как всегда, списали это на волков, надо же хоть как-то объяснить непонятное происшествие. Нашли брошенный почтальоном пистолет, нетронутый сундук с деньгами в тарантасе. Почтальона долго искали, прочёсывали лес, но без результата.

Алексей объяснил своё исчезновение тем, что убегал со страху от погони с тяжёлой раной, потом долго был в беспамятстве, что выходил его старый охотник на займке в лесу.

Следователи и доктор, осмотрев раненую руку Колчина, долго удивлялись и качали головами.



– Удивительно! До кости разрублена, а уже и рана затянулась, и рука действует! Вы счастливчик, батенька!

Так что почтальона за полученное ранение и сохранённые казённые деньги повысили в звании и наградили деньгами.

Жизнь налаживалась. Происшествие на Семёновском тракте уходило в прошлое, но не забывалось. Да и глубокий шрам на руке напоминал о нём то и дело. Только теперь понял Алексей, о чём предупреждал старец Иоанн. Молчать о случившемся и впрямь было тяжело. Искушение, испытание непростое. Но выдержал Колчин. Сдержал свою клятву. Никому не проболтался про скит, его обитателей и хранителя.

На следующее лето привели Алексея дела служебные в Городец, потом в село Сухарёнки. Время позволяло, зашёл он в Егорьевский храм. И замер возле иконостаса. Нигде, кроме скита, и крошечных образков, доставшихся от Висы, не видел он такой иконы святого Христофора. С образа глядел на почтальона Виссарион, как с натуры списанный. Колчин решил, что это знак. Раз в скит ему дороги нет, сюда будет приезжать. С тех пор раза два-три в год приезжал Колчин с семейством на службу в Сухарёнки, у иконы Псоглавца Христофора молился, благодарил за чудесное спасение своё и дочери, иногда просил или спрашивал псоглавца о чём-то важном для себя.

И казалось Алексею, что он слышит ответ в своей голове. А может, и не казалось вовсе?

Он прислушивался к этому мысленному совету.

И чудеса продолжали случаться, принося удачу и радость. Ведь чудеса противоречат не природе, а нашим знаниям о ней. Чудо случается, если в него верят.

## Геннадий ЁМКИН

*Саров, Нижегородская область*  
(№ 4, 2024)

### ЛИЛИИ БЕЛОСНЕЖНЫЕ

– Чес-слово, я так больше не буду! – виновато и веря в искренность своих слов, обещаю я маме, устроившей мне не то что нагоняй, а, пожалуй, и целую выволочку за то, что я взял из шкафа тюлевую занавеску, которой мы с пацанами, как бредешком, ловили рыбёшку во время походов на речку. К моей радости, никакого наказания за мой проступок я не получаю. Испорченная напрочь занавеска, естественно, остаётся в моём пользовании. А мама, охая, упрекает уже батю: «Научил ребёнка на мою голову!» Это она о том, что он сам-то с мужиками на Мокшу ездил рыбалить пару раз, да не с бреднем, а почти уж и с неводом!

Рыбаком отец, по сути, не был; так, ездил иногда за компанию со своим другом дядей Альбертом Пичугиным. Вот тот был заядлым рыбаком! А снастей у него было – ого-го! И однажды он даже подарит мне настоящий двухколенный, клеённый из бамбуковых пластин, с пробковой ручкой, спиннинг вместе с «Невской» катушкой!

В цеху ни у кого из батиних приятелей не было машины. А у нас была! Зимой профсоюз продвинул папке очередь на машину с третьей на первую. Бывший первым в столярке по очереди, схлопотав выговор за пьянку и прогул, был поставлен куда-то в конец очереди, второй почему-то сам отказался. И, когда машины уже пришли в магазин, батю и предложили: бери, мол, Максим Степаныч! Родители, назанимавши денег у родни, у знакомых, взяли в кассах взаимопомощи и купили замечательную синюю машину «Москвич-408»! Вот из-за машины цеховые приятели и пытались затянуть папку в рыбацкую компанию. После первой поездки батя привёз столько и такой рыбы, что я не то что за всё лето никогда не налавливал, но и не выдывал такущих огромных! Лини, лещи и подлещики, язи, судаки и шуки, не считая крупнющей плотвы и карасей! Естественно, я и напросился на следующую рыбалку ехать вместе с ним.

Кто-то в столярке из батиних приятелей, таких же работяг, как и он сам, был родом из Жегалова, села, что километрах в тридцати от города. Крайними своими домами оно враз на Мокшу и выходит. Так вот, с местными там всегда договаривались, когда надо приезжать рыбалить, – подгадывали день, когда в райцентре на смену заступала знакомая бригада рыбнадзора. И в этот раз к приезду городской компании всё было готово. Встретили нас километрах в пяти за селом на берегу Мокши. Несколько взрослых ребят и трое мужиков ждали нас на высоком в этом месте, со стороны села берегу. Лодка, невод – всё было готово.

Сидим над Мокшей – под обрывом омуток, вода в нём кручёная, тяжёлая, непроглядная. А вот там, где за стремниной от излучины к

нашему берегу коса отходит, по обе стороны от неё мель желтеет. Вода за косой тихая, видно, как окунь малька гоняет. Бах, бах! И мелочь рыбья, и брызги – всё серебряное на солнце – в разные стороны! Некоторая мелочь даже на берег вымётывается. Дух захватывает! Чуть позже опять бац, бац! Опять – серебро брызгами! Даже долгоносый куличок, что по косе ходит, замрёт. Прислушается. Голову повернёт, наклонит её и, словно мальчишка, присматривается, сколько блинчиков по воде, брошенный им камушек отсчитает. Опять расхаживает, чего-то выискивает. Остановится. Замрёт. Клю! В воду. И ходит опять, ходит. Присматривается. Прислушивается. Длинноносый...

За прибрежным ивняком луга заливные, далеко видно, вон стадо пёстрое. Пацан с дядькой за ним идут. И ещё видно много. Простор. Ветер.

Понятное дело, взрослые, пока не свечерело, стали отмечать приезд, предстоящую рыбалку. Выпивают, курят, разговаривают. Ну, это ихние взрослые дела. А я – на Якорную заводь (на ней-то и собрались ночью невод таскать) с удочкой. А то как же, из-за этого и ехал. Мокша славится рыбалкой. Рыбы в ней всякой – во-о! Заводь красивая. Кувшинки, лилии, камыш в самом конце. У неё оба берега высокие, но не обрывистые. Из-под одного в нескольких местах ключи бьют, вода прозрачная-прозрачная, водоросли прямо ото дна видно, а глубина-то – с ручками, да ещё и дна не достанешь! Мальки среди водорослей мелькают, щурёночка можно иногда затаившегося увидеть. Стоишь, смотришь на воду, на кувшинки. Те жёлтые-жёлтые, бочончатые. Лепестки, правда, немного кургузо-полукруглые, но всё равно красиво! Среди кувшинок и ближе к середине заводи цветут лилии.

Вот эти белые лилии в Якорной заводи – самые красивые из всех цветов, что я видел! Белоснежные, остролистные, в обрамлении зеленой остролистной же короны, собраны в маленькую-маленькую вазочку из смотрящих в стороны и вверх лепестков, в центре которой – колечком щёточка, желтее жёлтого цвета, из множества глянцевых тычинок, окружающих красновато-оранжевое донце. Такой нежный цветок и рвать жалко. Засмотришься. Красиво.

И лилии, и кувшинки, на ночь закрывая свои цветы, скрывались под воду. Кувшинки – превращаясь в маленькие зелёные, чуть приплюснутые сверху вниз кубышечки, а лилии смыкались в вытянутый, островерхий, тоже зелёный, но с белыми прожилками бутон (наружные зелёные лепестки не имели уже силы так плотно сжать весь цветок, чтобы совсем скрыть от глаз белизну внутренних лепестков).

Вечер разомлел. Стрекозы летают. Синие, зелёные, есть даже ярко-голубые с чёрными крыльями, они больше на осоке сидят небольшими группками, переговариваются, наверное. Вот коричневая стрекоза, она в несколько раз больше зелёных и синих. Толстая. Гудит как боевой вертолёт! Слышно, как её крылья шелестят, страшновато шелестят. Прилетела, висит прямо напротив моего лица, кажется, дунь – и прогонишь. Да как-то уж больно пучеглазо она смотрит на меня, кажется, даже опаснее, чем пчёлы на Винни-Пуха, после того как Винни заглянул к ним в гнездо. Висит. Смотрит не по-доброму так, смотрит – пучеглазо. Жужжит. Нехорошо жужжит – страшновато. А главное, там, где рот у неё, там шевелятся два каких-то загребательных коготка. Нехорошо так шевелятся. Висит и смо-отрит. Тут ещё одна такая же подлетает. Ну, думаю, всё! А чего «всё», пока ещё не знаю. Но нехорошее думаю... Прилетевшая стрекозица на меня посмотрела

как-то невнимательно. Обидно даже посмотрела. Переглянулись эти обе пучеглазо, пошевелили своими жвалами, о чём-то договариваясь, и полетели будто куда, да первая, остановившись оглянулась и такое выражение своей морды сделала, словно сказала: «Не уходи никуда, ужин!»

Улетели в догонялки играть. Уф! Отлегло.

Я и о поплавке-то забыл. Вот он, сделанный из пробки, со спичкой, зажимающей леску в отверстии, прожжённом гвоздиком внутри поплавка. Он так замер, словно в лёд вмёрз. А вода такая же, как лёд, и есть – прозрачная-прозрачная, ти-ихая. Вдруг какая-то рыбища ка-ак вывернется – ба-бах! Только круги на воде. Кувшинки и их лопухастые листья покачиваются. И обязательно ведь у того берега! Обходишь заводь, а заводь длинная, обходить полкилометра, наверное. Сейчас я её! Вот здесь плесканулась. Забрасываю. Замираю. Всматриваюсь в поплавок. Не клюёт. Всматриваюсь ещё внимательнее, с прищуром уже. Всё равно не клюёт! Потом начинаю рыбу уговаривать: «Ну давай, давай, чего тебе ещё? Червяк такой хороший! Навозный! Полоски у него поперёк то красные, то желтоватые. А вёрткий! И после того как на крючок насадишь, всё равно хвостом так и крутит, так и крутит! Вкуснющий, говорю, червяк!» Даже губами причмокиваю. Ну что ж не клюёт-то, зараза?! Давай! Давай! Ключи!

Я вот потом пацанам-то расскажу, как я тебя вытаскивал! От зависти загнутся, как начну рассказывать, что я тебя – и туда, и сюда! Удочка в дугу, трещит! Ко мне на помощь уже бегут. А я говорю: «Не надо! Я сам!» И вот полчаса уже так друг друга перетягиваем. Наконец, поднимаю твою голову над водой, а ты только воздуха хлебнула – и всё!

Сдаётся рыбина. Ложится на бок. Лещ! Я его, эту сковородину, подвожу, конечно, без всякого сачка, под жабры пальцами сжимаю, у-у, лещуга! Тяжеленный! И тут я пацанам показываю нехилый бицепс, но я, мол, – во! Видали? Все пацаны переводят дыхание (жалко, что ещё никто не курит всерьёз, а только пробовали, а то нервно бы затягивались!). Да! А возразить-то никто не может! А то – айда смотреть! Вот он лещуга! Разлёгся на полванны. Жёлтый! Светится весь! Хвостиче – лопатой. И он им – ба-бах! Ба-бах!

От этого «бабаха» я сам уже очнулся. Да что ты будешь делать! Опять на другом берегу... Хватаю банку с червяками, – туда. Всё повторяется – не клюёт. Придётся пацанам рассказать, что два раза леску рвало. Ну, вот разве, для пушей убедительности, кончик у удочки надломить? Нет, это не годится. Починяй потом... Да... Теперь обратно под тем берегом – ба-бах! Ба-бах!

Невод начали заводить уже по темноте.

Втроём на лодке завозили одно крыло его аж под самый другой берег и, делая дугу, причаливали обратно недалеко от того места, где в нетерпении дотягивали уже свои беломорины ожидающие на берегу. Взявшись по четверо с каждого крыла за толстые палки-жердины, начали вытягивать невод. Поначалу снасть идёт ходко. Капроновые ячейки рассекают воду со свистящим шелестом. Но постепенно ячейки невода забиваются длинными шелковистыми водорослями, что растут со дна, и жёсткими, теми, что похожи на хвощи и растут ближе к берегу, листьями кувшинок и скользкой тиной... Большие гайки-грузила, что на нижнем шнуре, заставляют нижнюю часть невода врезаться в донный ил и загрэбать в свою пасть всё, что попадает на пути: ракушки, мелкие коряжинки, комья глины, раз-

ный мусор и мечущуюся во всём этом ужасе рыбу. Вот сквозь забитые водорослями ячейки вода начинает проходить уже плохо. Тяжело пошёл невод.

Ночь, темнотища! Мужики тяжело дышат, с просвистом. Сперва поругиваются. Палки-жерди аж потрескивают, выгибаясь. Тяжело идёт невод.

Кое-кто, оскальзываясь, и припадёт уже на колено. Подгоняют друг друга: «Давай! Давай!» Уже не то что поругиваются или разговаривают с матерком, а даже и кряхтят-то матом. Вода в забитые ячейки почти не проходит и шумным буруном переваливается через верхний шнур с большими, в кулак, пенопластовыми поплавками, и всем своим зевлом ненасытная, заглатывающая махина пытается уже всю ту часть заводи, что очертили дугой, всю её и выволочь на берег. В проявляющемся иногда слабom, рассеянном свете луны (сама луна появляется лишь в разрывах облаков, словно и смотреть не хочет на эту пагубу) видно и слышно, как за крыльями-щеками невода, в жадной пасти его, переходящей в глотку, пробулькивает, вскипает, плещется и будто жалобно попискивает.

И вот невод с трудом, рывками уже, но выволакивает свою ношу на берег. А мне ещё и представляется, что за самое окончание его, за мотню, в которой лежат железяки-грузы, водяной уцепился и пытается удержать невод, упирается во дно своими ножищами-кореньями. Да куда там удержать! Вон сколько этих мужичищ остервенело, сами все в поту, ругаются, но прут и прут себе в высокий берег эту мерзкую снасть! Вот и пробулькивает вода в ячейках, вскипая. Вот и поднимается муть за этой ужасной снастью, вот и слышится водяное сопение! А мужики кряхтят ещё громче, ещё упорнее и матернее! И тянут, тянут-таки водяного, уцепившегося за невод. И он, изранив ручищи свои железяками-грузами и раздирающими кожу ячейками невода да с избитыми о камни, ракушки и коряги ногами, у самого берега, обессилевший уже, со стоном и горьким, раздающимся по воде во всю ширь заводи «У-у-у-ух...» выпускает из рук гибельную эту снасть.

Ворохается в туго набитой мотне, всплескивает, всхлипывает, шевелится...

Двое мужиков, взявшись за осклизлый конец мотни с сочащейся из её ячеек жижей, поднимают его сначала до уровня пояса, потом до груди, стараются вытрясти её содержимое ближе к нижнему шнуру невода, а затем и вывалить всё на траву.

Рыбы было много! Язи, лини, лещи, караси, судаки, щуки и прочие плотвички да окушки. Из мелкой рыбёхи – много давленной. Крупные светлые рыбины, если были не залеплены тиной и грязью, – лещи, язи, крупная плотва, те ещё проблёскивают в пробивающемся иногда сквозь разрывы туч лунном свете. Но в основном вся рыба, ворочаясь в жиже из ила и тины, облепленная водорослями, почти не видна, и находить её приходится при помощи ощупывания растекающегося по траве месива да по затихающему рыбьему шевелению. Раков крупных, чёрных – неведомо сколько! Они, подбивая под себя хвостами, всё назад пятятся, выставив перед собой жуткие шипастые клешнищи. И предстает мне, что глазки их словно и не успевают за туловищем и потому, вываливаясь наружу из-под низкого, с шипами же, рачьего лба, телепаются на пружинистых проволочках. Страшно.

Пищат те, которые недораздавленные и уже не в силах упрыгать, лягушки и совсем ещё маленькие лягушата. Крупные, больше ладони,

ракушки с каменным стуком бьются друг о друга, когда их вытряхают из мотни, и тоже будто попискивают...

Под утро мужики остаются довольны уловом! Четыре или пять полиэтиленовых мешка рыбой набили.

Только мне вот очень жалко раздавленных лягушек и лягушат. Жалко большие смятые и рваные уже листья кувшинок и лилий, их бутоны на перекрученных и оборванных стеблях, жалко те длинные и красивые водоросли, что тянулись со дна в прозрачной-прозрачной воде к поверхности, между которыми притаивались щурки, мелькала рыбья мелочь и рывками в разные стороны двигались тёмно-коричневые жуки-плавунцы. Теперь эти водоросли слиплись, перемешались с илом и тиной. Жалко те самые огромные, чёрные почти ракушки, которые днём под солнцем, обсохнув и словно прося пить, раскроют свои створки и станут похожими на открытые шкатулки, а язычки их будут, сморщиваясь, сохнуть между гаснущими под солнцем переливами внутренних перламутровых створок.

Страшным утром будет и то, что в выволоченных на берег, растёкшихся кучах осоки, рогоза, какого-то мусора, среди, потерявшей свой серебряный живой блеск и отверделой уже рыбьей мелочи на своих изломанных, перекрученных обрывках стеблей бутоны кувшинок и лилий раскроют, как раскрывали они каждое утро навстречу взошедшему солнцу жёлтые и необыкновенной белизны нежные цветы, раскроют лишь для того, чтобы узнать, что они мертвы и мёртвыми уже смотреть, смотреть на восходящее солнце.

На такую «рыбалку» мы с батей больше не ездили...



**Николай ИВАНОВ**

*Москва*

(№ 3, 2021)

## **АРТЁМ ВОЕВОДА – БОЕЦ РЕСПУБЛИКИ**

*Главы из повести*

### **Глава 1. Нулевой день войны**

– Хочешь почитать Чехова?

Майор, увешанный оружием так, словно собирался воевать вечно, выставил книгу пьес на остаток кирпичной стены.

– Самостоятельная, сама стоит, – не забыл похвалить автора за толщину написанного.

Практически не целясь, с разворота выстрелил из пистолета в книжную мишень. Три сестры, безмятежно гулявшие в белоснежных платьях по центру обложки, кувыркнулись припудренными носиками в пыль. Артиллерист, словно за шиворот, поднял их двумя пальчиками, пролистал пробитые страницы. Отвесил щелбан пуле, застрявшей посреди книги и оказавшейся виноватой в плохой грамотности стрелка:

– Вот так становятся двоечниками. Попробуешь?

Протянул пистолет Артёму – единственному зрителю, сидящему в импровизированном летнем театре на снарядном ящике и пытавшемуся ловить головой тень от флага. Обтрёпанный ветрами, выгоревший на солнце, тот вяло плескался на флагштоке в таком же выгоревшем, бледно-синем небесном озере, наполненном по краям пеной облаков. Может, к ночи натянёт на дождь? Народ ждёт с середины лета...

По поводу оружия офицер явно шутил: кто доверит его незнакомому человеку, даже если это пацан?

Но макаров пусть и замедленно, с долей сомнения у хозяина, перекочевал к Артёму. Было бы совсем странно, не выуди артиллерист тут же из-за ремня себе увесистого стечкина, по убойной силе и скорострельности способного трижды перестрелять «макара», – стрелковому оружию, как болезням, дают имена их прародителей. С улыбкой наставил его на поднявшегося с ящика парня: не вздумай баловать, не подводи меня. Скорее всего, где-то в мирной жизни у него остался сын, по которому майор скучал, и общение с задержанным около боевого охранения пареньком просто заглушало тоску по дому. Кто их знает, этих людей с оружием: скучая по своим детям, легко убивают чужих...

– Мне бы жратвы бабуле раздобыть, – Артём кивнул на рюкзак, из которого при обыске выпотрошились нехитрые деревенские пожитки. А пистолет приятной тяжестью оттягивал руку, просился в дело. Если и впрямь попробовать выстрелить в артиллериста, успеет тот спустить курок в ответ?

Отгоняя соблазнительные мысли, Артём втянул носом сытные запахи от костра, огненными языками шлифовавшего дно висевшего на треноге казана.

– Жратва у «нациков», – майор кивнул на лесополосу, где на фоне пожухлой листвы развевался чёрный флаг с остроконечной свастикой. Батальон «Азов» – только они могли позволить себе демонстративно признаваться в любви к Гитлеру. – Это они грабят местных, а у нас казённый сухпай. Но голодным не оставим, – повторяя парня, втянул запах куриного бульона. Подмигнув, выдавая военную тайну: – Всё, что отошло от дома на сто метров, считается диким и подлежит уничтожению. Огонь!

Пуля Артёма пролетела высоко над головами сестёр, но они, напуганные первым выстрелом, сами от страха повторили предыдущий кувырок. Артём с сожалением вернул оружие – не умею...

Майор по-детски улыбнулся своему превосходству и, демонстрируя новые возможности, вытащил из чехла финку. Теперь уже тщательно нацелившись вытянутой рукой в щит из снарядного ящика, метнул в него нож. Остриё впилося в нарисованный углём круг, заставив бабочкой трепыхаться чёрную с заклёпками рукоятку.

На этот раз Артём, опережая майора, услужливо обошёл столик с разложенной на нём картой, не без усилий вытащил нож из выщербленных досок. Повторяя какого-то героя из какого-то фильма, поцеловал лезвие – холодное оружие настоящим джигитом без нужды не вытаскивается, только для боя. Если его не случилось, то извинись перед сталью поцелуем и верни в ножны для следующего раза.

Артём принёс финку с уважением к хозяину – инкрустированной рукояткой вперёд. Майор одобрительно кивнул, в ответную благодарность окликнул повара, пританцовывающего от жара у костра:

– Петро. Нам би з гостем трошки перекусити. І тусок збери, ніж багаті.

Военные легко переходили с русского на украинский и обратно, хотя именно из-за языка по большому счёту и началась война на Донбассе. С требования Киева говорить всем только по-украински. Или язык всё же был ни при чём?

А суп оказался отменный. Артём не помнил в своей жизни случая, чтобы бульон варился сразу из несколько кур, а мясо к столу подавали не мелкими ощипками, а в отдельной миске: бери сколько хочешь, хоть три ножки. Но он возьмёт две, чтобы потом, как будто в первый раз, взять ещё и кусочек белой грудки – мясо из ниточек, как говорила мама. Больше съест он – меньше останется врагу. Для полного счастья оставалось выцыганить пистолет. Это майор думает, будто перед ним мазила-малолетка. А на последних соревнованиях он, Артём Воевода, перестрелял по очкам даже командира блокпоста. Вовремя крёстный научил копить спичкой слепящую глаза мушку...

– Что, понравилась игрушка? – майор, перехватив взгляд парня на кобуру, вытащил макарова. Погладил костяную рукоятку с частым рубчиком, предусмотренным от скольжения в потных ладонях стрелка. У оружия ничего случайного нет.

– У нас на улице у многих что-то имеется. А у меня только рогатка, – посетовал на неустроенную жизнь во время войны без оружия Артём. Намекнул доброму артиллеристу, как обойти закон: – Пацаны сбивают номера, и никаких следов. Зато чужие к нам не суются. Знают, что получат по мордасам.

– И это правильно, – неожиданно поддержал народную самооборону майор, подвинув к столику, сколоченному из досок всё тех же снаряженных ящичков, плетёное кресло. – Само оружие, брат, ни в чём не виновато. За всё отвечает тот, кто стреляет из него.

Повертел макарова и, не вернув в кобуру, оставил лежать рядом на ящичке. Стоявшие тут же автомат и гранатомёт словно подтверждали слова Артёма: если на улицах сёл и городов оружия выше крыши, то что говорить про боевые позиции на фронте.

– Как супец? – опустошивший свою тарелку майор отвалился на спинку плетёного театрального кресла. Может, и впрямь на пути артиллеристов попался какой-то театр, и теперь командир, войдя в роль главного героя, сытно развалился пусть и перед единственным, но зрителем.

– Вкусно – ум отъешь. Первый раз за войну наелся, – почти не соврал Артём. Вычистил корочкой хлеба тарелку: – Где помыть?

– Ты у меня в гостях, – не разрешил артиллерист, доставая сигарету.

Артём суфлёром вытащил спички – крёстный дядя Степан уже несколько лет собирает их коллекцию. А то где бы мог узнать, что существуют коробочки с ноготок на пару спичек, а есть коробка и на две тысячи штук. А треугольные коробки вообще впервые у него увидел, как и круглые, словно под девичью пудру. Нашлась даже стеклянная упаковка в виде банки. А спички на пластинах, отламывающиеся поштучно? А каминные спички в два пальца толщиной? Повторяющиеся в коллекции образцы крёстный охотно дарил Артёму, что сейчас и пригодилось для демонстрации уважения пану майору, – поджечь сигарету горячей на любом ветру и даже под водой охотничьей спичкой. Да ещё можно поделиться с ним половиной коробка в благодарность за обед.

Майор охотно принял подарок, высыпал спички в пачку к сигаретам. И, наконец, признался в понятном:

– Авось и моего сына кто-то покормит в случае чего.

Артём же огляделся, благодаря взглядом приютившее его место: наблюдательный пункт со стереотрубой, выпученным удавом неподвижно осматривающей местность, столик с придавленной камешками картой. Пересчитал хоботы орудий с наброшенными на них кусками маскировочных сетей, штабеля снаряженных ящичков. Поклонился командиру:

– Спасибо, пан командир, – на новый лад обозвал майора. Офицер дёрнулся на неожиданное для себя обращение, но промолчал. Не поправил. Значит, привыкает. Начинает нравиться быть паном... – Мне пора. Пока доберусь до дома, и комендантский час наступит.

Кашевар уже наполнил супом банку из-под огурцов, обмотал её тряпичей от случайных ударов, помог уложить подарок в рюкзак. Незаметно для командира зачихнул ещё что-то наверняка вкусное на дно сидора, подмигнул. И впрямь соскучились мужики по семьям...

Пан указал в сторону чёрного флага:

– Туда не вздумай нос совать. Отмороженные на всю голову. Если б не они, давно бы закончили эту канитель.

Это была уже политика, за которую на Украине карали тюрьмой и пытками, поэтому вернулся к отцовству и наставлению:

– А ты не вздумай бросать учёбу. Не повторяй дураков.

Прижал к себе Артёма, поцеловал в макушку. Подтолкнул в рюкзак – иди, не мешай нести боевое дежурство, не расхоложивай воспоминаниями.

Некоторое время грустно глядел парню вслед. Потом поднял книгу, перелистал пробитых «Трёх сестёр». Оглядел остановившую пулю

страничку, с которой начиналась новая пьеса – «Вишнёвый сад». Заглушая тоску по дому и сыну, попробовал читать. Действие постепенно увлекло, и майор, приказав повару принести чаю с вареньем, тоже «ушедшим» прямо в банках за сто метров от села и потому по законам военного времени конфискованным, уселся в перенесённое под масксетель кресло – и продувает, и не печёт голову. Тень от одноногого флага попробовала потянуться туда же, да только командиру, похоже, было не до него, зовущего в бой за чистоту украинского языка: увлечённый чтением русского писателя, превратился из вояки в добродушного мужичка, улыбающегося уголками губ.

Артём же, едва скрывшись за кустами-самосевками, сделал крюк к лесополосе, идущей вдоль линии электропередач к чёрному флагу. «Азовцы» веровали в свою неприкасаемость, постов не выставляли, и Артём от акации к акации, от клёна к клёну, от кустов маслины снова к клёну, вытеснившему всё вокруг, подполз к лагерю боевиков на расстояние различаемых голосов. Затих. «Нацики», если поймают, за обеденный стол не пригласят, скорее поставят вместо мишени. Так что на случай задержания снова придётся прикинуться голодной овечкой, а банку с супом лучше выбросить. Он грибы собирает. Вон, стайка рябков в надежде на дождик вылезла.

Сорвал несколько бледно-розовых шляпок, распахнул рюкзак и обомлел: поверх укутанной банки лежал пистолет. Майор? Всё же подарил?! А патроны? Оружие без них – кусок металла, которым лишь заколачивают гвозди.

Выдавил магазин из рукоятки. Пять золотоголовых братцев-близнецов подпирались снизу тугой пружиной, готовые нырнуть в ствол, подставиться под боёк и, воспламенев, умчаться на простор. И неважно, кто окажется на пути – «Три сестры» Чехова, «Идиот» Достоевского, «Война и мир» Толстого или даже они сами. Лишь бы освободиться от мёртвой металлической хватки, вырваться из темноты, запаха гари и смазки, расправить плечи, вздохнуть вольно, умчаться на скорости вдаль. Что будет потом, после выстрела, – про то неведомо, ещё никто не возвращался из заствольной жизни. Но не для того же они появились на свет, чтобы вечно жить взаперти! Как говорят много повидавшие солдаты, лучше сгореть, чем сгнить...

Самому Артёму вообще-то без грохота и спецэффектов требовалось возвращаться на блокпост, в своё подразделение, доложить о вымотренных значках на карте майора. Наверняка пригодится и себе в оправдание! Утром удалось обмануть часового, что якобы по приказу командира отправляется в свободный поиск по тылам противника. Собственно, так и получилось, результат есть: скатертью-самобранкой расстелилась под носом, на пути к мишени для метания ножей, карта с нанесёнными на неё боевыми позициями артиллеристов. Майор-артиллерист, конечно, добрый для жизни, но глупый для войны. Война – время закрытых ушей, глаз и рта.

Только Артём шёл в этот район не ради карты артиллеристов. У них нет миномётов, а ему нужны конкретно «Васильки». Столько красивых букетных названий придумано орудиям – «Гиацинты», «Тюльпаны», «Гвоздики», «Акации», а ему бы отыскать позиции самого простенького синего полевого «цветка». Потому что вот уже несколько месяцев из этого района каждое воскресенье вылетают шесть «васильковых» мин. Ровно в 6 часов вечера, словно отбивая время вслед за курантами Спасской башни Московского Кремля. В первое воскресенье мая одна

из таких мин-курантов прилетела к ним в огород, где мамка поливала проклюнувшиеся на грядке огурцы...

Не стало мамки, засохли огурцы, прошло лето, самого Артёма крёстный прописал сыном полка к ополченцам, а какой-то маньяк продолжает упорно, как по расписанию, извещать выстрелами о нулевом дне – воскресенье. Сегодня как раз оно. И потому Артём здесь. И скоро 6 часов вечера. И у него появляется возможность высмотреть, откуда и кто стреляет. Скорее всего, это нашёл себе забаву «Азов». Теперь осталось увидеть, где позиция. Никто никогда так близко не приближался к фашистскому батальону...

– Микола, напиши «С пер-рльшим вер-рлесня». Нехай життя по-вчить, а не р-рлоссийску мову, – выделился в вялом гомоне лагеря властный командный голос, спотыкающийся о букву «р».

Кто там и кого хочет поздравить с первым сентябрём? Чем поучить жизни взамен русского языка?

Артём выбрал клён потолще, допрыгнул до сучьев, полез наверх, пока не закачалась верхушка. Рискавя сорваться, раздвинул ветви с резными листочками. За ними увиделись искажённые маревом жаркого дня фигуры солдат. Однако стоило взглянуться, и распознал боец, сидящий с кисточкой перед минами-крылатками. Это они – подарок к первому сентябрю? Они – вместо русского языка?

Командир окликнул несколько солдат, те взяли по надписанной мине и направились к узкоколейке, тянувшейся от террикона. Шестеро! Оно! Пока всё сходится.

Обдирая живот и руки о кору и сучья, соскользнул вниз, выхватил припрятанный в траве вместе с банкой супа пистолет. С усилием сдвинул вниз флажок предохранителя, передёрнул затвор, загоня старшего золотистого братца в ствол. Артём пока не знал, что станет делать, следует ли вообще приближаться к «нацикам», не хуже майора-артиллериста увешанных оружием. Эти ведь стреляют не по книгам, а сразу по людям. По его мамке точно. 57 осколков насчитали врачи в ней! 57 из стандартных 400. Он изучил про «Василёк» всё!..

Дорогу к узкоколейке перекрыл ручей, уходящий под арочный свод выщербленного каменного мостка. Проскочив его застоявшуюся вонючую прохладу, Артём вырвался на открытый степной участок. Спасло, что вдоль бережка рос ковыль, и он сусликом высунул голову, отыскивая «азовцев» с минами.

– Швыдка медична допмага, – сравнил себя со скорой помощью командир, и по его голосу легко отыскалось место сбора миномётчиков.

К ним со стороны террикона, разгоняемая двумя бойцами, по рельсам уже ехала вагонетка. А на ней... на ней стоял миномёт. Короткоствольный «Василёк», давно распознанный по полёту мин крёстным дядей Степаном.

– Точно мой родной «Василёк» стреляет, два года наводчиком при нём состоял, – изучал он осколки от мин, вымеряя для гарантии у воронок углы прилёта снарядов.

Сделал даже рисунок миномёта, припомнив практически все детали. И стрельба совпала – от 800 метров до четырёх километров. Не только по прямой, но и с навесом, из-за террикона. Теперь Артёму стала понятна причина, по которой ополченцы не могли засечь огневую позицию «часовщиков»: мини-бронепоезд! Стрельба каждый раз с нового места. И через полчаса мины с поздравлениями к новому учебному году полетят, возможно, в сторону его родной школы! Учителя,



небось, как раз развешивают в классах карты и плакаты. Им стопудово помогают Зойка и Валя Почечуевы, Костик Алимов, Славик Непейвода... Может, кто-то уехал и в Россию от обстрелов, надо сходить в школу, проведать ребят. А с одним пистолетом миномёт штурмом не взять. И даже если каким-то образом взорвать «Василёк» или просто вывести его из строя, «нацики» легко прикатят новый. Оружие, как сказал майор, само по себе не виновато в войне, за всё отвечает тот, кто стреляет!

И даже не он, а тот, кто даёт команду на открытие огня!

Командир с картавым «р»!

Миномётчики привычно и буднично загрузили на платформу боеприпасы. Оседлав, как ишачка, со всех сторон вагонетку, покатали на ней вдоль электрических столбов. Выбирать огневую позицию? Только вот Артёму не то что догнать стрелков, высунуться из сусликового укрытия не представлялось возможным: картавый командир остался сидеть рядом с насыпью на деревянном чурбачке. Вытащил из нагрудного кармана мобильную рацию, глянул на часы. Артём торопливо сверил свой циферблат: до выстрелов ещё пятнадцать минут. Если ровно в 18 часов прозвучит по радиации команда на стрельбу, то на топчане – точно он, убийца его мамки.

Стал подползать к картавому поближе, пока не оглох от собственного слишком громкого дыхания. До выстрелов – 7 минут. Он тоже приготовится. Спасибо майору. А номер на пистолете сбит. Украинская армия сама замечает следы? «Азовец» спокойно курит, сбивая пепел постукиванием пальца по отставленной в сторону сигарете. На чёрной майке по спине надпись огромными буквами «АЗОВ». Заглавная «А» напоминает мишень артиллериста для метания ножей. Прямо под левой лопаткой, где сердце. У него, Артёма Воеводы, финки нет, но на последних соревнованиях он и впрямь победил командира блокпоста, выбив две десятки из трёх. А сейчас у него в пистолете целых пять патронов.

Три минуты до традиционных шести выстрелов. Не война, а сплошная арифметика. Для первоклашек. Только вот школу сейчас разбомбят. Две минуты! А часы мамкины. Когда после взрыва он подбежал к ней, она, не моргая, смотрела прямо на солнце. Он затормошил её, потом приложил ухо, чтобы послушать сердце, но тиканье часов на оказавшейся рядом руке заглушило все остальные звуки...

Едва картавый поднял рацию, Артём подставил под рукоятку пистолета вторую ладонь. При стрельбе с двух рук отдача меньше, а это важно, если придётся стрелять повторно. А он будет. За мамку. В эту ненавистную букву «А». Она легко легла в прорезь прицела.

Совсем не вовремя на мушку опустилось солнце. Забалансировало на её отполированном острие, словно девочка на шаре. Сейчас бы закоптить горящей спичкой мушку, как научил крёстный, но вдруг не вовремя! А глаз уже заслезился, совсем некстати стал стекать ещё и пот по спине и со лба. Выгораживают убийцу, спасая от мщения? И когда показалось, что ещё и часы остановились, «азовец», наконец, поднёс к губам рацию. Он!

Больше не раздумывая и не сомневаясь, прерывая картавый приказ на открытие огня, опережая вылет мины-крылатки с белой надписью «С першим вересня», Артём нажал на спуск.

Командир миномётчиков, словно повторяя книгу Чехова, взмахнул руками-страницами и кувыркнулся с деревянной сидухи в железнодорожную гальку. Артём стрелял в неподвижное тело, пока пистолет желторотым птенцом не распахнул рот от недостатка пищи. Отбросив



ставшее бесполезным оружие, Артём рванулся назад. По ручью. Под аркой. Вдоль линии электропередач. В лесополосу. У своего кленового наблюдательного пункта подхватил рюкзак. Тряпки, словно сползшие чулочки, оголили крутые коленки суповой банки, и, теряя секунды, но забрал и гостинец кашевара. Задирая ноги в высокой траве, рванулся прочь от автоматных очередей, раздавшихся у железной дороги.

## Глава 2. Арестовать и выдворить в Россию

День окончательного окончания лета не радовал бойцов «Тэшки». Т-образный перекрёсток, у которого обустроился блокпост ополченцев, просматривался на все три дороги, и ни на одной из них даже в бинокль не виделось ни своих, ни чужих.

Нет радости на войне, если не возвращается с задания разведка. К тому же ушедшая в тыл врага самовольно, без приказа. Да ещё в возрасте четырнадцати лет.

– Лично расстреляю, – ласково-ласково, безнадёжно-безнадёжно шептал грузный командир «Тэшки», прошивая в бинокль четвёртую сторону – нейтральную полосу в триста метров, которой международные наблюдатели разъединили воюющие на Донбассе силы. Эдакая «серая зона», где словно пропало время.

Но именно туда и ускользнул под покровом утреннего тумана Артём. И вернуться, скорее всего, может с этой, вражьей стороны. Всё бы ничего, не впервой, но сегодня вместо традиционного «василькового» обстрела Республики там слышна внутренняя суматошная автоматная стрельба. И это наверняка связано с Артёмом.

– Ничего, Василь Матвейч, ничего, – на правах одноклассника назвал командира по имени-отчеству грызущий спичку Степан Самойлов. Корил себя, что привёл крестника на блокпост после смерти матери. Опекал всё лето, а перед самой школой, выходит, не усмотрел. – Он в лапти кого хочешь обуёт, – продолжал уговаривать скорее себя, чем начальника, в благополучном исходе дела. – Он и в мирной жизни ничего не боялся. Ни деда с бабой, ни матери, ни ремня, ни крапивы, ни хворостины. Боец. Но по шее надаю.

Пока же отпихнул Шнурка, по собачьей настырности лезшего по ноге со дна траншеи, чтобы заглянуть в глаза и поинтересоваться, где пропал его хозяин.

О подзатыльниках Артёму мечтал и часовой, поверивший ему на слово и пропустивший через боевое охранение, а в итоге получивший от командира за ротозейство по первое число. А с каждым часом отсутствия разведчика – и по второе, и по третье...

Всем хотелось поторопить время, но через день в этом мире никто ещё не перепрыгнул. Это Шнурок может переспать любое время и спокойно пойти по собачьим делам, не спросив ни часы, ни день недели...

– Собирайся, – вдруг приказал командир Степану. Тот с готовностью перебрал в руках автомат: да, что-то надо делать. – Поедешь в Москву.

Самойлов недоумённо впился взглядом в «Матвея», поневоле вспомнив субординацию и позывной командира. Какая Москва? Она отсюда, из окопов «Тэшки», по своей недостижимости могла соперничать хоть с Луной, хоть с Марсом.

Василий Матвеевич не стал интриговать:

– Там в Генштабе у меня товарищ служит. Я уже просил его пристроить Артёма в суворовское училище. Зацепка-то у него хорошая – родился в Москве.

– Вместе семьями на катере по Москве-реке... Турпоездка от шахты... – вспомнил Степан то давнее время. Потому, собственно, и стал крёстным, что носился по Москве вместе с Колькой Воеводой, вдруг ставшим раньше срока отцом, в поисках всего необходимого для роженицы и малыша. Как далеко ушло время! И Колька, дурак, ушёл из семьи, погнавшись за длинным рублём вахтовика в Сибирь, и войны не было, и Ирина не имела таблички на кресте. Не было, собственно, и разницы, кто где родился и на каком языке говорил...

Новая вспышка стрельбы за «серой зоной» вернула к реальности:

– Но ведь сбежит, стервец.

– А ты зачем? Передашь с рук в руки.

Строили планы и козни так, словно Артёмка сидел в столовой и ел кашу...

А он, путаясь в жёсткой траве, из последних сил бежал к террикону. Там в норах-копанках, нарытых местными жителями в поисках металла, в обильных зарослях белой акации, которую чуть ли не с первого класса они высаживали для укрепления породы, в зарослях полыни можно спрятаться. Только вот огонь автоматов приближался слишком быстро. А если «нацики» заведут ещё бронетранспортёры... Это для артиллерии они алюминиевые танки, но скорость-то по бездорожью у них непревзойдённая. Догонят...

Нога подвернулась, и он со всего размаха, не хуже расстрелянных чеховских сестёр вкуче с командиром миномётчиков, ткнулся носом в землю. Она щедро, словно Артём был скаковой лошастью и требовал подкормки, сунула ему в рот охапку ковыля. Отплёвываясь, порезав язык и губы острыми лезвиями стеблей, со страхом осознал, что далеко ему не убежать. Ни от БТР, ни от автоматчиков не улететь на ковре-самолёте, не скрыться в тайных подземных ходах. Даже утреннего тумана нет, не говоря уже о дымовой завесе...

Встрепенувшись от озарения, захлопал по карманам. Спичечный коробок оказался на месте! Ура, что пожадничал и не подарил его весь в порыве благодарности майору-артиллеристу.

Широким охватом наклонил звенящие от солнечного накала, иссушённые стебли. Поднёс спичку к коричневым ковыльным метёлкам. Те охотно подсунулись под огонь, затрещали бенгальскими искрами, по-новогоднему щедро делясь пламенем с соседями. Ветерка вполне хватило для поддува, несколько огненных разгоревшихся языков даже бросились по-детски неистово обниматься с хозяином, и успешшему услышать треск подпалившихся бровей Артёму пришлось отмахиваться от всполохов, как от назойливых слепней. Зато изнывающей от жары степи приспело в радость изменить опостылевшую от однообразия жизнь. И роли уже не играло, ливень обрушится сверху или пойдёт гулять по её просторам пожар.

Артём пробегался со всепогодными спичками, поджигая всё новую и новую траву и придавая огню нужную линию и направление. Пожар оказался верховым, нижняя трава, ещё сохраняющая некоторую зелень и островки белёсой полыни, только дымила, но это как раз и было важнее всего. Террикон манил защитой, его срезанная верхушка говорила о том, что вокруг него живут люди. Крёстный разьяснял, что пики сравнивают, уменьшая высоту выброшенной из шахты породы, чтобы

не платить жителям за превышение экологических норм. Но там и надежда на спасение!

Однако беглец нашёл в себе силы отвернуть от горы и податься вновь к лесополосе, тянущейся от лагеря «Азова». К самому её хвосту, где в редком ситечке деревьев его точно искать не станут. Полезут именно в заросли акации и в копанки, в гаражи и частный сектор. А он дожждётся темноты и спокойно выйдет к своим. Вот Матвейч обрадуется добытым сведениям...

«Матвей» захлопнул наручники на запястьях Артёма, едва того с обгоревшими бровями, с красными от дыма и бессонницы глазами и распухшими от порезов губами привели в штаб после полуночи.

– Запереть! Не спускать глаз! – взревел вместо «здравствуй» и обниманий.

– Я супчика принёс, бульончик, – растерянно пролепетал парень, но подарок ещё больше разъярил командира.

– Какой к чёрту супчик! – грохнул он кулаком по столу. Неизвестно по какой взаимосвязи качнулась на проводе и замигала лампочка, заставив присутствующих замереть, успокаивая разбушевавшиеся руки начальника. Даже прыгавший рядом от счастья Шнурок плюхнулся на поджатый хвост. – Нервы в ошмётки и язву желудка ты всем нам принёс, а не бульончик!

– Товарищ командир...

– Я командир для тех, кто исполняет мои приказы, а не самовольничает! Под арест!

Ах, так – сжал до боли Артём губы. Если б они знали, где он был, что видел и испытал! Его сто раз могли убить «нацики», а он сам отправил на тот свет воскресного картового маньяка. Что же сами этого не сделали за всё лето? Но теперь он ничего никому не расскажет. И про карту артиллериста тоже, потому что майор – нормальный мужик и предавать его западло, хоть он пан и враг. А утром, когда у командира кончатся психи, он уйдёт со Шнурком на другой блокпост. Или перейдёт линию фронта и станет воевать один. Справится. И лучше, чем под чьим-то присмотром...

Силы и мысли кончились, едва голова коснулась подушки, а собака свернулась чутко сопящим калачиком у живота. Он даже не услышал и не почувствовал, как запанцирил по крыше долгожданный дождь, как сняли наручники и укрыли одеялом вместе со Шнурком. Спал как убитый. Мог, возможно, проспать целые сутки, но общий подъём на блокпосту – он и для арестантов один.

Вошедший в землянку крёстный выпустил собаку, протянул Артёму миску с подогретым трофейным супом. Тот потянулся за ложкой, но в памяти всплыл холодный ночной приём, и он демонстративно задвинулся в угол нар. Он не станет ничего есть, пока... пока... Командир, конечно, извиняться не станет, и по большому счёту он прав. Но арестовывать как жулика или предателя...

– Ешь давай, – не принял обидчивого выражения лица дядя Степан. – Дорога дальняя.

– Какая дорога?

– Асфальтовая. Едем в Москву. Спички покупать. Вон, осень наступила, для костров потребуются...

Прозвучи известие в другой день, можно было подпрыгнуть от радости. Но сейчас Москва готовила подвох, таила опасность, и никакие

спички ситуацию не спасали. Поэтому никуда он не поедет. К тому же надо посмотреть, не заменит ли кто картавого в следующее воскресенье. Вдруг найдётся новый желающий продолжить традицию? А кто знает, где и как это происходит? То-то. А он, если надо, вновь доберется до узкоколейки и уничтожит любого, кто попытается отдать команду на стрельбу. А ещё научится метать ножи, и тогда пусть попробуют взять его...

– Я не поеду, – сообщил крёстному Артём. Под арестом вечно держать не станут, в конце концов, подкоп сделает. А кто хочет, пусть едет хоть в Москву, хоть в Киев. Он же сам решит, чем заниматься.

Утвердиться в принятом решении не дал протиснувшийся в землянку командир. Опережая вернувшегося Шнурка, присел на нары, отдышался, обнял Артёма и дружески похлопал по спине. Но затем снова захлопнул наручники потерявшему бдительность подчинённому. И подтолкнул к двери: пора!

Обманывая шедший всю ночь дождь, солнце растолкало локтями тучи и на несколько минут прорвалось в окопы, пулемётные гнёзда, ходы сообщения. Рискаю получить по лбу обитой войлоком дверью, попыталось даже заглянуть в землянку: я здесь, меня рано списывать со счетов. Ещё почти лето, ещё можно смотреть на мир с улыбкой.

Однако выстроенный перед землянкой личный состав «Тэшки» смотрел на Артёма с сожалением.

– Товарищи, – не давая подчинённым времени на разговоры, командир приобнял парня. Тот дёрнулся, освобождаясь от лживой командирской заботы, но «Матвей» пальцев не разжал. – Вспомним: сегодня первое сентября. Давайте поздравим Артёма с началом учебного года.

– А наручники при чём? – раздалось из строя. Ополчение – это не воинское подразделение, бойцы взяли в руки оружие по внутреннему убеждению, а не по призыву. И таким не прикрикнешь, чтобы отставили разговорчики в строю!

– Гав, – подтвердил недоумение с левого фланга строя и Шнурок.

– А Артём сам попросил, – пальцы командира сжались на плече арестанта так, что тот присел от боли и согласно закивал. – Знает, что по своему характеру может сбежать даже от крёстного. Но при этом он умный парень и прекрасно понимает, как важно учиться. Война когда-то закончится, и Республике потребуются грамотные офицеры, способные защищать её, когда мы с вами уйдём на дембель. Вот Артём Воевода и попробует поступить в суворовское училище. Пожелаем ему удачи и... офицерского возвращения.

Ополченцы захопнули, заставив взлететь с веток птиц и перемяться застывшими лапами собачку. На дороге, как по сигналу, завёлся «уазик», Степан Ильич показал командиру синюю папку: документы готовы. Сослуживцы выстроились в очередь обнять отъезжающего счастливого, хотя и сжатого мёртвой хваткой командиром.

– Не обижайся, – впервые с вечера соучастно прошептал «Матвей» на ухо Артёму. Даже ослабил плечо. – Не подведи нас в России. Помни всегда: ты – боец Народной Республики! Пройди всё с достоинством. А мы... мы будем скучать за тобой.

За такие слова обнять бы Василия Матвеевича, но сцепленные око-вами руки не развелись, вновь напомним Артёму об его унижительном положении. Неужели нельзя было по-человечески всё решить? Конечно, он бы всё равно сбежал, но чтобы так, как шелудивого кота, изгонять с войны... Хорошо, вывозите, но на границе он всё равно даст

дёру. Даже без документов из синей папочки. Мало ли домов и бумаг сгорело у людей во время обстрелов. Выпишут новые...

Ничего из происходящего не желал понимать лишь Шнурок, заискивающе заглядывающий в глаза каждому. Так и не выросший по размерам во взрослую собаку, пёс сердцем чувствовал тревогу хозяина. Перед посадкой в «уазик» прыгнул на грудь Артёма, принялся лизать лицо, заскулил. Командир с усилием оторвал дворняжку, прижал барабанившие воздух лапы. «Но ведь всё хорошо, всё в порядке?» – вопрошали дрожавшие собачьи глаза.

– Всё хорошо, – вслух подтвердил «Матвей».

Шнурок не поверил, вырвался и помчал, истошно лая, за машиной. Не давая Артёму оглядываться, Степан Ильич привалил его к себе, закрывая уши.

– Ты жди, я вернусь, – прокричал в поднимающееся стекло Артём. Вырваться не получилось, он укусил волосатую руку крёстного, но тот перетерпел боль, не ослабил хватку. – Всё равно убегу, – пригрозил уже конвоиру.

Однако связи у «Матвея» оказались настолько высокие, что наручники крёстный не снял даже при пересечении границы. Пограничники что свои, что на российской стороне читали какую-то бумагу, улыбались и давали зелёный коридор конвойной парочке.

Ключик на браслете щёлкнул, разъединяя металлические кольца на запястьях, лишь когда уселись в автобус до Москвы. Прижатый к окну Артём уткнулся лбом в стекло, не реагируя ни на слова крёстного, ни на подсовываемые бутерброды. Хоть в тундру вывезите, хоть в пустыню, он вернётся домой. При первой малейшей возможности.

Она случилась только в Москве на автовокзале! Уверовав, что крестнику отныне деваться некуда, Степан Ильич в ожидании открытия метро припал к киоску, высматривая за стеклом диковинные коробки спичек. Прикинул непредвиденную растрату, внутренне согласился на неё и указал на коробок с тиснёной прессом этикеткой Кремля:

– Мне этот.

Клевавшая носом молоденькая продавщица попыталась дотянуться до товара через стеклянные полочки, порушила несколько витринных образцов и обессиленно опустила руки:

– Может, вам зажигалку дать?

Степан Ильич, опьяненный мирной Москвой, с улыбкой замотал головой:

– Не-е-ет, девушка, не могу. Меня попросили поджечь Московский Кремль именно спичками, а вы мне подсовываете зажигалку. Давайте уж достанем.

Достала. Но не успел любитель огня нарадоваться добычей, как ему на плечи легли сразу две руки:

– Гражданин. Пройдёмте!

Дёрнувшийся из рук полицейских Степан Ильич ещё больше усугубил своё положение, и на глазах у Артёма ему в мгновение ока захлопнули на руках наручники. Это было смешно, потому что Артём знал: крёстный просто пошутил, с поджогом сейчас разберутся и отпустят. Но как всё быстро меняется в этой жизни! Одно неудачное слово, и конвоир сам превращается в арестанта...

Что объяснял задержанный полицейским, как умолял быстрее отпустить его, потому что приехал не один, но долго держать не стали, выпустив с действительно вежливым напутствием подобным образом в Москве больше не шутить.

Артёма ни в зале ожидания, ни у киоска, ни на перроне не оказалось. Помочь мог только закон потеряшек – возвращаться на то место,



где виделись последний раз. Киоскёрша, узрев идущего к ней возбуждённого «поджигателя Кремля», начала судорожно искать глазами стражей порядка и опускаться под прилавок. Можно и нужно было напугать бдительную девочку ещё чем-нибудь до смерти, но... но Москва не только слезам не верит, но и шуток не понимает. Полез в карман за оставшейся с дороги конфеткой, но и этот жест нёс для девочки угрозу, и она гильотиной опустила стекло в амбразуре окошка.

Смущаясь всеобщего внимания, Степан Ильич огляделся и спросил громко, сразу ко всем на станции обращаясь:

– Люди, кто-нибудь видел пацана в синей ветровке? Брюки цвета хаки. С Донбасса, – зачем-то уточнил адрес.

На слово «Донбасс» пассажиры среагировали, но и это не помогло выйти на след исчезнувшего бойца Республики. Пацан сказал – пацан сделал...

– Дурак, – прошептал Степан Ильич, и было непонятно, относилось это к крестнику или к нему самому.

Он откровенно не знал, что делать. Предупредить всех водителей о возможном пассажире? Или сначала добежать до метро, которое открывается через несколько минут? Но у Артёма нет денег и ехать ему некуда. Значит, будет прятаться и выжидать где-то рядом в кустах?

– А я думал, вы меня бросили, – раздалось за спиной, и Степан Ильич опустошённо прикрыл глаза. Нашёлся! Убить или обнять шутника?

Не оборачиваясь, чтобы не выдавать слёзы, повторил полицейского:

– Больше так в Москве не шути!

Народ на станции начал разбираться с вещами: метро готово было развезти гостей столицы в любом направлении. Посланцев Донбасса интересовал Генеральный штаб со станцией «Арбатская». Как будет здорово, если всё получится. Должно получиться, если идти по былям, то есть по правде жизни. Не с гулянок ведь приехали.

Здравствуй, Москва.



**Андрей ИУДИН**

*Нижний Новгород*

(№ 2, 2014)

## НЕЗАБЫТЫЙ

С утра я разбираю и вытаскиваю мебель, потом собираю и двигаю по кабинету новый офисный гарнитур для главбухши. Отвез в архив на тележке груды ненужных папок. Папки были дешевые, со шнурками, в ломких от старости переплетах, — наверное, еще времен молодости ее и фирмы. Она хотела открыть одну, но узелок затянулся, она махнула рукой. Напоследок сгоняла меня в буфет и велела оставить сдачу.

Конец рабочего дня я досиживал в подсобке, катал шарик на мобильнике и думал, как распорядиться сдачей (осталось прилично, даже слишком) и чего захочется тетке в следующий раз. Позвонил вахтер:

— Тут тебя спрашивают. Выйдешь?

— Кто спрашивает?

— А я знаю. Человек. Сам говори.

— Алло? — Голос в трубке поменялся. — Господин (назвал мою фамилию)? Алло, вы слышите?

— Да... — ответил я с задержкой, — да, слышу.

У него было южное глухое «г», несчастное здесь, в центре России. Но ведь и не совсем уж редкое, верно? Мало ли наших посрыгались тогда с родных мест куда глаза глядят, лишь бы подальше — от войны, от крови, от своих, да так и не вернулись. Я сам такой, только что не «гэкаю» — пару лет как избавился, поборол себя.

— Трубка барахлит, — сказал я. — Вы кто?

— Вы меня не знаете, но заочно, так сказать... — голос волновался. — Мы земляки, днепровские оба...

— И что с того? — Меньше всего я нуждался теперь в земляках. — Вообще у меня тут народ, так что...

— Вы были дружны с моим сыном, служили вместе...

— Нигде я не служил.

— Ну, то есть не служили, да, да, понимаю, — голос заюлил, зачистил, — но... общались, в общем. На майдане... и потом.

— Как его зовут?

— Юрко, Юрко Пищик. Звали.

Я следил за шариком на экране мобильника, выдерживая горизонталь. Шарик покачивался на входе в тупик, не дойдя до штрафной лунки.

Ничто во мне не дрогнуло, не отозвалось. Словно это случилось вчера и не минули годы переездов, мыканий по квартирам, работам. Словно ничего не забылось. Наверное, потому, что как бы хорошо ты

ни забыл, кто-то в твоей башке все равно продолжает помнить. Сторожит закоулок памяти, чтобы ты не сунулся по ошибке.

– Вы были вместе последние дни, вот я и хотел... ну, вы понимаете. Просто поговорить.

– Да мы не так чтобы дружили...

– Ну, все-таки... Понимаете, мне любая мелочь... Он про вас рассказывал, по телефону, хорошо отзывался, очень хорошо, да... Фотографии присылал. У вас тогда еще другая фамилия была.

От той фамилии я избавился легче, чем от «гэканья», просто женился на пару недель. Но он-то откуда знает? Как меня нашел? То есть найти-то можно любого, и под другой фамилией, и в другой стране (да уж какая она другая). Было бы желание. И терпение... И деньги, конечно. Он вот нашел. Зачем? Поговорить?

Я качнул телефон, шарик упал в лунку.

– Тут ниже по улице парк, на другой стороне. – (Конец рабочего дня, ни к чему нам вдвоем отвешивать в вестибюле.) – Подождите на лавочке, я скоро выйду. Как вас узнать?

Я еще посидел в подсобке, подумал. На стеллаже стоял ящик с инструментами, из мотков проволоки торчали плоскогубцы, молотки, набор отверток... Идиотская мысль. У него такой усталый печальный голос. Если бы он что-то знал и хотел моей крови, мог бы просто отнести заявление. Ему нужны воспоминания. Мы поговорим и разбежимся. Поговорим, поскорбим... помянем – почему нет? В крайнем случае опять перееду, я привык, хоть и надоело. Подамся дальше, за Урал. Говорят, там «гэкают» чаще, чем здесь. Да, так будет лучше. Опять уехать, забыть.

И чтоб тебя забыли. Хорошо бы все.

Он и выглядел под статью своему голосу, таким же усталым и печальным: неказистые усы, двухдневная седая щетина, мешки под глазами. Потертый костюм, тяжеловатый по летней поре. На скамейке под рукой – дорожная сумка. Увидев меня, он взял ее на колени.

– Как вас зовут? – Я не сел рядом, и он поднялся сам, протянул руку. Он был ниже меня и легче килограммов на двадцать.

– Сергей Петрович. А Юрко... не говорил? – Он, кажется, огорчился.

– Говорил, – соврал я, – но столько лет... сами понимаете.

– Да, да, понимаю... Пять лет, шестой уже...

– Так о чем хотели поговорить?

– О последних днях, об обстоятельствах. Что вспомните...

– Но вам же сообщали, должны были.

– Да, попал в плен, замучен сепаратистами. Но это все официоз, неживое... извещение, свидетельство о смерти, личная скорбь какого-то клерка в погонах. Да и напутать что-то могли, при тогдашней-то неразберихе.

– То есть вы думаете, он...

– ...Жив? Нет, конечно, давно не думаю. Просто любая деталь, штрих от человека, который был с ним рядом, под огнем, делил, так сказать... я был бы очень благодарен.

Он смотрел на меня снизу вверх.

– Хорошо, – сказал я, – спрашивайте.

– Прямо здесь? Может, посидели бы где-нибудь, чтобы не на ходу... Я бы вас угостил, если позволите.

Я знал, что быстро не получится. Надо перетерпеть, исчерпать тему разом и больше не пересекаться. И все равно лучше уехать. Искать меня заново он вряд ли станет

– Можно посидеть, – кивнул я.

В углу парка притулилось недорогое кафе, мы заняли столик, он сходил к стойке и принес коньяк и по порции курицы. Я спросил, сколько с меня.

– Что вы, что вы! Это меньше, чем могу, за вашу любезность...

Я не настаивал: пусть считает меня обязанным. Ожидание благодарности повышает доверие.

Коньяк оказался неожиданно приличным, а гриль почти сырой. Ни салата, ни даже компота он не взял, а хлеба по три куска; похоже, сэкономил на закуске. Видно, не так хорошо у него с деньгами.

– Как вы меня нашли?

– Не спрашивайте. Все эти военкоматы, паспортные столы... того нельзя, это не положено. Пока допросишься, убедишь, неофициально, так сказать...

Да, убедить чиновника – дело затратное. Что по ту сторону границы, что по эту. Но, скорее всего, он нанял кого-то для поисков, а это еще дороже.

Здесь, в помещении, от него потягивало потом, глаза были в красных прожилках, костюм измят в толкотне по вокзалам и поездам. Вряд ли стоит опасаться новых встреч, подумал я, ему и этот вояж дался недешево, во всех смыслах.

И все равно лучше уехать.

– Юрко – каким он вам запомнился?

– Хорошим парнем, добрым таким и вообще... Смелым.

Когда нас перебросили в лагерь на Донбассе, Юрко оказался первым, из кого сержант Щербак вытряс все деньги в долг до вечера. Он же чаще других чистил котелки, пилил дрова и следил за буржуйкой в палатке. Но, может, ему это даже нравилось, отвлекало, что ли...

Нет, трусом он не был, помню, со здоровенной цепью выскочил вперед на беркутовскую «черепаху». Цепь с грузом была тяжеловата для него, он неуклюже размахивался, сзади полетели камни и «коктейли», и, шаркнув пару раз по щитам, Юрко отбежал с волочащейся цепью, пока не пришибли свои. Но там был майдан, все мы были братья по борьбе и с нами была правда. И газ, и водометы, и когда стали стрелять снайперы, и обгорелый труп солдата-срочника на остриях металлической ограды – все это была лишь малая цена правды, и мы платили ее не торгуясь. Это было как шквал, нас несло этим шквалом.

Потом шквал утих, но нас несло по инерции. И в полевом лагере, где мы отстреляли по пять патронов, спали на голых матрацах и штопали бэушный камуфляж всех армий мира, который носили вперемешку с гражданскими шмотками, – еще порой чудился в ушах гул майдана, перекрываемый выкриками Щербака.

В лагере у Юрко пропал дорогой мобильник, отнятый еще в Киеве у титушек, а к вечеру Щербак разжился бурячихой и ввалился в нашу палатку, и плеснул каждому, и хвастал, как еще до майдана был в мобильной группе в Запорожье и бензопилой отрезал голову бронзовому Сталину и какое резонансное было дело. И все выпили и слушали сержанта, и Юрко тоже. А как-то он сказал мне: «Помнишь того солдата на ограде? Мы теперь тоже в форме».

Но для отца Юрко должен остаться героем, ведь так? Он же за этим приехал, за светлым образом сына.

– Вытащил раненого из-под обстрела. Сам вызвался, полз с ним под огнем. Объявили благодарность перед строем.

Надо бы деталей для убедительности; плохо сочинялось. Ну, пусть видит, что не я мастак рассказывать. Скорее закончим. Что-то устал я сегодня больше обычного – на работе, теперь вот он.

– Вы отправились добровольно?

Странно, что он спросил. Ведь Юрко звонил ему, успокаивал, храбрился, пока еще был с телефоном. Мы были патриотами. А он сомневается?

Я подумал, что до сих пор не знаю, как он относится к тому, что произошло тогда нами, со всей страной. Что это было? Приступ безумия, кровавая пелена, застлавшая глаза миллионам? Отчаянный порыв к свободе, преданный политиками, укравшими вековую мечту?

Что он хочет услышать?

– Нам грозили, – сказал я наудачу. – Три года тюрьмы или... Грозили семьям. И мы записались. Юрко не хотел, чтоб вас...

Он не удивился, кивнул. Кажется, я угадал.

– Ну, а как все... случилось? – Он разлил по бокалам, посмотрел на часы. Боится опоздать на поезд? Тем лучше, недолго уже.

Я рассказал, как нас подняли после отбоя и двинули на зачистку. Город был проутюжен артиллерией и с воздуха и оставлен сепаратистами. Колонна миновала разгромленный блокпост и шла по ночному шоссе, когда из лесопосадки ударили из гранатомета по головной машине. Из открытых люков БТРа рвануло пламя и стали выскакивать горящие, они метались и катались по земле, один выбрался наполовину и остался гореть, упав лицом на броню. Колонна остановилась, мы высыпались из кузова «шишиги», в нас и вокруг стреляли, кто-то полз под колеса, волоча неподвижные ноги, Щербак орал, в кузове «КамАЗа», вставшего за нами, что-то загорелось от трассеров, стали рваться боеприпасы. Юрко побежал, мы оба побежали.

Мы хотели рассыпаться и занять круговую оборону, сказал я. Так нас учили. Рядом еще бежали и падали, но мы добежали.

Мы вломились в лесопосадку, и я потерял Юрко из вида. Стрельба продолжалась, били и в нашу сторону. Я пополз в темноте, натыкаясь на стволы, продрался сквозь кустарник, свалился в ложбину и наткнулся на него. Он сказал, что напоролся на бегу на какой-то сук и теперь не может поднять руку. Он дышал так, будто пробежал пару километров; хэбэшный «дубок» от ключицы до подмышки пропитался кровью, и сзади тоже. Надо было перевязать, но аптечек у нас не было. Я разорвал на себе футболку и велел ему прижать к ране здоровой рукой. Я спросил, может ли он ползти. Он сказал, что подвернул ногу, когда прыгал через кювет. Я потрогал: нога была тоже в крови. Я сказал, что помогу ему, надо вернуться ближе к своим, сейчас террористов отгонят, и его перевяжут. Нет, сказал он, ты что, не слышишь? Стрельба стихала, и двигатели надсаживались в заполошных перегазовках: уцелевшие машины разворачивались, наши уходили. Беги, сказал он, ты еще успеешь...

Я замолчал. Пусть не думает, что мне легко говорить.

Пищик-старший (или уже не старший? младшего ведь нет) подлил в фужеры. Думает, я прервался, чтобы выпить? Я выпил.

– И что было дальше? – Он поглядел на часы.

– Дальше? Нет, сказал я ему. Я тебя не оставлю. А как иначе?

– Да, да... – Пищик закивал.

Через пару минут все стихло, рассказывал я. Надо бы подождать, но Юрко мог истечь кровью. Здесь шоссе делало крюк, и я знал, что окраина где-то неподалеку, за балкой. И там должна быть больница, ребята упоминали о ней перед наступлением, у них был свой интерес. Я не знал, цела ли она, остались ли там врачи и заодно ли они с террористами, но это был шанс. Я догадывался, что командиры ошиблись и сепаратисты в городе есть, скорее всего, разрозненные мелкие группы, одна из которых и устроила засаду на шоссе. Но не могут же они быть везде. Я взвалил Юрко на себя и потащил. Он был уже без сознания. Не знаю, сколько я его тащил. Особенно тяжело было перебираться через балку, заросшую густым терновником, мне мешал автомат, я боялся споткнуться и упасть вместе с Юрко, боялся уложить его на землю и передохнуть, потому что мог не поднять его снова. Боялся опоздать. Как нас там примут, об этом не думал. Я плохо соображал, просто шел.

– Вы герой, – покачал головой Пищик. – Но продолжайте...

Городская застройка обрывалась рядом домишек, разбитых артиллерией. Через поваленный забор с Юрко на плечах я пробрался в сад, заваленный истерзанными деревьями. Ветки были еще свежие и упругие и путались под ногами. За распахнутой калиткой я увидел улицу, уходящую с окраины в глубь микрорайона. Угловые панельные дома были в пробоинах от снарядов, в одном обрушилась секция. Следующий дом уцелел, а за ним я различил трехэтажное здание с несколькими елями вдоль фасада. Часть окон была выбита, но глубине здания, на первом этаже, брезжил свет. Больше свет нигде не горел; я надеялся, что это больница.

Вокруг не было ни души; я двинулся через улицу, ожидая окрика или выстрела. В торце здания я различил крыльцо с пандусом. В углу подъездной площадки маячил белый фургон в рваных вмятинах, без колес. Это точно была больница. Надпись над входом в темноте не читалась, но я не сомневался: «приемный покой».

Я не знал, есть ли здесь охрана. Я хотел положить Юрко у входа и позвонить, если там есть звонок, или поколотить в дверь и сразу скрыться. Убежать я не рассчитывал, но, может, не станут искать в темноте. Ничего другого я придумать не мог. Я был уже у пандуса, когда на крыльцо вышла женщина с незажженной сигаретой в руке. Я замер с Юрко на плечах. На ней был белый халат и темные брюки. Женщина тоже замерла и придержала дверь, шурясь в мою сторону, затем сказала: «По коридору, вторая дверь налево. Донесешь?» В потемках она приняла нас за своих. Я держал Юрко и чувствовал, что сейчас упаду вместе с ним. Женщина чиркнула зажигалкой, прикуривая. «Чего стоишь? Катя примет, я сейчас... Тю, да ты...» У меня подогнулись ноги, я осел на пандус и уронил бы Юрко, если бы она не подбежала и опустила его, придерживая голову. «Каталку!» – крикнула она в дверь, выплюнув сигарету. – «Да каталку же!.. А ты тоже?...» Она повернулась ко мне. Двери запахнулись от удара каталкой, на меня упал свет из коридора. Я стоял перед ней на четвереньках, в крови, на шее болтался автомат. Было видно, как она напряглась, разглядев нашивки. «Тут есть охрана?» – спросил я. – Кто-нибудь... из ваших? Пусть не стреляют. Я сдаюсь».

Мы помолчали.

– Я вас понимаю, – вздохнул Пищик. – Вы сделали выбор.

– Я просто устал. Вообще устал. От всего.  
– И приняли решение. Это был выбор, поступок, да... – Кажется, он пытался сказать мне приятное. – А Юрко?  
– Его увезли на каталке, на операцию. Больше я его не видел.  
– Как вы узнали, что он умер?  
– Уже потом, когда сидел в подвале. Мне сказали, когда допрашивали.  
– Так, так... – он понурился, покивал. – А вас, значит?..  
– Связали, кому-то позвонили. Охраны там не было, только старик-сантехник или электрик, не знаю, и парень, тоже в халате. Старик забрал мой автомат и целился, пока парень связывал. Меня бы и ребенок связал... Потом приехали, мешок на голову... ну, и все как положено.

С Юрко мы покончили, и дальше его не касалось. По-моему, он это понял, но все равно спросил:

– Тяжело там пришлось?

– Трещина в ребре и так, по мелочи. Все лучше, чем мёртвым.

Зря я так сказал. До сих пор все шло гладко. Но нелегко битый час следить за каждым своим словом и не сбиться. И вообще мне было что-то не по себе. Пора закругляться.

– Сказал, что нас мобилизовали насильно, что дезертировали, в нас стреляли свои, что не хочу воевать, что у меня родня в России... Поверили в конце концов. Дали прибиться к беженцам, камуфляж я поменял на гуманитарный секонд-хенд, там его хватало. С нашей стороны граница была голой, россияне не придирались. Статус беженца, потом гражданство... Вот и все.

– Понятно... И как устроились?

Мы уже допили. Он смотрел как-то странно, будто изучал кожу на моем лице.

– Вы же знаете. Вот и телефон мой нашли.

– Да, да.

– А вы чем занимаетесь? – Мне это было неинтересно, но пора сворачивать разговор.

– Да ничем особенным, работаю провизором.

– Это в аптеке?

– Да, всю жизнь в одной аптеке... Так, живу...

Наверное, живет один, подумал я. Да мне какая разница.

– Ну что ж... – Опять этот ощупывающий взгляд. – Еще по чуть-чуть?

– Нет, все. Устал сегодня.

Я и вправду устал. Разговор был тягостный, и хмель почти не брал. Нет, все же брал: на выходе из кафе меня качнуло, я поскользнулся на ступеньках, но удержался за поручень. Прошел дождь, и ступеньки были влажные.

Мы двинулись в сумерках по опустевшей аллее. Еще чуть моросило, воздух был сырым и пряным; после душного кафе у меня покруглилась голова и закладывало уши, как бывает при перемене погоды. Коньяк все же сказывался, и хотелось отлить.

Кроме нас, вокруг никого не было. Я шагнул на газон, где рос плотный кустарник, и меня опять качнуло. На этот раз сильно; Пищик успел поддержать.

– Перебор, похоже, – усмехнулся я. – Даже в ноги вступило.

– Вам надо посидеть, – сказал он. – Идти можете?

Я попытался, с ногами вправду творилось что-то.

Он обхватил меня за талию, неожиданно мохлястый и цепкий.

– Держитесь за меня, крепче, за плечи.



Я старался, рука была слабой и соскальзывала.

– Ничего, тут рядом. Помогай, перебирай ногами... – Он вдруг перешел на «ты».

Я помогал, и мы добрались до скамейки. Она стояла в кустах и в сумерках с аллеи была почти незаметна. Кто-то заволок ее сюда из озорства или для быстрой любви.

– Что чувствуешь? – спросил Пищик. Он запыхался, пока тащил меня. Все же он был старый.

– Ноги что-то...

– Вижу. Другие ощущения?

– Закладывает уши... И руки... словно не мои.

Он кивнул. Он все еще не мог отдышаться, но приподнял мне подбородок и всмотрелся в лицо, словно сверял с фотографией. Я начал догадываться.

– Провизор... – пробормотал я. – Коньяк...

– Да, да. Я хороший фармаколог.

– Чем вы меня...

– Миорелаксанты, особая комбинация, плюс некоторые добавки. Слово «релакс» тебе знакомо? Твои мышцы сейчас расслабляются и расслабятся до полной обездвиженности, проще говоря, паралича. Последней расслабится диафрагма, и ты перестанешь дышать.

– Зачем? Почему?..

– А как ты думаешь?

Я подумал про ящик с инструментами у себя в подсобке, про набор отверток: там была одна, тонкая и длинная, с прорезиненной рукояткой. Попробовал пошевелить пальцами. Я все равно не смог бы ее удержать. Я и себя не мог удержать на скамейке. Лопатки заскользили по ребристой спинке, и я свалился бы на землю, но Пищик не дал и уложил меня на скамейке боком; ноги свешивались вниз сами по себе. Я был как из пластилина, казалось, его руки оставляют на моем теле вмятины.

Он достал зажигалку с подсветкой, оттянул мне веко и осветил в глаз, потом в другой. Похлопал по щекам, наблюдая реакцию. Посветил мне на брюки; да, я чувствовал, что обмочился. Он откинулся на скамейке. Он все равно выглядел понурым и сутулым.

– Я умру? – спросил я.

– К тому идет.

– Убийство... вас найдут.

– При чем тут убийство? Перед смертью ты проглотить дозу метанола. Бутылку, – он похлопал по своей сумке, – найдут рядом. Кому нужны подробные анализы, когда налицо банальное отравление суррогатом. Запредельная доза, остановка дыхания, смерть в молниеносной форме... У полиции есть дела поважнее.

Он меня поймал, подумал я. Потому что я так и не забыл, не сумел забыть. А пока помнишь, ничего не кончилось. Наверное, меня все равно рано или поздно поймали бы. Не он, так другой, не за одно, так за другое. Наверное, каждого из нас, кто там был, есть за что ловить. Не всегда только есть кому. На меня вот ловец нашелся.

– Но не все так плохо. Вот, видишь?

Шея не ворочалась, я не мог повернуть голову.

Он поднес к моим глазам шприц-тюбик. Такие водились у ребят на майдане, а потом, в лагере, те, кто мог, покупали их у фельдшера на медпункте, – шприц-тюбики с промедолом из индивидуальных аптечек, которые до нас не доходили.

– Легкая смерть? – Я чувствовал, что говорю невнятно. – И что за нее?

– Смерть? – удивился Пищик. – Я не предлагаю тебе эвтаназию. Здесь антидот. Твое спасение. Не веришь? Подумай сам – мы пили из одной бутылки. Просто себе я вколол противоядие заранее. Ну, рассказывай.

– Что... рассказывать? – Слова вязли во рту.

– Как было на самом деле.

– Все так и было... почти... – Я вдруг подумал, что сейчас потеряю голос и не успею рассказать, объяснить ему. Не смогу докричаться из этого неподвижного тела.

– Язык... губы... – вытолкнул я.

Моим телом был страх. Только сердце билось внутри и воздух входил и выходил.

– Затруднения с артикуляцией – это нормально, – сказал Пищик. – Мимические мышцы, голосовые связки тоже расслабляются, однако до конца не отключаются. Добиться этого непросто, но я хороший специалист. Некоторые затруднения с речью неизбежны, но голос ты сохранишь до конца. Говори, я пойму. Кстати, глотать ты тоже сможешь...

От меня остался только голос. Он хотел рассказать и забыть. Совсем забыть.

Голос говорил за меня.

Я сидел связанный в кладовке и услышал выстрелы, два или три одиночных и очередь. Кто-то завыл. Плеснули и смолкли старушечьи причитания, видимо, кого-то из санитарок.

Дверь открылась, и я увидел Щербака. Он был в балаклаве, но я узнал его. С ним была женщина-врач и еще наши.

Щербак навел на меня автомат и закричал, что я дезертир и предатель, мы оба с Юрко предатели. Женщина-врач что-то говорила, вой в коридоре мешал мне понять. Щербак подошел и пнул меня ногой. Он спросил, хочу ли я жить. Я сказал, что хочу. Он спросил, готов ли я искупить. Я клялся и плакал. Я не хотел плакать, слезы текли сами. Меня развязали и вернули автомат. В коридоре корчился на полу старик-сантехник, и я добил его двумя выстрелами. Я хотел в сердце, слезы мешали целиться, но он замолчал.

Щербак спросил женщину-врача, где Юрко. Она попыталась возразить, но он взял ее за волосы и заглянул в глаза. Она отвела нас в палату. Юрко был без сознания. Щербак спросил, что с ним, и врач сказала, что у него раздроблена ключица и еще две пули в ноге. И что он умер бы, запоздай я еще немного. Хорошо, что не умер, сказал Щербак. Он велел мне, и я выстрелил. Слезы у меня уже высохли, и я не промахнулся, Юрко умер сразу.

– Велел? – уточнил Пищик. – Щербак отдал тебе приказ?

– Он кивнул мне, и я... Он навел на меня автомат.

– Кивнул?

– Он просто смотрел на меня, и я... В других палатах тоже стреляли... Вы не понимаете...

– Понимаю. А потом?

– Потом я убил соседей по палате. Потом женщину-врача. Щербак похвалил меня и опустил ствол. Я выстрелил в него и вылез в окно. В других палатах еще стреляли и кричали, и я смог уйти. Вот и все. Вы обещали...

Пищик достал свою зажигалку и осветил мне в лицо. Просто светил и смотрел. Веки не слушались, я не мог зажмуриться.

- Это Щербак, – сказал я. – Я убил его.
- Не убил, – сказал Пищик. – Как раз его ты и не убил.
- Откуда вы... Но это он... значит, он может подтвердить, спросите...
- Он подтвердил, – сказал Пищик и выключил подсветку.
- Вы обещали...

Он не ответил.

- Это Щербак, – повторил я. – Такие, как он. Война закончилась.
- Нет, – сказал он. – Пока еще нет.
- Закончилась... Надо забыть...
- Ты смог забыть?
- Вы обещали, – сказал я.

Он не ответил.

Я лежал на скамейке боком, слезы стекали на левый глаз, правый начинал подсыхать. В прогале кустарника рваным пятном брезжила крона старой липы, подсвеченная фонарем с аллеи. Листва была тяжелой и свежей после дождя, или мне так казалось отсюда. Здесь, под деревьями, кусты остались сухими.

Пищик расстегнул молнию на сумке, чмокнула пробка.

- Не уходите, – попросил я.
- Я буду рядом, – сказал он. – Не оставлю тебя.

## Павел КРУСАНОВ

*Санкт-Петербург*  
(№ 3, 2023)

### ПАСТОРАЛЬ

Тетёрка была из прошлогоднего выводка и дурман весны ощутила впервые.

Зима выдалась малоснежной; хорошо, обошлось без жгучих ветров и трескучих морозов, так что искать защиту от стужи под снегом, в лунке, не было нужды – если не стыли лапы, ночевать можно было на деревьях, а чтобы схорониться, хватало сухотравья, моховых кочек и гушины подлеска. Совсем не то одевшимся на зиму в белое зайцам и горностаям, им – беда. Где спрячешься в лесу? Теперь ждать холодов уже не приходилось. И пусть на заре землю иной раз обсыпала изморозь, породивший её утренник казался свежим, бодрящим, не злым – поднимется солнце, и иней, смочив травы, мхи, зелёный круглый год брусничным лист и бурый багульник, сойдёт, воздух в лесу прогреется и остатки ноздреватых снежных налётов поплывут и подожмутся.

Этим утром, как минувшим, и как тем, что было перед минувшим, рябуха чувствовала в груди неясное томление и беспричинный трепет.словно весна пробудила внутри неё незнакомое существо, которое хотело чего-то, о чём сама тетёрка не имела ни малейшего понятия – это существо металось, звало в полёт, на поиски того неведомого, но влекущего, что волновало, пугало и манило одновременно. Совсем недавно, ещё несколько дней назад, когда солнце только начало прогревать выходящий из зимней дрёмы лес, когда чуть зарозовели молодые берёзовые ветви, внявшие гудению сока в стволах, когда только-только запахло влажной пробуждающейся землёй и стали набухать на лозе почки, она с полным безразличием слушала нерешительное бормотание косачей, рассаживающихся в голых кронах берёз и на вершинах молодых сосенок. Но внезапно всё изменилось. Теперь её неодолимо тянуло к заветной поляне, на старую вырубку у просеки, густо затянутую молодым лесом. Там по утрам и вечерам голосили краснобровые красавцы-петухи – бормотали, чуфыкали и заводили свои драчливые игрища, хлопая крыльями, распуская чёрные с белым исподом хвосты, подпрыгивая от возбуждения и выщипывая друг у друга перья.

Ещё не рассвело, а рябуха, очнувшись от непрочного сна и охваченная непонятным беспокойством, встрепенулась, прислушалась к предутренним звукам весеннего леса и, слетев с берёзы, на которой провела ночь, отправилась перебежками к месту косачиных игрищ. По пути в молодом осиннике невзначай наскочила на двух бурых в чёрных и бежеватых пестринах птиц с забавными длинными клювами – те резво отскочили от неё под куст ивняка. Неясно, точно сквозь сон, припомнилось рябухе, как ранней осенью, ещё тетеревёнком, она повстречала та-

ких же птиц на полевой дороге, где те выискивали и глотали камешки. Тогда они показались ей большими и опасными, а теперь – маленькими и совсем не страшными: потешные длинноносые фитюльки.

Миновал осинник, усыпанный прелой листвой с белеющими тут и там пятнами грязноватого снега, тетёрка вспорхнула и полетела к поляне, откуда, далеко раскатываясь по предрассветному лесу, уже раздавалась призывная курлыкающая песня.

Гульбище косачей заворожило рябуху. Сев на берёзу, она, не в силах отвести взгляд, наблюдала, как иссиня-чёрные петухи ходили по поляне кругами, подсакивали и оглашали окрестности раскатистым бормотанием. Грациозные щёголы, одурманенные весной и распалённые любовью, волочили опущенные крылья по земле, расправляли хвосты с гнутыми боковыми косами, обнажая белоснежное подхвостье, надували друг перед другом переливчатые зобы, вытягивали над землёй шеи, чуфыкали и, выбрав соперника, в неистовстве, наскоком, сходились в драке. Тогда над поляной раздавались удары крыльев и летело в стороны выбитое перо.

Спорхнула вниз с близстоящих деревьев и пара тетёрок-старок – на поляне послышалось их озабоченное клохтание. Того только, казалось, петухи и ждали: как по команде вошли в ещё больший раж – танцы разыгрались с новой силой, голоса стали громче, далеко по лесу покатились округлые булькающие песни, разбиваемые то звонким ку-каррр, то глуховатым чуф-фышшш. В какой-то миг рябуха не усидела на ветке – пробудившееся в ней беспокойное существо толкнуло её туда, на поляну, к красующимся голосистым задирам. Расправив крылья, она вслед за старками слетела на ток.

Крупный краснобровый косач, кружась, гарцуя, расчёсывая жухлую траву чёрными с белыми зеркальцами крыльями, тут же поспешил к рябухе – поворачивал в танце к избраннице то один, то другой бок и во всю ширь распускал угольный с завитыми краями хвост. Поначалу оторопел от столь горячей встречи, молодая тетёрка затаила дыхание, но косач был настойчив, кружил и кружил, не унимаясь, ворожа, наводя танцем неотразимые чары... И она не устояла – дрогнув, сердце её заколотилось, и рябуха торопливо, с оглядкой, повела петуха за собой, в гущину зарастающей вырубки. Там и подпустила жениха, ненадолго утолив разбухшую весной, расцветшую, будто пламенный цветок, всепобеждающую жажду.

Ещё не один раз тетёрка прилетала на ток – и на другой день, и на третий, по утрам и вечерам, – обмерев, не могла отвести глаз от косачиных игрищ, потом слетала на поляну и уходила с гарцующим красавцем в заросли.

Неподалёку, на краю вырубки и старого леса, в завале прошлогодней травы под упавшей сосной она соорудила гнездо, выстелив его листьями, мхом и веточками, куда откладывала бледно-палевые в бурых конопатинах яйца. После восьмого яйца рябуха перестала летать на поляну. Томление внутри неё улеглось, охота ушла – петушьи песни больше не откликались в груди горячим трепетом, неодолимое желание остыло. Теперь гнездо, где она села высидывать яйца, стало её неусыпной заботой.

\* \* \*

Пётр Алексеевич рассказывал, профессор с улыбкой, выражавшей снисходительное понимание, внимал. Речь шла о лягушечьей коже –

о несостоявшейся студенческой любви, историю которой в припадке не то душевного покаяния, не то ностальгической грёзы поведал Петру Алексеевичу этой весной Пал Палыч. То есть состоявшейся любви – конечно, состоявшейся, но как-то неказисто свернутой в испуге, не укоренившейся, отчего она бесцельно и безрадостно увяла, не дав ни цвета, ни плодов. Впрочем, если бы всё повернулось иначе, если бы не развела голубков судьба, сыграв на юношеском малодушии, в разные стороны, если бы все эти годы они прожили вместе горько и счастливо, как на земле заведено, – если бы так случилось, разве держал бы в памяти Пал Палыч всю свою оставшуюся жизнь этот образ – девчонку, полночи проплакавшую сладкими слезами у него на груди? Нет, не держал. Затмили бы его последующие утехи, горести и ссоры – пыль жизни, без которой нет ни мирской печали, ни мирского благоденствия, как бы ни походили наши дни на радости седьмого неба. А помнил бы он в этом случае другую – Нину, с которой и разделил в итоге ношу трудов и дней... То есть ту, юную Нину помнил, какой её оставил, если бы предпочёл ей студентку, обмоктившую ему рубашку...

– Не нам судить, – сказал Цукатов.

– Порой мне кажется, что у тебя на месте сердца – жаба, – с дружеской непринуждённостью заметил Пётр Алексеевич. – Кто судит? Понять хочу. Случались ведь и с нами безумства страсти и другие помешательства. Вспомни университет – гульбища в общежитии, летняя практика на биостанции... Что, интрижек не случилось? Да сколько хочешь. Всех не перечести.

– Одно – там, другое дело – здесь. – Взгляд профессора потеплел от нахлынувших воспоминаний. – В провинции нравы всегда были строже.

– Что-то не верится. Ну, если и строже, то разве только напоказ – Тартюфам переводу нет. Природа, брат, на всех одна и принуждения не терпит.

Пётр Алексеевич и профессор Цукатов, распаренные, влажные от воды и выгнанного пота, сидели в предбаннике с кружками кваса в руках. Позади были три захода в парилку с берёзовыми вениками – после каждого, дымясь, бегали к речке, на берегу которой стояла баня, и с фырканьем бултыхались в водяной струе под ивовым кустом, в специально выгороженной валунами купели. Полина, не мудрствуя, называла эту речную ванну джакузи. Середина августа, завтра открывается охота. Сегодняшний день был праздным.

Поднявшись с места, Пётр Алексеевич заглянул в дверцу банной печи и подбросил в топку три полена. Профессор воспользовался моментом – поставив кружку на стол, растянулся на лавке во всю её длину. Пётр Алексеевич сел на соседнюю.

– Давай и мы не будем лицедействовать – играть в Тартюфов, – предложил он. – Давай-ка посверкаем стекляшками души.

– Давай, – согласился Цукатов.

– За себя честно скажу, при встрече с каждой красоткой я помимо воли тут же представляю её в постели: запрокинутая голова, растёкшиеся на две стороны груди, сбитое дыхание, счастливое страдание на лице... При этом, как ты знаешь, я не сатир. Видения возникают сами собой, вполне невинно – это такой бодрый знак приветствия представительницам противоположного пола, своего рода галантный комплимент воображения. – Пётр Алексеевич преувеличивал, завывал градус, но по существу не лгал. – И это нормально.



– Нормально, – подтвердил Цукатов. – Если ты не меньшевик по этой части.

– Оставь... В любой традиции, куда ни плюнь, безбрачное и бездетное существование расценивается как бесцельное. Любовь – пружина механизма живой природы, если угодно, условие её существования. Ты же биолог... Она – коренной зачин всего на свете. Ещё Гесиод говорил, мол, раньше всех, и смертных, и бессмертных, родился Эрос, бог юнейший и старейший. – Пётр Алексеевич сыпал слова без запинки, словно щёлкал семечки. – И если б только греки... Читаешь «Старшую Эдду», и на тебе: шестнадцатое заклинание Одина помогает соблазнять дев – овладевать их чистыми душами и покорять их помыслы, а семнадцатое окутывает девичью душу как паутиной. Или такое наставление: никого не осуждайте за любовь – даже мудрого она ловит в сети, и тот из-за красоты впадает в безрассудство. Это предводитель асов нас поучает, знаток священных рун и хозяин вечного пира в Валгалле.

Порой Пётр Алексеевич в совсем не подобающих случаю обстоятельствах вдруг начинал вещать как по писаному, будто вместо производственной летучки в кругу технологов и печатников очутился на затейливом симпозиуме, где приветствовалась подвижность ума, а слушатель был тонок и внимателен.

– Греки, – заметил лежащий на лавке профессор, – большие были шалуны. Сапфо вон как Лесбос прославила...

– Да, – Пётр Алексеевич обтёр полотенцем лицо, – шалуны... Эллины принимали любовь в любых видах, не допуская лишь принуждения и насилия. Ну, и резвились соответственно.

– Весь их Олимп, – обозначил Цукатов знакомство с предметом, – что Зевс с Ганимедом, что Аполлон с Гиацинтом... Не обитель богов, а грязевой вулкан какой-то, лопнувшая фанина: только шагнул – сразу вляпался.

– Для греков любовь была условием стремления к красоте, благу и бессмертию. – Пётр Алексеевич воздел очи к банному потолку. – Ведь редко так бывает, чтобы... невинность соблюсти и капитал приобрести. У Платона любовь начинается с отдельного явления прекрасного и понемногу, словно по ступеням, поднимается вверх, преображаясь в созерцание вечного – того, что не возникает и не исчезает, не возрастает и не умалается, что прекрасно в каждой мелочи и не имеет червоточины.

– Но на Руси той – с шалостями – Греции не знали. – Профессор словно продолжал разговор с самим собой, не принимая во внимание фонový шум в виде мудрствующего Петра Алексеевича. – На Руси знали христианский Царьград и Софию – премудрость Божию.

– Так ведь не на колене голом встал Царьград! Эти платоновские ступени любви в христианстве становятся лестницей восхождения к небу. Бог есть любовь – аксиома. Однако Максим Исповедник уточняет: Бог – это всех объединяющий Эрос, который имеет естественные формы преображения – от Эроса физического и душевного к Эросу умственному и ангельскому.

– Когда б вы знали, из какого сора... – лениво продекламировал Цукатов.

– В точку.

Было время, Пётр Алексеевич превыше всего ценил книжное знание – копил его и упивался им. Оно вызывало в нём смешанные чувства почтения и удивления, какие дарит прекрасно сделанная, но вместе с тем хрупкая, эфемерная вещь – что-то вроде китайских резных шаров,

невозможным образом вставленных один в другой. С годами восторг поугас, однако чтение вошло у Петра Алексеевича в привычку, кое-что из прочитанного крепко засело в памяти и теперь, немалое время спустя, не вызывая ни обольщения, ни радостного ободрения, позволяло при случае поддерживать беседу.

– Бог не может быть творцом зла, – хлебнул из кружки кваса Пётр Алексеевич. – Как зло есть несовершенное добро, так и насилие есть несовершенная любовь. Поэтому всевластие любви должно направляться не на отрицание, а на чудесное преображение несовершенного в совершенное, на восхождение вверх по этой вот сияющей лестнице – от физического к ангельскому.

– Православный дарвинизм какой-то, – заложил руки за голову профессор.

– Жаль, – продолжал Пётр Алексеевич, – что победившее христианство зачастую отказывается жить на таких скоростях, которые одолевают тяготение Земли, и проповедует не великую возможность преображения Эроса, а суровый морализм, исключаяющий радость любви и изгоняющий веселый Эрос, как анчутку, из святого храма.

– Гладко чешешь, – похвалил Цукатов. – Я даже позабыл, при чём тут лягушечья кожа.

Рожки вешалки, на которую устремил рассеянный взгляд Пётр Алексеевич, были увенчаны деревянными шариками и походили на пугливые рожки улиток – прикоснись к ним, и они спрячутся, втянутся без следа в осиновою массу стены.

– Я, кажется, и сам забыл. – Пётр Алексеевич потёр влажный лоб. – Там речь шла про два царства – наше, повседневное, и тридесатое, построенное на мечтах, – которые оба нужны человеку...

– Заметь, – профессор перевернулся на живот, – ты, чёрт дери, сам свидетельствуешь в пользу моих слов. Ну, про строгость нравов старозаветной глубинки, куда растленность образованных столиц доходит не так скоро.

– Но зачем этот морализм? В святоотеческом предании Бог – запретельный источник всякой любви. И эта общая для всех любовь простирается к каждому из нас наиболее соответствующим для него образом. Соображаешь?

– Ещё как, – заверил профессор. – У всякого свой вкус и своя манера: кто любит арбуз, а кто офицера.

– Может, иной раз и неказисто простирается, – не стал спорить Пётр Алексеевич, – но при этом сохраняет возможность перерождения в более совершенную форму. Если бы хоть какой-то из ликов Эроса изначально был порицаем церковью, то как «Песнь Песней» могла бы оказаться в каноне священных книг?

– О каком суровом морализме ты говоришь? Не возжелай жены ближнего – об этом, что ли? – Цукатов почесал крепкую ягодицу. – В конце концов, церковь освящает и брак, и материнство.

– Это само собой, – живо кивнул Пётр Алексеевич. – Я о другой суровости. Вот ты говорил, что на Руси не знали той Греции – с шалостями...

– Куда нам. Они, на Олимп глядя, обезьянничали, а наши лешие с кикиморами против олимпийцев – чисто младенцы. Никакой перверсии.

– Так нет же, знали! – Глаза Петра Алексеевича взблеснули. – Все знали. Сами себе были – Олимп. В старых русских требниках закрепле-

ны на диво жёсткие правила альковных отношений. Там рассмотрены все тёмные закоулки порока, как естественного, так и протиестественного, с множеством неприглядных подробностей, будто в Декалоге и нет ничего, кроме седьмой заповеди.

Профессор с улыбкой, выражавшей неодолимый скепсис, молчал.

– Было время, в нашей типографии по заказу епархии печатались репринты богослужебной и святоотеческой литературы. Так вот, видел я репринт требника Чудова монастыря – между прочим, четырнадцатый век! – где, в частности, перечислялись обязательные вопросы, которые задаются женщинам на тайной исповеди. Боже мой, в какие бездны окаянства приходилось исповеднику заглядывать! Как дошла до греха – с законным мужем или блудом? Целуя, язык заталкивала в рот? А на подругу возлазила или подруга на тебе творила, как с мужем, грех? А сзади со своим мужем? Сама рукою в своё лоно пестом, вошаным сосудом или чем тыкала? Соромные уды лобызала? Скверны семенные откушала? Вот так буквально, этими словами... Представляешь! С таким же пристрастием опрашивались и мужчины. За каждое отступление от законов естества полагалось два года сухоядения или год поста.

– И правильно. – Цукатов сел на лавку. – Я бы ещё плетей добавил. Пошли-ка поддадим парку.

– А договаривались Тартюфа не включать... – махнул рукой Пётр Алексеевич.

Прихватив замоченные веники, зашли в парную. Профессор плеснул из ковша на зашипевшую каменку и нагнал такого пару, что через миг ноздри им словно опалило пламя.

Вечером приехал Пал Палыч смотреть пчёл. На днях надо было качать мёд – тянуть дальше некуда, Медовый Спас отгуляли ещё на той неделе. Переходя от улья к улью, Пал Палыч снимал с домиков крышки, доставал рамки из магазинов, изучал сквозь сетку, ставил на место; Ника, сестра Полины, тоже в широкополой шляпе с сеткой, окуривала пчёл дымарём.

Закончив осмотр, Пал Палыч вознамерился тут же уехать, однако Пётр Алексеевич с Полиной уговорили его остаться на ужин.

– В шасти домиках можно хорошо мёда взять, – сообщил Пал Палыч за столом. – А в двух пустые магазины – только на зиму сябе натаскали.

– Сколько дадут, столько и дадут – не пропадём. С прошлых качек ещё всем по ведру стоит. – Александр Семёнович, отец Полины и Ники, не бился за образцовое хозяйство, просто радовался окружающей его жизни, не переставая в свои годы удивляться тому, что трава – зелёная, облака – невообразимые, кошка – подлиза, а люди – такие разные: бывают из чистой стали, а бывают *этакстранцы*.

– Пал Палыч, почему у вас тарелка пустая? – следила за трапезой Полина. – Положить ещё мяса?

– Ня надо. Я рыбку возьму, – Пал Палыч подцепил вилкой ломтик малосольной сёмги, – мне рыбка понравилась.

– Всё на старой своей ездись? Забыл, как ей название... – Александр Семёнович, пустив по пергаментному лицу весёлые лучики морщин, хлопнул гостя по плечу.

– «Ода», – подсказал Пал Палыч.

– Железный механизм, а его поэзией назвали, – не в первый раз отметил Александр Семёнович. – Ей, поэзии твоей, сто лет в обед – а ну как развалится?

– Так уже разваливается! – со смехом согласился Пал Палыч. – Гремит, как ведро, тормозов, считай, нет, сзади фонарь побит и дверь – та, что для Нины, пассажирская – снутри ня открывается. Только снаружи.

– А что зять в городе тебе машину не присмотрит? – Александр Семёнович ковырял вилкой в тарелке солёный огурец. – Иномарку какую – понадёжнее. Вроде сейчас со вторых рук можно взять недорого.

– Мне забугорку ня надо, – Пал Палыч помотал головой. – Я ж по кустам, по грязи...

– В Новоржеве, наверно, иномарку – несподручно, – предположил Цукатов. – Ей техобслуживание по регламенту подавай, а где тут расходники взять? Быстро тем же ведром станет.

– Я это ня знаю, ня занимался. Мне по кустам надо... И собак посади туда. – Пал Палыч намазал на булку масло и положил сверху ломтик сёмги. – Вчера свёз собак в Голубево, чтобы побегали, лес ня забывали, так в салоне вонь – хоть и застелил брезентом, а псиной тянет.

– Профессор тоже собаку в машине возит, и ничего – японка его не обижается, – заметил Пётр Алексеевич. – Все охотники так. Или ты, – Пётр Алексеевич повернулся к Цукатову, – одеколоном на Броса фыркаешь?

Ответом профессор Петра Алексеевича не удостоил – ну ляпнул глупость, бывает.

– У городских, может, время есть – полдня машину чистить, – стоял на своём Пал Палыч. – А я ж ня буду, мне надо бязать дальше: надо кроликов кормить, надо дров поднести, надо кочегарку топить... А если это задвинуть, так и всё поползёт. Жана опять же кричит: что кочегарка холодная, что собаки ня кормлены, что у поросят ня убрано! Надо всё успевать. – Пал Палыч улыбнулся. – Но я ня жалуюсь. Наоборот – горжусь. Жизнью горжусь, что так прожил. И ни на кого ня обижаюсь – всё слава Богу.

– Правильно, – Александр Семёнович махнул рукой и с грохотом уронил на пол приставленную к лавке трость. – Я помню, как мы жили... Что говорить? Так, как теперь, изобильно и сытно, никогда прежде не было. Стол – ломится! Телевизор – пожалуйста! Тряпки – какие хочешь! У меня в буфете коньяк стоит – французский и армянский. Чёрт-те что! Хочешь, Паша, коньяку?

– Ня надо, – решительно отказался Пал Палыч.

– А иных послушать – всё не так, всё недовольны. Душно им, свободы нет... А куда больше: помои направо-налево плещут, Власова карамелью мажут, и никто их за это на кол не сажает. – Александр Семёнович нагнулся за тростью и поставил её на место. – Я бы посадил. Ругают страну, ругают власть, а сами как пряники в глазури – лоснятся! Что говорить – у меня уже и внучки при машинах. Ещё не замужем, а обе за рулём.

– И мои тоже – и у дочки, и у зятя по машине... – поддержал разговор Пал Палыч. – Одну, правда, нынче продали. Трудно им в городе копейка даётся, на квартиру копят – того ня хватает, сего ня хватает... А кто вас гонит в города? Кто няволит? Сами за хорошей жизнью едете. А это ложно. Хорошая жизнь в деревне – природа, речка, кусты, комары, сляпни, зямля, где тябе работать... – Пал Палыч в широком жесте

вытянул над столом руку. – А тут тебе реклама – тренажёр. А зачем тебе тренажёр? Возьми лопату – копай. Такой же тренажёр. Только лучше – там деньги плотишь, а тут тебе заплотют. Сами и виноваты... Громоздим города, в петлю лезем, а потом плачем. Нам только бы подальше от своей природы...

– Город или деревня – не в этом дело. – Пётр Алексеевич не любил, когда застольный разговор сходил к брюзжанию. – Надо, чтобы у каждого горел закон в сердце, точно тавро выжженное, чтобы из поколения в поколение переходил, как завет крови, чтобы в позвоночный столб вошёл и стал свидетельством породы... Вот это и будет наша природа внутри нас, которая спасёт.

– Ты о чём? – Полина поставила на стол чайник.

– О понятиях. Тех, что кровь до голубого цвета возгоняют. Ничего нового – архаика. Должны быть в сердце человека четыре цитадели: честь, долг, семья и собственность. – Пётр Алексеевич четыре раза рубанул ребром ладони воздух и тут же снова рубанул: – Да, милые мои, честь, долг, семья и собственность. По значимости – именно в таком порядке. И порядок этот незыблем и ревизии не подлежит, как табель о рангах, как старшинство карт в колоде: туз бьёт короля, король – даму, дама – валета... А в игры, где старше всех шестёрка, сам не играю и другим не советую.

– И как эти понятия друг с другом соотносятся? – заинтересовалась Полина. – Кто кого бьёт?

– Имением своим, добром и златом, можно пожертвовать ради семьи, – Пётр Алексеевич машинально застёгивал и расстёгивал пуговицу на кармане рубашки, – семьёй – ради долга, долгом – ради чести. И никогда иначе – честь в жертву долгу, семье и собственности приносить нельзя. Да-да, именно так, даже семье, – добавил Пётр Алексеевич, уловив во взгляде Полины протест.

– Тут мне подумать надо, – почесал затылок Александр Семёнович. – С ходу не соображу.

Пал Палыч покачал головой:

– А я, Пётр Ляксеич, ня согласен. Ради сямьи на всё можно пойти – чтобы, сказать к примеру, дятей и жёнку с бяды вытащить...

– Как правило, спасение семьи неотличимо от дела долга и чести. Они здесь рука об руку – размолвки нет. Речь не о противопоставлении, которого в обычной жизни и быть не может, а о старшинстве значения того или другого опорного столба, когда весь мир кругом трещит. – Пётр Алексеевич принял из рук Полины чашку чая. – А вы, Александр Семёнович? Вы же сами говорите: «Была бы страна родная...» Это ведь для вас первейшая заповедь.

– Да, была бы страна, – согласился Александр Семёнович. – Всё остальное – вторым номером.

– Вот видите...

– Я всё же про семью думаю, – колебался Александр Семёнович. – Смог бы я дочерми, – он кивнул на Полину с Никой, – ради чего бы то ни было...

– Я бы ня смог. – Пал Палыч горячо потёр одной широкой ладонью другую. – Тут однозначно.

– А есть пример такой нужды? – вздёрнул Александр Семёнович клин реденькой бородки. – Чтоб для наглядности.

– Сталин и его сын Яков, – отчеканил Пётр Алексеевич. – Пленного фельдмаршала Сталин не поменял на пленного сына.



Повисла тишина. Пётр Алексеевич улыбался – что-что, а на брюзжание разговор уже никак не походил.

– Или вот – из литературы, – добавил он, – Тарас Бульба и предавшийся ляхам Андрей.

Профессор в гуманитарный спор надменно не вступал – под чай раскачать его на дебаты было трудно.

– Хочу завтра с собакой по полям и по лесу пройтись. – Цукатов надкусил дольку мармелада. – Вы, Пал Палыч, говорили – куропатка появилась.

– Нынче много куропатки. По сравнению – что было, и говорить нечего. Небо и зямля. – Пал Палыч обрадовался перемене темы. – Пару лет ня видно было, а тыперь и в Залогe, и тут, у Телякова, где мы с вам прошлый год ходили и никого ня подняли... Нынче идёшь, и прямо с под ног выводком слетают. Туда и ступайте, к Телякову, тут ня далеко.

– А мы с вами на Селецкое? – уточнил завтрашний распорядок Пётр Алексеевич.

– На Сялецкое, – кивнул Пал Палыч. – По протокам на лодке походим – один на вёслах, другой стреляет. Дело вам знакомое.

Пётр Алексеевич взял из стоящей на столе корзинки со сладостями краплённое кунжутом печенье. Подержал и положил на место – печенье было лишним.

Качать мёд решили в понедельник – раньше Пал Палыч своих дел не разгребёт.

\* \* \*

Шло время – обсыпали иву шелковистые пуховые комочки, зазеленела на кустах и деревьях глянцева молодая листва, распустились и облетели нежные ветреницы и пролески, у кудлатого лесовика в бурый волос вплелась прозелень. В свой срок вылупились из яиц восемь пушистых, жёлто-серых в чёрных и рыжих пестринах цыплят. Только выбрался из скорлупы последний, тетеревята встали на ноги и вслед за рябухой, ещё нетвёрдо, спотыкаясь и заваливаясь, засеменили в зелёное лесное густотравье, звенящее и стрекочущее на солнечной опушке. Заботливая мать показывала малышам кормовые места, учила ловить кузнечиков, гусениц, пауков и прочую ползучую и скачущую мелочь; чувствуя опасность, беспокойно вскрикивала, и птенцы тут же рассыпались по траве, затаиваясь от неведомых врагов. На дневной отдых и на ночь тетёрка собирала малышей под крылья, согревала своим теплом в ненастье и на предрассветном холодке.

После луга, колышущегося в знойном мареве, и лесной опушки с одиноко цветущей лешухой<sup>1</sup> настал черёд ягодников: уже одевшиеся в новое буровато-пёстрое перо птенцы сперва попробовали душистую землянику, за ней сладкая малина до поры сделалась их главной пищей, а затем предстояло им узнать пути в зреющие черничники и добраться до моховых болот с крепкой брусничкой и раскатившейся бусинами на мягкой подстилке клюквой. Из всего выводка больше других доставляли хлопот матери три петушка – бойкие, любопытные, озорные, они то и дело норовили убежать от остальных, исследуя открывшуюся перед ними жизнь и ничего не зная о таящихся вокруг опасностях. Пять ку-

<sup>1</sup> Здесь – дикая лесная яблоня.



рочек были куда пугливее и тише – они трепетали перед неизвестным миром, страшась и на полшага отойти от матери.

Однажды – тетеревята немного подросли и уже научились короткими стежками перепархивать с места на место – один из непоседливых петушков, не рассчитав сил маленьких крыльев, случайно налетел в лесу на рыжего пушистого зверя, чью длинную морду с чёрным кожистым носом подпирала белая меховая манишка. От испуга перед чудовищем петушок мигом порскнул в траву и, слившись с фоном, припал к земле и затаился. Откуда ему было знать, что по чутью лиса легко отыщет и его, и всех остальных попрятавшихся тут и там цыплят. Спасла птенцов мать, отважно встав на пути голодного зверя – тяжело, точно перебитое, волоча по земле крыло, она с клохтаньем потрусила в сторону от выводка.

Соблазн был велик – лиса пустилась за тетёркой, предвкушая лёгкую добычу. Несколько раз ей казалось, что через миг, вот-вот – ещё один прыжок – и она схватит раненую птицу, но та каким-то чудом вновь и вновь изворачивалась, ускользала и кособоко бежала дальше, метя по траве сломанным крылом.

Охотничий пыл бил зверю в сердце, он забыл про птенцов и желал одного – скорее достать рябуху, вонзить зубы в её тёплое трепещущее горло и ощутить во рту сладкий вкус ещё живой, туго брызнувшей крови. Но ему по-прежнему никак не удавалось ухватить проклятую птицу – всякий раз она оказывалась проворней и, метнувшись в сторону, избегала клацающей пасти. Так мать, в отчаянии рискуя жизнью, уводила хищника всё дальше и дальше от затаившихся цыплят.

Почувствовав, что уже довольно сбила зверя с пути и он теперь навряд ли вернётся к беззащитному выводку, рябуха перестала притворяться. Когда лиса в очередном прыжке бросилась на добычу, зубы её схватили пустоту – к её немалому удивлению, тетёрка без труда оторвалась от земли и, быстро орудуя крыльями, скрылась в лесу за зелёной листвой. Сбитый с толку зверь замер, проводил оторопелым взглядом улетевшую поживу, потом сел, пощёлкал зубами, лоя в рыжей шерсти блоху, и потрусил дальше в надежде всё же раздобыть сегодня что-то на обед.

Однако и помимо хищного зверя в огненной шубе хватало в лесу злосчастья – он полон был угроз и опасностей, встреча с которыми далеко не всякий раз заканчивалась столь удачно. Вскоре одну из пугливых молодых тетёрок поймала у малинника и унесла неведомо куда коричневато-дымчатая, сверкающая полосатым голубым пером в крыльях сойка, чьё нарядное благообразие придавало ей обманчиво привлекательный и безобидный вид. А следом расклевала вторую цыпу-пеструшку ненасытная и наглая ворона, от самой природы имевшая злодейскую наружность. Уравнялись у рябухи детки, остались в выводке шесть тетеревят – три косачика и три курочки.

Когда поспела брусника, взрослеющие петушки уже наполовину нарядились в чёрные перья, а на хвостах у них обозначились загибы будущих косиц. И без того бойкие, теперь они всё дальше отходили от матери, показывая всем видом, что больше не нуждаются в опеке, что стали уже взрослыми, самостоятельными, важными птицами.

Как-то раз тетеревиная семья кормилась в черничнике у лесного озера, всё ещё полном спелой, уже опадающей ягоды. С ночи в лесу то и дело раздавались странные грохочущие звуки, которых прежде ни рябуха (отголоски этих раскатов смутно брезжили в её сознании, как вид

встреченных по весне длинноклювых вальдшнепов, но было ли то истинным воспоминанием или только грёзой – она не знала), ни тем более её тетеревята не слыхали. Отрывистые гулкие удары походили на маленький нестрашный гром, однако в небе не было туч и над лесом не сверкали молнии. Гремело изредка и далеко, поэтому звуки не очень тревожили тетёрку. А с рассветом и вовсе стало тихо. Черничник порос пахучим багульником, из-за него рябуха не сразу заметила собаку – эти существа и до того появлялись в лесу, иногда сопровождая людей с корзинами, а иногда труся по лесным дорогам, уткнувшись носом в землю, без видимого дела. Она тревожно, но негромко вскрикнула. Кормящиеся тетеревята увидели белое в чёрных пятнах чудище с отвислыми ушам – зверь, кося глазом в их сторону, по дуге обходил выводок стороной.

Одно мгновение – и молодняк *запал*, вжавшись в мох среди черничных кустов. Пробежав ещё немного, собака вдруг тоже замерла и, устремив поверх багульника блестящий взгляд туда, где затаились птицы, как буря бросилась вперёд. Рябуха, клохтая, взлетела, за ней дружно взвились уже вполне освоившие крылья великовозрастные детки. Только теперь – собака отвлекла их – они увидели человека; он был огромен и ужасен, как медведь, как лесовик, но те были свои, понятные, а этот – главный страх обитателей чащи. И тут же грянул гром, и следом – снова. Одна из молодых тетёрок, роня перья, кувырком полетела вниз и упала на землю. Второй выстрел достал петуха – тот ощутил внезапный жар в боку и небывалую тяжесть в теле, но удержался на крыльях и изо всех сил поспешил за братьями и сёстрами.

Мать, пролетев до края бора, опустила с выводком в густом чернолесье, отделённом от старого сосняка песчаной бороздой-канавой. Дальше пошли искать укрытие пешком. Подстреленный косачик, нахохлившись, тяжело дышал, прихрамывал и едва поспевал за роднёй.

\* \* \*

Из перелеска Цукатов вышел на уже десятки лет не паханное поле, укутанное сухим ароматом поздних, местами ещё пестрящих цветами трав. Жёлто-зелёный простор впереди и слева ограничивал лес, опушённый по краю ивовыми кустами и молодой осиново-берёзовой порослью, справа запустелую ниву ограждал от большака строй тополей и сплошная стена сирени, отчаянно цветущей в июне, а теперь тёмной и безвидной. Неподалёку, временами исчезая в высокой траве, как пловец в волнах, потом вновь появляясь, бежал Брос – показывал всем своим видом, что-де не на прогулке, что работает: то вставал свечкой, стараясь уловить носом верхние воздушные токи с говорящими запахами, то начинал бороздить мордой землю в поисках горячего следа.

Усердие у пса было – не хватало навыка. Прихватив что-то чутьём, он стремительно метнулся влево, к лесной опушке, в один миг перейдя с поиска на *потяжку*. Мелькая в траве, крутя хвостом, усвистал далеко и, опьянённый азартом, не дождавшись хозяина, поднял стайку куропаток метрах в шестидесяти от Цукатова; тот машинально вскинул ружьё, но стрелять не стал – пустое. Куропатки низко над землёй перелетели за кусты и исчезли из вида. Профессор грозно подозвал собаку и сделал выговор: «Это что такое?» Брос виновато опустил морду, нервно повертелся на месте, переступил с лапы на лапу.

Пошли по полю дальше. Сперва пристыженный пёс работал поблизости, ходил челноком перед хозяином туда-сюда, а потом – опять двад-

цать пять... Поймав на чутьё след, Брос потянул вперёд и вправо – наискось к большаку, скрытому плотной оградой из лохматых сиреневых кустов. Оторвавшись от хозяина метров на полста, бестолково, не под выстрел, поднял из травы ещё один табунок куропаток. Птицы, орудуя маخالками, дружно ушли к лесу и скрылись в берёзовой поросли. На этот раз виновато подошедшего с поджатым хвостом пса Цукатов чувствительно стебанул по спине поводком: «Куда бежишь? Сколько можно!» От удара Брос сдержанно подскулил, присел на задние лапы, потупил взор и всем видом выразил полнейшее признание вины. Собачью душу терзала не боль от порки, а невыносимый стыд – огорчён обожаемый хозяин, опять промашка, не угодил...

Несмотря на суровый окрик, Цукатов не испытывал большой досады: куропатки оказались на глаза – уже дело. И пусть Брос в поле пока работает не очень, зато отлично разыскивает подстреленную дичь. Ничего, собака молодая, ещё выучится, постигнет науку и защитит магистерский диплом...

Между тем Брос, вновь прихватив какой-то запах, перешёл на потяжку и сквозь девственные травы вьюном построился вперёд. Из-под собачьего носа с громким чирканьем выпорхнул бекас, которого Цукатов совсем не ожидал здесь встретить – место этому длинноносому кулику было не в поле, а на сыром болотном лугу. Стремительный, как молния, бросаясь из стороны в сторону, бекас быстро набирал высоту и уходил влево, к осиново-берёзовому мелколесью. Цукатов мигом вскинул ружьё, выцелил и выстрелил. Бекас метнулся вбок. Цукатов тут же дварил из второго ствола. Оборвав полёт, кулик косо рухнул в траву.

Брос, едва сдерживая нервную дрожь, стоял в ожидании команды. Наконец хозяин велел подать. Пёс радостно сиганул в траву и через мгновение уже тащил в словно бы улыбающейся пасти добычу – весь его ликующий облик возвещал: «Как ловко мы сообразили! Экие мы молодцы!» Цукатов принял у собаки трофей, снял с плеча лёгкий рюкзачок и бросил туда птицу. Добыча была почётной – быстрого, вёрткого, мечущегося в полёте бекаса взять непросто, а он, поди ж ты, взял.

Какое-то время побродив по полям и просёлкам, охотник и собака отправились к лесному озеру через мшистый бор, украшенный можжевельником, молодыми дубками и кустистым орешником. И не зря – к вящей радости Цукатова, в лесу Брос сработал образцово: учуял, обогнул и поднял в черничнике на охотника кормящихся тетеревов. Одним выстрелом Цукатов уложил молодую тетёрку, а вторым, в угон, достал петуха, но тот всё же ушёл за можжевеловую поросль в бор. Собака, пущенная следом, отыскать его не смогла. Должно быть, спасло косача плотное перо: в стволах была «семёрка» – Цукатов, отправляясь с Бросом на ружейную вылазку, в лучшем случае рассчитывал на встречу с куропаткой, вяхирем или любопытным рябчиком. А тут – чистый приз. Хвала собаке и хозяину.

– Вот и говорю: дружил со Жданком, который председатель общества – ня нонешний, другой... Тот, Жданок, в позапрошлом году умер.

Эту историю Пал Палыч вполголоса начинал рассказывать ещё в лодке, но там было не разговориться: само дело требовало тишины, да и отвлекали взлетающие из камышей и прибрежной гушины утки. Зато теперь, в машине, с тремя криквами и двумя связями в багажнике, ничто не мешало вычерпать до донышка накатившее воспоминание.

– Дружил, когда ещё на «Объективе» работал, – продолжал Пал Палыч. – Он как приехал к нам, его сразу – председателем охотничьего общества. Он белорусский техникум закончил, потом Тимирязевскую академию – умный был. Как теоретик умный – любую птицу опознает или мышь какую, а вот в практике – ня очень. Так вот, он охотникам говорил: «Завидуйте, что у меня такой друг, у вас в жизни такого друга ня будет!» Он их вроде как попрекал... Но для меня это в хорошем смысле. Мне и приятно, и неловко – погано слушать, когда хвастают. Он сядет в обществе и в глаза им так: «Вы завидуйте, что я с таким человеком дружу».

– Это он про вас? – можно было не спрашивать, но из любезности Пётр Алексеевич спросил.

– Про меня. А я сижу – нос в пол – и думаю: а ведь рано или поздно, парень, ты меня продашь. Что делать? Буду ждать случай этот... Так он всё время говорил: «мой друг» – а я молчал. И даже иной раз скажет ня только, мол, друг, а как брат родной. Понимаете? Так и говорил: «Пашка – брат родной». – Пал Палыч, выгнувшись на сиденье, расстегнул патронташ, вытащил его из-за спины и бросил назад, к зачехлённому винчестеру. – Потом я пошёл в милицию работать. А Жданок такой – ня очень чистоплотный на руку. У него была в обществе егерь – Марина... Женщина была егерем, вела иной раз за него документы. И он сообразил быстро – двадцать семь рублей с кассы свистнул. Ня свистнул, так – присвоил. Сейф-то с кассой у него. А тут ОБХС – проверка... И он на неё хотел – на Марину, а ему пояснили, что егерь – ня материально ответственное лицо. Ня важно, кто украл, а материально ответственный – ты. И возбудили уголовное дело. Он мне пожаловался. А я в милиции работаю. Я говорю: «Собирай первичные коллективы – макаровских, жадрицких – пусть бьют на поруки». А потом к Нарезайлову, к следователю, который дело открыл, подошёл и говорю, мол, так и так, у нас в области шесть-семь человек таких, как Жданок, чтоб с Тимирязевской академии. Ня педагогический псковский биолог, которых учителями готовят, а настоящий... Если можно как-то сделать, чтоб на поруки первичного коллектива, то возьмут на поруки.

– Это за двадцать семь рублей всё? – Пётр Алексеевич отключил понижающую передачу – выехали на крепкий просёлок, прибрежная луговая болотина осталась позади.

– Так уголовное дело возбудили. Это сейчас – ня деньги, а тогда за три рубля сажали. – Белобрысые брови Пал Палыча сошлись над переносицей. – В восемьдесят пятом я поступил в милицию... А это был восемьдесят восьмой или восемьдесят девятый. Советские ещё времена – ня девяностые. Маринка по сей день живая – ня даст соврать. Ей же тоже неприятно – хотел на неё повесить... А ей это зачем – женщине? – Смысл вопроса подвис в загадочной неопределённости. – Я, значит, попросил... А я прежде, помнится, говорил вам, Пётр Ляксеич, что чувствовал – страна разваливается. В восемьдесят третьем уже чувствовал. Мамке родной сказал: мам, я ня знаю, что будет, но я знаю точно, что сельское хозяйство так упадёт, что больше никогда ня подыметя. В городах – ня знаю: то ли будет голод, то ли ня будет голода, но сельское хозяйство – сто процентов... Вот так ей и сказал. Но только это ня про то... – Пал Палыч махнул рукой, словно отгонял назойливого комара. – Почему я – подвожу итоги – про мамку рассказал? Да потому что я пошёл к Нарезайлову просить: страна будет разваливаться, а общество охотничье как-то надо сохранить. Зверя сохранить – за счёт зверя

можно выжить. Что нам революция – мы в лесу, мы на звере протянем. Жданок председатель, лицензия есть – а ня будет лицензии, так нам и ня надо. Понимаете? Я его ня только как друга защитить хочу, а уже как безопасность, как на будущее... – Пал Палычу казалось, что ему недостаёт слов, на лице его проступало внутреннее усилие, но он справлялся. – Вот я и сказал Нарезайлову. Сказал, а он в ответ – молчок: ни да, ни нет – как ня слышал. А пярэд этим за год примерно мне сотрудник уголовного розыска говорит: «Такие, как ты, долго в милиции ня работают». Ни с того ни с сего – ляпнул и пошёл. Но я взял во внимание: думаю, а чего такие, как я? Ня пью, ня курю, ня ворую, ничего дурного ня делаю, работаю честно, работа нравится... Выправка армейская мне по душе, а милиция – та же армейская выправка, опрятно всё... А тут после Нарезайлова, следователя-то, начальник уголовного розыска встречает меня и говорит: «Мы людей в тюрьму сажаем, а он их выгораживает». Ня сказал, что, мол, ты выгораживаешь, но дал понять. Обозлённый был. Я сразу сообразил – стало быть, следователь сдал меня и они... Вот эти слова насторожили. Потом уже, время спустя, на дежурстве как-то смотрю – идёт с автостанции мужик. Ну, думаю, погляжу на автостанцию да на того мужика. Он мне ровесник был – ня мужик, парень. А он, как я поближе к нему подошёл, вот так протягивает авоську с дырками, – Пал Палыч протянул к ветровому стеклу руку, – и говорит: «Купи. Я ня местный, с Островского района, мне деньги надо». Я так – р-раз – гляжу, а там три-пять килограмм... этих шашечек – вот такие, – Пал Палыч изобразил на пальцах размер, – как хозяйственное мыло. Я поглядел на свету под фонарём, а там в торце – дырка.

– Под взрыватель? – сообразил Пётр Алексеевич.

– Да! Понимаете? Я в форме милицейской, а он мне талдычит, мол, я ня местный, приехал, надо продать... И у меня сразу – как с ног до головы дерьмом облили – обида, что я живу честно, и за это меня хотят посадить. Ужас какая обида...

– Вы поняли, что подставляют вас?

– Да, проверяют, хотят посадить. Плюс я уже предупреждён: мы тут людей сажаем, а ты выгораживаешь... Совпадает всё – по тому разговору. И так обидно стало... Сразу Нину вспомнил: вот она с двумя ребятами сейчас, а меня посадят... Она домой уедет в Локню, а там ей батька фуфулей навесит – батька ня любил меня: зачем ты замуж пошла в Новоржев? Думаю, и этой достанется, жизнь будет сломана, и я лишусь ребят... А потом такая вдруг смелость – прежде чем сесть, давай поиграем! И сразу в голове: ах ты, сучок, сейчас я тебя собою с инструктории! И говорю ему: «Ты знаешь, мне столько хозяйственного мыла ня надо. Сейчас уже стиральные машины – куда его? А вот, – говорю, – детское мыло и земляничное (тогда два сорта было – детское и земляничное), чем руки моют, взял бы... А хозяйственное – тяперь корыт нету, мне ня надо». Он сразу так – р-раз – рот, – Пал Палыч открыл потешно рот, – и стоит как оцепеневши. Сперва он меня оглоушил, что мне стало обидно да больно, и Нину, и ребят всех переябрал – это всё секундное было дело – тяперь и он рот открыл. Стоит, молчит. Руку так держал с авоськой, протягивал, – рука Пал Палыча опять вылетела к ветровому стеклу, – а тут опустил уже. Я тебя, думаю, сучонок, проверю сейчас... Мне от скамейки на автостанции надо пройти пятьдесят метров. Это для того, чтобы потом обернуться и посмотреть – идёшь ты за мной или нет. Если идёшь, я тебя возьму, потому что ты на самом деле ня подставной. А если ты подставной, то остальные, кто с тобой,



или за автостанцией, или внутри автостанции – только я возьму сеточку, и меня сразу за руку... С поличным. А я думаю: сейчас заведу тебя подальше и там возьму – значит, ты чистый парень, дурачок, лопух ты. Приехал, милиционеру динамит предлагает – это что, умным надо быть? Сажать уже нельзя такого дурака, раз он совсем без понимания.

– А что ж вы сразу его не повинтили? – Пётр Алексеевич аккуратно объехал выбоину на гребёнке, обнажившую угрожающе торчащие булыжники.

– Зачем мне это? Чтобы меня потом ещё раз подставили? Только уже не через взрывчатку, а теперь подсунут наркотики... Ты если задумал, ты меня посадишь, а мне надо было сделать так, чтобы ты меня взял за дурака. Чтоб я вышел дурак – понимаете? По военному делу я танкист, механик-водитель. Я со взрывчатым веществом, если будут проверять, – никакого отношения. Мы ня изучали это, механику ня надо. Там кумулятивные снаряды... Вот я для чего так сделал. Я ж знал – оружейка у нас вся проверена – нету у нас в оружейке ничего такого. Это значит, они попросили через Псков, минуя начальника милиции – наша уголовка с их уголовкой: давайте, мол, посадим этого, помогите нам. Я и сработал ня на своих из уголовки – те меня знают, – а на псковских, чтобы они сказали: а кого ты нам тут подсунул? Дебила, который ня мог отличить взрывчатку от мыла, а ты нам полгода твердил, что тябе его посадить надо. Те же тоже, со Пскова, ня имеют права без начальника милиции, без прокуратуры, самовольно... ня то что сажать – проверять даже. Какое ты имеешь право проверять? Они хотели, видно, под это у меня обыск сделать, ещё что-то найти. А у меня чего только дома нет – и сети, и капканы, и кабанина, и лиса, и барсук, и шкуры бобровые, и струя... Только динамита ня хватает. – Пал Палыч замолчал, сообразив, что отвлёкся. – Я, значит, пошёл. Через пятьдесят метров оборачиваюсь, а он сидит и смотрит на меня. Уже на скамейке – сел. И сразу в голове работает: нельзя больше оборачиваться, потому что если заподозрят, что я дурку включил, то пойдут на второй шаг... И я ушёл. – Пал Палыч торжественно посмотрел на Петра Алексеевича. – Вот так решил – поглупей да пониже... Чего ты суёшь мне, милиционеру, а не пошёл продавать на рынок? На рынке-то народ ходит. А они как выбрали? Автостанция работает до шести, а я с семи только заступил на работу. И вот в это время – семь часов – они поймали меня. Никого нет на автостанции, но у них есть возможность зайти – договориться с начальником... Понимаете как? А чего ты приехал с другого района продавать? Притом что автобусы больше ня пойдут? Я ж это на ус мотал. – Похоже, история подходила к концу – Пал Палыч уже сметал со скатерти крупинки. – А потом я ещё что сделал – ходил по злочным местам. Нам был приказ – проверять. Злочные места – это кочегарки, где все бомжи и такое прочее – заходят в кочегарки и греются, ну и с кочегарами... Там и выпивка, и всё. Я прошёл – его, с авоськой этого, нигде нет. – Воспоминание, словно обрубленное по краю, исчерпало себя. – Вот как я Жданка выручал, а себя подставил.

– Да, – спохватился Пётр Алексеевич, – так что там Жданок? Четвертовали его в конце концов за двадцать семь рублей?

– А я скажу. Нарезайлов, следовательно, так говорит: «Я сам приду в общество». Сходил. Потом мне: «Соберите первичные коллективы, с колхозов охотников, и напишите бумагу – ходатайство, что бярёте на поруки». Взяли на поруки и дело закрыли. И суда не было. А про первичные – это я и подсказал Жданку.



– Смотрю, вы все ходы знаете. Что под землёй, что под ковром. – За разговором Пётр Алексеевич не заметил, как дорогу с двух сторон обступил Жарской лес – до большака уже оставалось недолго.

– В батьку, – качнул выдающимся носом Пал Палыч. – «Семь раз горел – ня разу ня строился. Прошу любить и жаловать!» Батька мой так говорил. А значит, и мне завещал это. Соображаете? Кровь-то одна. Я был честным, но всегда умел вот это вот – словчить. Спасибо батьке.

– Вы говорили, что ждали от дружка предательства, – напомнил Пётр Алексеевич. – Дождались?

– Дождался. Но то отдельная история.

Странное дело – Пал Палыч замолчал. Мастер спонтанной речи, он победил в себе слова.

\* \* \*

На этот раз беда, обдав косачика ледяным дыханием, прошла мимо – спустя время раны на нём зажили, хромота ушла, мелкая дробь заросла в теле. Вскоре он уже не отставал от остального выводка и наравне со всеми перелетал с ночёвки на ягодные места утренней кормёжки, оттуда на днёвку, а потом на кормёжку вечернюю.

Когда наступила осень, три брата полностью оделись в чёрное перо, на хвостах у них завились лиры, и косачи, твёрдо устремившись во взрослую жизнь, оставили мать и сестёр.

Между тем зарядили дожди, лес из зелёного стал многоцветным, пожухла трава, жёлтый, красный, бурый лист кружил в воздухе и покрывал землю пёстрым опадом, косматый лесовик уже не хлопал в ладоши, когда затягивал свою монотонную песню. Всё чаще теперь тетерева садились на берёзы, не находя корма в ягодниках, а когда залёт медведь и выпал снег – совсем ничего не оставалось, как довольствоваться берёзовыми серёжками и почками, на худой конец – сосновой хвоей.

Перелетая по оголившемуся, притихшему и опустевшему лесу с места на место, обособившиеся от выводка петухи однажды встретили матёрого косача – восхищённые его бывалым видом и уверенной повадкой, выбрали поляша себе в наставники, перенимая у него навыки и учась всему, что было им в новинку. Теперь они повсюду, точно привязанные, следовали за ним, как прежде следовали за матерью. Ранним утром, едва только просыпался поляш, взмахивал крыльями и поднимался в воздух, вслед за ним взлетали три петуха, и все отправлялись за реку, к берёзовой роще на холме, чтобы поклевать серёжки, спящие почки и нежную кору на молодых ветвях, не обращая внимания на лис, если на них не обращал внимания вожак, и без любопытства провожая взглядом лосей и кабанов, если те объявлялись поблизости.

Снег лёгкой пеленой укрыл лес и поля. Морозы были не крепки, но наметённый белый покров, похоже, лёг надолго. Как-то утром, по пути к своей роще пролетая над заснеженным лугом, искрящимся под лучами восходящего солнца, заметили косачи, что уже сидят на их берёзах, повернув клювы к сияющему горизонту, две пары тетеревов. Собратья в ледяном оцепенении встречали зарю. Спокойствие их ободрило косачей – им нечего делить, лакомых серёжек в роще хватит всем. Не заметили они только длинных жердей-подчучельников, на которых были высажены на ветви безжизненные чужаки. Тяга сбиваться в стаи, которая зимой охватывает тетеревов и подталкивает друг к другу, позвала косачей подсесть неподалёку от застывших пришлецов.

Не успели птицы расположиться, как из прогляда шалаша-скирды, устроенного под берёзами и крытого еловым лапником, блеснула молния и грянул выстрел, и тут же снова – молния и гром. Старый поляш, уже нацелившийся на свисающую перед ним серёжку, чёрным комом рухнул вниз. Второй заряд, сухо щёлкнув по сучьям, прошёл мимо уже однажды подстреленного молодого косача – на этот раз дробь не задела его.

Сорвавшиеся с веток братья в ужасе забили крыльями и опрометью понеслись из рощи обратно в лес. Напуганные и потерянные, до вечера не могли они успокоиться, метались по местам ночёвок и днёвок в поисках своего вожака, но не было его нигде – ни на земле, ни на ветвях, ни в небе. Вторя их тоске, подвывал в бору лешак – гонял по округе зайцев.

Через несколько дней, повинувшись стайной тяге, братья нашли новую компанию – присоединились к табунку разновозрастных тетеревов и остались вместе с ними коротать недолгие зимние дни и непомерно растянувшиеся ночи.

Вновь посыпал с неба снег, на этот раз густой и щедрый, а вслед за тем схватила округу уже позабытая за прошлые годы лесными жителями зимняя стужа. Ночевать на деревьях и в сухой траве стало холодно, и теперь тетерева сразу после вечерней кормёжки падали с берёз в наметённые белые гривы и, пробив телами снег, хоронились, укрытые от мороза и ветра, в глубоких лунках, где дремали до рассвета.

В один из дней, когда игривая метель заносила кусты с поваленными в бурелом деревьями, обращая их в череду покатых сугробов, тетеревиная стая отправилась на вечернюю кормёжку в облюбованный березняк. В полёте они заметили внизу, под соснами, идущего на лыжах человека и тут же заложили широкий круг, чтобы облететь опасность стороной. Человек же, прикрыв от колкого снега ладонью в варежке глаза, проследил их полёт, после чего неторопливо отправился следом.

Набив желудок серёжками и почками, тетерева попадали в пухлые белые намёты и затаились в лунках. Подстреленному летом косачу не спалось – ныли на морозе зажившие раны. Пытаясь поудобнее устроиться, чтобы в покое отдохнуть от зимних тягот, он долго ворочался в своём убежище – поэтому первым услышал скрип снега на поверхности, когда остальные птицы уже засыпали. Охваченный тёмной тетеревиной тревогой, косач пробил единым махом наметённую на лунку крышу и в белом облаке снежной пыли шумно взвился над землёй. Следом за ним, разбуженные треском его крыльев, взметнулись из лунок и остальные тетерева.

Двойной выстрел слился в один раскатистый гул. Молодой косач, первым почувший опасность, и выпорхнувший следом матерый пехух, словно споткнувшись на лету, кувыркнулись в воздухе и шлёпнулись на снег, окропив его кровью. Остальная стая, охваченная птичьим ужасом, что есть мочи забила крыльями и скрылась за чёрным лесом.

\* \* \*

Пал Палыч и Ника возили на тачке магазины с рамками, тут и там облепленными не желающими расставаться с мёдом пчёлами. Александр Семёнович в пристройке снимал ножом с запечатанных сотов забрус. Пётр Алексеевич крутил ручку гремящей медогонки. Полина то и дело включала электрический чайник, держа наготове горячую воду

для вязнущего в воске пасечного ножа. Профессор прогуливал в полях Броса – тумакон и лаской учил без команды не отпрапляться на поиск и на потяжке не убегать далеко от хозяина.

В пристройке пахло мёдом и ароматной узой.

– А всё-таки коммунизм – сила. – Александр Семёнович окунул нож в бидон с кипятком и продолжил резать тяжёлую, почти полностью запечатанную рамку. – Даже в таком обороте, как у нас вышло.

– Советскую школу с нынешней не сравнить, – поддержала отца стоящая на пороге дома Полина. – Я по сию пору тангенс с котангенсом не спутаю, хотя они мне в жизни ни разу на глаза не попались.

– Вот я – деревенский малец, голытьба, безотцовщина, а мне – образование, Академия, квартира, мастерская... Полстраны за государственный счёт на учебных практиках в Репинке объездил. – Таз перед Александром Семёновичем был уже наполовину заполнен срезанным забрусом. – Винтик из таких строгаля? Куда! Доносы на меня в Комитет писали и на целине, и здесь, в Ленинграде. А ничего – двадцать пять лет живопись в Мухе преподавал. Только мы как ломать начнём, так поломаем всё – и хорошее, и плохое. Не умещается в головах, что не только чёрное или белое, а то и другое вместе... Конечно, было и чёрное, ничего не скажу. Зачем мучительство это, давилъня, оговор? Понятно, с дешёвой силой коммунизм сподручней строить. Но зачем вот это – истерзание, голод лагерный? Да там половина таких было, что за одну идею готовы жилы рвать, Магнитки и Комсомольски-на-Амуре поднимать. А их в пыль – вот этого не одобряю. Да если к человеку с любовью, он тебе всего себя – на блюдечке...

– Чтобы жить при коммунизме, человек должен стать пчелой. – Пётр Алексеевич повернул в медогонке кассеты с рамками. – Да и тогда найдётся пасечник, который захочет ваш мёд хапнуть.

– Это верно, – согласился Александр Семёнович. – Не во всём ещё человек образовался. Но было ведь и светлое – энтузиазм, стабильность, пирожковые... С начала шестидесятых по конец восьмидесятых в магазинах цены не менялись. Теперь такое не представить. И это чувство было, что ты – часть чего-то великого. Самой могучей и справедливой глыбы.

Оцинкованная стенка медогонки блестела изнутри, усеянная стекающими вниз каплями, – всё дно уже было закрыто густой янтарной массой, подёрнутой рябью от вращающихся над самой её поверхностью поворотных кассет. Ещё пару рамок, и надо будет сливать мёд в ведро. Крутя липкую ручку приводного механизма, Пётр Алексеевич думал: «Коммунизм похож на вечный двигатель – идея есть, а двигателя нет».

Ника подвезла на тачке очередной магазин с рамками. Пётр Алексеевич занёс его в пристройку и поставил на пол рядом с Александром Семёновичем. Потом поменял в кассетах пустые рамки на полные и вновь взялся за вымазанную мёдом ручку. По оконному стеклу, гудя слюдяными лопастями и пытаясь выбраться из сумрачной пристройки на свет, ползали пушистые пчёлы.

Александр Семёнович сменил тему и теперь рассказывал о живописи, метаниях юности, даровитых и не очень художниках, встреченных им на тернистом пути. Большинство историй Пётр Алексеевич уже слышал прежде, поэтому, внешне оставаясь в поле общей беседы, думал о своём. «Вот взять искусство, – размышлял он. – Ведь очевидно, что оно – особая форма консервации энергии. Человек это чувствует, когда слушает великую музыку, смотрит живопись, достойную этого слова,

или читает талантливый текст, подзаряжаясь от них, как от чудесных батареек, токами необыкновенной силы. Но это в минуты небесной глубины. А как мы пользуемся этими консервами в обыденщине? Музыкант щиплет струны на сцене – зритель платит за билет. Художник пишет портрет одалиски, *папик* отслушивает гонорар. Писатель сочиняет истории – читатель пробивает чек за книгу. Происходит трогательный обмен одного обмана на другой. Кто же в нынешние времена будет спорить, что деньги – один из самых великих обманов...»

– Пора сливать, – заглянула в барабан медогонки Полина.

Сбитая в полёте мысль Пётра Алексеевича так и осталась недодуманной – потеряв наметившиеся очертания, она потускнела и ушла на глубину, в придонный ил, где оуклилась в дрёме, как множество других незавершённых мыслей.

Пал Палыч сидел на скамье под рябиной и смотрел, как профессор и Пётр Алексеевич ощипывают уток, бросая перо и пух в большой полиэтиленовый мешок, чтобы не разнёс по двору ветер. Но ветер изворачивался – игриво подхватывал и разносил. Свои трофеи Пал Палыч забросил Нине в Новоржев – сам никогда не щипал, считал, что не мужское дело. Днём после качки мёда поехали на Михалкинское озеро – Пал Палыч с Петром Алексеевичем на лодке, взятой у рыжего старовера Андрея, опять поднимали уток из гушины, а Цукатов с Бросом охотился в заливном кочковатом осочнике, местами крепком, а местами зыбко колебавшемся под ногой. Кроме двух уток профессор взял в болотине коростеля и бекаса.

Небо быстро гасло, на землю падали сумерки. Полина из дома звала к столу. Откликнулись, мол, скоро: осталась ерунда – опалить и выпотрошить.

Пётр Алексеевич приглашал на вечерние посиделки в Прусы не только Пал Палыча, но и Нину, однако та, сославшись на хозяйственные хлопоты, не поехала.

– Когда в деревне живёшь, тогда и начинаешь природу понимать. – Пал Палыч, видимо, читал по лицам, потому что сразу пояснил: – Вот сейчас лето – ты бегай, а придёт зима – и ты должен спать, как медведь. Медведь без задних ног, а ты вполглаза, ня на все сто спи – набирайся сил на лето. А летом – пошёл, пошёл, пошёл... живи на всю катушку. И уже до осени. Мы от зверей, которые зимой залегают, ня далеко ушли. И это хорошо, меня радует – есть когда вылежаться.

– С луга в лес вышел – там ёлки, хотел пройтись, посмотреть рябчика, – говорил о своём Цукатов. – Рябчика не видел, но забрёл так, что, чёрт дери, все концы потерял – запутался, куда идти. Был бы один – заблудился. Хорошо, Брос вывел.

– Если леший взялся кого по лесу водить, пути путать, – подался вперёд Пал Палыч, – единственный способ, чтоб избавиться – развернуться и с ружья пальнуть. Он, леший, за тобой сзади идёт и тебя вядёт. А если ты без ружья, или ты – женщина, то ня стесняйся, возьми палку и со всей злости – главное, у тебя злость должна быть – эту палку кидай туда, чтобы сзади ня ходил. Потом у тебя сразу ум образуется и куда надо выйдешь. Как старый охотник говорю. Вот был случай: Можный – тоже охотник, тяперь астматик, на фыркалках живёт – остановил машину на дороге, вышел, двинул в лес – ня будешь же на обочине оправляться... Там, – Пал Палыч, откинувшись на спинку скамьи, махнул рукой в сторону темнеющего горизонта, – за Плавно дело было. Зашёл

в куст, сел, посидел. Потом – обратно к машине... А отошёл-то всего ничего. Так вместо машины – заблудился! Ходил-ходил, и всё уже... понял, что идёт ня туда. Ни компаса с собой, ни ружья – по делам ехал. А уже вечер, скоро станет тёмно, как тут ня запаникуешь? Единственно вспомнил, как охотники говорили: возьми палку да вмажь ему, чтобы сзади ня ходил. Так он взял палку и палкой этой как его огрел... Чарез две минуты вышел к машине. – Пал Палыч, задрав голову, смотрел на свисающие с веток рябиновые грозди. – И я так делал. Только я с ружья стрелял. И вышел – моментом. Ня то что час-два – сразу вышел. Хошь верь, хошь ня верь, а людьми проверено. Зямля-то зарастает, всё меняется...

– А я слышал – рубашку надо наизнанку вывернуть. – Пётр Алексеевич стирал с рук налипший пух. – Тогда леший отстанет.

– Ня знаю, – усомнился Пал Палыч. – У нас – палкой.

За столом вспоминали охоту, строили планы на завтра. Воодушевлённый добытой позавчера тетёркой Цукатов собирался с раннего утра, затемно, отправиться в лес, надеясь опять набрести на тетеревов или поработать с Бросом по другой боровой дичи.

– Хорошо в Жарской лес сходить, – порекомендовал Пал Палыч. – Там болота, там ягодники. Если поглубже зайти, можно глухаря встретить.

Профессор принёс планшет, открыл на экране карту – Пал Палыч с Петром Алексеевичем показали, где Жарской лес и на какие лесные дороги можно съехать.

Потом Александр Семёнович рассказывал про Академию, про Муху, про студентов и преподавателей. Вспомнил однокурсника – тому не давалась живая натура, и он писал городские пейзажи. Сначала виды старого города утоляли его голод как художника, а потом он и вправду кормился ими – наибольший успех у любителей живописи имели именно работы с соблазнительной петербургской стариной: Мойка в снегу, Невский под дождём, Исаакий в мокрых солнечных бликах...

– Люблю искусство! – дал волю воображению Пал Палыч. – Когда красиво – очень люблю!

И, перехватив у Александра Семёновича инициативу, тут же перескочил на подножку другой истории:

– А вот до чего смешной был случай – дружок охотник рассказал. Мороз – градусов двадцать – двадцать пять – и он пошёл на охоту. С ружьём, но без собаки – собаки у него гожей не было. Ходил, ходил... А холодно, но на нём тулуп овчинный – хороший, новый. – Пал Палыч приложил ладони к груди, словно ощупывал на себе тулуп. – Нашёл след зайца – надо тропить. Ходит, ходит, тропит... Видит – одна скидка<sup>1</sup>, вторая скидка, третья. Ружьё поднял, глядит – а тут заяц соскочил. Он – хлоп его. Заяц побег, но кровинку дал. Он пошёл по следу искать – может, хорошо задел, так завалится. Ходил, ходил, видит – выворотень, и он, заяц, в дыру под корни забрался. Ах ты, милоч, ну я тебя сейчас... – Пал Палыч уже изображал в лицах. – А топора-то нет, так он ножом меж корнями расчистил и – рукой туда. А заяц вижжит, пишшит, ему его никак... Он и палкой туда, и рукой – загнал в бок и за уши-то взял. А заяц вярешшит, как рябёнок маленький. Что делать? Ну, он решил

<sup>1</sup> Скидка заячьего следа – один из элементов запутывания следа зайцем: он бежит прямо, останавливается, возвращается по своим следам обратно (т. н. «двойка») и делает прыжок в сторону, за куст, кочку, дерево или ещё какое-нибудь укрытие. Прыжок бывает до четырёх-пяти метров.



ня забивать, живым принести: покажу, мол, батьке, что руками живого зайца поймал. Вярёвку достал – петлю на задние ноги, петлю на передние – и через плечо за спину повесил. А до дому километров пять. И пошёл – на плече ружьё, за плечом заяц. Идёт – сам в тулупе, а ему всё холоднее и холоднее. Заяц за спиной шавелится, шуршит. Ну, шуршит и пусть шуршит, что с него... Но только ему всё холоднее и холоднее – уже и спина замерзает. Как быть? Надо отдохнуть. Выбрал сосну с суком, чтобы зайца повесить. Остановился, повесил. Тот живой – бьётся, крутится. А что-то всё холодно... Он тулуп снимает, а там такая дырка! – Руки Пал Палыча как будто охватили футбольный мяч. – Заяц проел – отрывал кусками и бросал! А он идёт – ему всё холодней и холодней! – Пал Палыч залился смехом. – Новый тулуп – и такую дырку! Что делать? Надо живым донести, а то батька ня поверит, что тот проел. Отдохнул, опять зайца через плечо... Приходит домой и батьке жалуется: пап, так и так, поймал зайца живого, а он тулуп мне весь разбел. «Снимай, – говорит, – зайца, я погляжу». Он зайца снял. Батька как поглядел на спину – и в покатуху: «Сынок, как он тябе голову ня отбел! Пришёл бы без головы! Как ты шёл пять километров – ня чувствовал?» Понимаете? Он думал – батька ругать будет, а вышло – рассмешил. Вот какие случаи.

Опорожнив рюмку, Александр Семёнович заметил:

– Ты, Паша, всё на память жалуешься. А чего жалуешься? Что с памятью не так? Всё у тебя в порядке.

– Памяти нет, – возразил Пал Палыч. – Басню Крылова в школе выучить ня мог. Смысл понимаю, а рассказать – мне ня рассказать, слова ня запоминаются. А матом заверни, так всё запомню – буква в букву. По примерам, задачам, правилам каким – физика там, чарчение – нет для меня сложности. Понимаете, Ляксандр Сямёныч? Памяти нет, а мозги работают. С годами только маленько стала появляться. Что такое с головой? Как бес водит за нос.

– Мимо такого носа не пройти! – Александр Семёнович задорно рассмеялся.

– Да, – Пётр Алексеевич разделявал на тарелке ломоть тушёного кабачка, – на вас глядя, никогда не скажешь, что с памятью нелады.

– Так я ня спорю, – сиял от лестного внимания Пал Палыч. – Память – она такая, интересная. По школе ня запомнить ничего, а если что по жизни – так никогда ня скажу, чтобы памяти не было. Да, быстро высочит с головы, но потом обратно встанет...

Вскоре каким-то образом Пал Палыч свёл разговор к Жданку. Пётр Алексеевич готовился к трагедии, но дело не тянуло и на драму.

– Он с Белоруссии, и рода у него такая – половина была в полициях, а половина в партизанах. И сам потому – немножко гниловатый. Свастику любил фашистскую, кепки, как у нямецких солдат, сам шил и носил. – Пал Палыч пригладил белёдые волосы, убеждаясь в отсутствии немецкой кепки на собственной голове. – Он человек такой... Дал мне машину. У меня не было – я попросил. Так он потом год попрекал меня той машиной, что он дал, а я у него буксировочный трос свистнул. А я его брать ня брал, этот трос! Какой ты друг, если ты за буксировочный трос обвинил? А я-то знаю, что ня брал!

В девяностые Жданок наладил в подвластном ему обществе такую систему: сбил охотников в бригады и поделил между ними территорию, а кто хотел охотиться самостоятельно – те в пролёте. Каждая бригада платила мзду мясом: завалили лося или кабана – несли Жданку долю.

А он от этой части часть – начальству в Псков, чтобы была на столе у руководства свежая дичина. Он всю жизнь хотел подняться выше – быть охотоведом. Пал Палыч тоже метил в ту пору в охотоведы – как-никак техникум за плечами, – на этом со Жданком разошлись окончательно. Пал Палыч намекнул, что Жданок на него в областную природоохранную прокуратуру нехорошие звонки делал. В итоге не вышло ни у того, ни у другого – поставили из Пскова охотоведом третьего.

– Путёвку или лицензию на зверя дают, а охотиться негде – все уголья поделены между бригадами! – кипятился Пал Палыч. – Или вступай в бригаду, или пошёл вон – тут мы охотимся! А мне это ня надо. – Рука Пал Палыча решительным жестом отвергла несправедливое установление. – Какой ты друг, если я к тябе пришёл, а ты меня на жопу посадил? Ничего – мы тут на зямле никогда ня голодовали... Не было такого. Мы и хозяйством проживём.

Сколько Цукатов себя помнил, ничего подобного с ним раньше не случилось. Заблудиться – и так нелепо – это надо умудриться!

Утром, затемно, как и собирался, он с Бросом выехал в Жарской лес. Уже в рассветных сумерках свернул с гравийки на лесную дорогу, проехал с километр вглубь старого бора, оставил машину и пошёл в чащу. Тут и там на пути встречались давно оплывшие и заросшие мхом ямы от партизанских землянок. Крупноствольный сосняк с можжевелевой порослью сменялся болотцами и ягодниками, поросшими багульником и чахлым криволесьем, те чередовались с пятнами березняков и осинников, а потом снова начинался бор, во мху которого торчали зеленоватые и красные шляпки сыроежек. Поначалу птицы поодиночке перекликались в кронах, но постепенно лес наполнялся звонким щебетом, дробью дятла, кошачьими вскриками соек. Мох, кусты, траву, черничный и брусничный лист покрывала белёлая утренняя роса, и за Бросом оставался отчётливый тёмно-зелёный след. Собака работала хорошо – прихватывала *наброды*, но ни тетеревов, ни рябчиков, ни глухарей не было, хотя пару раз им встретились пепельно-бурые глухаринные перья.

Ходили долго. Уже давно рассвело, солнце медленно катилось по лазоревому куполу. Высохла роса, солнечные блики, пробившие сети древесных крон, играли на земле и слепили, ударяя брызгами в глаза. Время шло к полудню, когда небо затянула плотная пелена: похоже, хмарь набежала надолго. Несмотря на то что при рассеянном свете и охотник, и грибник чувствуют себя в лесу лучше, чем при ясном небе, Цукатов подумал: не пора ли повернуть обратно, к машине – не то чтобы он устал, просто охота не клеилась и интерес угасал. Но тут Брос сорвался с места и усвистал в чащу – зоркий глаз Цукатова успел заметить, как мелькнул между стволов бурый зайчонок. Стало любопытно, что предпримет пёс и как поведёт себя, поэтому профессор сразу не отозвал Броса, а зря – следовало отозвать.

Присев на поваленную сосну, Цукатов принялся ждать – чем чёт не шутит, может, собака блеснёт и выгонит на него зайца. Но время шло, а ни зайца, ни Броса не было – только ровно шумел лес под набежавшим ветром, качал кронами, ронял на землю листья, хвою и рыжие чешуйки сосновой коры. Профессор свистнул в свисток. Потом стал звать собаку голосом. Тщетно. Тут он впервые ощутил спиной холодок тревоги. Пошёл в ту сторону, куда сорвался Брос, звал, кричал, даже выстрелил в воздух, но пёс не возвращался и не подавал голос. Тут и там виднелись пласты вывороченного мха – бороздил рылом землю

кабан, – Цукатов волновался за пса. Внезапно начался ельник, он был мрачен и молчалив – все лесные звуки гасил шумевший в кронах ветер.

Прошло ещё какое-то время, прежде чем профессор понял, что заблудился. Попробовал сориентироваться, но солнце глухо закрывала небесная хмарь; планшет не показывал точку местоположения, тщетно сился отыскать спутник, а без того закачанная карта делалась практически бесполезной. Телефон не ловил – опция «звонок другу», увы, оказалась недоступна. От машины он шёл в лес примерно на север, возможно, немного уклоняясь на запад, значит... С гравийки сворачивал налево, следовательно, она где-то на востоке... По сосновым стволам Цукатов определился со сторонами света и двинул туда, где находился юг – до лесной дороги, предположил он, путь короче, чем до гравийки.

Уже вечерело, когда профессор почувствовал, что накал беспокойства в его сердце дошёл едва ли не до градуса смятения – Цукатов тлел изнутри, как торфяник. Его предал юг, его предал восток – и там и там был только лес, болота и снова лес, становившийся всё дремучее и непролазнее. Ему уже мерещились между стволов пугающие тени: не то чтобы он впал в отчаяние – для паники Цукатов был неуязвим, – однако душевное равновесие определённо его оставило. Профессор вымотался, ноги его гудели, глаза разъедал пот усталости, но он шёл и шёл, не позволяя себе и пяти минут малодушного отдыха. В какой-то момент, обернувшись, он в сумерках вполне отчётливо увидел, как в нескольких шагах позади что-то большое и косматое, покрытое буро-зелёной шерстью, беззвучно метнулось за дерево, оттуда удивительным скачком – за другое... Ток крови замер в его сердце. Вскинув ружьё, Цукатов выстрелил.

\* \* \*

Из рябухиных петушков осталось только два брата. Худо ли, хорошо – перезимовали оба. Не бил их больше из грохочущей палки человек, не скрадывала зубастая лиса, не подстерегала енотовидная собака, залёгшая в эту зиму на морозы в спячку. До начала весны братья держались с косачиной стаей, а потом по родовому зову ватага распалась, каждый сделался сам по себе. Однако братья всё же старались не терять друг друга из виду, кормясь и ночуя по соседству.

На земле всё шире расходились проталины, небо засияло звонкой голубизной, лес пах теперь совсем иначе, наполненный бодрящим ожиданием и брожением оживших соков. Поначалу, когда матёрые косачи, взлетая по утрам на деревья, стали затевать первые, ещё как будто робкие песенные споры, братья слушали их с удивлением, но вскоре и им неодолимо захотелось влиться в этот воркующий хор свои неумелые голоса.

Капель отзвенела, посеревшие сугробы сползли в низины, на припёках обнажилась прошлогодняя трава, из веток берёз на зимних сломах засочилась душистая влага. Теперь братья смотрели на случайно встреченных тетёрок совсем другими глазами – вид их пробуждал волнуемое нетерпение и сладкую негу у них в груди. Одновременно почувствовав трепещущими сердцами дыхание весны, ведомые её проснувшейся силой братья отправились, толком не ведая зачем, на ту самую поляну посреди заросшей вырубки, куда в прошлом году прилетала на теревиное токовище их мать. Поначалу они только слушали бормотание и чужьяканье бывалых петухов, наблюдали за их танцами

и яростными схватками, но с каждым днём их всё сильнее тянуло туда, на поляну, в центр гульбища, чтобы забыться в песне, закружиться в танце, помериться силой в драке и получить за рвение и доблесть ещё неведомую награду.

Наконец один из братьев решился. Заняв вершину серого от полёгшей прошлогодней травы бугра, он опустил на землю крылья, расправил чёрный хвост с косами и облачно-белым подхвостьем, вытянул вперёд напрягшуюся шею, затопал и покатил по лесу гулкую курлыкающую песню – гимн пробуждению мира, призыв к сражению и любви. С упоением отдаваясь колдовскому распеву, он позабыл о всём на свете: он остался один, земля и небо вокруг померкли – не было больше других косачей, танцующих на поляне, не было дыхания леса, напоенного запахами восстающей из зимнего морока жизни, не было радостно галдящего гусяного клина в небе, не было нерешительного брата, из последних сил сдерживающего в себе разлив весны, не было большой беловато-серой птицы с загнутым острым клювом, которая смотрела на певца с сосны ярко-рыжими, внимательными и холодными глазами...

Не слышал и не видел испуганно поющий косач, как, рассекая пёстрой грудью воздух, сорвалась птица с сосны, как напуганные её видом взвились в воздух другие тетерева – не потерявшие чутья соперники, – и только чудовищная боль пронзила его тело, когда в него впились мощные острые когти. Косач на последнем дыхании попытался извернуться, сбросить оседлавшую его ужасную птицу, но получил удар могучим клювом по голове, и мир погрузился в полный мрак.

Брат, затаившийся в ивовом кусте, видел, как ястреб расправил крылья, тяжело взмахнул ими и грузно, над самой землёй, задевая сухие травы, понёс добычу в лес по другую сторону просеки.

\* \* \*

– Во-во, – выслушав на следующий день рассказ профессора, сказал Пал Палыч. – Это вас леший обошёл. Иной раз в лес и вовсе ходить не надо, когда леший бесится. Но то в октябре, на Ерофея-мученика...

– Как бесится? – Цукатов бросил на собеседника недоверчивый взгляд.

– Злой делается. Деревья ломает, с корнями выворачивает, зверей гоняет, а человека так обвядет, что тот в трёх соснах заплутает и ня выйдет. Потому – ему самому, лешаму, в тот день пропадать.

– Куда пропадать? – брови Петра Алексеевича удивлённо вздёрнулись.

– А я знаю? – удивился в ответ Пал Палыч. – Старики говорят – что как сквозь зямлю. Я пробовал его ловить, но ня вышло – больно ловок. Пулей по лесу мечется – свищет, плачет да хохочет только. Поди его разбери – он, если что, и в волка перекинется, и в сову. И человеком обернётся запросто, если ему нужда. Увидишь в лесу дедка-молчуна с одним ухом, – Пал Палыч полоснул ладонью себе по правому уху, безжалостно его отсекая, – у которого ни бровей, ни ресниц – это он и есть. Всё зверьё лесное под его рукой, а зайцы – подавно. Лешаки их друг дружке в карты проигрывают. И белки – те тоже. Если они без страха пярэд людьм чарез деревню стадом бягут, скачут по крышам, в печные трубы обрываются – тут без разговоров. Это лешие артелью в карты резались и одни другим проигрыш пярегоняют.

Профессор Цукатов и Пётр Алексеевич сидели на скамье во дворе у Пал Палыча. Хозяин, широко разведя колени, пристроился рядом

на осиновой колоде. Брос, измотанный и как будто даже похудевший за вчерашний день, смиренно лежал у ног Цукатова, не обращая внимания ни на разбежавшихся при его появлении кошек, ни на заливистое гавканье хозяйских собак в деревянном вольере с зарешёченной дверью. Перед гостями стояли два мешка для строительного мусора, доверху наполненные книгами по охоте и журналами для промысловиков и любителей. Богатство это Пал Палыч унаследовал от Жданка – в память о старой дружбе передала вдова, не видя в бумажном хламе никакой пользы. Он отобрал себе всё интересное, остальное пролежало в чулане год, и теперь, прежде чем выбросить, Пал Палыч решил показать сокровища гостям – вдруг что приглянется.

На скамье между деловитым Цукатовым и Петром Алексеевичем, рассеянно листавшим альманах «Охотничьи просторы» за 1967 год, лежал столовый нож, изрядно сточенное лезвие которого сплошь было в невероятных разноцветных разводах. Внуки Пал Палыча, насмотревшись неделю назад на развешенные по стенам дома в Прусах этюды Александра Семёновича, чинили этим ножом цветные карандаши.

Сияющий в лучах послеполуденного солнца наружный отлив под окном Пал Палычева дома слепил глаза. Он был сделан из звонкой оцинкованной жести, чтобы летний ливень извещал о себе не шуршанием и шелестом, а неистовым грохотом литавр.



## Дмитрий ЛАГУТИН

Брянск  
(№ 1, 2023)

### ПАР

Пар был уже не тот. Сырой, он не обжигал, не кусал за плечи, не пробивал ноздри до самой переносицы – он мягкими волнами перекачивался от печи к полкам, струился вдоль темных дощатых стен, обволакивал, густо и тяжело стоял, пропитанный несколькими каплями – не больше чайной ложки! – пихтовой настойки.

– Сыро, – сообщил Серега, проведя по лицу ладонью.

С ладони посыпались на пол капли пота.

– Сыро, – согласился я и втянул поглубже горько-сладкий, густой воздух, который полился в меня, как сироп в графин.

Мы сидели на верхней полке, в самом углу, под тусклой лампочкой. Сидели, откинувшись, прижавшись лопатками к шершавой стене. Серега поднял голову, долго смотрел на лампочку, потом надвинул шапку на глаза – так, что видны остались только губы и кончик носа.

Над самыми нашими головами, за потолком запиликал тоскливо сверчок.

– Зато посидеть можно, – предположил я.

– Можно.

За это я иногда даже любил сырой пар – можно забраться на самый верх и нагреваться постепенно, плавно, а потом париться спокойно, выпрямившись и подперев макушкой потолок – не скрипеть зубами, зажмурившись, не прокладывать загодя мысленный маршрут между парильщиками, по которому можно будет, дойдя до точки кипения, как можно скорее добраться до двери, не теряя при этом лица.

Я отнял веник от груди и погрузил в него лицо – плотная дурманящая листва обняла щеки, по лбу проехала, царапаясь, веточка. Терпкий и горький дубовый запах смешался с хвойным – пихтовым – и у меня закружилась голова.

– Погоди, – крикнул Серега, и лавка под ним заскрипела, – не стучи. Я поддам.

Он слез, расправил плечи, нахмурился и пробасил:

– Мужики, поддам?

Мужиков в парилке – кроме нас – было человек семь. Все они сидели разморенные, красные и блестящие, кое-кто размахивал веником над головой, гоня по кругу жар.

В противоположном от нас с Серегой углом сидел, выпрямив по-военному спину, тощий старик – на одну ладонь у него был надет скребок, и им он громко тер плечи и грудь.

Был еще мальчик лет девяти – невысокий, пухленький, весь розовый. Он стоял рядом с отцом – не сильно отличавшимся от сына по комплекции. Отец сидел, положив ладони на широкий березовый веник и что-то рассказывал в полголоса. По широкому, мягкому лицу блуждала, то показываясь, то пропадая – тогда лицо принимало как будто испуганное выражение, – улыбка. Мальчик слушал внимательно и раскачивал в руках веник поменьше – тоже березовый.

Когда Серега нарушил вязкое спокойствие парной своим натренированным басом, мальчик обернулся, и я увидел, что на шапке у него вышито вместо обычного «Главный банщик», или «Не парь мозги», или «Царь» вышито трогательное и даже как будто несколько неловкое: «Я люблю папу».

– Поддавай, – проскрипел из угла старик. – Все одно пар не тот, сушить надо.

Серега потянулся, хрустнул шеей и, оставив веник на полке, спустился к печи.

– Ерохины прийти должны, – ответил кто-то старику, – они и обновят.

Братья Ерохины считались одними из самых яростных парильщиков – при них до верхней полки добирались только самые крепкие. И то сидели, сжавшись, втянув головы в плечи.

Серега всякий раз храбрился, карабкался повыше, корчился и шипел, точно на углях, но потом махал с досадой и спускался пониже. Выражение его лица при этом как бы говорило: «Ерунда, а не пар, видал я и покруче».

Я иногда тоже храбрился, полз наверх, но натыкался макушкой на упругую пелену нестерпимого жара и отступал.

Серега при упоминании Ерохиных повел плечами, точно говорящий обращался к нему, а не к старику, пробормотал что-то. Стянул с перильца черпак, зацепил им и оттолкнул заслонку печи.

Из темного нутра выкатилась в парилку, ударились в колени сидящих и растаяла по углам волна горячего воздуха – точно печь устало вздохнула. Я разглядел круглые бока камней – далеко в глубине, в щелях, неярко алело, – подхватил край затухающей волны веником и, прищурившись, бросил себе в грудь.

– Только много не кидай, – проскрипел старик, стягивая с руки скребок. – Совсем зальешь.

– Не залью, – проворчал Серега, поскреб черпаком по дну таза и дважды плеснул в печь, вытягивая руки и метясь за камни.

В печи глухо зашипело. Серега подумал, зачерпнул еще немного и плеснул в третий раз – и с лязгом потянул заслонку на место. Повернулся и посмотрел на старика, мотнул вопросительно подбородком.

– Ну? Как там?

Старик замер, точно прислушивался, а потом махнул рукой.

– Сойдет.

Я почувствовал, как над головой проплыл жар, ударился в стены, изогнулся и дохнул по плечам. Серега вернул черпак на перильце, взбежал наверх, шумно втянул носом воздух и кивнул:

– Ничего.

И схватил веник – истрепанный, из одних, казалось, палок; купленный еще в позапрошлый раз и доживающий последнюю смену.

Я уже бил себя по ребрам – размахиваясь широко, загребая как можно больше воздуха. Старик отложил скребок и стучал веником по впалой

груди – а через какую-нибудь минуту парилка наполнилась звонкими хлопками – звук напоминал стук ливня по листве – и сопением. Серега порывивал и хлестал себя так яростно, словно злился на несчастный веник и хотел разделаться с ним как можно скорее.

Мальчик, зажмурившись, стоял к отцу спиной, а тот, коротко взмахивая руками, опускал на нее поочередно то свой веник, то сына. Мальчик стоял не шевелясь, но потом пискнул что-то, сорвался вниз, придерживая шапку, толкнул дверь и исчез за ней. Отец отложил маленький веник в сторону, запрокинул руку и зашлепал себя по круглым покатым плечам.

– Хорошо-о, – выдохнул Серега и заработал веником еще яростней.

Под конец он даже по лицу себя хлестанул – и, фыркая, сдувая пот с носа, затопал по ступеням к двери. Я допарился как следует, подхватил деревянную сидушку и двинулся следом.

– Надо пихтовый притаранить, – говорил я, кутаясь в простыню и на ощупь вытягивая из сумки квас.

– Что?

Серега сидел, закинув ногу за ногу, и вытягивал из уголка своей простыни одну торчащую нитку за другой.

– Веник, говорю, – пояснил я. – Пихтовый. Простыню распустишь.

Я пшикнул пробкой и с наслаждением сделал несколько больших глотков. Сладко-кислый запах ударил в нос.

– Давно их не видел, – пробормотал Серега, вытягивая очередную нитку.

– К Никитинским привозят, – хрипло отозвался сидящий напротив нас – по диагонали – мужик.

Мужик был лыс, широк, сидел с закрытыми глазами и весь был покрыт розовыми пятнами, точно разрисованный – у нас с Серегой после парилки так краснели только плечи и грудь.

Кроме нас и широкого мужика в этом ряду никого не было. Пустые деревянные сиденья тоскливо расходились в обе стороны, выпячивали высокие спинки, блестя призывно крючками.

На одном темнел оставленный кем-то веник.

В зале было шумно – на других рядах свободных мест было куда меньше, там разговаривали, спорили, смеялись. Из дальнего конца, за нашими с Серегой спинами, доносился гулкий звон стаканов, нестройная, спотыкающаяся песня – она взмывала к высокому потолку, билась о колонны, кружила вокруг белых ламп, кувыркалась над рядами сидений и отдавалась негромким эхом.

В помывочной шумела вода, оттуда тянуло теплым влажным воздухом.

В зале пахло вениками, сыростью и пеной для бритья.

– К Ни-ки-тинским, – повторил задумчиво Серега, оставляя в покое простыню и скручивая пробку со своей бутылки.

Мужик медленно кивнул. Потом медленно открыл глаза – точно это было непросто – медленно встал, медленно повесил полотенце, которым оборачивался, на крючок и медленно пошел в сторону помывочной, переваливаясь с одного бока на другой.

Поравнявшись с высоким, почти под самым потолком прорубленным, окном, он остановился, присмотрелся и повел могучими плечами.

– Темне-еет, – хрипло протянул он. – Когда-то Ерохины придут...

И продолжил путь.

Мы с Серегой остались на весь ряд одни – и какое-то время молча пили квас. Серега если не пил, то хмурился, подпирал небритый подбородок кулаком и равнодушно смотрел на окно.

– Темне-еет, – повторил он задумчиво.

Он сегодня был угрюмее обыкновенного, почти ничего не говорил – а если говорил, то как-то ни о чем. Скажет слово, другое – и сидит молча. Мне даже передалось его настроение – и я почувствовал, что и сам понемногу становлюсь угрюмым. И даже радость от бани, которую я ждал всю неделю, как-то стала остывать.

Я посмотрел на узкое, нависающее над сиденьями окно: за ним было совсем темно, и на фоне угрюмого вечернего неба видно было только край бледно подсвеченной – окном же – липовой кроны. Коряжистые, путающиеся между собой, почти совсем голые ветви дрожали от ветра и тянулись к стеклу.

Я охнул.

– Серег, – ткнул я его локтем. – Какую я штуку вспомнил! Все хотел тебе рассказать.

Серега повернулся, посмотрел вопросительно и потер плечо.

И я рассказал Сереге то, о чем слышал недавно и что меня, признаться, очень впечатлило. Я рассказал ему о том, что наше внимание, наше восприятие пространства при попадании в, скажем, помещение – да хоть бы вот в этот раздевальный зал, как бы растягивается, цепляясь за, так сказать, маячки – понятно, воображаемые. И точно рисует контурную карту – с нами в центре. Получается, что мы, например, сидим – да хоть бы в этом вот раздевальном зале, – смотрим в стену, или на окно, или на нитки, торчащие из простыни, ни о чем специально не думаем, но внимание наше захватывает и как бы обнимает не только зал целиком, с колоннами, рядами кресел и звенящими стаканами, но и улицу за окном, и тротуар с парковкой, от которой мы шли, и дорогу с фонарями, и дома на той стороне, и перекресток, на который мы с Серегой сегодня с разных сторон заехали и с которого в разные стороны после бани разъедемся, и кабак на углу – в котором Серега полгода назад кулаками махал. И мы вот как бы ни о чем этом не думаем, а внимание все же крепко за эти маячки держится и... как будто в гамаке нас качает – растянув сетку. Можно ничего, кроме бутылки с квасом, перед глазами не иметь, а все же и дорогу, и перекресток, и кабак – и далее, переулки, магазины, площадь, новостройки – все это как бы ощущать. Как бы физически почти ощущать – как бы в фоновом режиме.

Но это было еще не все.

После этого я рассказал, что, нащупав «маячки» – и нащупав «сетку», в которой мы, как в гамаке, лежим – можно, приложив совсем незначительное усилие, контурную карту перерисовать – как будто из одного гамака в другой перелезть. Можно, например, представить, что за окном не дорога и октябрь, а, например, зимний лес – густой такой сосняк, с сугробами. Или что наоборот – магистраль в двенадцать полос, машины мчатся, а за магистралью, например, ангары, и в каждом по самолету. А мы сидим в простынях, и нам скоро в парилку бежать. И суть как раз в том, что внимание на такие кульбиты отзывается с готовностью и выстраивает по периметру какие угодно конструкции. И уже реально ощущаешь себя посреди ангаров с само-

летами – только вот липа не в тему, конечно, – хотя смотреть продолжайешь на нитки из простыни. И ощущения такие, словно все вот это придуманное совершенно реально – так же реально, как... ну, скажем, как вот этот квас.

Я выпил для убедительности квасу – чтобы было понятно, насколько он реальный, – и посмотрел на Серегу, ожидая реакции.

Серега наклонил голову, подумал и хмыкнул, скривив губу.

– Да, забавно.

Он поболтал перед лицом бутылкой, разглядывая сквозь темный пластик, сколько еще кваса в ней осталось, выпил и закрутил крышку.

– А у меня коробка в четверг полетела. Подшипник, говорят, сточился – и все там стружкой забил, – он вздохнул тоскливо. – Меньше двадцатки не выйдет.

И замолчал.

Мне стало досадно. Я отвернулся, уселся поудобнее и тоже замолчал. Потом посмотрел на окно – на темно-фиолетовое, цвета чернил, небо, на тонкие дрожащие ветви в редкой листве – и представил себе бескрайнюю, голую степь, разбегающуюся во все стороны.

И тут же как будто почувствовал ее – на многие километры вокруг, до самого горизонта.

Холодный ветер скользит по ровной, как лист бумаги, степи, гладит невысокую траву, трава шуршит, расходится волнами. Пахнет сухо и терпко. Над степью выгибается бездонное темное небо, и только далеко на западе, у самого горизонта еще зеленеет едва заметно полоса света. Если поднять глаза и присмотреться, с усилием, то можно различить редкие похожие на песчинки звезды. Тихо в степи, тоскливо – и только стоит в самом центре двухэтажный каменный дом – баня.

Я представил себе нашу баню – массивную, крепкую, выстроенную еще до революции, со шпильями, треугольными скатами и подобием тяжелой приземистой башни, венчающей угол, – представил ее стоящей посреди голой степи – и мне это показалось забавным.

Стоит баня в степи, мерцает у входа табличка с годом постройки, «памятник культуры», ее обдувает сухой степной ветер. Светятся узкие, глубоко запрятанные окна – на шуршащую от ветра траву падают пятна света. Одинокая, продрогшая липа жметя к стене, покачивает ветвями, заглядывает в просторный и шумный раздевальный зал, расчерченный рядами кресел.

А в первом от окна ряду сидим мы с Серегой: в простынях, с розовыми пятнами на плечах, с пальцами в зайчиках. Серега подпирает кулаком подбородок, я потягиваю квас.

А когда мы, наконец, выбрались из простыней и прошли через помывочную, на ходу натягивая шапки и постукивая по животам мокрыми остывшими вениками, оказалось, что пока я мечтал о степи, а Серега считал ворон, пришли Ерохины. И не просто пришли, но скоренько разделись, побросали веники по тазам – и уже взялись за парную.

Я даже удивился – как я мог их упустить? Ерохиных обычно слышно задолго до того, как они попадают в раздевальный зал, – еще от гардероба, от касс доносятся обычно их голоса и хохот.

Сейчас они, покрикивая друг на друга и на окружающих, гогоча и гремя тазами, сновали в распахнутой настезь парной, мели ее растрепанными вениками, выволакивали громоздкие деревянные решетки в мокрых следах, ставили к стене.



Сергеа заворчал недовольно.

– Засиделись.

Вместе с Ерохиными наводили порядок еще несколько человек энтузиастов – и среди них был наш мужик, широкий, в розовых пятнах.

– Ща будет! – покрикивали Ерохины – оба широкоплечие, загорелые, с длинными крепкими руками, квадратными подбородками и плоскими носами. – Хоть попаритесь нормально!

Желающие попариться разбрелись по помывочной, снимали шапки, возвращали веники в тазы. Кто-то уходил в раздевальняный, кто-то предлагал Ерохиным помощь, кто-то лез под душ, кто-то – как мы с Сергеем – садился на тяжелые мраморные скамьи и ждал.

В помывочной шумела со всех сторон вода, пахло шампунями и мылом, воздух был влажный и теплый, под высокими потолками клубился туман – и в нем отдавались неясным, каким-то изгибающимся, эхом десятки голосов, из которых громче всех звучали ерохинские.

– В сторону! – кричали они, подхватывая решетку. – Зашибет!

– Орут как резаные, – пробормотал Серега.

Я провел прохладным уже веником по груди, зачерпнул из таза воды – к ладони прилип серо-зеленый дубовый листок – и умылся. Вспомнил про степь, стал смотреть по сторонам – и снова почувствовал, как разворачивается во все стороны полотно шуршащей травы, как вздыхает душистый ветерок. Окна в помывочной были закрыты толстым ребристым стеклом, сквозь которое ничего нельзя было разглядеть – ни с той стороны, ни с этой – в изгибах мягко светились блики от ламп, и это было очень кстати, потому что иначе в окна смотрели бы из-за дороги пятиэтажные дома.

А в степи пятиэтажных домов нет.

Я снова зачерпнул из таза воды, снова посмотрел по сторонам и увидел у одной из скамей мальчика – «Я люблю папу» – с отцом.

Шапка лежала на бортике вместе с войлочной рукавицей и скрученной деревянной сидушкой. Сын сидел на скамье, отец стоял рядом – и оба они были в пене, на круглых головах пузырился густо шампунь.

Мальчик встал, отец сел на его место, поставил сына перед собой и стал тереть ему мочалкой спину, придерживая одной рукой за плечо, а сын топтался на месте и робко, даже испуганно смотрел на хохочущих Ерохиных, которые уже закончили орудовать вениками и теперь сушили парную: то распахивая, то прикрывая тяжелую дверь. От двери расходились тугие волны горячего воздуха – в печь уже начали поддавать.

Отец опять что-то рассказывал, увлекался и жестикулировал, взмахивая мочалкой, трепал мыльную макушку. Я смотрел на них, на белую спину мальчика, на то, с каким испугом он взглядывает на Ерохиных и как жмется к отцу, и мне подумалось: «Каким он вырастет?»

Ерохины перестали сушить парную и скрылись внутри, громыхнув дверью. Зазвенела заслонка печи, вокруг парной стал собираться народ.

«Таким, как Ерохины, не вырастет, – думал я. – И даже таким, как Серега, вряд ли».

– Пойдем, что ли...

Мы снялись со скамьи, Серега с силой взмахнул веником – с него на стену полетели брызги – двинулись к парной.

«Даже таким, как я, наверное, не вырастет», – продолжал думать я, пробираясь к двери и занимая место в нестройной, распадающейся очереди.

И однако возвышалась над мыслями уверенность в том, что все с этим мальчиком будет хорошо – и что не в том вообще-то счастье, чтобы быть таким, как Ерохины или мы с Серегой; казалось, что вот он, быть может, вырастет по-настоящему хорошим человеком – и уж точно жизнь его будет счастливой и светлой и какую-то огромную роль сыграет в этом счастье не только трогательная отцовская – и сыновья – любовь, но даже смешная банная шапка с петелькой на макушке.

В очереди у парной между тем нарастало недовольство, норовили дернуть дверь.

– Сейчас опять... – жаловался кто-то кому-то. – Не зайти будет.

Дверь приоткрылась, из-за нее высунулось красное квадратное лицо.

– Хорош ломиться, – сипло приказал Ерохин. – Нагреваем.

За ним виден был второй – размахивающий у печи черпаком.

Дверь закрылась.

Сереге стоял со скупающим видом и выщипывал из веника тонкие голые веточки.

– Мой возьми, – предложил я. – Что ты с этой соломой...

Сереге отмахнулся.

– Да нормально.

– Открывайте, сколько можно! – послышалось из-за спин. – Дергай дверь!

Сзади навалились, толпа стала тесниться. Мужики возмущались, стучали в дверь кулаками. Наконец, она скрипнула, отворилась – и у стоящих в первом ряду ресницы закрутились колечками: толпу обдало волной острого, какого-то, кажется, стеклянного жара. Мне вспомнилась школьная экскурсия на хрустальный завод – оранжевое, истекающее огненными каплями стекло, надуваемое на манер воздушного шара.

В ту же секунду толпа хлынула в парную – и мы с Серегой хлынули. В первое мгновение от резкой смены температуры у меня – как, наверное, и у всех – перехватило дыхание, я надвинул шапку на глаза, засопел, и мы с Серегой протиснулись к стене. Оправившись от первого замешательства, толпа взялась штурмовать полки – и первые смельчаки, прижав веники к груди, заспешили по ступеням. На самом верху – под лампой, где в прошлый раз сидели мы с Серегой, – восседали, как древнегреческие олимпийцы, Ерохины. Вокруг них изгибался и шел спиралями раскаленный воздух.

Мужики, опуская шапки, как забрала шлемов, карабкались, сжимались, прятали лица в веники, искали себе места на полке, а когда находили и садились, то замирали, глядя на остальных – и только глазами сверкали. Два или три человека – включая вытянутого, точно жердь, старика со скребком – взошли на самый верх, сели вровень с Ерохиными.

Кто-то поднимался на несколько ступеней и останавливался, кто-то вообще не поднимался и стоял внизу, у перильца с черпаком. Сереге рванул наверх, выставив перед собой локоть и точно отталкивая им жар, скользнул на ближайшую полку – нижнюю – кинул рядом веник,

уперся в колени локтями и погрузил лицо в ладони. Но через пару минут сполз с полки и спустился на ступени – где стоял, упираясь макушкой в туго натянутый жар, я.

– Ничего, – прошипел он, раздувая ноздри. – Нормально.

Парная затихла и наполнилась сопением – все замерли, не шевелясь, и только пытались по мере возможности дышать.

Потом заскрипел по плечам и груди старик – звук был такой, словно по дереву проходились наждаком. Послышались первые робкие хлопki – жар заколыхался, заворочался в парной, расплескиваясь до самой двери. Мы с Серегой поднялись повыше – жар так яростно плеснул по плечам, что на мгновение я почувствовал на них неестественный, неприятный холодок. Я поднял дышащий огнем веник на уровень груди и хлопнул – раз, два.

В парной поднялся шум, мужики заработали вениками. Ерохинские мелькали так стремительно, словно у их обладателей было по четыре руки – и только старик сидел прямо и, как ни в чем не бывало, скреб себе грудь.

Стараясь не раскидывать руки, втянув головы в плечи, мы с Серегой кое-как попарились, ударили друг друга по спине, соскочили вниз и вместе со второй партией ретировавшихся вывалились из парной – алые, задыхающиеся и дымящиеся.

От плеч, спины и рук валит пар.

– Вот валит-то, – усмехался Серега, рассматривая плечи и подтягивая к красной груди простыню.

Я сидел, откинувшись к спинке, и смотрел перед собой, пар белесыми струйками плавал перед глазами, изгибался в такт дыханию.

– У тебя квас есть еще?

Я нащупал бутылку, протянул, не поворачивая головы.

Послышалось жадное бульканье.

– Ну, Ерохины! – звучало на других рядах. – Нельзя так! Это же фанатизм!

Оратора вяло поддерживали.

Я принял от Серегу бутылку, сделал несколько глотков, и мне показалось, что в животе у меня зашипело – с тем же шипением, с каким падает в печь вода из черпака.

Серега что-то пробормотал, но что именно – я не расслышал. А переспрашивать было лень. Я заблуждал медленным, невнимательным взглядом по креслам, по стене и наткнулся на окно.

Дрожали по-прежнему бледные липовые ветви, трясли редкой листвой.

Я вспомнил про степь, взялся представлять, нащупывать и ощущать – но мысли отказывались выстраиваться в нужном порядке, внимание рассеивалось, и степь то показывалась, то снова пропадала, баня проваливалась в черную космическую пустоту, плыла сквозь нее, рядом с ней плыла, боясь оставаться в одиночестве, липа.

Я бросил бесплодные попытки сконцентрироваться и оттащил взгляд от окна.

Мимо нас прошагал, переваливаясь, широкоплечий мужик – окутанный клубами пара – с грохотом приземлился на свое место, закрыл глаза и замер – только необъятная грудь продолжала вздыматься, толкая столб пара, как поршень.

Так мы и сидели молча, откисая – какое-то время. Я последовал примеру мужика и закрыл глаза – и сквозь густую темноту, по которой скользила едва заметная темно-красная рябь, слушал свое дыхание, сопение Сереги, шум воды из помывочной и споры на других рядах. Загремели издалека голоса Ерохиных, заспешили, увеличиваясь в размерах, заполнили собой весь зал.

– Он на прошлой неделе был! – отвечали кому-то Ерохины. – На две подряд жена не пускает!

И – хохот.

Я сидел, прислушивался и ощущал, что понемногу остываю. Нашарил, не открывая глаз, бутылку отпил – и никакого шипения не показалось. Только взялся ставить на место – почувствовал, как ее тянет в свою сторону Серега.

«Значит, сидит с открытыми глазами, – догадался я. – Может, и мне пора?»

Но решил, что пока еще не пора.

А спустя какое-то время – когда я уже чувствовал себя совсем остывшим, когда невесомое прежде, похожее на облако, тело налилось тяжестью, но глаза открывать по-прежнему не хотелось – Серега завожился рядом, зашуршал простыней, кресло скрипнуло, и в темноту колоколом ударил Серегин бас:

– Покурим, что ли?

В моем случае это означало стоять рядом с курящим Серегой.

– Спишь?

Я с усилием открыл глаза, мягкая темнота разодралась надвое, словно ткань, и я увидел залитый светом ряд кресел, красного, темно-красного, свекольного какого-то мужика с широкими плечами, а перед собой – Серегу, закутанного в простыню на манер греческого философа.

Серега подбрасывал в ладони зажигалку и по-прежнему дымился.

– Не спи.

Я моргнул, снова моргнул – уперся ладонями в шершавые деревянные ручки и поднялся.

– Я сам чуть не залип, – сообщил Серега, подобрал поудобнее простыню и пошел к двери, чиркая на ходу зажигалкой.

Курили в изгибе небольшого, буквой Г, коридорчика между раздевальным залом и холлом. У стен стояли друг напротив друга деревянные креслица с откидывающимися сидухами, на подоконнике блестела в свете лампы банка, приспособленная под пепельницу.

Узкое окно было покрашено почти до самого верха, только форточка и небольшой сектор рядом с ней оставались прозрачными – в них смотрело темное небо.

Форточка была открыта, и по коридору гулял зябкий октябрьский ветерок – неспособный вытянуть или хотя бы приглушить впитавшийся в стены запах табака.

Серега стал у окна, закурил. Дотянулся до форточки и раскрыл ее пошире. Я сел напротив него, в креслице, вытянул ноги и зевнул.

– Сам, говорю, чуть не залип, – ответил на зевок Серега и выпустил струю дыма, целясь в лампочку.

Ветер подхватил дым и бросил в стену.

Сергея стоял, глядя в окошко, покачивался с пяток на носки. Потом шелкнул пальцами и повернулся ко мне.

– Штука эта. Что ты рассказал.

Я не понял.

– Ну, про внимание. Про ощущение, – раздраженно пояснил он.

Я кивнул.

Сергея затянулся поглубже, помолчал, покачал головой.

– Круто, – выдохнул наконец он. – Прямо как будто... Да.

Он посмотрел на меня.

– Круто, да.

Он опять затянулся, помолчал.

– Ты как рассказал, я это... Ну, в окно глянул и представил, как будто бы, – он взмахнул рукой, с сигареты на пол поплыла, кружась, искорка. – Как будто мы сейчас – ну как в горах.

Он хмыкнул, стряхнул пепел в банку, посмотрел на руки – все еще в пятнах.

– Ну, как бы вот баня наша – а стоит на горе, – он снова хмыкнул. – На уступе.

Он посмотрел в окно и рассмеялся.

– Прикинь, да? Наша баня – со всеми... башенками, лепниной... И стоит на горном уступе, над ущельем.

Он чиркнул зажигалкой.

– Да... И прямо – почувствовал, да. Горы вокруг, высота... Прямо горы. А из окон пар валит – Ерохины парятся!

И он рассмеялся.

– А липа? – спросил я.

– Какая липа?

– Которую в окно видно.

– А, – он махнул рукой, затушил сигарету и тут же прикурил вторую. – Да она как раз в тему.

Он посмотрел на меня, выставил вперед ладонь.

– Горный уступ. Баня. И у бани – липа растет. Одинокая. Горная, – он пожал плечами. – Вполне себе картина.

Стукнули двери раздевального зала, и мимо нас прошли через коридорчик отец с сыном – те самые. Теперь оба они были в джинсах, в джемперах на молнии. У отца на плече висела спортивная сумка, из нее выглядывали черенки веников. У мальчика за спиной болтался рюкзачок.

Щеки у обоих были красные, волосы крупными кудрями топорщились в разные стороны, глаза блестели. Поравнявшись с нами, отец коротко посмотрел на меня, на Сергея и кивнул – прощаясь.

– С легким паром, – ответил Сергей, но оба уже скрылись за дверями, в холле.

Я представил, как они забирают в гардеробе куртки, заматываются, стоя перед зеркалом, в шарфы, как отец натягивает на макушку сына шапку с помпоном – быть может, и сам надевает такую же, только размером побольше – толкают скрипучую дверь и уходят вдвоем сквозь бледную, шуршащую травой степь.

– Слушай, – позвал меня Сергей, прикрывая форточку. – А погнали потом ко мне. Танька у матери – пива попьем, поужинать чего-нибудь захватим по пути.

Я посмотрел на него виновато.

– Извини, Серег, сегодня никак. Домой надо.



Он пожал плечами.

– Базара нет, – он затушил сигарету, затолкал окурочок в банку. – Ну, подвези хотя бы, коробочка-то...

Он поднял руки и точно сломал невидимую палку.

– Да, конечно.

И потом – после бани – Серега всю дорогу сидел угрюмый, постукивал пальцами по подлокотнику, хмурился и крутил ручку магнитолы, делая музыку то громче, то тише. Через сверкающий вывесками, сияющий фонарями и фарами, витринами и окнами город, мимо торговых центров и новостроек, арок и площадей мы проехали, перекинувшись всего парой слов.

## Павел ЛАПТЕВ

*Выкса*

(№ 6, 2019)

### КАМЕНЬ

– Кто разложил на подоконнике портянки, а? Тут что, баня вам или солдатская столовая? – кивнул усатый капитан на сохнувшее на подоконнике бельё.

Солдаты из автороты в бывшем храме Иоанна Предтечи, превращённом в столовую, кто с ложкой овсянки в руках, кто с набитым кашей ртом, рассмеялись на эти слова дружно.

– Да, чистые они, ужотко постирал! – весело крикнул молодой солдатик.

– Чистые не чистые, а в столовой нечего бельё раскладывать! Ну-ка убрать! – грозно приказал капитан.

Молодой солдат быстро дожевал, давясь кашу, встал и убрал с подоконника портянки, рассовал их в карманы штанов.

– Ох, если бы столовая, если бы баня, – мечтательно сказал старый солдат Тимофеич.

– Как? – не понял капитан.

– А всё в этой жизни, товарищ капитан, временно. Вот война была, да два года уж нет. Да и здесь столовая временно, – ответил старый солдат и добавил: – Всё вернётся на круги своя.

Капитан покашлял в кулак, разгладил усы, оглядел фрески на стенах.

– Что ты имеешь в виду? – спросил он. – Что вернётся?

Тимофеич ничего не ответил и продолжил есть кашу.

Снова начали подниматься эхом под купол стуки алюминиевых ложек, чашек, чавканье.

Капитан уже забыл, зачем зашёл к солдатам, повернулся было уйти, но потом вспомнил:

– С вашими портянками этими временными всё забыл, зачем пришёл! – сказал нахмурясь. – Вот вы едите здесь и не знаете ничего, – обратился ко всем загадочно.

Наступила тишина.

– Да вы ешьте, ешьте, – немного смутился тишине капитан. – Я с одним делом пришёл. А дело-то в том, что под вами... – показал пальцем вниз.

– Ад? – тут же нашёлся молоденький солдатик.

Капитан опять погладил усы, насупился и сказал:

– Ад-то ежели и есть, то ниже находится, а между ним и вами – склеп!

– Склеп, склеп, – зашушукали бойцы.

– Это мне дед тутошний из домов местных рассказал, – сказал капитан. – Что бывших господ Баташовых хоронили здесь под церковью.

Зашумели бойцы, обсуждать стали меж собой. А кто-то громко сказал:

– То-то я видел, как ребяташки черепом футбол гоняли!

И снова тишина воцарилась в храме.

– Эх-ха, вот не знали, и спокойней было б, – жевал кашу пожилой солдат Тимофеич, – а таперича и думай тут про ентот клеп.

Капитан сильно закашлял.

– Не знали – это ничего не значит, – еле выговорил он. И уже отдышавшись, тихим голосом, словно боясь, что его услышат за стенами, а может, и под полом, сказал: – В общем, надо нам куда-то припасы складывать, картошку-моркошку, а там, я заглянул, как раз подходящее место, не жарко. Так что пока не приказываю, а прошу: кто полезет склеп очищать? Каждому по сто пятьдесят и день отдыха.

– Ужо пузо набили! – кто-то крикнул.

– Ничего, сто пятьдесят не пуд, – ответил капитан.

– Чего по сто пятьдесят, по стакану уж! – крикнули.

– Я что, винзавод, что ли? Литровину первача ставлю, сами разберётесь. Ну, кто смелый?

– Я! – выпалил молодой солдат.

– Я! И я полезу, – согласились несколько бойцов.

– Надо сейчас, пока не доели, – намекнули на выпивку.

– На сиденье в грузовике возьмите, – радостно сказал капитан, – как позавтракаете, я жду всех на воле.

Капитан ушёл, молодой солдатик убежал к машине, а все бойцы стали молча, стараясь не греметь посудой, доедать свой завтрак, как будто прислушиваясь к тому, что в подполе творится. Но постепенно скрежет ложек, стук об пол кривых скамеек и разговоры стали громче.

– Я вот как думаю, – громко сказал Тимофеич, – что у товарищца капитана есть другая причина вытащить этих баринов.

– Какая? – спросил его прибежавший и уже разливающий в стаканы молодой.

Пожилой солдат помолчал немного, настраивая внимание бойцов, и ещё громче сказал:

– Брильянты!

– Бриллианты, бриллианты, – заговорили за всеми столами.

– Вот так, – сказал Тимофеич, дожёвывая кусок хлеба и отправляя в рот последнюю ложку каши. – В один час погибнет всё богатство земное.

Все солдаты притихли, перестали жевать и греметь посудой, прислушиваясь к странному словам старого солдата. Но он только спокойно отёр куском хлеба чашку и отправил его в рот.

– Чего? – вдруг спросил молодой солдат за всех.

– А? – очнулся от миски Тимофеич. – А! – как вспомнил. – Я говорю, придёт время, когда един Ангель возьмёт камень, подобный большому жернову, и повергнет в море, – Тимофеич бросил ложку в кашу. – Вот так же будет повержен великий град Вавилон. Вот. Со всем его золотом, жемчугом и драгоценными камнями. . .

Вскоре подогнали грузовик к правой стене храма, к склепу, и несколько солдат зашли туда внутрь.

Дюжина детей выбежала на перемену из соседней школы номер пять и увидели копошение возле храма.

– Шкелет оттуда вылезет? – боязливо спросила второклассница Рима у старших детей.

– Ага, вылезет и съест тебя, – отвечали ей дети.

А Вовка-дурак, как услышал о скелете, начал его изображать под детский хохот, поднял руки вверх, зарычал, заходил по кругу.

Изнутри раздавались стуки кувалды по кладке, потом они стихли, и из склепа вылезли солдаты с хорошо сохранившимся гробом из золотистой парчи с чёрным матерчатым восьмиконечным крестом на крышке. Гроб поставили на траву, осмотрели, где гвозди прибиты и начали открывать. С крышкой справились быстро, открыли гроб, открылась пожелтевшая простынь. Вот её сняли с покойника – обтянутого ссохшейся чёрной кожей с белыми длинными волосами. Костюм его и туфли были как новые.

Пахнуло чем-то таким, что Рима сравнила с погребом, где картошка хранится. А молодому солдату и вид этого покойника, и запах навевали мысли о тленности старого ненавистного мира, в котором смешались и помещики из учебников истории, и мировая буржуазия, и фашизм, который победили недавно. И о скором прекрасном пахнущем духами «Красная Москва» времени коммунизма. Там, помечтал он мимолётом, учёные создадут напиток бессмертия, не будет смертей, все будут молоды и красивы. А не такие уродливые покойники, какие производил тот прогнивший барский мир. И он, здоровый юный боец, завсегда в этом мире останется таким молодым и красивым, и все девки в его деревне останутся юными. И всю эту коммунистическую вечность он будет ходить с ними в пахнущую берёзовыми вениками и хвойным мылом баню. А потом, пьяные и весёлые, будут возле его дома петь песни под гармошку. И это будет всегда, это будет вечно. Не будет болезней, старости и смерти, только раздольная жизнь под красными знамёнами с портретами Ленина и Сталина...

Капитан подошёл ближе, брезгливо полазил руками в гробу, зачем-то пощупал покойника, нашёл в кармане пиджака какую-то штучковину, разглядел её мельком и, недовольно что-то бурча по нос, положил в карман голенищ.

Потом отошёл от гроба и скомандовал солдатам:

– Взяли – понесли!

Четверо солдат легко, но бережно – как бы не развалился – подняли гроб и понесли к грузовику.

Тут Вовка-дурак поднял камень и бросил в гроб. Промазал.

Кто-то из детей тоже бросил, потом уже все дети начали бросать в покойника, кто попадая в него, кто – в ругающихся солдат. Только маленькой Риме не достался камень, все близкие большие камни дети быстро схватили. Рима искала подходящий камень и вот, кажется, нашла, но опять не то – сухая коровья лепёшка. Бросила её, руку о платье отёрла. Потом побежала к обочине, нашла несколько камней и подбежала опять к ребятам. Один камень оставила, остальные рядом положила. Замахнулась обеими маленькими ручками и хотела бросить, но кто-то сзади нежно взял её за руки.

– Камень преткновения и камень соблазна, – улыбаясь, сказал Тимофеич. – Давай-ка выбросим, – и выбросил.

Рима от обиды зарыдала.

– Чего его жалеть-то, скелета-то, – сказал ей Вовка-дурак. – Не плавай, уж, Рим, – и, зло смотря на Тимофеича и скалясь во всё своё морщинистое лицо, погладил девочку по голове. Потом поднял один из её камней и бросил в гроб, который уже погрузили на полуторку.

– Детки, ну-ка быстро на урок! – закричала подбегающая пожилая учительница, – Бегом в школу!

Дети не пошли.

– Что ж вы делаете-ка, нехристи! – заголосила она то ли на детей, то ли на взрослых. – Креста на вас нет, уже проклятие кликаете на себя. Шутки шутите? – то грозила пальцем, то почему-то к удивлению всех, крестилась. – С этим не шутят! Мало того что позакрывали церкви, да ещё кощунствуют. Но камень, который отвергли, делается главою угла, – и начала ворчать что-то невпопад про загробный мир, про ад и чертей, про Бога и Православную церковь.

– Хватит, тётка, орать на ветеранов Отечественной войны! – рявкнул на неё капитан, – Чему детей учишь!

Учительница как опомнилась, взяла двоих детей за руку и повела к школе.

– А мы тоже такие будем? – спросила у неё Рима, когда они уже подходили к школе.

– Нет, Рима, мы, вы такие не будете, – ответила девочке.

– Это только буржуи такие бывают страшные, потому что рабочий класс угнетали, – утвердила Рима. – А какие мы будем, когда умрём? – спросила она.

Учительница ничего не ответила на это.

– Красивше, конечно, – сама ответила девочка. – Но всё равно нас закопают, и никто красоту нашу не увидит.

– Не красивше, а красивее, – поправила учительница. – Отстань, Рим! – крикнула на неё. – Все умрут, никого не останется на Земле. А потом, потом, – замылась она, – все воскреснут, кто – для вечной жизни, а кто в погибель, – почему-то непедagogично и шёпотом сказала.

Грузовик завёлся, и капитан, наскоро докурив папиросу, сел в кабину. Полуторка поехала. Капитан достал медальон, открыл, и его взору на одной половинке предстал маленький портрет молодой красивой женщины с зачёсанными назад в хвостик волосами. На другой половинке медальона была золотая гравировка: «Деду И. Баташову отъ внучки Дарии»

Капитан что-то зло пробурчал, высунул в окно кабины руку с медальоном и выкинул его в пруд.

– Серебро – не золото, – сказал шофёру. – Чёрт, а! Не густо! Ну что за люди были, золотишка в гроб не положили, а ещё эксплуататоры. Сколько времени потерял на этого покойника, лучше бы к зазнобе сходил.

– Куда? – спокойно спросил солдат за рулём.

– А? – не понял сначала капитан. – А на закрытое кладбище рядом с тринадцатым детским садом, то есть с бывшей малой церковью, то есть... в общем, ты понял, – сказал он шофёру. – Закопаем там втихую барина. А после за картошкой поедем. Начнём на эту зиму, на вечную русскую зиму запасы делать.



**Денис ЛИПАТОВ**

*Нижний Новгород*

(№ 2, 2022)

## ДЖИНА

Судебных исполнителей было трое: молодая женщина-пристав, здоровенный охламон с дубинкой и немецкая овчарка с очень умными и слезящимися глазами. Имущества было много, но описывать особо было нечего: всё оно подпадало под одно ёмкое определение – хлам. Женщина-пристав, зажимая нос, так и сказала – Хлам! – и обвела комнату таким искрэнне-ненавидящим взглядом, что даже тараканы попрятались по щелям, а где-то в углу, затрещав, отклеились рассохшиеся обои с какими-то унылыми цветочками и сразу же стыдливо притихли. Овчарка заскулила. Охламон зевнул и прислонился к дверному косяку, лениво прислушиваясь к шорохам и отголоскам коммунальной квартиры, разбуженной их ранним визитом.

Не торопясь, по-хозяйски, ещё совсем не обращая внимания на притихшую и растрёпанную Ниночку, женщина-пристав обошла комнату, всё время брезгливо морщась, словно это ей предстояло теперь здесь жить, заглянула во вторую комнатку, превращённую в кладовку и в которой хлама было навалено ещё больше, матерно выругалась, наткнувшись на какую-то рухлядь, оказавшуюся самой Ниночкой, зачем-то провела пальцем по запылённому экрану старенького, ещё черно-белого и давно не работающего телевизора, ненадолго задержалась у сто лет немытого окна, выходявшего на чёрный двор с какими-то убогими сараюшками, мусорными бачками, ветхой поленницей, грязным снегом... Наконец, усевшись за большой круглый стол, находившийся посреди комнаты, и всё так же брезгливо откинув край несвежей скатерти, она разложила свои бумаги, щёлкнула авторучкой – авторучка текла, и, не найдя ничего более подходящего, она промокнула её о всё ту же скатерть, всё равно безбожно заляпанную – строго посмотрела на Ниночку, напомилавшую своей худобой церковную свечку, и, вновь опустив глаза в свои бумаги и что-то небрежно записав – число, месяц, адрес, номер исполнительного листа, согласно которому проводилась опись, – заговорила.

Голос у неё был уставший, злой и нетерпеливый. Оттого, что Ниночка почти ничего не понимала, недослышивала и всё время всё переспрашивала, неуместно называя женщину-пристава то сестрицей, то доченькой – что её только злило, – он очень часто срывался на крик, отчего Ниночка испытывала такой ужас, что становилась почти бесплотной, растворяясь в затхлом воздухе комнаты и сливаясь с её замызганными обоями, обшарпанным комодом, шкафом с битой полировкой и мутным бельмом зеркала посередине, большим видимо оттого, что

уже много лет приходилось отражать одиночество, старость, убожество, и больше ничего.

Всякий раз, когда женщина-пристав начинала кричать, овчарка жалобно скулила, а в последний раз, когда она кричала особенно громко и долго, овчарка подошла к Ниночке, осторожно её обнюхала и заглянула ей в глаза своими – мутными и слезящимися.

– Не надо, – честно предупредил охламон, когда Ниночка потянула руку, чтобы погладить собаку, – Может и укусить.

Но Ниночка или не расслышала, или не поверила и стала гладить собаку, и та, вместо того чтобы укусить, как предупреждал охламон, наоборот, довольно заурчала, пытаясь поймать и лизнуть её руку.

– Джина!.. – охламон лишь укоризненно покачал головой и отвернулся, прикрыв глаза ладонью, словно Джина сделала что-то непристойное и ему за неё стыдно.

– Чучело, – презрительно огрызнулась женщина-пристав в сторону Джини, продолжая что-то устало записывать в своих бумагах. На Ниночку она уже не смотрела, словно врач, которому всё уже давно ясно, а жалобы и нытьё больного только раздражают.

Из всего сказанного Ниночка поняла только то, что она в чём-то очень сильно перед сестрицей провинилась, а поскольку надежды на то, что Ниночка исправится и как-то сумеет вину свою загладить, не было никакой, она, сестрица, собиралась выселить Ниночку из квартиры куда-то на край города, в какой-то интернат «для таких вот, как она».

В дверях комнатки уже собрались соседи, человек пять или шесть: женщины в бигуди и линялых халатах, мужчины в засаленных трико и рваных майках. От этого по квартире, примешиваясь к устойчивым запахам кошачьей и человеческой мочи, распространились ещё запахи варёной капусты, табачного дыма и перегара. Кто-то, кому было плохо видно, выглядывал из-за голов впередистоящих, поднявшись на носочки, какой-то ребёнок пролез совсем рядом, под ногами у взрослых, и теперь разглядывал охламона, у которого на поясе висела настоящая кобура.

Ни женщина-пристав, ни охламон, ни даже овчарка не обращали на них никакого внимания: они уже давно привыкли ко всем этим разговорам, ко всем пересудам и переливаниям из пустого в порожнее, о том, что не дадут старому человеку дожить спокойно, и к оправданиям, что «думала помирать, потому и не платила, но видно не рассчитала, не померла – уж простите», тоже привыкли, и они не трогали их сердце. Каждый думал о своём: женщина-пристав о том, что сегодня ещё два или три адреса, а она уже совсем размотана, да ещё не давал покоя вчерашний скандал с мужем и свекровью, как всегда из-за денег и каких-то дурацких кредитов, которых он набрал непонятно подо что, охламон думал тоже о чём-то своём, тошнотворно скучном и охламонском, Джина вспоминала запахи, услышанные за день, и обдумывала их.

И они ей не нравились.

Вернее, огорчали своей предсказуемостью и повторяемостью изо дня в день. Разве что мальчишка, проползший рядом на коленках, чтобы поближе рассмотреть кобуру у охламона на поясе, пахнул не противно, а даже, наоборот, приятно, будто только что отжатым свежим творогом, и Джина незаметно успела лизнуть его за ухом, когда он проползал мимо. Всё остальное сегодня, так же, как и вчера, и позавчера,

и месяц назад – пахло противно. Все эти запахи, исходившие в основном от людей, прорастая в мозгу какими-то уродливыми сосудистыми стеблями, толпились в её голове, как непроходимый лес, наливаясь где-то высоко огромными, сизыми с прожилками, пузырями, которые, вызревая – зловонно лопаются. Джина страдала. Джина понимала, что стала теперь стара. Запахи стали утомлять её и перестали быть интересны. Это и есть старость. Раньше они могли веселить, раздражать, радовать, злить... А теперь наводили только тоску и уныние. Даже мальчишка, пахнувший свежим творогом, – даже с ним – всё было понятно, и его запах, хотя он и был приятен – наводил тоску. Во-первых, потому, что Джина никогда не пробовала творога и на секунду, наклонив голову, даже задумалась о том, что это такое, а во-вторых, к старости Джина как будто научилась различать и те запахи, которые ещё не пришли, не пристали к человеку, но которые всё равно уже были с ним, словно семена тех самых уродливых и сосудистых стеблей. И почти всегда будущее было настолько зловонным и неотвратимым, настолько уныло однообразным и нахально обоняемым, словно отливавшая грязно-синим цветом татуировок вонь табака и сивухи, что хотелось заскулить от жалости или околеть прямо здесь, не сходя с места.

С Ниночкой тоже всё было понятно – она была стара, одинока и беспомощна. И они втроём пришли, чтобы выгнать её из её же конуры за эту беспомощность и ненужность. За последний год службы Джина насмотрелась на таких «ниночек» досыта, и они всегда невыносимо злили и раздражали её, так, что само по себе, где-то в глубине живота, вскипало рычание, перетекая в гортань угрожающим хрипом, а взгляд стекленел от ненависти. И она никогда не понимала, почему хозяйка каждый раз так долго возится с ними, всё время что-то говорит, пишет и объясняет им, когда она, Джина, могла бы просто оскалиться, зарычать и выгнать их своим звонким лаем за минуту, и зачем её каждый раз берут с собой, если никогда не позволяют этого сделать.

Но сегодня, то ли от крика хозяйки на Ниночку, то ли от вкусного запаха творога и детства, почти неуловимого среди общей вони, то ли ещё от чего-то, но один из самых больших и уродливых стеблей в её голове, в том самом непроходимом лесу – словно надломился, и пузырь у него наверху лопнул, и Джина с тоской и ужасом учуяла тёплое и гнилое дыхание собственной старости и ненужности. И оно было почти неотличимо от Ниночкиного запаха. И когда дрожащая и высохшая Ниночкина рука потянулась к её голове, ей совсем не хотелось ни рычать, ни скалиться, ни лаять, ни тем более кусать её, а захотелось вдруг положить голову Ниночке на колени и заурчать, заскулить, заплакать, заснуть и проснуться щенком, глупым и щекастым увальнем, перед которым ставят миску со свежим, ещё влажным творогом, а он, недотёпа, спросонья, ещё и не понимает и не знает, что с ним делать, и, недоверчиво принюхиваясь, только смотрит перед собой и осторожно «тяпает» миску лапой.

– Джина!..

Джина вдруг почувствовала – а от неожиданности и боли даже взвизгнула – что ошейник туго, рывком, сдавил её шею, да так, что у неё сбилось дыхание – это охламон резко дёрнул поводок и потянул его на себя, заметив, что она, совсем по-домашнему, пристроила голову на коленях у Ниночки и задремала.

Спросонья, ещё не разобрав, что происходит, Джина виновато потупила глаза, прижала уши и, как-то наискосок склонив голову и жалобно повизгивая, потрусилась к охламону. Но, получив два хлётких удара поводком по спине, прижалась всем туловищем к полу и внезапно – даже для самой себя – угрожающе и утробно зарычала и оскалилась на охламона. Охламон с удивлением посмотрел на неё – ему вдруг показалось, что Джина его не узнаёт. Он хотел ещё раз ударить её и уже замахнулся, но собака зарычала ещё громче, не сводя взгляда с его руки, и он передумал, решив, что надо дать ей успокоиться. Поняв, что больше, по крайней мере, сейчас, бить её не будут, Джина перевела взгляд на Ниночку и ещё какую-то женщину, сидевшую за столом и явно бывшую здесь главной, и от которой – Джина сразу это учуяла – и исходила настоящая опасность. Старуха тоже, конечно, пахла противно, но Джина её помнила, и она не могла ничем угрожать, а вот эта, молодая, за столом...

И тут Джина вспомнила ещё кое-что, и это воспоминание так удивило и обидело её, что она, позабыв и про охламона с поводком, и про то, что он только что замахивался на неё и хотел ударить, выпрямилась во весь рост и села, не понимая, почему она вдруг стала такая большая и такая старая. Уже. Сразу. Так быстро.

Глаза её наполнила студенистая влага обиды, и всё вокруг вдруг поплыло, будто налили в них жидкого стекла. Даже люди в комнате двигались теперь с трудом, будто в вязком, тягучем и холодном расплаве, а в голове у Джины один за другим бесшумно лопались те самые зловонные сизые пузыри на верхушках стеблей, совершенно перебивая запах свежего творога, миска с которым вот только что стояла перед ней, когда она ещё – всего минуту назад – была щенком.

Джина тоскливо и вопросительно залаяла, глядя то на Ниночку, то на эту, за столом, то на охламона, и этот её лай – хриплый, надсадный и будто бы разбухший от обиды – был похож на едва сдерживаемые человеческие рыдания.

– Чего это она разбрехала? – спросила охламона эта, за столом, уже складывая свои бумаги в портфель.

И вдруг, увидев эти сборы, Джина поняла, что вот сейчас всё может закончиться, что вот сейчас её отсюда, где она только что была щенком, навсегда уведут, и вернуться сюда она уже не сможет, и запах свежего отжато́го творога тоже никогда не вернётся, а значит и стать снова щенком ей тоже нельзя уже будет никогда. А вот прямо сейчас ещё можно, вот прямо сейчас, пока ещё не ушли, пока её не увели, пока не так много времени ещё прошло – можно попробовать. Надо только что-то сделать, чтобы задержаться здесь, что-то предпринять, остановить их. Джина разволновалась. Дыхание её стало частым и тяжёлым, как будто она только что пробежала дистанцию с барьерами. Язык вывалился из пасти набок. Слюна потекла ручьём.

Когда же она поняла, что нужно сделать, дыхание у неё снова стало ровным, а жидкое стекло в глазах мгновенно застыло, и комната вокруг перестала плыть, и всё, как и прежде, сделалось чётким и резким.

И как только эта, за столом, убрала последние стопки бумаги, и блестящая пряжка на портфеле звонко защёлкнулась – Джина прыгнула...

...Потом охламона ещё с месяц таскали по разным инстанциям, кабинетам, комиссиям, дознавателям, заставляя писать разнообразные рапорты, отчёты, объяснительные, выясняя, почему он выстрелил так

поздно, допустив нападение служебной собаки на судебного пристава, почему он вообще стрелял, подвергая опасности жизни людей, находящихся в помещении, и как такое вообще могло получиться, что у него оказалось с собой боевое оружие, что за необходимость была в нём на таком задании.

Джина, конечно, никогда ничего подобного не могла бы вообразить или хоть на мгновение представить, что её прыжок будет иметь такие последствия. Последнее, что она могла бы запомнить и почувствовать, была детская рука, пахнувшая чем-то свежим и приятным и глядящая её по голове, которая сама почему-то скользила в чём-то липком и тёплом, и беспокойный женский голос, уговаривающий какого-то ребёнка: «Митя, не смотри! Митя, не смотри!» Джине было очень интересно, на что же нельзя было смотреть Мите, и она хотела встать и тоже пойти посмотреть, но почему-то не могла пошевелить ни одной лапой, ни головой, ни даже хвостом.

## **Александр ЛОМТЕВ**

*Саров, Нижегородская область  
(№ 1, 2022)*

### **ХРОНИКИ УХОДЯЩИХ ВРЕМЁН**

*(Из цикла «Простые люди»)*

#### **Шевелёный**

«Случается на суше и на море, друг Гораций, – написал гений не то английской, не то шотландской драматургии Вильям Шекспир, – что и не снилось нашим мудрецам!»

И это чистая правда! Случается! Такое случается! И мне лично далеко за примером ходить не надо...

В самые рассоветские времена довелось мне работать в самом что ни на есть обыкновенном городском фотоателье. Люди старшего поколения могут представить его, вспомнив старинный фильм-комедию прошлого века «Зигзаг удачи». Приемщица, три фотографа, пара лаборанток, бухгалтер и директор.

В этом фотоателье все и произошло.

Трудился у нас фотографом степенный человек лет пятидесяти Иван Николаевич с совершенно обычной фамилией Иванов. Столь же обычной, как и фамилия, была и его трудовая, как тогда выражались, биография. После средней школы он окончил техникум бытового обслуживания населения и, получив специальность, принялся неустанно останавливать прекрасные мгновения по заказу советских трудящихся – на свадьбах, детских утренниках, ёлках, вручениях красных переходящих знамен и других знаменательных событиях. И добился на этом поприще значительных успехов – всевозможных премий, почётных грамот, уважения трудового коллектива и начальства. Был Иван Николаевич человеком вполне интеллигентным и, хотя писал в квитанциях «фото графия на плацмасе», слыл человеком в высшей степени грамотным и авторитетным, тем более что ходил всегда в костюме-тройке и при бабочке. Делая, впрочем, исключения в самые жаркие июльские дни, когда невозможно было дойти от ателье до места съёмок, не завернув к квасной бочке или не притормозив у автомата с газированной водой. Нынче таких автоматов не найти уже, наверное, даже на самых забытых складах автоматной техники где-нибудь в Урюпинске или Задонск-Муханске.

С годами, став самым старшим по возрасту и опыту фотографом ателье, он некоторым образом даже вошел в городскую элиту. Его приглашали снимать партконференции, делать портреты для городской Доски почета, на которой, между прочим, со временем появился и его автопортрет, выполненный, как всегда, с большим мастерством; он стоял на майских и ноябрьских трибунах совсем недалеко от высшего городского



начальства, а когда в город вдруг ни с того ни с сего нанес визит космонавт не помню с какой фамилией, именно Ивану Николаевичу доверили провести ответственную фотосъёмку (тогда еще модное ныне слово «фотосессия» у нас не бытовало).

И вот у этого передового по всем показателям человека была своя страстишка. Очень любил Иван Николаевич фотографировать похороны. Я вот до сих пор не понимаю (а мне уж годков немало), на кой чёрт нужно снимать мертвого человека в гробу?! А вот поди ж ты, влезь в любую старую коробку из-под ботинок, где пылятся полузабытые семейные фотографии пяти поколений – крестьянских ли, военных или даже номенклатурных, – обязательно наткнешься на снимок: гроб, в гробу суровый человек с закрытыми глазами, а вокруг скорбные родственники.

Однако именно заказ на такую скорбную съёмку и был для Ивана Николаевича настоящей отдушиной. Признался он в этом сам на одной из, как бы сейчас сказали, «корпоративных вечеринок», а тогда это была вечерняя пьянка в ателье по случаю Международного женского, кажется, дня.

– И самое главное, – толковал он объясняя свое пристрастие, – обстановка торжественная – раз! Человек лежит не шевелясь – два, и не надо ему сто раз говорить, чтоб не моргал и не задира л шею.

Да к тому же фотографа обязательно приглашали на поминки, а посидеть за столом, да еще в компании степенных людей, да еще бесплатно... Бывало, что Иван Николаевич даже говорил несколько прочувствованных слов в адрес покойного, которого совершенно не знал, но пару раз сталкивался где-нибудь по производственным или иным делам.

И вот с этим обыкновенным человеком по фамилии Иванов приключилась совершенно необыкновенная история. Однажды пригласили Ивана Николаевича на проводы в последний путь первого секретаря горкома партии. Первые секретари горкомов в те времена жилали дольше, чем рядовые строители коммунизма, но всё ж таки и они порой уходили туда, где Вечный Коммунизм сиял светлой зарёй человечества.

Все было как всегда; для такого опытного фотографа сделать всю положенную серию снимков не составило никакого труда, а уж поминки превзошли все его ожидания. Плёнки, отснятые на гражданской панихиде, мастер лаборантам ателье не доверил. Сам проявил, сам и заперся в «тёмной комнате» для печатанья фотографий. И вдруг все в ателье обратили внимание на то, что за черной занавесью, скрывающей дверь в лабораторию, – тишина. Это было очень удивительно, поскольку, возясь в лаборатории, Иван Николаевич всегда пел; а с особым воодушевлением – после как раз траурных съёмок.

Трудовой коллектив, переглядываясь, подобрался поближе к чёрной занавеске, а вдруг с человеком плохо; но тут занавесь театрально откинулась, и в проеме в ореоле красного света показался сам мастер. В руках у него была мокрая фотография, а в глазах – ужас.

– Шевелённый, – деревянным языком возвестил он коллективу, протягивая снимок.

– Кто – шевелённый? – спросила приемщица.

– Он, – протягивая снимок, ответил мастер, – покойный – шевелённый.

Снимок пошел по рукам, и у каждого, кто видел изображение, что-то ёкало в груди. На фотографии всё было как надо, всё правильно: красивый гроб на постаменте, партийные товарищи, скорбящие о безвременно покинувшем их руководителе, сам руководитель, солидно

сложивший руки на номенклатурном брюшке, все чётко и безупречно резко.

Но. Голова покойного была смазана! Казалось, что он повернул лицо к фотографу, словно бы проверить, правильно ли тот выполняет порученную ему работу.

– Такого быть не может! – категорически заявил директор ателье. – Это ты, Николаевич, принял до поминок и напортачил!

– Ка-а-ак? – страдальчески воскликнул фотомастер. – Как такое можно сделать? Этого даже специально сделать невозможно!

Факт тем не менее был налицо – покойный пошевелнулся!

– А может быть, кто-то за верёвочку дернул, – предположила симпатичная, но глупенькая, это все знали, приёмщица.

– За какую верёвочку?! – схватился за голову директор. – Сколько ты таких кадров сделал?

– Три, – совсем безжизненным голосом ответил Иван Николаевич, – и на всех трёх он шевелённый...

– Надо эту пленку на экспертизу, – влез самый молодой лаборант Вася, – учёным предъявить в Москву, чтоб объяснили феномен...

Уже и не помню сейчас, как тогда вышли из положения – ретушёр ли поправил дело или смастерили коллаж, но положенный комплект фото для горкома сделали, и нареканий не последовало. Плёнку списали как производственный брак, и директор самолично порезал её на мелкие кусочки, так же как и фотографии «шевелённого». Но одну фотографию лаборанту Васе, то есть мне, удалось сохранить. Я часто смотрел на неё, пытаюсь постичь феномен, даже увлёкся философией и был уверен, что наступят времена, когда о таких вещах станет можно говорить открыто.

Однако когда такие времена настали, оказалось, что это далеко не самое главное, что может занимать человеческую мысль. Сначала началось ускорение, которое привело к ускоренному исчезновению товаров народного потребления, и в очереди за водкой можно было запросто погибнуть, потом перестали платить зарплату, а все проблемы решались заряженной Аланом Чумаком в трёхлитровой банке водой, потом... Эх, да мало ли...

Одним словом, когда настали более приемлемые для философии времена, фотографию «шевелённого» в многочисленных пакетах со старыми фотографиями я отыскать не смог. О чём сегодня очень и очень горю. Ведь так обидно, соприкоснувшись с великой тайной природы, с загадочным феноменом, так и остаться в неведении.

Раньше великий русский, а ныне русско-украинский писатель Николай Васильевич Гоголь в одной из своих бессмертных повестей написал не хуже, а я полагаю, что и лучше, чем В. Шекспир: «А, однако же, при всем том, хотя, конечно, можно допустить и то, и другое, и третье, может даже... Ну да и где ж не бывает несообразностей?.. А все, однако же, как поразмыслишь, во всем этом, право, есть что-то. Кто что ни говори, а подобные происшествия бывают на свете, – редко, но бывают».

Вот именно – редко, но бывают.

Но только гении, осененные свыше, могут просто и откровенно рассказывать нам о таких вещах; человек простой от них теряется и впадает в душевное смятение...

**Александр ЛУШИН***Нижний Новгород*

(№ 3, 2014)

**МУХА БЛЯХА**

Эти строки я пишу в полном здравии ума, искренне полагаясь на то, что тот, кому они попадут в руки, поверит мне и передаст мои записи по назначению. Теперь я твердо знаю истинную, хотя и крайне жуткую, причину большинства случаев исчезновения людей в верхней части города. Как журналиста, меня давно волновала эта проблема, и однажды я обратился к знакомому сотруднику полиции, работавшему в службе по розыску пропавших без вести людей. Спустя несколько дней, частным порядком, я получил от него достаточно длинный список с указанием фамилий, подробных примет пропавших, их адресов и мест, где их видели в последний раз. Взяв план Нижнего Новгорода, я фломастером нанес точки, смысл которых был понятен лишь мне одному, и обвел испещренную часть плана жирным кругом. Любопытная догадка мелькнула в моем мозгу: с севера зона исчезновения была ограничена кладбищем в Марьиной роще, с востока – Бугровским Красным, с запада – уже порушенным кладбищем за Сенной площадью, а с юга – местами бывших Петропавловского и Немецкого кладбищ. Внимательно изучая ландшафт обозначенного мной района, я обратил особое внимание на старые городские сады, расположенные вдоль речки Кадочки. Это глубокое ущелье, засаженное фруктовыми деревьями и хаотично заставленное приземистыми садовыми домиками и будками, пересекало город на протяжении нескольких километров. Сердце мое неожиданно дрогнуло, и я вдруг отчетливо осознал, где следует искать следы чудовищных преступлений.

Со стороны улицы Ломоносова я попытался как-то днем пройти в сады на Кадочке и был ошеломлен их какой-то мрачноватой дикостью, сладковатым запахом прелости и тления, неестественно обильной изумрудной порослью в самой глубине оврага. Тогда же я понял, что ожерелье из кладбищ вокруг этого места совсем не случайно и должно иметь вполне определенный мистический смысл. Случай свел меня с неким Мишей, который читал многие мои очерки и статьи. В непринужденном разговоре выяснилось, что у Миши есть приятель Толик, которому от родителей достался очень старый сад на холме у Кадочки. Я выразил желание побывать на Толиковой даче.

– Проще простого, – сказал Миша, – завтра и пойдем. Помидорчики и огурчики, зелень всякая у Толика свои. Значит, на закуску только хлеба да консервы прикупим. Вообще, ты завтра как? Нормально. Тогда встречаемся в девять утра у пивнушки на Тверской.

Ходу пешком до Кадочки чуть более десяти минут, так что в половине десятого мы уже сидели под оконцем ветхого строения на скамей-

ках и, пропустив по полстаканчика «борской», готовили нехитрые, но обильные закуски. За столом мы просидели порядочно. Захмелевшие сотоварищи мои выволокли из будки матрасы и прилегли отдохнуть. Я стал осторожно спускаться в низину.

– Ты того, поаккуратней там, – напутствовал меня Толик, – погано там внизу-то, скользко да какой-то дохлятиной воняет. Мы туда сами и не лазим. Даже бомжи там не шарахаются, говорят, чегой-то там страшновато становится.

Я что-то невразумительное ответил и продолжил спуск на дно оврага, где узкой, блестящей сквозь густую листву змейкой вился кольцами тихо журчащий ручей. На дне оврага было прохладно. Я огляделся и, заметив трухлявую корягу, примостился на ней. Выпитое давало себя знать, и вскоре я задремал.

Очнулся я внезапно от какого-то шороха над головой, как будто крупная птица взмыла вверх прямо надо мною, сильно задев листву. Открыл глаза и вздрогнул: передо мной в воздухе висела огромных размеров муха с мощными, в перепонках, как у летучей мыши, кожистыми крыльями. Из белого раздувающегося брюха ко мне протягивались скрюченные лапы, заканчивающиеся острыми когтями. Но самым страшным было то, что голова неведомого создания имела сморщенное детское личико, злобно сверлившее меня малюсенькими безбровыми глазками-буравчиками. Я вскрикнул, схватил лежавший под ногами сухой сук и резко наотмашь полоснул им по жуткой твари. Она взмыла вверх и растворилась в густой листве. Я быстро последовал за шорохом, которым отмечался путь гигантской мухи, перескочил через ручей, но запутался в высокой осоке и белесых корневищах, а потому потерял след.

Через несколько минут я уже блуждал по старым садам, поразившим меня своею запущенностью. Свернул снова к Кадочке и вдруг увидел большой сарай, обитый жестью. Возле него стоял невысокий брונет, навешивая на дверь тяжелый амбарный замок. Я без промедления направился к нему. Услышав шаги, он торопливо убрал ключ в карман куртки, дернул замок за дужку и повернулся ко мне. Выражение его лица расточало любезность:

– Вы кого-то ищите?

– Да, я пришел к знакомым на дачу, но несколько заблудился.

– Тут немудрено заплутать: деревья старые, а ландшафт сами видите какой. В какой стороне сад ваших знакомых? Вам помочь?

В это время в сарае послышался глухой удар, затем будто прошелестело что-то, как бы стрекоза крыльями в полете. Брונет перехватил мой взгляд и заторопился:

– Извините, я ухожу. Пойдемте, я выведу вас на основную дорожку.

И он подхватил большой дипломат, окованный по углам тускло мерцавшим металлом. Размеры чемоданчика были внушительны и всколыхнули мое подозрение. Уже на дорожке я заметил, что его беспокойство сгладилось. На прощание он мне улыбнулся и даже предложил посетить его еще:

– Побеседуем. Кстати, позвольте представиться: Аркадий Блях.

Я назвал себя, и мы расстались. Когда я вернулся к моим знакомым, они уже вновь сидели за столом и встретили мое появление удивленными возгласами:

– Где тебя черти носили?

Ближе к вечеру мы с Мишей отправились по домам, а Толик решил переночевать в саду. Утром я чувствовал себя скверно из-за выпитого

накануне, но надо было идти в редакцию. А через полтора часа ко мне прибежал взволнованный Миша:

– Слушай, Толик исчез. Утром мне звонила его жена. Она бегала в сад за яблоками для пирога. Спрашивает, где Толя? Я сказал, что заночевал в саду. Она говорит, что не похоже. Ведь он страшный соня – спит до обеда, а пришла она в сад около семи утра. Стол заставлен посудой, матрасы лежат под яблоней, домушка открыта, а мужа нет.

– Может, к бабе какой рванул, – предположил я, – или гуляет на Кадочке. Или за пивом ушел – башка-то, наверное, тоже болит.

– Ладно, – сказал Миша, – оставь мне номер твоего телефона. Прояснится – позвоню.

Он ушел, и я вслед за ним выскочил из редакции – бегом на троллейбус. Через полчаса я был на даче Толика. Внимательно все осмотрел. Толик был рослым сильным мужиком – просто так с ним не совладать, кроме как во сне. Но никаких следов борьбы, никаких пятен крови. Стоп, а это что такое? Бляха муха! Прямо передо мною на столе среди вчерашних объедков лежал обрубленный кухонным ножом узкий и острый коготь. Я вздрогнул.

Заткнув нож за пояс, а коготь завернув в тряпицу и убрав в карман куртки, я направился по уже знакомой тропе. Ага, вот и сарай. Я потрогал рукой замок, затем прильнул ухом к стене. Тишина. Вдруг где-то совсем рядом треснул под ногой сухой сучок. Я бросился в густую траву... и чуть не закричал от ужаса. Рядом со мной лежал Толик, точнее, то, что от него осталось, как бы выразиться точнее, – одна оболочка.

Я уткнулся лицом в траву, чтобы не стошнило. Шаги приближались к сараю. Я поднял голову: Аркадий Блях с трудом тащил свой дипломат. Вот он отомкнул замок на двери сарая, сделал узкую щель, распахнул дипломат, и гнусная тварь, сверкнув мертвенно-бледной личиной, растворилась в темноте постройки. Блях щелкнул запорами, поставил свой «ящик смерти» к стене сарая, взял лопату и стал копать для оболочки Анатолия последний приют.

«Да сколько же здесь неизвестных могил, – подумалось мне в те минуты. – Эта ужасная муха, рожденная то ли гнусным гением кошмара, то ли иным жутким способом, убивает людей. Она послушна воле Бляха и служит его мерзким помыслам. Здесь настоящее кладбище, – вот почему сам воздух напоен запахами гниения и разложения».

Я медленно отполз по склону оврага вниз, поднялся, стряхнул с брюка и куртки сухую землю и травинки. А затем, засвистев какую-то мелодию, пошел по тропинке к сараю Бляха. Увидев меня, он перестал копать, как бы взвесил в руке лопату, готовя ее к точному и безжалостному удару.

– Добрый день, Аркадий, – сухо поздоровался я. – Вы знаете, сегодня ночью пропал мой товарищ, ночевавший в саду. Прямо как по Стивену Кингу, следов никаких, кроме... – И я протянул тряпку, доставая мерзкий коготь. – Вот взгляните поближе, не бойтесь. Знаете, у меня есть свои соображения по этому случаю, да и не только по этому, но и по некоторым другим. Можно было бы сообщить о них в прокуратуру или полицию, но там сидят совершенные реалисты, не верящие в мистические тайны. А у вас нет никаких догадок?

Блях отрицательно помотал головою. А я продолжал:

– Кстати, Аркадий, зачем вы обили сарай железом? Неужели у вас там хранятся ценности? А что за тяжелый у вас дипломат – тренируете мышцы рук? Молодчина. А кто вы по профессии? Не могильщик ли –

уж очень профессионально орудуете лопатой. Впрочем, мне пора идти. Если у вас появятся какие-либо соображения, звоните без стеснения. — И я положил на дипломат свою визитную карточку и мерзкий обломок когтя. Помедлив чуть, я достал из кармана куртки длинный список исчезнувших за последнее время людей и также положил на дипломат.

Аркадий Блях смотрел на меня мрачным немигающим взглядом, но в глубине его глаз постепенно разгорался огонь. И я поспешил пока уйти.

Сегодня днем я плотно закрыл все окна в квартире, проверил надежность шпингалетов на них. Затем запер дверь на оба замка, накинул крючок и цепочку. Надел прочный колпак на трубу газовой колонки в ванной комнате. Затем извлек из шкафа охотничье ружье. Один из стволов зарядил специально отлитой из царского рубля серебряной пулей, а другой ствол — свинцовым жаканом на медведя. Приготовил обоюдоострый германский штык. Чтобы невзначай не заснуть, заварил в термосе крепчайший кофе и стал писать эту записку. Когда стемнело, я, не включая в доме свет, замер у окна. Внезапно зазвонил телефон, но я не реагировал на него, понимая, что нельзя утратить бдительности.

Примерно в половине двенадцатого ночи на безлюдной улице в свете тускло мерцавшего одинокого фонаря я наконец-то увидел знакомую фигуру. Тяжелый дипломат опустился на асфальт напротив кухонного окна, и я вдруг отчетливо услышал, как сухо и жутко щелкнули запорные устройства. Затем черная быстрая тень взметнулась к моему окну в маленькой комнатке рядом с кухней. Мелькнуло гипсово-белое сморщенное младенческое личико с мертвенными глазницами. Муха Бляха начала свою ночную охоту. Звон разбитого за стеной оконного стекла дал мне понять, что тварь уже в квартире. Я быстро засунул записки под газовую плиту и взял ружье.



## Олег МАКОША

*Нижний Новгород*

(№ 1, 2014)

### ТЕТЯ МОТЯ

Буду называть ее – Мотя.

Мотя – самодеятельный художник и, как это часто бывает, очень оригинальный человек. Оригинальный до оторопи окружающих и обморока малочисленных родственников. Яркая бабочка на грязном снегу. Невысокая, сама себя поперек шире, обладательница мощного голоса. Вдруг исполняющая партию князя Игоря. Или просто зычно хэкающая на прохожих.

Одета в оранжевую куртку, поверх куртки – фиолетовая шуба из искусственного меха, на голове – мохеровый платок. Она – футурист. Именно так, с мужским окончанием. Тетя Мотя, подруга Маяковского и братьев Бурлюков. Последний русский футурист, родом из города Кенигсберга.

– Я, бывало, выйду на балкон да как запою! А снизу: ты что, девочка? Что? Меня весь город знал!

Я и не сомневаюсь.

– А потом кричат моей матери: немедленно заткните свою дочь.

Выставляется у районного суда. На заборе висят картины, сама сидит на раскладном стуле, ежится. Подошедшим любителям, советует:

– Дальше идите. Открытки там перерисовывают.

Запахивает шубу, говорит мне:

– Меня тут ненавидят. Опричники! Сходи, купи пол-литра, согреемся.

Я оправляюсь в магазин, здесь Мотю знают, охранник спрашивает:

– Замерзли?

Продавщица:

– стакан-то возьми, у нее же никогда нет.

Мотя выпивает полстакана, манит рукой бомжа, наливает ему. Коллегам не предлагает. Закуску, хлеб с колбасой, скармливает подбежавшим собакам. Вокруг нее всегда много собак.

– Я уеду. Во Францию. Там умеют ценить искусство. А здесь... Я вчера кошку нашла: глаз нет, брюхо вспорото.

– Блин.

– Сатанисты, точно тебе говорю.

– Может, вороны?

– Какие вороны?! Я участковому ее отнесла, сказала: прими меры.

– А он?

– Да что он... Налей еще.

Бомжик тактично стоит чуть в стороне. Мотя зовет:

– Ну, чего ты?

Ей вчера всем двором ключи искали, которые, естественно, оказались в кармане. Причем наиболее активные участники поисков с самого начала предлагали именно там и посмотреть.

– Идиоты. Ты понимаешь?

Я понимаю.

Потом спрашиваю:

– Как у тебя занятия?

– Нормально.

Мотя изучает французский язык, а до этого занималась с учителем вокала, а еще раньше почти окончила курсы экскурсоводов. Почти, потому что ее кошки отвлекают. Кошек двенадцать штук, и они все хотят жрать круглосуточно. А еще у них своя комната в Мотиной квартире.

– Такие скоты. Зайду, еду оставлю, и бежать оттуда.

– ..?

– Дикие совсем. Наброситься могут.

А во Франции ее работы ценят, судя по тому, что последний арт-дилер, увезший туда десяток картин, так и не вернулся обратно с деньгами. Зато на вырученные евро, по недостоверным сведениям, открыл небольшой тату-салон.

Мы молчим. Мотя вздыхает. Я знаю, по какому поводу. Ее главная трагедия жизни, незаживающая рана – мужчина-предатель. Тридцатипятилетний красавец, оперный певец, клявшийся, что разведен и влюблен. Но оказавшийся безнадежно женатым. Еще и с двумя очаровательными дочками. Мотя ездила к его жене в Санкт-Петербург, и у них состоялся доверительный разговор. Мотя вернулась с разбитым сердцем.

– Налей.

Выпивает. Ярро-красная помада разъехалась.

– Прав был Маяковский.

– В чем?

– Во всем. Любить – это революция.

Кивает головой:

– Я вчера новую картину закончила, показать?

– Конечно.

Достает из огромного пакета холст в раме, ставит к забору.

На холсте желтые дома с красными крышами, с раскручивающейся Земли, улетают в синее небо. Черные человечки машут руками им вслед. Собака с огромными глазами, в углу картины, зацепилась за край и висит, свернув хвост бубликом.

Вокруг трансцендентные цветы.

Земля набирает обороты, дома мелькают и, минуя синее небо, исчезают в космосе. Собака остается.

Картина невыносимо прекрасна.

Тетя Мотя – тоже.

## БУДЬ МНЕ СЕСТРОЙ

Бес попутал.

Увидела – схватила. Сама не знает почему. Как будто что-то под руку подтолкнуло. В ЦУМе сапоги выбросили, все побежали, как нахлыстанные, и она вместе со всеми. Встала в очередь, впереди девица столичная волнуется, хватит – не хватит, деньги пересчитывает. Кошелек достала, пошуршала купюрами, бросила незакрытый в сумку, голову вытянула, смотрит. Тут Геля и схватила. Вышла из очереди, растерянная, кошелек в руке держит, думает... Да ни о чем она тогда не думала, стояла – ворон считала в прострации. Здесь ее под руки и подхватили двое в штатском. Девчонку из очереди выдержули, сказали:

– Гражданочка, проверьте деньги.

Та поковырялась в сумке и в крик.

Поняты.

Туда-сюда.

К Олимпиаде готовились.

Она к сестре в гости приехала. Сестра у нее в Москве замужем. Училась здесь, познакомилась с гарным хлопцем, окрутила его и осталась жить в столице. Любовь, значит. Хороший парень конечно, двухкомнатная квартира в кирпичной пятиэтажке, инженер на АЗЛК. Сын у них растет, Сережка пятилетний, дача недалеко, на машину копят, все как у людей.

В день приезда они посидели немного, Геля гостинцев из дома привезла, здесь такого не найдешь. Сало домашнее, пряники мятные, халву, горилку отцовскую самодельную, тушенку (мама делает) в банках пол-литровых, абрикосов довезла, не испортились, она их чуть недозревшими брала, сахар вареный коричневыми кругляшами. Выпили, закусили, поговорили обо всем. Они с Наташкой сводные сестры, от разных отцов, но похожи, обе крупные, жгучие, улыбчивые. Муж Валера, сидел, любовался.

– Эх, красавицы!

А на следующий день она погулять пошла по магазинам. ЦУМ, ГУМ, Калининский проспект посмотреть. Вот и погуляла. Чего ее за этими сапогами понесло, денег все равно в обрез. Юбку же хотела и косметику, а побежала за сапогами. Когда увидела кошелек в сумочке у девчонки, как затмение нашло, никогда ничего чужого не брала, не прикасалась, брезговала. А тут, купюры новые, ровные, гладкие, она даже не поняла какие, сами в руку лезли, просились.

Соблазн.

Потом, уже на следствии, закончившемся очень быстро, узнала, что это двадцатипятирублевки были, узнала, когда соображать начала хоть что-то. До этого как во сне все путалось. Люди какие-то, бумаги, камера, бабы что-то спрашивают, лица мелькают, иногда рожи, как из страшной сказки, что в детстве бабка рассказывала.

Плакала.

Товарки ее утешали.

В туалет ходить стеснялась. Опять плакала, спать почти не могла, ночью лежала, то прислушивалась, то вспоминала, жизнь казалась конченной.

Мать приехала, им свидание дали, не знала, как в глаза ей смотреть. Передачку следователь разрешил с собой взять, все раздала, не лезла еда в горло.

Мама так и жила у Наташи до суда. Быстро все было. Да.

На суде не видела вокруг ничего. В голове звенело негромко, плохо понимала, что происходит. Учили ее, учили сокамерницы, а что толку. Вставала, когда велели, отвечала. Вроде мама плакала, скорее догадалась, чем услышала. Потом только дошло, что полтора года дали. «Химии». Увезли в Горьковскую область на завод. В цех определили. Большой.

Как-то все наладилось. Привыкаешь.

Восемь месяцев отсидела, под амнистию попала, у нее срок не тяжелый, вышла.

Устроилась на швейную фабрику, там общежитие давали, не захотела домой возвращаться, не прошел стыд. Работала, стала забывать потихоньку, девчонкам все равно, их не напугаешь судимостью, и хозяйственная она, в комнате всегда гости, смеются, сплетничают. Лучше, чем в общаге при заводе, «химической», закрытой наглухо.

Она салат приготовит из ничего, девочки всегда голодные, мама посылки присылала, домой звала; чай пили с пряниками.

К сестре в гости съездила, опять посидели, но только без гостинцев из родных краев, так, привезла хохломы в подарок, и все. Вспоминали, выпили чуть-чуть, Сережка-сынок подрос, вроде и немного времени прошло, а дети растут так, что каждый раз вздрагиваешь, как другой ребенок. Потом Валера с работы вернулся, обрадовался, он Гелю не осуждал, понятно же, что случайно получилось. Глупость.

Может, и глупость.

На машину у них очередь подходит, будут «Жигули» покупать.

Сестра говорит:

– Ты как теперь?

– Так.

– Замуж когда выйдешь?

Геля в ответ смеется, мол, успею еще, какие мои годы.

Какие мои годы, какие мои ночи темные, когда небо бархатное низко и его можно потрогать руками, взять звезду, покатать в ладонях и прилепить обратно или поменять их местами. Арбузы в кадке плавают, огромные, как детское счастье, трещат и обещают бесконечность радости на земле. Ребяшня вокруг бегает, гомонит, залазает на шелковицу, собирает ягоды. Коленки разбитые.

Она в стороне стоит, не думает ни о чем, как тогда в очереди.

И уже почти не жалеет.

Муж Наташкин Валера спрашивает:

– Ты когда домой-то уезжаешь?

Когда-когда, тогда и уехала.

Вот до сих пор в дороге.

**Михаил ПЕСИН***Нижний Новгород*

(№ 6, 2018)

**И В МОЛОДЫЕ НАШИ ЛЕТЫ...**

– Просто ума не приложу, что с вами делать... – Николай Александрович Уртминцев, декан факультета судовождения и эксплуатации водного транспорта ГИИВТа – высокий, поджарый, с несколько вытянутым лицом и доброжелательным взглядом светло-серых глаз под квадратными стёклами очков, – бросил авторучку на пачку лежащих перед ним на большом полированном столе листов и грустно посмотрел на меня.

Вот уже полчаса я, тоскливо переминаясь с ноги на ногу, стою перед ним, слушая сетования по поводу того, в какую сложную ситуацию я поставил и его, и всё руководство факультета. Проблема же, на мой взгляд, не стоит выеденного яйца. По утверждённому учебному плану я вместе с однокурсниками по окончании семестра должен бы отправиться на месячную ознакомительную практику на борту какого-нибудь волжского сухогруза, где будущие судоводители, пощупав, что называется, своими руками его устройство – от машинного отделения до рубки – приобрели бы полное право претендовать (естественно, при успешной сдаче сессии) на статус второкурсников. Однако, в отличие от других, я, в школьные годы получивший начальное профильное образование в Детском речном пароходстве, уже имею диплом рулевого моториста, что даёт мне право наравне с третьекурсниками проходить полноценную практику в данной должности. Казалось бы, чего проще? Пошлите меня «руль-мотором», и дело с концом! (Я, кстати, именно на это и рассчитывал, наивно мечтая, подзаработав за месяц практики, оставшееся каникулярное время провести в горах Кавказа, где год назад вместе с друзьями детства уже восходил на Эльбрус к «Приюту одиннадцати» и даже карабкался по леднику «Куриная грудка», переходя через перевал Бечо).

Увы. Из рассуждений Николая Александровича выходило, что на должность меня направить невозможно. (Трудиться, так всю навигацию. А на дворе – конец мая, весь флот уже в работе. А у меня – впереди сессия. Да и вообще, о чём говорить: мне нет ещё восемнадцати, а по закону раньше этого возраста зачислить в штат не имеют права. С другой стороны, посылать дипломированного специалиста на ознакомительную – нелепость!)

В общем, получался замкнутый круг, из которого декан выхода не видел.

– А может, вы меня формально включите в список...

– Давайте не будем начинать профессию со лжи! А потом, если с вами что-то за этот месяц случится... ну, не приведи, под машину попадёте... мне отвечать?

– Николай Александрович! – пробурчала в приоткрытую дверь секретарша декана. – Тут мужчина какой-то уже полчаса к вам рвётся. Говорю – занят, а он – времени нет ждать.

– Ну что у него там за пожар?

– Не пожар, но времени вправду в обрез. – Чуть не оттолкнув секретаршу, в кабинет ворвался здоровенный бородатый мужик. – Пламенный привет от Мурманска! – делая ударение на «а», гаркнул он. – Выручайте, братцы! Тралфлоту до зарезу нужны матросы. Путина, ёшкин кот, а экипажи не укомплектованы. Вот послали с миру по нитке насобирать. Я – сперва по профильным. Может, подсобите кем, хоть на рейс?

– Нет, знаете ли, ничем помочь не сможем. У нас все студенты на производственных практиках, согласно учебным планам. Впрочем... – декан оглядел меня с ног до головы, – кажется, это выход... А что? Как говорится, и волки, и овцы. Готов, Михаил, испытать себя в водах Ледовитого?

«Эх ты! – неожиданный поворот событий ворвался в сознание вихрем противоречивых (от детского восторга до животного страха) чувств. – Ледовитый – это не Кавказ. Это настоящая мужская работа среди непредсказуемой стихии. Ребята лопнут от зависти!».

– Сог-гласен, конечно! – поперхнувшись подкатившей к горлу нервной слюной, выдохнул я. – Только... сессия ведь...

– Месяца хватит? – перехватив вопросительный взгляд декана, ещё не веря в удачу, выпалил «наниматель». – Самый жор с конца июля начнётся.

– Если без завалов – с лихвой, – саркастически хмыкнул Уртминцев. – Справишься ли?

– Да я... да мне...

– Ладно, ладно... Вишь как глаза загорелись! Это мне нравится. Не струсил. Давайте, забирайте его. Но только чтоб по всем правилам был оформлен и, главное, обязательно технику безопасности прошёл!

В момент встречи Мурманск показался небольшим, серовато-невызрачным и, несмотря на середину августа, хмуро-холодным, пронизываемым непрекращающимися ветрами, со стандартными, притулившимися к склонам сопок пятиэтажками. С правой стороны они спустились ярусами к главному, традиционно носящему имя Ленина проспекту, длинной дугой выходящему по берегу Кольского залива. Слева – вытянулись вдоль разномастных заборов, за коими причудливым ажуром высились, переплетаясь, конструкции портовых и судоремонтных кранов, за которыми, покачиваясь, мелькали кресты судовых мачт. Вглядываясь сквозь окна забравшего нас в аэропорту тралфлотовского автобуса в кварталы города, мы – девять «наёмников» из Горького (кроме меня «покупателю» удалось сблатовать восьмерых инязовцев) – лениво перекидывались комментариями.

– Да, се не бьютифул!

– И даже не комильфо!

– Зато – романтика! «В Кейптаунском порту с пробоиной в борту...» – шарахнув по струнам неизменной своей спутницы – старенькой ширпотребовской гитары, – внёс я свою лепту в разговор.



– Тебе-то, Михаил как будущему мариману понятно, и пробоина – в кайф. А нам бы как-нибудь без романтики.

– Да бы уж... – положив мне на плечо руку, мечтательно произнёс сидевший рядом на сидении низкорослый крепыш Крош. – Нам бы чтоб где-нибудь недалеко от берега да без качки, – но... за приличные мани!

– То есть и рыбку съесть, и на хрен сесть?

– Будут вам, салаги, и рыбка, и деньжищи, не чета институтским стипендиям, – буркнул сквозь всеобщий хохот встретивший нас портовский кадровик. – А нарвётесь, так и на хрен сядете. Рыбаки – народ жёсткий, в академиях не обученный. Скоро сами увидите.

– Ну, мерси, батенька, облагодетельствовал! – парировал долговязый и оттого выглядевший худым Володя, ещё при встрече в горьковском аэропорту поразивший меня утончёнными чертами лица и, не свойственным остальным изяществом речи. Я тогда подумал: «Ему бы на скрипочке пиликать, а в море – сдохнет!»

– Баста, кончай баланду травить! Приехали, – прервал наш трёп кадровик.

– Куда это?

– Пару дней проведёте в ДМО...

– ?!

– В Доме междурейсового отдыха рыбаков. За это время оформим вас, ТБ читаем и – море пахать!

ДМО оказался шестиэтажной довольно невзрачной гостиницей с двумя пристроями по бокам, в которых размещались ресторан-столовая, несколько магазинов и служба быта. После недолгих препирательств (кому с кем рядом спать), наша освободившаяся от багажа полузнакомая компания, вывалила на улицу: город посмотреть, а главное – как следует затариться на предстоящий «вечер знакомств».

Три дня, состоявшие до обеда из организационной суеты в отделе кадров, с двадцатиминутным (на закуску) экскурсом в область техники безопасности и обильными, изъязвившими из наших карманов весь великий запас наличности, вечерне-ночными возлияниями, пролетели моментально.

– Ну, так... – не отрывая взгляда от заполняемых моими биографическими данными бланков, на утро четвёртого дня холодно произнёс коренастый кадровик в допотопных роговых очках, почти посередине пересекающих огромное багровокожее пространство переходящего в лысину лица. – Вас, товарищ Пёсин, мы пошлём на... – он пробежал кончиком карандаша по листку с длиннющим списком, – на «Сириус».

– Пёсин я...

– Один хрен – на «Сириус»!

Через полчаса, попрощавшись наскоро, но сердечно как с близкими (успевшими стать таковыми за минувшие беспробудные дни) друзьями, я, навьюченный рюкзаком и гитарой, с авоськой прикупленной на остатки средств провизии – кто его знает, когда покормят? – шёл по исшарканым доскам пирса, вдоль которого теснились столь же невзрачные, со следами ржавчины на непонятного цвета бортах, пришвартованные рыболовецкие суда. В тайне, уповая на романтичность имени, я надеялся, что уж моему-то «Сириусу» эти доходяги не чета. Оттого, видимо, и пролетел мимо своего траулера, уйдя чуть ли не в самый конец длиннющего причала. Пришлось возвращаться, чтобы на-

конец упереться грустным взглядом в слабо читаемое на носу искомое название.

– Ты шо ж, хлопец, чи прогулятися удумал, чи шо? – скептически оглядев меня с ног до головы, хохотнул стоявший у трапа здоровенный, в туго обтягивающем широченные плечи грубом коричневом свитере, мужик лет тридцати пяти, едва я вскарабкался по наклонным покачивающимся сходням на борт.

– А меня к вам матросом направили, да названия сразу не разглядел. Вот и протопал...

– Дак я ж не про то бачу! Дивлюсь: идет хлопец – з котомкой, бандурой... Як турист якої. Туды сгонял, обратно чешет. И – до нас. По шо? Не разумию. А ты, выходит, оно как – матросом... Ну, ходь до мѐне, турист, будемо знаѐмы: Мыкола!

С этого момента украинец Николай (по его собственному выражению, «хлопчик с-пид Киеву») иначе как «туристом» меня не называл. Но я не обижался, поскольку звучало в его устах это прозвище не только по-доброму, но даже как-то по-отечески. Тем более, что потом он меня – салагу – ни только многому научил, но и сохранил мне жизнь.

Но это потом. А в тот первый день моего «мариманства» тралмейстер Мыкола как вахтенный лишь представил меня капитану, внешне никак не соответствовавшему моему представлению о «морских волках» – низкорослому, полноватому мужчине лет под пятьдесят с белой шапкой жестких волос и усталыми, как показалось, бесцветными глазами, назвавшемуся Василием Давыдовичем. Тѐзкость наших отчеств привела его в некоторое замешательство («Двух Давыдычей на одном борту быть не должно!»), но тотчас найдя выход из этой ситуации («Будешь Студентом зваться»), он отправил меня в трюм полубака, где размещались кубрики команды, «с коечкой определиться и, вообще... принять рабочий вид».

Как и следовало ожидать, встретившие меня старожилы, не церемонясь, указали новичку на дверь самого некомфортного, находящегося возле трапа кубрика. Некомфортность, как выяснилось позже, заключалась не столько в тесноте узкого трапезиевидного пенала, заполненного двухъярусными коечками и двумя вертикальными рундуками так, что протиснуться между ними можно было лишь боком (в конце концов, измотанный вахтой, я приходил туда лишь для того, чтобы, тотчас рухнув в койку, забыться тяжелым недолгим сном), сколько именно в соседстве с трапом, по которому, нещадно громыхая сапогами, непрестанно сновали туда-сюда соседи по полубаку.

Грохот этот в первую же ночь достал меня до печёнок, никак не давая забыться сном. Когда же, наконец, усталость взяла своё, почти тотчас, как мне казалось, в вожделенный сон влилась трудно переводимая фраза: «Барадабѣкивставатнадабжалуста».

– А? Что?! – С трудом возвращаясь в действительность, я резко вскочил с коечки и чуть не упал, почувствовав головокружение. Каюта вместе со всем содержимым раскачивалась из стороны в сторону, отчего мои внутренности тоскливо поползли к горлу, желая выйти вон. Я инстинктивно попытался удержаться на ногах, вцепившись в поручень верхней койки, и сразу же чьи-то крепкие руки, поддерживая, сдавили меня с боков, а темноволосая, в замасленной тубетейке голова вплотную приблизилась к моей, отдавая желудочно-перегарным смрадом.

– Плоко сабсем, барада бѣк?

Начав понимать исковерканные восточным акцентом слова, с трудом преодолевая усиливающуюся тошноту, я, стараясь не вдыхать зловоние, вгляделся в собеседника. Им оказался низкорослый, щупленький узбек с добрыми, смеющимися пуговками чёрных глаз, назвавшийся исконно узбекским именем Ваня, которого притом, совсем не по возрасту, скорее из-за комплекции, команда звала Юнгой.

– Бажалуста рупка нато ходит. Фахта двой. Капитана совет.

– А который час-то?

– Чедыры удра, уфажаемый. Фахта двой.

Так в четыре утра августа 1967 года среди детского трехбалльного шторма, встретившего траулер сразу же после выхода из Кольского залива (хоть мне и казалось, что забытьё было недолгим, а и уход из порта, и желанную панораму исчезающего вдаль Мурманска я, увы, проспал), началась моя работа на «Сириусе». Без каких бы то ни было предисловий, адаптирований, скидок на возраст и отсутствие необходимых профессиональных навыков. Сразу – «К штурвалу! Держать на румбе столько-то! В рубке – не курить!»

Ну, «держать на румбе» – еще куда ни шло. Хоть и не ходил никогда в море, а держать нос судна на створ Детское пароходство научило, и нет большой разницы: не давать рыскать флагштоку или стрелке компаса. Другой разговор, что на тихой Оке (а рулил я до того лишь по ней, на небольшом «Москвиче» да по глади летних вод) особых проблем с этим не было: переваливай от створа к створу по коридору буёв, всего-то и делов. Баренцево же, едва мои ладони сжали рукоятки штурвала, так вдарило волной по борту траулера, что этот, метра полтора в диаметре, штурвал резко покотился вправо, выворачивая руки и отрывая от палубы рубки беспечно-вялые, прижатые друг к другу ноги. Последнее, что увидел я перед тем, как шмякнуться, – резко направившийся на правый разворот нос траулера.

– Ку-уда, мать-перемать! Студент, твою так! Потопить нас всех хочешь!! – бросился к штурвалу капитан, едва не наступив на моё распластанное под ним тело.

Думал – убьёт! Нет. Выправив курс, вернул к штурвалу и минут через пятнадцать, с помощью мата и весьма жёстких физических действий по обучению правильной постановке рук и ног, я уже приобрёл необходимые навыки вахтенного рулевого.

Так что «держать на румбе» – еще куда ни шло. Хуже, когда пошло другое. В буквальном смысле. Копившееся под горлом содержимое желудка, поскольку оторвать руку от штурвала, дабы прикрыть рот, я не мог, вырвалось фонтаном на близлежащие приборы.

Морская болезнь... Сколько раз я о ней слышал и читал, никоим образом не относя к себе возможные последствия качки. Даже согласившись на работу в Тралфлоте, ни разу не задумался о том, как перенесёт её мой организм. И вот теперь, видя наглядное проявление возмущения вестибулярного аппарата, вместе с чувством стыда за произошедшее, я ощутил жуткий ужас от пришедшей в кружащуюся голову мысли: «Я – профнепригоден! Море вывернет меня наизнанку и, судя по жёсткости местных нравов, это никого не будет волновать. Не только заставят вкалывать, но и заключают насмешками, да издёвками». Тотчас в памяти всплыла ситуация из моего десятилетнего детства, когда работавшая бухгалтером в Горьковском аэропорту мама договорилась с лётчиками покатать мальчика на самолёте. Провожала она в получасовой, до поселка Гагино, полёт розовощёкого, разодетого в новенькую белую

рубашку и чёрные, отутюженные до стрелок брюки сына, а встретила бледно-зелёное, измученное пережитым, Непонятно что в помятой одежде с красноречивыми следами реакции его организма на постоянные падения «кукурузника» в воздушные ямы. «Идиот! Как же я забыл об этой истории, уже тогда однозначно доказавшей, что ни о какой качке в моей жизни просто не может быть речи! Всё. Это – финал!»

Однако, на удивление, находившиеся в рубке (а кроме капитана свидетелями моего позора были боцман Степан Семёныч по прозвищу СС и Юнга) отнеслись к произошедшему не только спокойно, но и с пониманием. Перехватив у меня штурвал, СС красноречивым взглядом дал указание Юнге «Навести порядок», а кэп, легонько подтолкнув меня к выходу на мостик, по-отечески произнёс:

– Иди, Студент, проблюйся. Только за леера крепче держись, чтоб не нырнуть! И – не переживай! Не ты первый. Меня знаешь, как травило!?! Ничего, привык. Считай, проходишь морское крещение!

– А вдруг не привыкну? – спросил я, справившись с приступом рвоты и возвращаясь к штурвалу.

– Бывает и так. Нельсон вон всю жизнь мариманил и всю жизнь блювал. У него для этого даже специальная бочка на мостике стояла.

К счастью, история моей морской болезни оказалась короткой. Промучившись три дня (благо они пришлись на переход до района лова и кроме стояния у штурвала да приборок в полубаке иной работы у меня не было), я, в очередной раз выходя на вахту (уже дневную, в 16.00), с радостью обнаружил, что организм мой абсолютно не реагирует на пляску палубы. Более того, непрерывный душ сверкающих на солнце солёных брызг и наполненный морской свежестью прохладный, бьющий по щекам упругим ветром воздух наполняют душу ощущением молодецкого здоровья и весёлого азарта. Причина ль тому моя физиология или (во всяком случае, не без этого) старания нашего кока Ёкселя (от привычки вставлять в каждую фразу «ёксель-моксель»), который, несмотря на активное сопротивление моего организма, буквально впихивал в него десятки солёных огурцов, зелёных помидоров и пластов квашеной капусты, но факт остаётся фактом: с четвёртого дня и присно (а в последующие месяцы «рыбалки» пришлось познать прелести и шести-, и даже восьмибалльных штормов) качка превратилась в обычный атрибут окружающего мира.

И тут я... увидел Море.

Нет, не увидел – осознал себя в нём, а его в себе! Бескрайнее, зеленоватое у борта, потом – тёмно-стальное и, наконец, почти белое, едва различимо переходящее этой белизной в холодное, такое же бескрайнее небо, как бы зеркально отражающее тёмную сталь вод. Размерно поднимая к небесам то правый, то левый горизонты, оно вздымалось над бортом полупрозрачными языками волн, которые, на долю секунды зависнув над ним, с шумом обрушивались на палубу, превращая на какое-то время всё её пространство в студёный бассейн, тотчас с шипением опоражнивающий сквозь бортовые щели и кингстоны. И всё это продолжалось бесконечно – без пауз и передышки – с той лишь разницей, что бьющие по траулеру валы периодически меняли высоту и силу: от небольших до громадных. Довершал великолепную картину буйства неукротимой стихии ветер: прохладный, тугой, осязаемый, выглаживающий влажной ладонью мои щёки и жёсткой щёткой взлохмачивающий ещё не совсем отросшую бородку, проникающий холодными пальцами за ворот грубого рыбацкого свитера и раздувающий полы и штанины рокана и буксов.

Картина эта была не только не страшной – радостной, полностью принимаемой моей душой, как будто она – душа – ничего другого никогда и не знала.

Впрочем, очень скоро, буквально на следующий день, радость эта сменилась сначала дикой усталостью, а затем, через пару-тройку дней, угрюмой раздражённостью. «Сириус» наконец пришёл в район лова, и... началась пахота.

Для того чтобы нюансы дальнейшего повествования были понятны неспециалистам, позволю себе небольшой профессиональный ликбез.

Что такое промышленный лов рыбы траулером с бортовым тралом? Обнаружив на экране эхолота косяк рыбы, вахтенный начальник, дав команду «Трал – за борт!», направляет судно по кругу. Сбрасываемый несколькими порциями – «кошелями» – трал – большая конусообразная сеть, буксируемая на длинных тросах, – улавливает встречающуюся на его пути рыбу. Чтобы верхняя подбора трала поднялась, ее оснащают специальными гидродинамическими поплавками – стальными двухкилограммовыми кухтылями 20-сантиметрового диаметра. Нижняя же подбора снабжена жестким стальным тросом – грунтропом, на который насажены полые стальные шары диаметром около 60 сантиметров, называемые бобинцами и многокилограммовые чугунные катушки. Вся эта тяжесть с палубы за борт переносится с помощью брашпиля и грузовой стрелы, но и приставленному к данному процессу «матросу III класса» требуется немалая сила. Когда же трал сброшен, необходимо срочно с носа на корму (а это почти полсотни метров!) перенести, так называемый «бешеный конец» – чуть ли не с руку толщиной трос с двадцатипятикилограммовым гаком на конце, которым надо ухитриться зацепить оба натянувшихся струной ваера, чтобы затем намертво закрепить их специальным стопором, дабы те не намотались на винт. Естественно, это обязанность всё того же матроса. Излишне говорить, что в моей вахте им был я.

Стоит отметить, что эти и без того нелёгкие операции, как правило, проходят среди нескончаемой бортовой качки и ледяного душа обрушивающихся на палубу волн, многократно увеличивая тяжесть матросской работы. Остальные же члены бригады рыбообработчиков, в которую помимо матроса входят «головоруб» (одним движением топорика отсекающий «туфелькой» рыбную голову) и три шкерщика (молниеносным жестом вспарывающих шкерочным ножом рыбе брюхо, одновременно очищая его от потрохов), как высшая каста всё это время преспокойно курят, травя байки под навесом полубака.

Наконец ваера застопорены и, пока трал наполняется рыбой (если, конечно, наполняется!), можно, забившись в узкий закуток на корме, перекурить, потирая саднящее от «бешеного конца» плечо. Недолго. Минут через пятнадцать-двадцать по завершении траулером полного круга всё начинается в обратном порядке: отдать рукоятку стопора (стараясь при этом держаться подальше от борта, дабы освобождённая пружина верхнего ваера, пролетев по нему, словно нож гильотины, не отрубил тебе пальцы, а то и – рассказывают, такое случалось, – голову); быстро отнести «бешеный конец» на нос; успеть оказаться у борта как раз в тот момент, когда под ним появится гремящий бобинцами оголовок трала; подцепить его откидным гачком лебёдочного троса... И вот уже, подтянутая к стреле, громадная, переливающаяся живым серебром сигара первого кошеля переносится над твоей головой, обильно



поливая ледяными потоками, к «ящику». И надо, метнувшись к нему, тотчас отдать гачок, чтобы шевелящееся содержимое сети рухнуло в огороженное деревянными бортиками ящичное пространство. И, мигом вернувшись к борту, подцепить кольцо второго кошеля. И – если трал полон – повторить всё ещё трижды.

К моменту полного опорожнения трала «высшая каста» бригады уже стоит за пересекающим палубу поперёк разделочным столом, нетерпеливо постукивая ножами и не иначе как матом требуя от своего третьеклассного коллеги немедленно начать подачу рыбы. И, забравшись в ящик, сдавленный доходящей до плеч шевелящейся рыбной массой, ты начинаешь выкладывать на столешницу перед головорубом тушки, в основном трески, а бывало и зубатки, и синюхи, и даже палтуса.

Казалось бы, ничего сложного: подумаешь, работа – рыбу подавать! Но, во-первых, это в горьковских магазинах продавалась худосочная треска длиной от силы сантиметров сорок. Среди той, что заполняла ящик, эта мелюзга была для меня приятным исключением. В основном же приходилось подавать почти метровые (а то и более) жирные тяжеловесные рыбины. Во-вторых, поскольку мне повезло попасть в «бригаду коммунистического труда», в которой каждый шкерщик обрабатывал по двадцать рыбин в минуту, то для троих я должен был выкладывать ежесекундно по рыбине, обеспечивая бесперебойный процесс с такой же пулемётной скоростью тяпающего головорубца.

В ту первую вахту, пока рыбины шевелились под моим подбородком, я ещё как-то справлялся (хоть и умаялся так, что руки к концу первого получаса, налившись свинцом, с трудом двигались, глаза заливало нескончаемыми потоками пота, а тело под рокан-буксами, казалось, плавало в нём), но стоило ящику опорожниться до пояса, как паузы в подаче рыбы начали увеличиваться до десятков секунд, вызывая громогласно-матерные взрывы гнева бригады. Непрестанно нагибаясь за очередной тяжелой тушей, чтобы, кое-как обхватив её поперёк туловища, разогнувшись, выволочь оную на стол, я старался из последних сил, но ясно понимал, что сил этих больше просто нет. А ящик ещё только наполовину пуст!

В конце концов, видимо, поняв, что выгоднее потратить на моё обучение несколько минут, нежели, работая через пень-колоду, вовсе загубить вахту, один из шкерщиков залез ко мне в ящик и, ловко хватая рыбины одной рукой под жабры, другой – за хвост, сразу штук пять или шесть, как поленья, выложил их на стол перед головорубом. Простота этой операции, создающая своеобразный конвейерный процесс, при котором подавальщику остаётся лишь добавлять по рыбёшке, в то время, как бригада в привычном ритме обрабатывает предыдущие, привела меня в восторг. Тотчас освоив премудрость, уже через минуту, под одобрительные матерки бригады, я, ритмично сгибаясь и разгибаясь, продолжил работу, с удовольствием ощущая приход знакомого со школьных лыжных кроссов второго дыхания.

– Ну вот, – довольно отметил головоруб, отчекрывивая очередную голову, – теперь, Студент, ты настоящий голова-жопа!

«А ведь верно! – поразился я точности определения. – Для него, видящего лишь мелькание моей головы и задницы, я не кто иной, как это самое».

Меж тем ящик постепенно пустел, и мне приходилось уже не только нагибаться за рыбой всё ниже и ниже, но и перемещаться по его пространству, примерно метра два с половиной в ширину и четыре в длину,



что, естественно, сказывалось на бесперебойности «конвейера», вновь вызывая раздражение бригады. По уму бы, прервав подачу, чем-нибудь, хоть вон той вон, висящей на пожарном щите лопатой, подтащить-подкинуть оставшуюся треску поближе к столу, да куда там! Даже сама, робко высказанная мною эта мысль, вызвала такую матерщину, что лучше б мне помалкивать в тряпочку. И, сжав зубы, я метался по ящику – запинаясь о тушки, катясь по покрывшей палубу слизи, падая и, впервые в жизни, нещадно матерясь. Особенно раздражало, когда какая-нибудь уже выложенная на стол рыбина, внезапно проснувшись, «вставала на коленки», то есть, приподнявшись на хвосте, резко била им по соседней тушке и тотчас с таким трудом выложенный «конвейерный ряд» летел на палубу, а чаще на мою согбенную спину. О, как я был зол на этих тварей, а через них – на себя, слабака, на бесчеловечную «коммунистическую бригаду», издевающуюся надо мной в угоду идиотскому желанию перевыполнить план, на непрестанно штормящее Баренцево море и вообще, неведомо за что, но – на весь мир!

Думаю, именно эта огромная, обусловленная предельным отчаянием, гипертрофированная злость, родившая в самолюбивой мальчишеской душе неведомое до той поры чувство собственного достоинства, и помогла мне в тот день не сдаться, не поддаться малодушному желанию бросить к чёрту эту грёбанную непосильную работу и, заревев, убежать в свою каюту, запереться там навсегда, чтоб никогда в жизни не видеть ни этой рыбы, ни этой скользкой, уходящей из-под ног палубы, ни этих злобных, не знающих сочувствия глаз собригадников. Пусть, незнамо как, списывают на берег, бьют, да хоть расстреливают – мне было бы уже всё равно! Но, слава богу, я сумел разозлиться, а значит – выжить!

И даже то, что, когда наконец ящик опустел и бригада, удовлетворённо похотатывая, чинно удалилась под козырёк полубака перекурить, на корню зарубив моё естественное желание сделать то же самое грубым окриком: «Куда? А кто палубу будет чистить?», я вынужден был ещё минут двадцать упражняться с брандспойтом; даже то, что и после этого пришлось заново пройти всю процедуру опускания и подъёма трала (с тасканием ненавистного «бешеного конца»); и даже то, что, когда выяснилось, что улов в этом трале превысил два кошеля и по судовому закону (о, боги! будет ли предел моим мучениям!) вместо вожделенного послевахтенного отдыха я должен был, наскоро перекусив, вновь (ещё на четыре часа!) вернуться в ящик (помогать сменщику) на подвахту, уже не имело критического значения. Точка невозврата была пройдена! И что бы за последующие месяцы лова, слившиеся в бесконечную цепь монотонно повторяющихся вахт-подвахт, а то и (если улов в конце подвахты достигал четырёх кошелей) авралов, со мной ни происходило, воспринималось это уже не как нечто мучительно-издевательское, несовместимое с жизнью, а как обыденная, пусть очень тяжёлая и, порой, смертельно опасная, но – работа.

Более того, втянувшееся в эту работу моё юношеское тело, в мальчишеские года успевшее познать в футбольной и гимнастической секциях тренировочные нагрузки, уже через пару недель налило мышцы крепостью, а шестиразовое – через каждые четыре часа! – здоровое, состоящее из одной рыбы (полученного в порту мяса хватило дней на шесть) питание придало ему весьма атлетическую конфигурацию. Руки, ноги, спина, зазубрив в общем-то не сложный перечень изо дня в день повторяющихся монотонных движений, стали жить своей, отдельной от

мозга, механической жизнью, освободив его от физических и моральных страданий. И, свободный, он стал замечать, что вокруг – разнообразная, полная не только буйства стихии и тягот «пахоты», но яркая и зачастую весёлая жизнь. Что «Сириус», хоть и весьма потрёпанное и непрезентабельное на фоне скопившихся вокруг него франтов – великолепно окрашенных, сверкающих никелированными деталями и пестрящих ярко-оранжевыми одеждами рыбаков-«иностранцев» – всё же очень милое и даже уже родное судёнышко. Что составляющие его экипаж сорок два мужика – не безлико-неприступные, хмуро-грубые трудяги, а интереснейшие, не лишённые чувства юмора люди со своими, главным образом непростыми, исковерканными жизнью судьбами.

Вот хоть Юнгу взять. Бедный мужичок (а ему было уже под сорок!) подрядился лет семь назад в Тралфлот в надежде за рейс-два скопить денег на калым, дабы получить, наконец, право прийти женихом в богатый дом отца своей вожделенной Зейны (осень карасивый, как горный кóсачка!). Но всякий раз, приходя с моря и неизменно на Пяти углах покупая себе жениховскую белоснежную рубашку, напивался до беспамятства (баска дурной, трусей многа) и через неделю-другую, спустив все немалые деньжищи, в рванье на голое тело, вновь уходил «рыбалить, ля».

Или, скажем, Михаил. Как правильно называлась специальность этого члена экипажа, изготовлявшего прямо на борту консервы «Печень трески в собственном соку», не знаю, но все звали его Салогреем. Меня, естественно, он звал просто Тёзкой и, будучи мужчиной в зрелом возрасте, относился ко мне по-отцовски:

– Ну-ка, сынок, – с неподдельной теплотой в голосе говорил он, едва я, поднявшись из полубака за полчаса до утренней вахты, появлялся у «салогрейки», – подойди. Я тут тебе свеженькой печёночки приготовил. Горяченькая ещё. Специально оставил одну баночку не закатанной. На камбузе как раз хлебушек поспел, так ты намажь на него. Да ешь не торопясь, чтоб вся сила её к тебе перешла, – работа-т впереди тяжёлая. Кто знает, на одну ли вахту?

Так вот, Миша Салогрей, тракторист откуда-то из-под Саратова, пять лет назад подался «на рыбу» с весьма простенькой целью: заработать на починку крыши старого материнского дома. Какая экстренная нужда потребовала этого ремонта, сколько нужно было на него денег – не скажу. Но не сомневаюсь, за годы рыбалки Миша заработал не то что на золотую крышу – новый домике!

Но... «одна у волка песня»: получив послерейсовый расчёт, Салогрей, хоть и зарекался тысячу раз пробежать «стометровку» (аллею от проходной рыбпорта до проспекта) с закрытыми глазами и тотчас ехать в аэропорт, чтобы наконец-таки возвратиться к уставшему ждать ремонта материнскому дому, а всякий раз вновь попадался на крючок какой-нибудь «рыбачки» свободной профессии, коих по обеим сторонам аллеи всегда было в изобилии, и уже через пару-тройку дней уныло взбирался на борт «Сириуса» в буквальном смысле опустошённым.

Историй подобных этим можно рассказать множество, едва ли не о большинстве членов экипажа (естественно, исключая комсостав, который, живя в Мурманске, вёл, по их словам, высокоморальный образ семейной жизни), ибо все они, по-разному начинаясь, отталкиваясь от разных, как правило благородных, причин вербовки в Тралфлот, заканчивались одинаково: беспробудный запой, бесшабашный загул с легкодоступной красоткой, а нередко и то и другое разом – и... возвращение

с похмельным нутром и пустыми карманами на борт ненавистного, покрываемого последними словами, но единственно верного, готового приютить и утешить тяжёлой работой траулера.

Иногда загул-запой затягивался и, отбив отведенную графиком межрейсовую стоянку, судно уходило в море не дождавшись своих, с наскоком подобранными на берегу варягами из вновь нанятых и так же мечтающих по-быстрому, за один-два рейса срубить длинный рубль. И тогда загулявший становился бичом – «бывшим человеком» – рыбаком, живущим неизвестно где и неизвестно на что, но с рыцарской гордостью презрительно отвергающим не только любую другую работу, но и любое другое судно.

Интересно, что сам я ни к кому в душу с расспросами не лез, просто как-то само собой получалось, что в редкие минуты досуга то один, то другой, подсаживаясь, угощал куревом, а потом, после почти ритуальных вопросов о житье-бытье и тяжкого вздоха, начинал своё повествование с чего-нибудь вроде: «Да... ты, Студент, ещё салага, жизни не нюхал. А вот меня она...» И я покорно выслушивал все перипетии этих трагикомедий, даже когда валился с ног от усталости или мечтал поскорее добраться до заветной тетрадки, чтобы записать начавшие роиться в голове поэтические строчки. Выслушивал, понимая, что говорящему его душеизлияние нужно до зарезу. Как рвотное, как слабительное, чтобы хоть на какое-то время очистилась, освободилась от нестерпимо тяжелого груза безысходности душа. Но, слушая, с наивностью юношеского, не замутнённого житейскими передрыгами мозга, никак не мог взять в толк: что за безысходность-то такая? Почему нельзя, получив расчёт, спокойно, не во что ни ввязываясь, уехать восвояси? Слабоволие? Но я каждый день видел этих людей в тяжелейшей морской работе. Ни в силе, ни в мужестве им не откажешь. Что тогда? Ответа я не находил, да, впрочем, и не очень от того мучился. Единственное, в чём всякий раз после подобных размышлений оставался уверенным, что со мной подобного произойти не могло бы ни при каких обстоятельствах!

Однако откровенности эти вскоре обернулись неожиданным улучшением моей жизни. Конечно, и сам я постепенно приобрёл сноровку, но теперь всё же случающиеся промашки либо нерасторопность уже не вызывали взрыва злобной брани, а всё больше доброжелательные матюги или подтрунивания. Да и влезть ко мне в ящик, чтобы подпихнуть дальние тушки, уже не считалось западло. Соответственно и я стал ощущать в душе всё большее приятие этих внешне грубых, но, в сущности, совсем не плохих, а главное, честных и открытых мужиков.

Но был в экипаже человек, с первой встречи вызвавший во мне раздражение – замполит Цыбин. За глаза его звали Цыпа, и не столько по причине коверканья фамилии, сколько из-за постоянного его стремления, тихонько подкравшись, что-нибудь подсмотреть да подслушать. Впрочем, у меня он вызвал неприязнь ещё прежде, чем я об этом узнал.

В первую же неделю лова в конце очередной восьмичасовой вахты-подвахты, когда, обессиленный, я не хотел даже идти на камбуз, а лишь наскоро помыть рокан-буксы (к моему сожалению от этой процедуры отказаться было невозможно – не отмытая от морской соли прорезиненная одежда к следующей вахте встанет колом, что обернётся невыразимыми муками во время работы) и – рухнуть в койку... завывла сирена и из рупора под козырьком рубки бравый голос замполита торжественно и, как мне показалось, радостно возвестил о том, что всплывший трал

заполнен на восемь кошелёй, следовательно по траулеру «Сириус» объявляется аврал! Не стану описывать, что я почувствовал в тот момент (явно не адекватную замполитовскому ражу радость), но... как говорят при шести пиках в преферансе – нас на спрашивают. Все так все.

И действительно, после двадцатиминутного перерыва на перекус-перекур в заваленные до краёв рыбой ящики обоих бортов влезли не только «голова-жопы» трех вахт (им на роду написано!), но и «кочегары» – вся, за исключением механика, вахта машинного отделения. За удвоенные разделочные столы встали шкерщики и... начался пир труда. Ей Б-гу! Вот ведь что делает с людьми коллективность. Только что, измученные и раздраженные, мы едва ноги передвигали, были злобны и угрюмы. Но едва из репродукторов загрелась браваурная музыка – над мельканием сноровистых рук засияли улыбки, из конца в конец палубы залетали шутки, подначки да весёлые подбадривающие окрики. Среди этой радостной суматохи я даже не сразу обнаружил, что самого закопёрщика, призывавшего: «Давайте все разом, вместе, невзирая на должности, навалимся!», на палубе нет. Лишь через час он спустился к нам с мостика. О, это надо было видеть! Слепительно-оранжевые рокан-буксы (наши-то давно забыли, какого они вообще цвета), белоснежные мичманка и рукавицы... Всё это на фоне обшарпанной, давно не крашенной надстройки выглядело так нелепо, что даже не смешно. Но главное произошло потом. Прокравшись бочком мимо нас – копошащихся в ящиках, стоящих за разделочными столами и «навалившихся все разом, вместе, не взирая на должности» – Цыпа, двумя пальцами подняв за хвост с палубы завалившуюся тушку мелкой трески и демонстративно – чтобы все видели! – уложив её на стол к головурубу, довольно отряхнул руки и, слащаво улыбаясь, изрёк: «Ну, я вижу аврал проходит на должном уровне, поставленная задача будет выполнена. Молодцы, товарищи! Пойду давать РД (радиограмму. – Авт.) в управление».

В этот момент уложенная Цыпой рыбёшка, внезапно ожив, «встала на колени», и соседние тушки разом повалились на мою согнутую спину.

– Ну, вашу мать! – невольно вырвалось у меня. – Вместо рапортов лучше б помогли работать! Хотя бы вот за рыбьими хвостами следили...

– Не вам, товарищ Студент, мне указывать, что лучше, сначала вуз закончите, а то ведь можно и характеристику подпортить... – процедил залившийся краской замполит, явно не ожидавший от меня дерзости (до этого он вроде как отделял мою полуинтеллигентскую персону от остального малообразованного контингента экипажа). – А насчёт рыбьих хвостов... – изменившимся и как бы подобревшим голосом продолжил он, почему-то подмигнув Сане-головотяпу, – давно бы обратились к боцману, чтоб выдал вам рыбобой.

«Ух, ты! – вспыхнула во мне обида. – Выходит, есть у них специальное приспособление, чтоб рыба не трепыхалась, а эти жлобы специально мне ничего не сказали, чтоб поиздеваться?»

На флоте спокон веку подшучивали над салагами – молодыми, неопытными членами экипажа, получившими это прозвище от выпускников моряцкой школы, учреждённой Петром I на беломорском острове Алаг. Не преминули воспользоваться этой традицией и мужики с «Сириуса», пытаясь послать меня то за парой метров ватерлинии, то за ведром трансмиссии, а то и просто заточить рашпилем лапу якоря, иначе-де плохо держит. Но, с десяти лет приобщившийся к флоту,

я с ухмылкой знатока игнорировал все эти «покупки». Однако, как говорится, и на старухе бывает прореха, на сей раз я-таки попался. И понял это сразу, едва, по указанию ЭСэСа взобравшись на спардек, увидел прикрепленные к лееру здоровенные, с рукояткой метра в три длиной молотки, как потом выяснилось, для сбивания льда с обносов.

– Ах ты, зараза замполитовская! Вот так, значит, решил наказать меня за дерзость? И ведь на чём купил? На моем незнании рыболовецкой специфики да наивной уверенности, что уж комсостав-то до подвохов не опустится.

В ту же секунду в сознании всплыла недавняя «хохма» бригады – настолько мерзкая и унижительная, что несколько дней после этого я глаз не мог поднять от стыда.

Среди трески, составлявшей основу нашего улова, изредка попадались в трал и такие представители рыбной фауны Арктики, как морской окунь, палтус, зубатка и синюха. Про зубатку Миша Салогрей сказал мне едва ли не в первый день рыбалки: будут прикалываться, мол, сунь зубатке палец в пасть, она свистнет – не верь! Даже пролежав на палубе несколько часов, она способна так сжать челюсти, что перекусывает черенок швабры. А вот синюха... Огромная, с хорошую свинью её туша – голубая со спины и бело-розовая на животе – своими явно выраженными женскими гениталиями неизменно вызывала скабрзные комментарии мужиков «Сириуса». Я, поелику возможно, пропускал их, как и остальной, постоянным фоном звучащий мат, мимо ушей. Но однажды... В очередной раз зайдя после вахты в душевую кабину, я тщательно отмыл от соли рокан-буксы и, максимально открыв вентиль пара и отрегулировав температуру воды, встал под душ. О! Это – лучшие минуты в моей работе! Душевые были цельносварными и закрывались настолько плотно, что через пару минут после подачи пар наполнял их непроницаемой, обволакивающей горячей «ватой», создавая замечательный эффект сауны. После ледяных волн и пронизывающего насквозь ветра – о чём ещё можно мечтать? Поэтому, несмотря на усталость и смертельное желание спать, я хоть на пару минут, но оттягивал момент окончания процедуры.

Как им это удалось?.. Ума не приложу. Но едва я открыл дверь душевой, тотчас был встречен диким гоголом собравшихся в раздевалке собригадников, с гадкими ухмылками указывавших на открывающуюся в рассеивающемся паре возле моих ног тушу синюхи со специально развороченными детородными органами. «Мужики! Студент-то наш синюху оприходовал!» – «Во извращенец!» – «Поделись, салага, как оно? Подмахивала?!» – орали они, перебивая друг друга и захлёбываясь от звериного ража.

Всплывшее из подсознания это унижение, что называется, сорвало меня с катушек:

– Ну, гады, сейчас вы у меня за всё получите! – Отцепив одну из колотушек, спокойно, стараясь ничем не выдать кипящей во мне ярости, спустился я на палубу и гаркнув: – А ну, расступись! – под изумлённые взоры и матюги присутствующих, принялся нещадно колотить по оставшейся в ящике рыбе, обильно покрывая их одежду и лица ошметками внутренностей и блёстками чешуи. Особенно (и не без моего старания) досталось сверкающим рокан-буксам Цыпы.

С тех пор «купить» или подколоть меня уже не пытался никто, а замполит, хоть и старался порой напакостить, заставляя то политинформацию подготовить, то стенгазету выпустить, специально подгадывая,



чтобы занимался я этими в редкие часы отдыха, но на прямой конфликт идти уже побаивался.

Меж тем череда однообразных, почти не отмечаемых сознанием дней, перетекла в октябрь. Я понял это не только по участвовавшим многобалльным штормам, но и по снегам, всё чаще опускающим над Баренцевым свои бело-серые завесы и быстро покрывающим и без того скользкую от рыбной слизи палубу корочкой льда. Работать стало не только труднее, но и опаснее. О том, сколько раз, поскользнувшись, я растягивался на палубе, больно ушибая локти, спину или голову, уже не говорю. Но дважды в эти дни моя семнадцатилетняя жизнь запросто могла закончиться в пучине холодных вод.

Первый раз это случилось во время утренней вахты. Шторм был баллов 5–6, но видимость вполне хорошая, и даже временами сквозь сплошную вату серо-черных туч пробивались солнечные полосы. Предшествующая вахта только что сбросила трал за борт, и «Сириус» начинал циркуляцию. По заведённому распорядку смена вахт происходила с боем склянок, причём какую бы операцию в этот момент ни производил сменяемый – отдавал ли гачок на кошеле спускаемого трала или, наоборот, цеплял его на поднимаемый, шкерил ли рыбину, стоял ли за штурвалом, – он тотчас прекращал этим заниматься, сто-процентно уверенный в том, что в ту же секунду операцию продолжит сменяющий.

Вот и в тот раз, взваливший было на плечо «бешеный конец» Вова-из-Кишинёва, при первых звуках рынды, не оборачиваясь, с торжествующим выдохом «вахту сдал!», привычно сбросил тяжёлый трос на готовые его подхватить мои руки. «Принял!», чуть качнувшись от тяжести, крикнул я и, взвалив крюк на плечо, помчался на корму, за которой вот-вот должны были натянуться ваеры. То ли из-за спешки, то ли потому, что мозг не полностью включился в ритм работы, привычную процедуру наблюдения краем глаза за величиной наваливающейся на борт волны, дабы отследить самый большой девятый вал, я пропустил. И потому вовремя, как это всегда делал при ударе высокой волны, не прижался к надстройке, крепко вцепившись в идущий вдоль неё поручень. И тотчас был за это наказан. Сказать, что накрывшая траулер по рубку волна подхватила меня, как щепку – банально. Но точно. Сначала она сильно ударила меня головой о переборку, отчего на мгновение я, видимо, потерял сознание, а когда пришёл в себя, сквозь полуметровую толщу прозрачной воды увидел уплывающий подо мной вправо верх борта судна.

«Значит, меня смыло», – без испуга, а даже как-то отстранённо-флегматично констатировал мой мозг и принялся размышлять о том, надо или нет мне освободиться от «бешеного конца». С одной стороны, эта тяжеленная железяка немедленно утянет меня на дно, с другой, трос этот – единственная моя связь с траулером и надежда на то, что за него меня вытащат. Рассуждения эти так меня увлекли, что за ними я не заметил, как «Сириус» уже качнулся в мою сторону, а удачно зацепившийся за швартовную утку трос (хорошо, что не поддался инстинктивному желанию сбросить его!), словно праща, выкинул меня на палубу.

С этого момента возможная трагедия незаметно для меня превратилась в хохму, которая долго ещё вызывала смех у экипажа. Одной рукой удерживающий на плече гак и интенсивно, думая, что нахожусь в открытом море, гребущий другой, я какое-то время был не видим под залившей палубу водой. Но по мере того, как вода эта стекала сквозь



кингстоны и бортовые щели, курящим в укрытии полубака всё явственней вырисовывались сперва машущая моя рука, затем активно работающие ноги и, наконец, пикирующее под тяжестью гака тело. В себя я пришёл от резкой боли в кисти левой руки, со всей силой гребка вдарившей по оголившейся палубе.

Полубак оглушал многоголосый хохот, который я, оценив комизм ситуации, подхватил, тотчас умчавшись завершать процесс стопорения уже натянувшихся ваеров.

Второй раз всем уже было не до смеха. Ловили мы глубоко на севере, в районе острова Шпицберген, где октябрь бил нас не только постоянными многобальными штормами, но и частыми снежными зарядами, существенно ухудшающими и без того плохую в условиях начинающейся полярной ночи видимость. Вот в один из таких дней во время вечерней вахты, когда даже яркий луч прожектора с рубки не очень-то освещал палубу, я и потянулся отдавать гачок с кольца опускаемого за борт трала. Надо сказать, что и в нормальную-то погоду при свете дня эта операция всегда вызывала у меня опасение: качка, ветер, сети с укрепленными на них бобинцами, норовя ударить по голове, раскачиваются на стреле лебёдки из стороны в сторону, так что приходится больше чем по пояс переваливаться через борт, стремясь не просто дотянуться до кошелёвого кольца, но и произвести соответствующую манипуляцию с оснащённым карабином гачком. Но прежде как-то обходилось. А тут...

Не видя меня за снежной пеленой, тралмейстер Мыкола, отдав стопор лебёдки, был уверен, что я уже закончил операцию и стою на палубе. Но в тот момент заело карабин на гачке, и я, пытаясь его открыть, в буквальном смысле повис на сетях, больше чем по пояс вытянувшись за борт. Поэтому, когда вся масса поднятой стрелой сети и шестидесятикилограммовых бобинцев упала на мою спину, как-то вывернуться было уже невозможно. И вместе с сильной болью в лице, обдираемом ржавым бортом, по которому, плотно прижимая, тащил меня трал, я, мгновенно поняв, что это – всё! конец! – испытал даже не страх – жуткий ужас. И стало, как бывало в детстве, очень жалко себя. До слёз! И замелькали в сознании лица мамы, папы, школьного друга Кольки и Сёмки-соседа. И наш канавинский дворик с двумя берёзками под окнами, под которыми я, будто бы готовясь к выпускным экзаменам, безмятежно дрых на раскладушке, прикрыв лицо учебником. И робкие, немелкие, но безумно радостные целования с десятиклассницей Танечкой в полумраке подъезда её большого дома. И...

В тот момент, когда я уже понял, что захлёбываюсь, неожиданно тяжесть давления на тело ослабла и одновременно острая боль пронзила икру левой ноги. Сильные руки вытянули меня наверх, поставили было на ноги, но они тотчас подогнулись, и в полуобморочном состоянии я рухнул на палубу.

Очнувшись от резкого, остро ударившего в нос запаха нашатыря, я какое-то время не мог понять, где нахожусь и что происходит. Надо мной, то появляясь, то исчезая в плотной тёмно-серой завесе нескончаемо падающего снега, раскачивались мокрые лица, среди которых, наконец, узналась бородастая физиономия тралмейстера Мыколы, беспрестанно бормочущего: «Вставай, а? Хлопчик, як же ж я недогледив, мало не вбив тебе... я ж думав, що ти вже усё сробил. Вдруг, дивлюся, чобиёт над бортом плигонув. Я лебидку вгору и за богор... Ну, що очуняв?»

И тут я ВСЁ ВСПОМНИЛ!

И вместе с осознанием того, что только что моя едва начавшая входить во вкус жизнь могла оборваться, вместе с болью, обжигающей кровоточащее, ободранное лицо и пораненную икру, вновь пришла жалость к себе любимому. Не просто, а – всеобъемлющая, готовая сорваться в истерику. Плечи мои затряслись, подбородок задрожал... Ещё секунда и, не стыдясь окружающих, я заревел бы, как пацан – взхлёб, до заикания! Но в этот момент СС, подняв меня за плечи и, встряхнув, ставя на ноги, гаркнул в самое ухо:

– Как вспомнишь, бывало, разинешь едало – а мухи-то роем летят!! Чё разлётся, Студент? Трал – на циркуляции! Пулей омылся и – за «бешеным концом»! И, видя, что я ещё не шелохнулся, добавил презрительно: «Хиляк...»

Теперь, с высоты минувших десятилетий, я мысленно благодарю этого грубого, «академиев не кончавшего» и не знавшего психологических основ мужика, принявшего в тот момент единственно верное решение. Ведь пожалей они меня тогда, дай опуститься до постыдного плача – всё! Не смог бы я больше ни на штормящую палубу выходить, ни в глаза экипажу смотреть. Одно – страшно, другое – стыдно!

А тогда... Пришпоренный хлётким, как плеть, бьющим по мальчишеской гордости словечком «хиляк», я и впрямь пулей метнулся в душевую и уже через несколько минут, стараясь не обращать внимания на жжение ободранного, разъедаемого солёной водой лица, стопорил натянувшиеся ваеры трала.

Конечно, случившееся не могло пройти совсем бесследно. Я не о лице, долго ещё покрытом коричневыми, чешущимися корочками, и не о разорванной багром икре. О душевном состоянии, при котором я вдруг, чего не бывало прежде, стал отмечать, что во время передач «внутреннего», предназначенного только для экипажей Тралрыбфлота, радио, после неизменных рапортов о трудовых достижениях чего-то там в честь, начинает звучать печальная музыка и бесстрастный голос диктора монотонно зачитывает списки пропавших без вести или погибших рыбаков, а иногда и безвестно сгинувших судов. И стала – даже во время изнуряющей работы! – всё чаще и назойливей накатывать тоска по дому, по Танечке, по друзьям... Да просто – по ТВЁРДОЙ, НЕ УХОДЯЩЕЙ ИЗ-ПОД НОГ СУШЕ!

Слава Б-гу, что всё – даже плохое! – заканчивается. Подошёл к завершению и наш рейс. Описать ликование моей души, когда, стоя у штурвала и уже запроваки, едва ли не двумя пальцами держа курс на означенный румб, я увидел чуть справа впереди проступившие сквозь утренний туман контуры скалистого берега, передать трудно. Но, видимо, оно так светилось в моих глазах, что стоящий рядом капитан, словно подтверждая мою догадку, утвердительно кивнул: «Да, Студент, справа по борту Кувшинская Салма, будем заходить в Кольский залив». Потом, выдержав небольшую паузу, он продолжил:

– А, что... может, ещё в один рейсик сходишь?

«Ага, разбежался!» – чуть не вырвалось у меня, все последние дни только и мечтавшего о том, как, получив расчёт, помчусь я в кассы Аэрофлота и самым ближайшим рейсом полечу в любимый Горький. Но, сдержавшись, в слух соврал:

– Я бы, Василий Давыдович, не против. Но, сами знаете, мне декан до 1 ноября разрешил задержаться...

– Жаль. Парень ты оказался толковый и... не хлюпик. Я б тебя ещё взял. А то... подумай – ещё на рейсик? С институтом-то наши кадры договорятся.

Я, конечно, был непреклонен и, едва сменившись, чувствуя скорое приближение рыбпорта, кинулся запихивать в рюкзак разбросанные по всему кубрику вещи. «Ну, вот, вроде и всё, – довольно оглядев кубрик, заключил я, затягивая верёвку переполненного рюкзака, – можно и перекурить». Сердце моё нетерпеливым пацанёнком скакало в груди, дрожащие от возбуждения пальцы никак не могли достать из коробка спичку. В этот момент ударившийся о пирс «Сириус» сильно качнулся и, с трудом удержавшись на ногах, но при этом, сумев поймать слетевшую с верхней коечки гитару, я понял: причалили!

Резво взвалив на плечо рюкзак, я собрался было открыть дверь кубрика, как она сама распахнулась, впуская тралмейстера Мыколу.

– Збираэшья в мисто? Гарна справа. – «Хлопчик с-пид Киеву», хоть и вполне внятно, несмотря на украинизмы, говорил по-русски, но в минуты душевного подъёма любил покуражиться, полностью переходя на мову. Судя по всему, сейчас была именно такая минута. – Тильки спочатку треба сходити у касу отримати розрахунок. – Видя мои недоумевающие глаза, Мыкола довольно добавил: – Що, турист, не розумиэш? Я говорю, що упрэждэ чим до Мурманску двигати, трэбо у каси гроши получитьи.

Я не сопротивлялся. Коль так положено – «пидэмо до каси»! Впрочем, сперва элементарное понятие «идти» оказалось весьма непростым делом. При первых же шагах по суше мой вестибулярный аппарат, привыкший жить на раскачивающейся палубе, едва не бросил меня на пирс, словно хорошо выпившего, не способного стоять на ногах алкаша.

– Оно как, турист, земля не тримаэ, море, виходить, надийнише? – рассмеялся тралмейстер, крепко подхватив меня под мышку. – Ну, ничего, отримаэмо грошенят, прийемо на груди – усе стане на свои місця.

Озабоченный прямохождением, фразу о приёме на грудь я как-то не зафиксировал, а вот минут через пять, когда поступь вновь обрела уверенность, от внезапного осознания близости расчёта, разыгралось любопытство.

«Сколько, интересно, начислят? Оклад у меня, вроде, за сотню, да ещё “северные” да “гробовые”, да за сданную рыбу при перевыполнении задания... а моя “комтрударная” процентов двести как минимум дала – дважды сдавали улов на плавбазы... Правда, мужики чего-то говорили про вычеты – колпит там, сигареты, раз пять печенье с конфетами в лавке брал да пару раз РД отбивал домой, чтоб не волновались... Но уж не больно это всё и дорого! Может... рублей 200, а то и 250 дадут. Так ещё ведь дорогу в оба конца должны оплатить и в ДМО проживание... Вот здорово!»

Размышляя таким образом и периодически что-то отвечая без умолку тараторящему Мыколе, я не заметил, как, казалось, нескончаемая очередь впереди стоящих рыбаков из различных вернувшихся с моря судов, переполнявших небольшое помещение возле портовых ворот, привела меня к окошку кассы, плотно прижимая нетерпением толпящихся сзади.

– Пёсин? – выкрикнула кассирша, мельком взглянув в протянутую мной учётную книжку рыбака.

– Песин...

– Чё?

– Не Пёсин, а Песин, говорю, моя фамилия!

– А мне без разницы. Тут ударения (!?) не проставлены. Расписывайся! Сумма прописью. Число сегодняшнее!

Взглянув на протянутую кассиршей бумажку, я увидел цифру... 367...

– Ск-олько? – заикаясь, с трудом из-за перехватившего горло дыхания, выдавил я, полагая, что плохо вижу и потому с испугом думая, что «рыбалка» снизила моё зрение, а значит, теперь меня непременно выгонят с факультета судовождения.

– Что, мало?! – саркастически ощерилась кассирша, блеснув желтизной золотых зубов. – Так меньше на колпите жрать надо было и курить тоже. Короче, не задерживай! Вот тут пиши: восемьсот...

Да, глаза меня и впрямь подвели. С перепугу или от невероятности подобного они приняли восьмёрку за тройку, которая и так уже делала получаемую сумму огромной. Теперь же пачки денег, выкладываемые кассиршей на прикошечную полочку, делали её гигантской! Представьте: первокурсник с двадцатипятирублёвой стипендией, каждый день получающий от мамы по полтиннику на перекус в институтском буфете, и вдруг!.. Знаете, что можно было тогда купить на эти деньги? Разом осуществив мечты подавляющего большинства моих сверстников – мотоцикл «Иж-планета» плюс лучший по тем временам катушечный магнитофон «Днепр». Да ещё и как следует их обмыть! Кстати, об обмыть. Поскольку в стране нашей издревле было принято всё мерить пол-литрами, то для наглядности скажу: заработок мой составил более 300 бутылок водки или свыше 600 бутылок особо популярного среди студентов ГИИВТа портвейна «Волжское розовое».

Так что ту сумму – 867 р. 17 к. – мне не забыть никогда!

Не без труда расставив по карманам (так что и пиджак, и бока брюк под ним вызываяще топорщились) внезапно свалившееся богатство, я, не дожидаясь Мыколы, не спеша направился в сторону «Сириуса», сияя, как надраенная корабельная медь.

– Ти куди? – с нескрываемой обидой в голосе окликнул в спину тралмейстер.

– Дык за вещами. Брошу в ДМО и пойду за билетами на самолёт...

– Ни, тик не можно... Положено писля рейси посидити, попрощатися. Я ж тоби от смерти врятував! Зараз пидемо у шинок, буду з тебе справжнього маримана робити!

Я, конечно, был благодарен Мыколе за спасение жизни и обижать его отказом не стал. «В конце концов, что случится, если я немного выпью с ним на прощание? Ну, не сегодня, завтра возьму билеты: всё равно море уже позади и главного направления – к дому – это не изменит!»

Крепко обняв за плечи так, что я оказался у него под мышкой, здоровенный Мыкола вывел меня из проходной рыбпорта и повёл по «стометровке», с обочин которой чем дальше мы продвигались, тем активнее раздавались призывные женские голоса.

– Ти, турист, нэ реагуй. Це непотрибни жинки, як трясовина: вступиш – засмокче. Без штанив залишишся! – по-отечески наставлял он, периодически, как от назойливых мух, отмахиваясь от тёток зычным. – Не треба!

Ресторан «Арктика», в который мы пришли, располагался на площади Пяти углов в стандартном четырёхэтажном здании гостиницы с тем же названием. Время было дневное, посетителей немного.

Главным образом, командированные или работники близлежащих контор. Публика небогатая, потому и официанты её не особо жаловали: не спеша подходили, через губу принимали заказ и тем более не спеша его приносили. Так же полноватая, не первой свежести официантка с синевой под глядящими мимо, скучающими глазами начала обслуживать и нас.

– Принеси-ко, дивчина, пляшку горилки и грановани стакани, – в предвкушении грядущего возлияния мягким, даже ласковым тоном начал Мыкола.

– А по-русски сказать нельзя?! – грубо прервала его официантка. – Чё надо?

– Возможно. Тильки грубиянити не треба, – всё ещё стараясь держаться в рамках приличия, ответил тралмейстер и, оставив мову, попросил: – Бутылку водки и гранёные стаканы.

– Водки нет, только бренди! А стаканы – в забегаловке. У нас ресторан!

– Хай буде бринди, тильки стакани щоб були! – И, как бы в подтверждение обязательности выполнения своей просьбы, Мыкола достал из внутреннего кармана пиджака пачку денег и купеческим жестом бросил её на стол.

Метаморфоза, произошедшая с официанткой, была поразительной. При виде денег она тотчас выпрямила, выпятив грудь, спину, глаза загорелись алчным огнем, и не успели мы опомниться, как на столе появилась бутылка с темно-коричневой жидкостью, а вместо мигом убранных бокалов – два гранёных стакана.

Удовлетворённо подмигнув (мол, учись, салага, как должен вести себя вернувшийся с моря рыбак), Мыкола, плеснув на дно моего стакана, налил себе полный и дрожащей от нетерпения рукой, так, что переливающаяся влага закапала на рубашку, единым махом опрокинул содержимое в широко раскрытый рот. На какое-то время он замер, будучи внутренним зрением отслеживая, как бренди разливается теплом по телу. Потом, быстро налив ещё полстакана, так же быстро выпил и... Зрачки Мыколы затуманились, лицо приобрело багровый оттенок, рот расплылся в блаженной улыбке, и, глянув на меня уже не видящим взором, он, достав еще пару пачек и бросив их на стол со словами «розплаташия, турысс», рухнул лицом в скатерть.

Некоторое время я, оторопело глядя на растёкшуюся по столу сопящую физиономию тралмейстера, сидел, размышляя, – что делать дальше? Первое желание – немедленно уйти от этого позора и, забрав шмотки с «Сириуса», заняться, наконец, отъездными хлопотами. С другой стороны, бросить Мыколу в таком состоянии, с огромными деньжищами, часть которых, грядущая на столе, уже мозолила глаза окружающим, – непорядочно. Не по-товарищески.

– Может, что-то покушаете? – Голос официантки был обволакивающим сладким, вызывающим желание ответить согласием, тем более что слышал я женское воркование впервые после многомесячного вращения в сугубо мужской грубо-матерной среде. «А почему бы и не поесть? Время-то давно послеобеденное», – подумал я и тотчас почувствовал, как голодная слюна подкатила к горлу.

– Могу предложить салатик... из свежих овощей... с крабами... оливье... Икорочка в ассортименте. На первое – рассольничек с расстегайчиками... борщ по-украински с галушками... соляночка. На второе – палтус...



– О, нет! Только не рыбу! – невольно воскликнул я, уставший от бесконечного рыбного рациона. – Что-нибудь мясное с жареной картошечкой... И – побольше!

Едва появились холодные закуски (причём явно мною не заказанные, потому что, помимо салатов среди них были и селедочка с лучком и сливочным маслом, и мясные нарезки, и бело-розовые ломтики осетрины, и много чего другого, мне неведомого), у меня начался, в буквальном смысле, жор. Отправляя в рот то одно, то другое яство, запивая всё это терпким бренди (сперва наливаемым на доньшко, а позже и по полстакана) я всё никак не мог насытиться. И не столько из-за действительно голода, сколько от впервые появившейся возможности вкушать всё это дорогущее изобилие.

Дальнейшее вспоминается уже нечёткими и несвязными картинками.

...какие-то люди – мужчины и женщины – шумно пьют за нашим столом, называя меня долгожданным, вернувшимся с моря корешем...

...тралмейстер Мыкола (видимо, уже очнувшийся) с хохотом рассказывает, «як врятував мени життя», вытащив из-за борта багром за сапог, и предлагает «всим випити за хрещення салаги морем»...

...расплывающиеся буквы меню, в которое я тычу пальцем, говоря официантам (должно быть, их было уже много): – Принесите это... и это... и это!»...

...запах крепких духов, смешанный с табаком и алкоголем, исходящий от чего-то необъятного, мягкого и потного, жарким языком влезющего в мой рот...

Пробуждение было противным. Сухость во рту, дурнота и нескончаемая тупая головная боль – далеко не всё, что я ощутил, очнувшись от ночного беспамятства. В приоткрывшиеся веки сначала всплыл потолок со следами протечек – сизый от сумеречного утреннего света, с трудом пробивающегося сквозь давно не мытые стекла наполовину задернутого чем-то окна. Потом взгляд скользнул по стене с отклеивающимися непонятного рисунка обоями, к которой примыкала моя кровать. Она была железной, покрашенной в синий цвет с давно забытыми блеск хромированными набалдашниками на спинках. Наконец, повернув голову, я увидел небольшую неприбранную комнату, по которой, совершенно не обращая на меня внимания, нервно курая, ходила незнакомая женщина. Неясного цвета халатик, накинутый на голое тело, прикрывал его лишь со спины и, порой, с боков. Тело было явно не молодым – с обвисшими грудями и дряблым животом, спускающимся складками в обильную тёмную поросль. На отёкшее лицо стекали пряди нечёсанных волос.

– Очухался? – без каких-либо эмоций спросила она.

– Ты кто? – плохо соображая, задал я первый пришедший в голову вопрос.

– Конь в пальто! – с легким раздражением огрызнулась она. – Одевайся и сваливай по-быстрому. Скоро мой должен заявиться.

– А где мы? Ну... в смысле далеко от ДМО?

– На троллейбусе остановок семь.

«Как же, поеду я тебе на троллейбусе! – съязвило моё похмельное Я. – Возьмёшь тачку, не бедный».

Откинув то, что служило одеялом, я обнаружил, что абсолютно гол и тотчас стеснительно прикрылся. Заметившая это женщина, язвительно хмыкнув, демонстративно отвернулась. Я попытался взглядом найти



свою одежду и лишь через некоторое время обнаружил под столом скомканные брюки, а пиджак и вовсе под кроватью. Постепенно нашлись и остальные детали. Но не это уже меня волновало. Едва взяв в руки, я понял, что ни в брюках, ни в пиджаке... денег нет. То есть вообще! Ни копеечки!! «Восемьсот шестьдесят семь...» – дразня, проплыла в похмельном мозгу цифра.

– Эта... ты... не видела? Тут у меня...

Но встретившись с наглым взглядом усмехающихся глаз, я понял – вопросы задавать бесполезно.

– Чё копаешься? Хочешь моего дождаться?

– Ты... слушай, хоть двадцатипятирублёвку дай!

Рассмеявшись, она засунула руки в карманы халата и подняв их, как крылья, нагло обнажая бесстыжие прелести, процедила:

– А не пошёл бы ты... туда?!

– Ну... хоть на троллейбус.

О чём думал я, возвращаясь на «Сириус», говорить излишне. Но все мои мысли и чувства, видимо, так красноречиво были написаны на лице, что даже дежуривший у трапа Юнга, кинувшийся было ко мне с претензиями, дескать, он обиделся, подумав, что я не попрощавшись с ним, который его «осена уфажал», уехал, внезапно осёкся и, положив руку на моё плечё, грустно вздохнул:

– Знался и ты... От жись... шайтан!

Опустив глаза, я молча прошёл в свою каюту, смахнул с коечки собранный в дорогу рюкзак и, не раздеваясь, рухнул головой в подушку. Было горько и обидно, но одновременно понятно, что виноват сам и претензий предъявлять некому. И, значит, завтра я напишу кэпу заявление и уйду ещё в один рейс. А институт?.. ну, Давыдыч же обещал, что кадры договорятся.

Определив самому себе ближайшее будущее, я постепенно успокоился и, засыпая, даже внутренне усмехнулся, вспомнив некогда категоричное «Со мной подобного произойти не могло бы ни при каких обстоятельствах...».

Студент!

**Олег РЯБОВ**

*Нижний Новгород*

(№ 2, 2024)

## НА КРАЮ ЗЕМЛИ

Огромное безграничное поле, которое последний десяток лет было простой луговинной и служило пастбищем для нашего деревенского стада, в этом году было засеяно овсом, превратившись в фисташковое море, и пробираться к моей заветной полянке, на которой я любил медитировать и отдыхать сердцем, приходилось теперь вдоль лесной опушки, делая крюк в пару километров. Здесь, между вековыми лиственницами и соснами, весенними потоками был промыт небольшой овражек, по которому даже я на своем «Патриоте» боялся спускаться к очаровательной лужайке, которая и манила последние годы меня. Хотя пару раз я этот манёвр и совершал, но чаще не рисковал.

Лужайка была ровная, как футбольное поле, да и по размерам такая же. Она пряталась в котловине, окруженная каким-то реликтовым лесом: по краям ее стояли четыре огромных многовековых осокоря в два, а может, и в три обхвата у основания, с причудливой неестественной формой стволов, чем всегда притягивали взгляд и вызывали разные фантазии, убегающие вглубь веков. По дальнему краю полянки бежал ручей, скорее даже небольшая речка, потому что у неё было какое-то местное заковыристое марийское название. Речка эта была шириной метров в пять, и её без труда можно было перейти вброд. Покидая мою полянку, журча, она впадала в солидный омут, укрытый нависающим тальником, в котором водилась мелкая рыбёшка: окуньки, плотва, красноперки, а дальше, снова превратившись в речку, километров через пять встречалась уже с Ветлугой. Каждый раз, когда я спускался по оврагу на эту полянку, всегда покрытую какой-то мелкой, неизвестной мне, будто искусственной травой, меня охватывала наполнявшая всё это закрытое и заполненное особым личным переживанием пространство тишина и неземное спокойствие. Это состояние многие из нас испытывали, но передать его словами невозможно. И это мучительно, тревожно и радостно одновременно. Мне кажется, что Чехов так же мучился, когда писал свою «Степь» и понимал, что у него не хватает слов, чтобы пересказать свой восторг.

Я сам житель городской, и дом деревенский мне достался по наследству лет десять назад от не совсем понятной мне дальней родственницы, и, наверное, плюнул бы я на этот дом, если бы не случай. Заехал я тогда посмотреть на свое наследство, рассчитывая кому-нибудь продать этот огромный пятистенок хоть за какие-нибудь копейки, познакомился с соседями, а те меня приветили и начали расписывать свои местные красоты. А свелось всё к тому, что попросили они меня пустить в дом

пожить молодую вдову Лиду с двумя ребятами, пацанами шести и восьми лет. Беда у неё недавно случилась: сгорела её хата вместе с мужем-хозяином. Осталась она без жилья и без опоры.

Что делать? Согласился я на их просьбы, посулы и уговоры: и за домом Лида присмотрит, и печь протопит, и белье постельное, когда надо, постирает, и порядок наведёт. А ещё и огород там за домом есть, который обрабатывать надо. Так и повелось: летом я с десятков раз наездами бываю тут, сам у себя в гостях, или один, или с друзьями: и за грибами ходим, или на рыбалку, и на пленэре посидеть неплохо, когда один, этюды пишу. Художник я. А круглый год Лида в доме хозяйничает: услужливая женщина, тихая, незаметная – будто и нет её. Правда, косячит она и походка у неё как у уточки.

В тот день, когда я поближе познакомился с Виктором, планировал я наловить в качестве живцов мелких рыбешек в моём омуте, чтобы зарядить жерлицы на шук в затоне. Я подъехал на своем «Патриоте» к спуску на полянку, вышел и увидел, что на подъеме, в овраге, почти на боку висит «жигуленок» соседа Виктора, вот-вот опрокинется. Машину стащило туда юзом, когда он выбирался с полянки наверх. Виктор был не совсем моим соседом: он жил на нашем порядке, напротив, через три дома, но я его в лицо знал. А сейчас Виктор был сильно пьян и очень разгневан на самого себя: он мотался вокруг своего застрявшего авто, грязно и громко ругался и стучал себя кулаками по ногам.

– Сосед, выручай, – обратился он, увидев меня и прекратив свои самобичевания, – выдерни меня отсюда. Ты же на вездеходе! У тебя есть трос?

– Нет, нет у меня троса, Витя, – ответил я.

– Да вот, – и опять мать-перемать, – поехал я тестяге своему показать, где можно карасей ловить, и вляпался так! Привез его из города, показать, как мы с Татьяной его тут устроились, а сейчас чуть морду ему не разбил – начал меня учить! Прогнал я его. Сосед, давай сгоняем с тобой на лесопилку, тут рядом, пару километров – я там конец троса стального возьму, и мы с тобой выдернем машинёшку мою несчастную.

Отказать ему я не мог: в деревне это не принято – в деревне и просьбы всегда разумные, и отказов не принимают, хотя неприятен мне этот Виктор был даже издали.

Ничего мы на лесопилке не нашли, поехали в свою деревню, и там не повезло – нет ни у кого. Пришлось ехать в соседнюю. Часа только через два выдернул я этого Витю из канавы. На удивление, «жигулёнок» Витин завелся сразу, без проблем.

– С меня стакан, – сказал он мне на прощание.

Даже верёвку чужую Витя бросил тут же в траве, и мне самому уже пришлось её отвозить хозяевам в чужую деревню.

Было это лет пять назад.

Как я потом узнал, Виктор был сам местным, родился тут. А после армии перебрался он в райцентр, завел там какой-то мелкий бизнес, были у него целых три палатки на рынке. Только пришлось ему эти палатки продать, женился он на Татьяне, женщине с ребенком, купил дом-пятистенок в родной деревне и вернулся сюда, где на свет появился. Татьяна была женщина дородная, крепкая, рослая, с тяжелой рукой и лет на десять старше Виктора. Потому, когда пьяный, а пьяный он бывал часто и всегда дурной, Виктор поднимал на свою суженую и за-

конную голос или руку, то всегда получал от неё взбучку, и солидную. Часто он ходил с синяками, но никогда не смущался тем.

Дом свой Виктор в порядок привел – мужик он был сручный и крепкий. Парники на участке поставил такие, что иной агрохолдинг мог бы позавидовать. Через год Татьяна ему сынишку родила. Только чувствовалось в этом Викторе всегда какое-то говнецо, а иногда оно и наружу прорывалось.

Помнится, сосед его Саша Удалов менял подгнивший венец у своего дома, и надо было поддомкратить угол сруба. Попросил он Виктора по-соседски помочь, и я тому был свидетель. Так тот только рассмеялся:

– Давай тыщу – помогу, а так – что я карячиться с тобой буду!

И таких некрасивых историй скопилось у меня в памяти немало. Помнится, раз на берегу реки он ногами разбросал и переломал два удилица заброшенных фидеров незнакомого рыбака, приехавшего к нам из города порыбачить – и притом кричал истерично:

– Моё это место! Убирайся вон, а то накостыляю!

Надо сказать, что рыбаком Виктор отменным был: и места он знал самые уловистые, и прикормки делал сам какие-то замечательные, но секретами своими он ни с кем никогда не делился. А ещё чутье у него на это дело было. Вот все мужики на рыбалке, а он в огороде торчит и смеется:

– Сегодня клева не будет!

И действительно: вечером все мужики пустые с реки идут.

А то вдруг: и дождь моросит, и ветер гуляет, а он на берег шагает и через час двух судаков здоровенных домой прёт.

Раз как-то я ему напомнил, что он мне стакан должен.

– Послушай, сосед, – ответил он мне, – я, когда буду выпивать, тебя не забуду и налью. А сейчас нет у меня.

– Витя, – сказал я ему на это, – я про стакан пошутил. А вот научи меня, как ты из макухи приваду свою на леща делаешь и наживку.

– Давай тыщу, и я тебе свою отдам – вот только что наготовил, – и он протянул белый шар намятого теста.

– Понял, – ответил я.

Больше я с ним ни разу не общался – противно!

Когда СВО объявили и стали набирать людей по контракту, Витя первый из нашей деревни пошел в военкомат и записался воевать на Украину.

– Да я за такие бабки до пенсии воевать готов!

В то лето я его больше не видел. Зимой я в деревне не появлялся. А по весне, уже по теплу, в конце мая, заехав к себе погостить, я заметил его, сидящего около своего дома на маленькой скамейке. Лида, хозяйка моя, доложила мне, что Татьяна, супруга Виктора, деньги контрактные целый год исправно получала, а зимой он в отпуск на неделю приезжал, медалью хвастал. Только вот сейчас из госпиталя прибыл весь израненный – неделю уже на табуретке домашней сидит да курит. Какой-то другой он стал: мужики просто его не узнают.

Я не стал выяснять – какой он другой стал, а решил сам с Виктором пообщаться. По моим понятиям, любой человек, который, защищая Родину, кровь пролил, заслуживает особого внимания.

Подойдя к избе Виктора, точнее, к сидящему на скамейке Виктору, я сразу заметил, что он как-то скукожился: маленьким стал, худеньким и подсох весь. Он курил. Рядом, в траве лежал костыль, а левая

рука была на перевязи, перебинтована и очевидно упакована в лангету. Я остановился и закурил.

– Что сосед, за стаканом пришел? Я больше не употребляю, но Татьяна своей скажу, чтобы она тебе налила. Долги надо всегда отдавать.

– Да нет, Вить – бог с ним, со стаканом. Я так – поболтать. Расскажи про себя.

– Нет, сосед, чего рассказывать? Кто на войне бывал, тот плохой рассказчик!

– Но всё равно – как тебя угораздило?

– Как-как! Кассета в десяти метрах от меня разорвалась – двадцать осколков я и словил. Десять удалили, а ещё с десятков остались во мне торчать. Ногу перебило – так вроде налаживается, а вот с рукой всё хреново: и кости в крошки раздроблены, и сухожилия перебиты. Врачи сказали, что отремонтируют, но я не верю – сохнуть будет. Хотя вот через десять дней снова в Москву, в госпиталь поеду. Остальные осколки вынимать будут. Хочешь – потрогай.

Он протянул мне правую руку.

– Видишь шарик повыше кисти, это осколок заросший, потрогай, не брезгуй потрогать солдата.

– А кем ты там, на войне-то был?

– О, у меня специальность была сложная – истребитель танков.

– Что-то я про такую специальность впервые слышу.

– А теперь и война совсем другая, не такая, как в кино.

– В смысле?

– А в том смысле, сосед, что был я на краю земли. Понимаешь меня? Нет? Вот, помню, в самом что ни на есть детстве, мой дед пришел с покоса раньше времени и говорит моей бабушке (я с ними в детстве жил): «Знаешь, бабка, на том берегу реки тоже люди живут. Я тут траву кошу, а на том берегу тоже мужик, и тоже косит – чудно». Я тогда маленький был, и понял, что для моего деда земля заканчивалась на этом берегу реки, а на том уже ничего серьёзного и нет. Я ведь в армии все два года в каком-то лесу под Архангельском служил, и вот казалось мне с тех пор и всегда, что только лес вокруг и есть. И у нас кругом лес, и под Архангельском вокруг части один только лес был. И вся Земля для меня один только лес. А там, где я целый год воевал, земли уже нет. Там все живое выбито, все леса выжжены и выбиты в хлам, в труху, в щепки, а земля железом там так нашпигована, что она уже никому не нужна будет! Никогда! Там даже трава не будет расти. Я был, я стоял на краю живой земли.

Виктор замолчал. Мы снова закурили. Я тоже молчал.

– Что, сосед, поедем завтра на рыбалку? Я пешком-то не дойду, а с тобой на «Патриоте» с удовольствием прокачусь. Я тебе такие уловистые места покажу, каких даже все наши местные не знают.

– Так чего – поедем.

– Только надо сначала в Воздвиженское, в храм съездить, помолиться – там у них праздник престольный завтра, а потом уже на рыбалку.

## ХОЧУ В СЕМЬЮ

(№ 3, 2019)

### 1

В день похорон жены своей Глафиры Алексей Александрович Вашурин сразу после поминок, назначенных в обычной столовой рядом с кладбищем, не заходя домой, отправился на вокзал, а оттуда напрямиком в родную деревню. Сначала до райцентра Семеново на электричке, потом на автобусе двадцать километров и там от трассы пешком ещё пару. Да какая она родная, деревня эта, если за последние двадцать лет и был-то там всего ничего, раз пять, не больше; а в последние годы, как похоронил отца с матерью своих, так и не бывал вовсе. По большому счету его Емелино – это и не деревня, а довольно большое село.

Заявление на административный отпуск он на заводе загодя написал, «до востребования» вроде как, ещё до смерти Глафиры – никто и не возражал, ожидаемо было. Кому он там шибко нужен, на заводе, – вахтер в ватнике.

Глафира была ему чудесной, настоящей женой – с любовью, заботой, нежностью, если бы не два больших «но»: были они с ней не расписаны, вроде как «гражданский брак» это называется теперь, и не было у них детишек общих. А были бы, так, может, и зарегистрировались ещё.

Барьером для неосуществленного их загса была причина, о которой знал лишь Вашурин, а Глафира его, может быть, только догадывалась. При расставании в больнице в последний раз после операции лечащий врач, профессор-кардиолог, сморщившись и жалостливо, пожимая руку Алексею Александровичу, предупредил его: «А с сосудами у вас всё очень и очень скверно! В любой момент там всё может лопнуть!»

Потому шли они с Глафирой к своему концу наперегонки, да вот Глафира выиграла: рак скоротечный.

Родня Глафирина как стая налетела, даже погрустить не дали как следует. Только и разговоров все три дня: кому, да чего, да сколько. Машина «Лада-Ларгус» была на Любавина записана, и относительно неё претензий никаких не было. Квартира, в которой они жили с Глафирой, по документам Ваньке отходила, сыну её старшему от первого брака, а тапочки протертые и пачку старых газет, что на кухне в углу лежат, пусть делят эти налетевшие вместе с холодильником и панелью-плазмой, что на стенке на крючке висит.

У Вашурина своя квартира есть двухкомнатная, которую они с Глафирой сдавали паре молодых женатиков с ребёнком, для собственной финансовой поддержки.

Так, рядом с Иваном, сыном её, и просидел Алексей Александрович на стуле около гроба два дня последних. Молча просидели – они и в светлые-то дни не больно разговаривали друг с другом. Если что и было дорого в этом доме Алексею Александровичу, так то уже в гробу лежало, а хвататься за барахло нажитое – только душу травить. Паспорт



да права водительские в кармане, деньги на карточке и счет в банке, телефон есть; договорились, что на девятый день он приедет и у Ивана что-то свое, что-то такое, что, может, ещё и понадобится, заберет.

На поминках ему не пилося, не поминалось, а в Семенове на станции засвербило: зашел в буфет вокзальный да махнул сто пятьдесят и кружку пива какого-то немецкого.

Водитель автобуса высадил его на трассе. Хотя раньше, когда и асфальта-то ещё не было, а было всё щебенено и забутовано, заходил автобус в село. А теперь – нет. Зато асфальт теперь – и от трассы до села. Успел к себе ещё засветло. Шел меж полей: жаворонков уже не слышно, поздно, не утро раннее, отрезвонились, но ласточек в небе чистом прорва, и высоко все – завтра снова ведро будет. Воздух встал в ожидании лета – не шелохнется. А зелень листвы свежая-свежая – не запылилась, не задумалась ещё.

Дом его, точнее родительский, самый видный когда-то в селе был, стоял дом на пригорке, над прудом сельским, прямо напротив храма. Да и сейчас он видный – место такое. Только качнулся ли он или задохнулся, а может, и оглох, и ослеп сразу: и окна все целы, только крест-накрест досками заколочены, и как будто паутиной покрылся весь он.

От дома дорога спускалась к дамбе, а за ней уже шел главный порядок, улица Центральная. Пруд этот обустроивал отец когда-то, когда сам Вашурин ещё пацаном был. Строился он как пожарный водоем, но сразу и мальков карпа запустили, и мостки для купания наладили. Пруд красивый когда-то был, да и сейчас ничего, правда, наполовину камышом берега уже заросли и от мостков остались только сходни гнилые без перил, на которые ступить страшно. Кувшинок желтые мячики радостно светятся, а вот лилии белые болотные уже уснули, наверное, уползли под воду, на ночь спрятались.

Решил Алексей Александрович заглянуть сначала к соседу Николаю, чтобы прояснить обстановку местную, а для того надо было в магазин зайти за бутылкой. Но Николай уже на завалинке сидит и подманивает Вашурину к себе пальцем. Алексей Александрович и подошел, уселся. Николая в деревне «комсомольцем» звали: и голос начальственный, а толку нет, и знает всё, а рассказывать начнет – всё перевертёт.

– За бутылкой не ходи, я сегодня норму выполнил, – начал он солидно поставленным голосом и строго посматривая, – завтра сходишь.

– Хорошо, завтра схожу, – поддержал солидный мужской разговор Алексей, усаживаясь рядом.

– Ну, и что?

– Что – что?

– Чего приехал, спрашиваю? Мне же знать надо, с меня спросят.

– Кто?

– Ты, Алексей Александрович, дурачком не прикидывайся. Знаешь ты всё. Надолго, спрашиваю, приехал?

– Сам не знаю, может, на день, а может, навсегда. Закопал я сегодня Глафиру свою.

– Это жену, что ли?

– Жену, жену.

– А как же ты теперь жить-то будешь? Пенсия-то у тебя большая ли?

– Большая, большая, подполковничья.

– А-а, ну это другое дело. Так тебе теперь просто жить негде, что ли? Мне говорили, что ты там, в городе, на птичьих правах жил. Так,

смотришь, и пригодится теперь батькин куток, – Николай подернул головой в сторону заколоченной вашуринской избы.

– Может, и пригодится, – поддакнул Алексей Александрович. – А скажи лучше, Коля, топор у тебя есть? И вообще, помоги мне: надо запоны с окон и дверей снять. Ну, доски отодрать нужно.

– Топор, говоришь? Не знаю, есть ли. Пойду у Архиповны попрошу – не знаю, даст ли. Я у неё ведро на прошлой неделе эмалированное украл и пропил. В смысле: продал, а потом деньги уже пропил. Я ж не знал, что её ведро. Смотрю, стоит – я и взял. Так что, может, и не даст. Сходи сам к ней – она ведь сродница тебе. Ты, может, забыл, что у тебя здесь половина деревни родня? По крайней мере, в старые-то времена Вашуриных тут у нас – через дом жили. А уж помочь доски-то отодрать – я тебе помогу.

Николай встал, и его крепко качнуло – стало заметно, что он не просто пьян, а совершенно никакой.

Архиповна, а точнее, тётка Наталья, или просто Наталья, топор не дала, а усадила Александра Алексеевича за стол и велела ждать сына Сашку, который вот-вот явится. А как только шлёпнул выключатель вскипевшего электрического чайника, в дверях появился и Сашка. На тракторе припылил, трактор под окошком бросил, в избу шумно зашёл.

– Са-ашк, знакомься, – протянула голосом тётка Наталья, – это дядька твой, Алексей Александрович, троюродный или пятиюродный и не сосчитаю уже сейчас. Так, ты чай знаешь его! Когда он в армию ушёл, мне, наверное, семь лет было, а сейчас он уже полковник, поди.

– Да нет, Наташ, подполковник.

– Как же так – и в прошлый раз, пять лет назад подполковником был?

– Так я же на пенсии уже десять лет. Мы, военные летчики, рано на пенсию уходим.

– Про твою Глафиру я всё знаю и про рак её. Звонила подруга мне. Я от неё про вас с Глафирой всё знаю. А сейчас скидывай своё шобоньё. Сашка сейчас там баню ладит – банный день у нас сегодня, попаришься, городской мусор смоешь, повечеряем, спать мы тебя у себя уложим, а с утра Сашка тебе поможет с домом разобраться. Как раз завтра, послезавтра выходные. Делов там немало, наверное.

Сидели вечером допоздна: всё про жизнь говорили, и самовар чая выпили (самовар, правда, электрический), и самогонки попробовали, и наливки на каких-то лесных ягодах. У Натальи беда схожая была – похоронила она мужа, и года не прошло.

– Я тебя, Алексей, тут в деревне быстро к кому ни на то пристрою – баб молодых да хороших у нас много. Это мне уже ничего не надо, а вам, мужикам, если со здоровьем всё в порядке, то и до восьмидесяти лет только подавай. Вот я на десять лет тебя младше, а рядом нас поставь, так тебе на десять лет меньше дадут.

– «Дадут», «дадут» – а чего подавай-то? – не понял, но почему-то встрепенулся Алексей Александрович.

– Чего, чего – наше, бабье! А со здоровьем у тебя как?

– Как, как – хорошо. Три стена, это железки такие, в сердце торчат, два инфаркта было, по три таблетки каждый день пью, одну утром, две вечером. И так всю жизнь пить буду.

– В смысле – до самой смерти?

– Нет, не до самой смерти, а доктор сказал, что всю жизнь.

– А у тебя ведь где-то и сын есть?

– Да должен быть, а вот где – и сам не знаю. Когда благоверная моя двадцать лет назад от меня сбежала, испугалась гарнизонной жизни, то я долго не знал – куда. А потом, лет через пять уже, мне сказали, что она в Калининграде. Поехал я туда на сына посмотреть, неделю там прожил, всё искал их, да так и не нашел.

Так за житейскими разговорами полночи и просидели.

## 2

За то время, что дом приводил в порядок, и топор, и калёвка, и стамеска как приросли к рукам-то, родными стали. Алексей Александрович и не представлял, сколько инструмента отличного, красивого да сручного в запасах у батьки его родного лежало. Сердце, а может, и не сердце, а что-то другое, там, внутри, задрожало прямо, затрепетало при виде всех этих богатств. Хороший инструмент, и столярный, и слесарный, – это радость для мужика нормального. Нормальный мужик гаечный ключ на дороге увидит, машину остановит, выйдет, подберёт, а потом уж дальше поедет.

А тут – наверное, он родился столяром, да не знал! А вот теперь разглядел или разузнал.

В батьку, значит, пошел – батька столяром был. И понял Вашурин вдруг, и сам расшифровал для себя даже – чем столяр от плотника отличается: столяр столы, то есть мебель красивую, делает, а плотник топором плоты из брёвен работает.

С домом действительно всё в порядке было, ревизию с Сашкой сделали капитальную: столбы и фундаментные, что под срубом, и под печкой русской которые, сохранились прекрасно. Печка нигде не потрескалась и не дымит. Дров в дровянике на две зимы хватит. А вот баня – того, подвела: щели между венцами такие, что ладонь пролезает, но соседский Сашка посмотрел, в загривке почесал и сказал, что всё это чепуха: не мхом, так паклей пробьём!

Трава первая, майская, еще не озаботила пока – позже выкосит, забор качнувшийся выправил, крышу шиферную менять надо, но потерпит ещё. А вот наличники, когда-то голубенькие, выцвели до серого и крошиться гнилою трухой начали. Архиповна, то есть тётка Наталья, велела наличники менять, сказала, что наличники – вход в душу хозяйскую: хозяин поменялся, и наличники менять надо.

Пошел пешком Алексей Вашурин в соседнюю деревню Губино за пять километров к какому-то своему очередному родному племяннику Стасу – даже представить себе он не мог, сколько у него тут в округе родни всякой дальней, а все его помнят. Стас был мастер на все руки, но Вашурину нужны были только новые наличники на окна, восемь штук, и размеры он снял и на бумажке записал.

Стас был мужиком мелким, молчаливым и, чувствуется, с хитринкой деревенской, молча и прищурившись разглядывал он Вашурину, пока тот ему выкладывал свою просьбу.

– А ты Вашурин ли? – спросил вдруг Стас.

– Вашурин, Вашурин – ответил Алексей Александрович.

– Дяди Сашин сын?

– Точно.

– Так пойдём в сарай. И как же это дяди Саши Вашурина сын наличники на окна на стороне заказывает, и деньги ещё платить собирается?

Сарай у Стаса был шесть на восемь, и убиралась в сарае не только машина, но и большая мастерская.

– Вот смотри – тут одному дачнику ту же работу работаю: тоже ему надо восемь наличников. Орнаменты, рисунки под прорези – я тебе сколько хочешь дам, да сам ты нарисуешь лучше, каких душе захочется, хоть с ромашками, хоть с фараонками. Доски, хоть липовой, хоть сосновой, хоть березовой, хоть любой толщины, на лесопилке за бутылку тебе мужики сколько хочешь настрогают и нарежут. Лесопилка сейчас у кооператоров городских на бывшей ферме колхозной, в аренде, что ли. Помнишь где? На полпути от нас к вам.

– Это где голые деревья сухие стоят, что ли?

– Да, да, да, голые берёзы высохшие, правильно сказал ты – голые. Сам ты, Вашурин, наличники себе сделаешь, не могу поверить, чтобы дяди Сашин сын столярку кому-нибудь заказывал. Так что смотри здесь всё, спрашивай: тут вот наличники от доски до готовых, вон уже покрашенные в голубенькую стоят. Краску там у вас, на селе, в хозяйственном, не бери, неправильная она у вас, не масляная, бодяжная, дождём смоеся. За краской в район езжай, в Семенов.

Так без заказа и ушел от Стаса Вашурин к себе домой.

А в город он съездил на девятый день: на могилку к Глафире ходил, с завода уволился, у Ивана какую-то мелочовку забрал, по рюмке с ним выпили, помянули. На квартиру свою, которую сдавал, заглянул, поговорил с квартирантами, объяснил, что едет жить в деревню, а надолго ли – не знает. А на другой день уже на машине своей, не новенькой, но и не убитой «Ладе-Ларгус», в деревню покатил – решился, значит.

Скоро наличники на окнах избы его засияли новые, яркие, жёлтые. Сам сработал, и нетрудно вовсе. Пока пилил, резал, красил, устанавливал, думалось всё время: подполковник, летчик-испытатель, неужели я не могу делать обычную мужскую работу, которую выполняют все мужики на всём земном шаре? Да любую мужскую работу подполковник, летчик-испытатель, сможет сработать.

Самое любопытное во всей этой истории с наличниками случилось на другой день после того, как засветились они, жёлтенькие, на всю деревню своим жёлтыми глазами. Пришел к Вашурину дачник-москвич, который купил тут же, в деревне, дом уже несколько лет как, и приезжает он жить сюда только летом с семьёй да с детьми, чтобы порыбачить, да поохотиться, да позагорать и покупаться, да сходить в лес за грибами-ягодами. А точнее, не пришел он, а приехал на «гелентвагене» своим, и сам пузатый такой, того и гляди, треснет.

– Хозяин, – говорит он, обращаясь к Вашурину, – мне такие же наличники нужны. Сделай, прошу тебя. Бабки плачу сразу, прямо сейчас.

Хотел было Вашурин поначалу отказаться от предложения толстяка: показалось ему, что вот это барское отношение нового русского богатея к его, вашуринскому, мастерскому умению унижает его же офицерский статус. Но как-то быстро сообразилось у него в голове, что, только зарекомендовав себя сельским, деревенским мастером, он сможет завоевать и положение, и уважение своих односельчан, с одной стороны, новых, а с другой – очень даже родных. Да и москвича этого, который к нему пришел с просьбой. А ведь так и бывало в жизни Вашурина, и не раз, что приходили к нему, правда, уже при других обстоятельствах. И поехал он к заказчику первому своему окошки замерять.

А через короткий срок к нему с заявками уже чуть не со всего района приезжать стали. Оно и понятно: Вашурин намастырился не просто

треугольнички да кружочки в дощечках своих наличников прорезывать, а мог увековечить он и год установки дома, или инициалы хозяина, или kota злого и шипящего, или мышку-норушку. В общем, с фантазией мог работать Вашурин по дереву.

И оттого, что столько людей его знают и его работу знают, и оттого, что нужен он им, теплее как-то становилось.

## 3

Мальчик незнакомый, лет шести-семи, сидел на крыльце вашуринской избы. Он шмыгал сопливым своим носом, выдувая из него пузырь, и водил пальцем по доскам половиц, как бы что-то рисуя по памяти. Он не плакал, но вздрагивал остатками рыданий, и на грязных щеках его были видны полоски, следы высохших слез.

Вашурин был не готов к такой встрече, тем не менее он тоже уселся на свое крыльцо с мальчиком рядом и спросил:

- Тебя как зовут, пацан?
- Иван. Ваня меня зовут.
- А ты где живешь?
- На том конце, – мальчик махнул рукой куда-то в сторону леса.
- А ты что – плакал, что ли? Тебя обидел кто?
- Обидела мамка. Она набила меня.
- За что?
- Ни за что – она пьяная.
- Понятно. А ты ел чего-нибудь сегодня?
- Нет.
- А вчера?
- Хлеб.
- Понятно. Сейчас я тебе дам мыло, полотенце – умоешься, а потом мы с тобой будем есть макароны с тушенкой. Будешь?

Мальчик кивнул головой.

Ваня хотя и умылся, но грязь с него по-прежнему готова была кусками отваливаться. И Вашурин, по натуре абсолютный аккуратист, испугался, что с ним тихая истерика случится от внешнего вида мальчика. У Вани кроссовки были без шнурков, а если внимательно приглядеться, то можно было заметить, что и из разных пар они, хотя это и не очень бросалось в глаза из-за пыли, футболка была надета наизнанку, а штаны порваны на обеих коленках. У Вашуринна засвербело всё внутри – поправить бы как-то Ванин внешний вид, но он понимал, что такие вещи так просто не делаются. Хотя что-то перещелкнуло у Вашуринна в голове и затеплилось что-то, и чувство это было ему незнакомо.

После макарон Алексей Александрович похлопал Ваню по плечу, пригласил приходиться завтра, а сам уселся разбираться с бумагами: надо было платить налоги за дом, да переводить землю на себя, да прописываться в деревне, чтобы пенсию здесь получать. Дел делать – не переделывать. Ваня тем временем, взяв маленькое ведёрко в сарае и подобрав нужную тряпку, занялся мытьем колес вашуринской машины. Да так старательно, да так въедливо он отмывал диски колёс, что подивился Вашурин, заметив это, когда вышел через час во двор покурить, и подумал, что напрасно он заподозрил мальчика в неряшливости: «Нет, аккуратный он. Тут другое что-то».

Вечером, правда, ещё засветло, июньские вечера длинные да теплые, сидели вдвоем за столом, пили молоко с хлебом. Через день Вашурин



брал у тетки Натальи кринку молока и десяток яиц. И вообще, надо сказать, деревня богатая была: стадо деревенское – тридцать коров, не считая коз и овец. После молока вышли на крыльцо, и Вашурин спросил у мальчика

– Ну что, Ваня, до дому добежишь?

– Добегу, – с глубоким тяжелым вздохом ответил Ваня и пошел по дамбе на ту сторону.

Вашурин вроде как даже и не удивился, увидев рано утром на крыльце свернувшегося калачиком и завернувшегося в старый рваный половик спящего Ваню. Ну прямо как собачка какая. Вашурин взял мальчика на руки и отнес его в дом, и положил его на кушетку, накрыл своим одеялом – мальчик не проснулся.

Вашурин обычно не завтракал с утра, только кружку кофе сладкого растворимого выпивал. Так и в этот день. Он уже работал в крытом дворе, который когда-то у родителей скотным был – и для коровы, и для поросенка, и под курей, а вот теперь, вычищенный, да облагороженный, да освещенный, в мастерскую превратился, когда к нему вышел заспанный Ваня.

– Ты чего не дома ночевал? – без обиняков и даже сердито спросил Вашурин.

– А там, дома, мамки не было, а какие-то двое мужиков пьяные ругались – я и вернулся сюда.

– Что за мужики? Незнакомые, что ли?

– Незнакомые. То есть – не наши, они из Горюнова, из деревни соседней. Я их там видел.

– Так, давай, я тебе молока налью и яичницу сделаю. Ты ешь, а я пока к тетке Наталье схожу. Посоветоваться мне надо.

Тетка Наталья в огороде возилась.

– Присядь, – махнула она на завалинку, поняв, зачем пришел Вашурин.

Тетка Наталья популярно и на пальцах объяснила ему, что в районе у них ни материнских прав, ни прав человека, никакой социальной защиты нет; ни матери-одиночки, ни матери-алкоголички никого тут не интересуют, море их.

– Школа у нас в селе одна на всю округу. Мальчику Ване в школу идти в этом году – как и куда он пойдет, непонятно. Мы, бабы, думаем – ничего придумать не можем. Мать его, Ирка, спилась за год – в прошлом году мужа ее Серёгу, мужика работающего, трактором задавило. Так вот: год – и от бабы ничего не осталось.

Она не наша, не местная, Серёга её из Прибалтики привёз, из Латвии, что ли. Рига – это Латвия? Ездил он туда к друзьям отдыхать да и познакомился. Она и говорит-то так, что половины слов не поймёшь. Ильзой её по-ихнему звать. Это наши уже стали её Ирккой звать, а сейчас уж и вообще: Ирка-Криводырка. Поначалу приехала – по деревне в шортах, коротеньких штанишках таких ходила, девок наших курить да пиво пить учила. Дома у неё всегда всё было чистенько да аккуратно, а вот огородом заниматься она – ни-ни! Хотя мне говорили, что там, в Латвии, народ хозяйственный в смысле огородов. Да, видать, с гнильцой в любом народе экземпляры попадаются.

Родительских прав её не лишишь, мы уже думали – там у неё свои варианты и прихваты есть. Не такая она дура, или – не так уж она пока ещё и спилась. Но очень быстро она катится. Скорее всего замерзнет Ванька Иркин этой зимой, как прошлой зимой в Горюнове уже было:



двоих ребятишек малолетних, мальчишку с девчонкой, заперли в февралю в чулане холодном (это при минус-то тридцати), чтобы не орала и не мешала вино пить. Потом заснули родители счастливые и забыли их там; проснулись, а в чулане не детишки, а ледышки замороженные – аж звенят!

В общем, беда, и не знаю, что тебе посоветовать. А ты сходи да познакомься с ней. Только предупреждаю – хамоватая, да наглая она, да беспардонная.

## 4

Ирка сидела на завалинке своей избёнки в таком непотребном виде, что Иркочкой её, и Ильзой тоже, назвать было сложно: что-то истерзанное, оборванное, мычащее и ни на что не похожее, но живое. Алексей Александрович даже засомневался – а не подойти ли сюда в другой раз или попозднее! Хотя ничего не изменится – это было очевидно.

– Любезнейшая, – обратился Вашурин к этому существу, которое пыталось, опираясь на руку, удержаться на завалинке и не свалиться.

Как ни странно, существо отреагировало и, встрепенувшись, превратилось в женщину. В грязную, непричесанную, растрёпанную, с мутными глазами и даже с синяком, но женщину – это было очевидно.

– Мужчина, присядьте на минуточку – я сейчас приду в себя, – Ирка пыталась усидеть на завалинке и не упасть на землю. – Мужчина, опохмели меня, а то я сейчас умру.

– Любезнейшая, – попытался Вашурин ещё раз пробиться к сознанию пьяной женщины, – это вас зовут Ильзой? И не вы ли мать мальчика Вани?

Кажется, вроде пробился!

– Да, я – Ильзе. Ваня – мой сын. А что с ним?

– Да ничего. Просто он ночевал сегодня на крыльце моего дома, и я заволновался – не бросились ли вы искать его.

– Нет, не бросилась. И это... он предупредил меня, что будет ночевать у товарища. А ты кто? И зачем тебе мой Ваня?

– Мне ваш Ваня не нужен. Но, видимо, он и вам не нужен. А фамилия моя Вашурин. И потому – если будете искать Ваню, то он у меня переночует, и вам волноваться не следует.

– Как это? И почему у тебя? А ты не этого, в смысле того?

– Что того?

– Ну, не с мальчиками любишь того?

– Нет, я не с мальчиками. А про меня можешь расспросить у тётки Натальи.

– Тогда я скажу тебе так, – в голосе у пьяной женщины прорезались театральные нотки, – сейчас ты мне приведешь ко мне моего Ваню, и я займусь его воспитанием. Или, вообще-то, есть вариант замены. Ты слушаешь меня?

– Слушаю, слушаю...

– Ты идешь сейчас в магазин, покупаешь мне мой продукт, приносишь бутылку сюда и можешь идти воспитывать моего Ваньку.

После этих слов пьяная женщина всё же не удержалась на завалинке и, взмахнув рукой, свалилась на землю. Какое-то время она, стоя на карачках, пыталась подняться, но силы все же оставили её, и она, свалившись, уснула под окнами своей избы.

Ни за какой бутылкой Вашурин, конечно, не пошел, а пошел он через всё село к себе домой, наполненный омерзением. Много он видел грязи на своем веку: и в деревне у себя, пока пацаном был, и в солдатском быту, и в офицерском, и на войне... Но женщина, жена, мать были всегда понятиями святыми при любых обстоятельствах, в любых склоках, в любых конфликтах, самых безобразных и самых кровавых, а тут...

Ваня перемыл все тарелки, стаканы, кружки и кастрюли в доме и теперь из маленького полиэтиленового ведра мыл полы в большой комнате: видимо, помнил ещё, как это делала когда-то его мать.

– Ты к мамке ходил? – спросил он, стоя с тряпкой в руке и глядя на Вашурина взрослыми и умными глазами.

– Ходил, – ответил Вашурин.

– И что?

– Да ничего. Ты сейчас полы домоешь, и мы с тобой поедem в район, купим кое-что тебе из одежды – вечером баню топить будем. Ты баню топить умеешь?

– Умею. Меня папка учил, пока он жив был.

В райцентре, в Семенове в смысле, в магазине купили Ване и штаны, и маек три штуки, и носки, и трусы, и кроссовки, и ещё всякого барахла не перечесать, и в «Продукты» зашли.

Вечером после бани чай пили с пряниками детскими.

Потом Ваня лег спать – в чистую постель на свежую простыню, Вашурин обустроил ему лежанку на надувном матрасе на полу около печки.

– Вашурин, а как мне теперь тебя звать? – спросил, уже лёжа и высунув только что нос из-под одеяла, мальчик.

– Как, как – так и зови: Алексей Александрович.

– Нет, так не пойдет!

– Почему же?

– А потому, что у нас с тобой теперь семья. Давай я тебя буду звать папа Алёша?

– Ну, давай, я не против.

– Ещё я хотел спросить у тебя, папа Алёша.

– Что?

– Вот ты таблетки какие-то пьёшь и утром, и вечером, это что – ты больной, что ли?

– Да, у меня сердце больное, и в кровеносных сосудах, которые к сердцу подходят, у меня стоят стенты – гильзочки такие расширительные. Но однажды они меня не спасут, и тогда я засну навсегда или не проснусь.

– В смысле – умрёшь?

– Да, но ты не бойся – все когда-нибудь умирают.

– А я не боюсь – я видел мёртвых. И знаешь, что ещё, Вашурин? В смысле – знаешь что, папа Лёша?

– Что?

– Женщина нам с тобой нужна.

– В смысле? Зачем нам женщина?

– Ну как же? У нас получается не полная семья. А если будет женщина, то будет настоящая семья. Ты не волнуйся – я не бабу тебе предлагаю. Не то чтобы там жениться тебе надо. Нет – просто в доме нужна женская рука. Я это точно знаю. Ну, про это мы завтра с тобой поговорим.

На том Ваня и заснул.

Если на завтра разговора про женскую руку в доме и не произошло, то это совсем не значит, что про неё кто-то забыл. Женская рука в доме появилась через два дня. И проявилась она в самом неожиданном качестве.

Уже второй месяц Вашурин думал, как ему обустроить огород и усад, который тянулся от дома прямо к оврагу, а дальше спускался к пруду. Когда-то, в детстве, там, на грядках, и репа, и морковь, и редиска, и лук, и чеснок, и огурцы росли и проживали – да всё, чем жив русский деревенский человек. Да и под картошку пятнадцать соток, которые польнью сейчас заросли, стоят неприкаемые. Земля там как пух должна быть: десятки лет весь навоз из коровника, перепрев, прямиком в эту землю шел.

Вашурин вернулся домой далеко после обеда: в район заказ отвозил. Зайдя в избу, он окликнул своего Ваню – ответ послышался с участка. Прямо под окном, выходящим в огород, он увидел своего мальчика; Ваня был не один: с ним копалась в земле ещё какая-то девочка. Девочка была постарше Вани, но уж больно худа: ножки и ручки будто спиченки, шейка – хворостиночка, косички – хвостики мышинные. Штаны мальчишечьи на девочке перекособочены и почти сваливаются, а торчат их них острые косточки, пергаментной кожицей прикрытые. Майка на ней тоже была не поймешь с чьего плеча, а обута она в сапожки резиновые.

Вашурин вышел через двор на свой заросший и неухоженный пока что огород. Небольшой клочок земли, буквально два квадратных метра, прямо рядом с завалинкой, был старательно вскопан и обихожен граблями, и лопата ржавая и грабли из сарая валялись рядом. Девочка оторвалась от грядки своей и устала на Вашурину с застывшим лицом, выражавшим неопределённое состояние: то ли радость от встречи, то ли вынужденное признание какой-то своей вины за неизвестное пока что ей самой неправомерное действие.

– Давай знакомиться, – сказал Вашурин, обращаясь к девочке, но ответил за неё Ваня.

– Знакомься, папа Лёша. Это – Танька, подружка моя. Это я так придумал её называть – подружка. Помнишь, я тебе говорил, что нам в доме женщина нужна? Так вот, Танька у нас с тобой хозяйкой в доме будет. И будет тогда у нас с тобой настоящая семья!

– Это я уже понял. А что вы тут делаете?

– Лук сажаем.

– А зачем вы лук сажаете?

– Как же? Он же расти будет. Лук должен расти.

– Так, – ответил Вашурин, – я что-то приустал, видимо, с дороги и не очень хорошо понимаю вас. Давай пройдем в дом, сядем и поговорим на эту тему серьёзно.

– Пойдем, поговорим, – откликнулся Ваня, – а ты, Танька, сажай пока свой лук.

– Не-ет, Ваня. Пусть твоя Танечка идет в избу с нами. Раз мы с тобой семья, то я хочу познакомиться со всеми твоими друзьями, чтобы знать про тебя всё-всё-всё.

В избу, точнее в горницу, прошли все трое уже босиком, так часто летом в деревнях наших поступают. Ребята уселись на стулья, а Вашурин, включив электрический чайник, прошел к кухонной раковине помыть руки. Только после этого уселся он рядом с ребятами.

– Вот теперь, Таня, расскажи мне, кто ты и откуда и как здесь появилась и зачем?

– Давай, я расскажу, папа Лёша? Так...

– Нет, ты, Ваня, помолчи. Я хочу Таню послушать. Ну-у?

– Я из Семенова к бабушке приехала. Меня мамка выгнала, – просто и без запинки ответила девочка.

– И где же живёт твоя бабушка?

– Нигде она не живёт – она умерла уже. Она почти год назад умерла.

– Так, а как же мама-то тебя к ней отправила?

– Так мамка пьяная, она и не помнит уже, что бабушка, то есть её мамка, уже умерла. Она, мамка моя, и осенью, когда бабушка умерла, к ней на похороны пьяная поехала, а назад привезли её на чужой машине какой-то и просто свалили около дома. А жила бабушка у Ваньки в соседнем доме, он сейчас закованный стоит.

– Так и куда же ты поехала?

– А не знаю я. Сейчас каникулы, я второй класс закончила, хватит. А раз мамка выгнала, значит – взрослая жизнь началась. Буду думать, как жить.

– Ну, думать, наверное, все же мы будем, взрослые, а вы всё равно ещё дети, у вас всё равно ещё детство.

– Нет, Вашурин, вы даже не понимаете, когда у нас взрослая жизнь начинается. И за дураков или за детей, Вашурин, ты нас не считай: таких, как мы с Ваней, ой, как много. И в семье каждому жить хочется, и даже не для того, чтобы детство было, а просто так. А – не получается! Вот я завтра буду стирать ваши с Ванькой майки с сорочками, я уже и корыто, и мыло, и порошок нашла. И стирать буду не по-детски, а по-взрослому. Мне ведь тоже в нормальную вашу семью хочется, – последние слова девочка произнесла совсем уже тихо, и Вашурин чуть расслышал их.

– Ты, папа Лёша, Таньку сразу не прогоняй, она нам пригодится, и вообще – я её хорошо знаю и поручиться за неё могу. Знаешь, она у своих никогда ничего не ворует. И главное: ты знаешь, она тоже хочет, чтобы у нас была семья. Как и мы с тобой. Давай её возьмём в нашу семью.

– Ладно, вы пока тут чай пейте, а я к тётке Наталье схожу. А потом надо и дом Танин посмотреть, проверить, уж там осталось.

– Папа Лёша, ничего там не осталось, уж я-то знаю. Пионеры и комсомольцы уже всё, что можно было, сперли.

– А ты откуда знаешь? И кто такие пионеры и комсомольцы ваши?

– Дом этот с нами соседний, и я там всё вижу и всё знаю. Пионеры – это пацаны, которым надо украсть и продать, а комсомольцы – это мужики-пьяницы, которым бы только бы выпить, и всё. Ну, а для этого тоже – сначала украсть надо. Так что и не ходи туда.

– Ну, я всё же к тетке Наталье схожу, посоветуюсь. А вы что там, в огороде, делали?

– Папа Лёша, Танька моя, ну, наверное, теперь уже наша, любит, когда все вокруг цветет и растет, и плодоносит. Ну, она так говорит и так считает. И правильно это: все женщины должны в жизни рожать и растить, а если женщина не растит и не следит, чтобы правильно росло, и не воспитывает, и не ухаживает, то это и не женщина, а не поймешь что. Недоразумение! Или детей они должны родить и растить, или коров, или курей, или картошку, в конце концов. Вот Танька сегодня украла

варежку, точнее, голичку с луком-севком, и сразу пришла ко мне, чтобы посадить. Мы уже грядку сделали – сейчас Танька сажать будет, а я буду следить.

## 6

Тетка Наталья только руками взмахнула, услышав от Вашурина про новую его девочку Таню.

– Ты, Алексей Александрович, совсем с ума не рехнулся? Я понимаю, что ты человек богатый и можешь себе позволить два рта детских прокормить, обушь их и одеть, но ведь учти – а все ли законы ты соблюдаешь? И на каждый роток не накинешь платок. А может, уже и разыскивают твою девочку, а ты её прячешь. А в милиции знают, где она?

– Знаешь что, Наташа, я ведь не для того к тебе пришел, чтобы эту девочку в детский приют отправить, а мать её родительских прав лишить. Это дело нехитрое и нашего с тобой ума для этого не потребуется. Только через пять или семь лет из этой девочки воровка или проститутка вырастет, через пятнадцать её уже кладбище ждёт. Редко кто из приютов этих детских современных в люди выбивается. Семья ей нужна.

– Знаю я это. Была я в таком приюте как-то раз. Это ведь у вас, в городе, ребятишки на улицу рвутся из под родительской опеки, стоят в подъездах, курят, дворовой романтикой наслаждаются. А у этих всё наоборот: улицы им – во, по самую маковку хватило, им в семью хочется. Вот ты возьми да усынови или удочери их обоих – вот и выход из положения. Сначала женись на Ванькиной Ирке-Криводырке, Ильзе в смысле, потом Ваньку усыновишь, а дальше – разводишься и Ваньку с собой оставляешь. Зная, что Ирка – алкашка, суд Ваньку с тобой оставит. А потом и с Таней, девочкой этой. Вот и вся проблема твоя решена. Зато будет у вас очень необычная семья.

– Это всё, Наташа, я бы, может, и проще сумел бы решить, да вот забывает ты, что недолго мне тут куковать осталось. Я же тебе говорил, что мы с Глафирой наперегонки шли, только она опередила меня. И рисковать ребятишками я не могу. Они этого удара могут не выдержать. Вот сегодня очень горячо в груди было, так у меня перед инфарктом последним тоже было – очень горячо.

– Они, эти твои ребятишки, такие удары уже по жизни выдержали, что, по-моему, выдержат все что угодно. У нас на Руси такие кошмары семейные вечно творятся, что люди, то есть дети, железными вырастают. И все войнушки взрослые им потому забавами детскими и кажутся.

– Наташа, Наташа! А могу я ещё к тебе с одной просьбой?

– Да, конечно, Лёша.

– Вот, есть у меня заначка небольшая денежная, двадцать тысяч долларов, спрячь их у себя. Если мне понадобятся когда-то деньги такие, я у тебя их спрошу, а если что-то плохое случится со мной, то, прошу, – потрать их так, чтобы ребятишкам этим помочь. Или опекунство оформи, или в хороший детский дом определи их, есть сейчас частные, хорошие, – Вашурин передал тётке Наталии сверток, упакованный в полиэтиленовый пакет.

– Лёша, я ничего в этих долларах не понимаю и понимать не хочу. Вот как дал ты мне этот сверточек, так я его и сохраню. Не волнуйся!

Дети сидели за столом, когда Вашурин вернулся.

– А вы чего сидите? Я думал, что вы уже поели.

– Нет, папа Лёша, если уж мы теперь семья, то должны, как и положено в семье, завтракать и ужинать вместе.

– Ну, хорошо, я не против. А что у нас на ужин сегодня?

– А Танька наша сварила кашу гречневую, а я за молоком сбегал.

– Тогда я руки сейчас мигом помою и уже готов.

– Так, – уже садясь за стол, объявил Вашурин, – завтра мы втроем с Таней и с теткой Натальей едем в район, в Семенов, – надо кое-что прикупить. Ты, Ваня, остаешься завтра за старшего в доме. Ясно?

– Ясно, – ответили хором.

– Таня, ты сейчас идешь ночевать к тетке Наталье, а завтра уже мы определим тебе место здесь в нашей избе. Ясно?

– Ясно.

– Если ясно, то ещё – сначала постриги ногти, прежде чем пойдешь к тетке Наталье. А то у тебя под ногтями траурные ленточки видны.

– Хорошо. Папа Лёша, а мне завтра с утра сюда приходиться или вы сами зайдёте за нами к тётке Наталье, и мы оттуда уже поедем?

Наутро к тётке Наталье прибежал с выпученными глазами Ваня.

– Тетка Наталья, а папа Алёша умер. Я его толкал-толкал, а он ничего. Я за ногу потрогал его, а он ещё вовсе не холодный, а тёплый. Его хоронить надо.

– Ох, вы, горе вы моё луковое! – запричитала тётка Наталья, и сразу видно стало, что она тоже уже годах. – Тащи, Ваня, свою Таньку сюда. В сенях она чего-то колупается. Сидите здесь на диване и ждите меня.

Тётка Наталья накинула на голову темный платок огромный какой-то, махнула им, как крылом, и, что-то про себя шепча вполголоса, вышла на улицу.

– Танька, – шепотом вдруг спросил Ваня у своей подружки, когда они уже сидели рядом на диване, – а давай папу Алёшу похороним в огороде у нас. Я по телеку слышал, что в Америке сейчас делают семейные кладбища. Вот и у нас будет свое кладбище, прямо под окнами.

– Нет, Вань, наверное, это не разрешат. Это что же – кто где захочет, то там кого угодно и хоронить будет? Нет.

– Ну, кого хочешь, где хочешь – нельзя! А вот заслуженных, необычных людей можно. Вон я по телевизору видел, что для фараонов пирамиды в Египте прямо посреди пустыни ставят, а мавзолей Ленину, что на Красной площади? Я считаю, что Вашурин можно в огороде у нас похоронить. Земля-то в том огороде его, Вашурин. И будет у нас своё семейное кладбище.

– А жалко, что Вашурин умер, – не успела я в семье пожить.

– Конечно, жалко. Я вот и успел немножко, а всё равно жалко.

Послышался стук входной двери. На улице послышался голос тетки Натальи, она что-то спрашивала у своих курей и у петуха ихнего, рассчитывая их поругать. В избу вошел Вашурин.

– Что же ты Ваня, друг мой ситный, будил меня так плохо? Тётку Наталью напугал до полусмерти. Да уже и похоронить меня решили, что ли? Где хоронить-то будешь?

– В огороде. Да не буду я тебя хоронить – что ты чепуху какую-то мелешь? Мы ещё за грибами всей семьёй с тобой и с Танькой сегодня пойдём.



## Николай СВЕЧИН

*Нижний Новгород*

(№ 4, 2023)

### В ЧЕЧЕНСКИХ ГОРАХ

Август 1878 года вольноопределяющийся Сто шестьдесят первого Александропольского пехотного полка Алексей Лыков встретил в горах. Их партизанская команда выслеживала непримиримых – участников прошлогоднего газавата. Само восстание было давно подавлено. Чеченцы и дагестанцы ударили в спину русской армии, когда та сражалась с турками. Зачинщиками выступили паломники. Они возвращались из Мекки через Константинополь, где встречались с мухаджирами – беженцами, переселившимися с русского Кавказа в Блистательную Порту. Мухаджиры ненавидели царскую власть и мечтали вернуться на родину. Сотни их тайно проникли в Терскую область и готовили там бунт. Идея была возродить на Кавказе имапат по образцу Шамиля. Свергнуть урусов и создать мусульманское государство, живущее по законам шариага и подчиняющееся вождю всех правоверных – турецкому султану. Добавляли масла в огонь беглые ссыльные. Начальство в наказание за беспокойное поведение отправляло их в центральные русские губернии под надзор полиции. Надзор, однако, был такой, что туземцы быстро возвращались в родные горы и селились среди единоверцев, которые их прятали. Наводненный эмигрантами и беглыми, край походил на пороховую бочку, готовую взорваться в любую минуту. Фитилем для взрыва и стала начавшаяся война.

Вождем бунта неожиданно для всех сделался Алибек-Хаджи Алдамов из Зандака. Ему было всего двадцать семь лет, когда молодой чеченец вернулся из паломничества. В Константинополе хаджи встретился с турецким генералом Гази-Магомедом, сыном Шамиля. В свое время тот принял вместе с отцом и братом присягу на верность Александру Второму. Потом он выпросил у государя разрешение отлучиться ненадолго в Турцию, чтобы уладить отношения с родственниками. Забрал огромную пятнадцатитысячную пенсию и остался там навсегда, нарушив данное слово. Теперь Гази-Магомед готовил восстание в тылу русских войск. Он обещал Алдамову, что османы высадят десант на Черноморском побережье Кавказа и придут на выручку повстанцам. С двух сторон задавят русских и водрузят зеленое знамя ислама...

Когда началась война, Алибек-Хаджи подбил своих однообщественников взяться за оружие. Его избрали имамом. Вспыхнуло кровавое восстание, получившее название малый газават (большой был при Шамиле). Пламя восстания перекидывалось от аула к аулу. К Зандаку присоединились многие общества, но не все. Например, Гудермес и Шали встретили бунтарей выстрелами. Старшина Шали прапорщик

Борщих Ханбулов убедил земляков, что власть белого царя крепка, восстание не имеет шансов на успех и лишь принесет народу горе и лишения\*. Ряд других селений дали своих мужчин в отряды милиции, которые помогали немногочисленным войскам бороться с мюридами Алибека. Того, в свою очередь, поддержали дагестанцы. В Гунибском округе объявили имамом Мухаммад-Хаджи Согратлинского, осадили Гунибское укрепление и перерезали сообщение по дорогам. А Мехти-бека назвали имамом всего Кавказа и уцмием\*\* Кайтага и Табасарана.

В мае 1877 года турки действительно высадились в Очамчире, Гаграх и Адлере. Но до Чечни с Дагестаном они не добрались, да не очень-то и старались. Уже в августе их выкинули обратно. И повстанцы остались один на один с русской армией. Мятежные аулы сжигались, посеы уничтожались, жители переселялись на равнины. Алибек-Хаджи метался по Ичкерии и Салаватии, постоянно возвращаясь в родные ему Симсирские леса. Он считал свой хутор Симсир неприступным для противника. С одной стороны селение окружал непроходимый лес, а с трех других – глубокие овраги. Но регулярные войска при поддержке туземной милиции преодолели все препятствия. Власть щедро платила своим и союзникам. Милиционеры получали пятнадцать рублей жалованья в месяц. А за каждого доставленного повстанца, независимо, живого или мертвого, выдавали двадцать пять рублей. Охочие до денег смельчаки озолотились.

К октябрю мятеж был в целом подавлен. Алибек надеялся на осеннюю распутицу, когда воевать в горах нельзя, и заперся в очередном неприступном ауле у подножия горы Дарум. Аул расположился в треугольнике, образуемом реками Беноевский Ярык-Су и Ауховский Ярык-Су. В вершине треугольника реки сливались, их глубокие ущелья служили защитой повстанцам. Имам создал там лагерное место с большими запасами вяленой баранины, чая, сахара, масла, красных товаров. Взять его осенью было очень трудно, почти невозможно. Но среди горцев нашелся предатель. Богатый чеченец Бий-Султан был скомпрометирован перед властями, его ожидало наказание. Желая спасти имущество, он предложил генералу Смекалову, командующему карательной экспедицией, привести отряд тайными тропами через горы прямо в аул. Генерал согласился. Он выделил большие силы для создания в лесах множества засад. Когда в селении завязался бой, восставшие в панике бросились в разные стороны. И попали в засады, где их нещадно истребляли. Начались травля и избиение беглецов. Алибек-Хаджи спасся всего с пятью сообщниками.

Имамат доживал последние дни. Один за другим пали Цудахар и Телетль. Их сначала разрушили артиллерией, потом взяли штурмом и сожгли дотла. Последним склонился Согратль. После двухдневных боев его жители выдали военным руководителей обоих восстаний – и чеченского, и дагестанского. Мухаммад-Хаджа Согратлинский, его отец шейх Абдурахман-Хаджи, Аббас-паша, Умма-Хаджи Дуев, Даду Залмаев и Даду Умаев оказались в плену.

Из вождей один лишь неуловимый Алибек вновь выскользнул из окружения и вернулся в Чечню. Но уже через три недели он тоже

<sup>1</sup> Впоследствии Борщих Ханбулов получил за это от правительства большую пожизненную пенсию. (Здесь и далее примеч. автора.)

<sup>2</sup> Уцмий – правитель.

сдался – чтобы не пострадали принявшие его аулы. По всей Терской области начались военно-полевые суды. Власти отказались от прежней тактики умиротворения и мягких репрессий. С 10 по 30 ноября в разных местах были казнены более трехсот человек. Главного атамана, Алибека-Хаджи Алдамова, и одиннадцать его ближайших сподвижников повесили 9 марта 1878 года на базарной площади в Грозном.

Открытое неповиновение широких масс было подавлено. Однако в горах остались непримиримые – власти называли их недобитками. Счет им шел на сотни, и они представляли большую опасность. Военная администрация создала для борьбы с инсургентами так называемые партизанские команды. Партизанскими их именовали потому, что те действовали без всякого руководства сверху, на свой страх и риск. Впервые их придумал начальник Терской области генерал-адъютант Свистунов. Когда бунтовщики перерезали дороги и нарушили сообщение с Ведено, он выслал на борьбу с ними отряды с особыми полномочиями. Партизаны патрулировали дороги и убивали всякого, кто казался им подозрительным. Без суда и следствия. Террор принял такие масштабы, что запуганные жители окрестных селений держались от дорог подальше. Когда вождей перевешали, команды сначала распустили. Но летом 1878 года часть их была заново сформирована. С одной разницей: если в прошлом году средняя численность штыков в них составляла сто – сто пятьдесят человек, то теперь максимум десять-двенадцать. Активная фаза войны закончилась, и отряды сделали небольшими, для лучшей маневренности. Отчаянные люди силой в одно неполное отделение шли во враждебные горы. И резались там с абреками, дезертирами, беглыми ссыльными... Кровавые схватки шли каждый день, без свидетелей, без подмоги из крепостей, без начальственного глаза, по принципу «кто кого».

Алексей Лыков к лету излечился от раны, полученной при штурме Цихидзирских высот. Он мог уже ехать домой – доброволец с Георгиевским крестом, со шрамом под самым сердцем. Но решил дополнительно испытать себя. Его сманил Калина Голунов. Пластун, видать, не навоевался досыта и записался в партизанскую команду очищать ущелья Ичкерии. Там шалили разрозненные группы бывших инсургентов. Вольноопределяющийся согласился. Правда, затем их разделили. Голунова как опытного командира назначили помощником начальника сводного отряда из пяти партизанских команд. А Лыков попал в кормишинскую артель. Так называлась команда старшего унтер-офицера Ширванского полка Сергея Михайловича Кормишина. Он не уступал самому Калине, в ничьей опеке не нуждался и действовал с большой храбростью, помноженной на опыт и тщательный расчет.

Нижегородец быстро понял, что с командиром ему опять повезло. У Кормишина было чему поучиться. Сергей Михайлович воевал на Кавказе уже двадцать лет. Он участвовал еще в штурме аула Гуниб и пленении Шамиля. Жилистый, неутомимый, наблюдательный, наверняка опытный, старший унтер-офицер всегда добивался результата. Его артель уничтожила больше всех мятежников при самых малых потерях. Командование ставило Кормишина в пример остальным, а по итогам летней кампании он получил третьего Георгия. (Лыкову тогда же навесили Аннинскую медаль<sup>1</sup>.)

<sup>1</sup> Знак отличия ордена Святой Анны – награда для нижних чинов за особые подвиги и заслуги, проявленные не на поле боя.

Начальник переговорил с Калиной, затем расспросил Лыкова и принял его к себе, несмотря на молодость. Кроме них двоих в артель входили еще семеро.

Два казака-терца из Кизляро-Гребенского полка держались вместе. Оба именовались Александрами: высокий – по фамилии Гурин и низенький – Баюнов. Их называли Шура Крупный и Шура Мелкий. При этом Баюнов был сильнее и ловчее своего товарища-гиганта. Веселые, бывалые, они пользовались большим успехом у женщин всех народностей. И тут уже Гурин побеждал Баюнова.

Василий Листопадов ставил себя высоко и жил особняком. Его кличка – Васька Стрелок – была получена не просто так. Листопадов великолепно стрелял и охотно применял свои навыки. Всякий солдат убивает в бою: там думать некогда, или ты врага, или он тебя. Но в передышке между схватками служивый закурит трубку, поболтает с приятелем, вспомнит о доме. А Васька брал винтовку и выходил на охоту. Он занимал позицию на ничейной полосе и ждал добычи. При появлении зазевавшегося противника стрелял и всегда попадал. Солдаты не любили его за тягу к убийствам. Листопадов сделался в роте изгоем, с ним не разговаривали, не делились табаком. Он замкнулся и стал только злее. Потом его ранили. Стрелок вылезился и на войну не вернулся, а подался бороться с повстанцами. Там за убитого горца платили четвертной билет! Васька открыл промысел и заработал за осень 1877 года триста с лишним рублей, а также получил ефрейторскую лычку. Деньги он носил при себе, не доверяя никому, и время от времени вынимал и пересчитывал. Чем еще больше настраивал против себя товарищей.

Когда Лыков пришел в артель, они со Стрелком выяснили, кто из них лучше. Алексей показал класс, он не уступил в меткости, хотя дольше целился. Листопадов зауважал парня и даже показал ему несколько секретных приемов. Вольноопределяющийся их запомнил.

Харитон Бындарь, Иван Толстопят и Макар Кляузин были просто хорошие солдаты с боевым опытом.

Замыкал артель анекдотичный персонаж – Иоганн Пупершлаг. Саратовский немец выращивал горчицу, когда началась война с Турцией. Его призвали из ратников – бедолага вытянул жребий. А до этого он благополучно проскочил жеребьевку, шмыгнул в ополчение, минуя срочную службу, и собирался жениться. Неуклюжий, но по-немецки аккуратный, Иоганн обречен был пасть на поле боя – он совсем не годился для войны. Но Двадцать первая пехотная дивизия на театр главных действий не поехала, а занялась подавлением восстания в тылу. Кормишник встретил Пупершлага в Дагестанском нагорном отряде полковника Накашидзе, пожалел и взял под защиту. Сначала пристроил денщиком к полковому адъютанту, а потом помог перейти в кашевары. Весь прошлый год немец кухарничал. Теперь он попросился в кормишинскую артель на ту же роль кашевара, и Сергей Михайлович согласился.

Таким образом, вся партизанская команда состояла из восьми нижних чинов под командой унтера. Вооружены они были по-разному. Казаки предпочитали шашки и кинжалы, а вместо винтовок имели карабины. Листопадов все внимание уделял горячему оружию. Он достал где-то винчестер модели «мушкет». Магазиновая винтовка имела семнадцать зарядов! В руках меткача это было страшное оружие. Василий носил его в чехле, постоянно смазывал, протирал, ухаживал за ним, как за невестой.

Лыков до этого воевал в команде пешей разведки Рионского отряда. Охотники добыли себе лучшие образцы, что имелись у турок. Алексей взял хороший трофей – тоже винчестер, но двенадцатизарядный, образца 1876 года. С ним он и подался в партизаны.

Остальные артельщики ходили по горам с однозарядными берданками. А у Пупершлага вообще была передельная\* винтовка Крнка, которую он забросил.

Команда уже две недели лазила по горам восточного угла Веденского округа, в треугольнике между селениями Таузен, Махкеты и Элистанжи. Они выдвинулись из крепости Ведено – столицы округа и всей Ичкерии, прошли на восток около сорока верст и разбили лагерь на берегу реки Бас. Отряд прочесывал местность, оставляя на хозяйстве кашевара и с ним, по очереди, одного солдата. Остальные семеро ходили вместе, стараясь не выпускать друг друга из виду. Война в этих местах кончилась меньше года назад. Да и то сказать – горцы замирились для видимости. Ненависть к русским осталась. Ее сильно подпитывали репрессии. Все мало-мальски влиятельные и образованные люди так или иначе оказались замешаны в волнениях. Теперь настал час расплаты. Семейных выселяли в город Опочка Псковской губернии, а также в глухие местности Новгородской и Архангельской губерний, несемейных – в Томск и Тобольск\*\*. Оставшееся население было обложено трехрублевым подушным сбором на возмещение убытков казне и частным лицам, причиненных восстанием. Для нищих чеченцев это были большие деньги, особенно после карательных экспедиций, сжигавших аулы, конфисковывавших скот и уничтожавших посеы.

Группы непримиримых прятались в лесах, местные жители их укрывали и кормили. Поэтому первое, чем занялся Сергей Михайлович, это поиск и вербовка осведомителей из числа туземцев. Для этого ему в штабе крепости выдали двести рублей золотыми пятерками. Партизаны не только прочесывали окрестности, но и заходили на хутора и в аулы, разговаривали с жителями, пытались привлечь их на свою сторону.

Команде поручили поймать и доставить в Ведено одного из непримиримых – Джамболата Алибекова из Хатума. Он был помощником здешнего вожака бунта Лорис-Хаджи Гериева, повешенного весной в Грозном вместе с главными атаманами. Гериев был из Таузена, отчего за этим селением Кормишин наблюдал особенно тщательно. Таузен славился тем, что оттуда был родом отец первого имама Кавказа шейха Мансура. Жители гордились земляком и не очень привечали русских. Пока партизанам не удавалось найти там доносчика. Между тем Алибеков, уже много раз ускользавший от урусов, не унимался. Месяц назад он напал на фуражиров, перегонявших скот для пропитания гарнизона крепости. Абрек угнал пять казенно-подъемных лошадей с овсом и просом, а также двенадцать голов порционного скота. При налете погиб нижний чин Апшеронского пехотного полка.

Алексей впервые попал в такую удивительную страну и не переставал восхищаться. Местность относилась к числу самых диких и труднодоступных во всей Терской области. На юге возвышался Андийский хребет, отделявший Чечню от Дагестана. От него отходили к северу

<sup>1</sup> *Передельная винтовка* – винтовка, переделанная в казнозарядную из старой дульнозарядной винтовки.

<sup>2</sup> Ссылным разрешили вернуться на родину только после воцарения Александра Третьего.



высокие отроги, делившие пространство на котловины. По котловинам текли к равнинной Чечне быстрые реки, пробившие в скалах глубокие отвесные ущелья. Путь им преграждала гряда Черных гор. Реки сливались друг с другом и в конечном итоге впадали в Сунжу.

Отроги как бы разлиновывали плато. Они были не очень высокими, бесснежными и живописно-пугающими. На Кавказе более двадцати вершин превосходят Монблан, самую долговязую гору Европы, но в этой части их размеры не столь впечатляли. Однако карабкаться по тропам, с перевала на перевал, было утомительно. А еще требовалось держаться настороже – вдруг за камнем прячутся Алибеков со своими джигитами? Пока инсургенты не попались партизанам ни разу. Они находили костры со следами ночевки, но кто искал здесь приют, было неясно. Еще всюду были разбросаны посева. Чаще всего это оказывались кормовые травы: овес, люцерна, райграсс и эспарцет. Реже попадался табак, а дважды – марена<sup>\*</sup>.

Наступил очередной день поиска. Иоганн заявил, что останется в лагере один, пусть его не охраняют. Ишь, осмелел на третьей неделе... Сергей Михайлович почему-то согласился.

Команда отправилась вниз по течению реки Аржи-Ахк. Впереди в дозоре двигался Шура Крупный. Охотники держались в пятидесяти шагах за ним, Кормишин шел в арьергарде. Неожиданно казак замер, всмотрелся в даль и жестом подозвал остальных. Все быстро подошли, кроме отставшего унтера.

Шура показал вперед. По тропе поднимался горец с винтовкой за спиной. Он не видел настигавших его русских и карабкался беззаботно. Василий Листопадов тут же сдернул винчестер и прицелился в туземца. Лыков схватил его за руку:

– Что ты делаешь? А вдруг это мирный горец?

– У него ружье за спиной, – огрызнулся Стрелок.

– Ну и что? Тут все ходят с ружьями. Примерно как наши мужики в лесу всегда с топорами.

– А я по походке вижу, что он мятежник. Самая разбойничья походка!

Листопадов попробовал освободить руку. Тогда Алексей вырвал у него винтовку и сказал с угрозой:

– Слышь, вурдалак. Смири свой нрав. Война кончилась, сейчас мирное время.

– И что? – с вызовом спросил партизан.

– А то. Нейдется кого-нибудь прикончить?

– Здесь нас никто не любит. Любого вали – не ошибешься.

Тут подоспел Кормишин и спросил шепотом:

– Что за шум, а драки нет?

Шура Крупный показал ему уходящего вверх по тропе горца:

– Васька хотел убить его в спину, а Леха не дал.

– Правильно сделал, что не дал, – тут же высказался старший унтер-офицер. Он взял из рук Алексея «мушкет» и приказал:

– Лыков! Проследи за ним. Постарайся увидеть лицо или запомнить какие приметы.

– Есть!

Вольноопределяющийся быстро пошел по тропе, стараясь не шуметь. Другие охотники остались его ждать.

---

<sup>1</sup> *Марена* – травянистое растение, которое выращивали для изготовления натуральных красителей.



Незнакомый туземец успел уйти достаточно далеко. Лыков настиг его, когда тот уже спускался с перевала вниз, в долину. Там стояло четыре сакли, у одной из них была привязана лошадь. Подходя к хутору, горец оглянулся, и Алексей разглядел его черты. Мужчина лет тридцати, бородатый, худощавый, как большинство здесь. Шашка, кинжал – тоже как у всех. Белый архалук при желтом чекмене? И это не примета.

Горец зашел в саклю, у которой стояла лошадь, через минуту вышел оттуда со свертком в руках. Еще раз осмотрелся. Похоже, он опасался чужих глаз... Сунув кулек в сакву<sup>\*</sup>, незнакомец в желтом чекмене сел на коня и уехал вниз по реке. Нижегородец дал ему скрыться из глаз, спустился к хутору и осмотрел саклю. Пустая, заброшенная; пахнет куриным пометом. Передаточный пункт для инсургентов? Может быть...

Лыков бегом отправился к своим и доложил командиру об увиденном. Тот выслушал и приказал:

– Айда туда, осмотрим.

Ваську он поставил впереди колонны, вернув ему отобранный Лыковым винчестер. Тот шел обиженный и все искал, кого бы ему подстрелить. Но никто партизанам не попался.

Избушки при осмотре оказались пустыми и давно заброшенными. Лишь в той, куда заглянул неизвестный, остались следы недавнего пребывания человека. И Кормишин решил устроить на хуторе засаду. Вдруг появится тот, кто облюбовал себе заброшенное жилье для непонятных целей?

Партизаны спрятались в трех других хижинах и затаились. До конца дня ничего не произошло. Пришлось ужинать сухарями и спать на земле. Утром послышались шаги, и в обжитую саклю зашел чеченец с узлом в руке. Он появился из ниоткуда, часовой прохлопал его появление. Но охотники мгновенно и бесшумно отобилизовались. Когда гость появился на пороге, его схватили.

Это оказался знакомый Кормишину старшина аула Дуц-Хутор по фамилии Раздаев. Он опешил, попав в руки урусов. Сергей Михайлович кивнул ему:

– Здорово, уважаемый. И что ты сюда притащил? Давай показывай.

В узле обнаружили двадцать патронов к берданке, кусок сыра и лаваш.

– Ого, какое богатство. Патрон в ваших краях стоит рубль ассигнациями. Дорогой подарок. Скажи, старшина, для кого он?

Раздаев уже взял себя в руки и ответил:

– А пастух за ними придет, наш аульный пастух. Он передал, что появились волки, попросил занести эти... как по-вашему?

– Огнеприпасы, – подсказал Сергей Михайлович.

– Да, точно так.

– Давай его дождемся, – предложил Кормишин.

Веко у старшины дернулось, но он ответил:

– Давай.

– Долго ждать придется?

Туземец пожал плечами:

– Кто знает? Может, полдня, а может, и три. Если вам нечего делать, ждите. А у меня есть обязанности по должности.

<sup>1</sup> Саква – седельная сума.

– Не много ли чести для пастуха, что улем<sup>\*</sup> лично носит ему лепешки?

– Нет, не много, он мой племянник.

– И как зовут этого достойного человека?

Раздаев на мгновение запнулся, потом выговорил:

– Гати.

Командир оглядел свою команду:

– Все запомнили ответ? Ждем Гати.

Потом он обратился к пленнику:

– Раздаев, ты понимаешь, что врешь мне, а значит, и власти? Если вместо пастуха сюда явится абрек по имени Джамболат, ты и твоя семья поедете далеко на север. Где очень холодно и голодно.

Но староста посмотрел на русского свысока и отвернулся.

Партизаны опять попрятались в сакли. Туземца унтер посадил рядом с собой. Потянулось мучительное ожидание. Когда солнце уже клонилось к закату, Шура Крупный не выдержал и тихо вылез из своей хибары на двор, справить малую нужду. Только он распрямился во весь рост, как грохнул выстрел. Пуля угодила казаку прямо в лоб. Он рухнул на землю. Тут же раздался ответный выстрел – Кормишин успел разглядеть, откуда бьет враг. Алексей тоже выпустил в ту сторону три заряда. Но шансов, что пули попали в цель, было немного.

Артельщики выскочили наружу, Лыков без команды побежал в обход предполагаемой позиции противника, но все оказалось напрасно. Через десять минут вольноопределяющийся на ватных ногах вернулся к своим.

Гурин вытянулся на поляне. Перед ним на коленях стоял Баюнов и вполголоса молился. А Васька Стрелок выступил навстречу Алексею:

– Это тот его убил, кого ты не дал мне пристрелить! Щенок! Все из-за тебя...

– Отставить! – рявкнул старший унтер-офицер.

– А вот и не отставить! – еще громче выкрикнул Листопадов. – Я и в крепости так скажу. Нету человека, а этот вон стоит, сопляк, живой и здоровый.

Алексею хотелось провалиться сквозь землю. Ведь, скорее всего, Васька прав. Не пастух же уложил их товарища, а кто-то из шайки Алибекова. Лыков не позволил убить его – и вот расплата...

Команда переночевала на хуторе, причем разжигать костер не решились. Лыков вызвался простоять на посту без смены – замаливал свою вину. Связанного старосту положили между двумя пехотинцами. В душе каждому хотелось ткнуть его кинжалом в бок, а потом сказать, что «при попытке к бегству». Но Кормишин дал всем понять, что не потерпит самосуда. Он ни словом не упрекнул нижегородца. Ведь тогда, в споре со Стрелком, командир принял его сторону.

Утром артель собралась в дорогу. Им предстояло выйти к селению Махкеты, сдать стоящему там посту пленного и похоронить товарища. Лыков подошел к командиру:

– Сергей Михайлович! Разрешите, я останусь.

– Зачем?

– Осмотрю цепочку следов.

– Один? Это глупо, – Кормишин дернул себя за седой ус и добавил: – Мстить собрался? Их четверо или пятеро. И как будешь мстить?

Алексей упрямо ответил:

<sup>1</sup> Улем – уважаемый человек.

– Как получится. Одного они точно не ждут. А вдвоем... ввосьмером мы их за целый год не поймаем.

Старший унтер-офицер покачал головой, подумал и ответил:

– Ну, как хочешь... Мы вернемся через два дня.

Махнул своим, и артель ушла. Раздаева поставили в середину и заставили тащить труп Шуры Крупного на волокуше. Лыков замыкал колонну. Когда партизаны скрылись в лесу, он отделился от них и стал медленно спускаться кустарником параллельно тропе. Идти было трудно, еще труднее было не шуметь при этом. Наконец нижегородец вернулся на поляну к оставленному хутору, но не со стороны реки, а со стороны леса. Затаился и стал ждать. Ему казалось, что инсургенты захотят сюда вернуться. Вдруг на хуторе тайник, который русские не нашли?

Так миновал целый день. Никто не пришел. Алексей переночевал вполглаза – очень хотелось спать после предыдущей бессонной ночи. Забылся он под утро и благополучно проснулся от лучей солнца, бивших ему в глаза.

Что делать? Он был один во враждебных горах. Страх вольноопределяющийся не испытывал, его подстегивала злость. Умирать погоди, говорил он себе, мы еще поборемся. Одному и впрямь легче: ни с кем не надо советоваться, никто тобой не командует. И противник не ждет одиночки. Может, пойти по тропе в ту сторону, куда уехал вчерашний всадник?

И Алексей решил. Он был одет как горец. Серый чекмень, серый архалук, шашка и кинжал на поясе и винчестер за плечами. Только кокарда на папаше и погоны с золотым кантом вольноопределяющегося выдавали в нем военного. Ноговицы были дополнены поршнями из буйволиной кожи с железными крючьями – горскими «галошами» для лазанья по камням. Сорок восемь патронов в подсумке, баклага с водой, манерка, сухари, горсть сахара и кусок вяленой баранины – на два дня хватит. Если не убьют раньше...

Еще какое-то время Лыков сидел и прислушивался к своим ощущениям. Вроде бы страха на самом деле нет. Это хорошо. И он двинулся по тропе. Где-то впереди, по словам Кормишина, Аржи-Ахк сливается с Ахкой. Затем единый поток отклонится вправо, к Хулухте. Места дикие, подходящие для укрытия. И уж точно там не ждут одинокого уруса.

Он прошел в выбранном направлении четыре часа без отдыха. Тропа медленно забирала вправо. Вдруг, когда Алексей обогнул валун, на него кинулись двое. Резко развернувшись, охотник показал им тыл и пропустил обратно. За ним гнались. Выждав нужный момент, Лыков выхватил кинжал и обратился к противнику лицом. Первый преследователь увлекся и слишком приблизился к нему. И налетел на клинок. Удар в сердце; туземец, хрипя, повалился на землю. А русский уже атаковал второго. Хотели догнать? Ну вот, догнали. Получите! Это за Шуру Крупного!

Второй преследователь, молодой парень с едва пробившимися усами, опешил и затормозил на бегу. Но больше ничего сделать не успел – Лыков насадил на кинжал и его. Раз-два – и в дамки... Разгоряченный боем и необычно быстрой победой, он всмотрелся вперед. На тропе стоял третий горец, постарше, в белом бешмете и желтом чекмене. Он держал одну руку на эфесе шашки, а другую на рукояти кинжала. И разглядывал русского с интересом и даже, кажется, с одобрением.

Это был тот человек, которого Алексей не дал Ваське застрелить в спину!

– Ты ловкий и храбрый, – похвалил русского чеченец. – Я еще не видал такого приема, только слышал о нем.

До него было шагов десять, и Алексей начал снимать висевшую за спиной винтовку. Горец укоризненно цокнул языком:

– Ца-ца-ца! Только что показал свое мужество, а теперь хочешь убить меня из ружья? Давай драться как мужчины, холодным оружием. С таким противником сразиться – честь для джигита.

Голос у чеченца был приятный, наружность мужественная и притягательная. Лыков смешался – ему расхотелось убивать этого человека.

А тот продолжил:

– Ты ведь меня ищешь? Я Джамболат Алибеков Хатумский. А как зовут тебя?

– Алексей Лыков. Скажи, кто убил вчера моего товарища? Ты?

– Нет, это сделал вон тот молодой, что лежит на тропе позади тебя. Его зовут Косум. Вернее, звали... Но, случись, и я бы убил уруса. И убивал не раз, кстати сказать. Мы же воюем с вами. Так что я твой враг. Давай драться, но со всем уважением друг к другу. Или ты устал? Мы можем перенести поединок на завтра. Ты один, других ваших поблизости нет?

– Нет.

– В одиночку пошел на всех нас? Я думал, только мы, чеченцы, такие...

Алексей слушал и удивлялся. Туземец нравился ему все больше. Почему он враг, а не приятель? По-русски говорит почти без акцента, смотрит смело, но речь его учтива и почтительна. И нижегородец заявил:

– Я не хочу с тобой драться. Ну, в том смысле, что убивать тебя.

– Ай-яй... Но ведь придется!

– Давай лучше ты сдашься властям. Будешь живой.

Алибеков прыснул:

– Я – сдамся? Извини, ты сказал ерунду. Так по-вашему?

– Но почему мы должны обязательно резать друг друга? – попытался спорить вольноопределяющийся. – Пусть не сделаемся кунаками, но останемся людьми. Конечно, тебе придется ответить перед законом за свои злодеяния...

– Ца-ца-ца! В чем же мои злодеяния? Не в том ли, что я защищал свою землю от захватчиков?

– Но вы помогли туркам!

– Конечно. Мы помогли... как это у вас? единоверцам. Мы с ними чтим одного Бога. А вы для нас неверные. Кроме того, несете свои порядки, навязываете их нам. Мы, чеченцы, все равны между собой. У нас нет ни знати, ни черни. А у вас?

Противники помолчали, подбирая новые аргументы для спора. Наконец Джамболат спросил:

– Зачем вы пришли на нашу землю? Зачем ты, Лыков, пришел сюда? Чего плохого я тебе сделал, что ты явился меня убивать?

– Я подданный своего государя. Нам объявили войну, я взял оружие.

Чеченец слушал, чуть склонив голову набок. Кажется, он пытался понять логику русского.

– Однако война закончилась, а ты еще здесь. В наших горах. Ищешь, кого зарезать. Этого требует от тебя твой государь?

– Ну... присяга...

– Ступай домой и возвращайся без винтовки и кинжала. И я встречу тебя как почетного гостя и кунака.

– Не могу, – с искренним сожалением ответил Алексей. – Хотел бы, но тогда это будет дезертирством. Я солдат и должен выполнять приказы.

– Русские солдаты прошлым летом сожгли мой аул. Они тоже выполняли приказы. Как я теперь должен к ним относиться? Представь: чужие люди пришли в твою страну, в твоё селение, уничтожили его, вытоптали посевы, обрекли женщин и детей на голод, а мужчин перебили. Что бы ты сделал в ответ?

– Стал бы с ними сражаться...

– Вот видишь. Так что снимай ружье, берись за шашку. Если устал и хочешь отдохнуть, я пойму. Перенесем поединок на завтра. Удивительно, что ты пришел один, без отряда. Смелый или глупый...

Вдруг за спиной горца дрогнула ветка, и показался ствол.

– Так вот какой у тебя честный поединок! – крикнул Лыков, хватаясь за цевье винчестера.

Алибеков мгновенно повернулся и заговорил по-чеченски – резко, повелительно. Из кустов вышел горец, очень похожий на него, но с неприятным злым лицом. Джамболат отобрал у него винтовку, жестом отослал назад и вновь повернулся к русскому:

– Извини! Это мой средний брат Самболат. Он... не такой, каким полагается быть настоящему джигиту. Я очень сожалею об этом. Младший, Имадин, растет порядочным и радуется меня, но он еще молод для войны. Ну? Смотри.

Алибеков-старший взял в одну руку свою винтовку, в другую – оружие брата и положил их сбоку от тропы. Отступил на пять шагов и предложил:

– Сделай то же самое, и начнем.

– А этот?

– Он будет смотреть. Не бойся, мы схватимся один на один. Если ты победишь, Самболат тоже сразится с тобой. Если захочет. Но я сомневаюсь в этом.

В голосе абрека проскользнуло нечто, похожее на презрение. Он через плечо вновь сказал что-то резкое брату, и тот попятился.

Вольноопределяющийся решил. Он снял винчестер, с лязгом извлек шашку из ножен, вынул и кинжал. Противник улыбнулся ему ободряюще и сделал шаг вперед.

– Драться с тобой – честь для меня. Если бы все русские были как ты, мы могли бы дружить, а не истреблять друг друга...

Лыков тоже сделал шаг вперед. Вот-вот они скрестят оружие... Нижегородец лихорадочно вспоминал уроки сабельного боя от Калины Голунова. Тот много времени потратил, натаскивая молодого приятеля. Как уж там?

Калина говорил, что драться белым оружием\* русскому человеку с горцами очень трудно. Почти безнадежно. Они учатся сабельному бою с детства, оттачивают приемы всю жизнь и достигают большого мастерства. Но в их манере есть пробелы, которые нужно использовать. В частности, горцы любят наносить шашкой и даже кинжалом рубящие удары, а колющих избегают. Многие считают их нечестными, так как русские полагают нечестным бить лежачего. Если в ответ на рубящий

<sup>1</sup> Белое оружие – холодное.



удар нанести прямой выпад шашкой, горец часто оказывается к нему не готов. И есть шанс пробить защиту. Надо только изловчиться.

Джамболат ободряюще кивнул Алексею – мол, не дрейфь. Было видно, что он не боится смерти. Безо всякой рисовки, просто не боится. У Лыкова же задрожали руки и вспотела спина. Или – или, кто кого. Горский сабельный бой. Даже храбрые кавказские полки – Ширванский, Апшеронский, Куринский – старались избегать его.

– Уверен, что не хочешь перенести на завтра? – участливо, уже в который раз спросил чеченец.

– Нет. Давай, начинай, – выдохнул русский. И они сошлись.

Начало боя едва не стало для Лыкова концом. Он слишком волновался и сразу пропустил опасный удар. Шашка скользнула по локтю и дошла до плеча, разрубив погон. Пока русский приходил в себя, пропустил боковой удар кинжалом. Хорошо успел отскочить, и лезвие лишь оцарапало бок. Вольноопределяющийся остановился и попробовал взять себя в руки. К его удивлению, чеченец не использовал этот момент, прекратил атаку и дал противнику оправиться. Зачем убивать такого, снова подумал Алексей. Почему мы враги, а не кунаки? Но разводить нюни было некогда. Плечо саднило, по животу стекала кровь.

– Можно? – спросил разрешения горец.

– Валяй, – кивнул русский и пошел наконец в атаку. Несколько быстрых ударов шашкой Джамболат отбил без особого труда. Алексей сделал вид, что вспомнил о кинжале. Покрутил им – и совершил неожиданный выпад гурдой<sup>2</sup> и следом – потяг<sup>3</sup>. Острое лезвие вошло чеченцу чуть ниже сердца, пройдя между газырями. Тот запнулся, выронил клинок и схватился свободной рукой за грудь. Ноги его подкосились. Из уголка рта показалась тонкая струйка крови. Отняв руку и увидев на ней алые пятна, Алибеков улыбнулся – просительно и немного печально:

– Драться с тобой... честь...

И упал.

Брат джигита дико закричал и кинулся прочь. У Лыкова не было ни сил, ни желания преследовать его. Он сел рядом с Джамболатом на корточки и взял его за окровавленную ладонь.

– Прости...

Чеченец из последних сил сжал его руку и умер.

Вечером Алексей безбоязненно разжег костер в заброшенном хуторе. Тела погибших горцев лежали неподалеку. На поляне паслись, стреноженные, три лошади.

Вольноопределяющийся неожиданно для себя сделался богат. За убитых инсургентов ему полагалось семьдесят пять рублей. Верховые лошади тянули каждая на сто двадцать – сто пятьдесят рублей. Чеченцы все оказались щеголи. Одних серебряных газырей набралось несколько фунтов! Но самым ценным из трофеев было оружие. Кинжал и шашка Джамболата, старинной работы, отделанные серебром, тянули на полтысячи. Итого Лыков существенно разжился. В Нижнем Новгороде вся его семья жила на пенсию недавно умершего отца – тридцать четыре рубля пятьдесят копеек в месяц. Ее едва хватало, чтобы сводить концы с концами. А сестра на выданье,

<sup>2</sup> Гурда – чеченская шашка.

<sup>3</sup> Потяг – обратное движение, извлекающее клинок из тела противника.

барышню нужно одеть... Неожиданно вырученные деньги должны были пригодиться дома.

Однако Алексей меньше всего сейчас думал об этом. Он сварил похлебку, сделал из кавказской брусники чай и долго сидел, глядя на пламя. Ему было бесконечно жаль убитого им храброго достойного человека. Действительно, что он тут делает, в чужой земле? Пора домой. А эта боль останется теперь с ним. Навсегда. Могли бы быть друзьями. Иметь подобного друга – большая честь...

В ту ночь Самболат легко мог застрелить русского из темноты. Тому было все равно.

Вечером следующего дня Лыков услышал шаги – возвращалась кормишинская артель.

## Владимир СЕДОВ

*Нижний Новгород*

(№ 3, 2024)

### «РУССКИЙ КЛУБ»

*Фрагмент романа*

#### «Оскар»

Любой актёр мечтает сыграть Гамлета.

Любая актриса – Анну Каренину.

А каждый режиссер – получить «Оскар».

Среди русскоязычного населения Америки эту статуэтку весом 3850 грамм, покрытую золотом, называют «Оскар Мойсеевич».

Фильм «Обожжённые» кинорежиссёра Паратова имел большой успех в прокате и был номинирован на премию Американской киноакадемии.

А так как большинство эпизодов снимались в Нижнеокске и фирма «Русский клуб» помогала в съёмках, Паратов пригласил Глеба в Лос-Анджелес.

Ида тогда занималась двумя маленькими детьми и была беременна третьим. Поэтому Глеб полетел в Америку с Полиной Серебряковой, а не с женой.

– Я надеюсь, ты наконец-то родишь мне сына? – перед отъездом пошутил он.

– Теперь понятно, зачем ты летишь в Америку! Там, говорят, детей по заказу делают. Хочешь – сына, хочешь – дочь, – подхватила шутку Ида.

Она, может быть, и ревновала Глеба, но этого не показывала, считала, что любовь – это не чувство собственности, а понимание, что человек, которого ты любишь, тоже любит тебя. Этого достаточно. И для того, чтобы любовь двоих не погасла, нужна свобода. Ида давала Глебу такую свободу, понимая, что сердце его с ней.

В Лос-Анджелесе для российской делегации были забронированы номера в шикарной гостинице. Для Паратова – королевский номер, а для Глеба – апартаменты. Но Сергея Сергеевича пригласил на свою виллу Стивен Спилберг, и его номер в гостинице остался свободным. Он и предложил его Глебу. Балкон с выходом на океан и столько комнат, туалетов и кроватей, что можно было заблудиться.

Все были в приподнятом настроении. Единственное, что огорчало: было жарко. В России в феврале стояли приличные морозы, и в Лос-Анджелес вся делегация прилетела в зимней одежде. Женская половина ходила на пляж в купальниках и шубах.

К тому времени фильм «Обожжённые» вызвал большой интерес. Зрители плакали во время просмотра, пропуская истории героев

через свои сердца. Причём плакали и в России, и в Америке, и в Европе. Кинозалы были битком.

В Лос-Анджелесе Глеба перехватила известная актриса Наталья Андрейченко. Она мечтала снять собственный фильм по мотивам русских народных сказок, а тут Глеб с деньгами. Она была красива, обаятельна и считала, что между мужчиной и женщиной, ищущими просветления, существует магнетизм.

И тут же притянула к себе Глеба.

Заметив это, Полина закрылась в королевском номере и впала в жуткую депрессию.

Глеб всегда относился к женщинам с уважением, не оскорблял, не обижал. Многие принимали это хорошее отношение за ухаживание, которое в их сознании превращалось во влюблённость.

Однажды в своём офисе Глеб увидел сотрудницу, которая плакала оттого, что её бросил жених. Он стал её успокаивать, посоветовал перестать плакать: и жизнь её сложится, и всё у неё будет хорошо – и свадьба, и белое платье, и кольцо с бриллиантом. И эта женщина после таких знаков внимания Глеба стала всем говорить, что Глеб Андреевич сделал ей предложение.

Андрейченко со свойственной ей энергией оторвала Глеба от делегации и три дня водила его повсюду, знакомя то со своим мужем, актёром Максимилианом Шеллом, то с Вилли Токаревым, то с Михаилом Шуфутинским.

Глеба закружило.

На очередном приёме к Глебу с Натальей подошёл Павел Лебешев, тоже из делегации Паратова, и сказал, почему-то глядя на Андрейченко: «В нашей гостинице закончился весь запас водки!»

– Что же вы так много пьёте? У вас горе какое или беда случилась? – пошутила спутница Глеба.

– Да нет, мы-то как раз и не пьём. Нечего. Всё выпила одна рыжеволосая дама, проживающая в номере Глеба Андреевича. Вот у неё, наверное, и горе, и беда в одном флаконе. А послезавтра церемония. Думаю, её придётся везти не в «Кодак-театр», а в госпиталь.

Глеб едва дождался конца приёма и, передав актрису в руки Максимилиана, помчался к себе в номер.

Уже светало.

В номере он нашёл свою помощницу в невменяемом состоянии. Быстро завернул её, полуголую, в простыни и поволок на воздух в прохладу океана.

Глеб зашёл в воду по пояс и опустил её извивающееся тело в Тихий океан. Та выскользнула из простыней и энергично поплыла от берега.

«Очевидно, Полина решила вернуться на родину через Дальний Восток...» – подумал Глеб. А она удалялась всё дальше и дальше. Копна её рыжих волос то появлялась, то исчезала в волнах океана.

Глеб испугался. Рядом стоял катамаран, он прыгнул в него и, судорожно работая ногами, стал догонять Полину. Ему это едва удалось. Та, уже почти без сил, зацепилась за край катамарана и еле-еле забралась на сиденье. Потом сжалась в комок. Глеб накрыл её своей рубашкой, и они поплыли к берегу.

Полина вдруг заговорила:

– Маяковский застрелился от того, что его не любила ни одна женщина, а особенно та, которую по-настоящему любил он. Я побывала в

коже Маяковского в эти дни. Ты знаешь, что из всех ножей мира самый несуразный и уродливый – нож для снятия кожи.

Глеб удивлённо смотрел на Полину.

– Да-да! Для снятия кожи с живых существ. Он напоминает большой широкий скребок, один конец которого плавно изогнут снизу вверх, а на другом конце – короткая деревянная ручка, – объяснила она. – Несуразность и необычность наших отношений, после того как я тебя полюбила, вполне похожа на этот нож. Пройдя через них, я осталась без кожи. Без единого кусочка, лоскутка. Тело моё стало напоминать большой окровавленный кусок мяса с миллиардами пульсирующих капилляров. Даже слабый ветерок из кондиционера задевал мои нервы, раздражал меня и заставлял волноваться и страдать. А представь себе, что было со мной, когда я представляла тебя в объятиях другой женщины?

– Ты ревнуешь? – спросил Глеб.

– Нет, просто я представляла твой возбуждённый шёпот, твоё напряжённое тело в чужих жарких объятиях – кровь вскипала внутри меня. Тело распалось до безумного жара. Сердце рвалось на части. Обнажённые капилляры лопались. И кровоточили, и кровоточили. Но ты всего этого не замечал. Тебе было интереснее новое, необычное. От этих ощущений у тебя горели глаза. Ты не плакал, как я.

– Откуда ты знаешь: плакал я или нет?

– Нет. Ты улыбался, пил, хохотал, острил. У тебя повышалось настроение, ты балагурил. Мы оба играли в эту опасную игру. И так увлеклись, что даже не сразу почувствовали запах крови на моём теле и не сразу заметили, что оно – моё нежное тело – осталось без кожи. Если Господь хочет наказать человека за грехи, то отнимает у него разум, но не жизнь. А у меня он отнял и разум, и жизнь. Сколько это могло продолжаться? Сколько я могла прожить без кожи?

– Ты меня спрашиваешь?

– Нет, я знаю ответ: ровно столько, насколько я была уверена, что ты только играешь в эти игры. Но как только я поняла, что это не просто игра, нервы мои запульсировали, тело стало свиваться в жгут. Я мысленно ходила за тобой, оставляя повсюду следы своих окровавленных ступней. Разбрасывая вокруг себя страдания, злость и низость наших новых отношений. Ещё немного времени, и я никогда не вернула бы свою кожу. А нервы мои превратились бы в острые шипы, торчащие из моего обнажённого тела. И разум мой начисто бы стёр такие понятия, как любовь, верность, преданность. Мне стало страшно. И тогда...

Полина замолчала, зачерпнула ладонькой воду, протёрла ей лицо и продолжила уже спокойнее:

– Тогда я остановила себя. И сразу почувствовала, как у меня стала нарастать кожа. Пусть пока тонкая и хрупкая, но она уже не давала пачкать окружающий мир. Мир настоящей любви. Да, пусть я страдала. Пусть. Но я благодарна тебе. Этому времени. Благодарна за волнение, за муки, за любовь через страдания. За ад и рай одновременно. Спасибо... Тебе... Я готова, если тебе это надо, быть рядом столько, сколько нужно.

Глеб обнял Полину и, не зная, что сказать, просто поцеловал её руку.

В номере он заставил её принять тёплый душ, напоил горячим чаем и, укутав одеялом, уложил спать. Причём сидел рядом на кровати, пока она не уснула. Уснув, она отпустила его ладонь, которую сжимала, словно боясь, что он опять исчезнет.

Глеб больше не исчез.



Утром Полина попросила у него прощения. Глеб ответил, что это он сам должен просить у неё прощения.

Весь следующий день прошёл в подготовке к церемонии вручения премии «Оскар». Оформление, прокат смокингов, лимузинов. Парикмахеры, визажисты. Суэта, беготня.

Ровно в четыре все были в холле. Там было много кинознаменитостей.

Паратов стоял чуть в стороне, но, заметив Глеба, кивнул и сообщил, что на церемонию Глеб едет не с ним: он в первом лимузине, а Глеб в шестом, но в зале сидеть будут рядом.

Стали подъезжать лимузины. Первым уехал Паратов. Потом – ведущие актёры и авторы фильма. Следом – композитор и команда киностудии. Наконец, пришёл и шестой лимузин, но какой-то весь потёртый, с шофёром лет под сто и пыльными фарами.

С Глебом и Полиной посадили ещё трёх администраторов, девушку-гримёра и десятилетнюю дочь Паратова – Машу.

До дворца, где должна была состояться церемония, пешком тихим шагом идти минут тридцать, но американцы без показухи просто не могут. Они перекрыли все ближние улицы, и ко дворцу со всех концов огромного города со скоростью раненого муравья стали стекаться лимузины, каждый длиной не менее десяти метров: гость должен именно приехать, а не прийти – за этим очень строго следили устроители.

В салоне было просторно, но душно. Хотелось пить.

Глеб открыл бар – виски, джин, мартини. Холодильник не работал, и всё было тёплое. Воды не было и льда тоже.

Полина сняла трубку внутреннего телефона и спросила водителя, почему не работают кондиционер, холодильник и почему нет воды? Тот улыбнулся и пожал плечами.

В смокингах и бабочках стало невмоготу. Открыли люк, и Глеб высунулся в него. Мимо бесконечного ряда чёрных, серых и белых лимузинов, обгоняя их, беспечно и весело шли люди. Они с удивлением смотрели на фигуру в смокинге, торчащую из люка лимузина.

Глеб от души рассыпал всем желающим воздушные поцелуи, а особенно женщинам-полицейским, которых было вокруг великое множество. Вскоре ему надоело, и он спустился в салон. Там была парилка. Все попутчики уже разделись до возможного предела и болтали. Одна Маша, забившись в уголок огромного дивана, сидела и плакала: у неё в холле гостиницы пропало пальто. Глеб пообещал купить ей новое, но она рассказала, что жалко ей не пальто, а разноцветные стёклышки, которые лежали в кармане.

– Как теперь мне смотреть на солнышко? – всхлипывала она.

– Вот проблема так проблема у человека. Не то что у нас, взрослых: виски горячее, – со смехом объявил всем Глеб.

Прошло сорок минут.

Все утешались мыслью, что терпеть осталось недолго.

Прошло еще сорок минут. Казалось, что лимузин не едет, а стоит на месте. Сотни длинных раскалённых чудовищ в восемь рядов медленно и важно пробирались ко дворцу.

В других сидели радостные люди, у которых, очевидно, работали и холодильники, и кондиционеры. Они приветствовали всех запотевшими от холода фужерами с минеральной водой и «американским шампанским».

Один из администраторов тоже предложил выпить. От такого предложения Полину чуть не стошнило.

К исходу второго часа подъехали ко дворцу церемоний.

В глаза ударило солнце, а в душу – магическое восхищение праздником тысяч людей, которые облепили «Кодак-театр».

Глеб с Полиной очутились в огромном коридоре, где позировали для кинофотоиндустрии легендарные звезды Голливуда.

Трибуны по обе стороны этого великолепного коридора с красной дорожкой были битком забиты киноманами.

Папарацци было не важно, кто ты. Ты – на красной дорожке, и со всех сторон они кричали: «Посмотри на меня!», «Look at me!», «Regardez-moi!», «Schau mich an!». Глеб с Полиной тоже позировали, здоровались со Шварценеггером, Сталлоне, Аль Пачино и Де Ниро. Глеб даже поцеловал ручку Клаудии Шиффер и обнял Спилберга.

Затем они вошли в фойе зала, выпили холодной кока-колы и, разделившись, направились: Глеб к седьмому ряду по центральному проходу, а Полина – туда, где сидела основная киногруппа фильма «Обожжённые».

Место Глеба было третьим. Он сел, расслабился, взял программку, в которой было приглашение на банкет лауреатов премии «Оскар». И тут его как током ударило: «Что-то тут не так. Выходит, уже известно, какой фильм получит “Оскар”».

Глеб заёрзал.

Постепенно зал начал заполняться.

Подошёл Паратов.

Глеб показал приглашение на банкет. Сергей Сергеевич посмотрел на Глеба, как на ребёнка, и спросил:

– А ты что, сомневаешься в нашей победе?

Глеб тут же соорудил отрицательную мину, хотя так ничего толком и не понял.

И тут началось чисто американское шоу – с размахом, с помпой. Было интересно, особенно когда на сцену выехал огромный куб с красным роялем наверху, а невысокий Элтон Джон всё никак не мог на него забраться, чтобы спеть свою знаменитую «Песню песен».

Началось награждение лауреатов по номинациям.

Через сцену за «Оскарами» продефилировали все награждённые звезды.

В конце длинной церемонии ведущий вдруг объявил, что фильм «Обожжённые» стал лауреатом премии, и пригласил команду российского фильма на сцену, но драгоценную статуэтку дали только одну – режиссёру. Паратов принял «Оскар» и долго благодарил академиков, пока его вежливо не попросили пройти в зал.

Дальнейшее Глебу было уже неинтересно.

Паратов раздавал интервью и автографы, Глеб держал бесценный приз у себя на коленях, а все вокруг тянулись подержать или хотя бы потрогать это сокровище.

Глеб каждого предупреждал:

– Осторожно! Он тяжёлый.

Люди, не слушая, хватали статуэтку, от неожиданности громко ойкали и чуть не роняли. И так продолжалось до бесконечности.

На банкете, который устроила Американская киноакадемия для лауреатов «Оскара», русская киногруппа Паратова оказалась между столами Тарантино и Стивена Сигала.

Тарантино, молодой и нервный, был недоволен церемонией и, быстро напившись, стал хулиганить и кричать.

Стивен подсел к русскому столу и стал пробовать пить водку по-русски. Он оказался рубахой-парнем.

Потом подошел интеллигентный Максимилиан Шелл со своей красивой женой Натальей Андрейченко. Глеб расцеловался с Наташей. А Полина демонстративно расцеловалась с Максимилианом.

Паратов уединился с голливудскими продюсерами и обсуждал прокат своего фильма в США. А его золотая статуэтка свободно ходила по рукам. Глеб даже забеспокоился, как бы она случайно не потерялась, и краешком глаза наблюдал за этими перемещениями. После пятого перемещения «Оскара» по столам Глеб перестал следить за ним. Стало понятно, что Паратов каким-то образом просто притягивает к себе эту золотую статуэтку. И та, покочевав по залу, в конечном итоге всегда возвращалась к владельцу.

Гуляли долго и весело. Разъезжаться стали только под утро.

Можно было наблюдать очень забавную картину: когда собиралась уехать очередная компания звёзд, то на брусчатке у дороги, дожидаясь лимузинов, стояли, поблёскивая золотом и платиной, то две, то три фигурки «Оскара».

На следующий день был показ для американцев. Зрители искренне благодарили Паратова и восхищались его талантом. А Сергей Сергеевич на пресс-конференции после показа сказал немало тёплых слов о фирме «Русский клуб» за её большую помощь в съёмках фильма.

Во время банкета Глеб договорился с американскими бизнесменами русского происхождения о заключении сделок на поставку в Нижнеокск астраханской чёрной икры, вологодского масла и белорусских комбайнов. Но для их подписания надо было лететь в Нью-Йорк, и следующим вечером Глеб вместе с Полиной вылетели туда.

Прилетев, они стали обозревать достопримечательности, а после их затащили в популярнейший ресторан «Русский самовар», который содержал Рома Каплан, очень милый и общительный эмигрант. Ресторан был небольшой. С русской кухней, фирменной клюквенной настойкой и потрясающей джазовой музыкой Игоря Бутмана. В разгар веселья на стол принесли две бутылки дорогой водки, и официант показал на затемнённый угол ресторана, где за столиком сидели какие-то дяди в кожаных куртках.

– От зрителей, уже посмотревших фильм «Обожжённые».

– Кто это? – спросил Глеб.

– Наши, из России, но умеющие стрелять с двух рук.

Больше у Глеба вопросов не было.

Потом появился Фетисов, легенда советского хоккея. И только они все вместе распробовали подаренную водку и решили заказать ещё, как владелец ресторана сказал:

– Всё, ребята, баста!

– Рома, в чём дело?! – обратился Глеб к владельцу.

– С двадцати трёх ноль-ноль в этом городе запрещено торговать алкоголем.

Все дружно возмутились:

– Да ты что, Рома?! Да ты давай потихоньку, как у нас в России, чтобы никто не видел.

– Нет. Если поймают, мне придётся закрыть заведение. Так что гуд бай. Расставались поздно, с целованиями.

На следующий день дооформили очень выгодные контракты, о которых Глеб договорился во время «оскаровского» банкета.

Глеб был доволен поездкой. Единственное, что огорчило по прилёте в Москву, – пропажа чемодана. Его по ошибке отправило в Пекин. «Ну что ж, это тебе привет от американского беса», – подумал он.

Хорошо, что всё проблемное рано или поздно заканчивается. Ты радуешься этому и не подозреваешь, что у тебя на пороге новая проблема, ещё более сложная, чем все вместе взятые до этого.

Расставаясь с Полиной в Нижнеокске, Глеб её спросил:

– Вот ты работаешь, работаешь. Ни семьи у тебя, ни мужа. Хотя на моих глазах тебе предлагали великолепные партии. Австриец в Вене – миллиардер, итальянец Фулио Тафони – у него на Сицилии замок, и даже князь Лопато в Париже. Что не пошла?

– Не знаю. Всё понимаю, но ничего с собой сделать не могу. Как ты думаешь, бабы русские после общения с такими, как ты, – подарки, внимание, лёгкая и весёлая жизнь, уважение, стихи, защита от всего, – смогут потом жить с другим мужиком?

– Не знаю, может быть, и нет. Но если нарожают детей, думаю, смогут.

– После мужиков, с которыми даже рядом побыть за счастье? Чушь. Не смогут.

Глеб вспомнил их совместную поездку в Париж год назад по финальному оформлению проекта на поставку оборудования в «Русский клуб» для выпечки французских булочек и круассанов.

Тогда, завершив все свои парижские дела, Глеб в прекрасном расположении духа вышел погулять на Елисейские Поля. Проживал он в небольшом номере на втором этаже отеля «Рафаэль». Идти было недалеко – отель стоял на авеню Клебер, метрах в ста от Триумфальной арки. Полина осталась в своём номере доделывать контрактные бумаги.

Глеб нашёл открытое кафе. Заказал чашку кофе и круассан и уже хотел приступить к приятной процедуре, как вдруг увидел своего земляка-приятеля, владельца Окского пароходства. Тот шёл мимо в компании пяти-семи человек, и Глеб, естественно, окликнул его:

– Егор! Коровин!

Тот, конечно, удивился, что кто-то посреди Парижа вдруг зовёт его по имени, но, разглядев Глеба, неожиданно очень обрадовался этой встрече. Даже как-то слишком уж обрадовался.

Земляк буквально выхватил Глеба из-за стола и, энергично дёргая за рукав пиджака, стал почему-то шёпотом спрашивать:

– Послушай, у тебя здесь, в Париже, переводчик есть?

Глеб кивнул головой, что есть, но не переводчик, а переводчица.

– Ещё лучше, – обрадовался Егор.

И пригласил Глеба вместе с переводчицей вечером на ужин, который устраивал его французский партнёр в одном из рыбных ресторанов.

Опасаясь, что Егор оторвёт рукав, Глеб быстро согласился.

Потом земляк всё так же шёпотом рассказал, какую роль он предназначил Глебу на этом замечательном ужине:

– Понимаешь, я тут, в Париже, был с переводчицей, а ко мне приехала жена. – И он показал на мощный тыл женщины, стоявшей впереди. – Я, естественно, переводчицу тут же отправил домой, в Россию, – продолжал шептать он, – а никто из русской компании, приглашённой на ужин, не знает французского.

– Хорошо, хорошо. Давай адрес, – подтвердил своё согласие Глеб.

– Но у меня к тебе ещё одна просьба: я представлю её, твою переводчицу, будто это моя.

Егор заметно заволновался и заговорил слишком громко, отчего тыл супруги, тут же выразил настороженность. Увидев это, приятель тут же сбавил тон:

– В общем, выручай, земляк!

Глеб ещё раз поклялся его выручить. И, придя в гостиницу, сказал Полине, не вдаваясь в подробности, что они приглашены в ресторан.

Вечером в ресторане Егор радостный встретил их и усадил посреди русско-французской компании за огромный, но почему-то пустой стол.

Тем, кто не бывал во французских рыбных ресторанах, здорово повезло.

Прежде всего всем присутствующим принесли по огромному белому клеёнчатому слюнявчику – местные официанты с тихой, но фанатичной настойчивостью завязали тесёмки на шеях; Глебу при этом слегка перетянули горло, и он понял, что с такой удавкой много не съест.

Все дяди и тётки за этим круглым столом сразу стали похожи на детсадовцев младшей группы.

Женщины чуть не плакали: под атрибутами французского рыбного этикета скрылись как прелестные ювелирные украшения, так и собственно женские прелести.

Так и сидели. Кивали друг другу головами, изучали трещинки и дырки на клеёнчатых манишках своих визави и ждали, что сейчас принесут что-то невероятное, большое, жирное, смачное, – и все посетители сразу поймут необходимость этих гнусных слюнявчиков.

Принесли. Подали каждому гостю по две копчёных кильки. Съели. Запили. Выслушали речь.

Следом – по одной дольке маринованного огурца величиной с мизинец. Съели и это. Запили. Опять речь.

Сменили приборы.

Принесли по три креветки под жёлтым соусом. Съели. Запили. Опять пошли речи.

И так далее в том же духе.

Настроение стало скучное и томное. Единственное, что согревало, так это тугое бедро Полины. За неё Глеб и предложил тост под какого-то морского таракана с ложкой уксуса – зря, что ли, она все предыдущие речи переводила?

Все вострепнулись, выпили.

И хотя приятель что-то с жаром нащёптывал в этот момент своей жене, показывая вилкой то на Глеба, то теперь уже на свою переводчицу, жена его пить не стала и закусывать не захотела.

После десятой смены блюд французы вдруг запели, и только тут все русские поняли, что к кильке и огурцам подавали вино, а не прокисший сок, чёрт знает из чего надавленный. Тут Егор, видя поскучевшие лица соотечественников, достал из своего кейса презент французскому другу – две бутылки водки.

Произнёсся великолепный тост. Выпили. До дна. И французы тоже.

Потом произнёсся ещё один великолепный тост. Выпили. До дна. И французы тоже.

Стало жарко. Все стали снимать опостылевшие слюнявчики, не спеша дожёвывая килек, лягушек и таракашек.

И тут кто-то предложил поехать в «Распутин». Все радостно закричали, запрыгали, захлопали, и Егор объявил, что он за всё там заплатит. Позвонил в «Распутин» и сделал заказ.

Ресторан встретил лёгким полумраком. Новым гостям был выделен кабинет в красно-бордовых тонах. Стол уже был накрыт чёрной икрой, солёными огурчиками, маринованными белыми грибочками, горячей



картошкой кругляшами с дымком и замороженной, в маленьких айсбергах, русской водкой.

Тут же к будуару подошли девять седых скрипачей. А первая скрипка, старый Поль, поняв, что сейчас здесь будет жарко, заиграл так, будто это был последний день в его жизни. Музыканты играли вдохновенно, легко и дерзко.

Потом откуда-то вынырнули русские эмигранты, князья и графы. Особенно выделялся князь Лопато – высокий, седовласый красавец с элегантно тростью. Увидев его, Полина вдруг решила, что ей пора замуж и мужем обязательно должен быть граф, ну, на худой конец, князь.

Пили все и пели тоже все. Женщины отплясывали «цыганочку с выходом», мужчины щедро раздавали скрипачам деньги – вначале франки, потом доллары.

Егор, раздав всё из кошелька, снял с себя золотые часы и отдал Полю. Потом потребовал наличные у жены и после резко отрицательного ответа стал навязывать скрипачам свои кредитные карточки.

Старый Поль, извлекая из своей скрипки всё новые волны чарующей музыки, мило улыбался и вежливо отказывался от карточек. Егор от этого очень расстраивался. Повернувшись к жене и угрожая ей карточкой, он твердил:

– Вот наступит утро, откроются банки, наменяю франков... За малым не покажется!

На это жена равнодушно пожимала плечами и пожирала глазами сцену, где Полина и князь Лопато десятый раз били по рукам, клянясь друг другу в вечной любви.

К шести утра ресторан напоминал бивак усталых воинов в степи. По столам, креслам и кабинкам валялись в разных позах люди, но в основном французы. А в одном углу, как у походного костра, вокруг кучки самых стойких собрались скрипачи, официанты и все хоть что-то соображавшие гости ресторана. Пелись русские народные песни, да такие, что плакать хотелось и бить себя в грудь, и жалеть, и гладить кого-то по буйной голове-головушке.

Наконец утомились и самые стойкие. Стали выносить французов. Поминутно возвращаясь то за кем-то, то за чем-то, сильно поредевшая компания медленно двинулась по лестнице к выходу из ресторана. Разъезжались на такси. Полина решила проводить князя. Глеб не возражал, дал ей денег, а сам пошёл пешком в гостиницу. Утренний Париж – в лёгком молочном тумане – ещё красивее, чем вечерний. Редкие машины и редкие прохожие на тротуарах.

На следующий день Глебу и Полине надо было улетать домой, но Полина так и не появилась и не позвонила. Глеб решил лететь один. Сев в самолёт, он никак не мог по-хорошему уснуть. Болела голова. Мутило, и стоило ему закрыть глаза, как начинал сниться странный сон.

Во сне Глеба, голого, волокна на гильотину толпа скрипачей, официантов и поваров из рыбных ресторанов, все они были с головы до ног обвешаны лягушачьими лапками и креветками. Причём путь пролегал почему-то через палаты реанимации, где на койках рядами лежали вчерашние друзья-приятели, полуживые.

А следом бежала жена Егора. Она то и дело подсакивала к Глебу и под общее ликование больничных палат давала ему пинка под зад, приговаривая при этом: «Вот теперь тебе, милоч, за малым не покажется!» А Глеб, вырываясь, кричал что есть мочи, что это вовсе не он предложил ехать в «Распутин». Но тут же появлялся Егор и шептал в самое



ухо: «Не отпирайтесь! Предложение исходило от вас, и вы это сделали затем, чтобы соблазнить мою переводчицу». И он, рыдая, начинал кредитной карточкой резать себе вены на левой руке. От такого кошмара Глеб раз за разом просыпался.

Настроение его совсем испортилось, мысли то и дело возвращались к Полине. Он понимал, что с ней ничего плохого не случится, если только она и в самом деле не выйдет замуж за этого Лопато.

Но этого не произошло. Полина вернулась в Россию через неделю и вышла на работу как ни в чём не бывало.

При воспоминании об этом парижском приключении у Глеба всё же заскребло на сердце, и он спросил Полину:

- А помру, что будешь делать?
- Попрошу похоронить в одной могиле...
- Да... Как у вас, женщин, всё легко и просто...

Сказал, а сам подумал, что это не женщины усложняют ему жизнь, а он сам ставит себе капканы, в которые потом и попадает.

Хотя... Каждая женщина имеет право на свою личную жизнь. Впрочем, как и каждый мужчина.

Ида встретила Глеба из Лос-Анджелеса тепло. Видно было, что соскучилась. Приготовила праздничный ужин, сама, как всегда, выглядела великолепно и детей нарядила.

Имея мужа серьёзного и известного, Ида очень тщательно, ежедневно и ежечасно следила за собой. И ей это удавалось. Глеб ни разу – ни ранним утром, ни поздним вечером, ни в сладкие минуты ночи – не видел Иду неприбранной.

Она не была ханжой, но и особого желания «звездиться» у неё не было.

На губернаторские балы, встречи, фестивали она с удовольствием надевала наряды от известных кутюрье и драгоценности, которые дарил Глеб.

Она видела и чувствовала, как этим был доволен муж и как другие мужчины тоже были очарованы её красотой и обаянием.

Что ж, Глеба всё устраивало.

Ида жила, словно королева.

Завидуя этому, что только не говорили о ней по углам её подруги и недруги. «Как часто люди бывают эгоистичны и жестоки», – думала Ида, когда до неё доходили эти нехорошие слухи. Но за делами и заботами о детях, о муже она переставала думать об этом. И опять жизнь продолжалась как всегда. Пусть не такая простая, как кажется всем со стороны, но с любимым и близким человеком, отцом её детей, мужем и хозяином фирмы «Русский клуб».

Ида считала, что без детского смеха счастья в доме нет.

А чтобы детский смех звучал постоянно, воспитанием детей должна заниматься мать. Это требует много времени, терпения и большой любви. Ида говорила: если мать будет мало говорить с детьми, то с ними начнут говорить чужие люди.

А Глеб же, у которого, как и у всех мужчин, отсутствовал инстинкт материнства, воспринимал детей как взрослых людей, только маленьких.

От любимой женщины необязательно нужен секс или приготовленный ужин. Память мужчины порой фиксирует не моменты любви и вкусный борщ, а проводы или встречи. Это всегда как шаг к счастью.

Глеб в момент самых горячих объятий, в секунду самой великой и сладкой близости начинал понимать суть и счастье жизни.

Всё живое на Земле и вся Вселенная были созданы для этого мига. Мига любви.

Ида никогда вслух не говорила про свои чувства, но Глеб слышал, слышал этот её внутренний голос всем своим сердцем, всей душой: «Как я рада, что ты пришёл живой и здоровый, мой милый, мой единственный любимый мужчина, люблю тебя, люблю».

С Глеба моментально сваливалась грязная шелуха дневных проблем, которая обволакивает всякого, кто связал свою жизнь с миром денег. Он как бы очищался в потоке радости и ласки, встречающей его. Внутри разливалось море тепла и спокойствия. И Глеб понимал, что это не чувство сладости, это – любовь. Чувство, которое человечество пытается понять и объяснить тысячелетия. И не может.

И не оттого, что оно, это чувство, непонятно людям, а оттого, что оно многогранное, индивидуальное и неповторимое, как и сам человек. Штучное создание Господа.

Дом был вотчиной Иды.

Ида всегда встречала мужа с хорошим настроением. Глаза светились. От её фигуры, движений, голоса исходили волны любви и ласки. Переступая порог квартиры, возвращаясь из мира жестокости и хаоса, Глеб попадал в мир стабильности, нежности и добра. Начинался он с поцелуя Иды, с тапочек, принесённых старшей дочкой, ласк второй и лепета младшей о том, как они ему рады. Всё это сразу успокаивало, и он был безмерно рад своему дому.

В семье Ида создавала свои традиции. Воскресные спектакли. Поделки к праздникам. Выпуски газет к дням рождения всех членов семьи. Дома обязательно жили кошки, собаки, птицы. Всё это требовало постоянного присутствия помощников.

Детям было строго запрещено хамить этим людям и смеяться над ними. Ида считала, что смех может обидеть человека сильнее, чем грубая брань. От этого обстановка в доме была доброжелательная. Хотя и не обходилось порой без ироничных шуток Глеба.

Как-то Глеб пошёл поцеловать дочерей на ночь.

Старшая, обнимая его, вдруг зашептала ему на ухо:

– Папа, а я знаю, кто ты...

– Кто? – опешил Глеб.

– Ты буржуй. Мне об этом тётя Тамара сказала.

Тётя Тамара – это Тамара Ивановна, которая помогала Иде по хозяйству.

– Ну, раз тётя Тамара сказала, значит, буржуй.

– А это хорошо или плохо?

– Для тебя хорошо, а вот тётю Тамаре будет плохо.

– Жалко тётю Тамару, её и так муж бьёт.

– Откуда ты знаешь?

– Она маме рассказывала.

– А-а-а... А мама не рассказывала, как я её бью?

– Ты? Маму?

– Да нет. Тётю Тамару за то, что она тебе глупости всякие говорит.

А младшая вдруг вскочила из кровати и бегом бросилась из спальни:

– Мама, мама! – кричала она. – А папа тоже тётю Тамару бьёт!

Улыбнувшись, Глеб подошёл к Иде и сказал: «Я скажу Майору, чтобы он уgomонил мужа Тамары Ивановны».

Но бывало и так, что Глеб приходил домой злым, сердитым и грозным. И не сразу переключался на семью. Вот тут-то и срабатывало ещё одно важное качество Иды – терпение.

Она терпела и его сердитый взгляд, и громкий голос, и раздражение, и недовольство. Хотя она-то как раз тут была ни при чём. Но всё терпела и повторяла про себя: «Я всё тебе прощаю до тех пор, пока ты меня любишь». И, конечно, Ида поняла, что после Лос-Анджелеса отношения между Глебом и Полиной стали не только рабочие. Ида опять стала замыкаться.

Глеб любил Иду, но порой поступки его говорили об обратном. Казалось, он делает всё для того, чтобы жена перестала верить ему и разлюбила его. «Какая же я сволочь, – подвёл он итог поездки в Лос-Анджелес. – А сколько у Иды было потрясений и мук от этого!»

Но Глеб уже остыл к Полине и в один из дней, не выдержав самокопания, решил поговорить с Идой. Дождался, когда дети ушли гулять с няней и она осталась на кухне одна. Он взял её за руки и, как была она с поварёшкой и в фартуке, привёл в зал, посадил на диван и сказал: «Всё, я вернулся. Прости меня, больше этого не повторится. Я понял, что люблю только тебя и буду с тобой всю жизнь».

Ида резко встала. Подошла к окну.

Повернувшись спиной к Глебу. Закрыла лицо руками, поварёшка со стуком упала на пол. Он вскочил, шагнул к Иде и одним движением крепко-крепко прижал её к себе. И тут Ида зарыдала так, что её всю затрясло. Кровь хлынула из её носа.

Кровь не просто лилась – она яростно пульсировала, повинувшись ударам её сердца. Ида забилась в руках Глеба как в лихорадке.

Это было страшно.

Тело Иды замерло, и она, затихнув и выскользнув из его рук, сползла на пол.

Глеб смотрел на женщину, лежавшую у его ног, на свои руки в её крови. В голове его помутилось, и он, потеряв сознание, рухнул рядом с Идой. Реальность исчезла, и его окружили упыри и вурдалаки. Они пока не трогали его, но, злобно шипя и гортанно лая, твердили, что вот-вот начнут терзать его на части. Кто говорил, что он сейчас напьётся крови досыта, кто рассказывал, как он будет резать Глеба на части, другие, сладко облизываясь, бахвалились друг перед другом, как они будут рвать на куски его душу. От этих ужасных посулов нечисти тело стало выгибать в дугу, как на дыбе. Он пытался кричать – звать на помощь, но вместо крика из его горла вырывались только хрипы. Вдруг стали появляться друзья и тут же пропадать – один за другим, бездейственно и безмолвно. Страх, что ему никто не может помочь, казалось, вот-вот сведёт его с ума, но тут он услышал голоса Иды и детей. Дети, маленькие хрупкие девочки, сидя на каких-то ступеньках, закрыв от ужаса глаза, твердили, как заклинание: «Мы любим папу! Мы любим папу!» А Ида, полностью обнажённая, без страха, как разъярённая львица, бросалась на толпу чудовищ и кричала: «Не отдам! Я вам его не отдам!» Она пробилась к Глебу и накрыла его своим телом.

Сознание стало возвращаться к нему. Очнувшись и оглядевшись вокруг, он понял, что всё это кошмарное видение было бредом его воспалённого мозга. Но, по сути, Глебу через подсознание сообщалось какими-то высшими силами, что только любовь Иды и детей защищает его от ужасов мира.

Он лежал на полу на спине, рядом сидела Ида, голова его покоилась на её коленях, и она, переворачивая мокрое полотенце, обтирала его лицо.

Лицо Иды было в крови, и халат, и волосы. Она всё ещё всхлипывала, но уже не надрывно, а устало. Увидев, что Глеб очнулся, стала целовать его, гладить и шептать: «Я знаю, я верю, у нас всё будет хорошо. Я знаю, я знала, что ты меня любишь».

В голове у Глеба была странная лёгкая пустота.

Он осторожно встал, и, поддерживая друг друга, они пошли в ванную комнату. Там кое-как разделились и вместе встали под душ, смывая с себя слёзы, кровь и боль.

Потом Глеб целовал и ласкал Иду так, как никогда раньше. Она прижималась к нему и была бесконечно нежна. И хотя за все эти годы у них было очень много минут счастья, то, что они испытывали сейчас, не шло ни в какое сравнение с тем, что было прежде.

А кем Ида была для Глеба?

Возлюбленной?

Матерью его детей?

Просто женой, которая мелькает рядом и не даёт скучать?

После такого откровения Глеб понял: Господь к нему, как к не потерянному ещё до конца своему созданию, для постоянного присмотра и контроля приставил именно Иду. И вот теперь эта частица Бога наблюдает, помогает, предупреждает, оберегает и даже дарит наслаждение.

При расставании с Идой у Глеба всегда возникала тревога.

А вдруг что-то произойдёт, и больше не будет в жизни этого уголка счастья. А вдруг... А вдруг... И чем дольше длилось расставание, тем сильнее ныло сердце и душу глодали тревоги и страхи. Но, слава богу, это всё проходило, как только Глеб возвращался домой, к той женщине, которая была ему дороже всего на свете. Дороже всех побед, договоров, денег, пустых восхищений и случайных знакомств.

И было всё это оттого, что Ида относилась к Глебу с вниманием, пониманием и осторожностью. Она старалась его не расстраивать и не беспокоить по пустякам. Ида знала, что сердце Глеба здесь, дома. Поэтому без прямых расспросов понимала его настроение. Если сложно – она могла как-то его успокоить, поддержать или просто промолчать, перетерпеть.

Ида – всегда спокойная, ласковая, искренне любящая.

Дочки – добрые, весёлые и счастливые.

Глеб – надёжный, умный и сильный.

Тишина и понимание в доме, человеческие отношения без разборок и претензий – всё это давало возможность жить в покое. Их дом был неприступной крепостью и спасением в непростое время.

А мир вне семьи был жестоким и страшным.

## Роман СЕНЧИН

*Екатеринбург*  
(№ 2, 2018)

### ШУТКА

Жизнь у Саватеевых текла по давным-давно установившемуся распорядку. Конечно, детали менялись, но основное оставалось неизменно.

Юрий поднимался около шести утра и, тихо одевшись, шел умыться, готовил кофе, а потом закрывался в своем кабинете. Ирина часто просыпалась от его шевелений, шума воды из крана, мягких, но все равно слышимых шагов, и порой уже не могла уснуть, но вставать не спешила: знала – для мужа эти утренние часы очень важны, в это время он пишет главное...

Раньше, когда дети учились в школе, уже в семь в квартире начиналась суэта, разговоры, включался телевизор, а теперь сын и дочь выросли, живут отдельно, и тихое утро растягивается до десяти.

Когда не спится, Ирина пытается читать, в последнее время пристрастилась к разным постам в соцсетях; встает она около восьми, занимается домашними делами, стараясь не шуметь, готовит завтрак.

Ирина не работает – тот журнал, в котором была редактором много лет, закрылся, а на новое место устроиться оказалось непросто. Иногда из издательств к ней обращаются с предложением отредактировать книгу, случается, сами авторы – таких, правда, теперь очень мало, – просят прочесть на предмет ляпов и неточностей, и платят за это пусть немного, но все-таки...

Впрочем, Саватеевы не нуждаются. Юрий обрел известность в начале девяностых, когда накрылась вся эта советская литература с ее иерархией, потребовались свежие имена, и одним из них стал тридцатилетний в то время Юрий Саватеев, автор нескандальной, но крепкой, настоящей прозы. Были опубликованы в журналах его повести и рассказы, вышли один за другим три сборника, и с тех пор раз в год-полтора издаются новые, переиздаются прежние, случаются премии, то солидные в денежном наполнении, то скромные, но всё равно влияющие на продаваемость книг Юрия, повышающие его статус.

Основные же деньги приносят колонки, которые он пишет, семинары, рецензии на опыты учащихся Школы литературного мастерства... Каждая колонка, рецензия, семинар оплачиваются скромно, но, как говорится, курочка по зернышку.

Квартира у Саватеевых хоть и трехкомнатная, но комнаты маленькие, от центра далековато. Их, в общем-то, устраивает. От лишних вещей избавились, часть мебели отдали детям, часть просто вынесли к контейнерам. Сделали ремонт, заказали натяжные потолки. Просторно, воздуха много. В центр часто ездить причины нет – тем более теперь

рукописи и отправляются по Интернету, и доводятся дистанционно. А рядом с домом Свибловский парк, Яуза – можно отдохнуть от города с его вечным гулом, суетой, запахом сгоревшего бензина...

Гуляют, надо признаться, нечасто. Юрий просиживает за столом часов по шестнадцать. Конечно, с перерывами на еду, на телевизор, который смотрит коротко и как-то слепо, размышляя в это время о том, что пишет, что нужно написать.

Ирина не тормозит его и не мешает, и в этом ее роль, если хотите, миссия. Да, такое высокопарное слово вполне уместно. Не мешать, создавая спокойную атмосферу, избавлять от мелких проблем.

Она, ясное дело, знает оскорбительное словцо «жопис», которым припечатывают таких вот женщин – жен писателей, которые сами ничего вроде бы не добились, живут при известном, а то и знаменитом муже.

Наслушалась Ирина этого шипящего «жопис» в спину от молодых прозаичек, поэтесок, околотитературных особ, которых всегда предостаточно на церемониях вручения премий, фуршетах. И всегда, услышав, она мысленно отвечает фразой из фильма «Москва слезам не верит»: «А ты с ним по гарнизонам помотайся». Это когда героиня Ирины Муравьевой завидует жене молодожавого генерала.

У них не было особых «гарнизонов», хотя первые годы оказались непростыми. Юрия почти не печатали, квартиру снимали; он работал то в газетах, но быстро понимал, что журналистика мешает ему как прозаику и уходил в грузчики, дворники, а то и вовсе в никуда, потом возвращался в газеты и снова уходил. Сидел на кухне – квартира была однокомнатная, – и писал, писал... В такие периоды существовали в основном на зарплату Ирины.

Она никогда не попрекала мужа, даже если с деньгами становилось очень туго, ни минуты не сомневалась, что он – талантливый, настоящий, и вот-вот это поймут редакторы, издатели. И они поняли.

Она оберегала Юрия, морально помогала ему и в этом смысле была классической женой писателя. А эти, которые шипят ей вслед, что они могут? Что им надо? Им страстей подавай, веселья и слез, сцен, карнавала... Ирина знает, к чему это приводит, чем кончается. Сколько одаренных ребят погибло из-за этих страстей...

Юрий уцелел. Не спился, не запутался в девках, не залез в петлю. Иногда, конечно, выпивал, встречался с приятелями в ЦДЛ или в рюмочной на Большой Никитской. Но именно – иногда. В основном же сидел в кабинете и работал. А потом получал вознаграждения: приглашения на церемонии объявления лауреатов премий, поездки во Францию, Китай, Финляндию, а однажды даже на Кубу... И везде он берет с собой ее, Ирину, жену и соратницу. Друга и помощницу. Он делит с ней свои лавры...

Ирина накрывает на стол и начинает поджидать его выхода. Как всегда, волнуется в эти минуты. Как поработал, как чувствует себя... Вообще-то Юрий болеет редко, ничего – ни желудок, ни суставы, ни давление – не беспокоит. Но вот уже почти десять, а он с шести утра на одной чашке кофе. И выкурил за это время – считай, натошак – сигарет десять.

Одно время она просила его, даже настаивала перед первой сигаретой выпивать стакан кефира или съесть булочку, но Юрий говорил, что после этого очень трудно писать. И Ирина бросила. Он прав, наверное, тем более что биографии многих великих писателей показывают – они тоже работали с пустым желудком, а завтракали очень поздно...



Открылась дверь кабинета, и вышел Юрий. Сказал как бы с недоумением:

– О, привет, Риш?

И Ирина поняла, что утро у него получилось. Когда не получалось, он был словно побит, обнимал ее и здоровался жалобно, как маленький, слабый...

Сели есть. Ирина приготовила кашу «Пять злаков» на молоке, порезала ветчинную колбасу, сварила по яйцу в мешочек.

Юрий ел жадно, но, скорее, не из-за голода, а просто не контролировал себя, оставаясь мыслями в работе.

– Как пишется? – спросила Ирина, чтоб вернуть его сюда на несколько минут. Сюда, к ней.

– Пишется? – Юрий оторвался от тарелки, поднял отяжелевшие глаза. – Пишется... Вопрос теперь надо ставить иначе: зачем писать? Что толку? Чья совесть от моей писанины делается чище? Чья совесть от этого заболит? – Он замолчал и после паузы заговорил быстрее, дрожащей скороговоркой: – У меня, как я узнал сегодня, нет совести, у меня есть только нервы. Обругает какая-нибудь сволочь – рана. Другая сволочь похвалит – еще рана... Им ведь все равно, что я пишу! Они всё сжирают! Душу вложишь, сердце свое вложишь – сожрут и душу, и сердце. Мерзость вынешь из души – жрут мерзость... Им все равно, что жрать. Они все поголовно грамотные, у всех у них сенсорное голодание... И они все жужжат, жужжат вокруг меня – журналисты, редакторы, критики, бабы какие-то непрерывные... И все они требуют: давай, давай! И я даю, а меня уже тошнит, я уже давным-давно перестал быть писателем... Какой из меня к черту писатель, если я ненавижу писать, если для меня писание – это мука, постыдное занятие... У меня физиологическое отправление. А я продолжаю, продолжаю каждое утро... Я верил, что кто-то становится лучше и честнее от моих книг. Чище, добрее... Никому я не нужен... Я сдохну, и через два дня меня забудут и станут жрать кого-нибудь другого... Я хотел переделать их по своему образу и подобию. А они переделали меня по своему. Это раньше было будущее, маячило где-то за горизонтами, а теперь нет никакого будущего. Оно слилось с настоящим. А разве они готовы к этому? Я пытался подготовить их, но они не желают готовиться, им все равно, они только жрут. И теперь я хочу одного – покоя. Понимаешь? Покоя! Больше не хочу ту дрянь, которая у меня накопилась, никому на голову выливать.

Юрий замолчал и снова навис над тарелкой. Жадно, но и с отвращением бросил в рот ложку каши.

– Что ты такое говоришь? – сказала Ирина и услышала, что голос ее хриплый, как будто ее чуть не задушили и сломали что-то в горле. – Зачем?

Тело было каменным, она не могла шевелиться. Не понимала еще, но уже знала, что произошло страшное. Рухнуло и придавило ее, и ей не выбраться.

Юрий повозил ложкой в тарелке и посмотрел на нее. Но теперь взгляд теплый и озорной.

– Хорошо сыграл? Мне говорили, что у меня есть актерский дар... Это монолог Писателя из «Сталкера». Помнишь – фильм Тарковского... Верней, не из фильма, а из сценария... Стругацкие, конечно, оригинальные были ребята, а Тарковский испортил, считаю, почти всё отсек, весь смысл... Сейчас вот прочитал сценарий и, видишь, с ходу запомнил.

Юрий пригляделся к Ирине и затревожился:

– Ну ты чего? Поверила, что это я сам?.. Ри-иш?.. Да это шутка... Так мощно посидел с утра, пять страниц выдал, ну и решил почитать. Наткнулся на сценарий Стругацких в Интернете, и как-то так зацепило... А мы, писателя, любим, когда собратья плачутся. И мне вот захотелось... Риш, ты чего?..

– Да, – с усилием отозвалась она, – правдоподобно получилось. – И попыталась улыбнуться. – Чай черный будешь, зеленый?

– Зеленый, лапулюшка моя доверчивая... Кстати, Тарковский от Стругацких требовал ускучить сценарий. Хм... Что-то есть в этом – ускучить... Все стремятся к экшену, действию, к динамике, а он – ускучить... Само слово-то какое...

Продолжение дня было обыкновенным, и следующий ничем особенно не отличался от предыдущих, и еще десятков... Будни.

А потом Юрий протянул ей стопочку еще теплых, пахнущих принтером листов.

– Закончил повесть.

Ирина всегда становилась первой читательницей его вещей. Не боялась делать замечания. Иногда Юрий пытался спорить, объяснить, но чаще соглашался. Не так: «Да, ты права», – а молча. Просто, читая повесть, или роман, или рассказ напечатанными, Ирина видела, что тот и тот, и вот тот эпизоды переделаны так, как предлагала она.

– Поздравляю, любимый.

Пообедали, минут пятнадцать посмотрели телевизор, и Юрий поднялся.

– Что ж, пойду вымучивать колонку. Предложили про грамотность написать... Оказывается, есть День грамотности... Колонку назову – «Относительное понятие»... – И, выходя из комнаты, бросил взгляд на повесть; Ирина ответила ему своим взглядом: сейчас начну читать.

Устроилась в кресле, большом – можно сидеть, поджав под себя ноги, а так как-то уютнее; зажгла торшер. Взяла со стеклянного столика листы.

«Давно, еще до рождения Ильи Погудина, Кобальтогорск был цветущим оазисом цивилизации посреди Саянских гор и тайги... В пятидесятые годы, когда начинались великие стройки, неподалеку от того места, где позже вырос поселок, нашли залежи кобальта, никеля, меди и решили ставить комбинат. Для полутора тысяч рабочих рубили в котловине меж двух хребтов дома, затем стали возводить кирпичные и бетонные двухэтажки».

Юрий был родом из Сибири, и сквозной темой его творчества стала жизнь ее населения. Раньше он часто ездил на малую родину, возил Ирину и детей, а последние годы находил темы, сюжетные завязки в Интернете.

«Илья прибыл домой двадцать пятого июня. Родители отложили разговор на вечер. Или на завтра. Отпустили погулять с Валея.

Гулянье получалось невеселым.

После объятий и поцелуев, до сих пор неумелых – тычки губами в губы и щеки, – побрели по тротуару с присыпанными щебенкой ямками. Ямок было много, щебенка хрупала под ногами».

О чем повесть, Ирина в общих чертах знала – Юрий делился с ней задумками: студент Илья Погудин, уроженец поселка, одичавшего после закрытия комбината. Илья не помнит хороших времен, он родился

тогда, когда одичание шло полным ходом. Родители не смогли вовремя уехать, пытаются выжить здесь, да еще и заработать сыну на учебу. Ему на вступительных экзаменах не хватило нескольких баллов для бюджетного места, предложили поступить на платное, обещая, что если сдаст сессию на отлично, переведут на бюджет. Но вечно по какому-нибудь предмету выходит четверка, и Илья остается на коммерческой форме. Он уже на третьем курсе, порывается бросить универ, но родители против: зря, что ли, столько потратили сил... И вот сын приезжает на каникулы, которые будут посвящены сбору грибов и ягод, шишек, чтобы попытаться продать их и собрать ему на предстоящий семестр...

Ирина давно не могла непредвзято оценить, сильно или не очень написано то или иное произведение Юрия. Когда читаешь на протяжении больше тридцати лет каждый текст одного автора – в данном случае собственного мужа, – привыкаешь к стилю, манере, мировоззрению. В любой повести, любом рассказе, романе Юрия имелись смысл, идея, и они были близки ей. Юрий писал для того, чтобы сделать людей лучше, обратить их внимание на – пусть это прозвучит банально – униженных и оскорбленных. А таковых и сегодня немало...

Ирина привычно увлеклась, вжилась в сюжет, увидела героев, и тут, неожиданно и резко, как в момент, когда вроде бы уже совсем уснул, вспоминается что-то не сделанное, или что-то плохое, и это сдирает теплое покрывало сна, она вспомнила слова мужа: «Я ненавижу писать... постыдное занятие... У меня физиологическое отправление. А я продолжаю, продолжаю каждое утро... Больше не хочу выливать дрянь, которая у меня накопилась...»

И глаза перестали видеть строчки, и сколько она ни пыталась вернуться к чтению, не получалось.

Тогда, за завтраком, она не обиделась на Юрия, не разозлилась, даже не ощутила сострадания – слишком сильно была потрясена. Придавлена. Потом, как ей показалось, отошла, а сейчас поняла – нет.

Она не бросалась, даже мысленно, такими словами как «гений», «лучший», но чувство, соответствующее им, сопутствовало всей ее жизни с Юрием. И вот каких-то двадцати фраз, не его даже, не им созданных, а из чужого текста, но сказанных, как свои, хватило, чтоб «гений», «лучший», исчезли. Остались сухие белесые разводы, как от испарившейся морской воды.

«Вышли, – Ирина заставляла себя читать дальше, вгоняла каждое слово в голову, как гвозди в доску, – вышли на центральную... на центральную площадь поселка – Октябрьскую, – непомерно... непомерно большую, пред... предназначавшуюся... когда-то для многотысячных демонстраций и парадов... и парадов. Теперь же, в полупустом Кобальтогорске, она... в полупустом Кобальтогорске... она смотрелась, как пустыня. Бетонные плиты крошились, из швов и трещин лезли трава, кусты, ростки черемухи... ростки черемухи, березок. Их вырывали – жители пытались сохранить поселок в порядке, – но безуспешно... сохранить... безуспешно... рано или поздно площадь превратится в пустырь, а потом... превратится в пустырь... и в лесок».

Закончив абзац, на который ушло минуты две, Ирина с облегчением отвела от бумаги ноющие глаза. Посмотрела на темный экран выключенного телевизора, на тахту, на которой они спали с мужем. «Спали с мужем», – повторила про себя, как о другой женщине и другом мужчине. Поежилась от прокатившихся по спине ледяных мурашек... За мурашками заколотилось в груди. Сердце...

– Что ж это.

Во рту стало горько-горько. И Ирина вспомнила, что так же горько становилось в детстве, когда ее обижали.

Медленно поднялась, достала из коробки упаковку корвалола, проглотила две таблетки.

Вернулась в кресло, уселась, поправила торшер, чтобы свет падал на бумагу насыщенней, стиснула стопочку двумя руками и уперлась в строчки. Сколько раз она читала всякое по обязанности, неужели сейчас не сможет дочитать повесть мужа... Но вместо слов на бумаге появилось лицо Юрия, тяжелый взгляд, и зазвучал его глуховатый голос: «Я даю, а меня тошнит, я уже давным-давно перестал быть писателем... Какой из меня к черту писатель, если я ненавижу писать».

Положила бумагу на столик, закрыла глаза и отвалилась на спинку.

Открылась дверь кабинета. Мягкие шаги. Вошел Юрий.

– Ну как? – спросил и боязливо, и в предвкушении похвалы.

– Извини... Я еще не дочитала.

– Да? Там полтора листа всего...

– Что-то нехорошо мне, – сказала Ирина с усилием. С усилием потону, что слово «нехорошо» было неточным.

– М? А что болит?

– Так... Недомогание какое-то.

– Может, лекарства?

Ирина кивнула:

– Уже приняла.

Юрий постоял рядом, погладил ее руку и тихо ушел.

Следующий день начался как обычно. Юрий встал около шести, умывшись и сделав кофе, засел в кабинете. Ирина подремала, посмотрела новости в айфоне, прочитала несколько анонимных исповедей в паблике «Подслушано»; одна исповедь поразила – жена вытаскивала у мужа из пупка катышки, это сделалось для нее этакой традицией, а потом катышки перестали появляться, жена спросила мужа, вытаскивает ли он эти катышки, муж сказал «нет», и таким образом жена поняла, что у него появилась любовница... В половине восьмого поднялась, приняла душ, приготовила завтрак.

За завтраком Юрий спросил о ее здоровье.

– Вроде получше, – сказала она. – Сейчас буду дочитывать.

Он кивнул.

Поели, поцеловали друг друга в щеку, и Юрий вернулся к себе; Ирина села в кресло, стала читать.

Несколько строк влились легко, а потом опять ступор, невидимый, но непреодолимый тупик, и – лицо мужа. То, когда говорил о писательстве. И дальше читать уже не получилось. Перебралась на тахту, с тахты – за свой письменный стол... Нет. Нет, нет...

Легла. Смотрела в потолок, пытаюсь сообразить, что с ней, разбить это состояние.

Ближе к обеду заглянул Юрий.

– Ну как?

– Плохо... Голова болит.

Но голова у Ирины не болела. Наоборот, была какой-то деревянной.

– Лекарства пила?

– Да.

Не пила. Знала уже, что не помогут.

– Ну ладно, – сказал Юрий. – Полежи.

После обеда – новая попытка читать. И всё повторилось. Ирина заплакала от досады на себя. И вдруг почувствовала к повести отвращение. К этой непрочитанной, но существующей.

Испугалась, принялась убеждать себя, что это не так, что это мимолетное. А чувство отвращения разрасталось, и вот уже все написанное Юрием стало для нее ложью, гадостью, обманом, в который она верила тридцать лет.

Ужин сил готовить не было. Слышала, как Юрий вышел из кабинета, постоял в дверном проеме в спальню, определяя, дышит ли Ирина, и она задышала громче – жива, спит. Он прошел на кухню, что-то поел... Походил по кухне, по комнате, которая раньше была детской, а теперь считалась кабинетом Ирины.

И вот вошел сюда, в темную, тихую спальню. Постоял. Ирину стал заливать страх.

– Ты спишь? – спросил шепотом.

– Уже нет.

– Как себя чувствуешь?

– Так... Юра, – решила признаться, – я не могу читать твою повесть.

Он как-то судорожно вздохнул, а потом хрипнул:

– Почему?

– Только начинаю, и вспоминаю твои слова... Те, про писателя... Стругацких... И мне кажется, что это ты о себе. И – не могу читать. Уверенность, что смысла никакого нет.

– Хм! В каком смысле – нет смысла?

Ирина понимала, что нужно сесть – лежа говорить неудобно и невежливо. Тем более говорить о серьезном. Но не могла. Наоборот, прикрыла лицо рукой, будто защищаясь.

– Ты так убедительно это сказал, что я поверила. Не умом... умом-то я понимаю, что это ты сыграл, а... У тебя в одном рассказе есть слово сибирское – «кишошно». Нутром вот так, до кишок каких-то поверила.

– Ну ведь это шутка! – снисходительно отозвался Юрий. – Розыгрыш обыкновенный.

– Я понимаю.

– Ну и что тогда?

– Я уже объяснила – что. Точнее объяснить не могу... Извини меня, пожалуйста. Уверена, это пройдет, но сейчас – не могу.

– М-да, – вздохнул Юрий. – Не знаешь, где на что наткнешься.

Два дня он не напоминал о повести. Но наверняка замечал, что она лежит на стеклянном столике все на той же странице. На третий, после завтрака, очень осторожно спросил:

– Как, не получается читать?

И Ирина твердо – было время понять, что нужно быть честной – кивнула.

– Ох-х-х-х, – Юрий поморщился так, словно удерживал слезы, – что ж, заставлять не могу. Странно, конечно. Из-за шутки – и так.

– Мне тоже странно. И страшно. Но, Юр...

– Ладно, не надо. – Голос его стал сухим, металлическим. – Спасибо, всё было вкусно. Пойду у себя посижу.

– Только не нервничай. И не кури много, пожалуйста.

– Боишься, что потолки пожелтеют?

Это походило на начало ссоры...

Ирина помыла посуду, пошла в спальню. Рукопись лежала на столике.

Хотела взять ее и заставить себя читать. Пересилить это идиотское состояние. Протянула руки, и в горле булькнула тошнота. И снова стало горько во рту... Легла.

Через час открылась дверь кабинета, и Ирина почувствовала, что Юрий заглядывает сюда. Замер. Увидел, наверное, что к повести не притрагивались, и вбежал.

– Так нельзя, Ира! – закричал визгливо, дико. – Нельзя так мучить человека! За что?! Что неудачно пошутил? Прости. Прости меня! Но не смей меня мучить! Нужно уважать мой труд...

Ирина дрожала. Не от страха, а от отвращения. И с ужасом понимала – к Юрию. Теперь уже к Юрию.

Он пометался по спальне, упал в кресло и схватил рукопись. Стал ею трясти.

– Я!.. Может, это главное, что я сделал... Ради этого писал остальное. Готовился, руку набивал... Может, поэтому и ляпнул тогда из «Сталкера». Иначе взорвался бы... Нужно было выпустить пар... А ты... Ира, ты меня убиваешь сейчас... У-би-ва-ешь! Ты не можешь вот так... За пять дней не соизволить прочесть двадцать страниц... Не поверю... – И его крик разом превратился в рыдание: – Пожалуйста, Риша... Прочитай... Мне необходимо, чтоб ты... Скажи мне, что я написал... Это говно или нет... Пожалуйста... – Съехал на пол и пошел на коленях к тахте. – Я пошутил... это шутка была... Ирочка, пожалуйста. Я пошутил, пошутил. Я писатель, я пошутил тогда. Мне необходимо, чтоб ты сказала... Прочитай и скажи... Писатель или нет уже... Риша, пожалуйста! Ира!

Ирина смотрела на Юрия и видела пожилого, жалкого и совсем чужого ей человека.



## Михаил ТАРКОВСКИЙ

с. Бахта Туруханского района Красноярского края  
(№ 2, 2021)

### СКВОРЕЧНИК

#### 1

Из детских вёсен одна мне вспоминается особо. В конце зимы к нашей кошке Мяке повадился ходить через форточку уличный кот. Мяка у нас тигровая с белыми носочками, гладкая и до родного близкая каждой полоской. Когда плоско лежит на боку, а ты её гладишь, перед лапками набегает шёлковая складочка.

Мне нравились особенно розовый и мокрый её нос и две круглые ворсистые подушки с точечками, из которых растут усы. Жизненную необходимость усов я понимал, но пухлые подушки с рядами точек восхищали особо, и я не сомневался, что существуют они исключительно для красоты и забавы. Любил задрать их толстую слоёную мякоть, вывернуть до розовой изнанки, чтобы у Мякиной морды вышло клыкастое и свирепое выражение, которое я называл «мышиный король». Если раскрыть-расклинить рот настежь, то можно потрогать акуратнейшую ребристую насечку нёба. А можно потрогать и сам язык в светлом игольчатом ворсе, но Мяка начнёт делать им отчаянное выталкивающее движение и раздражённо подметать хвостом. А я умудряюсь ещё и уловить хвост в самом основании, комле, где одушевлённо-крепко ощущается зарождение движения. Кошка гнусаво взмывкивает и вырвавшись, убегает, задрав хулигански хвост.

Любил смотреть, как Мяка лакает молоко, и как, взбивая молочный столбик, двигается шершавый её язычок, и его биение образует розовый туманчик. А молоко стоит столбиком.

И тут кот. Он был как порыв ветра с сухим снегом и цементной пылью: дикий, с пепельной, как на офицерской ушанке, шерстью, плотной и будто пыльной, беспородной, короткой, а шрамы на морде и голове как выбоины на шапочном ворсе. Морда широкая и бакенбарды объёмисто-крепкие, будто пустые, и весь кот грубый, боевой, насквозь пропитанный улицей.

Едва я вошёл в комнату, как он метнулся к форточке и был таков. Выражение Мякиной морды поразило: она лежала как ни в чём ни бывало – расслабленным калачиком. Я испытал сильнейшее ревнивое чувство: как так её, такую домашнюю, мягкую, *нашу*, не возмутил грубый облик кота, шарящегося неизвестно где и с кем. На следующий день котятра снова порскнул в форточку, и я обнаружил рядом с Мякой тёплую лёжку. Мяка так же невозмутимо лежала и живо на меня поглядывала. Удивляло, что на улицу она не ходила, а котятра-то про неё прознал, всё продумал и точнее и вертикально взмывал в форточку. Скорее всего она *так* сидела

на подоконнике, что он, именно *наглядевшись*, решился на дерзкий запрыг. Это понятно теперь, а тогда мною владело единственное желание – предпринять что-то решительное, и я решил устроить коту ловушку.

Казалось, если закрыть форточку, то он, лишившись подтока уличных сил, будет наказан за наглость. Что делать с ним дальше меня не заботило – вся страсть сошлась на поимке. Караулить кота не получалось, и я пошёл по пути внезапности. В очередной раз подкрался к двери и, бесшумно её открыв, влетел в комнату, на долю секунды увидев кота, удобно прилежавшегося к Мяке. Серой молнией метнулся он к окну, но я опередил его и, захлопнув форточку, ещё и повернул вертушку, похожую на грибок в разрезе. И вертушка, и рама были грубо и многожды покрашены по облупленной поверхности, и слои краски выпукло повторяли очертания каких-то полуостровов.

Я бросился к бабушке в соседнюю комнату с криком: «Кот в ловушке! Кот в ловушке!» Кот заметался и жалко забился под кровать. Мяка метнулась вдоль стены, подавленно опустив хвост. Вместо охотничьей радости я испытал разочарование и чувство, что нарушил важнейшее равновесье. Дальше не помню: скорей всего мы открыли форточку и вышли. А бабушке очень понравился крик «Кот в ловушке!», и она рассказывала знакомым о моей охоте.

Главное же, что я запомнил: это ощущение вмешательства и пропасть между упоением победой и той беспомощностью, в которой оказались Мяка и её знакомый. Эту атмосферу вторжения в чужую тайну я вспомнил через несколько лет, читая «Тамань» Лермонтова.

К Лермонтову у меня было особое отношение – считалось, что меня назвали Михаилом в его честь (пусть и наравне с Кутузовым) и по настоянию бабушки. Если прозу Лермонтова я прочитал классе в шестом, то с его стихами бабушка меня познакомила намного раньше. «Белеет парус одинокой», «Тучки небесные, вечные странники», «Смерть поэта» – всё было знакомое, настольное, ранне-детское. «Белеет парус одинокий» – читала ещё Бабушка Вера.

Лермонтов виделся продолжением Пушкина. Оба казались двумя гранями одного и того же самоцветного и дикого камня, и я долго не мог понять меж ними границы: оба писали поэмы, прозу и погibli на дуэли. Разъять их было не под силу, равно как и понять, зачем Богу угодно было сказать дважды об одном и том же.

Пушкин был рядом с ранних лет, глядел с чудной картинки на шоколадке: с пером и бумагой в золоте свете, а над ним космически-глубоко синело небо с тонким месяцем. Пушкин звучал бабушкиным голосом: «У Лукоморья дуб зелёный»... Жил в большой детской книжке «Сказка о Царе-Салтане», где мне особенно запомнился бой коршуна с Лебедью, море в пенных завитках и чешуйчатое перо Лебеди. Издатель же Дед-Гиз казался собратом Старика из «Рыбака и рыбки». В моих семь лет мы читали «Евгения Онегина» вслух, то я главку-стих, то бабушка. С торжеством и трепетом она произносила: «Уж тёмно: в санки он садится. “Пади, пади!” – раздался крик; морозной пылью серебрится его брововый воротник». Восхищали её и строки: «Ещё бокалов жажда просит залить горячий жир котлет, но звон брегета им доносит, что новый начался балет»... Пушкин... Уложенное в душу на самой её заре, золотое, янтарное сокровище, ведёт сквозь синеву лет и вмещается в одно слово – *родное*.

Не удивительно, что именно Пушкин запомнился сразу на всю жизнь, а десятки других книг – хороших, но именно детских, и словно

укороченных, такого следа не оставили! То, как описывает бабушка те дни, для меня было открытием.

*5 февр. Вымыла пол, вымыла Мишку – обоих очень чисто. Спит, свинка, в чистенькой постели. Ручка его не пишет, всё перо скособоченко – завтра покупать, а у меня денег 7 р. – 4 на школьные завтраки в понед. отдавать.*

*2 дня не ходил в школу – по радио позволили из-за мороза, а я под предлогом дала отдохнуть. И начали читать «Тимура» (кстати приходится всё объяснять, но интересуется очень, всё просил читать ещё.)*

*Вчера прочитали «Тёму и Жучку», а сегодня ещё «Неслуха» про медвежат, что взял в школе давно ещё. Читает ещё плохо. То начинает с середины слова, то задом наперёд, и никогда не догадается по контексту, пока не прочтает что это за слово. Удивительный тяжелодум. Многих слов просто не понимает, например, вчера «свежескошенная» и сегодня в «Тимуре» не помню какие слова. Учительница раз сказала «Способный мальчик, всё на лету схватывает». Какой уж там лёт! Просто она взяла штамп. Он понимает, когда что-то точно, ясно. Надо понять и запомнить, но без применения живого ума и смекалки. Как-то не так пишу... Не могу объяснить. Будем читать вдвоём до беглости, а потом вероятно через год начнёт читать один. Сейчас ему лень; и плохо понимает.*

*Мишка ужасен. Уроки делает так же, как ест. Куда-то бежит, отвлекается, то рисует, то с каким-то пластилинами мажется к машине. Весь день уходит на мишканье, сегодня 2 раза всыпала ему полотенцем.*

В первом классе учила нас замечательная учительница Екатерина Фроловна, человек чудный, добрейший и глубоко чувствующий именно это родное, и поскольку от учителя ничего более и не требуется, особенно любимая бабушкой. Прекрасное имя её поразило меня на всю жизнь, и я в одной книге так и назвал учительницу. Теперь хотел было назвать Елизаветой Ниловной, но не выдержал вынужденности и искусственности, оставил как есть: Екатериной Фроловной. Екатерина Фроловна носила телескопически-толстенные очки, и когда однажды их сняла, до слёз тронутая наивным словечком ученицы, то лицо её с мокрыми щеками оказалось поразительно босым, беззащитным и молодым. Ей на смену пришла Нелли Григорьевна, круглолицая и крупная молодая женщина в тёмно-коричневой, цвета указки, паре: кителе и короткой юбке. Причёска – того же цвета волосяной шар в сетке. На высоких каблуках она ходила неуклюже, в раскачку, и по бабушкиному делению была совершеннейший «вырви глаз».

В прочем и я не промах был: со своей вредностью отстаивал наше с бабушкой русское, живое, трепетное, не завёрнутое в хоть какую-то обёртку. В посленовогоднем сочинении описал праздничные приготовления подчёркнуто разговорным языком. «В комнате по середке поставили ёлку» и «нажарили картошки», а Нелли Григорьевна исправила «середку» на «середину» и «картошку» на «картофель» и поставила тройку.

Однажды Нелли Григорьевна вызвала меня читать «Зимнее утро». Стою у угла стола и читаю: «Вечор, ты помнишь, вьюга злилась»... Нелли Григорьевна останавливает, говорит, что слово «вечор» надо от-

делять паузой: «Вечор, это имя собственное, ты разве не видишь, что оно даже запятой выделено?! Вот и читай: «Вечор, (пауза) ты помнишь вьюга злилась?» Стихотворение я дочитал, оставшись при своём мнении, а дома доложил бабушке. Она сказала задумчиво: «А ты бы прочитал ей: “И, кажется, вечер ещё бродил я в этих рощах”»... «А что это?» – спросил я на свою голову. «Пушкин. Нельзя быть таким “серым” и так мало читать!» Примечательно, что слова «под голубыми небесами великолепными коврами», я сам читал через запятую после «небесами», будто ковры относятся к небесам. И много подпутывал, «от меча и погибнешь», мне слышалось как «отмечай, и погибнешь». В смысле, с мечом придёшь и, считай, погибнешь.

Бабушку произошедшее лишь утвердило в её правиле: что читать книги следует до того, как их растреклет учитель. Её стремление упредить касалось не только чтения, а многого остального: к примеру, меня отдали в школу, когда мне не хватало двух месяцев до семи лет. Многих первоклассников с такой нехваткой родители передерживали до следующей осени. Им было уже по восемь лет, и я оказывался на год моложе.

По росту я стоял ближе к концу, но об этом не задумывался, будучи покладист и вечно заморожен чем-то посторонним. Первым стоял Колька Лианозов, очень видный и крупный малый и всеобщий любимец. Лицо у него было классическое мужское, значительное, сбитое, с подбородком, но больше всего выражал взгляд: пытающийся мир на прочность, спокойный, и сонный, и вызывающий одновременно. Не помню, чтоб он как-то особо отличился, сказал что-то яркое – и так был хорош, хоть и успевал плохо.

Бабушка про него написала в тетрадке:

*Ещё Лианозов – он у них командир. Кто родители не знаю. Учится в музыкальной школе – рояль. Самый большой ростом, видимо, взрослее по уму. Мишка стал подворачивать козырёк у серой ушанки. Вчера говорит: «Знаешь, почему Лианозов подворачивает козырёк? Ему ушанка велика». Лианозов собирает марки. Мишка спросил много ли у нас галльских петухов. Хочет видимо для Лианозова. Спрошу у Нелли Григорьевны, что это за мальчик.*

Я шалил, учился невнимательно и мне без конца подсаживали девочек-отличниц, чтоб заразили образцовостью. Помню, была Марина, колотившая меня линейкой, и беленькая Наташа, худощавая и милая, которой я говорил, что на ней женюсь, не питая специальных чувств, но в знак доверия. Марина говорила «Екатерина Флоровна».

Была третья девочка, которую не садили ко мне несмотря на все мои чаяния. Подобно Коле, она стояла на физкультуре первой у учениц. Звали её Люда Полякова. Выглядела она так: несколько длинное лицо, вытянутый нос и породный, надменный постав головы, роднящей её с борзой. Капризный рот, свинцово-синие непрозрачные глаза. И лёгкая врождённая даже не смуглость, а вечная загорелость, на фоне которой особенно светлыми гляделись почти белые с отливом волосы. Она заплетала их в косу, утягивая пряди с висков, со лба, и лоб оказывался особенно открыт. Пограничная же часть, не попавшая в затыг, золотисто и неухоженно завивалась по границе, создавая сияние. Главные волосы длинные, протяжные, жилистые, а вокруг лба тончайшая солнечная стружка. На конце косы, тяжёлой и будто влажной, кисть с бантом.

Красавицей не была, но излучала нечто гораздо более важное и не связанное с правильностью черт: сильнейшую врождённую женственность, которая буквально кричала и в облике, и в голосе, и движениях. В том, как, отложив ручку, смыкала кисти в замок и, вывернув наружу, медленно ими тянулась, или как, промакнув страницу, дула на неё, длинно вытянув губы. В груди, выпукло выступающей из выреза физкультурной майки и взятой пупырышками. В самом вырезе майки, который у неё был глубже, чем у остальных девочек. В разлётно-медленном грудном смехе.

Новый учитель физкультуры, бывший военный, служил с её отцом и однажды ей выговорил, что, мол, отца твоего я знал, а вот посмотрим, как ты себя покажешь: «А то я иногда гляжу... и вижу... В общем есть у тебя такое: – Я Полякова!» Мы вроде и захихикали, но для порядка, потому что сказанное звучало как признание её высшего пошиба, первейшей пробы. И потом всё повторяли краткий приговор: «Я Полякова!»

Если я был всех младше на год, то Люда – будто старше всего класса и даже Кольки, которого девочки любили с абсолютной естественной силой, а Люда эту любовь олицетворяла и ею распорядилась.

Я попытался за Людой поухаживать, цапнуть, притереться, но она мгновенно шарахнула книгой по голове: «Сиди и не рыпайся!» Однажды оставил в её парте скомканную записку, что люблю. Она решительно подошла и сказала: «Нечего писать всякие глупости», мол, учился бы лучше, и в этой нотке педагогической обо мне заботы я нашёл ней свою сладость.

Уже будучи старшеклассником, живя в другом районе и учась в другой школе, я испытывал сильнейший зов взглянуть на наш прежний дом, по которому тосковал с первой минуты отъезда. Несмотря на его существование в одном со мной городе, возвращение к нему равносильно было походу во времени. В конце концов я в него и отправился, с каждым шагом поражаясь непоправимости изменений домов, деревьев, и даже голубей, до схлёста смыкающих крылья за спинами. Только дом наш стоял незыблемо родной и извечный, но уже с забытыми окнами, и казалось, именно забытые окна и не давали излёту прошлomu. По всем правилам, я должен был встретить на улице Люду, и я её встретил. Опустив глаза, она медленно шла навстречу с мороженым. Лицо её было потяжелевшим, усталым и прекрасным. Я не посмел её окликнуть, и она так и прошла мимо, глядя задумчиво вниз. Мраморно-выпуклые веки были особенно крупны, и глаза прикрыты.

## 2

Люду отличала обострённая тяга ко всяким выступлениям, всему общественному, узаконенному. Спевки, наряды, стремление быть на виду. У неё был сильный голос и ей пророчили оперное будущее. Девочки всё время умудрялись петь – выстроются в актовом зале в рядок, Люда главная – и поют, раскачиваются, как березки то в одну, то в другую сторону. Понятно, что учительница их настроила, недоумевал я. Но отчего же они не стесняются? Откуда знают столько песен, как умудряются всё запомнить, и главное, с такой готовностью воспроизвести? Когда они успели – услышать, выучить, спеться?

Раскачиваются деревцами и поют: «То берёзка, то рябина, куст ракиты на рекой, край родной навек любимый, где найдёшь ещё такой?» Симфоническое покачивание березняка и нравилось, и навевало сильнейшую грусть-тоску, хотя я и понимал, что склонение берёз и песни



важная штука. И что Люда главная берёзка, а все остальные подлесок и на неё смотрят. Нравилась и само движение музыки, перелив. И смысл тоже был понятен, кроме слов «куст ракиты над рекой», в которые мне слышалась «строка» – «у *строки* ты над рекой».

Было и чувство глубочайшей, какой-то донной погружённости в жизнь, зимней грусти, обостряющейся в актовом зале или столовой – столик, чёрный хлеб на тарелочке, котлетка и жёлтое пюре плюшечкой. И помню, чувство целой эпохи оставили этот вкус пюре вперемешку с клонящимися берёзками.

На новогоднее выступление Люда приготовила номер и вышла в пачке, кокошнике и балетных тапочках, в которых переступала на носочках, а мне казалось, что в носочки вставлены пробки от винных бутылок.

Колю и Люду роднило нечто мощное. Такие люди, как отборная плоть мира сего, есть в каждом классе, как подмеченный писателями обязательный толстый мальчик или малохоличный очкарик маменькин сынок. Эти видные, бесспорно уважаемые люди взрослеют и, поперебирая покалиберно себе друзей-подруг, обязательно в конце концов находят и друг друга, и всем будто легче, безопасней становится. Ходят вместе, а потом и свадьбу сыграют роскошно, а потом годы спустя их встретишь порознь, изношенных жизнью, его – грузного, испитого, её – истерически подсохшую, и обоих с выражением усталости и тяжести: тоже особой сильнейшей породы. Слава богу, оно не всегда так.

Никогда я не посвящал бабушку в свои душевные мытарства, но однажды поддался вечерней душевной ноте. Понимая, что надо сдержаться, что не по росту предмет, стал подмучивать бабушку, мол, угадай, кто мне нравится из класса? И пролепетал словечко «влюбился». Оно претило, как чужой словарь, но я кое-как вылепил его бастующими губами и чувствуя весь «вырви глаз», и что зря полез.

Бабушка тоже чуяла лишность разговора и стала показательно вынужденно перебирать фамилии девочек, мол, раз дошло, то, конечно, пожалуйста, но между естественным разговором и этим будет такая же разница, как между словечком «влюбился» и словом «люблю». И пошло мерно-задумчивое перебирание: «Ну, конечно, не Лоскутова, не Миронова, не Баукова, не Рыбина». Я помалкиваю, поддакиваю, а сам весь извожусь оттого, что причём тут Рыбина, если есть Люда Полякова... А бабушка гнёт свой перечень, в котором «не» нарастает и достигает вершины в слове «не Полякова». А я, поёживаясь от ликованья, выпаливаю, что да, как раз Полякова. Как раз она. Бабушка морщится, а я не могу понять, чем Люда-то не по ней? Пристаю. Бабушка долго ищет слово, мнётся:

– Ну она... она, как тебе объяснить...

– Ну какая?

Повисает что называется трудная пауза.

– Громоздкая.

– Как громоздкая?

– Ну громоздкая... – бабушка говорит прохладным голосом, в котором ничего нет, кроме недоумения: как можно не понимать, что Люда Полякова громоздкая девочка.

Больше всего мне обидно за свою несдержанность, ведь знал, не следует такие разговоры вести, а повёл:

– Бабушка, ну как громоздкая-то?

– Ну так... Все дети как дети пришли. А она – в пачке!



То, что я не всё путал и запоминал по-своему, подтверждается бабушкиной записью:

*Вчера их отпустили после трёх уроков и он ушёл с Сашкой Васильевым в их двор. Я два раза бегала в школу. Прихожу он дома. Руки в мазутной грязной воде с желтизной. Пробрала, и весь день был какой-то другой, как-то открылся, говорил о других ребятах, о секретах. Да ещё Димка с соседнего двора – говорят с ним секреты. «Я ему сказал секрет». Я не спрашиваю какой. «Только я тебе не скажу». Молчу. «Я тебе на ушко потом». – «Скажи сейчас». И он мне шепнул: «Какую девочку я люблю?» – «Какую же?» Стала перечислять. Оказалось Полякову. Вкус неважный.*

В конце февраля Нелли Григорьевна таинственным и торжественным голосом сказала нам, что ближе к весне мы пойдём в «подшефный детский сад вешать скворечники». Детский сад этот был неподалёку от нас во дворе дома, который я проходил по дороге в школу и в арку видел тополя. Огромные эти зимние, предвесенние тополя я хорошо чувствовал: стволы понизу в морщинистую жилу, а дальше гладкий и холодный до дрожи. Если задрать голову – шершавые бугорки, голые ветки и синее небо с бегущими облаками.

К весне я заболел. Не слушался бабушку, набрав полные валенки снега, лазил по сугробам, проваливался, валенки застряли с носками, я умудрился ещё и побегать босой, выпендриваясь перед Мишкой Кузнецовым и нарушив бабушкино правило: «Держи ноги в тепле, а голову в холоде». И эту картину запомнил верно, потому что бабушка безобразно записала подробно, хоть и не знала про снятие валенок.

*Был скандал с ушанкой (серой, на пуговке уши). Не хочет застёгивать. Я застегну, он расстегнёт. Так и сидели минут 15 в вестибюле, а потом по дороге продолжалось. Наконец – не расстёгивается, видимо руки замёрзли, идёт, ковыряет застёжку, злится, ревет со зла. Ветер, метель... Возле дома: «Не пойду домой, пока не расстегну!» – «Ну и не ходи!» Пришёл минут через двадцать со двора – полные валенки снегу, шапка расстёгнута... Вот злыдня!*

И вот болею, голова в жару, и жар то невыносимый, тяжёлый, то сладостный, и, конечно же, малиновое варенье, и морская рябь чая в блюдце, и бабушкин голос, тон, который она будто специально держит для меня, большого, говоря коротко и немного торжественно. И мне будто и разрешается много, но и интерес ко мне особый, внимательный. И особое обострённое чувство вызывает законная свежая жизнь, которая доходит как сквозь ватный подбой и которую взрослые приносят с улицы словно мне в упрёк.

И вот завязывается озноб, и вместе с жаром начинают клубиться шершавые бездны, наваливаются адские вереницы несметных чисел, меня мутит, и я рушусь в серые пупырчатые жернова, которые всё вращаются и вращаются, и именно это вращение наконец и выносит меня отдышаться. И я ворочаюсь в потном облаке жара уже с наслаждением, и если начинаю о чём-то думать, то картины сами растут, наслаиваются и обретают необыкновенную горячую притягательность. И я, конечно, представляю своих любимых хищных птиц, которых обожаю рисовать и которые мне нравятся своим свирепым взглядом из-за нави-

сающего надглазного козырька. И я тоже хмурюсь и очень хочу быть грозно похожим на орла, особенно при Люде. Представляю и Люду и как она бессознательно улыбается и поворачивает голову в сторону Коли, когда он городит какую-то смешную грубятину.

В жару образы обретают сверхсилу, цветную выпуклость. Я и в обычной-то жизни прекрасно чувствую тополя, а тут они буквально выдвигаются навстречу – утренние, ледяные, гладкие, как железная труба, как промёрзшая кожа. Появятся и исчезнут, и снова вскипает варево жара, а когда малиново-чёрные клубы расступаются, вижу картину, по края наполненную спасительной крепостью, потому что в неё перешли чугунные ядра, катавшиеся в моей голове. В ней всё просто и прекрасно: два великолепно мёрзлых, прямых как стрела тополиных ствола.

Ствола два, а нас трое: Люда Полякова, Колька и я. Люда в синем пальто и в кружевном кокошнике. За тополями у забора остатки снега, у нас под ногами тополиные корни взламывают асфальт, и на них лежат два скворечника. Чтобы их потом поднять, пояса наши обмотаны верёвками. Кто первый повесит скворечник, того и поцелует Люда Полякова. Будучи первой руки знатоком птиц, я лучше всякого Кольки знаю, как лезть и вешать.

Утро ясное, к обеду пригреет, и клейкие, похожие на ос в меду, почки вот-вот набухнут на ветках, и я чувствую их острый горьковатый запах. Но пока рано и морозец. А по мёрзлому стволу особенно опасно лезть.

Неизвестно откуда появляется Нелли Григорьевна с остальным классом, болеющим, ясно, за Кольку. Нелли Григорьевна не разрешает мне лезть, но я рассказываю ей про мои летние залазы, и она сдаётся. Да и Колька рвётся, а он настолько влиятелен, что Нелли Григорьевна не может отказать. Удивительно, насколько она считается с его видностью, завораживается им. Таким никто ни замечаний не делает, ни к директору не вызывает, хотя Колька троечник, как и я.

Я опережаю Кольку и лезу на тополь, и чувствую, как простреливает под коленками, когда нога соскальзывает с бугорка. Ствол гладкий, и на бугорки вся надежда. Главное, долезть до толстой ветки. Ярко вижу голый бледно зелёный ствол и опиленный отвилок на фоне синего неба.

Знаю, что Люда смотрит, и когда у меня снова соскальзывает с бугорка нога, у неё вырывается нежное и испуганное: «Ахх!» Но я долезаю, сажусь верхом на развилку и победно поднимаю на верёвке скворешник... Колька с красным от злобы лицом карабкается по соседнему стволу и который раз бессильно сползает.

В разные залазы я то прибывал скворечник гвоздями, то привязывал за сук. И всегда труднее всего было слезть. Но я обнимаю мой тополь, что есть силы, прижимаясь щекой к его замороженной шкуре, – и, спасибо тебе, брат-дерево – небрежно сползаю на землю...

## 3

Лет тридцать спустя я крепко приболел в тайге, и тогда особенно часто приходила ко мне во сне бабушка, поя малиной и читая «У Лукоморья дуб зелёный». Я всё спрашивал, помнит ли она те тополя и запах их клейких листочков, а она говорила держать ноги в тепле, а голову в холоде. И ещё, что не никогда не выздоровлю, если буду *«мало читать и так тосковать по ней и по детству»*.

Той весной я много читал, когда выздоравливал. День поправки выдался вовсе особенный – я проснулся от истошного писка: серые в полоску котята пищали тонко-тонко в картонном ящике. К ним, негромко и отрывисто взмяукивая, бежала Мяка. Неузнаваемо собранная, она мягко впрыгнула в ящик и, продолжая отрывисто мурчать, улеглась навстречу шевелящейся серой массе.

В этот день букетик верб принесла мама и поставила в длинную хрустальную вазу, на мелких гранях которой настолько причудливо заиграл свет, что ваза казалось прозрачным древесным стволом с соками, бегущими по жилам. Это были первые вербы, которые я запомнил, и они так и остались в памяти как, как заглавные. То же можно сказать и про котят в ящике, и про первую спичку, пущенную по ребристой ручью вдоль тротуара.

С этими открытиями-сокровищами я и шёл в школу солнечным тёплым днём, не забыв заглянуть в арку на тополя, которые стояли теперь особенно знакомо и заманисто.

В школе стояла беда: ходили в детский сад вешать скворечники, Нелли Григорьевна отправила Колю на тополь, а он, сорвавшись, упал головой об асфальт и теперь лежал в больнице, где ему делали «трепонацию черепа». С ряда на ряд переползало страшное это слово, которое кто-то из детишек не мог толком выговорить и произнёс «трупонация». Девочки ревмя ревели. Люда, если раньше худо-бедно замахивалась на меня учебником, то теперь не замечала вовсе и, оводя заплаканными глазами класс, не задерживалась на мне или глядела как сквозь предмет.

Бледная Нелли Григорьевна в начале урока сорвалась вдруг со стула, сказала, чтоб мы сидели тихо, что её вызывают к директору, а вернувшись, сказала, пряча глаза:

– Ребята, если вас будут спрашивать, пожалуйста, скажите, что я Колю не посылала на дерево.

Мальчики молчали, а девочки пустили заговорщицкий шёпоток:

– Ребята, надо сказать, а то Неллю Григорьевну посадят в тюрьму.

Я переживал на Колю, не жаловал Нелли Григорьевну, и желание за нас спрятаться показалась мне мелковатым. Бабушке я всё рассказал в надежде, что она разделит моё недоумение. Бабушка умела так красноречиво омолчать мои умствования и так поджать губы, что ты чувствовал себя полным дурнем. Я попытался, объяснить, что, мол, она ж «вырви глаз», «ты сама говорила», но бабушка сказала, что «вырви глаз» сейчас вспоминать об этом. Я стал допытываться почему, а бабушка завела обычное: чем спрашивать глупости, лучше поставить себя на место другого человека.

– Бабушка, – нудил я.

– А?

– А что бы ты на её месте сделала?

У бабушки был голос, который я называл «скучный» – когда она была вынуждена объяснять что-то очевидное, когда ей было удивительно, как можно очевидное не понимать, не знать нутром и проявлять такую «серость». Меня всегда интересовали коренные вопросы, связанные, к примеру, с деторождением. Однажды я крепко прижал бабушку: зачем нужны отцы и как дети попадают из живота наружу? Бабушка взялась объяснять про мужское и женское семечки, которые-де, соединяются, и потом из них непонятно как является ребёнок. Учitando, что бабушка терпеть не могла семечки, я плюнул и перешёл ко второму вопросу. У нас дома считалось, что маме разрезают живот и оттуда тебя достают,

но такая завязка на больницу и ножик казалось противоестественной, не природной: а вдруг нет рядом доктора? Так что: откуда появляются дети?! Бабушка не хотела отвечать, я нудил, и она вдруг замолчала, а потом обречённо брякнула детское словечко, обозначающее место, откуда появляются дети. Стало нестерпимо стыдно, неловко, что вынудил на откровенность, зная неспособность бабушки врать. Обречённый этот голос я и называл «скучным». И сейчас бабушка сказала «скучным голосом»:

– Я бы упала с дерева.

– Как упала?

– Да так. Не дай бог на её месте оказаться.

Никто, конечно, никакую Нелли Григорьевну не посадил и не тронул, но Коля, говорят, потом долго болел, хотя дальнейшую его судьбу я не знаю, поскольку перешёл в другую школу.

А потом настала первая моя Пасха, и мы с бабушкой пошли в Новодевичий. Ни сборов, ни дороги не помню – помню только, как подходили вдоль монастырской стены к воротам и что виднелась Москва-река. В Москве было достаточно монастырей, мне привычных, а может, и взор я ещё не набил на красоту, но прекрасный образ этого монастыря до меня тогда не дошёл.

Но то, что я испытал далее, – не забыть. Внутри монастыря возле храма длинно стояли столы, покрытые разноцветьем рушников, обильно крашеных яиц в расписных чашках, тарелок с пасхами и куличей со свечами. Кипело, гудело, ворковало оживлённое варево женщин, старушек в платках, цело действо, старинное, дивное, яркое – я отчётливо помню его дух, питавший в те часы бабушку.

В храме на Литургии меня поразило пение Символа Веры. Вслед за батюшкой оно кругово народилось вздохом, шорохом, и я ощутил себя в центре этого нарождения, многоголосого и многоколосного, когда десятки людей, неказисто иссушенных возрастом, обратились вдруг в единый чистейший напев. Особо заворожил переход на словах «Вседержителя-я-я-я», уход вверх на этом «ляяя». Ничего близкого по аскетизму и человеческой понятности я не слышал... Помню и свою зажатость меж прихожанами, и непривычку долго стоять, борьбу с собой... Но самое незабываемое началось дальше: когда совсем рядом режущесвеже возрос сильный и особенно живой голос, который стебельчато перевиваясь с остальными, уводил их под купол. Пела совсем рядом молодая женщина с большими серыми глазами. Что поразило в её пении? Полное отсутствие концертного желанья показать себя и при этом небоязнь петь во всю силу. Она будто говорила: «Да. Я могу сказать о главном так вот прекрасно, но меня здесь нет, а есть образ, и я знаю, как он отзывается в вас, и именно силой этого отзыва и жив мой голос».

Напев, уже ставший моим, повторился в Отче Наш, и снова шла служба, и мне всё труднее стоялось, и я чаще поглядывал на бабушку в надежде на поблажку. Но она смотрела вперёд и, чуя моё переминание-топтанье, не переводя взгляда, крепко взяла меня за руку. Зычный богатый голос возгласил: «Христос Воскресе!» и, исподволь зашелестев, эхово преобразуясь под сводом, стал нарождаться шелест листьев, переплеск крыл, который, олетая весь храм, собрал по зёрнышку «Воистину Воскресе» во единый протяжный, мятущийся колос.

Так впервые по милости бабушки испытал я благодать соборного единения. И теперь ощущаю исходящую от бабушки в тот день осязаемую волну: быть здесь со мной – и в храме на Литургии, и на улице

у праздничных столов. Чувствовать ликование обступивших старушек в платочках, синего неба, воробышков, клюющих крошки от куличей. И не проронив слова, сказать *всё* счастливым и строгим своим видом, торжественным молчанием, означающим одно: «Внимай». Такое бывает в единственном случае – когда приходят на Родину.

Бабушка, я внял всему, что ты завещала. Сберегу, не предам и не отдам на поругу ни раKITного кустика земли родной. Передам завещанное правнукам, яко же приях. Одного лишь не в силах исполнить: не тосковать по тебе и по детству.

Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым. И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, Иже от Отца рожденнаго прежде всех век, Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна, несотворенна, единосущна Отцу, Имже вся быша. Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с небес, и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечшася.

Распятаго же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша, и погребенна. И воскресшаго в третий день по Писанием.

И восшедшаго на Небеса, и седяща одесную Отца.

И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым, Егоже Царствию не будет конца. И в Духа Святаго, Господа, Животворящаго, Иже от Отца исходящаго, Иже со Отцем и Сыном спокланяема и сславима, глаголавшаго пророки.

Во Едину Святую, Соборную и Апостольскую Церковь.

Исповедую едино Крещение во оставление грехов.

Чаю воскресения мертвых,  
и жизни будущаго века.

Аминь.

**Владимир АЛЕЙНИКОВ**

*Коктебель*  
(№ 6, 2020)

И ВОВСЕ НЕ О ТАКОМ...

### Облака

День ли прожит и осень близка  
Или гаснут небесные дали,  
Но тревожат меня облака –  
Вы таких облаков не видали.

Ветер с юга едва ощутим –  
И, отпущены кем-то бродяжить,  
Ждут и смотрят: не мы ль защитим,  
Приютить их сумев и уважить.

Нет ни сил, чтобы их удержать,  
Ни надежды, что снова увидишь, –  
Потому и легко провожать –  
Отрешенья ничем не обидишь.

Вот, испарины легче на лбу,  
Проплывают они чередою –  
Не лежать им, воздушным, в гробу,  
Не склоняться, как нам, над водою.

Не вместить в похоронном челне  
Всё роскошество их очертаний –  
Надышаться бы ими вполне,  
А потом не искать испытаний.

Но трагичней, чем призрачный вес  
Облаков, не затмивших сознания,  
Эта мнимая бедность небес,  
Поразивших красой мирозданья.

### У реки

В листве маслин и верб прибрежных  
Не надо слов и слёз поспешных –



Плакучей ветке поклонись,  
Найди в струенье, в серебрянье  
Безбрежным дням благодаренье –  
В любви, пожалуй, не клянись.

К реке ступай – в ней жилы влаги  
В подспудной выпуклы отваге,  
В неумолимой полноте  
Неудержимого течения,  
Чьи недомолвки и реченья  
Сроднились с кровью на кресте.

Хвала тебе, краса земная!  
Другого имени не знаю –  
За что дана ты мне теперь?  
За тот ли свет, что с неба льётся,  
Что эхом в сердце отдаётся –  
Предупреждением потерь?

Апостол твой по берегу бродит –  
И что-то в мире происходит,  
Чему названье – благодать,  
Чему предчувствие – прозренье,  
Чего присутствие – смирение,  
Чью ипостась – не передать.

## Где сокровища речи сокрыты

Нет, никто никогда никому не сказал,  
Где сокровища речи таятся –  
Средь звериных ли троп, меж змеиных ли жал,  
Или там, где беды не боятся.

Соберись да ступай, по степям поброди –  
Не родник ли спасительный встретишь?  
Не тобой ли угадано там, впереди,  
То, что ищешь? – ему и ответишь.

Не биенье ли сердца в груди ощутишь,  
Не слова ль зазвучат о святыне? –  
Может, взор мимоходом на то обратишь,  
Что миражем казалось в пустыне.

Где томленье по чуду? – в слезах ли росло  
Иль в крови, что огнём обжигала? –  
Потому и священно твоё ремесло,  
Что в любви – откровенья начало.

Даже страшные клятвы уже ни к чему,  
Если просишь у неба защиты, –  
Потому-то не скажешь и ты никому,  
Где сокровища речи сокрыты.

## Из августа

Сон твой велик и наивен –  
Выручит завтрашний ливень? –  
Вот его нынешний шаг –  
Он обнадёживал так,  
Что собирались цветы пред домами,  
Стёкла дрожали в расшатанной раме,  
Долу клонилось белёсое пламя, –  
Был он торжествен и наг.

В зеркале мрачном и мы отражались,  
Губы сжимались и веки смежались –  
Всё бы языческой тьме,  
Гуще злокозненной, мгле ненасытной,  
В лёгком челне, над пучиною скрытной,  
Плыть с фонарём на корме.

Всё бы на свете расти ожиданью,  
Всё бы томиться в груди оправданью,  
Всё бы виновных найти  
В том, что на деле мы сами сгубили,  
В том, что в себе навсегда позабыли  
И не ценили почти.

Что тебя в глуби зеркальной  
Встретит улыбкой прощальной? –  
Всё, что на ощупь ушло,  
Влагой ночной утекло,  
Свечкой растаяло, розой поникло,  
В песнях исчезло, в беде пообвыкло,  
Прячась к тебе под крыло.

## Объяснение

Нет, я не стану тебе повторять,  
Что предстоит нам в пути потерять,  
Что никогда, как ни жди, не вернётся,  
Искрой не вспыхнет, руки не коснётся,  
Птицей не вскрикнет, исчезнет в степи, –  
Слёз не жалей, но и сердце скрепи.

Нет, никогда не скажу я – прости –  
Что предстоит нам в пути обрести –  
Имя луны над бессмертной долиной  
Та, что когда-то звалась Магдалиной,  
Шепчет, едва раскрывая уста,  
Вся – очевидна и вся – непроста.

Нет, не хочу я тебе говорить,  
Что предстоит нам другим подарить –

Стаи растаявшей клич лебединый  
В час полуночный, в глуши нелюдимою,  
Чудится мне, отзываясь в тиши,  
Крылья подьемля всегда у души.

Нет, я не стану тебе объяснять –  
Слов неустанных тебе не понять –  
Это бездомица ветра ночного,  
Это бессонница века больного,  
Это зарницы и розы в горсти, –  
Взял бы с собою – да трудно грести.

### И вовсе не о таком

И вовсе не о таком,  
Что душу твою изранит, –  
Ведь с ним я давно знаком,  
Оно укорять не станет,  
Оно не удержит нас  
В распластанной сени дыма,  
Но смертный подскажет час –  
И в жизни необходимо.

И вовсе не о таком,  
Что сердце твоё тревожит. –  
Ведь горе, как снежный ком,  
Настигнет тебя, быть может,  
Ведь радость застанет вдруг  
Тебя на пороге славы,  
Друзей раскрывая круг,  
Вниманья даруя право.

И вовсе не о таком,  
Что очи твои туманит, –  
Рассвета сухим мелком  
Оно осыпаться станет,  
Чтоб птичий возвысить клич,  
Листву шевелить на древе, –  
Его-то и возвеличь  
В едином, как день, напеве.

И вовсе не о таком,  
Что слух твой ночами мучит, –  
Речным пожелтев песком,  
Оно возвышаться учит,  
Оно запрокинет звук  
Туда, на незримый гребень  
Волны беспримерных мук,  
Чтоб смысл её был целебен.

### Но свет изначальный

На севере – тихо, на юге – тепло,  
Промышленный гул – на востоке,

На западе – пусто, – вот солнце взошло, –  
Безвременья годы жестоки.

Да помнишь ли ты, как, смеясь у реки,  
Мы влагу в ладонях держали –  
И ночи бывали всегда коротки,  
И дни никуда не бежали?

На лодке – весло, да над лодкой – крыло,  
Взлетавшие к облаку птахи, –  
Так вот оно, сердце, и вот ремесло,  
Забывшее вовсе о страхе!

Крыло надломилось, и лодка худа,  
И облако тучи сменили –  
И маску с обличья срывает беда,  
И вёсла гребцы уронили.

И Дантова тень, в зеркалах отразясь,  
Как эхо, давно многократна –  
И с веком прямая осознана связь,  
И поздно – вернуться обратно.

И есть упоенье в незримом бою  
С исчадьями тьмы и тумана! –  
У бездны алмазной на самом краю  
От зрячих таиться не стану.

И так набродился я в толпах слепых,  
И с горем не раз повидался, –  
В разорванных нитях и в иглах тупых  
Погибели зря дожидался.

Сомнения – нет, и забвения – нет,  
И смерть – поворот карусели,  
Но свет изначальный, мучительный свет –  
Вот он и бессмертен доселе.

**Владимир БЕЗДЕНЕЖНЫХ***Нижний Новгород,*

(№ 3, 2019)

**А КТО СКАЗАЛ, БУДТО ЖИЗНЬ ЛЕГКА?****Песенка**

Хорошо встретить вас куплетом,  
Про смешное такое всё вам  
Спеть... Никак не могу о светлом,  
Не могу никак о весёлом.

Голова вон совсем седая,  
Да умишка совсем немного  
Ниоткуда да в никуда я  
Всё выводывал путь-дорогу.

Озадачивался ответом  
Всё о смысле жизни путёмом,  
Тьмой густою шёл да к рассвету,  
Да встречал рассвет за рассолом.

Всё боялся, что опоздаю,  
Шею выверну или ногу,  
Но ни в те, ни в иные дали  
Не отъехал, и слава богу!

Братцы, я к вам теперь с приветом.  
Только что-то ни то ни сё он.  
Я пока не могу о светлом,  
Не могу пока о весёлом.

**День пустоты**

Должен остаться один.  
Мысли темны и густы  
Мнятся. Необходим  
День пустоты.

Не говорить с собой,  
Закоченеть, остыть.  
Снимет, убьёт всю боль  
День пустоты.

Был вот, да вышел весь  
В чернь – немота и стыд.  
Просто измерь и взвесь  
День пустоты.

Глупая суть вещей.  
Чёрканные листы.  
И ничего вообще.  
День пустоты.

### Довлеет дневи...

«Довлеет дневи»... давай, довлей,  
Теперь чего уж... «злоба его»  
И сорок восемь всего рублей  
В кармане звякнут. И ничего.

И ничего. Только на проезд.  
Как ни заходишь, а всё не в масть  
Один денёк можно не поесть,  
А Бог, он милостив, он подаст.

Подаст ломоть и ещё чутка,  
А вслед опять рубанет с локтя,  
А кто сказал, будто жизнь легка?  
Сейчас схватила и жмет в когтях...

«Довлеет дневи злоба его»,  
Пока деньгами берут – давай.  
И не проси больше ничего,  
Не верь, не бойся...  
Пиши слова.

### Улица Столетова, улица Углова

Улица Столетова,  
Улица Углова  
Ну с какого этого? –  
Вроде ни с какого.

Липицы зеленые,  
Клен американский,  
Водочка паленая  
Да базар пацанский,

Лица закаленные –  
Ходят человеки  
Детской у районной  
Да у библиотеки

Имени Чекалина  
Пионера Сани,



Павшего за Сталина,  
По-напротив в баню

Имени чекалика  
С водочкой паленой.  
Выпьют там по маленькой  
С сладким иль соленым

Соком или без него,  
Шкодят, безобразят –  
Развлеченья местные  
Не разнообразны.

Подобрать бы слово,  
Только что-то нет его.  
Улица Углова,  
Улица Столетова...

### Баночка

Жить, друзья, хорошо и здорово –  
У меня вот такие мысли.  
Вскрылась баночка с помидорами,  
Помидоры чуть-чуть подкисли  
Да по верху заплесневели,  
Все равно мы их все подъели.

Все подъели на эти праздники.  
Не должна пропадать закуска.  
Под грибочек сопливо-масляный,  
Под напиток известный русский.  
Понемножечку-понемножечку  
Да под жареную картошечку

Ну а вам всем добра и поровну  
И удачи, и счастья. Лишь бы  
Только баночка с помидорами,  
Но никто никогда из ближних.  
Потихонечку-потихонечку.  
Без болезных да без покойничков.

## Александр БОБРОВ

Москва  
(№ 1, 2023)

### СМЯГЧАЮЩИЙ СВЕТ

\* \* \*

Ни грусти, ни горести нет,  
Ни боли минувших обид...  
Какой-то смягчающий свет  
В осеннем пространстве разлит.

Дорога до неба видна  
Сквозь дымку растраченных дней,  
И зелень ещё зелена,  
И золото стало видней.

Уже не прошусь ночевать,  
Вина не решаюсь налить,  
Не знаю, с чего начинать,  
Чтоб осень былую продлить.

А там – Будапешт золотой  
(Приеду ли снова? – вопрос),  
И ты над дунайской водой  
С волною упавших волос...

### В бассейне

Про красоту «Она была» –  
Не скажешь честно.  
...И вот она в бассейн вошла –  
Блондинка-чешка.

Фигуру бывшую несла,  
Не растеряла.  
Я представляю, как цвела,  
Как покоряла.

А муж – седая борода –  
Сидел угрюмо,  
Я представляю: как всегда  
Роилась дума.

Теперь осталось только жить,  
Надежду полнить,  
Что нам троим – не согрешить,  
А только помнить...

### Но я успел...

За счастьем призрачным в погоне,  
Судьбу бросая на весы,  
Я встретил женщину на склоне  
Своих годов,  
Её красы.

А это был – курорт венгерский,  
А это был – отель-термал,  
И я в бассейне, слишком дерзкий,  
За стан её приобнимал.

Она загадочно смеялась,  
В воде противилась чуть-чуть,  
Но потихоньку поддавалась,  
Чтоб жарко вечером прильнуть...

Токай асу в подвалах бродит...  
Где Листа жаворонок пел,  
Гляжу на фото – всё проходит,  
Но я – успел.

### На улице Щипок

*Памяти Бориса Духона*

Я сегодня вдруг вернулся в юность,  
Тронулся трамвай и прозвенел.  
Вот – Щипок,  
И сердце встрепенулось:  
Свой давнишний техникум узрел.  
Эх, как мы влюблялись в эти годы,  
У роддома резались в футбол,  
Сладкий дух безденежья, свободы,  
Селигер, турбаза, рок-н-ролл.  
Всё былою дружбою согрето,  
Спорами азартными юнцов.  
У тебя всегда – «Спартак» и Нетто,  
У меня – вернувшийся Стрельцов.  
Первые свиданья –  
Пусть несмело...  
Снова осень скрашивает вид.  
Шесть десятилетий пролетело,  
Мир трещит...  
А техникум – стоит.



Подают мне щемящую весть  
О мамаше, любившей их с юности.

Я на кладбище редко хожу,  
Как и все, кто в реальности вертится.  
Но на лики родные гляжу  
Так, что тает тревога не встретиться...

## Последний лист

*Памяти Людмилы Щипахиной*

Последний лист свалился,  
И снова – тишина.  
«...Мой старый друг влюбился», –  
Писала мне она.  
Припомню все дороги  
И каждую строку.  
Мы были с ней в Хороге,  
Мы пили с ней в Баку.  
Закаты и рассветы  
Погасли над Москвой...  
Последние поэты  
Великой мировой  
Империи советской,  
Сгоревшей на ветру –  
С их верой беззаветной  
В добро и красоту.  
Не золото на клёнах,  
А только вороньё...  
Ни песни для влюблённых,  
Ни строчки – от неё.

\* \* \*

...И в пору поздне-рябиновую,  
Когда и не ждёшь тепла,  
Порадуюсь за любимую,  
Которая счастье нашла.

Теперь она с новым избранником  
За каменную стеной –  
Не то что со старым странником,  
С каким-то поэтом.  
Со мной.

Пуškai, мол, и дальше скитается,  
Обманываясь красотой.  
А первый снег опускается,  
Сквозя забытой фатой...

---

\* \* \*

Это – будто кажется,  
Двор – как сад чудес.  
Тихо опускается  
Снег с небес.

В жизни, бурно прожитой,  
В наш безумный век  
Выдыхаю: Боже мой –  
Первый снег!

Время – в хлопьях замерло:  
Медленен полёт.  
Эх, начать бы заново...

Снег пройдёт.



## Глеб ГОРБОВСКИЙ

*Санкт-Петербург*  
(№ 1, 2014)

### ПОКЛОН ВОЛГЕ

Меня обрадовало сообщение моего друга Олега Рябова о том, что в Нижнем Новгороде начинает выходить в свет новый литературный журнал и я приглашён участвовать в его жизни. Сразу вспомнилась Волга, её богатые размеры, её великая слава и несказанная красота, песенное обаяние. Вспомнилось всё, что было связано с ней. Показалось, что почуял – не запах её воды, но аромат. Мощный, земной, не забытый с юности.

Причиной моего первого знакомства с Волгой была не экскурсия, не туризм, а... ссылка. Моему отцу, освободившемуся после отсидки в лагере по 58-й статье, было запрещено жить в Ленинграде, откуда его в 1937 году по ложному доносу на глазах у меня, маленького пацана, ночью увели из дома люди в чёрных кожанках. С тех пор я его не видел почти десять лет. За это время в моей жизни произошло очень много нерадостных событий. Отправленный матерью на каникулы в Порхов к родным отца летом 1941 года, я оказался на оккупированной Псковщине. Четыре года скитался там и в Прибалтике по дорогам войны беспризорным бродягой. А когда после войны вернулся в Ленинград и нашёл мать, то вскоре угодил в детскую тюрьму, а затем в колонию для малолетних преступников близ города Маркса, откуда убежал и разыскал отца – в Заволжье, в деревне Жилино. Там он после освобождения стал учителем и директором местной сельской школы, где ученики всех классов занимались в одной комнате.

Там под руководством отца я окончил за один год семь классов, а затем и восьмилетку в селе Богородское Владимирской области.

Самым близким городком в юности после родного Питера стала для меня Кинешма. Туда, за пару десятков километров, приходилось мне в то время часто ходить за продуктами, так как на нашей стороне Волги, в лесной глуши, никаких магазинов не было.

Но всё вышесказанное – лишь внешняя сторона пережитого мной тогда на волжских берегах, а истинный, глубокий смысл был в том, что я именно тогда, в заволжской глубинке, начал сочинять стихи. Начитался Некрасова, Лермонтова, Кольцова, Есенина из отцовской библиотеки – и потянуло рифмовать, да так потянуло, что до сих пор никак не остановлюсь.

Окончить среднюю школу в Ленинграде мне не удалось: прямо из девятого класса пошёл служить в стройбат и не миновал Заволжья. После «дембеля» в 1950–1960-е гг. неоднократно гостил там у отца и его сестёр, моих тётушек, встречался со своей духовной родиной,

с Волгой. Так сложилось, что моими очень дорогими и близкими друзьями до конца жизни стали поэты – Михаил Дудин (родом из Ивановова) и хорошо известный всем нижегородцам Юрий Паркаев. И ещё многие поэты, чья жизнь и творчество связаны с Волгой и обоими её берегами. Дороги и памятны мне – и ушедшие к Богу, и поныне здравствующие.

С 1950-х годов, когда была написана моя первая поэма «Мёртвая деревня», я не переставал посвящать стихи воспоминаниям о юности на Волге, о посещениях отца после армейской службы, впечатлениям от встреч с красотой природы и добротой людей волжского края, коих смею считать своими земляками.

В последний раз я побывал в этих дорогих сердцу местах, когда меня удостоили премии имени К. Бальмонта мои ивановские братья по литературе. Это случилось на 20-х юбилейных Бальмонтских чтениях в городе Шуе. После этого состоялось незабываемое посещение родины Константина Бальмонта – села Гумнищи, где я с удовольствием принял участие в традиционной поэтической переключке, а затем и в празднике поэзии в культурном центре «Павловский». Спасибо поэту Юрию Васильевичу Орлову, главе Ивановской писательской организации: благодаря его доброму участию нам с Лидией Гладкой удалось поклониться месту упокоения Михаила Александровича Дудина и его матушки в селе Вязовское, а затем побывать в сказочной красоте леви-тановском Плесе, испить там чистой воды из матушки Волги...

## Вечерняя Кинешма

Посмотрите на небо: ни тучки.  
На душе у меня – ни пылинки.  
Волгари в ресторане с получки  
«обмывают» шкафы и ботинки.

На соборе кресты на закате  
загорелись, как будто знаменья!  
И, одетое в чёрные платья,  
к ним не наше спешит поколение.

На бульваре, над Волгой, над ширью  
совершают прогулки девицы...  
И деревья – деревья, как ширма,  
за которой целуются лица.

...До чего же приятно, опрятно,  
до чего же вокруг неизменно...  
А девицы – туда и обратно,  
и туда, и обратно – смиренно.

## Глаза княжны

А мне всегда немного странно,  
когда, теряя тишину,

заслышу песню про Степана:  
про то, как он сгубил княжну...

Застолье грянет увлечённо  
о том, как Разин (или – хмель?)  
ту бессловесную девчонку  
спровадил в волжскую купель.

Была бы, что ли, баба с перцем,  
с шипами, «оторви да брось»,  
а то – одни глаза да... сердце,  
от страха белое небось.

Недаром приуныли братцы  
и не стремится Филька в пляс:  
им стало, если разобратся,  
весьма неловко в этот час...

И мне сдаётся: в миг ужасный,  
когда над Разиным топор  
сверкнул, взойдя, как месяц ясный,  
не смерть ему застлала взор...

А прежде – взгляд княжны истошный  
взошёл, как смертная тоска,  
и вдруг, мерцающая искрой Божьей,  
погас, прощая казака.

## Мы от мира сего

Над твоим изголовьем – бетон и стекло,  
над моей колыбелью рябина склонялась.  
Нам с тобой повезло: мы от мира сего,  
и работает сердце – ещё не унялось.

Оглянись на Россию, на давний рассвет.  
Куликовское поле услышь под копытом.  
Как там Сергей промолвил? «Скачи, Пересвет!»  
И добыта свобода. И кровь не забыта.

Мы от мира сего, от земли и ума.  
Нам в своей цитадели светло и уютно.  
Но случись басурманы – найдётся Козьма  
и Пожарский найдётся: нам это не трудно...

Гей, которые там расседлали коней,  
отойдите в сторонку: над миром тревожно.  
Нужно память очистить от копоти дней  
и ладонь козырьком приподнять осторожно.

Повторяется всё. Неизменна любовь  
к этим песням, полям, материнской рябине.  
Мы от мира сего, от которого кровь  
в наших жилах и в лютую стужу – не стынет!

## Заветное слово

*Владимиру Чивилихину*

Что есть Россия? Хмурая изба?  
Фонтан берёзы, бьющей из пригорка?  
Россия – память, взгляд из-подо лба  
сквозь дым веков – и сладостный, и горький.

Что есть Россия? Мудрая река...  
Всех наших сил и разумений русло.  
И мы – её крутые берега  
в сугробах городов и нивах русских.

Что есть Россия? Перекат, порог,  
дробящий всё отжившее, пустое.  
Россия – Слово (дум людских итог),  
Заветное, Нетленное, Святое!

## Живая вода

Не выбирал – сложился признак  
судьбы: как вещая рука,  
всегда вела меня по жизни  
та или эта, но – река.  
Не море рьяное, не заводь,  
не гладь стоячая озёр,  
не буйство чувств, не стыд, не зависть,  
но – ровный ток души в простор!  
Нева родимая, а возле  
Шелонь – река моей войны;  
Шексна армейская и Волга –  
река любви, река страны!  
Блужданий реки и скитаний –  
Амур и Лена... Всех не счесть.  
Но вот ещё: река свиданий  
с собою (и такая есть) –  
Двина! Точней – её верхушка,  
спешит по Белья Руси.  
Река-клюка, река-старушка,  
мой лик усталый отрази!  
Неси меня, как вздох гармошки,  
туда, в заречье, в синий лес...  
Всё позади. Подумать можно.  
И улыбнуться... В глубь небес.

\* \* \*

Заглохший сад, порожняя изба,  
на всю округу – полторы старухи.  
Что это – сон? Мистерия? Судьба?  
«России нет...» – ползут, как черви, слухи.

Дурные слухи, скверные дела...  
Отчизны имя – будто плод запретный.  
Лети, лети над клевером, пчела,  
звучи, звучи в душе, напев заветный!

Всё это враки, выдумки, молва,  
всего лишь – пыль дорожная над полем...  
Мертва – былая... Вечная – жива!  
И выть, как по покойнику, – доколе?!

\* \* \*

*Юрию Паркаеву*

Заунывно, как ветер в трубе,  
то, как волк, на луну завывая,  
мы слагали стихи о себе,  
о печалях родимого края.

«Сколько можно, – корили меня, –  
дохлой песенкой сердце лохматить?  
Не пора ли к машине – с коня?  
Голосить по покойнику хватит!»

...И, случалось, замолкнешь на миг.  
И смущённо под дудку чужую –  
даже спляшешь. Но истины лик  
вновь проглянет сквозь муть неживую.

И затынешь – душа на куски! –  
всё о том же, о той же печали...  
Потому что от горькой тоски  
только сладкая смерть отлучает.

## Тёплый огонёк

Разгребая в памяти завалы,  
ощутил я тёплый огонек:  
домик возле волжского причала,  
ночь и я – бездомный паренёк.  
Я тогда от пьяного конвоя,  
опекавшего лесоповал,  
оторвался тропкою кривою  
и весьма с тех пор не унывал!  
И над Волгой, стоя в буераке,

слушая, как плещется вода,  
различил я огонёк во мраке —  
тусклый, но манящий, как звезда!  
...Дверь открыла женщина-молодка,  
тёплая, в бельишке кружевном.  
Накормила, угостила водкой  
и поцеловала перед сном.  
Утром я проник на пароходик,  
в воссиявший устремясь денёк!  
Многое померкло, стерлось вроде...  
Но мерцает тёплый огонёк!

### Музыка юности

То было в юности на Волге,  
в послевоенном холодке...  
Нас окружали волки, толки,  
дремучий лес невдалеке;  
недельной свежести газета,  
зимой — снега, весной — вода  
и вдаль бегущие сквозь лето  
по Волге белые суда...  
Они, крича многоголосо,  
неслись, считая города!  
...Но лишь на «Чехове» колёсном  
играли музыку тогда.  
Ещё незримая, но странно  
влекущая, как терпкий мёд,  
она возникнет из тумана —  
и сладко сердце обоймёт!  
Минута, две... И вдруг растает,  
погаснет, горько задымит.  
И глуше глушь лесная станет,  
а боль — большее защежит.  
...Давным-давно отпета юность,  
всё ближе к финишу забег,  
но вальс «Оборванные струны»  
остался в памяти навек.  
Он там, на Волге суматошной,  
в той заповедной стороне,  
куда вернуться невозможно  
ни этой музыке, ни мне.

\* \* \*

...Словно вырвали с корнем цветок,  
по указке какого-то беса  
отменили фабричный гудок,  
доносившийся к нам из-за леса.  
Проживая в заволжской глуши,  
мы ловили фабричные вздохи —



и спадала усталость с души,  
и вселялась причастность к эпохе.  
Это было давненько-давно,  
утекло непомерно водички...  
И теперь я, косясь на окно,  
завыванье ловлю электрички.  
Не к тому, чтобы слышать прогресс,  
беспределом его ужасаться:  
чтоб контрастнее слышался лес,  
чтобы глубже в себя погружаться.

\* \* \*

Что запомнилось? –  
Запах рабочей воды.  
Исходящий от спящей, но долгой,  
испитой, но бессмертной, как дух, Красоты,  
распростёртой в долине – над Волгой.

А ещё вспоминаю «нарпит», винегрет,  
на причальной террасе буфет старомодный,  
возведённый купцами за дымкою лет,  
и – буфетчица с доброю мордой.

И бедовую, взор окунавшую в грусть,  
воровато-прелестную деву... И знаки  
приглашенья назад, в непорочную Русь,  
в допетровские, мёдом пропахшие мраки.

...Кинешемские звоны, летящие вдаль,  
кинешемские улочки, пьющие Волгу.  
Что осталось? –  
Осталась большая печаль.  
И любовь, о которой потом.  
Втихомолку.

\* \* \*

Армия. Заволжье. Самоволка.  
Девушка. (Как звали мы – «двустволка»!)  
Шубка. А под ней – завеса платья.  
На снегу – горячие объятья!  
А потом – брели в изнеможенье...  
И ждала «губа» в «расположенье»!..  
Вся зима промчалась в знойных встречах.  
А потом – разлука... Слёзы. Речи.  
Двадцать лет мне было. Ей – чуть меньше.  
Но она была одной из женщин,  
что меня бесплатно приласкала,  
и в мои ресурсы не вникала.  
...Подалась куда-то вдаль, к Китаю.  
Родила? Кого? Зачем? Не знаю...

\* \* \*

Серо-синий грязный лёд  
на реке сойдёт вот-вот...  
На закрайках – чернь воды.  
Опустился грач на льды:  
что-то ищет, не спеша,  
перелётная душа.

...В юны годы, на рысях –  
встретил Волгу на сносях.  
Помню вспученные льды,  
лошадиные следы...  
Позади – армейский срок.  
Ну, а Волга – как порог,  
что нельзя перешагнуть...  
Но – чихнул и двинул в путь!

Там, за Волгой, был ларёк,  
обещавший «пузырёк»!  
Лет полста с тех пор прошло...  
Кто-то скажет: повезло!  
Ну а я скажу иначе:  
молод был, ловил удачу!

### В дымке ладана

Свет малиновой лампы.  
В дымке ладана – кресты...  
Запрокинутые взгляды,  
шевелиющиеся рты...

Я пришёл сюда из ада!  
Мне пристало жить в аду.  
И жалеть меня не надо:  
я поплачу и уйду.

Я уйду туда, где Волга,  
сад, беседка... И скамья,  
где однажды долго-долго  
слушал ночью соловья!

### Иваново-Вознесенск

Вновь из окон гостиного дома  
пятиглавая кровля видна.  
Град Иваново – старый знакомый,  
мне опять твоя помощь нужна.  
Не по улицам гладким и гулким,  
не широкой асфальта спиной –

проведи по родным закоулкам,  
 где бродил я далёкой весной...  
 Помню дом деревянный, точёный:  
 там окошко светилось, маня...  
 И фабричную в доме девчонку,  
 не жалевшую губ для меня!..  
 А потом – этот крик паровозный,  
 смех солдатский, разлуки крыло...  
 И в глазах – непонятные слёзы,  
 от которых поныне тепло!  
 ...Возвращался не раз. А надолго  
 задержаться – не смел и не смог...  
 Град Иваново, Кинешма, Волга —  
 всё проездом, всё мимо, всё вбок...  
 А теперь – уж и помыслы седы.  
 И другие влекут города...  
 ...Свет в окошке – явись напоследок,  
 улыбнись и прости навсегда!

\* \* \*

В атмосфере дремучей, огромной,  
 за лесами, за Волгой-рекой –  
 слушать издали гомон церковный,  
 обливаясь звериной тоской...

Лес гудит, как ночная машина,  
 Ветром-ухарем взят в оборот.  
 И душа, как стальная пружина:  
 не опомнишься – грудь разорвёт!

...Как поют они чисто и внятно  
 в тесном храме, ничьи голоса!  
 Неужели тебе непонятно:  
 там от века синей небеса.

Только там – за оградой церковной,  
 там – под сводами горней мечты  
 обиталище Воли Верховной!  
 Так войди же под своды и ты!

Обогни неслепую ограду,  
 отыщи неглухие врата –  
 и получишь Свободу в награду.  
 И – Любовь. И уже – навсегда!

\* \* \*

*Юрию Паркаеву*

Эти старые, без крику –  
 синеглазые слова:  
 бра́шно, су́мно, поелíку,  
 грехово́дник, однова́!..

---

Эти гра́ды, эти ве́си –  
дивных слов косматый ряд –  
словно бу́ки в тёмном лесе:  
напугают – не съедят!

Ведь за ними, как за синим  
окияном, словно луч,  
брезжит юная Россия  
из-под злых и чёрных туч...

**Игорь ГРАЧ**

*Нижний Новгород*

(№ 3, 2015)

## ДОНБАССКОЕ ИНФЕРНО

### Размышление о героизме

#### 1

Маленький Санька,  
механик-водитель танка  
с ясным,  
незамутненным совестью взглядом,  
крепенький, ладный  
и ловкий, как ванька-встанька,  
глотает пепси,  
сидя со мною рядом.

Разницы  
между делишками и делами  
Санька не видит,  
живет нетрезво и бурно.  
На Санькином пузе –  
храм с пятью куполами;  
в тридцать четыре года –  
совсем недурно.

В Санькином теле  
кусочки вражеской стали.  
Саньке  
неведомы «хорошо» и «плохо».  
Санька стрелял  
и в танке горел в Дебале  
с той же ухмылкой,  
что шкуру водил на блоках.

Месяц-иуда,  
звезды, хищные твари,  
застят дорогу  
к спаленному украми дому...

Маленький Санька –  
мой боевой товарищ.  
Я за него  
глотку порву любому.

## 2

Ранец солдатских грехов  
повис за спиною,  
присыпанный тальком дерзости и отчаянья,  
полнясь от дня ко дню  
и от боя к бою  
и не имея тенденции к полегчанию.

Песни о наших победах будут пропеты  
теми,  
кто дал с войны в свое время деру,  
а мы останемся  
в названиях школ и проспектов  
(кроме расстрелянных  
за буйство и мародерку).

А песни будут!  
Звонкие, лживые песни!  
И мы их подтянем,  
осиянные мутным светом...

...Маленький Санька устало глотает пепси,  
герой Донбасса,  
не знающего об этом...

## Двухсотый

Нет в смерти  
ни красивого, ни мерзкого,  
а есть земля,  
пропахшая угаром.  
До взрыва было человежье месиво  
двадцатилетним симпатичным парнем.

Не дожито,  
не люблено,  
не пройдено...  
От страха  
солнце сделалось блее  
луны.  
Как ни почетна смерть за Родину,  
в земле не суше  
и не веселее...

Мы все там будем –  
раньше ли,  
позднее ли...  
Без ненависти,  
гнева  
и истерик  
мы нивы жнем,  
которые не сеяли,  
недолго сокрушаясь о потерях.



Привычно вражья гаубица гукает,  
и полыхает небо ярко-красным...  
...Оторванную человечью руку я  
несу в руке.  
...И страшно,  
что не страшно...

## Новороссийские ямбики

### 1. Донбасс. Российский доброволец

Бронежилет, разгрузка, автомат,  
шлагбаум, рация, тоска по дому...  
Опять солдат,  
как тридцать лет назад.  
Должно быть, не умею по-другому...

Мальчишка,  
не сумевший повзрослеть,  
укрытый сединой, как маскхалатом,  
я назовусь,  
коль выйдет уцелеть –  
героем  
и Империи солдатом...

### 2. Воспоминание о будущем

Когда-нибудь  
проснусь от тишины  
под мерный звук раскатистого грома –  
в заштатном городке шальной страны,  
который стал родней родного дома.

Не артобстрел,  
но вешняя гроза,  
и слезы молний,  
полны влажной грусти.

...И глянут с неба женские глаза,  
что не дают мне  
ни солгать,  
ни струсить...

### 3. Между войн

Сомлело в ожидании беды  
белесых хат испуганное стадо,  
и полнятся военные склады  
снарядами для гаубиц и «градов».

Над ухом –  
свист кровавой тишины,

ворчанье смерти,  
пролетевшей мимо.  
...И горько  
ожидание войны.  
...И втрое горше –  
ожиданье мира...

#### 4. Годовщина Дебальцева (ополчение-2016)

Мы год назад  
отбили треть страны,  
две трети  
мы оставили укропам.  
Усталость в ожидании войны  
мы глушим водкой  
и хвастливым трепом.

Ослабла безоружная рука.  
Мы ждали мира?  
Мы его дождались!

...В забытых пропыленных вещмешках  
тускнеют прошлогодние медали.

### Донбасское inferно

Ехал в поезде солдат с чертом.  
Дым в глазах его стоял серый.  
Снег клубился за окном черным,  
снег,  
пропахший ветром и серой.  
От бессонницы глаза вспухли.  
Тускло-красным,  
мерцающим светом  
полыхали в глубине угли  
хат Никишина,  
которого нету.

Над разгромленным пустым краем  
занималось серое утро.  
Черт солдата соблазнял раем,  
а солдат в ответ молчал хмуро.

Пламя в Горловке,  
руины в Донецке,  
Белокаменки спаленные хаты...  
Ехал в поезде солдат –  
в нети,  
в преисподнюю  
тянуло солдата...

Непечата на столе водка.  
Снег клубится за окном черным...

Ехал в поезде солдат в отпуск  
с перепуганным возят чертом...

## Попытка возрождения

Как вспышка последнего гнева,  
комета махнула хвостом.  
Тяжелое черное небо  
подернулось Млечным Путем.  
Уродлив,  
как статуя нэцкэ,  
на блоке застыл БТР,  
и рвутся снаряды в Донецке,  
и полнятся сводки потерь.

Но – полнятся также прилавки,  
и учениками – лицей,  
на тракте –  
асфальта заплатки,  
улыбка – на женском лице.  
Плоды осторожной победы –  
ремонтные грузовики,  
и улицы –  
шумны и белы,  
и речи –  
смелы и легки.  
Концерты,  
гуляния в даты,  
и голубь вспорхнул в вышину.  
Девчонка целует солдата,  
идущего не на войну...

...Разрывы над горловской трассой,  
и пальцы на спуске светло...  
...Но Феникс  
простер над Донбассом  
пробитое  
пулей  
крыло.

## В отпуске

В мир, исполненный света  
я гляжу сквозь стекло.  
Здесь, наверное, лето  
и, наверно, тепло.

Солнце светит, не грея,  
в тихий ласковый день.

Я иду сквозь деревья,  
я иду сквозь людей.

Улыбаюсь знакомым —  
не всегда невпопад.  
Я, наверное, дома.  
Я, наверное, рад...

Дымка, марево.  
Студень  
среднерусского дня.  
Улыбаются люди,  
проходя сквозь меня.

Воздух сладкий и волглый,  
как кондитерский крем.  
Обмелевшая Волга,  
облупившийся кремль,

и, как тень, прохожу я  
словно сквозь миражи,  
сквозь простую, чужую  
позабытую жизнь.

Не свистит.  
Не грохочет  
над моей головой.  
В ожидании ночи —  
хоть живи,  
хоть чего,

чтоб уснув,  
окунуться  
в огнепальные сны,  
не умея вернуться  
с очертевшей войны...

## Ночные голоса

Волки идут  
по донбасской земле.  
Темные тени  
скользят среди полей,  
три силуэта —  
в туманной золе,  
вдоль облетевшей зеленки.  
Над задремавшим в ночи блокпостом  
ступу Яга погоняет пестом,  
ведьма крадется в тумане густом,  
воздух —  
бесшумный и ломкий.

Волки проходят  
среди тишины,

среди настороженной полувойны,  
полям полупобедившей страны,  
черною ведьминской ночью.  
Сквозь суету,  
сквозь раздрай и разброд  
сводная тройка из трех разведрот  
линией разграниченья идет,  
зеленью светятся очи...

Тусклое небо  
да ветер в ушах.  
Волки проходят  
бесшумно,  
шаг в шаг,  
мимо оживших встряхнувшихся шахт  
и задымивших заводов.  
Тройка проходит,  
держа интервал.  
В мертвых глазах –  
Иловайск и Дебал,  
в сгнивших клыках –  
омертвевший оскал  
черного дымного года.

Души «двухсотых» недавних времен,  
души,  
лишенные тел и имен,  
тех,  
кто под сенью крестов и знамен  
сгинул «безвестным героем».  
Тех,  
кто зарыт –  
и забыт поскорей,  
тех,  
кто лишь в сводках  
и снах матерей,  
снах,  
что осколка гранаты острей,  
жив, и не знает покоя.

Средь прошлогодней  
пожухлой травы,  
свежей,  
когда они были в живых,  
тройка бессонных ночных часовых  
с остановившимся взором  
молча проходит  
притихшей страной,  
сытой по горло  
бедой и войной,  
под притаившейся в тучах луной –  
непримиримым дозором...

**Анна ДОЛГАРЕВА**

Москва

(№ 1, 2016)

## О ВОЙНЕ И ЛЮБВИ

Записки с луганского фронта (фрагменты)

### *Предисловие автора*

*Эта книга создавалась девять месяцев. Как ребенок. Девять месяцев – с конца марта, когда погиб мой любимый мужчина, и до конца этого проклятого 2015 года.*

*Конечно, она посвящается означенному любимому мужчине, Алексею Журавлеву, капитану Вооруженных сил Новороссии, командиру артиллерийской батареи и вообще самому лучшему, рыжему и хвостатому.*

*После его гибели я уехала на Донбасс и стала журналистом. Искала смерти – пока не нашла. Мины над головой свистели, было дело, но все мимо.*

*Вернуться с Донбасса я тоже не смогла. Война – отравленное серебро в крови, к ней привыкаешь. Война диктует стихи, война жжжет под ребрами слева, и на кого же бросать истерзанную эту Луганскую народную республику, ну куда я брошу ее.*

*Эта книга – про войну и про путь к свету.*

*Про то, как через кровь, боль, крошечное отчаяние выбираешься в то пространство, где есть только любовь и Бог.*

*Она состоит из трех частей. Первая, как несложно догадаться, о войне. Вторая – о любви. Третья, заключительная, – венок сонетов «Возрождения».*

*Песни войны и песни любви перекликаются, сплетаются в одну песню.*

*Эта песня о тебе, Журавлев. Мы еще встретимся.*

## Часть 1. О войне

### 1

друг мой, друг мой  
(дуже),  
когда вы развернете на нас оружие  
(коли запалає сніг)  
промедли пару мгновений  
(помовч хвилину)  
и вспомни меня (звернися до мене),  
и помни, что куда бы ты не стрелял  
(пам'ятай, коли будешь стріляти),  
у тебя под прицелом будет моя земля  
(перед тобою будуть зморщені хати),  
у тебя под прицелом буду я – растрепанная,  
с черным от боли лицом, как эта земля  
(пам'ятай, моє сонце, коли ти стрілятимеш,



бо стрілятимеш в мене, куди б не стріляв).  
потому что я – эта земля и ее терриконы,  
и ее шахтеры, взявшиеся за оружие.  
(пару хвилин зачекай,  
а потім все одно,  
все одно стрілятимеш в мене, друже).

## 2

Потому что я – террикон, сосок на груди земли,  
Потому что я – разбитый танк на дороге,  
Потому что я – это яблони, что отцвели  
и впустую роняли свой урожай под ноги.

Потому что я – этот тощий пацан с Донбасса,  
с черенком от лопаты вышедший на автоматы  
защищать свою землю от управленцев среднего класса,  
защищать ее магию, правду и ароматы.

Потому что я – ребенок, живущий в подвале,  
чтобы прятаться от обстрелов, и еще я другой ребенок,  
тот, что спрашивал, куда, мол, руки девали  
после того, как взрывом их оторвали,  
и улыбки не было, и голосок был тонок.

Потому что я – старушка, идущая в церковь среди блокады,  
где по-братски делится собранным с огорода.  
Потому что все это я – эта жизнь после ада.  
Потому что назад – ни секунды, ни метра, ни года.

Потому что я – израненная земля.  
Так давай же, мой друг, стреляй же по мне, стреляй.

\* \* \*

Таким, как мы, похоже, не показан  
Милонов, бланки, штампы, документы,  
кредитный «форд», карьеры горизонты,  
уменьше четко следовать приказам,  
молчать, приспособляться или ждать.  
Минздрав уже устал предупреждать.

И даже эскапизм, секрет успеха  
тех, кто бежит, отодвигая это,  
подальше; бог ролевиков, поэтов, –  
нам не подходит. Тут уж не до смеха  
и сказок. Мы есть плоть и мы гранит.  
И нас одно отчаянье хранит.

Нас аккуратно выдернут из мира,  
нас соберут по весьям и квартирам,  
от пробок в улицах; проколотой брови;  
официальных браков без любви;

отправят на войну; подальше, мимо  
диванных воинов, которых стонет рать,  
поскольку помереть необходимо  
бывает, чтоб себя не потерять.

Мы соберемся, где огонь и кровь.  
Возможно, с пользой. Это скажут позже  
(сейчас не скажут командиры даже),  
и двинем дальше, в неба серебро.

Покоя тем и мира, кто ушел.  
Мы встретимся. Все будет хорошо.

\* \* \*

буря была такая –  
сложно стоять на ногах,  
выбило свет, выбило связь, выбило страх,  
были серые тучи, по небу растертые.  
губы у тебя были твердые,  
очень твердые.

твердые.  
улыбались.  
но мягкой была щека,  
и поэтому я все гладила тебя по щеке,  
и потом все пили, не чокаясь, в смертной тоске,  
и потом я думала, что будет большая река,

и мы сядем однажды на лодку,  
и в ней поплывем,  
и уже никогда,  
никогда, никогда не умрем,  
будем плыть мимо времени,  
мимо леса,  
мимо троп, где темно,  
будем пить и пить  
дешевое какое-нибудь вино,  
и свет через нас проходит уже, смотри,  
этот свет не вовне нас, этот свет внутри,  
это свет, что соединяет нас,  
никакая смерть не сильнее нас,  
так пребудет во веки веков и сейчас,  
потому что ни смерти, ни страха, ни времени нет,  
только бьющий из самого сердца свет,  
бесконечный предвечный свет.

\* \* \*

Привыкали к жизни. Привыкнем к смерти.  
К безымянным крестикам, к прочим верте-  
лам, уготовленным ныне живущим,  
сообразно рангам, на свете сущим.

Уходя, не ври, что вернешься скоро.  
Привыкали к жизни. Теперь – к дозорам.  
Отличать зенитку от миномета  
по разрывам снарядов за два километра.

Но всю жизнь – всю жизнь! – привыкали к жизни,  
к колебаниям курсов, к дороговизне,  
привыкали и к бедности, и к изобилию  
и совсем забыли про смерть, забыли.

Привыкали жить и верить любимым  
и не верить в смерть. Пролетали мимо  
сводки новостей, прогнозы погоды.  
Привыкали жить, не считая годы.

Чернозема вкус касается губ.  
Чернозема хватит и вширь, и вглубь.

Я пишу землей по треснувшим окнам:  
«Ничего, ничего. Ко всему привыкнем».

\* \* \*

В город пришла война.  
В город ложатся мины.  
В городе разорвало водопровод,  
и течет вода мутным потоком длинным,  
и людская кровь, с ней смешиваясь, течет.

А Серега – не воин и не герой.  
Серега обычный парень.  
Просто делает свою работу, чинит водопровод.  
Под обстрелом, под жарким и душным паром.  
И вода, смешавшись с кровью, по улицам все течет.

И, конечно, одна из мин  
становится для него последней.  
И Серега встает, отряхиваясь от крови,  
и идет, и сияние у него по следу,  
и от осколка дырочка у брови.

И Серега приходит в рай – а куда еще?  
Тень с земли силуэт у него чернит.  
И говорит он: «Господи, у тебя тут течет,  
крававый дождь отсюда течет,  
давай попробую починить».

\* \* \*

встречаются осенью, детскую площадку заматают листья,  
со временем выцветает смех, и глаза, и лица,  
узнают друг друга не сразу,  
настороженно курят,

переглядываются, словно враги.  
при жизни не протянули бы друг другу руки,  
но теперь они на другом берегу реки,  
и текут облака, и режут быки.

сколько лет дружили они и сколько лет воевали,  
под осколками мин, под дождем из стали,  
сколько лет до того дружили,  
покуда жили,  
а не из последних сил выживали.

вот стоят они на детской площадке, как стайка детей,  
на другом берегу реки, на перекрестке путей,  
и кто-то говорит: «а помните, мы здесь были,  
вот в таком же холодном, пронзительном октябре,  
и звенящий воздух, затянутый нитками пыли,  
розовел, как живой, на заре».

и тишина проходит, лопается печать,  
и начинают они говорить и звучать,  
и смеяться, и вспоминать былое, и совсем не говорить  
про войну,

словно это братство так и было единым,  
и летят листки по теням их длинным,  
и вода течет сквозь легкую пелену  
вечернего тумана, сквозь сияние и тишину.

раздвигаю пальцами воздух, ни пятнышка не найду.  
«а помните, ребята, в одиннадцатом году...  
а помните, в лес выбирались, а помните, как...»  
вдалеке режут быки, замыкается круг.  
дай мне сигарету, мой старый враг,  
дай мне сигарету, мой старый друг.

\* \* \*

Проходили эпохи, генсеки, цари,  
разгоняйся же, ветер, и пламя – гори,  
саранча проходила иплыли века,  
и текли времена, как большая река.  
Оставались земля и деревья на ней,  
деревянные домики между дождей,  
оставалось сплетенье размытых дорог,  
оставались сады, что никто не берег,  
одичалые яблоневые сады,  
оставались старухи да их деды,  
потемневший портрет да икона в углу,  
черный хлеб да похлебка из лука к столу.  
Перемешаны чужь, татарва и мордва,  
разгорайся, огонь, разрастайся, трава;  
все цари да чиновники тенью пройдут,  
ну а мы-то навеки останемся тут,  
от курильских морей до донбасских степей  
в эту землю вращем и останемся в ней.

И когда ты по черной дороге придешь  
через мокрое поле и меленький дождь –  
будет теплая печь, будет хлеб на столе,  
и не спросят, какой нынче век на земле.

## Часть 2. И о любви

\* \* \*

Когда тебя положили в землю, я стала этой землей.  
Мне не осталось более ничего.  
И я лежала, весенняя, влажная. И сверху был голубой  
весенний, отчаянно мартовский небосвод.

И я лежала, тебя обнимая, теперь уже навсегда,  
слежавшейся, всех принимающею землей.  
И снег уходит в землю водою, и я есть эта вода.  
И я с тобой, мой хороший, я навсегда с тобой.

\* \* \*

Я сижу у окна, в пасть гляжу фонарю.  
мой возлюбленный благословен, – говорю,  
и мне чудится за спиной у меня движенье.  
И земля, на которой его шаги, –  
не остави ты нас, сохрани, сбереги,  
и трава, что была под ногами его и тенью.

Жгу свечу на окне – заходи же, мой гость.  
Будь же благословен его рыжий хвост  
и лукавый прищур его, и большие ладони.  
Будь же благословенна его родня,  
(я не знаю, в нее ли включают меня,  
мой невенчаный вечный жених бездомный).

Будь же благословенна весна и трава,  
и земля уготованная – два на два,  
где мы тесно уляжемся рядом, словно впервые.  
Будь же благословен. Не скажи «прощай»,  
лучше крепче держи меня, не отпускай,  
пока мы идем сквозь вороний грай  
по-над пропастью, и колосья ржи вокруг золотые.

\* \* \*

Тяжелее всего – по утрам за плечи,  
вытаскивать себя изо сна в смерть,  
напоминая: дальше не будет легче,  
но планов много, и надо успеть.

Половина меня смеется и собирается,  
раздает шмотье, собирается на войну,  
Я такая скотина, что везде прорывается,  
думала, что сдохну, но еще протяну.

Половина меня во тьме, за гранью,  
половина меня мертва, и ей там неплохо,  
ну а если в целом, то стою вот, не умираю,  
дел по горло от вздоха до вздоха.

Мой любимый обнимает ту меня, что мертва,  
говорит со мной, и я слышу его слова,  
на изломе мертвого моего плеча –  
его мертвая ласковая рука,  
я целую его, говорю: забери, мол, меня сейчас,  
а он говорит: подожди пока.

\* \* \*

Остается для меня радостью, жизнью, маяком впереди,  
обнимает меня сзади, когда я сплю,  
свернувшись калачиком, прижимая его штык-нож к груди,  
и все так же слов не хватает, чтобы высказать, как люблю:

это как рассвет над соснами, видный с высоких гор,  
это как над камнями течет прозрачный ручей.  
Смерть ничего не значит, ничтожен ее приговор.  
Я поворачиваюсь и засыпаю у него на плече.  
Я всегда засыпаю у него на плече.

\* \* \*

Пока было время говорить,  
тратили его на всякую ерунду,  
обсуждали программирование,  
либерализм,  
ролевые игры,  
войну,  
и еще кто будет готовить,  
и еще кто когда засыпает  
и будет ли он мне мешать, если будет стучать  
по клавишам.

Как ни странно,  
после его смерти  
я говорю  
ему  
все о том же:  
о войне,  
о работе,



о распускающихся цветах,  
о смешных надписях на стенах.

И еще примерно то же, что раньше:  
«я люблю тебя.  
все будет хорошо.  
держись, пожалуйста».

Говорю, говорю, говорю изо всех сил,  
словно если я замолчу,  
он исчезнет,  
порвется тонкая ниточка между мирами,  
от сердца к сердцу.

Иногда  
я чувствую оттуда тепло,  
спотыкаюсь,  
живу дальше,  
продолжаю с ним говорить.

\* \* \*

Каждую ночь он снится ей, и каждую ночь одно:  
они живут свою жизнь, похожую на кино  
то про шпионов, то про романтику, то бесконечный бой,  
то на какую-то скучную ленту попросту про любовь.

Каждую ночь ее насквозь проедает страх:  
каждую ночь в финале он умрет у нее на руках.  
Каждое это «мы» суть обреченное «мы»,  
каждую ночь она забирает его взаимы  
у бесконечной пропасти смерти, у черного небытия,  
хлещет сквозь ночь обреченность, отравленная струя,  
каждую ночь ей нужно его вернуть назад,  
но если это ад, то она согласна на ад.  
О господи, благословенен твой ад.

Зацикленный на репите варьируемый сюжет,  
на плечи ложатся сотни непрожитых этих лет,  
она повторяет: ад, и ставит свечу на окне,  
и снова ложится спать, и жизнь проживает во сне.

И мечется, и дрожит, и сияет ее свеча,  
и плачет ее свеча в предрассветный час,  
и пламя ее суть вера и суть любовь,  
которая может из ада вывести за собой,

поскольку на тысячной ночи прервется круг,  
и вспыхнет ярче свеча, и она не отпустит рук  
его из своих ладоней и более никогда  
ни смерти, ни сну, ни яви его не отдаст,  
поскольку любви достаточно, чтобы ад  
попятился, отпустил из кольца своего,

поскольку горит свеча и сотни свечей горят,  
поскольку любви достаточно для всего.  
Любви всегда достаточно для всего.

\* \* \*

Есть сказания о любви, в них мосты и реки,  
теплый дом, зажженный очаг, сплетенные руки,  
запах хлеба и сыра, свет сквозь прикрытые веки,  
и смешные, и нежные письма в разлуке.

Есть сказанья о вечной любви, в них вода живая и неживая,  
темнота карельских озер и ночной дороги,  
и изгрызенные железные караван,  
и железной обувью истерты ноги,

и далекое солнце, запредельное небесное счастье,  
и растущий голос внеземного хора.  
Я иду по камням со свечой, и она никогда не гаснет.  
Я не выбирала вечной любви, это она меня выбирала.

**Максим ЗАМШЕВ**

Москва  
(№ 1, 2022)

**ПОЛЮБИТЬ БЫ ТАК, ЧТОБ УВИДЕТЬ БОГА...**

\* \* \*

Я жду петроградскую зиму,  
Чтоб снова мне саднило горло  
И сны замирали с разбега,  
Чтоб знала ты: невыносимо  
Размешивать старое горе  
С водой, что добыли из снега.  
Я жду, как в гремящем трамвае  
Я смысл обнаружу во фразе,  
Что ты для меня написала,  
И сердце забьётся в щемящем,  
Щенячьем каком-то экстазе,  
Которого будет мне мало.  
Я жду петроградскую зиму,  
Чтоб снова в пространство ввинтиться,  
Как штопор заржавленный в пробку,  
И там с проходящими мимо  
На их языке объясниться,  
Прослав непутёвым и громким.  
Трамвай подойдёт к парапету  
И к ветру прижмётся щекою,  
Не видя, как лёд неспокоен.  
Трамваи не верят в приметы,  
А там уж «Кресты» за рекою,  
Которые без колоколен.

\* \* \*

Улица в окнах шумит, непрерывная,  
Солнце играет со звонкими гривнами,  
И чаевые щедрей.  
Ты уже знаешь, что мы не продержимся,  
Что разгуляется Русь Самодержная,  
Как и положено ей.

Киев расставил дома на Владимирской  
Так, что под крышами стать невидимками  
Вечером хочется всем.

Ты уже знаешь, печалиться некогда,  
Мы ещё встретимся раз или несколько,  
Не понимая зачем.

Нежность случайная, быстрая, смелая,  
Если запомню ничтожные мелочи,  
То никогда не умру.  
Переведи меня через майданную  
Пропасть, не Богом, не дьяволом данную,  
Выведи прямо к Днепру.

Чтобы не мучили страхи животные,  
Видно, пора воплотиться в кого-то мне,  
В бабочку или стрекозу.  
До середины? Да что суетиться-то,  
Мысли снижаются слабыми птицами,  
Думы их ловят внизу.

\* \* \*

То ли полная луна, то ль пустая,  
В небе тусклом не видна злая стая.  
Хорошо, что не видна – каждой ночью  
Эти птицы от вина злые очень.  
Эти птицы пьют вино молодое,  
И кричат они одно – что-то злое.  
Я былинный богатырь из сказаний,  
Предсказал я свой конец под Рязанью.  
Злые птицы над страной реют снова,  
Черти режутся со мной в подкидного.  
То ли полная луна, то ль пустая,  
Вы со мной об этом лучше не спорьте,  
А кремлёвская стена не растает,  
Даже если станет кремом на торте,  
Не играть богатырям на рояле,  
Не стоять поводырям на развале.  
Сто столиц уже сменила Россия,  
За оранжевым вином нынче сила.  
А кондитер приуныл: всё по-русски,  
Торт кремлёвский и луна без закуски.

\* \* \*

Поезд стремится во Псков.  
В ставке бесчинствует Каин.  
Белая кровь облаков  
По небосклону стекает.  
Скоро семнадцатый год  
Глухо, как лампочка, треснет,  
Царь непременно умрёт  
И никогда не воскреснет.

Белая кровь облаков  
Тихо сползает на землю,  
Царский терзает альков  
Гимн приворотному зелью.  
Век проскакал, как листва  
Осенью скачет рывками,  
Не устаёт голова  
Путать себя облаками.  
Кто-то снимает кино,  
Ложь стародавнюю множа.  
Выпьем на станции Дно  
То, что на кофе похоже.  
Если уж кончится свет,  
Белым заваленный снегом,  
Верю: вокзальный буфет  
Ноевым станет ковчегом.

\* \* \*

В Замоскворечье пусто. Купола  
Небесного не различают грома.  
И каждая монгольская скула  
Здесь чувствует себя как будто дома.  
Запутавшийся юноша в углу  
Двора смешно грустит о настоящем.  
Сухой асфальт, предчувствуя метлу,  
Чуть морщится от встречи предстоящей.  
У голубя особо ровный лёт,  
Он прошлым бесконечно не терзаем,  
Мы все попали в этот переплёт,  
Как выбраться, мы до сих пор не знаем.  
Давным-давно покинутый мной рай  
Я не найду – не та уже сноровка.  
Теперь одно осталось – ждать трамвай  
Там, где была когда-то остановка.

\* \* \*

Не подставляю я щёку,  
Не подставляю, прости.  
Время моё, как сгущёнка,  
Выпусти или впусти.  
Помнишь, печальный обычай  
Не провожать поезда.  
Кровью питаемся бычьей  
Ныне и присно. Всегда.  
Бьём себя в грудь кулаками,  
Рвём на бильярде сукно,  
Время моё будто камень,  
Брошенный в чьё-то окно.  
Листья висят будто сплетни,  
Ветер считает до ста,

Бог умирает последним.  
Думаешь, это спроста?  
Утренней вязкой порою  
Где бы тепла наскрести.  
Солнце – медаль, что героя  
Не успевает найти.

\* \* \*

Один человек убегает от жизни,  
Другой догоняет её.  
Я знаю приправы острее аджики,  
Их любит клевать вороньё.  
По-прежнему думаем мы, человеки,  
Что время растянут для нас.  
Но Вий поднимает уставшие веки,  
Чтоб Гоголь остался без глаз.  
Трясётся от страха осеннее древо,  
Предчувствуя гибель свою,  
Один человек убегает налево,  
Другой его ждёт на краю.  
Античные боги заткнули нам уши,  
толкнув под божественный душ.  
Мы все превращаемся в мёртвые туши,  
Бессильные в поисках душ.

\* \* \*

Конечно, мы все скучаем  
И думаем не о том.  
Конечно, мы всё прощаем  
Заведомо, на потом.  
Конечно, мы тащим с неба  
Всё, что судьба дала.  
Конечно, мы жаждем снега,  
Чтоб лучше пошли дела.  
Конечно, мы примем вызов  
И будет противник бит.  
А пол до сих пор не высох  
Хотя и давно помыт.  
Вдоль старых домов и строек  
Протянется долгий шов.

Конечно, нас всё устроит,  
Что кончится хорошо.  
Уже завсегда́тай бара  
Прошествовал мимо нас.  
Конечно, земного шара  
Не хватит ему сейчас.  
И высунувшись из окон,  
Мы снимем с него вину.  
А завтра ударит током  
Его и его жену .



\* \* \*

Полюбить так, чтоб кусать губы,  
Чтоб смотреть на звёзды, не разбирая,  
Геликон с небес звучит или туба,  
Я не плачу, но утром вся жизнь сырая,  
Я не плачу, но соль разъедает щёки,  
Не стреляйте в лоб, подходите сбоку,  
Полюбить бы так, чтоб увидеть Бога.  
Закрывая дверь, оставляйте щелку,  
А когда услышишь: «Зачем, брат мой,  
Ты разрушил то, что веками строил?» –  
Говори: «Ахейцы не взяли Троя  
И Елена сушей идёт обратно».  
И мире теперь измерений пять,  
А в четвертом из наших сомнений свалка.  
Полюбить бы так, чтоб вся жизнь вспять,  
Но она и так вспять... Жалко...

**Олег ЗАХАРОВ**

*Кстово, Нижегородская область*  
(№ 4, 2021)

## КОНТРОЛЬНАЯ РИФМА В ВИСОК

*Пародии*

### Садовод-любитель

*Цветущий сад в росе,  
Плоды роняют сливы...  
Мне тоже, как и всем,  
Быть хочется счастливым.*

Дмитрий Терентьев,  
Нижний Новгород

Чтоб в обществе блистать  
Солидной с каждым годом,  
Хотел я с детства стать  
Великим садоводом.

Но пропустил урок  
Про пестик и тычинку.  
Учёба мне не впрок,  
Познания в новинку.

Сады цветут весной,  
Плоды роняют в осень:  
Я новостью такой  
Был опростоволосен.

Пишу, а в горле ком –  
Еды в дому ни крошки.  
Декабрь за окном.  
Пойду нарву картошки.

### Лох-несское чудовище

*Я нужен, как сумерки, свету,  
Как тихому омуту бес,  
Как Йети последний – Тибету,  
И чудище – озеру Несс!*

Леонид Колганов, Кирьят-Гат, Израиль

Не скрыть уже этого факта,  
Такая случилась беда:

В Шотландии будучи как-то,  
Я вышел на берег пруда.

Я помню момент этот остро,  
Виски и поныне седы:  
Увидел я голову монстра  
Над призрачной гладью воды.

Всё вышло как в слабенькой пьесе,  
Ведь я в географии плох –  
Воскликнул я: «Это же Несси!»  
А Несси ответило: «Лох!»

## Семейное счастье

*Были там любовь и счастье, были дети.  
Я ходил ногами по большой планете...*

Борис Родин, Санкт-Петербург

Много разных женщин на большой планете,  
Но ходил ногами я к одной лишь Свете.  
Я глазами видел женщину в расцвете  
И считал, что Света лучше всех на свете.

Обнимал руками Свету на рассвете,  
Целовал губами ночью и при свете.  
От любви и счастья появились дети.  
Но процессы эти  
Я держу в секрете.

## Всё, что нужно...

*Ты все так долго искал  
Покоя. Созвучья. Участья...  
...Россия. Распутин. Байкал...  
Ну что ещё нужно для счастья?*

Диана Кан, Оренбург

Посмотришь, бывало, вокруг:  
Край отчий. Россия. Отчизна.  
Радищев. Москва. Петербург...  
Ну что вам ещё для туризма?

В дубраве слышны голоса,  
Зимой отголосок их гулкий.  
...Сусанин. Поляки. Леса...  
Чего вам ещё для прогулки?

К душе обратите свой взор,  
Почувствуйте, счастье какое! –  
Раскольников. Бабка. Топор...  
Пожалуй, есть всё для покоя...

## Осторожно, стихопад!

*Стихопад, стихолёт, стиховой...  
Рифмы всюду, как листья, кружатся.  
То взлетают, то тихо ложатся  
На поляны, как между бровей...*

Станислав Афонский, Н. Новгород

Нам, поэтам, в любые века,  
Видно, с рифмами должно сражаться.  
А они то летят, то кружатся,  
То как пули свистят у виска.

Как-то шёл я тенёчком аллея,  
Безобидный стишок сочиняя.  
Тут какая-то рифма шальная  
Залетела мне между бровей.

Что такое случиться могло б? –  
Голова совершенно пустая...  
Оказалось, она разрывная –  
Эта рифма, попавшая в лоб.

Так я свой не закончил стишок.  
Сочиню тогда новый, и точка!  
Только вымучил первую строчку,  
Тут контрольная рифма в висок...

## Поэзия вдыбь!

*Земле тепло и без огня вулканов,  
Красива и без волн морская зыбь,  
Но скучно моряку без океанов,  
А конь красивее, когда поднялся вдыбь.*

Василий Сочнев, Нижний Новгород

Бесстрастные стихи приятно слушать,  
В них нет ни потрясений и ни дрызг.  
Но лишь тогда стихи тревожат душу,  
Когда от строчек чувствуется встряск.

А чтоб в стихах не проявлялась немощь,  
Вы у меня учитесь, молодежь!  
Для этого творю и в утрь, и всенощь.  
Я сочиняю всядь и даже влѣжь.

Творю безостановочно я, ибо  
Зачем тогда талант мне Богом дан?!  
Поэтому пишу, какой бы ни был –  
И вдрызг, и влом, и даже вдрабадан!

Писатель я речистый, норовистый,  
 Ну, а стихи – как в тёмном царстве луч!  
 Вот только получил от пародиста  
 Я, как обычно, взбучь и нахлобучь...

### Ранний талант

*Смолкнул гул канонады и грохот атак...  
 В дороге мотор не заглохнул ни разу...*

Александр Потапов, Рязань

Я рано постигнул к писательству тягу,  
 Способности смогнул заметить в себе,  
 И вот потому и перо, и бумага –  
 Первейший набор у поэта в судьбе.

Стихи свои смело читаю со сцены.  
 Моих почитателей ширится круг.  
 Мне в этом помогнули талант несомненный,  
 Исчезнула робость, ослабнул испуг.

Вдруг что-то случилось, пошло не по плану.  
 Я снова в печали. Я снова в тоске.  
 Затихнул, зачахнул, поникнул, увянул,  
 Очнувшись от фразы: «Потапов, к доске!»

### Весна на казённой улице

*Но разнотравно, разноцветно,  
 Вон из-за тех далеких гор  
 Вступает лето незаметно  
 Здесь в силу, словно приговор...*

Иван Мигалкин, Республика Саха.  
 Перевод: Евгений Каминский, СПб.

Когда весна придёт – не знаю,  
 Тут каждый свой мотает срок,  
 Но нынче утром вертухаю  
 Запела птичка-стукачок.

Случайно выглянешь в оконце:  
 В цвету весь лагерь от и до.  
 Уж из-за гор выходит солнце  
 Чуть раньше срока.  
 По УДО.

Пришла весна легко и плавно,  
 Как прокурор наш городской.  
 Всё разноцветно, разнотравно  
 В кустах малины воровской.

И я от вас уже не скрою,  
Что просто кругом голова.  
От чувств, проснувшихся с весною,  
В душе рождаются слова,

И я пишу...  
Не ради славы.  
Надежду хрупкую храня,  
Пишу повинную маляву,  
Что с зоны выведет меня.

## Неожиданное открытие

*Когда берёзы раздевают платья,  
Гляжу на них из вечности тайком...*

*...Моих стихов мой город не читает,  
Ведь городу сейчас не до стихов!..*

Виктор Тихомиров-Тихвинский, г. Тихвин

Надеть или одеть? Скажи на милость,  
Какой глагол использовать и как?  
Вчера со мною вот что приключилось:  
Я друга снял, раздев с него пиджак.

На самом деле я нормальный, братцы!  
Заботливый и папа я, и муж.  
Тут как-то раз, собравшись прогуляться,  
Надел жену, обув её к тому ж.

Я точно помню (я же не невежда!),  
Нам свет простое правило прольёт:  
«Надеть Надежду и одеть одежду».  
А может быть, совсем наоборот?

На склоне лет – ведь я уже немолод –  
Вам горестную тайну разглашу:  
Вот почему читать не хочет город  
Моих стихов,  
Которых я пишу...



**Геннадий ИВАНОВ**

*Москва*  
(№ 4, 2023)

**ТЫ НУЖЕН ЗДЕСЬ И РОДИНЕ, И ЧЕСТИ****Небо Новороссии прекрасно!**

Небо Новороссии прекрасно  
И поля прекрасны, и леса...  
За своё мы бьёмся, это ясно.  
Долго нам туманили глаза.

Этот край – Россия, наши люди  
Здесь живут, по-русски говорят...  
Поднесли врагу его на блюде.  
Наши люди гибнут и горят.

За своё мы бьёмся в этой схватке.  
Мы Европе говорим «Не лезь!»  
И твои, Америка, порядки  
Никогда не приживутся здесь!

Небо Новороссии прекрасно!  
И леса прекрасны, и поля!  
Это всё Россия, это ясно.  
Это наша русская земля!

\* \* \*

Вот они, разбитые мосты,  
Обгорелые многоэтажки,  
И по всей дороге блокпосты...  
Здесь война – и по спине мурашки.  
Здесь надежды рушатся и здесь  
Подвиги великие вершатся.  
Тут с фашистов мы сбиваем спесь.  
И самим приходится держаться  
Из последних сил порой... Война.  
В бой идут надёжные ребята,  
И на них надеется страна.  
Нам в победу надо верить свято!

## Молодой

Я запомню тебя, Кременная.  
Я обычный боец, не кремень,  
И запомню, не проклиная,  
Каждый здесь проведённый день.

Бой за боем, отход и снова  
Бой за боем, за боем бой...  
Кременная – какое слово!  
Породнюсь навсегда с тобой!

И когда-нибудь после битвы  
Я сюда доберусь опять.  
Здесь надежды мои, молитвы,  
Здесь я что-то стал понимать.

\* \* \*

Сверкает солнце на воде весенней,  
И южный ветер гонит речку вспять.  
Не знаю, будет ли душе спасенье,  
Но праздник ей – и снова, и опять.

Весна, весна... Как хорошо на свете,  
Что есть весна, что можно её ждать,  
Что по весне мы снова словно дети –  
И хочется кораблики пускать.

Застыла тучка, словно на этюде.  
Вокруг неё жемчужные лучи!  
Но в это время погибают люди...  
И взрывы, и пожарища в ночи...

Опять сегодня по Донецку били.  
И каждый день я слышу в новостях –  
Опять прилёты и опять убили,  
В автобусе сгорели все на днях.

Да как же так... Нет никому ответа.  
Один ответ от наших должен быть –  
Разбить врага, свести его со света!  
И русский мир в Донбассе утвердить!

## Вопрос взводного

Да, людей мы беречь пытаемся,  
Не ведём безрассудных атак.  
Да, мы медленно продвигаемся,  
Потому что не слабый враг.

Накачали его, напичкали.  
Оплели благодушьем нас –

И мы стали такими птичками...  
Дайте нам суровый приказ!

А то всё как-то полумерами.  
И расплывчат всегда ответ...  
Не играйте нашими нервами.  
Киев будем брать или нет?

### Замполит

Ураганный огонь артиллерии –  
он как будто кричал «Ура!» –  
и летел на врага,  
в пух и перья  
разбивая его вчера.

Там плацдарм заняла пехота...  
«Продвигаемся день за днём.  
Промокаем насквозь от пота,  
Но к победе идём, идём...

Понимаем, за что воюем.  
Если вдруг оборвут поход,  
Крах тогда будет неминуем –  
И страна, и мир пропадёт».

### Мобилизованный

Мы пришли сюда,  
не откосили.  
Жди с победой меня, семья.  
Я здесь понял, что я России  
очень нужен, что русский я.

Как-то там, на гражданке вольной,  
было многое всё равно.  
Был я заработком довольный,  
остальное –  
пошло оно...

Что Россия, что Эмираты,  
что какой-нибудь Бангладеш...  
Мне хватало на всё зарплаты,  
и в кармане всегда был *кэш* .

Здесь в душе вдруг проснулось что-то,  
и наполнилась вдруг она,..  
Мне такой родной стала рота –  
и победа нам суждена!

Много слов говорить не буду,  
но хочу только я сказать:

эти месяцы не забуду,  
буду их потом вспоминать!

Я здесь понял, что я России  
очень нужен, что русский я.  
Мы пришли сюда,  
не откосили.  
Жди с победой меня, семья.

## У блиндажа есть тоже позывной

У блиндажа есть тоже позывной.  
Весёлый позывной такой – «Бунгало».  
Уже в лесу повеяло весной,  
И как-то на душе печально стало.

Весна, весна... Весна не для войны.  
А для любви и к женщине, и к миру.  
Весной такие будоражат сны...  
Летишь к жене в далёкую квартиру.

Проснёшься вдруг – в холодном блиндаже...  
Из-под земли поднимешься на волю.  
Ещё остаток сна в твоей душе.  
Его, конечно, удаляешь с болью.

Сегодня в бой, и ты пронизан весь  
Уже настроем этим – к бою, к мести...  
Ты на войне. Теперь ты нужен здесь.  
Ты нужен здесь и Родине, и чести.

## Вспомнился случай...

С поморского острова нас забирал пароход.  
На рейде он встал, и к нему мы поплыли на лодке.  
Мы плыли зигзагами, медленно плыли вперёд –  
Всё время штормило, и путь не давался короткий.

Но главная трудность была впереди. «Разобьёт  
О борт парохода нас!» – крикнул мой спутник тревожно.  
Но мы подплывали, и рядом стоял пароход,  
И сверху кричали: «Смотрите волну! Осторожно!»

Волна подняла нас и бросить хотела на борт,  
Ещё бы немного и лодку, наверно, разбило...  
Но наш провожатый веслом заработал вперёд,  
И где-то под нами густая волна проскользила.

А нас отнесло. Мы опять подходили, опять  
Бросало на борт нас, и хрустнула лодка однажды,  
И к трапу так долго никак не могли мы пристать.  
Мы вымокли все. «Не вернуться ль?» – подумывал каждый.

Когда поднялись мы, за поручни крепко держась,  
Ступили на палубу, тяжесть в ногах ощущая,  
Отрадно нам было глядеть, как волна пронеслась  
Внизу – не бросая на борт нас и даже совсем не качая.

Нам было спокойно – и шёл пароход так легко,  
Как будто он по небу, по небу плыл, не по морю.  
А лодочник наш оставался уже далеко,  
И лодку качало, топило и било в солёном просторе...

Теперь я подумал, что тот пароход – это Русь,  
Что тот пароход – это наша держава Россия,  
А лодочки – это Украина и Беларусь.  
На палубе нашей их так бы не колбасило...

**Людмила КАЛИНИНА**

*Нижний Новгород*

(№ 1, 2016)

## ЯСНАЯ ДОРОГА ВПЕРЕДИ

### Сосновый бор

1

Бор задумчивый, дремучий,  
Ты стоишь на чистых мхах,  
На песчаных зыбких кручах,  
На кукушкиных слезах.

Стерегут покой твой строго  
Неподвижная вода,  
Непроезжая дорога,  
Нелюдимая звезда.

Бурелом тебя корежил,  
Обжигал пожар в упор.  
Все ты вынес, снова ожил –  
Загудел сосновый бор.

Свыше дарована сила,  
Ведомо, не просто так:  
Слева – гиблая трясина,  
Справа – хилый березняк.

Замирая, не мигая,  
Сквозь далекие года  
Светит мне звезда ночная,  
Все мне выскажет вода, –

Что пригрезилось дороге,  
Что тревожит старый бор...  
Все звезда в сиянье строгом  
Охраняет с давних пор.

2

Красной Рамени царица,  
Благодетельная мать,  
В косу мне вплела живицу.  
Повелела так стоять –



Чтобы ветром не сгибало,  
Чтоб смирялся гордый пыл,  
Чтоб довольствовалась малым,  
Чтобы леший не забыл.

Слушаюсь ее покорно –  
Все брожу я по лесам,  
Бью нижайшие поклоны  
Спелым ягодным кустам.

Сто преград одолеваю,  
Забываю страх и боль –  
Словно в храм святой ступаю  
В солнечный сосновый бор.

В том живительная сила –  
Не сломаться, устоять,  
Все, что не было и было,  
На плечи свои принять.

Бор спокойно небу внемлет  
В лютый холод, в гиблый зной.  
Держит подо мною землю,  
Держит солнце надо мной!

\* \* \*

Тише.  
Не хлопайте дверью,  
Не машите руками зря, –  
Не пугайте в лесу зверя,  
За окошками – снегиря.  
Криком, движеньем неловким,  
Словом, брошенным невзначай,  
Не троньте божью коровку  
На цветке иван-чай.  
Тише.  
Пчела пролетела,  
С ношей спешит муравей...  
Не сорите слова без дела,  
Ради потребы своей.  
Тише.  
Лишь ветру раздольному  
Можно топтать траву.  
Нам же, заблудшим, дозволено  
Только кричать «ау».

## В разоренном храме

Отражаясь в тусклой позолоте,  
День осенний пасмурно притих.  
В разоренном храме на погосте  
Мы стоим пред ликами святых.

Пережив забвение и войны,  
После гиблых варварских порух  
Византии свет нерукотворный  
В оскверненных ликах не потух.

По камням, сквозь сумрака завесу,  
Седовласый, в ризе золотой,  
Шествует с благословенной вестью  
Нам навстречу сам отец святой.

Привело сюда нас провиденье?  
Или непрощенная вина?  
И отец святой в нравоученье  
Не сумел ответить бы сполна.

Выронил из рук он ветхий свиток,  
Верные слова не отыскать...  
Молча, с головою непокрытой,  
Замер ты, не зная, что сказать.

Юность безоглядная виною  
В том, что невозвратно, навсегда  
Самое заветное, святое  
Унесла весенняя вода.

Встретились не поздно и не рано –  
Не на век, а лишь накоротке.  
Мы стоим не вместе – только рядом –  
На осеннем гулком сквозняке.

И трава забвенья не залечит  
Горькую поруху-маяту.  
Тихо опускает мне на плечи  
Сумрак невесомую фату.

Ангелы, исполнены величья  
И наивной детской чистоты,  
Манят нас прощальным криком птичьим  
В дали бесподобной высоты.  
Верится, что есть на белом свете  
Ясная дорога впереди...  
С высоты безбрежной вольный ветер  
В куполе зияющем гудит.

## Калязинская колокольня

На Волге раздольной  
Из-под набегающих волн  
Плывет колокольный,  
Малиновый катится звон.  
Здесь площадь гудела,  
Здесь колокол бил на торгу...

Давно улетел он,  
Тот звон колокольный, во мглу.  
Как перст, колокольня,  
Одна на широкой мели,  
Глаголет невольню  
О тех, кто, незримый, вдали.  
Апостольским жестом  
Доносит из тайных глубин,  
Что мир сей божествен,  
А ты беззащитен один.  
Что против теченья  
До берега трудно доплыть.  
И все ж отреченно  
От мира сего не прожить.  
Храни, провиденье,  
Обрывистый берег и лес,  
В реке отраженье  
Бескрайних, высоких небес!

\* \* \*

Кружевница-девушка поземка  
Наряжает елки в кружева.  
Старый лес выкрикивает звонко  
Первые весенние слова.

Ветер можжевеловым коклюшкам  
Не дает спокойно отдохнуть.  
Поброди-ка по снегу, послушай,  
Как поземка выстилает путь.

Кто там ходит высоко-высоко,  
Сотрясает звоном небеса?  
Посиди у свечеревших окон,  
Загляни-ка сумеркам в глаза.

Все, что отзвенело, не вернется,  
Вспомни об ушедшем, о былом...  
Гомонит печное веретенце,  
Просто так бормочет, ни о ком.

А по утру дивное случится –  
Въяве ты свои увидишь сны:  
Лес играет, инеем лучится,  
Кружевами древней Балахны.

\* \* \*

Растворена в глухой толпе,  
Неторопливо, неприметно  
Иду,  
Верна лесной тропе,  
Верна тебе, цветок заветный.

---

Года, как волны по реке,  
Бегут и в серой дымке тают.  
Загадываю по руке,  
Страницы вешних дней листаю.

Легко песчинкой утонуть,  
Иголкой хвойной затеряться...  
Есть на земле бесстрашный путь:  
Снежинкой на руке остаться.  
Утешным словом воспарить,  
Незаменимым для кого-то,  
И, в небо устремляясь, жить  
Цветком  
Средь гиблого болота.

**Игорь КАРАУЛОВ***Москва*

(№ 1, 2024)

**НАМ РОССИЯ – БОЛЬШАЯ, НА ВЫРОСТ...**

\* \* \*

Когда войну мы вгоним в гроб  
и хоронить сойдёмся вместе,  
когда её бугристый лоб  
расстрига-ветер перекрестит,  
когда её в донецкий кряж  
зароем, чтоб не восставала,  
и терриконовый пейзаж  
над ней сомкнется без прогала –  
мы возвратимся в города  
и павильоны «соки-воды»  
собой заполним без труда,  
как землю мирные народы.  
И сок гранатовый никак  
нам не напомнит о разрывах,  
и о внезапности атак,  
и о случайностях счастливых.  
Мы им напьёмся допьяна,  
потом очнёмся и заметим,  
что погребённая война  
иначе снится нашим детям.  
Они рисуют лик войны  
красивым, ласковым, нестрогим.  
Они почти что влюблены  
в неё на радость педагогам.  
И кто-то в класс ворвётся: нет,  
мерзее не было старухи!  
Но где же взять её портрет?  
Они к рассказам нашим глухи.  
И станет модным аромат,  
знакомый нам как трупный запах.  
А значит, вновь глаза глядят  
с привычным холодом – на запад.

\* \* \*

Я говорю о старых игроманах,  
потрёпанных судьбой ролевиках,

об их смешных интригах и романах,  
их рюкзаках и их дождевиках.  
Они идут в сиреновом и чёрном,  
Колумбы нарисованных земель.  
Усатый дед назвался Арагорном,  
старушка навсегда Галадриэль.  
Бухгалтерши, агенты страховые,  
курьеры по доставке мелочей  
лелеют деревяшки боевые  
и навыки шутов и палачей.  
Один певец, другой колдун злодейский  
идут походом с севера на юг.  
А кто-то царь, быть может, иудейский,  
но как его заметишь среди слуг?  
Нам постлана одна постель земная,  
ложись в неё и плоть свою укрой,  
своих потешных битв не вспоминая.  
А всё-таки припомнится порой  
эльфийки секондхендовское платье,  
противник перешёл за Ахеронт,  
и рушатся охранные заклатья,  
но войско мёртвых цепко держит фронт.

\* \* \*

Буйная растительность, однако.  
Главное, пока не началось  
наступленье холода и мрака  
в мире, продуваемом насквозь.

Главное, что солнышко нагрело  
теплохода белые бока  
и танцует лодочка на гребне.  
Главное, что русская река.

Русская, как школьная задача,  
до звонка решённая в уме.  
Белый гравий и песок горячий.  
И, конечно, церковь на холме.

Женщина застыла на пороге  
и дитя готовится внести.  
И кафе, где сиживали боги,  
как всегда, откроют к десяти.

Главное, что лето не проходит,  
только пролетают облака.  
Можно сесть на этот теплоходик,  
можно посмотреть издалика.

\* \* \*

В этой сутолоке московской  
нелегко усидеть в седле,



и профессор Майрановский  
доживает в Махачкале.  
Рядом плещется море синее,  
по дорожке идёт мулла.  
Свои руки простёрла химия  
в человеческие дела.  
Эти руки в крови и рвоте  
здесь нащупали свой предел.  
Если вы до сих пор живёте,  
знать, профессор недоглядел.  
Расцвели города, районы,  
в них итожат свои деньки  
провалившиеся шпионы,  
полицай и следаки.  
Кто косится из тьмы прихожей,  
позвонит ли горсвет, горгаз.  
Кто заранее чует кожей:  
это снова не к нам, не нас.  
Кто накидывает на плечи,  
обрывая с прорехи нить,  
телогрейку, навеки зэчью –  
не согреться, так пофорсить.  
Или в праздник у пионеров  
блещет выправкой удалой:  
поглядите, какие нервы,  
хоть пили их бензопилой.

\* \* \*

Я иду по этой улице  
тенью лета и тебя.  
Кто-то выйдет и простудится:  
недовыдали тепла.

Низкорослая азалия,  
пеларгония в окне  
погибают в беспечалии  
и рождаются в огне.

Этажи шестые, пятые,  
бездоходные дома.  
Беспородная, патлатая  
выбегает шантрапа.

От звонка трясётся будочка,  
в ней чужие голоса.  
Сердце в скважину, как дудочка,  
еле втискивается.

Это всё родится заново,  
но уже не для меня.  
Я такое вижу зарево  
повивального огня.

Мною улица истоптана  
до последних бакалей.  
Я однажды стану топливом  
наподобье тополей.

\* \* \*

Я читал сегодня не Басё,  
мне иное шепчет небосвод.  
Где-то, где-то в Буркина-Фасо  
грациозный бродит бегемот.

Я купался в пепельной реке,  
примостившись на его спине,  
и художник Водкин, не Сакэ,  
написал картину обо мне.

Это страсть играет в города,  
норовя уткнуться в твёрдый знак.  
Туарегских слов белиберда,  
не переводимая никак.

Кто собрался с ночи в Тимбукту,  
тот ещё успеет на обед,  
а чужая бусинка во рту  
оказалась лучшей из планет.

Что ты мелешь, если между строк  
сыплется древесная мука  
и в песчаной тундре носорог  
отрастил ветвистые рога?

И куда ты денешь это всё,  
выходя к Создателю на шмон:  
тёплый вечер в Буркина-Фасо  
и клыки, прекрасные, как сон?

\* \* \*

Он не любит столичную пену,  
а в районах считай что родня.  
Он выходит на летнюю сцену  
и, конечно, поёт про коня.

Юбилей ли дорожного треста  
пыль пускает в людские глаза  
или музыки просит невеста  
удалого пивного туза.

Он по нотам немного мазила  
и костюм бы ему поновей.  
Ты давай, чтобы сердце щемило,  
по-простому, без этих затей.

Много их колесит по России,  
накатали себе колею.  
И поют они песни чужие,  
и не в силах придумать свою.

Нам Россия – большая, на вырост,  
на три вечности хватит вполне.  
Мы в России сухие, как хворост.  
Мы трещим в её жарком огне.

Нам бы только побольше удачи,  
не пропали бы воля и труд.  
Ты послушай, а сердце-то плачет.  
Значит, есть оно. Значит, не врут.

Вот он снова поёт про землянку,  
про смуглянку заводит, звеня.  
Ковыряет сердечную ранку –  
и, конечно, поёт про коня.

И в укромные сусличьи норы  
проникают надежда и страх.  
Конь идёт. Конь несётся, как скорый,  
вдоль по полю на полных парах.

\* \* \*

Сегодня мы не смотрим новостей,  
на день забыты сводки или сводни.  
Коловращеньем листьев-лопастей  
мы с августом прощаемся сегодня.  
Проходит август, господин усадеб,  
начальник обмолотов и покосов.  
Уже не привести его назад  
и неудобных не задать вопросов.  
Он Молотов и он же Риббентроп,  
он сибарит в своей песочной тройке.  
А завтра осень изморосью троп  
придёт взыскать былые неустойки.  
Да, осенью расплатимся за всё,  
все договоры с подписью и в силе.  
Да, осенью наплачемся за то,  
что августовских дней не оценили.  
Что не прочли его амбарных книг  
и со стола смахнули, не подумав,  
пустую вечность, выдутую в миг  
искусством насекомых стеклодувов.

\* \* \*

Я стал советским скучным типом,  
пустил часы в обратный ход,

но я не сделался полипом  
и прилипалой у господ.

Питаюсь я по Микояну,  
верчу диеты на бую  
и предпочтение баяну  
пред саксофоном отдаю.

Вы не ошиблись, правда ваша:  
я совершенно устарел.  
Советский, будто простокваша,  
я оказался не у дел.

А дел всегда, как в мясорубке,  
невпроворот, невперемол.  
Кругом нужны мозги и руки,  
но где он, верный комсомол?

А вот же он, в консервной банке,  
судьбою шпротною влеком.  
Все эти рокеры и панки,  
что создал питерский горком.

И я, пускай иного званья,  
в последний слой едва вошёл.  
Я называю «Юрюзанью»  
ваш одноразовый «Стинол».

Вот-вот на нас вернётся мода,  
мы накануне рубежа,  
когда уже близка свобода,  
но нет консервного ножа.

\* \* \*

Они не умерли, не умерли.  
Зазря им некрологи строчат.  
Они теперь, наверно, в Юрмале  
трамбуют тапками песочек.  
У них теперь иные радости,  
но песенка ещё не спета,  
и обходительные лабусы  
с утра им подают ристретто.  
На эти пляжи вечно юные  
ссылают брошенных певичек.  
Туда, ослабленные дюнами,  
доходят зовы электричек.  
Да кто только не бродит пляжами,  
не ищет жемчуг после бури.  
Не исключая, что однажды я  
проснусь на пляже Келасури.  
Не огороженные бонами,  
просторы вод приятны глазу.

И чуть намоченные волнами  
талоны на обед в турбазу.  
И буду ждать, как дара царского  
и пуше всех подлунных выгод,  
харчо из риса краснодарского  
с бараньей косточкой навылет.

\* \* \*

Жил в тоске многоподъездной,  
где панель, а не кирпич,  
никому не интересный  
дядя Женя, старый сыч.  
Он обругивал мальчишек,  
что с мячом наперерез.  
Из-за пенсионных книжек  
он ходил, ворча, в собес.  
Он доказывал кассирше,  
что четыре – дважды два.  
Он смотрел на вещи ширше:  
вещи больше, чем слова.  
Чем бывал он в жизни занят,  
толком я не узнавал.  
Он сидел. За что – бог знает.  
Он когда-то воевал.  
Он переправлялся через  
Днепр – и там почти погиб.  
Дядя Женя – лысый череп.  
Дядя Женя – чайный гриб.  
Кто б подумал, что бывают  
и такие времена.  
Я за тех, кто доживает,  
вместе с ними пью до дна.  
Я и сам из тех инкогнит,  
разбежавшихся волчат.  
Хорошо, что нас не помнят,  
в дверь ночами не стучат.  
А стучат одни костяшки  
домино на целый двор.  
Вышел в клетчатой рубашке  
Дядя Женя на простор.  
Впереди в багровой пене  
диск садится за рекой.  
Позади у дяди Жени  
нету тени никакой.

## Надежда КНЯЗЕВА

*Арзамас, Нижегородская область*  
(№ 5, 2017)

### ОН В ТЕБЕ РАЗГЛЯДЕЛ СВЕТ...

#### Слова и камни

Всё думаешь: да куда мне,  
Лучина не топит льды.  
Бросаешь слова, как камни  
Бросают в ладонь воды.

Круги разойдутся, смолкнут,  
Но глянешь ли в глубину –  
И только поймешь, как долго  
Твой камень идет ко дну,

Где может упасть безвольно,  
Стать частью материка,  
А может черкнуть так больно,  
Что помнится на века.

Волна своего улова  
Не держит, фарватер пуст.  
Ты камень. Ты просто слово,  
Упавшее с Божьих уст.

Невзрачный, убогий, тленный,  
Не видишь вокруг ни зги –  
А всё же по всей вселенной  
Идут от тебя круги.

\* \* \*

Вот мальчику наскучила игра –  
И он уходит прочь, оставив мелочь,  
И застывает в космосе двора,  
Не представляя, что же дальше делать.

Так после лета достаёшь пальто –  
И чувствуешь, что плечи узковаты,  
Размер не тот и качество не то,  
И странно, что носил его когда-то.



Так чешется под кожей у змеи,  
Сбегающей из чешуи вчерашней,  
Так режутся дома из-под земли,  
Которая всегда служила пашней.

Мал потолок, и спят на дне квартир  
Запаянные в капсулы надежды,  
Когда ты изменяешься, а мир  
Вокруг тебя – такой же, как и прежде.

\* \* \*

Лента мысли скользит в ночь.  
Глаз экран выдает рябь.  
Сон так скроен, что точь-в-точь  
Повторяется вновь явь.

Параллельно путям там  
Рельсы-братья растут врозь.  
Небо роздано ветрам  
Да постелено вкривь-вкось.

Дни приклеены стык в стык.  
Убежать не найдешь щель.  
Неподкупен язык-штык.  
Чем больней, тем ценней цель.

И не просто вокруг цепь –  
Ты себя в нее вбить смог.  
Электрический лёд-свет.  
Электрический звук-ток.

Не считая шагов-длин,  
Кто-то к холоду льнёт лбом  
И ладонями – как мим –  
За невидимым стеклом.

Кто-то просто твердит: будь!  
Ловит музыку такт в такт  
Да стучится в твою грудь,  
Не считаясь на друг–враг.

Просто ты ото сна слеп,  
Слаб от цепких и злых лап,  
А он в тебе разглядел свет  
Ярче сотни любых ламп –

Не имеющий цифр-цен,  
Не закрытый на шифр-код.  
Выше крыши твоих стен,  
Выше неба твоих нот.

## Зимняя фантазия

Из окна видна макушка  
Замерзающей сосны.  
Кот свернулся, как ракушка,  
Чтоб согреться до весны.

Серый дом решил потрогать  
Небо цвета молока:  
Как слоненок, тянет хобот –  
Струйку дыма – в облака.

У крыльца, в норе укромной,  
Маскируясь под сугроб,  
Кто-то прячется огромный,  
Может, даже бегемот.

Тополь веткою летучей,  
Как метлою, даже в штиль,  
Выметает с белых тучек  
Вниз сияющую пыль.

Жалко, всех моих фантазий  
Не вместит окна проём:  
Удивительно прекрасен  
Мир, в котором мы живём!

\* \* \*

Пока вертится день,  
торопятся спицы рук,  
мир так прост и прочен,  
похож на гончарный круг,  
где работа-дом,  
где ком превращают в чашу.  
Но мотив бессонницы выучив назубок,  
Видишь: старый невод  
так тонок и так глубок,  
Что вот-вот – и не выдержит тяжесть нашу.

И понятно, что мы здесь вроде бы ни при чем,  
Так как каждый еще при рождении обречен –  
В один узел завязаны тропы, пути и броды.  
Но гореть – не то же самое, что сгорать.  
Музыкант берет инструмент,  
начинает играть –  
Не затем, чтобы скорее дойти до коды.

И в четыре часа,  
небесный поймав эфир,  
Ясно видишь:  
прозрачен, прозрачен мир,

Создающий опять дневную иллюзию тверди,  
 И что дождь по стеклу тянет щупальца, словно спрут,  
 И что лики зеркал, как часы, постоянно врут,  
 И что жизнь –  
 это лишь немного большее смерти.

### Лето в бутылке

тсссс  
 тише  
 глуше  
 слушай  
 море  
 цвета  
 мятного  
 будто скатерть  
 стелется помятая  
 волн не спрятать  
 ласково ладонью  
 гладит по затылку  
 шепчет без ответа  
 теплое спросонья  
 хочется в бутылку  
 спрятать это лето  
 за печать твердь  
 за – печат – леть  
 чтобы на повторе  
 ветер разутюжил  
 на заливе складки  
 пробку вынь и море  
 зашуршит закружит  
 белым полусладким  
 только не на полку а предать прибою  
 кто-то вынув пробку вспомнит нас с тобою

### Доминантсептаккорд

Бьётся неровно  
 в горле сердце, и  
 Шаг между нами –  
 меньше терции.  
 Ровно секунда.  
 Просвет тоненький.  
 Я тяготею  
 к тонике.

Так тяготеет  
 тело к падению  
 На высоте,  
 на обломках ступеней.  
 Так тянет в бездну,  
 в чужую воду,

Камнем,  
забыв  
запастись  
кислородом.

Так на торнадо  
Смотрят в упор.  
Чем разрешится:  
Мажор? Минор?

На твоей коже  
Шрифтом Брайля  
Начертано что-то –  
Секретный код.  
Нежно  
На ощупь  
Нажму – ноты.  
Доминант-  
септ-  
аккорд.

## Город П.

Здесь можно быть безумцами и талантами,  
А у нормальных шансы невелики.  
Небо просело глыбою над атлантами.  
Тучи легли лепниной на потолки.

Город листает лица, и по различиям  
Каждому свой, особый ведет рассказ:  
Утлая улица, Невского ли величие,  
Чрево «Камчатки» или дворцов каскад...

Наше знакомство шахматной будет партией –  
Взвешенно. Шаг за шагом. Не на бегу.  
Клетки кварталов ровно лежат на карте, и  
Город-гроссмейстер выстроил ряд фигур.

Краеугольно встали ладьи ростральные,  
В площадь залива плещут сырым огнем.  
Александровский ферзь созерцает дальше,  
Бронзовый всадник делает ход конем.

Я же – прохожий, пешка, глаза распахнуты –  
Как же играть мне с городом наравне!  
Я ничего не понимаю в шахматах.  
Может, поэтому холоден он ко мне?

## Переезд

При переезде места на кухне мало.  
Я допивала пятую кружку чая,

Маша посуду в ящики паковала,  
Чашкам в лицо глядела,  
Переживала  
И говорила – будто со дна читая,  
Будто сама – на дне, и никто не слушал:  
«Здесь было кресло,  
в комнате – два дивана.  
Эту картину нам подарил Илюша.  
Эту квартиру жаль, как живую душу».  
Снег оседал, как соль на оконных ранах.  
«Столько здесь было – не забереешь с собою,  
В зеркале стен тени еще не тают.  
Тот же, кто завтра дверь как свою откроет,  
Только найдет царапины на обоях,  
Впрочем, и их вскорости залатает.  
Где же им жить – брошенным, бестелесным?  
Что же я здесь, в сущности, оставляю?  
Впрочем, тебе, наверно, неинтересно...»

Маша, мы все ходим над этой бездной.  
Я тебя понимаю.  
И обнимаю.

### Так начинается море

Я расскажу тебе самую суть мироздания.  
Гулкое слово «прощай», спотыкаясь о здания,  
Рухнет у края, прорежет рассвета прореху.  
Так начинается эхо.

Город-ракушка, сплетённые зелень и камень,  
Узкие улицы скручены завитками  
И синий шум еле слышен из щели в заборе –  
Так начинается море.

Дождь сероглазый раскосые волны целует:  
Воды небесные встретили воду земную –  
Смех и смешенье, единство огромного с частью –  
Так начинается счастье.

## Ксения КРУТИНА

*Нижний Новгород, гимназия № 53, 8-й класс  
(№ 2, 2024)*

### Город, видимый в сновиденье

В этот день за клубился пар, удушивший город,  
Как в каком-нибудь там туманном Альбионе.  
Я подумала: в этом море, жаль, нет линкора;  
Да и небо едва не падает на ладони.

И мне кажется, что я раньше была огромней;  
И крутившиеся внутри меня шестерёнки  
Приводили в движение все, что доступно глазу –  
А потом это все закончилось. Все и сразу.

Каждый, кто убегал из детства, наверно, думал,  
Что все это сплошные вещи: кровать и тумба,  
Табурет, заменимый новым, иным предметом.  
Но опала листва, и на фото осталось лето.

Пустоты не унять. В моих мыслях толпится поезд.  
А на станции грязь, духота, пустословие, клятвы.  
Может, я растворюсь в этой драме мечты и открою,  
Что мне вовсе не надо уже возвращаться обратно.

Но я всё же вернусь! В этот омут, моргнувши глазом,  
Окунусь и проснусь хранимой чужим мгновеньем.  
Я вернусь, только чтоб узнать, что нельзя остаться.  
Чтоб проверить, возможно – память, возможно – зренье.

Я войду так, как будто меня не учили стучаться;  
Я взмолюсь так, как будто меня научили молиться.  
Потому что обычно сложнее всего встречаться  
После долгой разлуки – снова чужие лица.

Этот город, как будто видимый в сновиденье,  
Эта лента дорог, завязавшая в сердце узел.  
Как свидетель эпохи моей, невозможность, мгновенье –  
Это я. Это все, что осталось. Неважно. Отпустим.

Это все, чтоб теперь идти, не смотря за спину,  
Не жалея о том, что мы, в целом, не попрощались.  
Это только туман. Он опустится вниз и сгинет  
Привидением памяти. Как обман. Как память.



**Елена КРЮКОВА***Нижний Новгород*

(№ 3, 2021)

**ТЕРМИНАЛ***Фрагменты*

\* \* \*

Память. Шампанским не поминают.  
Водкой, и кус ржаного – поверх  
Рюмки. Какая ты ледяная,  
Жизнь. Как жжется твой дикий смех.

Пост великий. На дне бутyli  
Капля. Дрожит холодильный шкаф.  
Мой отец. Тебя не забыли.  
Рюмку греешь в военных руках.

Пуля в ладонь. Светло контрактурой  
Руку правую. Так держал  
Штурвал, рулевой мой, штурман хмурый,  
Порт не запомнен. Забыт причал.

Память. Какая долгая память.  
Жизнь. Какая малая песнь:  
Вот сенокос, а вот и пажить,  
Дьявол не нажит, а Бог воскрес.

Праздники, о, шампанское льется,  
Сыплются бешеные конфетти.  
Память – звездой – на дне колодца.  
Если можешь, прости.

Нежно поставим полную рюмку  
К желтому фото. Засохнет хлеб.  
Ты со снимка глядишь угрюмо  
Поверх судеб.

Ты со снимка глядишь, улыбкой  
Старую дочь целуя свою,  
Будто еще я в родильной зыбке,  
Не у забвения на краю.

Жемчугом рыбьим – твоя могила  
В зимних водорослях полей.  
Память. Твоя великая сила.  
Нынче помянем. Налей.

\* \* \*

Всепожирающее Время!  
Ты мощной музыкой кричишь.  
Ты конницею надо всеми  
Летишь. И улетаешь в тишь.  
Твой реквием теряет ноты.  
Теряет кости ксилофон.  
А обочь конного полета  
Твой колокольный красный звон.

Ты оглянись. Там войны катят.  
Наотмашь бьют цари – царей.  
Там Бог протянет ветошь платья  
Последнему из рыбаей.  
Всепожирающее Время!  
Я в зеркале сейчас – одна:  
Девчонка малая меж всеми,  
Богам и людям не нужна.

Девчонка в раме, амальгаме  
Истертой, только б не разбить,  
Меж Воскресеньем и ветрами  
Не разорвать тугую нить.  
Мне камень не швырай в затылок!  
Ведь зеркало все отразит,  
Запомнит. Времени обмылок  
В ладонях грязных заскользит.

Ах, пианино – песня чтобы,  
Чтоб музыка... на веки веч-  
ные – у счастья и гроба,  
близ тонких, на пюпитре, свеч...  
Альбом сияющий и Детский,  
Чайковский, нежный, золотой,  
В ночи рыдающий, советский,  
Педаля – монетой под пятой...

Всепожирающее Время!  
Я по тебе схожу с ума.  
В больничное вдевают стремя  
Меня – и лечат задарма.  
И вот они, мои Капричос,  
Гравюры Адовы мои –  
Огнем в меня глядят, набычась,  
Юроды, полные любви.

Я каждого так обласкаю.  
Я песню каждому спою.  
Я, музыка, тебя не знаю,  
Но все играю – на краю!  
Над пропастью... там нимбом темя  
Предсмертное – освещено...  
Всепожирающее Время,  
Уйди. Тебе же все равно.

И новый, сумасшедший Гойя,  
Бродя меж коек и хрипя,  
Чертит железною рукою  
Людей – его, тебя, себя!  
Затем, что живописи учен.  
Затем, что знает наперед,  
Поверх изломов и излучин,  
Поверх надежды: всяк умрет.

Жизнь надо каждую оставить –  
Зане торжественна она.  
Жизнь надо каждую восславить –  
И песню лить струей вина.  
О, сумасшествия беремья,  
Пророчий оголтелый дар...  
Всепожирающее Время –  
Костра тяжелый, ветхий жар.

Так!.. все сгорим дотла в кострище.  
Все ляжем в землю и уснем.  
И там богатый станет нищим,  
И в полночи светло, как днем!  
Любимые... жизнь – хромосома,  
А смерть брюхата нами вновь...  
Вот руки – Детского альбома  
Игра: обида и любовь.

Забудь ту боль, что причиняли  
Тебе – врачи и палачи!  
Лежи ребенком в одеяле.  
Кричи! а может быть, молчи.  
Летит молчанье надо всеми.  
Молись. Люби. Возьми в ладонь  
Всепожирающее Время –  
Всесокрушающий огонь.

## Пушкинская площадь

Птички-пеночки клювик... павлиний юнец...  
Ветер пламенный бьет из-за спин...  
Вот старуха, чьи руки в созвездьях колец  
Дышат маслом для швейных машин.

Дышит памятник призрачно и горячо...  
Голубь тихо слетает с небес  
На печальное, бронзы зеленой, плечо,  
На волос металлический лес.

Он глядит, бедный Пушкин, он вечен уже,  
На толпу... на любви круговерть...  
Он стоит темной бронзой на том рубеже,  
Где сражаются память и смерть.

Оплетает толпа углый кинотеатр.  
Хлеба, зрелищ!.. не много ли нам?  
Мир в оскаленных сплетнях себя растерял.  
Остается пойти по стопам

Этой девочки в драповом жалком пальто,  
С изможденной поноской, где хлеб  
Да консервы дрянные; которой никто  
Не расскажет движенье судеб;

Что лягушек-двойняшек назавтра родит,  
Проклиная отца их, страну,  
Где волчиная лампа в подъезде горит,  
Освещая и Мирь, и войну;

Что варить будет им геркулес на воде,  
Маргарином – ожоги лечить,  
Что пройдет по грязи, в колее, в борозде,  
И в долгах, как в шелках, будет жить...

За тобой и пройду, дорогая душа!  
Повторю сигаретный твой дым,  
Брошь за грош, ах, цепляешь к плечу, не дыша,  
И претолстые письма родным...

Махаона в сачке... и сорогу в садке...  
Над деньгами отчаянный рев...  
Мальчик Пушкин читает тебя налегке –  
Только кровью веселой, без слов...

Ну, а ты томик с полки – в огнистую ночь,  
В темень хвой смолистой тyani:  
Ты ведь рыбка золотая, ты царская дочь,  
Сочтены драгоценные дни!

Сказка, елка! Ветвей растопырена тьма!  
Украшенья в зените горят!  
Золотые дожди... Конфетти кутерьма...  
Серпантин, обреченный наряд...

Все шампанское выльют в бедняцкий бокал!  
Все дешевое выпьют вино!

Дикий, дивный поэт... пули он все искал...  
На дуэлях стреляться – смешно...

Вот еще один горький отметили год.  
Жжется кладкой кирпичная клеть.  
Ты, родная, не плачь! Ты святой мой народ.  
На тебя только в небо смотреть.

И когда наше время изрежет твой лик –  
Да и мой! – и наступит наш час,  
Глянет сверху на старых нас

Пушкин-старик

Синей бронзой подтаявших глаз.

\* \* \*

Не уходи... побудь со мною... еще немного... обними...  
Мы просто ночью ледяною немного побыли – людьми...  
А то ли боги, то ли звери... то ль бесами пребыли мы  
В мирах позора и потери, в безумных пропастях зимы...  
Не уходи!.. побудь со мною... а я побуду так – с тобой...  
Я кипятка врата открою, и чайник запоет глухой,  
Свисток завоет, ветер заплачет в парчовом, инистом окне –  
О сладостной слезе горячей, и о тебе, и обо мне...  
Зачем тебя я полюбила?... так больно, что и не смогла  
Забыть – до стона, до могилы... и шьет морозная игла,  
Сшивает крепко наши судьбы, кладет межзвездные силки...  
А завтра День настанет Судный... а валенки мне велики...  
Зима... великие морозы... Гиперборея за окном...  
Зима... и пихты, и березы... все поцелуи станут сном...  
Объятия все станут бредом... и мы по Мiру побредем –  
По заметленному свету... между пургою и дождем...  
Серебряная Мангазея... сереброликая Луна...  
Сходя с ума, от слёз кося, любовь, я у тебя одна...  
Ты обними меня до срока... до той иконы, что – на грудь...  
Не уходи... побудь немного... еще немного... хоть чуть-чуть...

\* \* \*

я люблю тебя уходящий  
улетаю вслед за тобой  
здравьем пышущий и болящий  
и ледащий хоть волком вой

я люблю тебя вдаль плывущий  
исчезающий за кормой  
белопенный призрак словущий  
все зовущий домой домой

я люблю тебя повторяю  
я люблю – и еще – люблю

я люблю – от края до края  
стеклорезом – да по стеклу

я люблю на могиле плачу  
фотография – под стеклом  
мой стаканчик бумажный зрячий  
ну помянем – под ветерком –

всю любовь под крестом зарыли  
а она воскресла – одной  
лунной ночью во славе и силе  
вон стоит у нас за спиной

## Ратница

Вот те праздничны узоры, рассребрѣнный изарбат!  
Как на славнейшей на Волге струги-яхонты горят.  
Под светилом воссияют, наискось волне плывут!  
Вот пылает Кремль без краю – ясен-красен, берег крут!  
Ах ты острова-излуки, речки-старицы-ручьи!  
Рассыпны пески – что руки нежны-ласковы мои!  
Алым бархатом да шелком исподернут мой шатер!  
Атаманша, взоры колки, лик пылает что костер!  
Дело ратное, добыча... Криком ветер есаул  
Разрывает: клекот птичий, порх синичий, битвы гул!  
Ай ты времячко, ты буйно, кровушкой ты по ножу...  
Я средь казаков шумливых молчаливенька сижусь!  
Гой еси вы, атаманы, братья ратные мои!  
Не видал ли кто обмана девьей, бабьей ли любви!  
Не обрящещи ли страсти! Не обьмете ль судьбу!  
Все одно схоронишь счастье! Все одно лежать в гробу!  
Завтра грозна грянет битва! Поскачу я на коне  
Во кровавую ловитву, по краснеющей стерне!  
Красен Мирь, и красны люди, и подавно кровь красна.  
Я несу себя на блюде, смерти, жизни ли нужна!  
Ой, на блюде на кровавом, на подносе жестяном...  
Ой, погибну я со славой иль загину черным сном!  
Ай вы, молодцы-казаки, вы на струги – сядь да сядь!  
Да гребите вниз по Волге, Волге-матушке опять!  
Что сыскать нам?.. снова битва! Снова сеча, копыя, меч!  
И предсмертная молитва – под крестом родным возлечь...  
Ах ты, Керженец да Кама, ах ты, Ахтуба моя!  
В битве мы не имем сраму! И сражаюсь храбро я!  
Победим врага – на струги, и по Волге к морю плыть!  
На коврах на сорочинских восседать да зелье пить!  
Ай ты, мой Телячий остров, зелень-кудри, тальники!  
Полотняный парус грозный, ветер воли и тоски!  
Ах, оружие долгомерно, пушки медны, грянем бой!  
А любовь-то долготерпит, а любовь одна с тобой!  
Смерть мы сеем! Смертью пашем!  
Смертью сыты лишь мужи!  
Я-то баба! Ад не страшен! Пред Геенной не дрожи!



Ах, ковры мои персидски, рытый бархат, красный плис!  
 Ах, орел летает низко... значит, Богу помолись!  
 Кушай сладко, девка красна! Пей ты зелено вино!  
 Караулы не напрасны, вместо бархата – рядом!  
 Алебардами, секирой вся раскромсана парча.  
 Ай вы, в горностае дыры, в грязь – понева – со плеча!  
 Ах ты, матинька ты Волга, мила Волженька моя!  
 Смерти ждать уже недолго, и завтра лития!  
 Ах, бухарские хиджабы! Ах, царьградский ты убрус!  
 Воин я! Не просто баба! Только... о любви молюсь...  
 О любви! Ах, люди-люди! Слуги нашего царя!  
 Бьется, бьется так под грудью легкокрылая заря...  
 Пир гудит между боями! И встаю, в руке потир,  
 И кричу, подъявши: с нами, люди, Бог! И с нами – Мирь!  
 Мирь... безумье новой смерти... плеть, стрела, праща, пицаль...  
 Жгите, режьте, насмерть бейте люди, вы, людей – не жаль!  
 За царя и за земельку! За тетерку на суку!  
 Выпью – снова мне налей-ка: тьму, сужденну на веку!  
 Ах ты, сладкое-сладчайше, изумрудное винцо!  
 От людской галдящей чащи отверну к реке лицо...  
 Ах ты, Волга ты сердечна, ты река-моя-душа!  
 Утекаешь к жизни вечной... пьем из Млечного Ковша  
 Мы твою святую воду... мы твою святую синь...  
 Волга, посреди народа, мать, меня ты не покинь...  
 Мать, врага я повоюю да из-за тебя одной!  
 Я в тебя шагну, живую, потону, лишь будь со мной...  
 Волга-мать, ты на погосте, в небесах – любовь моя...  
 Коль умру – да киньте-бросьте в Волгу-реченку меня...

## Остров

Ножами снега больно, остро  
 Бьет щеки – Север, Город, Мирь.  
 Я в темном Океане – Остров.  
 Я не замечена людьми.  
 Людской прибой вскипает грозно.  
 Иду – под шубою – нага...  
 Мы с этим Океаном – розно.  
 Меж нами – черные снега.

Меж нами – красные метели.  
 Меж нами – золотые льды.  
 Меж нами – грозные постели,  
 Слепые молнии беды.  
 Меж нами – зарево больницы,  
 Где хрип алкоголички – той,  
 Которой перед смертью снится  
 Сын в ярко-синем... он святой...

И что – делирий или Делос –  
 Пронзает океанский мрак –  
 Тот Остров, где так сладко пелось  
 Нам – за автобусный пятак?!

В посконном сне, в пыли проклятий,  
На рыночном распутном дне –  
О речь моя, мой Остров, мать,  
Спаси меня, живи во мне!

Иду; пообтрепалась шубка.  
В яремной ямке – крестик мой.  
Мне больно. Холодно. Мне хрупко.  
Мне надо поскорей домой.  
Как будто в милых бедных стенах,  
Под пламенем картин отца,  
Я буду неприкосновенна  
Для гнева, горя и конца!

И вдруг отчаянно и просто  
Придет, как в коревом бреду:  
О тело теплое! Ты – Остров  
Огня – на смертном холоду!  
О хлеб! Ты Остров в изможденной,  
Изрытой голодом горсти.  
О страх! Ты Остров осужденных,  
Когда «помилуй» – как «прости»...

В бинтах и сыпях, в перевязках,  
В захлебах брошенных детей –  
Любовь моя, ты Остров ласки,  
Хоть в мире нет тебя лютей!  
И, посередь молвы и пьяни,  
Харчевни, храма и тюрьмы –  
Звучу лишь нотою в Осанне,  
Плыву упрямо в Океане,  
Что жизнью

грубо кличем мы.

*Из новой книги стихотворений*  
*«ИРКУТСКИЙ РЫНОК»*

Эшелон

О, мы верили так свято в лучезарную Звезду!  
А теперь она – заклята: красным чудищем в бреду.

Змеевласою Горгоной... пятипалым топором...  
...из теплушки, из вагона – песня: брат! стакан нальем!

Мы с войны катим! Стакашек опрокинь... бутылка – вот...  
И вернемся, и попляшем, все как водится, народ.

И помянем, и заплачем – все как надо, все путем.  
Вон боец вопит незрячий – с виду сам – дите дитем.

Курит вон солдат безрукий. И трясется эшелон!  
...перегоны, перестуки. Плач и хохот, тихий звон.

О, мы верили так свято: мир навеки, да, навек!  
Вот – за все пришла расплата. Кровь струится из-под век.

Так течет святое миро. По скуле да по губам.  
Этого Святого Мира – я за царство не отдам!

Так мы жизни отдавали, люди добрые, за жизнь.  
Так орудья обнимали – ну, проклятый враг, держись!

Мы – держались... мы – сражались... жили век и жили час...  
Мы в небытие срывались – хоронили мертвых нас.

А теперь об этом – песню! Пусть забудут все слова!  
В этой музыке – воскреснем! Эта музыка – жива!

Это крик и хрип завода. Это вопли всех атак.  
Это плач и стон народа, яркий смех наш, алый флаг!

Из времен над ним – глумитесь! Издевайтесь – издаля!  
...заплетает травы-нити изможденная земля.

Заплетает снега косы. Прижимает лед к устам.  
Заплетает в нитку слезы – то силки на саван нам.

В эту песню, в той теплушке, заплетает голоса –  
А не хочешь, и не слушай, чернобурая лиса!

Мы не звери. Мы лишь люди. Возвращаемся с войны.  
Мы во вьюге да в остуде будем видеть злые сны.

Будем видеть гибель наших красных звезд... в бою – друзей...  
Воздыми повыше чашу! Брат, полней стакан налей!

Выпьем, брат, и всех помянем – всех живых, кто пал в бою –  
На юру и на шихане, на обрыве, на краю,

Утонул в чужом болоте, сгас от голода в лесах,  
Кто в таране сгиб, в полете, в передсмертных небесах!

Запевай ты, мой родимый! Запевай, отец и дед!  
Мой святой народ, любимый! Запевай, ведь смерти нет!

Для тебя ведь нету смерти – потому ты победил!  
...заплетает круговертью ветер – горицвет могил.

Только мимо, мимо, мимо пролетает эшелон –  
Мимо плачущих любимых, мимо храма, что спален,

Мимо бедных и богатых, мимо правды, мимо лжи –  
Мимо всех, навек распятых – детям боль их расскажи!

Да не видят... да не слышат... мимо, мимо мчит вагон...  
Пьют солдаты, жадно дышат, озирают небосклон,

И не знают, что там будет, в чередe иных веков:  
Все такие ж войны, люди, час прошел – и был таков,

Только знают: вот – Победа! Вот – врага согнули мы!  
...выпьем, брат. Идет по следу ветер – знаменем зимы.

Я незримая. Не видишь, брат, прозрачную меня.  
Плачу. Пью. Ты не обидишь память воли, зная дня.

И стучат, стучат колеса, бесконечно пьем и пьем,  
До седой травы откоса, до прощания вдвоем,

До сияющего Града, как его, Ерусалим...  
До небесной той ограды, где крылатый тает дым.

## Юрий КУБЛАНОВСКИЙ

Москва  
(№ 2, 2023)

### ДОНБАССКИЙ ТРИПТИХ

#### Мысли перед рассветом

Вот уж не думал,  
что на старости лет  
буду начинать утро  
со сводок с фронта  
и похожих на верлибры реляций,

мол, чего-чего, а мира  
на остаток жизни  
всё-таки хватит.

Хватит, чтоб подремать над альбомом,  
выпить в шалмане стопку,  
окские видя плёсы...

Но вот приходит догадка,  
заставляющая сжиматься сердце,  
взбивать кулаком подушку  
в седой пелене рассвета,  
что могу уже не дожидаться,

как отдымят кострища кварталов  
заслезится на окнах копоть,  
воспалённые ссадины  
побледнеют на лицах пленных,

как польётся благовест над округой,  
отпоют живые погибших,  
прирастёт *своим* же Отчизна.

1 июня 2022

#### Новобранец

*Тиха украинская ночь,  
и наше дело ей помочь.*

Ещё не совсем проснулся,  
ещё во сне  
вспоминаю свою Наталью и дочку Дарью.

Но уже долетает сюда ко мне  
отдалённый запах военной гари.

Знать, под утро понову шёл обстрел  
наобум дворов и хрущоб Донбасса,

а в сердцах родных, кто остался цел,  
не остывший пепел стучит Клааса.

Будто порыжевший столярный клей  
пропитал бинты медицинских опций.

В духоте военных госпиталей  
вперемешку бред пацанов и хлопцев.

.....

Старику пора бы задуть свечу,  
воротясь туда же, откуда родом.

Но сперва приложиться хочу к плечу,  
новобранца перед его уходом.

Что же это – или склубилась мгла  
после долгих дней, когда было душно?

Или властно к финишу привела  
нас судьба, магниту его послушна?

*28 июня 2022*

## Памяти Ольги Качуры

Где дремали в густоцветии мальвы,  
дозревала гроздьями черноплодка,

нынче минами засеяны земли  
и идут озлобленные сраженья.

А паяц, косящий под Че Гевару,  
восхищая мировых межеумков,

ежедневно на убой посылает  
мужиков и необученных хлопцев.

Их пасут амбалы в татуировках,  
покрывающих сплошь торсы и шеи,

что клубится у них в коробках  
черепных, какие там дремлют змеи?

Вглядываюсь в небритые лица,  
слушаю допросное бормотанье –



неужели это те изуверы,  
что стреляли нашим пленным в колени,

окна школ превращали в доты,  
руку подняли на русскую мову?

И теперь остаётся молиться только  
нам за их пропащие души, каюсь.

Но сперва, едва забелеет зорька,  
за тебя, убитая ими Ольга,  
с которою не прощаюсь.

*4 августа 2022*

**Дмитрий ЛАРИОНОВ**

*Нижний Новгород*

(№ 5, 2018)

## ОСТАНЕШЬСЯ С СОБОЙ НАЕДИНЕ...

\* \* \*

Останешься с собой наедине –  
не выйти покурить, но выпить воздух –  
и новой мыслью думаешь о ней,  
о жизни на свету. А мальчик – взрослый.

Скажи, и что там будет без меня?  
Пространство пустоты сосет глазами.  
Летит крупица льда. Крупицу льда –  
глоток-наскок. Оставь. Мы выпьем сами.

Он, знаю я, здесь все проговорит,  
сожмет горбушку утреннего хлеба.  
Таков словарь; а день – перегорит.  
Смотри в окно, смотри: я *был* и не был.

## В начале марта

Поезд мчит на Лабытнанги  
по архангельской глуши.  
Ты черкни мне, добрый ангел,  
эсэмэску напиши.  
Друг сидит над пятой строчкой,  
скрестив руки на груди.  
Он на полке прям и склочен.  
Километры впереди.  
Так по Северной железной  
к поселению идем.  
Русский Север. Царство леса.  
Плавный свода водоем.  
Ненадолго здесь, конечно;  
а хотя, не исключай:  
надо б нам в избе со свечкой  
съесть капусту, выпить чай.  
Пусть деревню точит время.  
Лишь чубушника побег –  
как звезда – в конце апреля –  
в объективе – оберег.

\* \* \*

С Разъезжей свернул на Марата,  
но Uber я брать не хочу,  
ведь есть по три сотни на брата,  
и музыка есть – и лечу

на мифологический Невский.  
В айфоне обратный билет.  
К чему уезжать? Было б не с кем  
идти за черту на просвет –

то дело другое. В лиловый  
здесь воздух окрашен. Узор  
моей памяти – только слово;  
продолжается разговор –

и мы продолжаемся. Значит,  
и сеть перспективы верна:  
филолог, дурак, неудачник –  
вразвалочку. Сквозь времена.

Достигнут небес постранично,  
их впишут в локальный реестр.  
Те трое, минуя Аничков,  
уходят. Играет оркестр.

## Дуэль

Фотография Наппельбаума – вот – как прыжок в параллель: сквозь шум таксомотора и вакуум пересекают апрель, мимо свалок едут по Лахтинской (или ноябрь на ноже?). Также едут из новой редакции, кондитерской Беранже. Уже небо над Старой Деревней прячется в илистой мгле. И лишь восемь шагов в направлении «от результата». Дуэль.

– Ох, да им бы сейчас о хорошем!

– Ну как же... Видимо, нет.

«Дай Le Page мне!» – тихо рявкнул Волошин. Вскоре он взял пистолет. Пусть один из них встанет на кочку, а другой – выстрелит вверх. Сам Гумилев!.. Рвется сна оболочка, <...> ярок его фейерверк.

Понял: нет такой фотографии. Есть лишь порядок вещей, двойки-тройки по химии, алгебре; и – родинка на плече.

\* \* \*

Возница обилетил пассажиров  
и повернул на улицу Труда.  
«Поэзия зависит от нажима,  
режима, остальное – ерунда», –

подумал человек, уткнувшись в книгу.  
Но город затянули облака;

вот школьник посмотрел «Конец каникул»  
и в первый раз зажал аккорд В/А.

Мой друг в архиве раздобыл поэта,  
а точнее – его стихи. Ну, да.  
Мне кажется, что город стал макетом –  
таким, что и не вспомню никогда.

\* \* \*

Так недолго учился отцовству  
и нередко черкал от руки,  
что с годами ворованный воздух  
променял на билет в Хмельники.

Дальний край болотной губернии,  
где близ Подюга, Ковжа и Вель;  
крынка неба, солнце вечернее,  
а у церкви – ирисы. К тебе

пес бежит на соломенных лапах.  
Зажигается первый моллюск.  
Понимаешь: молиться не надо –  
«Отче наш» позабыл. Наизусть

разве только стишок и припомнишь  
(каждый здесь говорит про ИБ).  
Этим летом поеду в Воронеж,  
что-нибудь напишу о тебе.

\* \* \*

От Покровской до Монмартра,  
где живут твои друзья  
(пару снимков — и обратно),  
не добраться мне. Нельзя.

Слегонца прокрутим Бреля.  
Клик – представлю сам себе –  
слепок раннего апреля:  
прочерк, звездочка, пробел.

Вновь таксистка Женевьева  
отвезет на Одеон.  
Там был Паунд. И с припева  
загрустит аккордеон.

Есть мгновение простое,  
неприметное. Прочти.  
В ресторане сядут двое,  
что невидимы почти.

Огоньки горят, как флоксы,  
просит трубку господин.  
Он, наверное, с Покровской –  
и, должно быть, не один.

Покутят, пройдут сквозь двери,  
разойдутся по домам.  
Вглубь глазниц вырастает время.  
Опускается зима.

\* \* \*

Стихи по осени читают,  
а пишут, верно, в феврале;  
планшет, состряпанный в Китае,  
поймал кузминскую «Форель».

Смотрю в очередное небо.  
Вновь лаком стал ручей до льда.  
Нажму на клавишу «Отмена» –  
и не уеду никуда.

Пусть веер северный и пальцы  
не смажут зрение слезой:  
мы пешеходы, постояльцы,  
уходим в сумрак золотой.

**Марина КУДИМОВА**

*Переделкино*  
(№ 2, 2024)

## И РИФМА РЯБИНЫ, И ПАМЯТЬ МАРИНЫ...

### Сосед

*Мы пили когда-то – теперь мы посуду сдаем.*  
Олег Чухонцев

Я жить здесь хотела, теперь собираюсь дожить,  
Склоняюсь, как над книгой, над частной своей Хиросимой,  
Пока у соседа Чухонцева в окнах дрожит  
Свет – может, дежурный, слабеющий, но негасимый.

Замедлю шаги у несломленной лирной сосны,  
Дождусь, когда выпорхнет в темь полнозвучная птица.  
Подумаю коротко: кажется, мы спасены –  
В преддверье войны, в загляденье пугливой весны –  
И пафос собью: если кажется, надо креститься.

В каких начинаниях чудо считалось за труд?  
У спецконтингента «спасибо» зашито в подкладки.  
Но стихли бульдозеры, и удаляется суд,  
И поздние дети резвятся на детской площадке.

### День предпоследний

*Даше Бегловой*

Тридцатое августа – день предпоследний,  
Сегодня – текущий, а завтра – намеренный.

Сегодня – еще не настолько прозрачно,  
Не так просквожённо, остаточнo дачно,

Хоть сдвинута мебель, и чувство такое,  
Как будто попал в помещенье складское.

А завтра, а завтра,  
На Флора и Лавра,  
Вдруг вспыхнет аллея сусальнo, как лавра,

И облако вспухнет преддверием снега,  
И альфу в Кентавре заменит омега.



Процесс обнаженья затеет опушка,  
Подхватит пролесок, затюкает сплюшка

Свистком в семь стволов на манер окарины...  
И рифма рябины, и память Марины...

Но празднуют засветло, словно в июне,  
Рождённые в летнем парном накануне,

В бессонной толпе, как у ранней обедни,  
Тридцатого августа – в день предпоследний.

\* \* \*

*...и хруст французской булки.*

В. Пеленягрэ

От мотков пипифакса осталась выставка втулок...  
Съешь ещё этих мягких французских булок,

Выпей чаю – все буквы использованы в программе.  
Первый комп нас учил идиотской такой панграмме.

Пустотой предрассветный двор пронизан и гулок...  
Съешь ещё этих мягких французских булок.

Монитор заголился, вчера быв уютной норкой,  
Зачерствели булки, заклёкли плюшкинской коркой.

В ожидании алиментов застыли дети:  
Тятя, тятя, нас выbleвали соцсети.

На Вернадского цирк спалил архитектор Вулых ...  
Съешь ещё этих мягких французских булок.

\* \* \*

...А шестая повесть Белкина  
Автору не удалась...  
Мыло марки «Переделкино»  
С рук не считывает грязь.

Что осталось? Аз да ижица,  
С корнем вырван алфавит.  
И течёт меж пальцев жижица,  
И кровит, кровит, кровит.

Не покрыта местность сотою,  
Связки рвутся – связи нет.  
Как увлечена работою  
Леди мыльная Макбет!

\* \* \*

Хлеб не печён, так хоть краюшку на́ –  
По срезу чёрная печать.  
Извергните из школы Пушкина –  
Глядишь, его начнут читать.

За шиворот себе налей «Монталь» -  
Лакейский дух не перебить.  
Немедля воспретите Лермонта –  
Глядишь, его начнут любить.

Неукротимые и страстные,  
Изгойство клявшие своё,  
Какие были парни классные –  
Элитное хулиганье!

На ксерокопии, в смартфоне ли,  
Тайком, хотя б одним глазком...  
О, если бы вы что-то поняли,  
То подавились бы куском.

**Марина КУЛАКОВА**

*Нижний Новгород*

(№ 2, 2024)

## СТРОЮ ДОМ

Я строю дом.  
Казалось, не под силу.  
Но строю дом – и собираю силу,  
чтоб строить дом  
по капле, по строке.  
Невдалеке, на Волге и Оке.  
...Мне говорили: не поднять, не смочь.  
Ни навыка, ни денег, ни машины.  
Ни крепкого надёжного мужчины...  
Какой резон? Всего не превозмочь.

Я строю дом на правом берегу.  
Хотя живу и родилась на левом.  
По каплям, что коплю и берегу,  
я строю дом на правом берегу.

Я строю дом. Как мало,  
мало денег!  
Но не из денег строятся дома.  
Растает снег. Растает тьма и тени, –  
сомнений тени. Кончится зима.

Я строю дом. Уже готов фундамент.  
Вокруг него ромашковый орнамент.  
Большое поле.  
В трёх шагах – река.  
Я строю дом. Когда меня не станет –  
здесь будут дети, травы. облака.

Жить на земле должны учиться в школе.  
И строить дом должны учиться в школе.  
Я строю дом  
почти что в чистом поле.  
Его эскиз я в сердце берегу.

Не только по своей – по Божьей воле  
я строю дом на правом берегу.

Я строю дом.  
И я его построю.  
Моя мечта  
становится сестрою

и говорит: «Давай, я помогу».  
Мы строим дом на правом берегу.

Земля живыми ливнями полита.  
Не тяжелы ей плиты арболита:  
Они деревьям и земле сродни.  
Я строю дом.  
Так протекают дни.

Когда, свой дом под крышу подводя,  
его я укрываю от дождя,  
как существо растущее, живое,  
я чувствую,  
        что я его построю,  
и никогда не брошу,  
уходя...

Я никогда не струшу, и не брошу,  
а буду жить, как тыщу лет назад,  
и буду строить,  
        и со мной – Алёша  
и Женя,  
Дима и Серёжа,  
и Макс, и Настя, и Катюшка тоже,  
и Галя, Юра, Соня, Аня, Маша,  
Олег и Ольга,  
Павел и Нурмат.

Сердечно благодарна я Рустаму.  
И никогда я верить не устану  
в высокий берег,  
в новый дом и сад.

Я строю дом. Закладываю сад.  
Среди зимы  
не я одна, а мы –  
мы видим:

        между Муромом и Мызой  
он возникает китежской репризой  
и будет жить, как тыщу лет назад –

по воле Бога и природы дикой –  
земля любовью полнится великой  
и в разнотравье зреет земляника  
и слышен ягод тихий аромат.

**Юрий НЕМЦОВ***Нижнем Новгород*

(№ 1, 2016)

**НОЧЬ ДАЖЕ ЛЕТОМ СЛУЧАЕТСЯ КАЖДЫЙ ДЕНЬ...**

\* \* \*

Время уходит, как волна уходит в песок,  
 С той лишь разницей, что следом за ней вторая  
 Волна не придет. Время делится в твой висок,  
 С той лишь разницей, что цели не выбирая.

На самом деле (так принято говорить,  
 Начинать предложение с этих «на самом деле»)  
 Времени нет. И даже, держу пари,  
 Вы это сами давно уже разглядели.

Кассиопея, Лебедь, Гончие Псы...  
 Что там висит на поясе Ориона?  
 Это не время идет. Это идут часы,  
 Повторяя схему космических шестеренок.

С некоторых пор я перестал смотреть  
 На стрелки, цифры. Я поселился дома.  
 Но звезды меня продолжают греть.  
 Как в детстве, завидую астрономам.

Для них пространство и время, как для меня  
 Грабли, лопата, выкопанные георгины.  
 Для них будильники не звенят –  
 Для всех, живущих голову запрокинув.

\* \* \*

*Nautilus pompilius* – разумеется, не Бутусов –  
 Головоногий моллюск в придонной морской воде,

Носит панцирь витой, не боясь укусов,  
 Глаза без хрусталика, щупальца в бороде.

Живет миллионы лет, почти не теряя в весе.  
 Меряет глубину своей ногой-головой.  
 – Где материк Гондвана? Где океан Тесис?  
 Что-то не узнаю линии береговой,

– сказал капитан Немо, ветру подставив спину, –  
В скобках: соленые брызги на капитанском лбу, –  
Вечером Судного дня поднявший свою субмарину  
Воздухом подышать, в подозрную глядя трубу.

## Последний дирижабль

В Америке Форд. В Париже Анри Матисс  
Лидию пишет. Волга впадает в Каму.  
Малевич умер – да здоровствует супрематизм!  
Дворец Советов рисуют на месте храма.

Май на исходе, пахнет свежей листвою,  
Любовь Орлова на Чистых Прудах гуляет.  
И что удивительно: наш «Дирижаблестрой»  
Их Умберто Нобиле возглавляет.

Нравятся бокс, механизмы, наука, спорт,  
Американцы, французы, левые немцы.  
А если белая скатерть, баночка шпрот,  
Бутылка шампанского с полотенцем?

Тридцать пятый был не таким плохим  
Годом для тех, кто питался казенным хлебом.  
СССР-В6 «Осовиахим» –  
Самый большой дирижабль под советским небом.

Длина – с футбольное поле, невелика  
Тяжесть конструкции: наши сделали лучше,  
Чем итальянцы. Нашего Кулика\*  
Хвалит Нобиле! Яйца курицу учат.

Дизель, пропеллер, трансмиссия – как стихи.  
Даешь сопромат, навигацию, тангенс-котангенс!  
СССР-В6 «Осовиахим»  
Сорок часов летит из Москвы в Архангельск.

Тридцать восьмой... Папанинцы на устах,  
Но у дрейфующей льдины все меньше шансов,  
Она раскололась уже в четырех местах –  
И новый приказ перечитывает Гудованцев\*\*.

Пока не растаял лед в ледяной воде,  
Пока еще слышен рации слабый голос,  
Он поднимает в небо семьсот лошадей  
И курс берет туда, где Северный полюс\*\*\*.

\* Молодой конструктор по фамилии Кулик.

\*\* Последний командир дирижабля.

\*\*\* Они врезались в гору и сгорели, после чего был закрыт «Дирижаблестрой» и всё дирижаблестроение в СССР.



Звонят телефоны пяти великих держав.  
Звучат на два полушария ахи-охи.  
В ночной пурге скрывается дирижабль,  
Неся на спине последний закат эпохи.

## Паук

За окном паук плетет паутину.  
Посвечу ему фонариком в спину.  
Заспешил, засуетился (потому что засветился) –  
И, как пушечное дуло, повернулся на оси.  
Брюхо белое сверкнуло.  
Я фонарик погасил.  
Выпил чаю, запер двери, вставил лыко в строку.  
Спит деревня, правый берег подложив под щеку.  
Я валяю дурака – развлекаю паука.

## Писк

### 1

Во дворе, как стемнеет (особенно в холода),  
Какая-то птичка произносит одну и ту же фразу,  
Из года в год. Эта птичка всегда одна,  
Я в этом уверен, хоть и не видел ее ни разу.

Когда засыпает жена и кошка идет в кровать,  
Я включаю компьютер, чтобы проверить почту.  
Мне от них ничего не надо скрывать,  
Но я почему-то люблю это делать ночью.

От понедельника вторник бежит к среде,  
Среда к четвергу и так далее. Между прочим,  
Ночь даже летом случается каждый день,  
Только день никогда не случается ночью.

Прошлое не хочется ворошить,  
Вспоминать имена и отчества.  
Никому не хочется воровать.  
Хочется просто жить. Ну просто очень хочется.

### 2

Каждую ночь пишу в глухой темноте квартала...  
(Можете покрутить пальцами у виска).  
Но если мне замолчать, не подавать сигналы –  
Никто меня не найдет. Никто и не станет искать.

Недаром и пчелы жужжат, и даже ленивые трутни.  
Я слышал последний крик пойманного леща...  
Словно слепой комар, словно искусственный спутник,  
Брошенный в пустоту, не устаю пищать.

\* \* \*

Да что же такое, ребята?  
Кому же мне верить, когда  
Повсюду я вижу предвзятость?  
Но это еще не беда:  
Когда бы все ввали для денег,  
Я сразу бы их раскусил,  
Но пишут с таким убеждением,  
С таким приложением сил  
Душевного переживания,  
Так искренне, черт побери,  
С таким неподдельным желаньем  
Тебя зацепить изнутри,  
Как будто без истовой веры  
Теперь уже истины нет,  
Как будто миссионеры  
Заполнили весь Интернет.  
И мне начинает казаться,  
Что дело не в том, кто кого  
По морде ударил абзацем,  
Поскольку идет разговор  
Наотмашь о детских, знакомых  
И, вроде бы, ясных вещах:  
Зачем делать двери для дома?  
Нужна ли капуста во щах?  
А может быть, надо олифой  
Гортензии поливать?  
Я это, конечно, для рифмы,  
Я просто не в силах слова  
Найти, чтобы стало понятно  
Хотя бы тебе самому,  
Куда занесло нас, ребята,  
Какую мы гробим страну!  
Во имя каких идеалов  
И ради какой доброты  
Мы рвем на себе одеяло?  
И чем мы сошьем лоскуты...

\* \* \*

Всю ночь небесная вода летит, летит...  
Шестиконечная звезда. Давидов щит.  
Завидуй, Рим, Ерусалим, латин и грек:  
Нас по колено завалил январский снег.  
И как же нам теперь, скажите, в снегопад,  
Без наших валенок прожить и без лопат?  
Заткнет прорехи государственной казны  
Национальное богатство белизны.  
Запасы чистой, высшей пробы велики,  
Но экспортировать сугробы не с руки.  
А с неба вечная вода летит, летит!  
Шестиконечная звезда, Давидов щит.

\* \* \*

...Потому что забыл я,  
Сколько кабельтовых разделяло  
Паруса «Изабеллы»  
И фонарик под одеялом,

Запах южных ночей,  
И, когда все полезли на ванты,  
Кто сорвался, и чем  
Отличается принц от инфанта.

Молодой адъютант в окружении дам,  
В доме консула, в день рождения королевы...  
Я пытаюсь припомнить – ведь, кажется, там  
Перед дочкой судьи он упал на колени?

Мне милее моя легконогая скво:  
На последний кусок лососины  
Я меняю роскошный дворец под Москвой  
И ботфорты – на мокасины.

Неразбавленный ром шлет ко мне по рукам  
Капитан Бернардито:  
– Ты опять за друзей не поднимешь стакан? –  
Говорит он сердито.

Звезды гаснут. С натугой скрипит кабестан.  
Носовой поднимается якорь.  
Ведь не скажешь при всех:  
– Я не пью, капитан,  
Потому что мне хочется плакать,

Потому что забыл я, как воеет пассат  
И уводит форштевень с норд-оста,  
На какой широте закопали мы клад,  
На какой параллели наш остров.

Потому что тропинки далеких планет  
Не протоптаны почему-то,  
И еще потому, что уже сорок лет  
Не приходит письмо из Кулькутты.

## Александр ОРЛОВ

Москва

(№ 2, 2020)

### Доченька

В ночь на Волге-матушке затвердел весь лёд,  
По нему на саночках дочку мать везёт.

Вслух под вьюгу молится, читает тропари,  
Слёзно просит доченьку: только не умри,

Не умри, любимая, будет проклят фриц,  
Нам ещё немножечко в одну из двух больниц.

Там у того берега встретят нас врачи,  
Потерпи, кровиночка, слышишь, не молчи.

Вытащат осколочки из твоей груди,  
Только, моя девочка, глаза не заводи.

Видишь, моя милая, как Волга широка.  
Льдом покрылась девочки правая щека.

Помнишь твои вещи на Крещение сны,  
Папка наш с рассветами домой пришёл с войны,

Как нам все твердили: он без вести пропал,  
Всех в боях под Руссой косило наповал.

Ишь как ошибались, жив он и здоров,  
Папка наш был ранен, вернётся на Покров.

Заживём как прежде, восстановим дом,  
Справим дни рождения, и Пасху, с Рождеством,

Купим тебе платице, заплетём косу,  
Просыпайся, доченька, в больницу отнесу.

Волга моя милая не так уж широка.  
Льдом покрылась девочки левая щека.

## Алексей ОСТУДИН

Казань  
(№ 2, 2018)

### ИЗ МОДЕМА ВЫГНАЛИ АДАМА...

#### Бодрое ультра

Огнетушитель приготовь, пока не вспыхнула рябина –  
ей осень полирует кровь закатом из гемоглобина,  
забейся в норку и – молчок, быть на виду – себе дороже,  
где дятел, как дверной крючок, в ушко сосны попасть не может,

вся дичь, в предчувствии стряпни, ленивей и вдвойне пушиста,  
расходятся кругами пни – следы от пальцев баяниста,  
тяжёлый заяц, на скаку, на двести градусов духовен  
печётся, с дырочкой в боку, и блеет одинокий овен

в тумане моря, где облом гремит ведром из-под сарая,  
в витрину упираясь лбом замрешь, игрушку выбирая,  
пришла пора в бутылку лезть, давить на клавиши штрих-кода –  
не посрадим былую жесть, родной захват для электрода,

торчит из ходиков орёл, ему сто лет гореть в гареме,  
на белку стрелку перевёл и за цепочку тянет время,  
мы за него поднимем лай в гранёных рюмках, холодея, –  
давай за статую, давай опять за голую идею,

где банных шаек перестук, прилипший листик на затылке,  
посмотришь с ужасом вокруг – одни будёновцы в парилке,  
и, наблюдая молодёжь, пока страна впадает в спячку,  
с губы улыбку скovyрнёшь, как надоевшую болячку.

#### Поколение

Даже дворники смотрят влюблённо –  
не чатланин, зачётный пацак,  
нахватавшийся звёзд из бульона,  
выхожу, сукин сын – весь WhatsApp,

путь кремнистый блестит, как бетонка,  
только миг, за него и держись,  
нос похож на зародыш цыплёнка  
из журнала «Наука и жизнь».

Ко всему, что возможно исправить,  
сам давно оборвал провода,  
обновить бы короткую память –  
надоело сгорать со стыда.

Иногда пробивает на жалость  
к тем, кого оболгал WikiLeaks,  
мы попкорном, как кони, заржались  
кока-колой под нимб упились.

Пусть светило и больше не блещет –  
не спешим уходить на покой,  
хоть ломаемся чаще, чем вещи,  
и гарантии нет никакой.

### Сила привычки

Из модема выгнали Адама – торрент Евы скачивал взасос.  
Месяц, словно ручка чемодана, к туче на колёсиках прирос.  
Посыпают звёзды из солонки Эйфелеву башню без корней –  
как у непослушного телёнка ноги разъезжаются у ней.

Сена под мостом синей Сенеки, у химеры иней на хвосте.  
Видеть сквозь опущенные веки мне удобней даже в темноте,  
здесь любая статуя носата, то ли дело – в солнечном раю,  
где не спят Роскосмос и Росатом, обнимая родину свою,

ласточки с весною в чьи-то сени прилетели брызгами с весла,  
будто и не гложет червь сомнений этот мир, испорченный весьма,  
будто не ослабла нить накала у всего, что двигает людьми, –  
ни старалась как, ни намекала на пустые хлопоты любви.

Милая, ты тоже заскучала над последним яблоком в меню.  
Дочитаю Библию сначала, а потом, ей-богу, позвоню.

### Сон программиста

Не первый день скакал в степи монгол,  
качалось солнце колосом на стебле.

Мы думали, сначала был Алгол  
или Фортран, а вот и нет – Ассемблер.

Шуршал ковыль вскипевшим молоком,  
стучался в небо жаворонок звонко,  
натруженной печёнкой ёкал конь,  
а вот и нет, он ёкал селезёнкой.

Затея в этом квесте непроста –  
поймать ногой упущенное стремя,  
где стрелки разошлись вокруг шеста,  
как будто на шпагат упало время.

Всё поперёк здесь – кроличья нора,  
языческие боги с аватара,  
и Галь, и Оль на выдумки хитра,  
и горизонт на линии загара.

Пусть алкоголем воздух возмущён,  
шершавый свет забился под ресницы.  
И сальса не рифмуется с борщом,  
а помогает жить, кому не спится.

## Пора на Марс

Мороз, сорвавшийся с домкрата,  
летающая в пургу страна –  
ничё, что ночью темновато,  
вдруг солнце – бац, и – обана!

Спиртовый воздух режет дёсны,  
коптят далёкие миры,  
и острозубые, как блёсны,  
в квартирах ёлки до поры.

История заходит с тыла,  
кипит её густая взвесь –  
а ты забил на всё, что было,  
поэтому сейчас и здесь,

но, как шахтёры из забоя,  
наощупь, тянутся на свет  
газеты из прорех в обоях,  
которых не было и нет –

как нет земли большой и плоской,  
вестей состроек и полей,  
пусть эти жёлтые полоски  
почти развел столярный клей,

гудят встревоженные дали  
и ледяные провода.  
А может, это я в подвале,  
где хлеб и горькая вода,

и, в новом опереньи фарса,  
шагаю к свету по хвостам,  
пока рукой подать до Марса,  
и запускает Казахстан.

## Тугеза

Запрета не было в указе на чилибуху и мышьяк,  
но за буйки забрался Разин и бортничеством промышлял –



за ним враги смотрели в оба, судачил, кто не при делах,  
зачем бросать подругу в воду, сказал бы попросту: «талах».

И я в любви, порой, небрежен – плыву с прокисшего вина:  
знакомый остров, тот же стрежень, и подходящая волна,  
пыхтит костёр, завален тиной, дым растянулся над рекой,  
на ветке сохнет мой ботинок, другой, поменьше – на другой.

Что чертим на песке прутками – не бойся, вечером сотру,  
упершись подбородком в камень, на Волгу до-о-о-лгую смотрю.  
В плену условности не маюсь, согласно сдерживаю смех:  
чтоб небо не пробить, сдаваясь – не поднимаю руки вверх.

Кем хочешь стану на допросе – я, сам себе невыносим –  
и Волга тоже не выносит, не открывается Сим-сим.  
Гуляет солнце с перегрузом, горит пыльца на языке,  
посмотришь в щит, а там Медуза мнёт косметичку в рюкзаке.

## Юность

Всё ясно, если первый встречный  
принцессу взял за полцены –  
сим-сим, не дьюти фри, конечно,  
но держат те же пацаны.

А мне пора компот из вишни,  
нарзан на пике склона лет:  
на циферблате третий лишний –  
секундной стрелки тоже нет.

А было, в поле – сплошь татарник,  
грозы нечаянной компресс,  
и дышишь, как сквозь накомарник,  
входя в густой и жирный лес.

Грибов и ягод запах винный,  
далёкий топот, как извне,  
и, вдруг, забрызганная глиной,  
меня догонишь на коне,

тебе, в шестнадцать – всюду место,  
доверчиво прильнёшь к плечу,  
конечно, чья-нибудь невеста –  
но я такую же хочу!

## Коммунальная карма

На девятом живу этаже, на рассохшемся лифте катаюсь,  
а вокруг провода в неглиже намекают на скорый катарсис,  
вверх поедешь – вин руж де бордо предпочтёт плотоядным бесплотных,  
жмёшь на первый – опустишься до поедания вкусных животных,

недобитый резиной дверной, слышишь – капает время из крана,  
а в заплёванный пол пятернёй уперлась кожа от банана.  
Если в горле от счастья першит, перегрузок других не имея  
не впросак попадёшь, а на щит, или в шит, если станешь левее,

а когда у одной из подруг локоток – и стоим, как бараны,  
кто напомним, сгустившись вокруг: мы – опилки его пилорамы,  
только он пожалеет бедняг, насылая чуму и цунами.  
Вот и голос диспетчер напруг, собираясь не чикаться с нами.

## Дауншифтинг

Кажется, зима – насмарку и, по-русски, ни хт ферштейн.  
Бузины электросварку не раскрасил Эйзенштейн.

Оставляю город людный, и – туда, прости, жена,  
где, как в зачехлённой лютне, абсолютна тишина.

Примем беленькой по махонькой, без традиции нельзя,  
всё бы хиханьки да хаханьки – до свидания, друзья.

Здесь, скажу я вам, не Дания, и меня, как кур в оцип,  
вдруг толкнуло на создание – а оно не верещит,

расправляет молча простыни и перины тормозит,  
и простых желаний россыпи исполняет от души.

Вытянусь на банной полочке, покурю в густую ночь,  
где не волчье слышишь – сволочь ты, а поморское – сволóчь.

Утром, погремев засовами, через лес начнём грести  
прямо – к Богу, невесомые, у него же из горсти.

## Незнакомка

Пока не замечаешь, как ты дышишь,  
затылку далеко до потолка –  
любовь-морковь не сразу сносит крышу,  
полы и стены двигает пока,

и чем она слабей, тем ты целее –  
сиди себе, в бутылочку гуди,  
одна беда – похрустывает шея,  
то горячо, то холодно в груди,

догадываюсь, будущее близко,  
и вижу, как, попутав берега,  
компьютер гладит ногу программистке,  
дай бог, чтоб не толчковая нога,

в сети гуляет вирус приворотный –  
одно из двух, влюблённость или грипп,

---

системный Блок, не гопник в подворотне,  
мигнул глазами кролика – и влип.

Каким антибиотиком ни брызни,  
нерукотворный образ не спалишь,  
бесплатно отливают только в бронзе,  
чтоб накормить компьютерную мышь,

пластмассовой эпохе скажешь: здрастье,  
мне более надёжны и близки  
часы – когда заводишь, на запястье  
колёсико цепляет волоски,

поэтому, фантазии без лишней,  
плевать, во что одета, хоть в лаптях,  
но – губы, как наклюнутые вишни,  
и мягкие морщинки на локтях.

**Николай РАЧКОВ**

*г. Тосно, Ленинградская область*  
(№ 2, 2020)

**МЫ РОДИНЫ СВОЕЙ НЕ ЗАМЕЧАЕМ...**

\* \* \*

Здесь русские люди рождались и жили,  
Пахали и жали, косили и шили.

Здесь свадьбы по улице шли нараспашку  
Под песню, под удаль, под пьяную бражку.

У крайней избы, у резного окошка  
Кому-то в любви признавалась гармошка.

А сколько звенело здесь свежих частушек  
Под гул перестроек, утрясок, усушек.

Деревня! Овраги, поля и долины.  
Веселье в избе – новый внук у Полины.

И веяло жизнью простой, небогатой,  
Шагавшей вовек с топором да лопатой.

Война на порог... Сколько горя и страху.  
«Поддай-ка мне чистую, Марья, рубаху...»

Звучат голоса сквозь года из тумана  
Василия, Анны, Бориса, Ивана.

Вот-вот и совсем разойдемся мы с ними.  
Уходят... Всё дальше... Лишь эхо... Лишь имя...

\* \* \*

Опять я мчусь туда, опять спешу я в гости,  
Где ивы у пруда и где горбатый мостик,

Где барский дом застыл в тени густого парка,  
Где на тропинке след как свежая помарка.

Опять хочу дышать я воздухом старинным,  
Где навсегда пропах подсвечник стеарином,

Где шелест не исчез волнующей страницы,  
Где помнят звук шагов хозяйских половицы.

Я в Болдино спешу, чтоб насладиться снова  
Бездонной глубиной, очарованьем слова,

Которое в веках таинственно согрето  
Дыханием живым бессмертного Поэта...

\* \* \*

Мы Родины своей не замечаем,  
Ее озер, ее холмов и рек.  
Мы в рощице березовой скучаем,  
Не видим, сидя за вечерним чаем,  
Как за окном прекрасен лунный снег.

Нам хочется куда-то, где атоллы,  
Гробницы фараонов, их престолы,  
Где острова чаруют жадный взор.  
А Пушкин рвался в Болдино, где доли  
Ему шептали чудные глаголы,  
Где в ряске пруд,  
где царственный простор.

## Ступин

*А.В. Ступин был основателем первой в России  
провинциальной школы живописи в Арзамасе*

Окошки, двери –  
И Ступин слышит,  
как кричат  
его полотна,  
Как задыхаются в дыму,  
звуют на помощь...  
Итог всей жизни и труда – пожаром в полночь.  
Багры и ведра – ни к чему.  
Огонь в полнеба.  
Теперь ни кисти,  
ни холста,  
ни крошки хлеба.  
Купцов ликующих, мещан  
лоснятся лица...  
Ах, что теперь?  
Куда теперь?..  
К императрице?..  
Опять – с протянутой рукой?  
Двору – забава...  
Ведь голова почти седа.  
Ведь стыдно ж, право!..

Кто он?  
 Художник без картин. Учитель нищий.  
 Зачем бредут ученики  
 на пепелище?..  
 Ах, школа...  
 Он стоит, глотая слезы.  
 Над ним летят, как дым, года.  
 Над ним – березы.  
 Над ним шумит веселый парк.  
 Молва забыла  
 Где точно,  
 среди каких берез,  
 его могила...

### Баллада о Пете Колесове

Гаснут звезды, мелеют реки,  
 Льет забвенья густой туман...  
 Жил в Кирилловке в давнем веке  
 Удивительный мальчуган.  
 Был к работе крестьянской годен,  
 Но, покинув отцовский дом,  
 В школе Ступина  
 стал в те годы  
 Чуть не первым учеником.  
 Ни уныния в нем, ни лени.  
 Перемешивая цвета,  
 Добивался он светотени  
 На желанном куске холста.  
 Он, бывало, целые сутки  
 Малевал, не жалея сил.  
 И его сам учитель Ступин  
 За старание похвалил.  
 Заронил он мальчишке в душу  
 Золотую мечту одну:  
 «Может статься, милый Петруша,  
 Ты увидишь свою весну...»  
 Ах, как сердце Петруши билось,  
 Коль ему удавался цвет!  
 Но одежда поизносилась,  
 Но на хлеб ни копейки нет.  
 Свистнул ветер весны буйный...  
 Взяв ореховый посошок,  
 Он пешком пошел в Лукоянов,  
 В городок среди степных дорог.  
 В лапотках да в дырявой шапке,  
 Сам бледней своего холста,  
 На подмостках церковных, шатких,  
 Подрядился писать Христа.  
 За спиной – поля, перелески,  
 Птичий радостный переклик.

А во храме живой на фреске  
Воссиял божественный лик.  
Он работал без передышки,  
Зорок глаз и душа чиста.  
Ах, какая в душе мальчишки  
Затаенно жила мечта!  
...В том, что славы он не добился,  
Нет нисколько его вины.  
Он упал с лесов и разбился,  
Не увидев своей весны.

## Падает снег

*Лиде*

Сколько промчалось зим,  
Кажется, целый век...  
Вновь за окном моим  
Падает тихо снег.

Снег заносит опять  
Сёла и города.  
Выйти бы погулять,  
Только не те года.

Как я забыть могу  
Дней молодых поток.  
В звездном сверкнул снегу  
Твой пуховый платок.

Это во мне, во мне –  
Лестница, коридор,  
Губы твои в огне,  
Радостный взор в упор.

То ли восторг мне сжал  
Сердце, то ли испуг, –  
Это холодный жар,  
Это касанье рук.

Встреча накоротке.  
Школа вдали. Дела...  
В снежном своем платке  
Как ты была мила!

Был он неповторим  
Твой и приезд, и снег...  
...Сколько промчалось зим,  
Кажется, целый век.

\* \* \*

Не бьет уже под дых, как прежде, неудача,  
Удача не пьянит под шум родных берез.



Глухим я, видно, стал – почти не слышу плача,  
Слепым я, видно, стал – не вижу чьих-то слез.

И время, и года сожгли былые страсти.  
И что с того, что вновь я на себя сержусь,  
Что громко не кричу немилосердной власти  
О том, как из-под ног у нас уходит Русь.

Нет, не земля уходит и не реки,  
И не простор страны, от зимней стужи сед,  
А то, что испокон держалось в человеке  
Как символ и любви, и дружбы, и побед.

\* \* \*

Вот и последнее тает тепло,  
Тополь-то как нарядился!  
Солнечный лучик упал на стекло  
И о дождевку разбился.

Значит, недолго уже до зимы.  
Чудится: в жаркой погоне  
Скачут вдоль алых рябин хохломы  
Вновь городецкие кони.

Снова под грай суматошных грачей  
На сквозняках перелеска  
Вспыхнуло столько прощальных свечей,  
Столько янтарного блеска.

Не пропусти, поспеши, улови  
Сквозь потемневшие своды  
Эту улыбку осенней любви  
Женщины,  
жизни,  
природы...

**Евгения РИЦ**  
*Нижний Новгород*  
(№ 5, 2019)

**А ЛИСТ ПОДНИМАЛСЯ ДО НЕБА,  
А ПОСЛЕ СПУСКАЛСЯ НА НЕБО...**

\* \* \*

Идёт по мартовской воде,  
Ещё, как роза, нераскрытой,  
Невидимая лодка, где  
Лежат тяжелые раскаты,  
И запахи, и новый свет,  
И все озоновые дыры,  
И неозоновые все  
Лохмотья нынешнего мира.  
И мне её прекрасно видно,  
И у неё прекрасен вид –  
Вон в ней застенчивое быдло  
В слоистом облаке обид.  
Оно – народ-переселенец,  
Сплошной кочевник-корабел,  
И это от его коленец  
Мы не останемся у дел.

\* \* \*

Идёт потерянно сестра,  
Как будто из воды,  
А ей навстречу братец-труд,  
Такой, как все труды,  
Замёрзший, серый, ледяной  
Сиротка в ржавых башмаках,  
Селёдка в банке, и спиной  
Не чувствует свой прах,  
И запах клея, и пакет,  
И восемьдесят пятый год.  
И никогда не будет так  
От чьих-нибудь щедрот.  
Он клей момент и сей секунд,  
И магазин, а в нём  
Лежат ириски и щербет,  
Как будто под огнём.

\* \* \*

Засыпает Арктикой солёной  
 Все холодные и тёплые дома  
 А у каждого оставшегося дома  
 Лестница далёкая видна  
 Здесь в толчках и рытвинах но прежде  
 Сытая и гладкая как конь  
 Где-то проступает но не брезжит  
 Сквозь неё открытая ладонь.  
 Рассеяньем северным согретый  
 Весь в сквозных и замкнутых огнях  
 Соберётся Нижний над пакетом  
 С верхней частью скорченной в синяк.  
 Вот и догадайся кто здесь гладок  
 А точнее что или кого  
 Извлекает холод из догадок  
 И прессует жёстко в существо.

\* \* \*

Она касается с дневной  
 Стремянки  
 Полярной ночи наливной.  
 Кругом палёные останки  
 Перебирает летний зной.  
 Малярка с круглыми ногами  
 И растворённой спиной  
 Стоит, и капли сонным градом  
 Двускатных крыш бегут не рядом,  
 Но рваной линией кривой.  
 Мы тоже были сапогами  
 По локоть в глине и золе,  
 Небесну славу пригибали  
 К исчёрканной, покоцанной земле.  
 Бежит царापина на лаке,  
 И пианино, как в бараке,  
 Визжит: «Оле-оле-алле».  
 Её ладонь сжимает кисти  
 На самом деле, будто в жизни.  
 Будь это Брейгель или Бог,  
 Здесь всё давно бы растворилось,  
 И на прощание замок  
 Шершаво скрипнул, и на милость  
 Какой-нибудь бы отблеск лёг.

\* \* \*

Лист смят и пропитан водами,  
 Он весь проращён орденами  
 И кеглями мелким и крупным  
 И вырастит слово из слов

Витиеватым цунами  
Над ворохом павших голов,  
Что верили правде газетной  
На вертеле сетки офсетной  
Лукавой прозрачной Агафьи  
И литер из древних песков  
На вялых таёжных тропинках  
В киосках печати и гнева  
Сосали одну аскорбинку  
О разных и многих скорбях,  
А лист поднимался до неба,  
А после спускался на небо,  
Как зёрна дурного посева  
Швыряет летучий отряд –  
Один тракторист и ударник,  
Другой гармонист и пожарник,  
И жук об опавших крылах  
Стучит на гравюрах фонарных  
Ударом дверей одинарных  
Сбивая опухших гуляк.

## Юрий РЯШЕНЦЕВ

Москва

(№ 4, 2018)

### Я ВСЕ ИСПЫТАЛ: И УПАДОК, И ДЕРЗКИЙ ПОДЪЕМ...

#### Классическая музыка

Да, вита бревис, арс, ей-богу, лонга...  
Дрожит от наслажденья перепонка  
под тяжестью классических ладов.  
И все равно: пластинка, диск иль плёнка:  
она не рвётся даже там, где тонко.  
Вот – истина, и никаких понтов.  
Затягивай, волшебная воронка!..

Мне кажется порой, что мастера  
хотели бы, чтоб некая стена  
перед ними возвышалась неприступно,  
будь это суд спецов иль вкус двора.  
Да, в мире, где есть жизнь, а есть игра,  
что-что, а нарушать канон преступно:  
ты проиграешь, и довольно крупно:  
ты будешь нищ, гоним ет сетера ...

Рассудок, помолчи! Потом, чуть позже.  
Мне нечего сказать, а лишь: – О Боже! –  
когда из тишины – то мрак, то свет.  
И время встало вдруг – чего же больше? –  
в пространстве, а в Германии иль в Польше –  
гадать ни смысла, ни желанья нет,  
а лишь – дыханья огненного след,  
а то наоборот – мороз по коже.

\* \* \*

Колеса, полозья и крылья носили меня  
по суше, по тверди.  
И, может быть, это пустая была суетня,  
нелепость, поверьте.  
На старом с безумной пружиной диване своем,  
свободный как птица,  
я все испытал: и упадок, и дерзкий подъем.  
Куда мне стремиться?

Да, жизнь оказалась длинна, хоть и не велика.  
Высок потолок мой,  
и все, что мне надо, способен я взять с потолка  
на нищий листок мой.  
Любил я – и как! Я собой оставался – и где!  
Похвал и затрещин  
мудреную вязь потолок мой таил в черед  
подтеков и трещин.  
Как мне объяснить вам, с наглядностью умной какой  
при каждом вояже,  
что Господу внятней задумчивый дерзкий покой,  
чем скорости ваши...

Задумчивый!.. Я начинаю прямой репортаж,  
при кофе, при пледе –  
о том, как я прямо с дивана вступаю в пейзаж,  
неведомый прежде.  
О, как же в нем остро дыханье болот или гор.  
Здесь дышит, наверно,  
какой-то совсем незнакомый и новый простор  
для Жюля, для Верна.

### Памяти сестры Тани

Когда-нибудь потом, когда – и сам не знаю,  
я прилечу в тот день над Охтинским мостом,  
чтоб видеть, как июнь, смеясь, подходит к маю.  
Но это не сейчас – когда-нибудь потом.  
Тогда я, появясь из старых стен вокзала  
на схлест забытых стога, подумаю с тоской,  
что тот – за рубежом, ну а того – не стало,  
а этот, хоть здоров, какой-то не такой...

Пока же у перил над серой невской бездной,  
как через восемь лет в уральском ковыле,  
порхает махаон, и это интересней  
всего, что в этот миг творится на земле.

А на земле, меж тем, увидеть можно много:  
и ночь светлее дня, и Летний сад в цвету,  
и как моя сестра, красавица от бога,  
лениво ни во что не ставит красоту,  
а говорит стихи про черный снег и ветер,  
про революционный шаг разбуженных братков.  
И Зимний там, вдали, красив, но безответен,  
молчит, как он молчал в течение двух веков.

А дальнего моста чугунная громада  
связала берега. Мост дивен и чумаз.  
Но махаон летит, и ветер Ленинграда  
не хочет унести его от детских глаз.

## Поезд Москва – Владивосток

Помнишь этот поезд на океан?  
 Русское раздолье плацкартное.  
 Десять раз – багровый рассветный туман.  
 Десять раз – огнище закатное.  
 Ты играешь сценку, будто ты пьяным-пьяна.  
 Бестия! Твои ласкаю кисти я.  
 И опасно урки ржут в проходе, у окна –  
 амнистия!

Розовый порхающий лихой лепесток  
 залетел в окошко вагонное.  
 Все, что было, – прошлое. Владивосток –  
 наша неизвестность законная.  
 Цвет воды – бутылочный, немирный, как нож,  
 с острым же и незнакомым запахом.  
 Омуты и омули Ангары, что ж,  
 были вы востоком, стали западом...

Это же конец бесконечной страны.  
 Это вам не Крым, не Сочи – это вам  
 на закате палевый отсвет волны  
 с отсветом почти фиолетовым.  
 Это жизнь у пристани, на краю,  
 жадная, бесстрашная, грешная,  
 для меня – Марсель, для тебя – Гель-Гью,  
 а для матерей – тьма кромешная.

Нам медяшкой простенькой казалась луна,  
 там, в ночной Москве, над высотками.  
 Серебром бесценным нам предстанет она  
 здесь, над океаном, над сопками...  
 Как перрон ползет к нам! Тормозим. А народ  
 Здесь особый, чую по запаху...  
 По перрону Киплинг с мощной тростью идет,  
 консультант Востока по Западу.

## В ЭВАКУАЦИИ. СТАНИЦА

### Птицеферма

Средь мелких плимутроков и леггорнов  
 вальяжны, как гвардейцы, кохинхины.  
 Откуда-то из детства звуки горна  
 летят, летят сквозь заросли рябины.  
 Трагическое место птицеферма.  
 Идёт петух, величествен и мрачен,  
 с осанкой и судьбою Олоферна:  
 топор уже отточен, час назначен.



И наблюдая за народом птичьим,  
и Тацита припомнишь, и Плутарха:  
народ ответит полным безразличьем  
на казнь высокочтимого монарха.  
Лишь пёрышко из царского наряда  
над курами летает и доньине,  
да петушок невзрачный не без яда  
толкует что-то о пустой гордыне.

### Теперь – другое

В Москве мне двор нес про любовь такое!  
И все, что под покровом, все нагое  
неугомонно проникало в сны.  
Я думал: враки!  
Но оказалось, что я жил во мраке.  
Мне дружно свиньи, козы и собаки  
доказывали правоту шпаны.

Все так и было –  
по слову Дрына, вора и дебила.  
Эпоха тыла это подтвердила:  
торжествовал порок!  
Кот – кошку Лушку,  
петух топтал несущку,  
и пинчер Джек трепал свою подружку  
не всякий день, но в предрешенный срок.

А тут  
границы Спарты,  
указкой теребя прорехи карты,  
красавица Айгюль с соседней парты  
показывала робко – глазки вниз.  
Она – и так?  
Да пусть и через годы  
она – и так?! Она, венец природы!  
Но тыл являл мне случки, после – роды.  
И кот весь март в загривок Лушку грыз.

И зверь, и птица  
блюли свое. Что ж, надо согласиться.  
Но все же это – морды. Мы же – лица!  
Я на бездетность обрекал свой род...  
Чего иного,  
а землю не собьешь с пути земного.  
Фронт убивал. Но тыл рождал нас снова.  
И продолжал земной круговорот.

**Евгений СЕМИЧЕВ**

*Новокуйбышевск, Самарская область  
(№ 3, 2017)*

**В ДУШЕ МОЕЙ СНЕЖНАЯ ТЬМА...**

\* \* \*

В небе вольные птахи  
Рассекают простор.  
В белой Божьей рубахе  
Софийский собор.

С покаянною дрожью  
На молитву встаю.  
Мне за пазухой Божьей  
Хорошо, как в раю.

В жизни брэнной и тяжкой  
До скончания лет  
Всем нам служит рубашкой  
Божий праведный свет.

На пиру и на плахе  
Русский зла не таит,  
В белой отчей рубахе  
Перед Богом стоит.

И в Господней вселенной  
Осеняют простор  
Крест нательный нетленный  
И Софийский собор.

\* \* \*

Мир отражается в слезинке  
И ощущает с небом связь.  
Слезами вымою ботинки,  
Чтоб не тащить на небо грязь.

Как старики сентиментальны:  
Чуть что, и слёзы на глазах.  
Какие постигают тайны  
Они в Божественных слезах?

Прощайте старикам капризы.  
На вас взирает, чуть дыша,  
Сквозь слёз оптические линзы  
Подслеповатая душа.

\* \* \*

Снег идёт на склоне дня.  
Он идёт ко мне.  
Снег проходит сквозь меня...  
Голова в огне.

Закипает в сердце дрожь.  
Голова в дыму.  
«Ты куда, куда идёшь?» –  
Я кричу ему.

Замерзает в горле крик:  
«Ты мне другом был!»  
Он в ответ: «Отстань, старик,  
Я тебя забыл!»

Я в смятенье: «Как же так?  
Я ещё живой?»  
Белый саван.  
Белый флаг.  
Снег над головой.

Слезы зябкие мои  
Превратил в шугу.  
Вроде зыбкой полыньи  
Вся душа в снегу.

Но не слышит он меня.  
Мне ни по себе.  
...Снег идёт на склоне дня  
По моей судьбе.

\* \* \*

Листобоем напролом  
В дом вломившись спозаранку,  
Осень за моим столом  
Стелет скатерть самобранку.

Ломит тучный каравай  
И поводит томно бровью.  
Говорит: «Отец, давай  
Выпьем за твоё здоровье!»

– За здоровье! – Я не прочь,  
Хоть глаза твои – туманы,

Но к здоровью приторочь  
Спирта полные стаканы.

Коли ты – родная мать,  
Невзирая на погоду,  
Гулевать так гулевать! –  
Разбавлять не будем воду.

На двоих с тобой вдвоём  
Каравай судьбы разделим  
И отчаянно споём  
Колыбельную метелям.

Неспроста, не задарма  
Нынче праздник в доме нашем.  
А сварливая зима  
За окошком пусть попляшет.

\* \* \*

Семинар поэтов молодых –  
Юных дней моих воспоминанье.  
Бьют меня товарищи под дых,  
Испытуя на излом дыханье.

Битым я не раз потом бывал.  
И, пройдя суровую закалку,  
Диафрагму натренировал,  
Укрепил характер и дыхалку.

Выковал в себе бойцовский дух  
И широкий непокорный выдох.  
За меня дают сегодня двух  
Стихотворцев, в драках не добытых.

Я шагаю, млечностью пыля.  
Небеса мне – скатерть-самобранка.  
За моей спиной – вся земля  
И река разбойная – Татьяна.

Где, как тать, берёт меня в полон  
Город ЭН – фамильная обитель.  
И сибирякам земной поклон  
Шлёт один его исконный житель.

Предо мной – заснеженная мгла.  
Завывает вьюга ошалело...  
...Город Омск морозом добела  
Раскалён до млечного предела.

Пролетел табун коней гнедых  
Лет моих... И вновь меня встречает

Семинар поэтов молодых  
Жадными горящими очами.

Соловьями критики поют...  
Внемля им душою нараспашку,  
Понимаю-чую: наших бьют!  
Обсуждают Тихонова Сашку.

Сашка – поэтический юнец  
Достославной песенной Сибири.  
Рядом с ним сидит его отец –  
Кулаки тяжёлые, как гири.

Отчего-то очень жутко мне,  
Если он кого-нибудь ударит.  
Хорошо, что никакой родне  
Слова не дают на семинаре!

Я шепчу: «Сашок, держись родной!  
Даже если в драке будет жарко.  
Город-Тара за твоей спиной  
И река искристая Аркарка.

И ещё – сибирская земля,  
Что природной силою питает,  
Где, небесной млечностью пыля,  
Русская поэзия ступает...».

## Ослик

*Марине Ганичевой...*

Лихо дьявол танцует чечётку.  
Мечет искры в кромешном аду.  
Я пошлю его, рыжего, к чёрту  
И другою дорогой пойду.  
Той дорогой, что всеми забыта,  
Где надрывно в лихую грозу  
Не грохочут, а плачут копыта,  
Вышибая их камня слезу.  
И пускай обо мне скажут после,  
Что он жизнь не ценил ни черта!..  
И был глуп и упрям, словно ослик,  
На себе вывозивший Христа.

## Неизвестный поэт

Вместе ели и пили,  
Схоронившись от жён.  
В вашей братской могиле  
Я себя не нашёл.

В вашем мире загробном  
Я для вас не родня.  
В мартирологе скорбном  
Нет в помине меня.

Может, лишнего выпил  
И сказал что не так?..  
Я из времени выпал,  
Как посмертный пятак.

Обо мне не жалейте.  
Я вас должен жалеть.  
Мне в похмельном бессмертье  
С вами песен не петь.

Среди без вести павших  
Погружаясь во тьму,  
Антологии ваши  
Я с собой не возьму.

## Сказ

Вот и ковёр-самолёт.  
И сапоги-сороходы.  
Только душа не поёт:  
Видно, ей мало свободы.

Пенная брага рекой.  
Мёда хмельного колода.  
А на душе непокой –  
А на хрена ей свобода?

Вот тебе меч-кладенец.  
Вот тебе небо в алмазах...  
Экий ты ухарь-купец!  
Вот навязался, зараза!

Вот тебе лыко в строку  
И самобранка-скатёрка...  
А сверх того, дураку,  
На опохмелку пятёрка.

Что же ты мух ловишь ртом?  
Что же ты медлишь с ответом?  
Али во сне золотом  
Слёзно не грезил об этом?

Глянул дурак в пустоту  
И рубанул средь пирушки:  
«За вековую мечту  
Ты мне суёшь побрякушки!

Экий ты ухарь-купец!  
Не продаётся такое!..»

...Вроде и сказу конец,  
А на душе нет покоя!

\* \* \*

Душа у меня молода  
Из хрупкого, тонкого льда.  
Когда лёд оттаёт,  
В душе расцветает  
Подснежников нежных гряда.

В душе у меня бирюза  
Прозрачная, словно слеза.  
Звенящее лето.  
И сполохи света  
Мои застилают глаза.

В душе у меня тишина.  
Душа несказанно пьяна.  
Небесная просинь.  
Бездонная осень.  
Во всём виновата она.

В душе моей снежная тьма.  
Наполнены всклень закрома.  
Сварливая печка.  
Замёрзшая речка.  
Горбатая ведьма – зима.



**Николай СИМОНОВ***Нижний Новгород*

(№ 6, 2022)

**ЧТО ДЛЯ ШТАТОВ ХОРОШО...****Египетская сила**

Куда меня по жизни не носило...  
Меня вели без компаса и карт  
Япона мать, египетская сила  
И собственный – безбашенный азарт.

Не пожелаю никому другому,  
Того, что мне встречалось на веку: –  
Я лез в огонь, нырял в глубокий омут  
И прыгал с кручи, очертя башку.

И пусть теперь я старый и болезный,  
И нету миллионов на счетах,  
Но жизнь я не считаю бесполезной,  
Ведь не знакомы мне расчёт и страх.

Но у меня – свои мечты-химеры,  
Но у меня безбашенный азарт...  
Да жаль – я не талантливей Гомера  
И не такой крутой, как Бонапарт.

Но если бы сейчас меня спросили,  
За что я приключения люблю, –  
Я вновь включу египетскую силу  
И всё к японой матери пошлю!

**Ода президенту**

Не избалован дивидендами,  
Я прожил долгие года.  
За жизнь свою пред президентами  
Не прогибался никогда.

Всегда клеймил я Борю с Мишею,  
Мной руган Брежнев и Хрущёв,  
Сейчас же стал намного тише я, –  
Скажу немного тёплых слов.

Как всё в политике напутано,  
Но говорю вам, не тая:  
Когда вся сволочь против Путина,  
То я за Путина, друзья!

Не зря Владимир Путин славится  
Могучим русским мужиком,  
Он на татами может справиться  
С любым заморским чуваком.

Он зиму всю ныряет в проруби,  
Проехал в «Ладе» полстраны,  
За то его не любят «голуби»,  
Ведь их пристрастия странны.

В хоккее играет Путин дивненько.  
Ты не гляди, что ветеран.  
Пять шайб в ворота супротивника  
Всадил Володя-капитан!

Я б взял, когда б стал главным тренером –  
Володю в сборную страны.  
Он навтыкал бы этим гендерам.  
Не сомневайтесь, пацаны!

### Что такое хорошо? Подражание Маяковскому

Байден-сын к отцу пришёл  
И вопрос отгрохал:  
«Что такое хорошо  
И что такое плохо?»

И ответил сонный Джо,  
Что лежал и охал:  
«Штаты – это хорошо!  
Раша – это плохо!»

Тут один вопрос ещё  
Задал сын-пройдоха:  
«Что для Штатов хорошо,  
А для русских плохо?»

И сказал отец: «Ужо,  
В новую эпоху  
Сын, для Штатов всё гожо,  
Что для русских плохо.

Можно рать толкнуть на рать,  
Бомбами погрохать.  
Можно клясться, можно врать,  
Сделав русским плохо.

Я кричал всегда, везде  
И сегодня крикнул:  
Нужно мир держать в узде,  
Чтоб никто не пикнул.

Что нам НАТО, что ООН?  
Под шарманку нашу,  
Пусть клеймят со всех сторон  
Эту злую Рашу.

Мы диктуем без препон  
Волю всем Европам.  
Будем мы со всех сторон  
Помогать укропам.

Пусть не кончатся у них  
Бомбы и ракеты,  
А что бьют они своих,  
Не гляди на это.

Можно, судя по всему,  
Без чужой придирки,  
Язву, оспу и чуму  
Вырастить в пробирке

После по ветру пустить  
К тем, кто против наших.  
Ведь за что-то надо мстить  
Этой самой Раше».

В мире нынче смело врут,  
И всё время ввали,  
Так, что места нету тут  
Правде и морали.

Хантер радостный пошёл,  
Знает этот «кроха»:  
Чтобы было хорошо,  
Надо делать плохо!

## Волга и Ока

Много лет я с моста люблюсь,  
Как втекают, светлы, легки,  
В Волгу искристо-голубую  
Золотистые воды Оки.

И почти через всю Россию  
Реки катят своё добро:  
Волны окские – золотые,  
Волны волжские – серебро.

Из-под Муром и Рязани,  
Ярославля и Костромы,  
Эти волны, текут, как сказанья,  
Их, как строки, читаем мы.

Если пасмурный день бывает,  
Или с дождичком, или – без,  
Реки сразу цвета меняют,  
Отразив полумрак небес

Скептик скажет – и вся недолга,  
Не подумавши, свысока:  
«Ну и серая эта Волга,  
Ну и рыжая эта Ока».

Я скажу: «Ты не прав, вития!  
Твоё зрение не остро:  
Волны окские – золотые,  
Волны волжские – серебро!»

**Юрий УВАРОВ***Москва*

(№ 3, 2019)

**Заморозки***Юрию Адрианову*

Это ли возраст, которого ждали,  
Это ли время, которое вот  
За поворотом, на землю спадая,  
Желтой листвою дорогу скребет.

Что тебе толку задеть за живое?..  
Над лесосекой синеет дымок,  
Тяги дыхание пороховое  
Сизые перья роняет у ног.

Все разошлись.  
Травяной погремушкой  
Брякнул шиповник.  
В кустах у реки  
Кто-то крадется и держит на мушке  
Целое небо  
И взводит курки.

## Маргарита ФИНЮКОВА

*Нижний Новгород*  
(№ 3, 2014)

### Перелёт-травы

*Ее ищут для счастья и удачи,  
в ночь на Иванов день: цветок  
радужный, огненный и перепар-  
хивает мотыльчком...*

Владимир Даль

В тучных росах юбки намочить,  
Вскинуть рукава.  
Где-то тут, в Ивановой ночи,  
Перелёт-травы.

Посреди некошенных лугов,  
В звёздном терему,  
До зелёных огненных кругов  
Всматриваться в тьму.

Вон – мелькнула! – жарким мотыльком,  
Угольком в печи,  
Самоцветным тонким перстеньком,  
Лепестком свечи.

Вот теперь – бежать за ней, бежать –  
Озеро, кусты! –  
В ежевичных кущах оставлять  
Платя лоскуты,

Задохнуться, в чёрную траву,  
Обессилев, сесть,  
И потом весь век, что проживу,  
Знать, что счастье – есть!

## Игорь ЧУРДАЛЕВ

*Нижний Новгород*

(№ 5, 2020)

### ...ОТКРЫЛСЯ СВЕТ, ПРИНЯВ МЕНЯ НАЗАД

#### Бойцовский клуб

##### 1

У истины – никто не фаворит.  
 Умней Спинозы и тупей гориллы,  
 все жаждали свободы говорить.  
 И нынче разом все заговорили.  
 Не речь, но вопли к небу вознеслись,  
 в которых не понять,  
 где ложь, где правда.  
 И нечленораздельный гвалт повис  
 над миром,  
 точно грохот камнепада.  
 Тебя не слышат – и не слышишь ты,  
 лишь рты  
 распяты криком злобы, зримы.  
 По случаю повальной глухоты  
 слова мертвы,  
 и внятны только взрывы.  
 Зато юрод любой себя царем  
 свободен объявить без прений,  
 ибо,  
 он сам себе Гомер и Цицерон,  
 безвучно ртом зевающий, как рыба.  
 Прощайте, строфы.  
 Стайка рифм – прости.  
 И не прибавить к этому «до встречи».  
 Прощай поэт и здравствуй тролль сети –  
 ты победил и встал над прахом речи.

##### 2

Иногда просто хочется выплеснуть зло  
 за борт, в жижу, в которой увязло весло,  
 как в гудроне.  
 А может, рука не крепка.  
 Но похоже, не сделать уже ни гребка  
 в этом гребаном море по имени ложь,  
 где к добру, как ни тужься, а не догребешь.



Видно, множеству лузеров не повезло  
и они утешаются, выплеснув зло,  
в эту гущу, которую впору пилить,  
в это море, в котором самим же и плыть.

## 3

Если ты одурачен, хотя не глуп,  
если внешне – лед, а душа горит,  
разыщи наш тайный бойцовский клуб,  
о котором вслух нельзя говорить.  
Оголи нутро, не живи, терпя.  
Изувечь другого, он сам такой –  
или ты его, или он тебя.  
И настанет в душах ваших покой,  
нисходящий музыкой высших сфер.  
Там всегда спокойно – на то и верх.  
А пока в тебе отдыхает зверь,  
поживи немного как человек.  
Это верно, мир твой жесток и груб,  
сколько ни умиляйся на образа.  
Но зато ты нашел свой бойцовский клуб.  
Жаль, об этом сказать никому нельзя.

## Pin-up

О злом забудь, о добром вспоминай.  
На счастье, память –  
инструмент не точный.

Блондинки, в целом, жанр не мой, но май,  
луна и берег – всё сошлось отлично.  
Креветки, брют...  
Подробностей опричь,  
но,  
пейзаж смотрелся точно китч лубочный.

Я был ему подстать.  
В сплошной фирме –  
родной, а не какой-нибудь паленой.  
И как влитой сидел тогда на мне  
Levis 501, слегка пиленный.

Блондинка...  
яркой юностью слепя,  
исчадьё сленга, колы и попкорна,  
податлива, но не скажу покорна,  
скорей придурковата, чем глупа –  
жила *по кайфу, клёво и прикольно*.

Журчала и звенела, как ручей,  
и не изображала недотроги.

Как говорится, ноги от ушей.  
Хотя, ушей не помню – только ноги.

В густом загаре, локонов темней,  
преследуема взглядами парней,  
плейбоев провоцируя на смелость,  
цвела она –  
и было все при ней.  
Чуть волосы темнели у корней,  
но кто заметит этакую мелочь.

Теперь об этом странно рассказать,  
ведь та блондинка – ровно жизнь назад  
развевалась, как дымом ставший порох.  
Невежда должен на себя пенять,  
безвкусица, казарменный рип-ур,  
удел его, а сам он лох и олух.

Но я умнел.  
Не разом, по чуть-чуть.  
Оттачивал рассудком стрелы чувств,  
развевая мороки, как пепел,  
к седым летам вполне установив,  
где истина, где глупость и наив.  
Я понял всё.  
Но счастлив больше не был.

### Куплеты Фауста

Я душою слаб и грешен.  
Сгинет в яме земляной  
Маргарита, Грета, Гретхен –  
жизнь, загубленная мной.  
Пентаграмма в тайных метках  
разверзает свой портал.  
Пребывает не из мелких  
бес – и ходит по пятам.  
Похотливый, алчный, потный,  
скользкий, точно суета  
всей паскудной преисподней,  
для которой мы – врата.  
Я не сетую, не ною,  
ад и сам попал в впросак.  
Пропаду и черт со мною –  
понимайте так и сяк.  
Но не всё столь однобоко,  
плоско, просто, напрямик.  
Ровно столь же и от Бога  
исчезает в этот миг.  
Даже будь стократно злее  
зло, а все же меж людьми,  
слава Богу, зеленеет,  
Древо жизни, черт возьми!

До поры не говорите  
ей о том, что после ждет,  
передайте Маргарите  
что уже бреду сквозь дождь,  
к ней – сквозь рынок придорожный,  
сквозь его кликуш враньё –  
и в руке моей продрогшей  
мокнет роза для неё.

## Райцентр

С гудрона не подъять пяты –  
кроссовки будто бы по пуду.  
Герой не ведает пути,  
но ловит, все-таки, попутку.  
Он путает,  
где миф, где плоть,  
где звук живой, где только буква,  
и тихо утекает прочь  
из сериалов и фейсбука.  
Он помнит старый свой рецепт –  
когда тоска достанет очень,  
рвануть  
в какой-нибудь райцентр,  
где гуси ходят вдоль обочин,  
и много живности другой  
потешной, как в бродячем цирке,  
где дремлет лошадь под дугой  
и лают псы на мотоциклы.  
Там девы плавны,  
как ладьи,  
и сложены вполне по-русски,  
так что на уровне груди  
вот-вот полопаются блузки.  
Там люд похмельный гоношит  
в сельпо –  
теперь торговом центре,  
восставшем третьей средь вершин  
администрации и церкви.  
Пусть явь дремотна и скудна,  
но это жизнь, а не модели  
и не подобия –  
она  
суть такова на самом деле.  
Стога, бурьяны вдоль межей  
и дождь, пролившийся над рощей,  
не из эфирных миражей,  
но постигаемы на ощупь.  
Здесь под героев не косят,  
с Петрова дня готова сани,  
реальны, точно самосад  
и самогон –

и люди сами.  
А наш тоскующий турист  
комфортно едет к дому – то есть,  
обратный путь не столь тернист,  
поскольку подрулил автобус.  
Померкла спесь и лоск облез,  
и лютик нацепил на лацкан.  
Но не выносит ломки без  
инъекции галлюцинаций.  
Свой комп и телек на авось  
зажжет –  
душа не стерпит дольше –  
и канет в них, не смыв навоз  
с извилин стершихся  
подошвы.

## Жизнь

Лет двадцать я об этом человеке  
не слышал ни полслова,  
ничего.  
А все же вспоминал о нем порой,  
с чего – не весть.  
Мы не были дружны,  
лишь бегло и поверхностно знакомы.  
Раз несколько пересекались вскользь  
на суетных тусовках полусвета,  
да как-то пили вместе пиво – в мае,  
на пристанях спасаясь от жары.  
Меж нами точно не было приязни,  
но явно тлел взаимный интерес,  
ревнивый и недобрый, точно мы  
на роль одну в провинциальном театре  
претендовали...

Плотная, как студень,  
врезаемая бритвами винта,  
пред нами неумная вода  
влекла к низовьям несколько посуды.  
Простор высот блистал.  
Река жила  
обыденнее – и вдали и близко,  
в виду кормы, где шкипера жена  
постиранное вешала бельишко,  
где рестораций голытьбе милей  
за то сдвигать пластмассовые чарки,  
что к нам с незамерзающих морей  
опять вернулись взбалмошные чайки.

В те годы бомжевало полстраны,  
как бы ко дну идущей от пробоин.  
И в трюме было место нам обоим,  
а в шлюпки села свита Сатаны.

Мой собеседник метил отбывать  
на ПМЖ в Канаду или Штаты,  
уже не помню...  
С этим и пропал  
навек – с загромождённых бытом палуб,  
на коих я остался мельтешить,  
насвистывая бодрый «Wind of Change»  
от Scorpions, тогда ещё не дряхлых.

Но изредка знакомец мой всплывал  
в сознании – как будто некий спор  
меж нами не был кончен.  
Я при этом  
наглядно представлял его – у дома  
с достатком средним, с членами семьи,  
лопочущими на чужом наречье.  
И, мнясь мне мельком, он старел по мере  
старенья моего, седел, обрюзг,  
да, кажется, завел торговый бизнес  
в каком-то захолустном городке.

Недавно – и случайно – я узнал,  
что двадцать лет назад его не стало  
в нелепом ДТП под Пермью, что ли...  
Короче, он не далеко уехал.  
И призрачная жизнь его была  
не более, чем странною игрой  
неведеньем обманутых фантазий.

А все-таки, она была. Была.  
Текла, как воды, то едва, то ходко.  
Пусть лишь внутри чужой судьбы плыла  
её насквозь придуманная лодка.  
Так жизнь любая, как ни будь долга,  
дробится в отраженьях на просторе,  
где «Я» свои теряет берега,  
незнамо где...  
или под Пермью, что ли.

## Mea culpa

Из чувств, что тобою как порох и спирт сожжены,  
в конце выживает одно только чувство вины,  
не жгучей уже, остывающей вместе с душою.  
Среди фейерверков пылающих зла и добра  
оно несгораемо в принципе, словно зола,  
на поле, где тешились пиротехническим шоу.  
Не грея, но блёстко оно прогорело дотла –  
и в этом вина, что душе не хватило тепла  
для тех, кто любили её, берегли, выручали.  
Но поздно скулить им вдогонку: простите меня,  
друзья и подруги, ушедшая к Богу родня.  
Осталось искать искупления в острой печали.

Хранить её, словно обет – и в боях и в пирах,  
нести её бережно и осторожно, как прах  
всего, что угасло, что не согревая блестело.  
Вот так, ни на миг передышки не притормозив,  
валун одиночества на гору катит Сизиф,  
без жалоб, поскольку привычка – великое дело.

## Experience

Я менее минуты пробыл вне –  
и возвратился, странно улыбаясь:  
не конвульсивно, но светло, спокойно,  
как бы вполне осознанно – настолько,  
что даже дама-реаниматолог,  
вернувшая меня таким разрядом,  
что от груди полдня несло палёным,  
спросила без иронии –  
– Что видел?  
Но я не видел ровно ничего,  
ни тьмы, ни света, ни теней в туннеле,  
ни дайджеста зазря пропавших лет,  
а канул в абсолютное Ничто –  
такой и мнится полная свобода  
душе, способной быть или не быть.  
Стоял октябрь, кристальный и бездонный.  
Тем утром с неба рухнул ранний снег  
и воздух тёк в меня, как мёд студёный,  
а слаще ничего под небом нет.  
Без лишних черт и тайн и линий к спектру  
открылся свет, приняв меня назад.  
Есть многое, Гораций, что не к спеху  
узнать – как мест, куда не опоздать.  
А здесь – нам жить наперекор летам,  
покуда нас до обуха не сточат.  
Лишь грустное лицо моё не хочет  
терять улыбки – обретенной там.

## Евгений ЭРАСТОВ

*Нижний Новгород*

(№ 4, 2019)

### ДУШОЮ БОЖЬИ, А ТЕЛОМ – КНЯЖЬИ...

\* \* \*

В углу мире, где царствует случай,  
Где сплошные прорехи в судьбе,  
Эта странная сила созвучий  
Почему-то нас тянет к себе.

Рифма сладкая тянет магнитом,  
Как стальные опилочки, нас.  
Видно, тайна какая-то скрыта  
В сочетании звуков и фраз.

Как загадочно ты, мирозданье!  
Плеск леща, соловья щебетанье.  
И себе задаю я вопрос –  
Почему же Святое Писанье  
Без мучительных рифм обошлось?

### Русский демон

С той поры, как расстрел заменили  
Жуткой каторгой, ссылкой глухой,  
Каторжане его заманили  
Русской песней – бесслезной, лихой.

Оскорблен, и унижен, и злобен,  
Он ночами сидел у свечи.  
Был мятежному духу подобен  
В ледяной петербургской ночи.

Не рассказ, не роман и не повесть,  
А больная, усталая плоть.  
Только Совесть, Вселенская Совесть  
И к кресту пригвожденный Господь.

Только приступы, только невроты.  
Психопата стальная рука.



Проститутки священные слезы.  
Раздвоенье души игрока.

Ростовщицы коварные сети.  
Бандюганов кривые ножи.  
...Почему только он не заметил  
Васильки, что синеют во ржи?

\* \* \*

Я книгу взял на озеро. Она  
В моем пакете так и провалялась.  
Виной тому – сирень и бузина,  
Жасмин цветущий, и такая малость,

Как длинная болотная трава,  
Названия которой я не знаю.  
К тому причастна неба синева  
И облака, ребристые по краю.

И предо мной предстала жизнь моя,  
Что прожита уж явно на две трети.  
Пусть не раскрыта тайна бытия,  
Мне кажется, не зря я жил на свете.

Гражданский кодекс рыжих муравьев  
Я соблюдал, я был одним из прочих  
Упорных собирателей основ,  
Родного языка чернорабочих.

Привитый от наносной чепухи,  
Журнальной зарифмованной заразы,  
Я был уверен, что мои стихи  
Поймут и лягушонок пучеглазый,

И ящерка, и юркий плавунец,  
Притихший в ожидании рассвета.  
...Я был не худший на дуде игрец!  
Пускай их примет на худой конец  
Хоть мусорная яма интернета.

\* \* \*

Портрет Менделеева я прибивал  
К стене в кабинете химическом. Смело  
Стучал по гвоздям. Я давно понимал,  
Что главное в жизни – серьезное дело.

Там уксусом пахло, и ржавый карниз  
Скрипел от молочного школьного счастья.  
И видя, как падают гвоздики вниз,  
Смеялась всю сексапильная Настя.

Стучал, не жалея ни стен и ни рук.  
 В столовой варилась противная манка,  
 Дешевым портвейном пропах военрук,  
 И «Красной Москвой» – директриса-тиранка.

Их нет уже с нами. Божественный Свет  
 К себе обратил их заблудшие души.  
 Хотел бы вернуться я в тот кабинет?  
 Вопрос на засыпку. Наверное, нет,  
 Боюсь я идиллию эту нарушить.

Пусть уксус останется, и водород,  
 И Дмитрий Иванович на старой картинке.  
 Все кончится скоро, и Брежнев умрет.  
 И граждан поглотят оптовые рынки.

Когда ж, через несколько рваных годов,  
 Посыпятся с башен багряные стяги,  
 Я вспомню вожатую, клич «Будь готов!»  
 ...Смешно, но остался я верен присяге.

\* \* \*

В Шпандау, крепости ребристой,  
 Я на сухой траве лежал,  
 И надо мною воздух чистый  
 Слегка слоился и дрожал.

Молчали каменные плиты.  
 И Богу задал я вопрос:  
 «Mein Vater, sagen Sie mir, bitte,  
 Давно ли горе началось?»

И протестантский Бог ответил,  
 Что в войнах вовсе нет вреда,  
 Что обязательны на свете  
 Страданье, горе и беда.

Что если б села не горели  
 И не взрывали бы метро,  
 Тогда бы люди не сумели  
 Понять, где зло, а где добро.

А с неба лился чистый, вечный,  
 Мучительный, слоистый свет.  
 Он был лучистый, бесконечный,  
 А горя в этой дали млечной  
 Казалось, не было и нет.

О смертном зная приговоре,  
 Я все ж не плачу, а живу.  
 ...Mein liebe Gott, возьмите горе!  
 Сухую дайте мне траву!

\* \* \*

Всех выскочек и ловких парвеню,  
Торгующих свининой алексашек,  
Орловых гришек, горничных агашек  
Из русской тьмы не вырвать на корню.

До трапезы вольно им почивать  
И ставить в ряд услужливых лефортов,  
Покуда будет пить и пировать  
Усатый черт в заляпанных ботфортах.

Шуты, шутихи, карлики, цари –  
Они все вместе в общей грязной своре  
О смертном и не знают приговоре –  
Они ничтожны, что ни говори.

Как тошно здесь! И видно за версту  
Притихшую на листике козявку.  
Надев очки, она читает Кафку,  
И чупа-чупс шевелится во рту.

Как ты противен, пошлый маскарад!  
Свиные морды, гадкие корыта.  
И только затонувший Китеж-град  
Еще тревожит тайной нераскрытой.

\* \* \*

В телевизор, на гадкую свору,  
Я не брошу взыскательный взгляд.  
Я пойду на Кудыкину гору,  
Где Макар не гоняет телят.

То, что свора увидеть не в силах,  
Я увижу с высокой горы –  
Тлеют кости в забытых могилах,  
На болотах пищат комары.

Голубиная пишется книга,  
Спасской башни скрипят ворота.  
О засилье монгольского ига  
Размышляет Иван Калита.

Всех московских царей оппоненты,  
Порождение сорной травы,  
Все противней пищат диссиденты –  
Письма подлые шлют из Литвы.

Окопались, скоты, на чужбине!  
Но измены им Бог не простит.  
О спесивой и подлой Марине  
Молодой Самозванец грустит.

Об Отчизне своей незалежной  
 Размышляет Мазепа седой,  
 И свистит соловей безмятежный  
 Над великой и малой водой.

Разночинцы при всякой погоде,  
 Прозябая в постылом труде,  
 Постоянно твердят о народе,  
 О бескрайней народной беде.

В гулких ямах сопят вурдалаки,  
 Околдованы трепетным сном,  
 И тревожные тайные знаки  
 Проступают на небе немом.

В многих знаниях – много печали.  
 Мысль поэта подобна стрижу.  
 Но о том, что увидел я дале,  
 Я уже никому не скажу.

\* \* \*

Душою Божьи, а телом – княжьи.  
 Здесь бездорожье, одноэтажье.

Штакетник хилый, петух понурый,  
 Кривые вилы, худые куры.

Рыбачья леска да плоскодонка.  
 Гниет подвеска у «жигуленка».

В раздольном поле одна полова.  
 У тети Поли мычит корова.

Нас не погубят американцы.  
 В заштатном клубе сегодня танцы.

Стопою твердой идем мы к рынку.  
 Засунь-ка, гордый, подальше финку.

Мы телом княжьи, душою – Божьи.  
 Одноэтажье и бездорожье.

\* \* \*

Повезло мне – тюремных обид  
 Я не знал, и гулял без конвоя.  
 Синий плат над моей головою  
 На квадратики не был разбит.

Ты меня миновала, беда,  
 Злополучный удел доходяги.

Как светла облаков череда!  
Как безвылазны наши овраги!

Счастлив тем, что в барыжьем краю  
За полушку не продал таланта  
И настраивал лиру свою  
На болотной травы эсперанто.

Плавунцов бессловесный язык  
Был, как русский язык, мне понятен,  
И, цветов полевых ученик,  
Я носил свой небесный дневник  
Весь в закладках от солнечных пятен.

Я хлебнул из кастальской струи –  
Ледяной, перевозданной, проточной.  
Я везунчиком был, это точно!  
Так растите – светлы, непорочны,  
Полнозвучные строки мои.

\* \* \*

Я деньги на книжку просил у него.  
А он на меня, как баран на ворота  
Смотрел, был не в силах понять ничего,  
И чувствовал я неприятное что-то.

Я помню его опечаленный вздох  
И выдох, и щечек бордовые пятна.  
И был для него я не лузер, не лох,  
А некий игрок, чья игра непонятна.

И был для него я заштатный хитрец,  
Солидных людей разводящий на бабки,  
Такой же, как он, прохиндей-удалец,  
Для виду одетый в плебейские тряпки.

«Конечно, культура нам тоже нужна, –  
Промямлил он вяло, – но все ж, извините  
(Зачем ты пришел к нам, какого рожна?!),  
Так трудно с деньгами... А впрочем, звоните...»

Звоните, звоните... Стальные стрижи  
Безмозглое небо стригут спозаранку,  
И в сердце втыкают стальные ножи.  
А много ли надо сегодня подранку?

Среди узаконенной русской трухи  
Живешь абы как, не скрывая опаски,  
Не в силах отвлечься от той чепухи,  
Что в книжках должны появляться стихи  
И пахнуть всегда типографскою краской!

Я помню, коллега мой старший, в кремле,  
Над Волгой замерзшей (а впрочем, звоните!),  
Немного смущаясь, показывал мне  
На строчки свои, что блестят на граните.

Под снегом белел отрешенно обком.  
Снежинки кружились и падали наземь.  
И все мне казалось – меж тем стариком  
И этими строчками не было связи.

Он умер недавно. Я тоже умру.  
О, как далеко нам до славы народной!  
Но как притягательна жизнь на миру!  
Как жалко дрожали на зимнем ветру  
Тесемки от шапки его старомодной!

Ау, гонорары! Не стоит тужить,  
Что канули в вечность багряные флаги.  
Ведь жизнь не закончилась! Можно прожить  
Без слов на граните, без книжной бодяги.

За печкой трещит колченогий сверчок.  
И что ему мир нуворишей и выжиг?  
Он песнею счастлив своей, дурачок,  
И нет ему дела до спонсорских книжек.

**Павел БАСИНСКИЙ**

Москва  
(№ 1, 2022)

## АННА – ДОЧЬ ПУШКИНА\*

У Анны Карениной нет одного прототипа, как и почти у всех главных героев романа.

Единственный персонаж, у которого был один отчетливый прототип, – это Константин Левин, в которого Толстой вдохнул свою душу, свои мысли и сомнения, факты своей биографии: нелюбовь к городу, любовь к деревне, опыт ведения сельского хозяйства, сватовство к Софье Берс, венчание с ней в кремлевской церкви, рождение детей, ссоры и примирения, начало «духовного переворота».

А вот между Софьей Берс и Екатериной (Кити) Щербацкой уже нельзя ставить прямого знака равенства, как иногда делают. В жизни Толстого была другая Кити – дочь его любимого поэта Ф.И. Тютчева Екатерина Тютчева, на которой Толстой едва не женился. Кстати, она так и не вышла замуж, служила фрейлиной при императрице Марии Александровне, супруге Александра II, а конец жизни провела в своем имении Варварино, где создала школу для крестьянских детей и построила ветеринарную лечебницу.

Правовед и историк Б.Н. Чичерин писал о ней, вспоминая дом ее тетки Дарьи Сушковой, где Катя жила в 50-е годы: «Кити Тютчева очень оживила салон Сушковых. Она была девушкой замечательного ума и образования, у нее была приятная наружность, живые черные глаза; при твердом уме она была сдержанного характера, но не обладала тою женскою грацией, которая служит притягательною силою для мужчин. А так как требования ее естественно были высоки, то ей трудно было найти себе пару...»

Но вернемся к Анне Карениной.

Широко известно, что внешний образ Анны Карениной был подсказан Толстому обликом старшей дочери Пушкина Марии Александровны Гартунг. В черновых рукописях главная героиня однажды называется Пушкиной. Но очевидно, что в окончательном варианте такого быть не могло. Просто во время написания романа Толстой держал в голове образ этой красивой женщины, с которой познакомился в Туле в 1868 году на званом вечере в доме генерала Тулубьева.

Вот как вспоминала об этом сестра С.А. Толстой Т.А. Кузминская:

«Мы сидели за изящно убраным чайным столом. Светский улей уже зажуужал... когда дверь из передней отворилась, и вошла незнако-

<sup>1</sup> Глава из книги Павла Басинского «Подлинная история Анны Карениной».



мая дама в черном кружевном платье. Ее легкая походка легко несла ее довольно полную, но прямую и изящную фигуру.

Меня познакомили с ней. Лев Николаевич еще сидел за столом. Я видела, как он пристально разглядывал ее.

– Кто это? – спросил он, подходя ко мне.

– М-ме Гартунг, дочь поэта Пушкина.

– Да-а, – протянул он, – теперь я понимаю... Ты посмотри, какие у нее арабские завитки на затылке. Удивительно породистые».

Сочетание эпитетов «арабские» и «породистые» невольно вызывает ассоциацию не только с поэтом Пушкиным, но и с арабской породой лошадей. Лошади играют в романе важную роль. В знаменитой сцене скачек, где Вронский ломает хребет Фру-Фру, есть прозрачный намек, что в этот момент он ломает и жизнь Анны. Ее реакция на падение Вронского, которую замечают все вокруг, в том числе и ее муж, приводят к тому, что по дороге домой в карете она признается ему, что она – любовница Вронского. С этого момента развал семьи неминуем. Это, как сказали бы сегодня, «точка невозврата». Анна не будет скрывать своей связи с Вронским ни от мужа, ни от света. По сути, она кладет голову на плаху.

Вообще сравнение женщины с лошадьёю было в духе Толстого. Так, он мог шутя сказать жене и свояченице: «Если бы вы были лошади, то на заводе дорого бы дали за такую пару; вы удивительно паристы, Соня и Таня». Но сестры на него не обижались. В XIX веке лошади ценились очень дорого, особенно скаковые. Они могли стоить несколько тысяч. Так что это был своего рода грубый, но комплимент.

На вечере у Тулубьева Толстой познакомился с Марией Гартунг и о чем-то говорил с ней за чайным столом. Софьи Андреевны на вечере не было – дети болели скарлатиной. Когда Толстой и его свояченица ехали домой, «им было весело». Кузминская полушутя сказала: «Ты знаешь, Соня непременно приревновала бы тебя к Гартунг». «А ты бы Сашу (муж Кузминской. – П. Б.) приревновала?» – спросил он. «Непременно», – ответила она.

Мария Александровна была не просто красавицей. Она сочетала в своей внешности черты матери и отца. Это придавало всему ее облику что-то особенное, выделявшее ее на фоне других светских красавиц. Ну и вообще дочь Пушкина не могла не заинтересовать Толстого, как в свое время заинтересовала его дочь Тютчева – Кити. Если бы Софья Андреевна с ее ревнивым характером присутствовала при разговоре ее мужа с Гартунг, которого никто не слышал, но все видели, это могло бы нанести ей душевную рану.

Однажды Толстой сказал жене: «Ты ревнуешь меня там, где для этого нет повода, и не замечаешь того, где стоило бы ревновать».

В 1868 году роман «Анна Каренина» еще даже не был задуман. В это время Толстой заканчивает «Войну и мир». К «Анне Карениной» он приступит спустя пять лет. Именно в этом романе ревность женщины играет важную роль. Кити Щербацкая дважды испытывает жгучую ревность. В начале романа, когда Вронский на балу «изменяет» ей с Анной, и в конце, когда ее муж Левин встречается с Карениной и тоже оказывается во власти ее чар. Он так очарован ею, что не может скрыть это от жены. У него сияют глаза. Происходит семейный скандал, который усугубляется еще и тем, что Левин встречается с Анной, когда на руках Кити маленький ребенок и она не может выезжать в свет. Толстой знакомится с Гартунг, когда «невыездной» была Софья Андреевна Толстая.

Старшая дочь Пушкина, по-видимому, произвела на Толстого сильное впечатление. Спустя пять лет он вспомнил ее внешность до мельчайших подробностей.

Анна была не в лиловом, как того непременно хотела Кити, а в черном, низко срезанном бархатном платье, открывавшем ее точеные, как старой слоновой кости, полные плечи и грудь и округлые руки с тонкою крошечною кистью. Все платье было обшито венецианским гипюром. На голове у нее, в черных волосах, своих без примеси, была маленькая гирлянда анютиных глазок и такая же на черной ленте пояса между белыми кружевами. Прическа ее была незаметна. Заметны были только, украшая ее, эти своевольные короткие колечки курчавых волос, всегда выбивавшиеся на затылке и висках. На точеной крепкой шее была нитка жемчугу.

Черное платье... Полнота... Курчавые волосы... И наконец крошечные кисти... Правнучка Пушкина С.П. Вельяминова вспоминала о Марии Гартунг: «До глубокой старости она очень внимательно относилась к своей внешности: изящно одевалась, следила за красотой рук... Тетя Маша обладала какой-то торжественной красотой. У нее были звонкий, молодой голос, легкая походка, маленькие руки».

На маленьких руках и легкой походке Анны Толстой фокусирует внимание читателей в первой сцене встречи Вронского и Карениной в вагоне поезда.

Он пожал маленькую ему поданную руку... Она вышла быстрою походкой, так странно легко носившею ее довольно полное тело.

Сравните у Кузминской: «Ее легкая походка легко несла ее довольно полную, но прямую и изящную фигуру».

И еще жемчуг, и анютины глазки, которыми украсила себя Анна, отправляясь на бал... Мы не знаем подробностей туалета Гартунг в тот вечер, когда с ней познакомился Толстой. Но и жемчуг «на точеной крепкой шее», и анютины глазки в черных с завитками волосах мы видим на самом известном портрете Марии Александровны начала 60-х годов кисти И.К. Макарова, который хранится в Государственном музее Л.Н. Толстого в Москве. (Это был жемчуг, который передала ей мать – Наталья Николаевна Пушкина.) Таких случайных совпадений просто не бывает.

Мария Гартунг была первенцем Александра Сергеевича и Натальи Николаевны. Она родилась 19 мая 1832 года в Санкт-Петербурге на Фурштадтской улице в доме Алымовых, где Пушкины жили с мая по декабрь 1832 года. Ее крестными были дед Сергей Львович Пушкин, бабушка Наталья Ивановна Гончарова, прадед Афанасий Николаевич Гончаров и тетка Н.Н. Пушкиной – Екатерина Ивановна Загряжская. Имя дочери Пушкины дали в честь покойной бабки поэта Марии Алексеевны Ганнибал.

Пушкин обожал свою старшую дочь. Из всех детей она больше всего была похожа на него, и это, видимо, было заметно сразу после ее рождения. Пушкин писал В.Ф. Вяземской: «...представьте себе, что жена моя имела неловкость разрешиться маленькой литографией с моей особы».

Во время отъездов в письмах жене он часто упоминал свою дочь: «Говорит ли Маша? Ходит ли? Что зубки?»; «Что моя беззубая Пускина?»; «А Маша-то? что ее золотуха?»; «Помнит ли меня Маша, и нет ли у ней новых затей?»; «Прощай, душа; целую ручку у Марьи Александровны и прошу ее быть моею заступницею у тебя».

В письме теще Н.И. Гончаровой он шутил: «Маша просится на бал и говорит, что она танцевать уже выучилась у собачек. Видите, как у нас скоро спеют; того и гляди будет невеста».

В детстве Маша отличалась своенравным характером, участвовала в мальчишеских играх братьев, дралась с ними. Независимый характер Марии Александровны ее близкие отмечали и потом.

Отец погиб на дуэли, когда Маше было четыре года, но она помнила его и всю жизнь хранила светлую память о нем.

Ее собственная судьба поначалу складывалась счастливо. Она получила хорошее домашнее воспитание, окончила Екатерининский институт благородных девиц, затем, как и Кити Тютчева, служила фрейлиной при императрице Марии Александровне. В 1860 году вышла замуж за офицера лейб-гвардии конного полка Леонида Николаевича Гартунга. Л.Н. Гартунг дослужился до звания генерал-майора и должности управляющего императорскими конными заводами в Туле и Москве. В Тульской губернии в селе Прилепы у него было небольшое имение, куда чета Гартунгов отправилась сразу после венчания.

Семнадцать лет семейной жизни были в целом счастливыми. Они омрачались только тем, что у Гартунгов не было детей. Но в 1877 году случилась трагедия, о которой пишет в своих воспоминаниях, опубликованных в «Русском архиве» за 1895 год, князь Д.Д. Оболенский:

«В Москве жил некто Занфтлебен, по репутации ростовщик, имея детей, которым он почему-то не доброжелательствовал. Он, Занфтлебен, просил быть его душеприказчиком и подтянуть детей его при случае. Гартунг, человек добродушный, не подозревая никакого крючкотворства, очень поверхностно отнесся к делу и дал повод родне Занфтлебена подать на него донос, будто он злоупотребил своим положением, что у него как у душеприказчика пропали векселя, и будто он скрыл свой долг Занфтлебену».

Состоялся суд, который должен был вынести Гартунгу обвинительный приговор, но, когда судьи отправились на заключительное заседание, Гартунг застрелился прямо в здании суда из револьвера.

Событие это имело громкий резонанс. О нем писал Ф.М. Достоевский в «Дневнике писателя» за 1877 год: «Все русские газеты толковали недавно (и до сих пор толкуют) о самоубийстве генерала Гартунга, в Москве, во время заседания окружного суда, четверть часа спустя после прослушания им обвинительного над ним приговора присяжных». По словам писателя, когда судьи, объявив перерыв, удалились из зала суда, чтобы составить приговор, Гартунг, «выйдя в другую комнату... сел к столу и схватил обеими руками свою бедную голову; затем вдруг раздался выстрел: он умертвил себя принесенным с собою и заряженным заранее револьвером, ударом в сердце. На нем нашли тоже заранее заготовленную записку, в которой он “клянется всемогущим богом”, что ничего в этом деле не похитил и врагов своих прощает».

Вся Москва считала, что Гартунг ни в чем не виноват и что в его смерти повинен не только Занфтлебен, но и прокурор, своим выступлением на суде убедивший присяжных вынести невиновному обвинительный приговор. Особенно всех возмутило то, что сразу после суда прокурор поехал в театр. Д.Д. Оболенский писал: «Владелец дома, где жил прокурор, который благодаря страстной речи считался главным виновником гибели Гартунга, Н.П. Шипов, приказал ему немедленно выехать из своего дома на Лубянке, не желая иметь, как он выразился, у себя убийц».

Мария Александровна тоже не верила в виновность мужа. Она писала своей родственнице: «Я была с самого начала процесса убеждена

в невинности в тех ужасах, в которых обвиняли моего мужа. Я прожила с ним 17 лет и знала все его недостатки; у него их было много, но он всегда был безупречной честности и с добрейшим сердцем. Умирая, он простил своих врагов, но я, я им не прощаю».

Об этом судебном процессе несомненно знал и Толстой, который был знаком с Гартунгом. Историю самоубийства во время суда он перенес в свою пьесу «Живой труп», где Федор Протасов кончает с собой таким же образом.

Дальнейшее расследование доказало полную невинность Гартунга. Но жизнь Марии Александровны была уже сломана. Она осталась без средств к существованию и обратилась к Александру II с просьбой о помощи. Лишь спустя несколько лет ей назначили пенсию в 200 рублей в год и только в 1899 году, к 100-летию со дня рождения Пушкина, размер пособия увеличили до 300 рублей.

Мария Александровна была вынуждена вести скитальческий образ жизни. Некоторое время она продолжала жить в их с мужем квартире на Поварской, 25, где сейчас находится Институт мировой литературы им. А.М. Горького. Затем уехала в имение Гартунга, потом вернулась в Москву и ютилась в скромных съемных квартирах на Кисловке, на Арбате... Некоторое время проживала у своего овдовевшего брата Александра Александровича, помогая ему воспитывать его детей.

Тем не менее до конца своих дней Мария Александровна сохраняла в себе аристократическую статью и была, как вспоминали о ней близкие, «всегда подтянутой, веселой, неунывающей».

Старшая из детей Пушкина, она пережила всех своих братьев и сестер и единственная застала революцию 1917 года.

В годы Гражданской войны она, как и многие, голодала. В 1918 году наркому просвещения А. В. Луначарскому удалось пробить ей пенсию в 2000 рублей, но первые деньги пришли, когда ее уже не стало, и они были потрачены на похороны. Она ушла из жизни 7 марта 1919 года и была похоронена на Донском кладбище.

В последние годы жизни Марию Александровну часто видели возле памятника Пушкину в Москве на Тверском бульваре. В 1880 году она присутствовала на его открытии. Теперь она часами просиживала возле него, размышляя о чем-то своем. Прохожим, глядевшим на эту старушку со старомодной вуалью на лице, и в голову не приходило, что перед ними – не только дочь Пушкина, но и прототип главной героини величайшего мирового романа о любви.

И это тоже *подлинная* история Анны Карениной.

**Валерия БЕЛОНОГОВА**

*Нижний Новгород*

(№ 4, 2021)

## ЛЕГЕНДА О ГАМЕЛЬНСКОМ КРЫСОЛОВЕ

*Из книги «Утренний человек Даниил Хармс»*

Среди детских стихов Даниила Хармса есть небольшое стихотворение, довольно часто публикуемое, – «Что это было?». Собственно говоря, это писалось как дополнение к рисунку.

Я шёл зимою вдоль болота  
 В галошах,  
 В шляпе  
 И в очках.  
 Вдруг по реке пронёсся кто-то  
 На металлических  
 Крючках.  
 Я побежал скорее к речке,  
 А он бегом пустился в лес,  
 К ногам приделал две дощечки,  
 Присел,  
 Подпрыгнул  
 И исчез.  
 И долго я стоял у речки:  
 И долго думал, сняв очки:  
 «Какие странные  
 Дощечки  
 И непонятные  
 Крючки!»

1940

История создания этого стихотворения для «Чижа» удивительным образом сохранилась. Её воспроизвел в своих воспоминаниях 1970-х годов в журнале «Костер» Борис Семенов: «Однажды мне, художнику-редактору журнала, принесли рисунок для зимнего номера. Морозное солнечное утро. Из заснеженной избушки выбегает мальчуган, становится на коньки и ловко скользит по поверхности льда. Ниже художник изобразил, как мальчик, докатив до крутого берега, вскакивает на лыжи и мчится через засыпанный снегом лесок. Рисунок был узкий и занимал по высоте как раз половину страницы. Я показал эту славную картинку Хармсу, сидевшему за столом напротив, и попросил его придумать какой-нибудь веселый стишок, ну, хотя бы о том, как полезен зимний спорт. Рисунок Хармсу понравился.



Вечером мы ехали с ним в гости, разговаривали о том о сем, сидя в холодном автобусе. Вдруг на остановке Даниил Иванович умолк, вынул из кармана свою красивую записную книжечку и вписал туда мелким почерком четыре слова: *болото-очки-дощечки-крючки*.

И я подумать не мог, что у него в эту минуту сложилось уже готовое стихотворение, да еще какое! В полдень следующего дня на редакторском столе лежали эти стихи, прекрасным образом дополнившие рисунок <...>. Стихи и картинка были напечатаны, только художнику А. Успенскому пришлось срочно дорисовать над заголовком нелепо удивленного человечка в очках и галошах, похожего на человека в футляре».

Изначальная мысль художника была проста. Изящные, веселые и стремительные картинка должны были сказать – «ну, хотя бы о том, как полезен зимний спорт». Но, попав в руки поэта Даниила Хармса, история тут же обретает еще и другой смысл. Чуть ли не философский. Конечно, стишок можно читать детям просто как веселую загадку. Но срочно «дорисованный» нелепый человечек в шляпе, очках и галошах, похожий на чеховского «человека в футляре», – это на самом деле ВЗРОСЛОСТЬ, которая едва поспевает разглядеть проносящееся мимо ДЕТСТВО. Полузабытое. И рассказ-то звучит от имени взрослого, вспоминающего свое детство. «Какие странные дощечки и непонятные крючки!»

Это веселое стихотворение удивительным образом, кажется, соединило в себе поэта-«взрослого» и поэта-«ребенка». Потому что Хармс в нем одновременно – и пожилой человечек в очках, и мальчишка, который подпрыгнул и исчез.

Интересно, наверное, было бы понаблюдать, как взрослый поэт Даниил Иванович Хармс вел себя на творческих встречах в гуще детей. (Кстати, по имени-отчеству его начали звать уже в молодые годы, и мало кто, даже из друзей, переходил с ним на «ты».) О том, как слушали дети стихи Хармса, осталось много воспоминаний. Дело в том, что Маршак завел традицию время от времени отправляться всей редакцией «Чижа» к детям – в детские сады или младшие классы школ. Авторы выступали и на детских праздниках, и в библиотеках. На этой живой аудитории устраивалась как бы проверка журнальных материалов. Обсуждались рисунки и обложки очередных номеров. И, конечно, тексты рассказов, стихов, загадок, которые звучали в исполнении авторов. Хармс любил читать перед детьми. То, как он управлял «неуправляемой» детской публикой, было проявлением настоящего «мастерства».

Вспоминали о таком вот его приеме. Высокий, спокойный и невозмутимый Хармс появляется на сцене в своем необычном костюме и некоторое время просто молчит. Шум в зале становится чуть тише. Не торопясь, он достает записную книжку и начинает очень негромко, не напрягая голос, говорить: «Сейчас, дети, я прочитаю вам стихи о том, как мой папа застрелил мне...» Начало фразы звучало отчетливо, а конец – неразборчиво. Начинаясь гомон: «Кого? Кого застрелил?» Хармс опять читает ту же фразу с неразборчивым концом. Снова шум, топот, гам. Только на третий раз он дочитывает фразу до конца: «...о том, как мой папа застрелил мне хорька». И читает все стихотворение – в полной тишине. Ритмично и четко, как всегда. Дети очень точно реагируют. Прекрасно понимают, что убийство не настоящее, что сама охота похожа на игру. Сменяются. Хармс продолжает программу. Читает

по-прежнему тихо и даже мрачновато. Но детей не пугает его суровая внешность. Они слушают как замороженные, чуть дыша. Ему приходилось читать стихи еще и еще. Они начинали шуметь, только если Хармс собирался уходить со сцены. Среди возбужденных детей в зале сидели коллеги-сотрудники и сотрясались от хохота.

Нина Владимировна Гернет, которая в 1930-е годы заведовала редакцией «Чижа», очень высоко ценила именно профессионализм Хармса. То, как понимал он психологию детей и безошибочно чувствовал, что им интересно, как мог за двадцать минут сочинить блестящую подпись к рисунку или небольшое стихотворение, прямо в редакции. Чтобы ему не мешали, она запирала его в пустой комнате.

С ним вместе они придумали и внедрили в практику редакционной жизни несколько, как сейчас говорят, творческих проектов. Так, в 1934 году в «Чиже» появился новый персонаж по имени «Умная Маша». Появился по идее Хармса. Нина Гернет подхватила замысел. Это стало «сериалом» своего рода комиксов, которые появлялись в каждом новом номере. Художник Бронислав Малаховский иллюстрировал этот «сериал», используя образ своей дочери Кати. Скоро в создании сюжетов и подписей к картинкам о приключениях серьезной и находчивой девчонки участвовала уже вся редакция. «Как Умная Маша убирала сад», «Умная Маша и мухи», «Умная Маша и ее глупый брат Витя», «Умная Маша и тяжелые сани» и так далее. Для многих советских детей Маша стала живым персонажем. Ее ждали, ей писали письма. Организован был даже сеанс телефонной связи (своеобразный «телемост»). К сожалению, в 1937 году за публикацию стихотворения «Из дома вышел человек» Даниил Хармс на целый год был отлучен от редакции «Чижа». Рубрика «Умная Маша» стала появляться реже.

Что касается устных выступлений Хармса перед детьми, Нина Владимировна тоже говорила о его редком умении буквально завораживать, чуть ли не заколдовывать слушающих его детей – самим обликом своим, тембром голоса, ритмом чтения и, конечно, волшебством самого стиха, захватывающей игрой слов. Именно Нина Гернет нашла интересный образ, связанный с этим фантастическим свойством Хармса. Она вспоминала о его выступлении в одном загородном пионерском лагере, где после окончания концерта все слушатели встали и пошли за ним до станции, «как за гамельнским крысоловом».

Средневековая немецкая легенда, которая здесь имеется в виду, рассказывала о музыканте в пестрых одеждах, пришедшем в Гамельн на реку Везер и избавившем город от нашествия крыс. Но он был обманут магистратом, который отказался выплатить ему обещанное вознаграждение. В отместку в одно прекрасное утро музыкант с помощью своей флейты увел за собой всех городских детей, сгинувших потом безвозвратно. Легенда, распространившаяся в Европе в XIII веке, стала блуждающим сюжетом. И не раз возрождалась в мировой литературе. Например, в сказке Сельмы Лагерлёф «Путешествие Нильса с дикими гусями». Что же повело гамельнских детей за играющим на флейте крысоловом? Наверное, та самая власть искусства, которая дана музыкантам и поэтам, завораживающим тех, кто их слышит.

Интересно, что именно «властность» (как раз в этом самом смысле) Хармс считал одним из главных свойств писателя. Кажется, он нигде не писал об этом специально. Выстраивать некую свою теорию на предмет писательского творчества – это вообще не о Хармсе. Но с некоторыми собеседниками он эти свои мысли проговаривал. С Анной



Андреевной Ахматовой, например. Рассказывая Лидии Чуковской о своем знакомстве с Хармсом в 1940 году, она передала его слова: «Он мне сказал, что, по его убеждению, гений должен обладать тремя свойствами: ясновидением, властностью и толковостью. Хлебников обладал ясновидением, но не обладал толковостью и властностью. Я прочитала ему “Путем всея земли”».

Он сказал: да, властность у вас, пожалуй, есть, но вот толковости маловато».

А что все-таки подразумевал Хармс под свойством «властности» у писателя? Еще одним собеседником его в разговоре на эту тему был художник Всеволод Петров. В своих мемуарах о Хармсе, писанных спустя много лет после этого с ним разговора, Петров сводил смысл, который вкладывал Хармс в понятие «властность», к верно найденной литературной детали.

«Одним из важных свойств писателя он считал властность, – пишет В. Петров. – Писатель, по его убеждению, должен поставить читателей перед такой непреерекаемой очевидностью, чтобы те не смели и пикнуть против нее. Он взял пример из прочитанного нами обоими романа Авдотьи Панаевой “Семейство Тальниковых”. Там по ходу действия автору потребовалось изобразить, как один человек сошел с ума. Сделано это так: человек приходит на званый вечер. Гости давно уже в сборе. Человек остается в пустой прихожей, снимает с вешалки все шубы, пальто и салопы, несет и аккуратно складывает их в угол, а на вешалке оставляет свою только одну шинель. Она висит одиноко и отчужденно. Сумасшествие показано, таким образом, при помощи неброской, но вместе с тем неожиданной детали, которая обретает ряд различных, часто параллельных, а часто перебивающих друг друга смыслов».

Стихи Ахматовой Хармс знал с юности. Они входили в список его «наизустных» стихов 1925 года. Он исполнял их со сцены. Вот бы узнать, а какая деталь в поэме «Путем всея земли» позволила ему говорить о присущей поэту Анне Ахматовой властности? Остановившийся над избушкой китежанки месяц или взятый автором гигантский масштаб событий на рубеже веков и истории...

Анна Андреевна ценила в большей степени прозу Хармса. Вот как зафиксированы ее мысли по этому поводу Анатолием Найманом «В рассказах об Анне Ахматовой»: «Он был очень талантливый. Ему удавалось то, что почти никому не удается, – так называемая проза двадцатого века: когда описывают, скажем, как герой вышел на улицу и вдруг полетел по воздуху. Ни у кого он не летит, а у Хармса летит». Этот пример, который приведен Ахматовой из его прозы, тоже о «властности», как трактовал ее сам Хармс. Люди летают в его стихах и в рассказах так убедительно, что «не посмеешь и пикнуть против». Жаль, что они больше не встретились. Кажется, им было о чем поговорить».

Так что вести за собой можно не только детей, но и взрослых. И не только стихами, но и прозой. Те, кого «увел» он в пионерском лесу до станции, выросли, но точно его не забыли. Как не забыли его и взрослые читатели, друзья и соратники. Приехав уже после войны в Москву, Борис Семенов зашел к Самуилу Яковлевичу Маршаку. Маршак прочел ему только что переведенную им «Балладу о королевском бутерброде» Алана Милна. Гость попросил разрешения переписать текст себе. Протягивая ему экземпляр, Маршак сказал грустновато:

– А правда, похоже на нашего Даниила Ивановича? – И, помолчав, прибавил: – Да, как видите, Хармс не кончился, и Милн – разве не родственник нашего Шустерлинга?

Разговор о «детском» и «взрослом» Хармсе – конечно, условность. Как сказал однажды один наш известный сатирик, отвечая на вопрос о взрослении, – некоторые вообще не взрослеют. И слава богу, что не взрослеют. Те, кто сочиняет стихи, те, кто любит стихи, те, кто совершает открытия в изучении космоса и Мирового океана... Тем более те, кто рассказывает о «полётах в небеса».

## Николай БЕНЕДИКТОВ

*Нижний Новгород*

(№ 2, 2021)

### ИМЯ РОССИИ

К 800-летию со дня рождения  
святого благоверного князя Александра Невского

Слова величания «святой и благоверный» принадлежат Православной церкви. Однако и светская власть признала князя великим русским человеком, а при советской власти существовал и боевой орден Александра Невского. А в 2008 году всенародное голосование признало князя «именем России», то есть символом национальной гордости, выразителем чаяний и мечтаний русского народа. Почему? Надо понять. Поэтому в наше непростое время стоит внимательно и достаточно подробно взглянуться в жизнь великого князя и акцентировать смыслы, в ней коренящиеся.

Князь жил в 1221–1263 годах и принадлежал к династии Рюриковичей. Вокруг этой династии кружатся разные мнения и возникают споры. Рюрик появляется призванным на русское княжение в 862 году. Для Средних веков это время эпохальное и время больших перемен. В 800 году становится императором Запада Карл Великий, которого потом историки назовут «первым европейцем». И к сожалению, это первичность прямо связана с отчетливым и печальным известным тысячелетним «дранг нах Остен» (натиск на Восток). В это время славяне в Европе занимают громадные территории. Проведите примерно линию от Дании на юг до Ядреного – Адриатического – моря, это и будет приблизительно западная линия поселения славян. Пока это разливанное море родов и племен с одним более-менее понятным всем языком, как и сегодня – на Волге окают, в Белоруссии акают, но в целом друг друга понимают. От Дании идет Балтийское славянское Поморье, которое потом станет немецкой Померанией. Южнее текут реки Одра и Лаба, которые потом станут немецкими Одером и Эльбой. В море расположен остров русских сказок Буян – остров Русский – Руян. Балтийское море называется Варяжским. Вар означает Вода, вспомните Карловы Вары, или Карловы Воды. Варяг – это своего рода «водник». Скандинавы пока имеют для Балтики не очень большое значение. Норманны, которые пугают Европу, – датчане. Норги-норвеги мало участвуют в походах, а шведы имеют столицей сначала Бирке (аж до 700 жителей!), а потом Сигтуну (аж до 3 тысяч). Легко понять, что это не «страна городов» и напугать кого-либо шведам трудно. Наша родина и тогда слыла «страной городов» – Гардарикой (ведь никто не спорит, что Киев, Новгород, Ладога, Изборск, Колывань и т. д. на севере уже существуют в то

время). В карело-финском эпосе «Калевала» самый умный Вяйнемейнен – это, конечно, славянин, он искусен, знает разные ремесла. Значит, финны тоже не представляют большой опасности.

Осознав немецкую опасность, восточнославянские племена поняли, что их рознь может привести к печальным последствиям. Они призвали Рюрика. Известен Рюрик и по немецким летописям. Почему ильменские славяне призвали его? Да потому, что с острова Русский (Рюген сегодня), где было общеславянское святилище Святовита на мысе Аркона, приходит царь-жрец, который по традиции считается выше племенных вождей-князей. Именно поэтому Олег, приплыв в Киев уже после смерти Рюрика, не становится сам князем-вождем, а показывает маленького Игоря местным жителям и говорит: «Вот ваш князь». Имя Рюрик неупотребительно во франко-немецких языках, а в славянских оно означает «Сокол». Сегодня опять русофобы-норманисты говорят, что это иностранный «цивилизатор», поминают скандинавские различные наименования типа Ольга-Хельга (почему бы не Вольга?). Думается, женские имена мало что доказывают, ибо время было сугубо мужское. И посмотрите мужские имена: сын Рюрика Игорь, Сын Игоря – Святослав, а у Святослава – Владимир. Далее и продолжать-то незачем. Рюрик, Святослав, Владимир, конечно славянские имена, и даже если перетолковать Игоря в Ингваря, это не изменит ситуации. Поэтому уже наш Михайло Ломоносов и писал, что наша начальная династия была, безусловно, славянской. На острове Русском (Рюгене) жили славяне-руяне, или руги-русы. Рюрик переселился, и его подданных стали звать русскими.

Традиционное патриархальное общество имеет долгую память. Мальчик 12 лет должен сразу на вопрос «Кто ты?» перечислить своих предков в 12 поколениях. А у арабов Имена взрослый человек должен был знать не менее 22 поколений. Три поколения – сто лет, значит, взрослый должен помнить предков за 7 веков. Князь – тем более.

Невский помнил.

Он помнил и то, кто для него и его рода был друг, а кто враг. Остров Русский (Рюген) захвачен датчанами и немцами. Славянское поморье становится немецкой Померанией. Город Зверин становится немецким Шверином, Бранибор – Бранденбургом, Гданьск – Данцигом, Липецк – Лейпцигом и т. д. В 1147-м объявлен крестовый поход против славян. В 1168-м захвачен Рюген, город Аркона. Святилище Святовита уничтожено. Иными словами, бой с немецкой агрессией имеет многовековые корни. И Невский об этом знает – до рождения князя Александра оставалось всего 50 лет! Много ли это? Мы помним сегодня и Великую Отечественную войну, и Первую мировую, и царя не только по книгам, но и по воспоминаниям ближайших родственников. А уж в то время помнили тем паче. Значит, Невский помнил, кто уничтожил его родовую память и родовую отчизну – немцы!

Основные сведения о том времени мы получаем из текстов византийцев, которые не путают немцев и славян, скандинавов и славян. Эту я сказал вот к чему. Святослав ходил на Византию. У него были переговоры с императором Византии. Позади императора стоял ученый летописец Лев Диякон Калойский, который и описал Святослава как потомка Ахилла, как славянина, никаких намеков на немецкое или скандинавское происхождение не было высказано. Это отвлечение вроде бы от Александра Невского, а на самом деле просто подчеркивание той мысли, что память долгой череды поколений вовсе не была чем-то

необычайным. Совсем наоборот. Если бы этого не было, то удивляло бы современников. Князь-то хорошо знал, кто его предки, чего они хотели, кто им был друг, а кто враг. И он был из русской династии и выражал русские мечты и надежды.

И еще одно обстоятельство, о котором стоит упомянуть.

В середине IX века жили и творили святые Кирилл и Мефодий. Они считаются авторами русской письменности. Однако важно напомнить, что сам Кирилл говорил, что видел в Корсуни (нынешний Севастополь) у русского купца записки с русскими письменами. А уже сегодня известна надпись первой половины X века на горшке из Гнездовских курганов под Смоленском «горухша». Эти два факта говорят о том, что Кирилл и Мефодий не создавали, а реформировали русскую письменность для христианских нужд, но сама письменность уже была. Поэтому и находки берестяных грамот (более 1000 из 12 городов), и мнение специалистов показывают, что письменность была широко распространена на Руси. А массовая грамотность требует и очень образованного правителя. И именно таким был Александр Невский.

Еще одно пояснение, без него будет непонятно многое в жизни нашего героя.

Русь получила правителя Рюрика. В родовом обществе это означало, что Русью правит род Рюрика. Однако каких-то правил наследования не было. Появлялись дети. Какое наследство должен получить каждый – начались споры. В 1097 году в Любече собрались князья и договорились о порядке правления и наследования, о лествичном восхождении. По лестнице-лествице по смерти князя ему наследует следующий по старшинству его брат, затем следующий, а после братьев наступает очередь сыновей в том же порядке старшинства. Но род разрастался, и возникали споры. Вспомним ближайшие к нам города. Ростов Великий одно время был столичным городом, в котором правили «лутшие» (по происхождению) люди, а потом появился Владимир, в котором сначала правили «мизинные», «маленькие» по происхождению люди. Но город разрастался, а значение Ростова уменьшалось. Где должен сидеть главный князь? А почему в Ростове должен сидеть «маленький» князь? Почему должен наследовать сын, если сын еще маленький, а его племянник уже вырос и известен своими способностями? Как тут быть? Жители начинали требовать себе более достойного. В результате лествичное право трещало по швам, а жители конкретного княжества начинали чувствовать себя хозяевами.

Как призвать их к порядку? Для малых достаточно предостережения – погрозить пальцем, а с большими как быть? Это должна быть серьезная угроза – военная сила. Большие города начинали то выгонять князя, то призывать его к себе. Великий Новгород так жил очень долго, пока в 1478 году военной операцией великого Московского князя был навсегда лишен своих привилегий. И, конечно, само перемещение князей очень ослабляло управление. Князь пришел, привел с собой бояр, они что-то начали делать, допустим, строить дорогу на север, а тут происходит перемещение князей, приходит новый князь и новые бояре, которые бросают строительство пути на север, а начинают строить дорогу на юг. Русь очень долго избавлялась от этого неудачного способа управления, пока пришла к самодержавию. Правда, если князь основывал город или новое княжение, то ему наследовали только его потомки. Так, в Москве стал первым князем сын Александра Невского. В Нижнем Новгороде после гибели основателя его права перешли

к брату Ярославу, а после него к сыну Александру. Иными словами, Александр Невский – наш коренной князь, где он правил по «отчине». Но единой державой Русь не была. Даже в период Куликовской битвы на Руси было 15 самостоятельных князей! Империя Карла – «первого европейца» могла осуществлять «дранг нах Остен», а русские князья все продолжали свои свары.

У Ярослава Всеволодовича родился второй сын Александр. У историков есть несогласие в вопросе о годе рождения Александра. Однако президент России объявил 1221 год годом Александра Невского, поэтому будем исходить из одной цифры. В общем, это непринципиально. Отец Ярослав оставил двухлетнего Александра и пятилетнего старшего Федора с боярами в Новгороде, а сам уехал в Переславль-Залесский. И через некоторое время боярам с княжатами пришлось бежать из города, опасаясь буйства новгородцев. Причем затем похожая история повторилась, и приближенным боярам пришлось еще раз вывозить княжичей из буйного Новгорода. Как видим, недостатки правления тут же отзывались и на жизни Александра.

Старший брат Федор через некоторое время умирает, и Александр в период юношества становится главным наследником и старшим сыном Ярослава Всеволодовича.

О внешнем виде Александра. В Суздальской летописи говорится: «И воистину, не княжил бы он без повеления Божьего. Ростом он был выше других людей, голос его как труба в народе, лицо его как лицо Иосифа, которого египетский царь поставил вторым царем в Египте, сила его была частью от силы Самсона. Дал ему Бог премудрость Соломона и храбрость царя римского Веспасиана, который пленил всю Иудейскую землю».

Стал смотреть в интернете замечания о внешнем виде князя. Обнаружил, что о голосе реакции нет никакой. Слава богу, хоть это принимается сразу. А вот рост почему-то очень беспокоил многих. Мнения, комментарии якобы специалистов – совершенно невежественные, зато с дилетантским апломбом. Дескать, Эйзенштейн в фильме снял двухметрового актера Черкасова, и этот образ заслонил реального князя. А князя как измерить? Мощей толком не сохранилось. И какие-то диванные «историки» пишут, что есть рака погребальная, а ее размер примерно 165 см. А люди в то время были в основном маленькие – 165 см, а потому, мол, князь был примерно 168 см. И отсюда вывод: Эйзенштейн врал, а князь был такой вот невысокий. Я видел изначальную каменную раку (по этому образцу потом сделали злато-серебряную) Невского во Владимире в музее, размер ее указан выше правильный. Однако я не поленился спросить музейных работников о росте Александра и размере погребального ящика. Мне объяснили, что рака должна была быть из серебра-золота, а это очень дорого, Русь обнищала. Поэтому князя укладывали в нее с согнутыми в коленях ногами. Дома попробовал лечь и измерить себя с прямыми и с согнутыми ногами. Получилась разница по крайней мере в 40 см. Итого князь Александр Невский был ростом примерно 205–208 см! Ясно, что летопись говорит правду, прав и Эйзенштейн.

О красоте Невского меньше страстей, хотя тоже появились публикации «ревнителей истины». Кто-то пишет, что он был никакой, что в летописи просто написали ритуальную «приличную» формулу, кто-то пишет, что князь был «восточного вида». Мне кажется, что летопись не единственный источник. Ведь и в летописи говорится, что Батый был



восхищен его внешним видом, есть замечание встречавшегося с князем западного посланника, в котором тоже отмечается его красота. Мне думается, летопись верна. Никто не доказал обратного.

Важнейшая часть жизни князя Александра – его ратные подвиги. Его положение в иерархии основательно повысилось – в марте 1238 года на реке Сити погиб его дядя и великий князь Владимирский и основатель Нижнего Новгорода Георгий (Юрий) Всеволодович. Отец Александра Ярослав Всеволодович становится великим князем Владимирским, а Александр как старший сын становится его наследником, а Нижний Новгород становится его отчиной. Отец продолжает держать его в Великом Новгороде.

В этих условиях князь Александр одерживает свою первую знаменитую победу, давшую ему прозвище Невский. В устье Невы и Ижоры высаживаются шведы и начинают какие-то земляные работы («рытье и обрытье»). Александру об этом докладывает разведка. Он берет с собой свою дружину, а потом по дороге присоединяет к своему войску ладожских дружинников и идет на шведов. Место сражения приблизительно около нынешней Александро-Невской лавры. От Новгорода до места примерно 130 км. Князь проходит это расстояние достаточно быстро и рано утром 15 июля 1240 года обрушивается на не ожидавших его нападения шведов. Бой был скоротечным, летопись дает нам несколько имен отличившихся дружинников, специально отмечает воинскую доблесть князя. Александр сам участвует в бою, ранит шведского руководителя. Шведы бегут, понеся потери, причем на противоположном берегу кто-то избивает шведов (предположительно местное племя ижор). Александр возвращается с победой. Сражение отмечено и описано в наших летописях, у шведов нет упоминаний об этом бое. Впрочем, в это время у шведов нет регулярного летописания, оно достаточно обрывисто.

Второе известное сражение, выигранное Невским, получило название Ледового побоища. Новгородцы в очередной раз начинают свою бучу, высказывают претензии к Александру, и тогда князь уезжает в Переславль-Залесский. Именно в это время происходит очередной акт немецкой агрессии. Крестоносцы захватывают Псков, а затем многие земли Новгорода. Горожане в испуге обращаются к великому князю Ярославу, а тот присылает опять Александра. Бой происходит 5 апреля 1242 года у Вороньего камня на Чудском озере. Известный прием удар клином, или «свиньей», позволяет немцам глубоко врезаться в русские ряды, однако бой продолжается охватом немецкого клина. Начинается избиение немцев. Разгром был таким, что сомнений в успехе не было ни у кого. Сражение отмечено в русских и немецких летописях. Конечно, имеется различие. В русских называется большее количество погибших рыцарей, нежели в немецких. Вряд ли в этом есть что-то неожиданное.

Однако эти наиболее известные сражения Александра Невского продолжают быть предметом споров у современных идеологов. Противники-русофобы пытаются навязать нам нечто продиктованное их предвзятой позицией, а не реальными историческими фактами. Так, Александр, по их мнению, отмечен классической русской несговорчивостью, агрессивностью. Вместо-де попыток договориться с европейскими завоевателями о совместных действиях по христианизации местных племен и по борьбе с монголами князь Александр занимает жесткую позицию, накидываясь на мирных европейцев по любому по-



воду. Довелось прочитать даже предположение о том, что шведы на Неве были просто торговцами и никого не трогали, когда Александр на них напал. Напомню этим якобы профессионалам, что существовал договор Новгорода о торговле, по которой купцы пользовались экстерриториальностью, а в Новгороде существовал Немецкий двор для торговцев с Запада. Однако после Невской битвы никаких жалоб от торговцев не зафиксировано. И биты были на Неве отнюдь не мирные торговцы, а вооруженные агрессоры. Прочие толкования нелепы.

В 1200 году немцы основали Ригу, в которой жили только католики немцы. Если местный латыш оставался на ночь в Риге, то его вешали христоробивые пришельцы. В 1217-м датчане захватили русский город Колывань. Город начал превращаться в Таллин – датский, а потом немецкий город. Прусское славянское население вырезали полностью. При этом стоит помнить, что в 1204 году крестоносцы 4-го крестового похода захватили Царьград-Константинополь, разграбили его и уничтожили Византию, забыв про Палестину. Это могло потрясти любого христианина. Ведь именно вселенские отцы церкви в Византии оформили туманно-поэтические религиозные мотивы в цельное строгое, стройное учение с молитвами и обрядами, сотворив тем самым саму церковь как христианскую организацию. И эту первую и христианскую страну – фактически основательницу Христова учения – европейские крестоносцы разрушили! Не зная этого и не оценивать князь Александр не мог. Напомню, что в Европе нашлось не очень много охотников отправляться на войну в Прибалтику. Поэтому пришлось объявить амнистию преступникам, которые и составляли основу крестоносных войск в Прибалтике. Они не замечали, что поляки или литовцы уже католики, но грабили и резали всех подряд. Для Александра же европейские немцы выступали несомненно опасными и страшными врагами. Они уничтожили его родовую отчизну-остров Рюген (Русский) с городом Арконой и святилищем Святовита, родину его рода и пращура Рюрика. Они же уничтожили и второе основание его жизни – Византию с Царьградом, родину христианства, откуда пришла на Русь его вера, ставшая стержнем русской жизни.

Неслучайно недоброжелатели Невского при описании столкновений князя Александра с немцами и или шведами-датчанами старательно умалчивают о поляках и не очень вспоминают литовцев. Зато непременно подчеркивают дремучий звериный характер местных племен, не понимающих цивилизаторской миссии европейских агрессоров. А ведь под русской властью всегда (!) уживались разные племена и верования, разные религии – и католики, и мусульмане, и ламаисты, и язычники. И насилие по отношению к ним в связи с их верой никогда не применялось.

Итак, Александр проявил себя как отличный воин и талантливый военачальник. У него были и другие походы, не столь известные, однако военная слава его явно была громкой и заслуженной. Именно поэтому Русская православная церковь объявила князя Александра Невского покровителем самого главного вида русских войск – сухопутного. В этом акте есть своего рода наследование традиции, ибо и при царе, и при советской власти существовали ордена Александра Невского!

Однако главным в жизни князя была все же его политика. Он становился все более значимым правителем на Руси. И одну линию он выдерживал весьма постоянно – это взаимоотношения с Западом. Были и папские подсылы, и попытки уговорить его встать на сторону

крестоносцев. Однако, как известно, князь каждый раз отвечал, что веру он получил, как и его народ, от других, не от Запада, и ей одной будет предан. Очень недоверчиво относился Александр ко всем посулам западных послов. Вероломство и двуличие западной политики ему была известна.

Второе направление политики Александра Невского – его отношения с татаро-монгольскими завоевателями. Нужно хотя бы в общих чертах представлять тяжесть и сложность этой проблемы. Направления и организацию всей конструкции и политики татаро-монголов создал Чингиз-хан. И сегодня можно сказать, что ничего похожего по мощи и масштабам мировая история не знает. Была создана военная машина, которой не мог противостоять никто. Если из десятка бежал хотя бы один воин, то подвергался казни весь десяток. Отступление татаро-монгольских войск было возможно лишь ложное – для завлечения противника в засаду и последующего разгрома. У захватчиков были и талантливые полководцы – уже в школе дети знают имена полководцев Джэбэ и Субудая. По рассказам современников, по фронту монгольское войско могло быть длиной в 14 дней пути, а в глубину – на 20 дней пути! Конечно, это сильное преувеличение, однако завоевания монголов и эффективность политики показывают, что ничего похожего мировая история не знает.

В период расцвета монгольская империя занимала территорию раза в два больше территории будущего Советского Союза, а те страны, которые не были завоеваны, остались такими лишь потому, что у завоевателей почему-либо, как говорится, руки не дошли. Несколько фраз о завоеваниях. 1207–1227 годы – завоевание и подчинение Сибири и Восточного Туркестана. В 1211–1234-й – завоевание Северного Китая. 1215-й – завоевание Семиречья. 1219–1221 – завоевание Средней Азии. 1222–1223-й – походы в Закавказье и Северный Кавказ. 1231–1273-й – завоевание Кореи. 1232-й – разгром Волжско-Камской Булгарии. 1235–1279-й – завоевание Южного Китая и окончательное подчинение всего Китая. 1283–1287-й – завоевание Бирмы, затем Кашмир и Пенджаб, затем Вьетнам, Афганистан, Иран, Малая Азия, Сирия и Палестина. Монгольские войска, как известно, завоевали Русь, а затем вышли в Европу, где также разгромили венгров, поляков, чехов, немцев. И объединенное войско европейцев под Легницей было разгромлено.

В самой монгольской метрополии была начата подготовка похода «к последнему морю», для чего были призваны 14-летние мальчики с расчетом, что за время похода они вырастут и повзрослеют. Из целей монгольских походов не были захвачены только Япония и Западная Европа. Про Японию достаточно сказать, что не сопротивление аборигенов, а природные катаклизмы помешали завоевателям. Мощные бури не дали завоевать Японию, разметав флот захватчиков, откуда и пошло японское выражение «камикадзе», то есть божественный ветер. Похожее соображение можно высказать и про Европу. У монголов просто руки не дошли, а сопротивление было бы сломлено без всякого сомнения.

Сражаться с татарами означало обречь свой народ на смерть. Напомню, что и через сто лет, в период Куликовской битвы, Русь не была единой, а имела 15 независимых правителей, и осмелились сражаться только с Мамаем, то есть не чингизидом, а уклонистом и татарским сепаратистом. В ходе Батыева нашествия было уничтожено множество русских городов, из которых 14 никогда не были восстановлены (столь-

ко городов никогда не было во всей Скандинавии). В числе таких городов была, например, Старая Рязань. Случайно сохранился Великий Новгород.

Александр приходилось думать о том, как сохранить русский народ. Он был вынужден занять примиренческую позицию по отношению к захватчикам. Он, боец и полководец, показал себя великолепным дипломатом. Князь увидел единственно возможный путь выживания в новой политической обстановке. Неслучайно сегодня часто повторяют мысль о том, что Невский был первым геополитиком. Он неоднократно ездил в столицу монгольской империи Каракорум, подружился с Батыем и его братом Сартаком, тем более что Сартак был христианином. Александр видел, что татары в принципе не меняют жизненного уклада людей, если им подчиняются. Города и населенные пункты оставались русскими, а веры они вообще не касались. Более того, церковь и священнослужители освобождались от налогов.

Иными словами, это была отнюдь не жесткая немецкая оккупация, после которой славянское Поморье становилось немецкой Померанией, славянский город Зверин – немецким Шверинем, и молиться можно было лишь по латинскому обряду. А в результате славянский Запад Польши становился немецким, впрочем, как и чешский, где Карловы Вары оказались Карлсбадом. А славянские Беловы становились фон Беловыми и самыми отъявленными немцами.

Монголы не лезли в душу народа, не мешали молиться своим богам, иметь свои представления о жизни. Фактически Русь попадала в положение вассала, а не жесткой оккупации. Более того, Александру удалось договориться с татарами о том, что Русь не будет платить налог кровью, то есть не будет поставлять своих людей в татарское войско. В то же время князь умудрялся беречь русский народ и тем, что договаривался о сборе налогов своими силами, а не с помощью татарских баскаков.

Излишне ретивые соотечественники не всегда понимали его политику. И его брат Андрей, будучи великим киевским князем, спровоцировал народное возмущение против татарских баскаков, фактически организовал народный антитатарский бунт. В результате второй раз после Батя Русь пережила татарское нашествие – Неврюеву рать. Александр не мог повлиять на происходящее на Руси, так как он в это время был в Каракоруме, в Орде. Однако ему удалось смикшировать татарский удар, и он постарался договориться о последующем сборе налогов без баскаков, а татары ему предложили стать великим князем в Киеве. В дальнейшем ему удалось мирно договориться и с братом.

Для Руси принципиальное отличие политики князя Александра по отношению к католическо-европейским кругам и политики по отношению к татаро-монгольским имело важнейшее значение. Политика крестоносцев и всяких рыцарских орденов приводила к онемечиванию населения, христианизация приводила или к католицизму и бесконечному выкачиванию десятины в пользу Римского папы, епископов, церкви, предельно униженному и даже рабскому положению местного населения по отношению к европейским «цивилизаторам», или выбором была смерть. Судьба пруссов – тому пример. Европейский путь есть жестокая оккупация без права быть самим собой. Татаро-монголы же не касались местных религиозных верований вообще, а иногда даже становились христианами по собственному выбору, как Сартак. Местная культура их также не беспокоила, и они в нее не вмешивались.

Татаро-монголы могли брататься с русскими всерьез, становиться товарищами. Иными словами, власть чингизидов оставляла русских русскими, территории и верования теми же самыми, их интересовали только налоги. Они оставляли жизнь и душу. Разница, как видим колоссальная и принципиальная.

И, наконец, третья и особая черта князя Александра Невского проявлялась в его политике по отношению к своему народу. Эта политика отличалась заботливостью и вниманием, большим терпением и патриотической любовью. Вспомним хотя бы взаимоотношения князя и новгородцев. Еще не став взрослым, князь несколько раз был вынужден бежать из Великого Новгорода – вроде бы весьма серьезное основание относиться прохладно к новгородцам. Однако мы ни в чем не видим такого отношения. Наоборот, новгородцы все больше проникались представлениями о князе как подарке судьбы, который они должны ценить и любить. И все чаще они обращались к князю как к защитнику их интересов. Фактически лишь однажды князь проявил себя как жесткий руководитель, когда приговорил наместника Пскова, открывшего ворота захватчикам и помогавшего им захватывать земли Новгорода. Кара предателю последовала незамедлительно, он был казнен. И вместе с тем, чем больше Русь узнавала Александра, тем большим уважением и любовью он пользовался. К концу своей жизни он и князь Новгорода, и великий князь владимирский, и великий князь киевский, и патрон и владелец своих отчих владений Москвы и Нижнего Новгорода. Можно предположить, что если бы не оборвалась жизнь князя неожиданно, то он мог начать, и весьма успешно, объединение Руси уже тогда. Без него этот процесс затянулся.

И неслучайно, как только Русь переживала тяжелые времена, вспоминали о князе Александре. Так было и в 1547 году, и перед страшным сражением при Молодях, и в начале царствования Петра. Всегда возник образ святого благоверного князя Александра Невского, обозначающего и надежду, и направление развития России. И неслучайно и в царское, и в советское время существовали ордена Александра Невского, которыми награждали и за воинские заслуги, и «в воздаяние трудов, для Отечества подъемлемых».

Сегодня, в очередной период «европобесия» и русофобии, началась атака на князя. Как только его не «развенчивают»! Однако вот что бросается в глаза. Написал писатель в книге об Александре Невском об ухоженных руках князя. Боже мой, какой крик поднялся! Князь воин, князь мужчина, князь русский, а всем этим категориям не свойственно заниматься своими руками. Ну а как же пушкинское «быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей»? Какое там! Не пробиться сквозь этот шум мнению Пушкина! И вот надо же – на раскопках в Новгороде был найден косметический набор князя. Вот это поворот!

Нынешняя свистопляска вокруг Невского, как уже говорилось, прямо связана с нападками на Эйзенштейна за его фильм об Александре. Это-де и лубок, и пропаганда, и неисторично, и т. п. А вы возьмите собрание сочинений Эйзенштейна и почитайте. Ведь прошел уже истерический период, когда свергали кумиров вроде Хренникова или Бондарчука, когда требовали порулить и обещали создать либеральные шедевры, какие и не снились этим жалким «тоталитарным личностям», – и, конечно же, ничего не создали, только разрушали и разрушали. Эйзенштейн очень старательно готовился к созданию своего произведения. Он прочитал и изучил все, относящееся к теме. В результате поя-

вился фильм и образ Александра Невского. Он всем известен. И во всех спорных вопросах Эйзенштейн оказывается ближе к истине, нежели современные якобы ученые и диванные исследователи.

И закончить хочется словами же Эйзенштейна. Он обратил внимание, что Александр Невский причислен клику святых за свою жизнь. Борис и Глеб стали святыми за свою мученическую смерть. Совершенно так же стал святым и Андрей Боголюбский. Как тогда понять «святость» князя Александра? Вот что пишет С. Эйзенштейн: «Прежде всего разберемся по существу, чем является само это звание “святого”. По существу оно в тех условиях не более как самая высокая оценка достоинств, достоинств, выходящих за пределы общепринятых тогда норм высоких оценок – выше “удалого”, “храброго”, “мудрого”. ...Здесь дело в том комплексе подлинной народной любви и уважения, который до сих пор сохранился вокруг фигуры Александра».

Благодарную память о князе хранят и наши земляки. Именно здесь, на земле нижегородской, окончив свои земные труды, принял князь иноческое пострижение с именем Алексей и отправился в небесные обители, где и поныне не оставляет служения Родине силой примера своего – ратных подвигов, государственной мудрости и любви к Отчизне.

Воистину, имя России.

## Нина ЗВЕРЕВА

*Нижний Новгород*

(№ 4, 2021)

### «ПИСЬМА БЛОКА?!. ВЫ ТРОГАЛИ ИХ РУКАМИ?!»

Эта история перевернула мою жизнь

Удача, providение... подберите синоним, который вам нравится, – но это случилось. И случилось благодаря Александру Блоку.

#### Девять человек в одной квартире

Начало истории было абсолютно тривиальным – моя мама решила навести порядок в шкафу. Случалось такое нечасто, но раз в год маму словно охватывала жажда перемен – и она начинала генеральную уборку: залезала в глубины шкафов и пыталась расставить все вещи по местам.

Миссия почти невыполнимая. В трехкомнатной квартире нас было девять человек. В начале 70-х годов это казалось абсолютно нормальным. Но можете себе представить, как много скапливалось вещей. При этом все вещи лежали максимально компактно – в квартире ценился каждый свободный метр площади. Можно даже сказать, каждый сантиметр.

Мой отец занимал высокую должность в серьезном научном институте, он был членом-корреспондентом Академии наук, но когда мама обращала к нем свои большие грустные глаза и говорила:

– Мне даже негде переодеться!

Папа отвечал ей:

– Нелличка, другие живут гораздо хуже.

Мама замолкала. Люди не жили – люди теснились.

Надо сказать, я сильно способствовала тесноте: когда мне было 18 лет, я привела в нашу квартиру молодого мужа, а потом быстро родила ребенка.

Комната, в которой мы жили с братом вплоть до моей свадьбы (сейчас такое кажется дикостью, но тогда было абсолютно нормальным), – эта комната стала нашей с мужем «семейной». В соседней комнате жила бабушка с открытой формой туберкулеза.

Брат переехал жить на кухню. А третья комната, квазибольшая, с папиным роялем, стала комнатой родителей. Они спали на диване. Утром застилали его ковром – и все вечера мы собирались большой семьей в этой комнате: разговаривали, шутили, смеялись... И никакого личного уголка у моей мамы не было.

И вот однажды мама решила разобраться в книжном шкафу. Мы все любили книги – и папа, и мама, и брат, и я – у каждого из нас были горы



книг. Были книги из библиотеки моего дедушки, книги из библиотеки дяди моего папы... И вот здесь – внимание! Я должна сделать шаг назад и рассказать о человеке, без которого этой истории бы не было.

## Бестужевские курсы

Лев Иванович Поливанов. Московские старожилы помнят поливановскую гимназию. В ней учились многие будущие звезды науки, включая чемпиона мира по шахматам Алехина. По слухам, Александр Алехин был дружен с внуком директора этой гимназии, Льва Ивановича Поливанова, сидел с ним за одной партой и сражался с ним в шахматы.

Внук (тоже Лев Иванович Поливанов) – интеллигентный, образованный человек, окончил одновременно и математический факультет университета, и консерваторию. И то и другое окончил блестяще, и каждый из университетских профессоров прочил ему блестящую карьеру.

Но случилось непредвиденное событие, которое родителей этого молодого человека привело в полный ужас.

Двадцатилетний Лев Иванович Поливанов приехал погостить к родственникам в Нижний Новгород (происходило это еще до того, как Нижний Новгород стал городом Горьким) и влюбился.

Влюбился крепко и навсегда, как это бывает, когда любовь сваливается на человека внезапно и накрывает его целиком. И все бы ничего, но избранница Льва Ивановича была на двадцать лет его старше.

Зоя Владимировна Зверева – не слишком хороша собой и слишком авторитарна. В свое время она окончила Бестужевские курсы. И тоже, как и Лев Иванович, училась сразу на двух курсах – на биологическом и математическом факультете. В конце XIX – начале XX века девушки не имели право на высшее образование. Бестужевские курсы стали первым российским университетом для женщин.

Отец Зои Владимировны был небогатым дворянином, детей у него было много (в том числе и мой дед, Анатолий Владимирович Зверев). Зоя Владимировна родилась старшей. Она всегда мечтала учиться и никогда не думала о себе как о матери большого семейства.

Умная, думающая девушка (сегодня сказали бы – «девушка с активной гражданской позицией») зарабатывала тем, что давала детям уроки математики и биологии. И зарабатывала, надо сказать, неплохо.

Однажды на Бестужевские курсы приехал поэт Александр Блок. Он выступал перед «бестужевками» (так называли студенток), читал им свою поэму. И после этого Зоя Владимировна запросто подошла к нему и предложила сотрудничество.

Предложение звучало максимально рационально. Блок, по версии Зои Владимировны, должен выступать на Бестужевских курсах. А Зоя Владимировна будет собирать с посетителей деньги. Нет, деньги она не станет оставлять ни себе, ни Блоку. Все деньги пойдут на помощь ссыльным и политзаключенным. Это были времена столыпинских реформ. И несмотря на то что сегодня Столыпин помнят как реформатора и человека, который обеспечил России экономический прорыв (и прорыв этот был бы еще мощнее, если бы не Первая мировая война), современники знали и столыпинские вагоны, и столыпинские виселицы.

Интеллигенция начала XX века обращала внимание не на реформы, а на их прямые последствия. Блок как человек, близко принимающий



к сердцу то, что происходит в стране, сразу же отозвался на призыв Зои Владимировны.

Он действительно выступал на Бестужевских курсах, и деньги, собранные за его «творческие вечера», действительно шли на поддержку политзаключенных.

В начале XX века самым доступным средством общения на расстоянии были письма. Блок писал письма Зое Владимировне Зверевой. Она писала письма ему. Их переписка продолжалась с 1906 по 1913 год. После Зоя Владимировна переехала из Санкт-Петербурга в ее родной Нижний Новгород, встретила Льва Ивановича Поливанова – и переписка прекратилась.

## Любовь с разрывом в 20 лет

Игнорируя реакцию общества и бойкот родителей, Лев Иванович Поливанов женился на Зое Владимировне Зверевой.

Зоя Владимировна начала преподавать литературу на филфаке местного университета, была известной, уважаемой дамой. Сейчас ее называли бы коучем – к Зое Владимировне, по слухам, ходили первые лица города – чтобы посоветоваться о делах насущных. Она слыла роскошной дамой – прежде всего в смысле ума и манер.

Лев Иванович Поливанов тоже стал преподавателем, но – политехнического института. Прошло уже много лет, но до сих пор в НГТУ висит его портрет и его помнят как одного из лучших профессоров вуза.

Он знал несколько языков, преподавал математику, его обожали студенты – а он обожал свою Зочку.

Она умерла, когда мне было 4 года, в 1956 году. Удивительно, но я ее хорошо помню. Властная пожилая женщина – достаточно было одного ее взгляда, чтобы мы с братом полезли под стол.

Во время светских разговоров дети ей мешали, раздражали ее. Она просто бросала на нас взгляд – и нам хотелось исчезнуть.

Ее безумно боялась моя мама. Я не любила Зою Владимировну. Как можно полюбить человека, перед которым трепещет моя мама?! Но мама рассказывала: когда она шла к тете Зое, твердила себе: «Я не скажу ей про это, ни за что не расскажу про это и не буду говорить про это», – и, как только она переступал порог тетизиного дома, выпаливала все, что так трепетно хотела сохранить в тайне.

Тетя Зоя – так звали ее мы с братом – гипнотизировала окружающих. Меня охватывало чувство предвкушения всякий раз, когда мы отправлялись к ней в гости. Никогда нельзя было предсказать, как она нас встретит. Может быть, окажется не в духе, и нам с братом придется весь вечер прятаться под столом. А может быть, будет расположена к нам и станет проявлять свою любовь. Я то читала ей стихи и была обласкана за каждое слово, то была виновата – опять же за каждое слово.

После смерти тети Зои ее муж дядя Лева прожил еще около десяти лет. Он часто приходил к нам в гости, носил нам с братом шоколадки... Вот его мы любили!

Дядя Лева умирал долго и мучительно. Вокруг него были какие-то чужие сиделки, незнакомые люди... В нашей семье мы никогда не заботились о наследстве – ни о деньгах, ни о раритетах. Может быть, зря – кто знает?

Но в результате в наш дом попали не его книги в золотых переплетках, не драгоценности тети Зои – все это ушло неведомо куда, – а папки документов, которые были никому не нужны.

После похорон дяди Левы мой папа принес эти папки документов, положил их на самую нижнюю полку книжного шкафа – и все о них тут же забыли.

## Филфак вне зоны доступа

И вот однажды летом 1971 года моя мама решила навести порядок в шкафу. Я была дома – боролась с первым приступом тошноты (и еще не знала, что в ближайшие несколько месяцев тошнота станет моей верной спутницей: токсикоз при первой беременности у меня окажется классически-сильным).

Мама ойкнула.

Уронила книги на пол.

– Ниночка, иди сюда, – сказала слишком ровным голосом.

Я подошла.

– Ну вот видишь, теперь хотя бы можно понять, почему ты пошла на филфак, – она протянула мне старые письма.

...Тогда моего поступка не понял никто. Отлично окончив физматшколу, я подала документы на филологический факультет. Родители удивились, но решили, что моя учеба – это мое дело. И на время экзаменов в вуз они, взяв байдарки, уехали в отпуск – сплавиться по реке Печоре и фотографировать мамины вожаделенные Маньпупунёр – сейчас они считаются одним из семи чудес России, это особые «столбы выветривания» в междуречье рек Печоры и Илыч.

«Мансийские болваны» (еще одно название маньпупунёр) и правда выглядели инопланетно – мои родители шли до них по тайге пешком, а я сдавала экзамены на филфак, ухаживала за больной бабушкой и никак не могла понять, почему мне при полном отсутствии замечаний ставят за сочинение – «4», за русский язык – «4»...

Много позже я узнала: в тот год люди на филфак были набраны еще до начала экзаменов. Я участвовала в отборе, в котором не было шансов. Факультет был обязан взять вне конкурса ребят из сельских школ, затем шли ребята из среднеазиатских республик, а дальше – те, кого называют «блатными». Для выпускников городских школ мест уже не оставалось.

В тот год многие талантливые, литературно одаренные абитуриенты пришли поступать на филфак ННГУ, но они, как и я, оказались за чертой поступления.

Вернувшись из отпуска, родители обнаружили меня в слезах.

– Ты должен восстановить справедливость, – сказала мама папе.

– Я никуда не пойду, – ответил папа.

Но справедливость все-таки была восстановлена: ректор ННГУ Андрей Григорьевич Угодчиков позвонил папе сам.

– Виталий Анатольевич, я сейчас просматриваю списки не поступивших на филфак, – произнес удивленно, – и вижу в них Звереву Нину Витальевну. Это не ваша родственница?

– Моя, – ответил папа. – Это моя дочь.

– Ну что же вы не предупредили, Виталий Анатольевич! – расстроился ректор. – Я же вижу, что у нее хорошие результаты! Просто в этом году сумасшедший конкурс на филфак, и мы...

– Ничего страшного, Андрей Григорьевич, – перебил его папа, – Нина будет поступать в следующем году, а пока спокойно пойдет работать.

Но ректор решил по-другому: мне было предложено побыть кандидатом – посещать университет без студенческого билета, но иметь возможность сдавать экзамены вместе со всеми. Умный ректор понимал: многие из тех, кто поступил «по особому набору», покинут вуз после первой же сессии. А учить филологии кого-то нужно!

Так и произошло. Первую сессию (как и все последующие) я сдала на отлично, на втором курсе получила свой студенческий билет – но история с поступлением так и осталась раной на моем сердце.

## Письма – огромная ценность

И вот – июнь, мой муж уехал в стройотряд, чтобы заработать денег и отдать их родителям (мы занимали у них деньги на свадьбу, и муж не мог спокойно спать, зная, что долг не возвращен).

Мама обнаруживает письма.

Те самые письма Блока Зое Владимировне Зверевой. Письма, о существовании которых мы даже не подозревали.

– Подожди, – произнесла мама после того, как первый шок прошел. – То, что на письмах стоит подпись Блока, еще не означает, что их писал именно Блок. Может быть, это какая-то шутка? Ну как такое может быть – в городе Горьком письма Блока?

Мама стала показывать письма друзьям. В нашем доме всегда помимо нас были кто-то из друзей. Ситуация, когда мама накрывала ужин, например, на 18 человек, казалась совершенно обычной (сейчас я думаю: как же она справлялась с этим?).

Письма читали, смотрели, трогали. Вечером пришел с работы папа, поднес письмо к окну.

– Если посмотреть на свет, видны водяные знаки, – сказал он, – это примета дореволюционной бумаги.

– О них никто не должен знать, – мамин голос вдруг стал очень строгим. – Письма – огромная ценность.

– Да, – рассеянно кивнул папа, – тетя Зоя говорила, что она была знакома с Блоком. Правда, она не рассказывала, что они переписывались. Ты права, Нелличка. Об этом не стоит говорить направо и налево.

И родители попросили друзей, которые были у нас дома, не рассказывать о письмах. Друзей в тот день было немного, всего 2-3 человека.

## Скорость распространения слухов

Утром следующего дня я узнала, какой может быть скорость распространения слухов. В 1971 году не было интернета. И даже телефоны стояли далеко не все всех городских квартирах. Меньше чем через сутки нам уже звонили отовсюду и просили рассказать историю чудесного обретения писем.

Звонки шли не только от друзей. Звонили из «Нового мира», из «Литературной газеты». Все говорили, что письма Блока – национальное достояние. И все их требовали.

– У нас дочь – филолог, – говорили мама и папа в ответ на такие звонки. – Она и отвезет письма в Москву. Она окончила первый курс вуза.

И если на фразе «дочь – филолог» слушатели уважительно молчали, то после фразы «она окончила первый курс» слышались, скажем так, нетолерантные смешки.

Но я уже изучила все письма. Я поняла их ценность.

Переписка Зои Владимировны и Александра Блока была активной и, я бы сказала, доверительной. В стопке писем лежала даже визитная карточка Блока, исписанная его потрясающим почерком: «Зоя Владимировна, был у Вас, не застал Вас дома. Жалею об этом, потому что есть вещи, о которых я хотел бы рассказать только Вам и которые хотел бы обсудить только с Вами».

Помню, как екнуло у меня сердце. «Надо же, – подумала я тогда, – какая тесная дружба была между ними!»

Эти письма я отнесла на филфак, показала Георгию Владимировичу Краснову. Уважаемый профессор преподавал русскую классическую литературу. И он был тем самым профессором, ради которого вообще стоило поступать на филфак. Он и Всеволод Алексеевич Грехнёв – студенты сходили с ума от счастья присутствовать на их лекциях.

Георгий Владимирович заведовал кафедрой русской литературы. Он сам был как князь, как герцог. Длинные, красивые руки, глубокие глаза – аспиранты и студенты ходили за ним свитой. Слушать его было счастьем. Я не успевала записывать его лекции: когда он начинал говорить, я замирала, боясь пропустить хоть слово.

– Георгий Владимирович! Георгий Владимирович! Георгий Владимирович! – я приплясывала рядом с ним, пряча в сумке пакет с письмами.

– Да, Нина, – профессор обратил на меня внимание.

Краснов знал нас всех по именам, даже первокурсников.

– У меня письма Блока... У нас дома, в шкафу! Моей тете... – от волнения я совсем сбилась.

Надо было видеть его в тот момент.

– Письма Блока?! – он словно сделал охотничью стойку.

– Вот, – я протянула ему пакет.

– Что, здесь?! – его голос был полон ужаса. – Вы трогали их руками?!

Он взял пинцет и только пинцетом вынимал из конверта каждое письмо и перекладывал его тонкой папиросной бумагой. Меня накрыл стыд и ужас за то, что со своим конвертом неслась через весь город: письма могли помяться, порваться, упасть в лужу!

– Нина, – Краснов повернулся ко мне. – Вы представить себе не можете ценность этой находки. Не говорите никому о ней. Дальше буду действовать я.

## Четыре печатных листа для «Литгазеты»

Среди множества звонков, на которые мы отвечали в те дни, был и звонок из «Литературной газеты», самого уважаемого издания той поры.

– Можно ли к телефону Нину Витальевну? – произнес в трубке приятный женский голос.

Моя мама долго не могла сообразить, какую именно Нину Витальевну голос имеет в виду, пока не поняла – речь идет о ее дочке!

– Меня зовут Алла Николаевна Латынина, – услышала я, когда мама все-таки передала мне трубку. – Я заведу архивом «Литературной

газеты». Мне хотелось бы с вами познакомиться. Расскажите мне, пожалуйста, о письмах Блока.

К тому моменту я не только прочитала все письма, но и изучила все энциклопедии в Ленинской библиотеке и написала статью об этих письмах.

– Надо же, как здорово! – обрадовалась Алла Николаевна. – И какой объем вашей статьи?

– 4 печатных листа, – ответила я, имея в виду четыре листа машинописного текста. Обычных, привычных каждому листа. Я не знала, что печатный лист – это 23 машинописные страницы.

– Как же вы успели за такое короткое время написать целую книгу? – ахнула Латынина.

Тут я и узнала истинный размер печатного листа.

Да, у меня действительно была печатная машинка Erika. Она сохранилась с детства – я писала на ней сценарии для телепередач. С восьми до тринадцати лет я работала на Горьковском телевидении, снималась в детских передачах. А потом я выросла – и меня перестали приглашать.

Но машинка с тех пор осталась, навык скорой печати – тоже. Так что четыре листа я и правда набрала быстро, буквально по первым впечатлениям от прочтения писем.

– Перешлите мне, пожалуйста, этот материал, – попросила Алла Николаевна.

Четыре печатных листа отправились в Москву, и мы все сели возле телефона – ждать ответа. Родители волновались за меня – но лишь до тех пор, пока Латынина не позвонила вновь.

– У вас хороший стиль и слог, – улыбнулась она. – Берите письма и приезжайте к нам в газету.

## Новая жизнь и максимальный гонорар

Токсикоз к тому времени разыгрался не на шутку. Меня рвало от одного вида еды. Вместе с токсикозом накрывала и ложная скромность – казалось неприличным сообщать о своей беременности, и я всячески скрывала этот факт.

Надела мамин костюм, сделала красивую прическу, взяла портфель с письмами – и отправилась в Москву.

На вокзале вышла из поезда.

Проливной дождь смыл мою прическу как душ. Промочил насквозь одежду. С меня слетел пояс, который держал юбку – и она сползала куда-то в район коленок. Но главный мой ужас был: как бы не промокли письма Блока! Я прижимала портфель к животу, старалась закрыть его собой и поддерживала рукой юбку. В таком виде я приехала в редакцию «Литгазеты».

Вахтер на входе меня не пустил.

Я объясняла, что иду к Алле Николаевне Латыниной, что у меня в портфеле письма Блока, что это очень важно. То же самое я объясняла и другим людям, которые пытались меня остановить...

И вдруг ощутила на своем локте чью-то руку. Обернулась. Рядом со мной стоял поэт Евгений Евтушенко.

– Пойдемте-ка, – сказал он, – и повел меня на пятый или шестой этаж старого здания на Цветном бульваре.

– Алла, возьми, пожалуйста, эту девушку, – Евтушенко распахнул дверь кабинета Латыниной. – Она всем встречным и поперечным рассказывает, что у нее в портфеле письма Блока. Ее же могут ограбить!

С этими словами блистательный Евтушенко отдал меня в руки не менее блистательной Аллы Николаевны Латыниной. Так начался новый период в моей жизни.

Я вдруг стала уважаемым человеком. Меня как-то быстро переодели, высушили мою юбку, накормили (никто же не знал, что я потом побегала в туалет и вернула всю еду наружу). Алла Николаевна позвонила в Центральный государственный архив литературы и искусства. Выяснилось, что там сохранились письма Зои Владимировны Зверевой – то есть переписка воссоединилась.

Меня познакомили с Владимиром Орловым – лучшим исследователем-«блоковедом» всех времен. Две недели я работала в «Литгазете»: сидела в архивах, ездила в Ленинград на встречу с Владимиром Орловым. Я жила у подруги моей мамы тети Зины (она активно участвовала в моей «московской» жизни). И через две недели написала большую статью. Ее назвали «23 письма Блока», разверстали на двух полосах «Литературной газеты».

В статье было все – и цитаты из писем, и история того, как письма попали к первокурснице Нине Зверевой.

– Почему вы никогда не спрашивали у меня о гонораре? – поинтересовалась Алла Николаевна, когда я уезжала.

Мысль о том, что за счастье знакомства со звездами «Литгазеты» и две недели невероятной жизни я должна еще и просить гонорар, казалась мне кощунственной.

– Вы первый автор, кого не интересуют деньги, – засмеялась Алла Николаевна, – и поэтому я выпишу вам максимум.

Когда я приехала в свой город Горький, мне пришел перевод. Я до сих пор помню эту сумму. 218 рублей. Мой муж за три месяца вкалывания в стройотряде заработал 148 рублей. Мне было ужасно неловко: он каждый день вставал рано утром, ложился поздно вечером, таскал кирпичи, выполнял самые тяжелые работы... – и мои две недели счастья принесли больше денег.

Я потратила эти деньги на поездку к морю. О море мечтала несколько лет, но последней каплей стала короткая статья в журнале. В ней говорилось: если вы хотите, чтобы у ваших детей были здоровые зубы, ешьте во время беременности виноград.

Я очень хотела, чтобы у моего ребенка были хорошие зубы. Но в средней полосе России даже в разгар лета винограда было не найти. На свои деньги я пригласила маму на юг – и мы поехали. Я ела виноград с утра до вечера (как ни странно, токсикоз на него не распространялся). И вы не поверите: у моей дочери до сих пор нет ни одной пломбы.

## Редакция Горьковского телевидения

Но если вы думаете, что поворотным событием для меня стал визит в «Литературную газету», то – нет. Точнее, статья в «Литгазете» стала толчком к этому событию.

Когда она вышла, в нашем доме раздался звонок (как много в этой истории начинается с телефонных звонков!), и мужской голос сказал:

– Можно ли поговорить с Ниной Витальевной?



– Это я, – ответила трубке. И, не выдержав, добавила: – это я, дядь Володь.

Я мечтала о телевидении. Я работала на нем с 8 до 13 лет. Меня перестали на него приглашать, когда я выросла. Я страдала, переживала, думала: «Вырасту – и они все равно поймут, кого потеряли!» Но как именно «они» должны были понять, не имела представления.

Но когда позвонил Владимир Сергеевич Близнацов, я забыла обо всех обидах – так рада была его услышать. Они все для меня были дяди и тети: дядя Володя, тетя Рона, дядя Миша...

В редакцию Горьковского телевидения я пришла уже с заметным животом – шел шестой месяц беременности. Меня радостно приняли – как будто и не было пяти лет разлуки.

– Ты филолог, ты сама написала статью, – сказали мне, – значит, можешь и сама написать сценарий.

И я сделала передачу про письма Блока.

Письма читали актеры.

Я показывала фотографии Зои Владимировны и Александра Блока. Рассказывала про историю их отношений, о которой Владимир Николаевич Орлов сказал: «Надо же, это единственная дружба Блока с женщиной! Ведь обычно с женщинами у него были романы. А это – именно дружба. Поразительно, насколько глубоко Блок доверял Зое Владимировне и как высоко он ее ценил!»

Я сделала эту программу в прямом эфире.

После эфира ко мне подошли все операторы, все технические работники, все, кто был тогда в студии. И все сказали:

– Нина, ты рождена для телевидения. Оставайся!

И я осталась.



## Игорь ЗОЛОТУССКИЙ

Москва

(№ 1, 2016)

### ПЕРВЫЙ ПОЭТ НАЧАЛА ХХ ВЕКА

*Вышли ангела, Боже,  
С нежно-белым крылом!*  
А.А. Блок

О Блоке я не могу говорить беспристрастно, ведь я родился с ним в один день, двадцать восьмого ноября, с разницей в пятьдесят лет. По народной вере, с этого дня, увидев зиму на пегой кобыле, все нечистые убегают с земли и прячутся в преисподнюю до самых зимних Святок... Хотя какое это сейчас имеет значение?

Александр Александрович Блок появился на свет в 1880 году, за несколько месяцев до события, от которого он сам потом стал вести отсчет Нового времени. Я имею в виду взрыв, который прогремел на Екатерининском канале 1 марта 1881 года и унес жизнь Царя-Освободителя.

Помните, в поэме «Возмездие»:

Все издалёка предвещало,  
Что час свершится роковой,  
Что выпадет такая карта...  
И этот века час дневной –  
Последний – назван первым марта.

Родился он в дворянской семье, очень образованной, там были писатели, профессора; его дед был профессор, его тесть – Менделеев – тоже был профессор, мать была литератор, переводчица... Одним словом, он вырос в атмосфере высокой культуры русского дворянства. Не всё дворянство того времени могло составить гордость России, но Блоку повезло.

Есть прекрасная фотография: маленький Саша вместе с матерью, это 1883 год. Очень милое лицо у мамы, которую он очень любил (сохранилась огромная их переписка, пятьсот с лишним писем). У нее большие глаза, а рядом с нею, тоже с большими глазами, – белокурый мальчик, прижавшийся к ней. Он сам называл себя «дитя любви и света». И вот этому ребенку пришлось испытать на себе все, что испытала Россия в конце девятнадцатого и в начале двадцатого веков.

Блок появляется в России в пору затмения. Когда затемняется русское сознание, начинает оседать русское государство, когда поэзия переходит в поэзию конца. Гибель дворянства, интеллигенции, России становится подавляющей темой в русской поэзии конца девятнадцатого века. И в это время в нашей поэзии появляется Блок. На его плечи ляжет ответственность за то, чтобы литература выдержала эту тяжесть и вышла из-под нее живой. Должен сказать, что это единственный пример в великой русской литературе конца девятнадцатого – начала двадцатого века.

Когда родился Блок, еще были живы Гончаров, Лесков, Тургенев, я уж не говорю о Толстом и появившемся на свет немного раньше Блока Чехове. Его еще окружала великая русская литература. Начало его пути так или иначе было связано с апокалипсическими настроениями русской интеллигенции, русской философии и русской поэзии.

Блок начинал как поэт очень отвлеченный, как поэт, воспевающий некую «вечную женственность». Это понятие ввел в свою философию Владимир Соловьёв. Что такое «вечная женственность»? Это будто не реальная женщина, а ее образ, ее идеал, почти сон о ней. И целый цикл стихов Блока, он называется «Стихи о Прекрасной Даме», посвящен прославлению, обожествлению, поклонению, восхищению вечной женственностью неизвестной никому женщины.

Ранняя поэзия Блока еще блуждает в туманах этой отвлеченности, которая никогда не была свойственна русской поэзии девятнадцатого века. В эту поэзию входят и мотивы мирового катаклизма, и какой-то небесной любви, не связанной никак с христианством, и, наконец, предчувствия собственной катастрофы.

Дело в том, что у интеллигенции тех лет – а Блок родился в либеральной интеллигентной семье, воспитанной на либеральных идеях, – преобладало мнение, что русская литература одряхлела, потому что нигилизм подточил основы русской культуры, русской нравственности, государственности и всего, на чем стояла Россия, я уж не говорю о религии.

Но Блок творит в пространстве, в котором совершенно отсутствует то, о чем я сейчас сказал. Неопределенные образы, неясные метафоры, расплывчатый, размытый образ красоты – вот черты его ранней поэзии. Надо сказать, что этой своей Прекрасной Даме он посвятил восемьсот стихов. В наследии любого другого поэта это могло бы составить все его достояние. С Блоком так не случилось.

Возникает впечатление снижения в полете, выхода из облаков при спуске с высоты на землю – в начале двадцатого века поэзия Блока и сам поэт опускаются в петербургские переулки, пивные, рестораны, на улицы, во дворы, и сразу в его поэзии появляется облик русского города – да, города упадка, города грядущих бедствий и грядущей крови, но все-таки осязаемого, живого русского города. И через эти переулки поэт выходит затем на площади, и на третьем этапе совершается то, что делает Блока великим поэтом России. Он выходит не просто на площади, а в пространство всей русской земли. В русское поле, в Куликово поле – во все пространство, которое составляет его великая страна. И тогда-то Блок становится Блоком.

Конечно, у него были свои представления об истории, о будущем и настоящем России. Он их выразил в своих статьях, у него есть программные статьи, где он обосновывает свою точку зрения. И главной такой статьей, написанной в 1919 году, является «Крушение гуманизма».

Блок начинает ее с рассмотрения эпохи Ренессанса. Вы помните, что такое Ренессанс, эпоха, когда в центр мира был поставлен Человек, и только Человек. Уже Бога на небе не было, уже человек был – все.

Блок считает это время началом распада великой культуры, завещанной нам сначала древними греками и потом, наконец, началом самого Ренессанса.

Главной идеей Блока как поэта, идеей того, что есть жизнь, что составляет ее сущность и в чем ее смысл, является идея музыкальная. Если дух музыки отлетает от культуры, то гибнет культура.

Музыку создавали великие единицы, гении. Они уходят, и на место гармонии приходит шум и хаос.

Но все-таки Блок считает, что музыкальное начало в истории бессмертно. Оно вернется. Оно очистит мир от той скверны, в которой мир находится до сих пор. И вы, возможно, удивитесь, если я скажу, что это музыкальное начало Блок видит в революции.

Для нас революция – это аритмия. Это разрыв гармонии. Это нарушение мелодии, мотива. Это – конец музыки, это, действительно, шум, а не музыка. Тот шум, который потом продиктует Блоку его великую поэму «Двенадцать».

Но Блок верит в музыкальность масс. Придет варвар, который разрушил Рим и обновил этот гниющий мир. Придет революция, чтобы спасти этот мир, придут массы и принесут с собой эту великую музыку, которая снова соединит людей, очистит их и спасет. Заметьте, что в этих размышлениях Блока совершенно отсутствует Бог.

Его нет. Есть утопическая, красивая, искренняя идея, которой Блок отдал часть своей жизни. Я имею в виду идею музыкальной подосновы истории.

«Безмузыкальная цивилизация», – говорит он о цивилизации конца девятнадцатого – начала двадцатого века.

А я бы сказал – безбожная. Блок придет к этой мысли позже, и поздно. Очень поздно, но поднимется при этом на такую высоту, которая сделает его достойным и Лермонтова, и Тютчева, и Пушкина. Через падение, через упадок (слово «декаданс» и означает упадок) – через декаданс, через грех, соблазн – вверх, такова амплитуда поэзии Блока.

У него есть цикл итальянских стихов. Он писал, что, когда был в Италии, его «обожгло» искусство. В этих стихах присутствует то образ Девы Марии, то русской иконы в церкви, которую он вспоминает в Италии, то просто на стене храма, в фреске или в скульптуре, и всюду поэт вступает с Божьей Матерью в непозволительную связь. Блок впадает в тот же грех, в который впал Пушкин, написав «Гавриилиаду». Пушкин каялся, проклинал себя за эту вещь, и этот грех потом повторился у Блока. И, кажется, что у Блока были все основания для такого отношения – не к Матери Божьей, а к церкви, к религии, вообще к Божеству. Поскольку на его глазах церковь опускалась. Еще со времен Петра она начала опускаться, и опускалась все ниже, ниже, и Блок не раз писал об «икающих попах», о том, что «трезвонят колокола до потери сил», что в церковь идти не хочется. Он может зайти только в пустую церковь. А в церкви, где звучат проповеди, и священник выходит с крестом, икая, он идти не хочет. Блок не ищет спасения там, где его и можно найти. Я, по крайней мере, убежден в этом.

Трагедия безверия, неверия, более того, трагедия обожествления поэта до уровня, когда он становится на место Иисуса Христа! Блок сравнивает поэта с Христом и говорит, что это одно и то же: поэт так же изранен, так же гвоздями прибиты его руки к кресту; и эти страшные переживания Блока, который действительно «дитя света», который тянется к тому, что почему-то соблазняет его, даже изображения Мадонны кажутся ему похожими на изображения демонов, кошек, на плотоядных самок... эти страшные стихи страшно читать. И это великое «затмение» не только Блока, а в его лице опадающей и как бы сходящей с сияющей вершины классики великой русской литературы. Никогда никто из русских писателей не позволял себе этого; никогда Христос не был героем ни одного из произведений русской литературы.

Да, он появляется в «Братьях Карамазовых», но он безмолвное лицо, он ничего не говорит. Князя Мышкина в «Идиоте» мы не можем считать Христом... Отвлекаясь, добавлю, что так же мы не можем считать Христом и Иешуа в романе Булгакова «Мастер и Маргарита».

Потому что не может Сын Божий посылать на землю дьявола, чтоб тот мстил людям за их прегрешения. Сравните короткую поэму Блока «Двенадцать», он ее написал единым порывом, и «Мастера и Маргариту» Булгакова, закатную, «культовую» книгу, где есть образы Евангелия, но нет Христа. Впереди всей этой кавалькады один дьявол. А впереди двенадцати – идет все-таки Христос. Но я забежал вперед.

Музыкальность самого Блока очевидна с первых же его стихов. Это – то, что преодолевает неопределенность его метафор, его чувств, его обращений к некой женщине, бесплотной, бесплодной, без лица, без сердца. Все знают знаменитое стихотворение «Незнакомка». В нем метафоризм, отвлеченность, абстрактность идеала соединяются с мощной музыкой стиха:

По вечерам над ресторанами  
Горячий воздух дик и глух,  
И правит окриками пьяными  
Весенний и тлетворный дух.

Вдали над пылью переулочной,  
Над скукой загородных дач,  
Чуть золотится крендель булочной,  
И раздается детский плач.

И каждый вечер, за шлагбаумами,  
Заламывая котелки,  
Среди канав гуляют с дамами  
Испытанные остряки.

Над озером скрипят уключины  
И раздается женский визг,  
А в небе, ко всему приученный,  
Бессмысленно кривится диск.  
И каждый вечер друг единственный  
В моем стакане отражен  
И влагой терпкой и таинственной  
Как я, смирен и оглушен.

А рядом у соседних столиков  
Лакеи сонные торчат,  
И пьяницы с глазами кроликов  
«In vino veritas!» кричат.

И каждый вечер, в час назначенный  
(Иль это только снится мне?),  
Девичий стан, шелками схваченный,  
В туманном движется окне.

И медленно, пройдя меж пьяными,  
Всегда без спутников, одна,  
Дыша духами и туманами,  
Она садится у окна.

И веют древними поверьями  
Ее упругие шелка,  
И шляпа с траурными перьями,  
И в кольцах узкая рука.

И странной близостью закованный,  
Смотрю за темную вуаль,  
И вижу берег очарованный  
И очарованную даль.

Глухие тайны мне поручены,  
Мне чье-то солнце вручено,  
И все души моей излучины  
Пронзило терпкое вино.

И перья страуса склоненные  
В моем качаются мозгу,  
И очи синие бездонные  
Цветут на дальнем берегу.

В моей душе лежит сокровище,  
И ключ поручен только мне!  
Ты право, пьяное чудовище!  
Я знаю: истина в вине.

Озерки, пригород Петербурга. Кабак, вино, пьяные – и появление этого почти призрака, женщины, очарованная синяя даль... Пройдет немного времени, и Блок скажет, что эта даль русская – цвета крови. Он увидит эту кровь на русском небе. Не очарованная даль, не голубая, а кровавая.

Вот еще одно стихотворение, связывающее нас с нежностью и любовью к русской лирике:

Погружался я в море клевера,  
Окруженный сказками пчел.  
Но ветер, зовущий с севера,  
Мое детское сердце нашел.  
Призывал на битву равнинную –  
Побороться с дыханьем небес.  
Показал мне дорогу пустынную,  
Уходящую в темный лес.

Я иду по ней косогороми  
И смотрю неустанно вперед,  
Впереди с невинными взорами  
Мое детское сердце идет.

Пусть глаза утомятся бессонные,  
Запоет, заалет пыль...  
Мне цветы и пчелы влюбленные  
Рассказали не сказку – быль.

В самые тяжкие минуты чтения безотрадных стихов Блока я вспоминаю это стихотворение и чувствую детское сердце, которое продолжает биться в его груди. Оно ведет туда, куда он должен прийти в конце концов.

А вот еще одно, другой темы:

Ты проходишь без улыбки,  
Опустившая ресницы,  
И во мраке над собором  
Золотятся купола.

Как лицо твое похоже  
На вечерних богородиц,  
Опускающих ресницы,  
Пропадающих во мгле...

Но с тобой идет кудрявый  
Кроткий мальчик в белой шапке,  
Ты ведешь его за ручку,  
Не даешь ему упасть.

Я стою в тени портала,  
Там, где дует резкий ветер,  
Застылающий слезами  
Напряженные глаза.

Я хочу внезапно выйти  
И воскликнуть: «Богоматерь!  
Для чего в мой черный город  
Ты Младенца привела?»

Но язык бессилён крикнуть.  
Ты проходишь. За тобою  
Над священными следами  
Почивает синий мрак.

И смотрю я, вспоминая,  
Как опущены ресницы,  
Как твой мальчик в белой шапке  
Улыбнулся на тебя.

Блока сначала соблазняет, искушает, ломает и заставляет пасть образ матери. Свою мать он очень любил. И Богородица, и мать Блока не дают ему успокоиться, потому что, да, попы с крестами, которые икают в церквах, этот нудный колокольный звон, этот обман официальной религии, все это он чувствует и видит, но этот белый мальчик, которого мать вводит в церковь, – он сам.

Когда Блок опускается с небес на землю, становится поэтом русской жизни, а не вечной женственности, у него появляются такие стихи:

Под насыпью, во рву некошенном,  
Лежит и смотрит, как живая,  
В цветном платке, на косы брошенном,  
Красивая и молодая.

Бывало, шла походкой чинною  
На шум и свист за ближним лесом.  
Всю обойдя платформу длинную,  
Ждала, волнуясь, под навесом.

Три ярких глаза набегающих –  
Нежней румянец, круче локон:  
Быть может, кто из проезжающих  
Посмотрит пристальней из окон...

Вагоны шли привычной линией,  
Подрагивали и скрипели;  
Молчали желтые и синие;  
В зеленых плакали и пели.

Вставали сонные за стеклами  
И обводили ровным взглядом  
Платформу, сад с кустами блеклыми,  
Ее, жандарма с нею рядом...

Лишь раз гусар, рукой небрежною  
Облокотясь на бархат алый,  
Скользнул по ней улыбкой нежною,  
Скользнул – и поезд в даль умчалю.

Так мчалась юность бесполезная,  
В пустых мечтах изнемогая...  
Тоска дорожная, железная  
Свистела, сердце разрывая...

Да что – давно уж сердце вынуто!  
Так много отдано поклонов,  
Так много жадных взоров кинуто  
В пустынные глаза вагонов...

Не подходите к ней с вопросами,  
Вам все равно, а ей – довольно:  
Любовью, грязью иль колесами  
Она раздавлена – все больно.

Помню, когда-то в юности эти стихи просто потрясли меня. Сравните их с его итальянскими стихами, страшными отклонениями от христианских святынь. А ведь каждому человеку нужна святыня, без святыни жить нельзя.

### БЛАГОВЕЩЕНИЕ

С детских лет – видения и грезы,  
Умбрии ласкающая мгла.  
На оградах вспыхивают розы,  
Тонкие поют колокола.

Слишком резвы милые подруги,  
Слишком дерзок их открытый взор.  
Лишь она одна в предвечном круге  
Ткет и ткет свой шелковый узор.

Робкие томят ее надежды,  
Грезятся несбыточные сны.  
И внезапно – красные одежды  
Дрогнули на золоте стены.



Всем лицом склонилась над шелками,  
 Но везде – сквозь золото ресниц –  
 Вихрь ли с многоцветными крылами,  
 Или ангел, распростертый ниц...

Темноликий ангел с дерзкой ветвью  
 Молвит: «Здравствуй! Ты полна красоты!»  
 И она дрожит пред страстной вестью,  
 С плеч упали тяжких две косы...

Он поет и шепчет – ближе, ближе,  
 Уж над ней – шумящих крыл шатер...  
 И она без сил склоняет ниже  
 Потемневший, помутневший взор...

Трепеща, не верит: «Я ли, я ли?»  
 И рукою закрывает грудь...  
 Но чернеют пламенные дали –  
 Не уйти, не встать и не вздохнуть...

И тогда – незнаемую болью  
 Озарился светлый круг лица...  
 А над ними – символ своеволя –  
 Перуджийский гриф когтит тельца.

Лишь художник, занавесью скрытый, –  
 Он провидит страстной муки крест  
 И твердит: «Profani, procul ite,  
 Nis amoris locus sacer est\*».

Я очень люблю картину Леонардо да Винчи «Благовещение». Она находится в Галерее Уффици во Флоренции. Никто не изобразил так Мать Господа, как это сделал художник. На картине запечатлен момент, когда архангел Гавриил приходит к порогу Ее дома и, преклонив главу, сообщает Ей о том, что Она родит Сына Бога. И столько целомудрия, и столько влекущей женственности в будущей Матери Христа, которая не может нести в душе какие-то черные мысли!

У Блока постоянно символ зла – ястреб, гриф, демон. И он здесь терзает тельца. А поэт как бы стоит за занавесью в этом саду – и что он видит? Страшное стихотворение. Красивое, а оттого еще более страшное. И красота может внушать ужас. Может.

Сейчас мы снизошли до дна, до которого опустилась поэзия Блока, чтобы подняться с него и восстать. Как восстал он. Свидетельство тому – цикл «На Куликовом поле» о победе русского оружия над татарской ордой и, конечно, поэма «Двенадцать», написанная в 1918 году в течение двух месяцев.

Тогда же, в январе 1918 года, написано стихотворение «Скифы», откуда я процитирую только несколько строк:

Вы сотни лет глядели на Восток,  
 Копя и плавя наши перлы,  
 И вы, глумясь, считали только срок,  
 Когда наставить пушек жерла...

\* Идите прочь, непосвященные: здесь святое место любви (лат.).

О, старый мир! Пока ты не погиб,  
Пока томишься мукой сладкой,  
Остановись, премудрый, как Эдип,  
Пред Сфинксом с древнею загадкой!..

Россия – Сфинкс. Ликуя и скорбя,  
И обливаясь черной кровью,  
Она глядит, глядит, глядит в тебя,  
И с ненавистью, и с любовью!..

Да, так любить, как любит наша кровь,  
Никто из вас давно не любит!

Здесь – прозреньё о новом столкновении с Европой.

Что же касается «Куликова поля», то Блок впервые в русской поэзии называет Русь «женою»:

О, Русь моя! Жена моя! До боли  
Нам ясен долгий путь.

Обычно принято называть Россию матерью, матушкой. Жена – значит, обрученная, дарованная нам Богом, хоть и мать дает нам Бог.

Это особая, высшая близость к России позволяет взглянуть на ее будущее без страха.

И вечный бой! Покой нам только снится...

Над полями России – «закат в крови». Впереди Блок видит пожар. Видение пожара мучает его и в «Двенадцати», и в «Возмездии».

Мировой пожар в крови.

Это – из «Двенадцати».  
Из «Возмездия»:

Над всей Европою дракон,  
Разинув пасть, томится жаждой...  
Кто нанесет ему удар?..  
Не ведаем: над нашим станом,  
Как встарь, повита даль туманом,  
И пахнет гарью. Там – пожар.

Здесь Блок переходит из века «железного», девятнадцатого, в век более страшный – двадцатый, в котором нас ждут «неслыханные перемены, невиданные мятежи».

Двадцатый век... Еще бездомней,  
Еще страшнее жизни мгла  
(Еще чернее и огромней  
Тень Люциферова крыла).  
Пожары дымные заката  
(Пророчества о нашем дне)...  
<...>

...И неустанный рев машины,  
Кующей гибель день и ночь,  
Сознание страшное обмана  
Всех прежних малых дум и вер...

Поэма «Двенадцать» остается до сих пор загадкой для многих, кто пишет о ней, думает о ней, пытается понять замысел Блока, который, с одной стороны, ясен, а с другой – уходит в туман. Я имею в виду, конечно, образ Христа.

Эти двенадцать безымянны, кроме двух, у которых (Андрюха, Петруха) имена апостолов, а третий – Иван, тоже носит апостольское имя, но он не с ними, он гуляет, и они готовы убить его.

Да, это революция. А точнее, это последняя дуэль поэта с некогда обожествляемой им Революцией. Он выходит с нею здесь один на один. Дело в том, что не только поэты, но и читатели, зрители, любящие литературу люди восприняли эту поэму как апологию революции и апологию большевизма. Ведь Блок в статье «Крушение гуманизма» предлагал услышать и принять музыку революции. Если это и означало сотрудничество с теми, кто взял власть, то лишь как музыкальное сотрудничество.

Но к тому времени, когда была написана поэма «Двенадцать», стало ясно, что этого не будет никогда. И отчаяние охватило душу Блока. Великая трагедия великого поэта, который даже в падениях и в восторгах своих велик. В сомнениях, в соблазнах, в грехах – тоже велик. Но и в отчаянии, и в разочаровании, и в желании покаяния и очищения он еще более велик. Это и происходит в поэме «Двенадцать».

Корней Чуковский написал о нем книжку, которая называется «Александр Блок как человек и поэт». В ней он рассказывает о том, как была написана поэма «Двенадцать». Да, она отделялась в течение двух месяцев, января – февраля восемнадцатого, но главную и большую ее часть (сердцевину) он написал буквально в два дня.

«Не поразительно ли, что всю поэму «Двенадцать» он написал в два дня? Он начал писать ее с середины, со слов:

Уж я ножичком  
Полосну, полосну! –

потому что, как рассказывал он, эти два «ж» в первой строчке показались ему весьма выразительными. Потом перешел к началу и в один день написал почти все: восемь песен, до того места, где сказано:

Упокой, Господи, душу рабы Твоя...  
Скучно!

Почти всю поэму – в один день!»

На самом деле это было завещание поэта. И исповедь его.

Поэма сначала была напечатана в газете, а потом издана в издательстве «Алконост» с рисунками Юрия Анненкова.

Возвращаясь к книге Чуковского:

«Помню, как-то в июне в 1919 году Гумилёв, в присутствии Блока, читал в Институте Истории Искусств лекцию о его поэзии и, между прочим, сказал, что конец поэмы “Двенадцать” (то место, где является

Христос) кажется ему искусственно приклеенным, что внезапное появление Христа рассчитано на чисто литературный эффект.

Блок слушал, как всегда, не меняя лица, но по окончании лекции сказал задумчиво и осторожно, словно к чему-то прислушиваясь:

– Мне тоже не нравится конец “Двенадцати”. Я хотел бы, чтобы этот конец был иной. Когда я кончил, я сам удивился: почему Христос? Но чем больше я вглядывался, тем яснее я видел Христа. И я тогда же записал у себя: к сожалению, Христос».

Это – подземная жизнь души поэта, когда он, даже не сознавая, как бы наблюдая со стороны, видит выход существа своего отношения к миру, к свету. Выход на свет, в словах.

Поэма «Двенадцать» как раз не совпадает с музыкальной теорией Блока, потому что Блок говорил, что история – это ритмы, в данном случае ритмы музыки. Ритм «Двенадцати» разрушен. Там все время звучат выстрелы, крики, рычание и скулеж пса. Поэма вся как бы выходит из хаоса, а не из гармонии. Вот эта улица безвестная, по которой идут двенадцать – кто они такие? Солдаты? Да, они с ружьями, у них черные ремни, они ждут какого-то таинственного врага. Революционеры? А вместе с тем Блок пишет, что им бы на спину бубновый туз, как у колодников, преступников. Стало быть, по петербургской улице, в метели и пурге шествуют двенадцать преступников. Эти люди олицетворяют движение времени, революционную поступь, революционный шаг. Вот отношение Блока к тем, с кем он хотел бы заключить музыкальное соглашение. Не получилось. Не вышло. И эта трагедия стала фактом великого искусства, воплотилась в этой короткой поэме.

Пожалейте Катюку «толстомордую», которую убили ее партнеры. «Шоколад Миньон жрала»... Чуковский пишет, что эту строчку Блоку подсказала жена. У Блока изначально было – «Юбкой улицу мела», но Любовь Дмитриевна справедливо заметила, что тогда женщины носили короткие юбки.

Всмотритесь в краски поэмы, в ее цвет.

Черный ветер.  
Белый снег,  
Ветер, ветер!

На ногах не стоит человек.

Здесь поэт выходит за пределы России восемнадцатого года. Он выходит во весь Божий мир. Потому что эту катастрофу переживает не только Россия, а переживает цивилизация, европейская и мировая. Так сразу масштаб этих стихов расширяется и увеличивается. Блок обнимает собою все мировое пространство. Это не частное явление, это не частный проход какой-то странной команды по улицам Петербурга. Это страшная поступь зла, которая отдается во всем мире.

Свобода, свобода,  
Эх, эх, без креста!

Я думаю, все мы, живущие сейчас, не можем не откликнуться на эти слова, потому что мы получили именно такую свободу, уже сейчас, в двадцать первом веке.

Эти самые «бубновые тузы» и распоясались, а рефрен про свободу *без креста* все повторяется, и временами появляется ощущение, что они понимают, что творят.

Мировой пожар в крови –  
Господи, благослови!

Они все время повторяют Его имя – да как же потом не появиться Ему перед ними? Не во главе их, а перед ними, вот в чем дело.

«Упокой, Господи, душу рабы Твоя» – и непосредственно за этой строкой следует одно слово:

«Скучно!»

Я не знаю в русской литературе сочинения, где бы столь неотвратимо было бы выражено отчаяние от случившегося в России.

Ну и, наконец, что ж:

...Так идут державным шагом –  
Позади – голодный пес.  
Впереди – с кровавым флагом,  
И за вьюгой невидим,  
И от пули невредим,  
Нежной поступью надвьюжной,  
Снежной россыпью жемчужной,  
В белом венчике из роз –  
Впереди – Иисус Христос.

Кровавый флаг в руках не у Христа. Для Него нашлись другие строки. Поэзия Блока снова взмывает в небо, но уже не в книжное, не в метафорическое небо, в том смысле, что оно безлично, бесцветно, неодушевлено. Появляются нежные слова о Том, Кто впереди. Другого спасения для России, для мира, да уж, конечно, и для себя Блок не видит. Вот в чем величие этой поэмы, в чем величие всего того, что сделали великие русские писатели в девятнадцатом веке – чтоб и преемник, каявшись, страдая, кощунствуя, пришел к этой высоте.

Что еще добавить? Если вернуться в наши дни, то недавно в Ульяновске прошел конгресс «Культура как ресурс модернизации общества». На берегах Волги, в центре исторического города, где родились многие великие люди русской культуры, например Карамзин, Гончаров, Языков и другие. «Семь тезисов о русском» произнесли Александр Аузан, президент Института национального проекта «Общественный договор», Павел Лунгин, кинорежиссёр, который в своём фильме о «Мертвых душах» надругался над Гоголем, Виталий Найшуль, директор Института национальной модели экономики, Александр Архангельский, телеведущий, профессор Высшей школы экономики... Я называю их имена не для того, чтобы восстановить читателя против этих лиц, во мне нет к ним персонального недоброежелательства. Но вот какую концепцию модернизации общества на основе культуры они нам предложили на родине Карамзина:

«И никакие факторы традиционности нам не помешают... Хотя стоит отметить, что культурные установки помогают российским работникам в большей степени строить карьеру предпринимателей на малых инновационных предприятиях».

Ах, вот для чего нужна культура – карьеру строить.

«А у тех, кто закончил американскую и европейскую школы, никаких специфически национальных установок в сфере трудовой организационной этики нет».

Стало быть, и у нас, хорошо бы, если б не было?

«Формула культуры имеет значение служить доводом для охранительства».

Ох уж это охранительство, как оно страшно! А что это такое? Это – охрана того, что сделано нашими предками.

«Например, из поколения в поколение в России складывалась склонность к отрицанию стандартов и к поиску нетипичных решений».

Никогда в русской культуре отрицание не играло главенствующей роли. И не складывалась никакая концепция «отрицания стандартов». Если эти «стандарты» – человечность, любовь, сострадание, жалость.

В общем, они ведут поиск новых точек опоры, но этот поиск не должен быть «охранительным»: они революционеры.

«Следствием вытеснения метафизических ценностей является прагматизм как философия нового поколения».

Простите, какие метафизические ценности имеют в виду авторы этого проекта? Уж конечно, не «Кодекс строителя коммунизма», а «Евангелие». Это оно для них «метафизические ценности». Какая игра ума – правда, невысокого, прямо скажем, – видна в этих теориях!

Музыкальное соглашение с этой компанией невозможно. И как был прав Блок, когда в своем последнем стихотворении написал:

Имя Пушкинского Дома  
В Академии наук!  
Звук понятный и знакомый,  
Не пустой для сердца звук!

Это – звоны ледохода  
На торжественной реке,  
Переключка парохода  
С пароходом вдалеке.

Это – древний сфинкс, глядящий  
Вслед медлительной волне,  
Всадник бронзовый, летящий  
На недвижимом скакуне.

Наши страстные печали  
Над таинственной Невой,  
Как мы черный день встречали  
Белой ночью огневой.

Что за пламенные дали  
Открывала нам река!  
Но не эти дни мы звали,  
А грядущие века.

Пропуская дней гнетущих  
Кратковременный обман,  
Прозревали дней грядущих  
Сине-розовый туман.

Пушкин! Тайную свободу  
Пели мы вослед тебе!  
Дай нам руку в непогоду,  
Помоги в немой борьбе!

Не твоих ли звуков сладость  
Вдохновляла в те года?  
Не твоя ли, Пушкин, радость  
Окрыляла нас тогда?

Вот зачем такой знакомый  
И родной для сердца звук –  
Имя Пушкинского Дома  
В Академии Наук.

Вот зачем, в часы заката  
Уходя в ночную тьму,  
С белой площади Сената  
Тихо кланяюсь ему.

Вот какую свободу призывал Блок. Не явную, не внешнюю, не оглашенную, а тайную. И возрастает она не на улицах и площадях, а в наших душах.

Вот вам финал. Пожалуй, все.



**Алексей ИВАНОВ,  
Юлия ЗАЙЦЕВА**

*Пермь*  
(№ 4, 2016)

**ДЕБРИ**

*(Фрагменты книги)*

## МАНГАЗЕЯ ЗЛАТОКИПЯЩАЯ История Мангазеи и пушного промысла

Мангазею построили безбашенность и расчёт.

К концу XVI века в Заполярье набежало много разных людишек. Спасались от государственных податей, от судов и долгов, прятали награбленное или искали выгоды там, где соболей – что снегов, а царёвых казначеев днём с огнём не сыскать. Мангазея – самая северная duty free на планете, к тому же отсюда через Ледовитый океан можно было выйти на европейские рынки, жадные до мягкого золота. В обход казны шёл гигантский пушной трафик. Обуздать его и направить в государев карман Борис Годунов в 1600 году послал князя Михаила Шаховского с войском. Экспедиция была тут же разгромлена инородцами, князь ранен. Подозревали, что местным самоедам побить царского посланника помогали русские, которые надеялись и дальше промышлять в этих краях бесконтрольно.

Однако князей у государя много, и каждому подавай соболиную шубу. На следующий год покорять Мангазею послали другого князя, Василия Мосальского, с отрядом в двести вооружённых до зубов воинов. Они и выполнили царский наказ: «отыскать места лутчево, которое бы угодно, крепко, и водяно, и лесно, и впредь бы в том месте городу стоять было мочно, и всякие торговые люди с товары мимо того острогу не обходили некоторыми дорогами и некоторыми делы». Деревянный Мангазейский острог был заложен на руинах старого незаконного поселения на высоком берегу большой реки Таз. С двух сторон его защищали притоки поменьше, а с тыла прикрывали непроходимые леса и болота, находить дорогу в которых умели только собаки и олени местных жителей.

Через три с лишним века археологи с трудом поверят, что великолепный архитектурный ансамбль, достойный лучших произведений мирового зодчества, смог вырасти из вечной мерзлоты Заполярья. Стройные колокольни церквей и пять башен острога крестами пропороли низкое северное небо, предупреждая небесного всадника Мир-Сусне-Хума, что посадки не будет: под копыта его боевого лося здесь уже не положат серебряных блюд. Кроме крепости выстроили двести домов, гостиный двор на двадцать торговых лавок, два приказа, винный подвал, хлебные,

соляные и пороховые магазины и больше двух десятков ясачных зимовий для стрелецких гарнизонов, таможенных застав и сборщиков ясака. Самый северный город Российского государства контролировал пространство в тысячи вёрст и приносил в казну гигантские прибыли: в год до ста тысяч только ценных соболиных шкурок, а были еще лисьи, куньи, песцовые, беличьи...

Богатства «украсно украшенной», «златокипящей» и «благословенной» Мангазеи – соболиного Клондайка и песцового Багдада – нужно было защищать от местных инородцев, которые не хотели платить ясак, от своих же буйных промысловиков, которые вдали от столиц привыкли жить по «закону тайги», и от иностранцев, чьи корабли уже бороздили Студёное море в поисках северных сокровищ. Из острога во все концы рассылались «отъезжие караулы» – охотники за нарушителями царских указов о торговле пушниной. Но по Ледовитому океану через Обскую губу контрабандисты могли попасть в Мангазею, минуя таможи в Тобольске и Берёзове. Поэтому в 1619 году царь запретил морской путь и пригрозил смертной казнью тому, кто покажет иностранцам проход в устье Оби.

По слухам, инородцы за медный котёл давали столько шкурок, сколько в него вмещалось. В раскалённых котлах русского азарта мягкое золото Мангазеи бурлило несколько десятилетий – пока не выкипело до дна.

Жару поддавали и мангазейские воеводы, которые порой вместо того, чтобы контролировать фарт, сами бросались за ним в погоню. Серьёзные разрушения городу принесла ссора воевод Григория Кокарева и Андрея Палицына. Старший и младший воеводы с самого начала невзлюбили друг друга: в Мангазею потребовали везти их на разных кочах, отказались жить в одном воеводском доме, отгрохали себе терема на московский манер и беспрестанно строчили кляузы друг на друга. А в 1630 году развязали настоящую войну. В город с караваном кочей прибыли брат и племянник Палицына. Кокорев устроил у них обыск и обнаружил контрабандное вино. Возмущённый младший воевода поднял посадских жителей, Кокарев с частью войска закрылся в остроге. Палицын держал острог в осаде несколько месяцев. Старший воевода ежедневно палил из пушек и разбомбил половину домов посада. «Мангазейская смута» продолжалась два года, людей за это время было убито немного, но большие территории остались без должного управления. Сцепившихся воевод растащили власти: Палицына для профилактики в Москве ненадолго заключили под домашний арест, а потом отправили воеводить на другие территории, а Кокарев верховодил в Мангазее ещё год.

Вот в таких ярких страстях и пронеслась короткая история Мангазеи – города буйных, азартных и предприимчивых. За семьдесят лет всё вино было выпито, а весь зверь в окрестностях выбит. Содержать острог государству стало в убыток, и в 1672 году на Енисее торжественно заложили Новую Мангазею, нынешний город Туруханск.

## ДОБЫТЬ И ПОКАЯТЬСЯ Култ святого Василия Мангазейского

В 1649 году стрелец Стефан Ширяев примчался к мангазейскому воеводе Фёдору Байкову с чрезвычайным сообщением: на пустыре у

приказной избы из земли вышел одним концом гроб. Воевода пожелал удостовериться лично. Гроб открыли и увидели юношу в кровавой рубаше. Старожилы вспомнили, что ещё при основании города был безвинно замучен мальчик-приказчик. Полвека прошло, а гроб цел, и тело будто только что схоронили. Служилые из молодых смотрели на покойника как на чудо. А старожилы не удивлялись, знали уже: что для москвитя нетленные святые мощи, то для сибиряка – климатические условия. Вечная мерзлота и гроб из земли может выдавить, и тело в целости сохранить.

Но вскоре начались исцеления. Кто-то припомнил историю убиенного мальчика, и мангазейцы окончательно убедились, что сибирская мерзлота вернула не тело, а мощи. Самые дерзкие из русских – те, кто пришёл за добычей в дикий северный край, оставив семью и веру, – поверили, что Господь даже здесь не забыл про них и дал в помощь святого, первого и единственного заступника посреди чужой языческой земли.

Мальчика звали Василий. Он был сыном ярославского торговца, всё детство работал в лавке. В 15 лет отец отправил Василия в Мангазею приказчиком к богатому купцу. Скромный молитвенный юноша отличался от грубых, напористых искателей сибирских сокровищ. Купчина воспылал к нему греховной страстью, но получил отпор. А дальше рассказывали по-разному, но всё равно выходил святой.

По одной версии, лавку обокрали. Чтоб отомстить Василию, купец обвинил его в соучастии и отдал государевым людям выбить признание. Василий мог оговорить себя, получить наказание и сохранить жизнь, но решил, что ему дороже христианская честность и не сознавался, и его забили до смерти. В Мангазее, куда каждый второй приходил с новым именем и подложной бумагой, где за грехи платили соболиными шкурками, жизнью за правду мог отдать только святой.

Другой рассказ о Василии предприимчивым мангазейцам показался и вовсе невероятным. Мальчик молился в часовне рядом с лавкой; он слышал, что начался грабёж, но отвлекаться не стал, чтобы не осквернить моление. Когда он закончил молитву и кинулся за помощью, было уже поздно. Купец заподозрил приказчика в соучастии и замучил пыткой, добываясь признания. В суровую, неустроенную, опасную Сибирь приходили не жить, а преодолевать лишения, холод, голод и страх. Все терпели ради корысти, а терпеть ради молитвы мог только святой.

Место, где явился гроб, огородили, потом построили для святых часовню, начали прикладываться к мощам и записывать чудеса. У Василия Мангазейского, покровителя промышленников и звероловов, мангазейцы просили фарта. То ли молитва помогала охоте, то ли удача, но к 1660 году почти весь зверь в окрестностях Мангазеи был выбит. За добычей промысловики потянулись дальше к востоку, на Енисей, и основали Новую Мангазею (Туруханск). В новых землях со своим святым казалось не так страшно, и в Туруханске основали Свято-Троицкий монастырь – теперь было, куда перенести мощи.

В 1670 году из Свято-Троицкого монастыря в Мангазею за мощами Василия пришёл иеромонах Тихон. По легенде, Тихон увидел спящего на холме мальчика. Кругом был снег, а верхушка холма под мальчиком оттаяла и покрылась цветами. Тихон взял мальчика на руки и понёс в Туруханск. Восемьсот верст шёл он без сна и отдыха, и в снегах перед ним протаивала тропа и вырастали цветы.

Иеромонах поместил мощи святого Василия в Троицкой церкви у царских врат. В 1719 году в монастыре построили Благовещенскую

церковь, и в Туруханск из Тобольска приехал сам святитель Филофей (Лешинский), чтобы поклониться мощам и перенести их в новый храм. Когда Филофей возвращался, его дощаник на Енисее попал в страшную бурю. Судёнышко кидало волнами как щепку, ветер выворачивал мачты, а Филофей молился Василию Мангазейскому, защитнику от всех бед и опасностей грозной Сибири. Этим и спасся. В благодарность святитель прислал для мощей Василия Мангазейского раку и написал в его честь кондак.

Василий Мангазейский стал первым православным святым, явленным в Сибири. Русские напористо и дерзко освоили Сибирь за одно столетие. И всё это время от страха, злобы и отчаяния бородатых матёрых мужей спасал кроткий молитвенный мальчик.

## ТАМОЖНЯ БЕРЁТ ДОБРО

### Внутренние таможи в России

До середины XVIII века в Российском государстве неисповедимы были только пути господни. Дороги простых смертных правительство тщательно контролировало. Особенно пристально государево око следило за движением в Сибирь и обратно: по этому пути шёл стратегический для казны пушной трафик.

Российская присказка о том, что у нас не дороги, а направления, не работала, когда дело касалось казённого кармана. Дороги делились на «государевы» и «воровские». «Государевы» были обустроены, с трактирами и постоянными дворами, с ямскими станциями и почтовой службой; здесь находились таможи и потому разрешалось движение купеческих караванов. Внутренние таможи контролировали перемещение любых товаров из одной части страны в другую и взимали пошлины.

Основной таможенной пошлиной была «десятая доля», её брали только российской монетой: серебром или золотом. Имелся перечень товаров, запрещённых к вывозу из Сибири: табак, ремень, водка, лён, медные пятикопеечные монеты и полушки, канифоль, скипидар, мышьяк, свинец, порох, поташ, лосиные кожи, оружие. Но всегда находился способ нарушить запрет, и административная система этому помогала.

Руководили таможами «таможенные головы». Их назначали в Сибирском приказе. Это были купцы и посадские люди, пользующиеся авторитетом, чаще – из Москвы, а не местные. Жалованья за работу начальникам не полагалось, они должны были «кормиться от дел». Вот они и старались «окупить» свою службу поборами. Государство получало свою долю с легальных товаров, а хозяева таможен разживались ещё и взятками с контрабанды. Их помощники – подьячие, целовальники и сторожа – на свой карман работали особенно усердно. В поисках запрещённых товаров они задирали боярыням юбки и заботливо следили за тем, чтобы купцы по весне не парились в трех лисьих или собольих шубах.

Контрабандистов называли мехоношами. Они проносили в поклаже или провозили в небольших обозах пушнину, соль, порох и другие лёгкие или необъёмные, но дорогие товары. Мехоноши пользовались «воровскими» дорогами. Их прокладывали местные жители для своего удобства. Эти тайные тракты не были обустроены, не имели таможен, и купцам с товарами ездить по ним запрещалось. Хитрых мехонош под-

карауливали государевы дозоры и вольные разбойники, выставляя на «воровских» путях пикеты и засады. Но всегда был шанс проскользнуть под защитой метели или тумана, надуть дозорных, отбиться от разбойников. Повезёт – и за дерзость мехоношам отвалится жирный куш, а таможенникам достанется большой кукиш.

Бабиновский тракт был единственной официальной дорогой в Сибирь. По нему шли китайские посольства, легендарный протопоп Аввакум, все великие землепроходцы, ссыльные бояре, купцы и крестьяне-переселенцы. 250 вёрст от Соликамска до Верхотурья зимой на саних преодолевали за пять-шесть дней, в распутицу тащились неделями, а летом в хорошую погоду караваны двигались со скоростью пешехода: 40–50 километров в день. Главная стратегическая дорога России была всего лишь шестиметровой просекой, которую переметало снегом и заваливало буреломом. Паводки сносили мосты, ручьи промывали ямы, в дождь глубокие грунтовые колеи становились непреодолимы. Иностранцы, проехавшие по Бабиновскому тракту, оставили красочные воспоминания о русском экстриме, когда встречные сани сшибались друг с другом и путь продолжал сильнейший, а повозки неслись под гору с такой скоростью, что сминали запряжённых в них лошадей.

У страха глаза велики, но для русских сильнее страха был фарт. В надежде на удачу в конце XVII столетия в Сибирь по Бабиновской дороге каждый год проходило две-три тысячи человек и проезжало около тысячи подвод. На Сибирском тракте главной таможенной была Верхотурская, она контролировала товарооборот с Центральной Россией. За выходом из Сибири в Китай следила другая таможня – Нерчинская. Между этими двумя границами на тысячевёрстном пути располагались промежуточные таможни и Гостиный двор в Тобольске.

После губернской реформы 1708–1711 годов таможни перешли в подчинение сибирским губернаторам. Губернаторы назначали таможенных надзирателей из числа сибирских дворян и купцов. Прежние целовальники и сторожа стали называться канцелярскими и ларёчными служителями. В новом «регулярном» государстве воровство таможенников доросло до организованной преступности под контролем губернаторов, которые сорок с лишним лет эффективно управляли казённым пушным трафиком, прогоняя немалую его часть через свой карман.

Тобольск всегда спорил с Верхотурьем, кто главнее: тот, у кого таможня, или тот, у кого торговля? В 1753 году победил Тобольск, потому что внутренние таможни в России были отменены. Все пути в Сибирь стали теперь легальными. Это убило Бабиновский тракт – он потерял статус единственно дозволенного пути. Вымерла и организованная преступность вокруг «государевых дорог».

А имперские казначеи, любуясь, как с ладони меж перстной струится шёлковый соболиный мех, уже и представить не могли, сколько мягкого золота утекло из казны сквозь пальцы сибирских таможен.

## ПЕРВОССЫЛЬНЫЙ НЕОДУШЕВЛЁННЫЙ

### История Угличского колокола

В лето 1591-е шестьдесят семей из Углича вышли в ссылку в Сибирь. Больше года избитые, закованные в цепи и колодки мужики и бабы с маленькими детьми впроголодь месили три тысячи вёрст снега



и грязи, падали от ветра, теряли в болотах раскисшие лапти и подмётки, заворачивались в тряпье, мазали дёгтем кровавые, изъеденные мошкой лица, просили милостыню и грызли кору. Это были первые сибирские ссыльные: их прогнали на восток через полстраны осваивать стратегически важные территории за Уралом. На каторжных угличанах испытали путь в Сибирь, по которому потом прогонят больше миллиона ссыльных. Ссыльные будут кормить своей кровью эту дорогу смерти до конца XIX столетия, пока в Сибирь не проложат первые рельсы.

Из шестидесяти семей несчастных угличан едва ли половина добрела до Тобольска. Хорошо перенёс дорогу лишь один-единственный ссыльный. В Угличе его сбросили со Спасской колокольни, вырвали ему язык, отрубили ухо и наказали 12 ударами плетей. Всю дорогу в Сибирь ссыльные тащили опального калеку на себе. А весил он 19 пудов 20 фунтов (319 кг), было ему триста лет, и звали его Набатный колокол. Вина на нём была страшная: подстрекал к бунту.

15 мая 1591 года в 12 часов этот колокол собрал на площади весь город Углич. Соборный сторож Максим Кузнецов и поп Федот по прозвищу Огурец что есть сил били в набат: изменники зарезали девятилетнего царевича Дмитрия, сына Ивана Грозного и Марии Нагой! Царевич был последним Рюриковичем, он жил с матерью в ссылке в Угличе. Народ кипел от гнева, крики собравшихся на соборной площади заглушали гул набатного колокола. Брат царевны Дмитрий Нагой выкрикнул имена подозреваемых, и взбешённая толпа кинулась на расправу. При самосуде забили до смерти 15 человек.

Весть о массовом народном самосуде долетела до Бориса Годунова, и на третий день в Углич вошло царское войско, а следом прибыла следственная комиссия Василия Шуйского и митрополита Геласия. Двести человек казнили, Кузнецова, Огурца и ещё 60 семей сослали в крепость Пелым на северном Урале. Наказали и ни в чём не повинный колокол.

В Тобольск колокол прибыл в 1593 году. Воевода Фёдор Лобанов-Ростовский распорядился запереть его в приказной избе и клеймить надписью «Первоссыльный неодоушевлённый с Углича». Но вскоре начальство решило, что «неодоушевлённый ссыльный» должен работать наравне со всеми; ему приделали вырванный язык и повесили на колокольню церкви Всемилоственного Спаса. Позже «по причине резкого и громкого голоса» заключённого перевели на Софийскую соборную колокольню, чтоб отбивал часы и звонил в набат во время пожара.

Через сто лет правнуки ссыльных угличан уже положили своих стариков в мёрзлую сибирскую землю, и теперь считали её своей. Они знали тайные тропы в болотах, ставили капканы на пушного зверя, плели рыболовные морды из прутьев и сети из крапивной пряжи, ходили на Ямыш-озеро за солью, служили на «посылках» у тобольского воеводы. И только один ссыльный за всех всё помнил и почти сто лет кричал о себе грозным набатом. К 1785 году соборная колокольня состарилась и развалилась, и острожника вместе с другими колоколами перевесили на бревенчатые козлы, где он чуть не расплавился в пожаре 1788 года. Новая колокольня была готова в 1797 году, и «ссыльный неодоушевлённый» снова заступил на службу. За сто лет колокол превратился в местную знаменитость, к нему, как друзья по несчастью, приходили сосланные в Сибирь декабристы. В 1837 году по случаю

приезда наследника угличский колокол на время снимали с колокольни «для удобного обозрения этой исторической достопримечательности». А в 1890 году заключённого перевели в тобольский музей в качестве экспоната.

Но в Угличе о колоколе не забыли. Уже через несколько лет после убийства царевича народ объявил колокол стратотерпцем, осуждённым безвинно. К 300-летию ссылки под давлением общественности колокол «амнистировали». После большой общественной дискуссии решено было увезти его в Углич, а в Тобольске оставить копию. Обычно сибирские узники не возвращались на родину, на обратную дорогу не хватало ни денег, ни жизни. А угличский набатный вернулся один за всех.

Расходы по возвращению колокола оплатили восемь богатых жителей Углича. К встрече земляка Углич готовился как к большому празднику. У Спасо-Преображенского монастыря на берегу Волги построили специальную пристань, чтобы пароход с колоколом мог причалить торжественно, под громкое «ура» двухтысячной толпы. Засвидетельствовать своё почтение в парадной форме явилось всё городское начальство и духовенство. В городе было объявлено народное гуляние. К всеобщему ликованию справедливость восстановили. Жаль только, что сотни тысяч сибирских ссыльных, не отлитых в металле, а из плоти и крови, своё наказание не пережили.

## ЗВЕРЬ В СИБИРИ МАМОНТ

### Сибирские мамонты

Иностранцы говорили, что в Сибири обитает сатана. Местные жители то и дело натывались на его гигантские рога, которые угрожающе торчали прямо из земли или прорубались сквозь ледяные глыбы. Страшно было представить, какое чудовище орудовало ими, прокладывая себе путь из глубин на поверхность через твёрдую как камень вечную мерзлоту. Религиозные иностранцы уверенно заявляли: «Это бивни земноводных бегемотов. А Бегемот, как известно, – одно из имён дьявола». Но нехристи-инородцы быстро смекнули, что бивни и кости потустороннего зверя отличаются невиданной на земле крепостью и могут пригодиться в хозяйстве. И аборигены придумали свою легенду, очень практичную. Подземный зверь – это злой дух. Каждый, кто увидит его торчащие из почвы клыки, должен немедленно выкопать их, тогда опасное отродье лишится силы. Легенда превратила промысел мамонтового клыка в миссию спасения человечества от потустороннего зла. И жители Сибири самоотверженно боролись с демонами несколько столетий, не подозревая, что враг давно повержен. Ещё в начале XIX века на севере Сибири добывали около двух тысяч пудов мамонтовой кости в год. Бивни отправляли через Москву в Англию и через Кяхту в Китай.

Кости невиданного животного находили в болотах, в береговых кручах, в земляных отвалах, в талых ручьях. Поэтому зверя считали подземным. Говорили, что он «громиден, чёрен и страшен, и два рога имеет и может двигать этими рогами как захочет. Пища зверя-мамонта – эта самая земля, и ходит он под землёй, земля от того подымается великими буграми, а позади его остаются глубокие рвы, и леса рушатся наземь. И целые населения проваливаются в эти рвы, и люди гибнут». Особенно коварно зверь вредил хозяйственным русским крестьянам.



На высоких берегах Тобола и Иртыша крестьяне ставили свои просторные и основательные подворья с банями и конюшнями. Весной большая вода отламывала от берега внушительные куски и глотала их вместе с избами. Когда река отступала, мужики находили в отвалах бивни и по ним определяли обидчика: берег изнутри подгрыз гигантский зверь мамонт. Чтоб отвадить нечисть от деревни, в половодье крестьяне выносили к реке иконы и опускали их в воду.

Опасный подземный зверь будоражил умы сибирских учёных, любопытство которых было сильнее страха. Целое исследование посвятил мамонтам миссионер Григорий Новицкий: «кости доброты и красоты единые с костью слоновыми», «великостью знамениты», «ветхостью неистленны». Чаще всего, писал Новицкий, кости находят на берегах «Лдистого окиана» и в береговых обрывах рек в Берёзове, Обдорске, Туруханске, а «найпачу Якуцку». Новицкий составил свод версий, кто такой мамонт. По одной из них, это зверь, живущий в недрах земли в пещерах. Когда он случайно выходит наружу, то от сухости воздуха умирает, если поскорее не вернётся обратно. Выглядит это чудовище так: «высотой трёх аршин, длиною пяти аршин, ноги подобни медведя, роги оныя крестообразно сложении на себе носяща, и егда ископывает пещеры, тогда согибается и простирается в подобие ползящего змия».

В конце XVII века тобольский архитектор и знаток Сибири Семён Ремезов нарисовал мамонта для главы Сибирского приказа Андрея Винуса. Рисунок он подписал: «Зверь в Сибири мамонт». Ремезов сам нашёл огромный скелет мамонта в Барабинской степи вблизи озера Чаны. Тридцать казаков доставили находку в Тобольск, а Ремезов собрал этот скелет и установил для всеобщего обозрения на воеводском дворе. Мамонт получился высотой в 36 локтей. Мужики, глядя на это рогатое чудовище, украдкой крестились, бабы охали, а торжествующий Ремезов с секирой в руке гордо стоял внутри конструкции под рёбрами и показывал, что до макушки мамонта не дотянуться и кончиком секиры.

В 1720 году Ремезов показывал своё творение знаменитому исследователю Сибири Даниилу Готлибу Мессершмидту, и тот описал тобольского мамонта в своих дневниках. В 1740 году во время Второй Камчатской экспедиции академик Герхард Фридрих Миллер забрал тобольский скелет и увёз в Академию наук, но через семь лет мамонт Ремезова погиб при пожаре Академии.

## Ярослав КАУРОВ

Нижний Новгород  
(№ 3, 2024)

### ГОРОД СЧАСТЬЕ

Глава из очерка «Юродивый нашего времени»\*

*Напоминаю, что некоторые факты и имена, названия населённых пунктов, а то и приёмы ведения боя изменены по понятным причинам. Но 99% информации здесь – правда.*

Я. К.

Я уже представлял вам моего друга Юру Евстигнеева, мастера рукопашного боя, бывшего полицейского, ветерана Карабаха, Чечни и СВО на Донбассе, абсолютного бессребреника. Рассказывал о его наплевательском отношении к деньгам и чинам, о его талантах тренера, наставника, кулинара и верного товарища в бою. Даже о его болячках, которые он посылает ко всем чертям, и снова уходит на войну. В последнее время наш герой прошёл подготовку по минному делу и специалистом стал просто уникальным.

\* \* \*

В июне 2023 года Юра услышал от большого знатока боевых искусств Серёжи Курушаева о человеке в батальоне «Скиф» (казачья бригада «Терек»), который хотел бы видеть его (Юру) ответственным за боевую подготовку батальона. Тема интересная, батальон – это не рота, дело серьёзное.

Приехал. Пообщались. Показал, что умеет, народу понравилось. Но руководили подразделением люди, в действующей армии сами не служившие, из прокурорских, боевой подготовке особого значения не придавали, не нужна она им была. Поставили бойцом в комендантский взвод.

Юра предложил сделать инженерно-сапёрную службу штурмовых подразделений – при Сталине были такие штурмовые инженерно-сапёрные бригады особого назначения (ШИСБр). Они занимались штурмом городов. При штурме Кенигсберга было 15 таких штурмовых бригад. Непреступная крепость Кенигсберг пала за три дня. Для создания такой службы нужен отдельный транспорт – несколько автомобилей, а лучше бронетранспортеров. На чём-то нужно ездить на задания. И три склада: один – для взрывателей, обязательно с электричеством, специально оборудованный; второй – для взрывчатки;

\* Начало см. «Нижний Новгород», № 5, 2023.

а третий можно просто сарай для инструментов: лопат, ломов и прочего инвентаря.

Предложение так же не поддержали, и Юра остался опять рядовым.

Несколько раз подразделение пытались бросить на Клещевку.

Понятно, что противника нужно всё время беспокоить, не давать ему спокойно отдыхать в окопах (хотя попробуй там отдохни), заставлять нервничать, гадать: куда же будет направлен главный удар; может, он начинается именно сейчас, именно в этом месте. Сюрпризы на войне – «главное удовольствие». Однако методика бросать на штурм меньше людей, чем находится в обороне в распоряжении противника, – практика абсолютно провальная. А именно так погибло большое количество людей под Клещевкой. В конце концов, стали особенно опытных солдат прятать от посягательств начальников-бузотёров. А где на войне можно спрятать солдата? Ответ один – на передовой, «передке» по-простому!

Так для Терминатора началась самая проклятая война из всех известных – окопная. В дождь и снег, друг напротив друга, гниют в осклизлых или замёрзших окопах бойцы. Мёрзнут, проклиная всё на свете! То присыпанные снегом, то по колено, по пояс, по горло в ледяной жиже.

Напротив частей Терминатора со стороны позиций ВСУ стояли части, сформированные из наемников-поляков. Постепенно казаки стали отвыкать от украинской мовы и приучались слушать дикие крики (особенно когда поляки в праздники перепивали) на польском. А кроме поляков сколько мировой сволочи побывало на позициях врага: и французы, и немцы, и англичане, и американцы, и канадцы! Вся бандитская погань планеты служила наймитами у англосаксов, привыкших набирать пиратов на службу её величества королевы или короля Великобритании.

Как могли, на передке устраивали быт. Землянка, если её можно так назвать, строится так. Над уровнем дна окопа, причём чем выше, тем лучше, оставляется порожек. Это делается для того, чтобы вода и грязь не текли из окопа в жилище. Дальше нужно заглубиться – чем больше, тем лучше. Дальше идёт камера: на одного, на двоих, на троих. Некоторым везло, и делались настоящие землянки на семерых в несколько накатов, достаточно просторные. Но чем больше народа ходит в землянку, чем чаще её посещают, тем проще её раскрыть беспилотникам, а дальше – передаются координаты, и прилетает снаряд, ракета, дрон-камикадзе или ещё что-нибудь. Так что чаще роятся жилища на одного-двух бойцов. Высота как под столом. Жить можно, но это – нора, настоящая нора, в которой из потолка торчат камни и корни. О них, проснувшись неожиданно и подскочив, Юра не раз разбивал в кровь голову. На пол стелется не просто пенка, а специальный, толстый, не пропускающий холод, довольно мягкий, пластиковый матрас: либо каремат (длинный прямоугольный лист из вспененных полимеров, другими словами – пенка с обилием пузырьков воздуха; по типу туристического коврика), либо пенопласт сантиметров семь толщиной. Юрин пенопласт пришлось со временем выбросить. Его совершенно сожрали мыши. Вход чем-нибудь занавешивается: брезентом, плащ-палаткой. Вместе с хорошим зимним спальным мешком создаётся быт. Выжить можно, но холодно всегда. Всё время жгутся окопные свечи. Немного они дают и реального тепла, но главное, в темноте психологически вообще хана. Могила как могила. Парафин после этого откашливается многие месяцы.

Вообще луганская земля устроена так, что первые верхние слои (60 сантиметров) – это чернозём, достаточно мягкий, а затем идет слой тяжелой, очень твердой земли, глинистой, с камнями и корнями (копать – сплошное проклятье). А чем глубже в неё вкопаешься, тем большая возможность выжить, и для небольших камер «свод» вполне нормально держит. Потолок, чтобы с него не капало, прикрыт полиэтиленовой плёнкой – и кто только не бегают, не ползает, не скачет по этой плёнке, периодически сваливаясь тебе на голову. Там постоянно сидело и занималось своими делами до пяти–деяти мышей. Мыши – это самые частые сокамерники. Кроме того: многоножки, пауки, червяки и жуки – все, кого разбудило подземное тепло. Спишь, а над тобой всё время кто-то шуршит и возится, внезапно падая на лицо или в консервную банку, из которой ты ешь. Однажды Юра проснулся от писка и визга. Зажёг свечу. На потолке за тонким слоем полиэтилена крыса ела мышь.

Как-то, после полутора месяцев бессменного сидения в окопе без бани, Юре стало мерещиться, что у него скоро заведутся вши!

Печку, как правило, не ставили. По тепловому следу, считанному тепловизорами беспилотников противника, удары тяжелой артиллерии или ракет следовали незамедлительно. Если в землянке на несколько человек всё-таки задумывали поставить печурку, то дымоход выводили метров за двадцать-тридцать, да ещё и в несколько разных направлениях, в зависимости от ветра.

Приличный дзот составлял середину позиций подразделения, от него, как лапки паука или как речки у озера, ветвились окопы, переходы, схроны открытые и скрытые, ложные и настоящие. Чем глубже, тем лучше.

«На войне нет неверующих!» – так сказал один боец в репортаже центрального канала ТВ. Вот и Юра под постоянным огнём и глазами неусыпных беспилотников почти постоянно молился: 400 раз читал молитву Богородице и 300–400 раз псалом 90 «Живый в помощи вышняго». В ледяной дождь, в пургу в постоянной молитве впадал в состояние своеобразного трансa. Юра не знал, что в подобном состоянии когда-то находились православные монахи-исихасты на Афоне и их последователи. И его служение Родине, при постоянной молитве Господу Богу, приравнивалось к духовному подвигу избранных молитвенников за Россию и православие вообще. Но только так можно было пережить кошмары окопной войны.

Вообще на памяти Юры было много случаев мистической зависимости человека от воли Божьей.

Например, был боец, который не выпускал практически из рук, всячески баловал и оберегал уже довольно большого котёнка. Они были неразлучны. Боец охотно рассказывал свою историю. Подобрал он котёнка совсем крошечным, больным, со шкуркой, вылезшей во многих местах, всего в запёкшихся кровоподтёках. Погладил, пригрел. Вдруг котёнок вырвался и убежал. Боец за ним. Выскочил из одних развалин, забежал за четвероногим беглецом в другие. В этот момент по дому, в котором они только что были, ударил снаряд. С тех пор парень котёнка от себя далеко не отпускал.

Или вот ещё. По линии соприкосновения на участке Терминатора наступлений нашей армии не предвиделось. Между позициями наших и поляков было 600–800 метров. На лесополосе со стороны поляков – 12 дотов. Дот – яма, над ней ставился железобетонный колпак,

заброшенный накатами брёвен, мешками с песком и просто землёй; пробить такой сложно. Между позициями наших и поляков пролегла ложбинка с маленькой речкой. Лезть в неё и становиться голой мишенью для обеих армий, никому не хотелось. Кроме того, выше по течению речки находилось водохранилище, контролируемое поляками. Даже если захватишь кусок позиций на том берегу – откроют плотину, отрежут и сотрут с лица земли.

На этом месте до добровольцев стояла ЧВК «Вагнер».

Били всё время: и беспилотниками, и из миномётов. В один день Юра родился по второму разу дважды. Сначала он пошёл за салом. Руслан, позывной «Чача», был его добрым товарищем.

– Чача! Сало есть?

– Так – нет, а для тебя найдём! – улыбнулся боец.

Отошли в блиндаж. Через минуту ровно туда, где они только что стояли, прилетела мина из шестидесятимиллиметрового польского миномёта. Его особенность в том, что он стреляет почти бесшумно. Некоторые из молодых бойцов говорят, что слышат. Терминатор после многочисленных контузий не слышал ничего. Потом они померили расстояния – мина прилетела как раз между ними в 20 сантиметрах от их голов.

Через два часа Терминатор пошёл, извините, в сортир. После бариатрической операции на желудке для похудения (до нее Терминатор весил как два здоровых мужика) ходить по нужде приходилось довольно часто. В полевых условиях прекрасных дам нет. Туалет представляет собой яму, над ней две доски, чтобы в дождь не поскользнуться и не съехать вниз, четыре стойки и наброшенная на них маскировочная сеть. Через пять минут после того, как Юра завершил свои дела и ушёл, в стойку попала мина.

\* \* \*

Сначала с обеих сторон велись миномётные и снайперские дуэли. Стрельнул – и срочно меняй место дислокации. Но с декабря 2023 года, видимо, резко пополнились запасы снарядов и других «игрушек» у наших – и поляков принялись утюжить тяжёлым вооружением всерьёз.

Экипировали бойцов хорошо, но тут и самому стоило проявить смекалку. К примеру, каски или шлемы. Самые лёгкие – это западного образца, пластиковые – много слоёв кевлара, задержат осколок, но пулю пропустят. Следующие – «Ратник» (на основе арамидных и сверхвысокомолекулярных полиэтиленовых волокон), как у Юры: и защитит, и шею не свернёт. Тяжелее – «Монолит»: надёжнее, но тут смотря какая шея; если «раскачанная», то пойдёт. И, наконец, тяжёлый группы «Альфа». Он просто стоит на плечах, – на голове не удержишь. Зато, если попадёт даже пуля из автомата, после ощущения здоровенной встряски просто спросишь: «Кто был? Что надо было?»

Бронежилеты тоже разные. Тут каждый должен решить для себя. С одной стороны, тяжёлое изделие защитит лучше, но, если для тебя оно не по скелету и не по мышцам, ты начнёшь его часто снимать, а это ещё хуже. Так же и с каской.

На войне всё происходит вдруг. К тому же как ты в этом побежишь в наступление и как быстро сможешь при необходимости отступить?

Аптечка. 4 жгута Эсмарха. У Терминатора еще 4 турникета были пристёгнуты прямо к конечностям. И в полевой сумке – ещё 4 жгута.

По правилам помощь товарищу оказывается из его аптечки и его жгутами. Мы ещё вспомним об этом в нашем рассказе.

Необходимо иметь несколько фонариков. У Юры было три: фонарик на пальчиковой батарейке, второй – на двух мизинчиковых, и аккумуляторный, самый мощный, который можно было включать как настольную лампу.

Прекрасный нож, в прошлый его военный поход выданный государством, с эбонитовой ручкой (если потереть можно подорвать заряд).

Естественно, автомат и четыре рожка – больше нет надобности: на местах всегда был запас вооружения. На каждую позицию – тепловизор или прибор ночного видения; 3–5 РКГ-3 (советская ручная кумулятивная граната для уничтожения танков), один РПГ-7 (ручной противотанковый гранатомёт). В каждом окопе по 5 цинков патронов на 4 человек. Вообще на позиции до 7-8 человек. Каждый третий боец имеет пулемёт, каждый второй – гранатомёт.

На роту было по 4 ПТРК с противотанковыми управляемыми ракетами «Шмель». Кстати, из такого в соседней роте, которой командовал Фагот, друг Юры, боец с позывным «Урал» подбил вертолёт «укропов». С Уралом Юра служил в соседях ещё в четырнадцатом году.

Кормили хорошо, но всё равно полевая пища приедалась. Особенно ценился вагнеровский сухой паёк: он был менее разнообразным, чем армейский (в армейском даже повидло водилось), но более вкусным.

\* \* \*

Существовал негласный, но неуклонно соблюдаемый закон: захотел выпить водки – выпей, но с тебя штраф пятьдесят тысяч рублей. И пей сколько хочешь! Практически не пили, но случалось...

Был среди казаков боец, позывной «Полный». Мужик сухой, жилистый, высокого роста и очень резкий, быстрый. Однажды Юра заметил его пьяным. Подсел, разговорил поникшего товарища. Оказалось, что у бойца погиб в соседнем подразделении сын. Тогда Юре удалось вступить за него перед начальством. С тех пор Полный стал рваться в атаки не только со своим подразделением, но и с друзьями-соседями. Когда ходил на штурмы – резал врагов ножами.

И ещё раз довелось Терминатору увидеть Полного не пьяным, но поникшим. Узнал – у бойца погиб брат.

\* \* \*

Война изменилась – теперь не надо долго маршировать до противника, не надо отыскивать поле для сражения, строиться в шеренги. Война придёт к тебе сама. И это очень нервирует.

Вот типичный случай боевого столкновения «не сходя с места». Сидели в общем доте. Как сказал классик: «Кто кивер чистил весь избитый, кто штык точил, ворча сердито, кусая длинный ус».

Вдруг крик снаружи: «Баба Яга!».

Все повыскакивали из блиндажа в разные стороны, прикрывшись теплонепроницаемыми, с элементами фольги, одеялами. Открыли стрельбу по «Бабе-яге». Она сбросила мины чуть левее дота. Мины запутались в пяти слоях маскировочной сетки и урона особого не нанесли.



Стали стрелять из автоматов по «Бабе-яге». Подбили. А это большой промышленный украинский дрон-гексокоптер (с шестью двигателями), с большой грузоподъемностью до 50 килограмм и хорошей навигацией, мощной светодиодной подсветкой, переделанный под военные цели. Летает автономно, громко, как правило, не выше 30 метров – настоящая Баба-яга!

Тут к концерту со стороны поляков присоединился сорокамиллиметровый гранатомёт. По нашему беспилотнику-разведчику его выследили – уничтожили. Боец с позывным «Лис» – снайпер, воевавший раньше в «Вагнере», специалист по АГС (автоматический гранатомёт станковый, АГС-17 «Пламя» и АГС-30 – новый), – стал садить по наглую пшеку-гранатометчику. Дуэль «Лис» выиграл.

Кстати, из мин для АГС-17 «Пламя» можно делать гранаты с добавочной осколочной массой – «Хаттабка». Выкручивается родной взрыватель, отверткой крестовой делается отверстие, вставляется взрыватель от гранаты и заливается взрывчаткой. К этому сооружается и прикручивается рубашка из болтов, гаек, нарезанной болгаркой арматуры. Мощнее лимонки во много раз.

А дронами в батальоне Юры кроме русских пацанов занимались три сирийца – студенты с медицинского факультета, будущие хирурги, решившие помочь нашим.

\* \* \*

Вообще Юра приобрел там множество друзей и соратников. Люди были почти все необычные, геройские и колоритные.

Рим. Это и имя, и позывной. На полголовы выше Юры, с седой головой и бородой, похожий на деда Мороза.

Олег «Вещий». Они с Римом оба получили медали «За храбрость» вполне заслуженно.

Сибирский казак с позывным «Орша».

Виталик – «Шип».

Храбрая женщина, хороший снайпер с позывным «Фурия».

Андрюха «Мухич» из Севастополя.

Служил рядовым боец, который в предыдущей жизни имел чин генерала.

Вспомнился случай на отдыхе в переделанном пионерлагере, где жили в относительном комфорте и тепле. За столом собрались несколько из описанных выше бойцов.

Подразделению казаков придали натурального темнокожего бойца из Нигера, тоже студента. Звали его оригинально – Ваня. У себя на родине он был Мухаматом. Ваня рассказывал, что есть ансамбль «Маруся», в котором он выступал. Этот творческий коллектив полностью состоит из темнокожих студентов, приехавших из Африки. Певцы и танцоры выступали там в черкесках.

«Ну как тебе, Ваня, у нас?» – прозвучал дежурный вопрос. Ваня поёжился и уже в который раз ответил: «Бррр! Холодно!» Все засмеялись – показывал он это действительно комично.

В конце вечера казаки порешили, вынесли такое общественное решение: «Чернороссии быть!!!»

Но чаще происходили совсем не смешные, трагические случаи. О них позже...



\* \* \*

Нередко казаки ходили на отдыхе в близлежащий городок с названием Счастье. Цветущий город, вокруг пруды, а улиц-то какие названия: Дружбы, Спортивная, Мира, Гагарина, Гайдара, Шевченко, Матросова, 8 Марта, Веселкова, Песчаная, Осенняя, Сосновая, Лесная, Первомайская, Республиканская, Центральная Донецкая, Майский переулок. Начинался город в пятидесятых–шестидесятых годах с частных домов и бараков, финских домиков и жёлтых сталинок в центре. В 60-х появились четырёхэтажки, в 80-х – белые пятиэтажки. Город строителей мощной Ворошиловской ГРЭС.

Недалеко пруды с охлаждающей электростанцию водой. Купаться можно, как в бане. В воде живут толстолобики и другая теплолюбивая рыба. Толстолобики там – настоящие бегемоты.

С 1901 года город украшал Свято-Екатерининский храм – подарок барина Петра Петровича Коваленского. Дом культуры с классическими колоннами, стадион.

14 июня 2014 года город Счастье перешёл под контроль украинских фашистов; 28 февраля 2022 года отвоёван ЛНР. Восемь лет издевательств и ада. Батальон «Айдар» особенно отличился в хамстве и садизме.

И Счастью ещё повезло. Юра вспоминал Соледар и Попасную. В Соледаре добывали соль почти для всей страны (вы должны помнить эти пачки соли). Там были глубокие, очень красивые шахты. Сопротивление фашисты оказывали жестокое. При отходе они минировали дома, дороги, мосты. Идёшь по городу – ни одного целого дома. Если сохранился фасад, то обходишь дом с другой стороны, а там квартиры зияют без стен, как в анатомическом театре. Некоторые здания как будто перепилены гигантской пилой. Настоящий Сталинград!

А в Попасной остались только кучи битого кирпича в геометрически правильных местах, так, как были расположены дома.

В обстановке торжествующей случайности, наблюдая безумную пляску смерти, бешеным волком выгрызающей из живых, тёплых людей куски костей и мяса, очень хочется жить! Жить нараспашку, не задумываясь.

В Счастье молодые девушки, оставшиеся без погибших и ушедших парней, поглядывали на солдат с интересом. У многих так складывались семьи, у многих – полевые романы. Но большинство солдат было семейных, а то и откровенно старых. Им бы сил и удачи хватило врага завалить и к семье живым вернуться. Так что пьянок-гулянок было немного. Хотя и за эти бесшабашные пьянки-гулянки корить товарищей не поворачивался язык. Жизни своим желаешь, только счастливой жизни.

Поразила Юру одна история. Прямо в сердце поразила, как осколок. Вместе с другими пришёл к казакам из Нижегородской области парень, как ни странно, Ваня.

Ваня из всех добровольцев, прибывших из России, отличался молодостью и скромностью. Был он двадцати лет, высокий, стройный (талиа как у девушки), русый. С тем нежным, легко краснеющим лицом, которое бывает только у деревенских. Подбородок был очень явно очерчен, как выточен из слоновой кости, и глаза в минуты опасности светлели. «Нецелованный» зовут таких с некоторой издёвкой в народе. Непонятно, как его отпустили родные, «телёнка такого»,

но храбростью он выделялся так же, как и застенчивостью. В окопах фашистов работал не только автоматом, но и ножом. Однажды провели грамотную операцию. Навалились всем подразделением и взяли у фашистов опорный пункт. И вбок по линии фронта бегом по чужим окопам взяли ещё несколько. Ванька был одним из первых и свою медаль «За отвагу» получил.

Оксана жила с матерью. Описать её красоту ни у кого не хватило бы таланта, хотя на Украине много красавиц. Белокожая, как алебастр; плоские чёрных глаз в пол-лица; полные алые губки; лёгкая точёная фигурка. И во всём этом неземном облике что-то волшебное, пугливое, ранимое, незащитное, надломленное. Ещё несовершеннолетней фашисты украли её из дома. Страшно насильовали, увезли сначала во Львов, а затем – на Западную Украину и хотели продать за границу, в Польшу, а затем – в Великобританию, видимо, на органы. Так пропадали многие. Мать ездила за Оксаной, удалось её освободить.

Чуть счастливее закончилась история Киры Еремеевой.

И это ещё везение. Возле Песок нашли кладбище изнасилованных и убитых девочек пятнадцати-двадцати лет. Юра видел это захоронение сам. Некоторым из них айдаровцы размозжили головы, а две трети были убиты монтажной пеной, пущенной вовнутрь.

Дальше Оксанку спрятали так, что ни один фашист не нашёл. Несколько лет она не видела солнечного света. Вышла только когда город освободили наши. Всех боялась. Как Ванька наткнулся на неё, поздно вечером шляясь по Счастью? Одному Богу известно. Как заметил её красоту неземную? Как она впервые откликнулась на его молчаливое чувство? И цветы он ей носил (непонятно, как доставал), и под окном ночи простаивал, и матери понравился. Не мог такой не понравиться.

Сумел он как-то отогреть сердце девушки, страх её убрать, приручить. И стали они в короткие дни его отдыха жить в их маленьком домике. Никуда не ходили, разве что в садик посидеть, на закат посмотреть. Еды хватало. Ваня был большой книголюб, для дочки с мамой книги интересные доставал, читал вслух.

Юра, иногда проходя мимо заснеженного домика, видел их контуры на занавесках. Но чаще окна были наглухо закрыты.

Закончилась эта история закономерно и неожиданно, как и всякий финал на войне. Подразделение Юры, в котором был и Иван, вывели с передка на отдых. В домик Ксанки, как называл её Ваня, попал снаряд. Тот самый, из просвещённой, интеллигентной, чопорной Европы. Их тела разметало.

Еще в чеченскую Юра нашёл так своего товарища: нижнюю половину тела срезало как бритвой. Было впечатление, что друг вылезает из-под земли.

Вот и от Вани остались плечи и голова, а у Ксанки затылок срезало осколком, шею отсекло, но оба лица сохранились почти нетронутыми. Их положили на красный снег рядом. Белые восковые спокойные лица.

\* \* \*

Добровольцы-казаки, с их постоянной утренней и вечерней молитвой; старые воины и молоденькие ребята, не уступающие опытным в храбрости; студенты-сирийцы, темнокожий боец Ваня, генерал, который пошёл на передок рядовым; снайпер Фурия – всё это безумно разные люди, но всё это говорит о том, что Россия непобедима! Дело не в

национальности, хотя это тоже очень важно, дело в принципах жизни, которых в России придерживались столетиями. Придерживались, проигрывая из-за них. Но держались зубами, сердцем. И в результате всё равно в большом, в главном, выигрывали!!!

Эти принципы: Благородство, Милосердие, Верность, Честность, Бесстрашие, готовность к Самопожертвованию ради России!

Противники не поймут, что эти принципы привлекают таких бессребреников, как Юра. Любой национальности!

Такая армия – непобедима!

\* \* \*

Уже когда Юра вернулся в Нижний, вдогонку узнал две скорбные новости. Первая – подорвался один из бойцов (позывной «Мастак») Юриного подразделения. Им поручили поставить на минном поле «МОНку» и камеру. «МОНку» поставили успешно с краю, а камеру нужно было расположить посередине поля, карт которого не было. Оторвало сразу стопу и кисть руки.

У другого казака при разминировании оторвало руки и нижнюю челюсть. Истёк кровью на месте.

И вторая печальная новость – дрон подорвал командира соседней роты, подорвал Фагота. Видимо, сбросил гранату. Командир был один, помочь ему оказалось некому. Ранение верхней части бедра. Полному человеку дотянуться до такой раны, а тем более наложить самому себе жгут и повязку-восьмерку, крайне сложно. Практически невозможно. Видимо, ещё и от болевого шока, и от сильного кровотечения он мог только переваливаться с боку на бок. Садисты-украицисты сняли его смерть на видео; раскрасили чёрно-белое изображение, выделив алую кровь; подложили музыку и выложили в интернет. В ролике очень сильный человек страшно и медленно умирает, сам понимая это. Он мучается, но до последнего не сдаётся и, наконец, затихает, истёкший кровью. Даже если бы Юра не знал его как прекрасного, заботливого и храброго командира, впечатление было бы ужасным. Но видеть смерть своего близкого товарища!

Ни за что не прощать убийцам и изуверам! И тем, кто делал этот дрон, и тем, кто им управлял, и тем, кто снимал, и, главное, тем трусам, которые усмеваются над этим далеко из-за границы: из Америки, из Германии, из Англии, из Франции, давая деньги на войну и мечтая уничтожить Россию! Выявлять поимённо! Не прощать! Без срока давности, где бы они ни находились! Не прощать! Никогда! Вовеки!

\* \* \*

Когда Юра вернулся в Нижний, его пригласили на характерное мероприятие. 8 Марта – вроде бы праздник. В Шахунье хотели поздравить мать убитого на Донбассе ещё в 2014 году казака.

А случилось это так. В бою за Новопавловск погиб Володя Шумков (позывной «Шум»).

На следующий день пошли за его телом. Тело нашли, но возвращаться не стали, а пошли в атаку. На злобе, на обиде, на ярости! За погибшего товарища!

Перед нашими были поляки. Двести пятьдесят человек наёмников. Не осталось почти никого. Хотя отбивались отчаянно.

Танк фашистов стоял замаскированным и выстрелил в упор. Экипаж трофейной машины (европейского аналога КамАЗа, вооружённого ЗУ-23 – спаренной зенитной установкой) выбросило, всех контузило, хотя, на счастье, никто не погиб, но этим же выстрелом убило Серёжу. Его нашли с расчеканенной гранатой.

Серёжа Самодуров (позывной «Змей») был бойцом почти легендарным. Однажды они с другом (позывной «Чип») вывезли 500 раненых.

Серёжа получил 4 боевые награды за месяц.

Поехал Юра на электричке. Стучали колёса. Постепенно электричка пустела. Шахунья – самый дальний городок в Нижегородской области.

Юра стал вспоминать.

Раньше в этих лесах тысячелетиями жили черемисы (марийцы). Даже захоронение IX–XI веков обнаружены с тонкими украшениями посудой, латами, вооружением. Кузнецы были отменные. Затем пришли русские. Народы смешались.

Первое поселение на месте современного города возникло в 1870 году. Сюда переселялись государственные крестьяне.

От древнерусского «шаха» – обман, Шахунья – обманщица. Деревня Шахунья, домов на двадцать, стала развиваться, когда задумали железную дорогу из Нижнего Новгорода в Котельнич. В 1912 году пришла первая партия проектировщиков из Нижнего. В 1913-м началось строительство железной дороги сразу из Нижнего и из Котельнича. Дорога шла по тёмным, глухим, дремучим ветлужским лесам. В трёх километрах от Шахуньи по проекту должна была возникнуть станция. В начале 1920 года построили вокзал. В 1924 году здесь была создана коммуна «Луч свободы». К 1927 году построено железнодорожное депо.

Городом Шахунья стала в Великую Отечественную войну в 1943 году – большая редкость. Но тогда в крупный железнодорожный узел было эвакуировано много народу. Даже норма была – 4 квадратных метра на человека, остальное отдай беженцам. Посёлок разросся и стал городом. Процветала молочная и лесная промышленность. В городе стадион, Дом культуры, школы, два музея, церковь Покрова Пресвятой Богородицы.

Дома в основном двухэтажные, но есть и районы четырехэтажек.

Юра невольно сравнивал два города – Шахунью и Счастье. Если бы не окружение (в Счастье в основном – поля, а в Шахунье – леса и болота), города напоминали близнецов. Советских близнецов. Но какая разная судьба! Шахунья-обманщица прячется в лесах, в диких местах, достать до неё врагу – руки коротки, а из неё выходят защитники России и громят гадов. А в Счастье – в который раз за столетие прут фашисты, суют рыла «просвещённые европейцы».

Юра невольно представлял, как бы Шахунья выглядела, будь тут война. Да так же, как и Соледар выглядела бы. Но это воображение разыгралось.

Встретил в Шахунье Юру дядя Валя. Валентин Михайлович Зайцев – атаман местного казачества. У него в просторном доме уже накрыт был стол.

С утра позавтракали картошкой с курочкой, пошли «на гараж». У атамана 5 междугородних автобусов. Ходит он по городу если не в казачьей форме, то по гражданке, но зимой – в папахе, а летом – в фуражке: «Чтобы не путали!» Зашли по дороге назад за свежим хлебушком. На широком дворе у дяди Вали аккуратный небольшой, но сильный кобелёк. На цепи, когда службу несёт – порвёт всех, кроме хозяина,

как только с цепи снимут и почувствует себя не на службе – к друзьям хозяина ласков. Службу знает!

Пообедали куриной лапшой и сардельками с отварной картошкой. Терминатор в который раз сделал открытие: сардельки в Шахунье – советские, действительно из мяса. Хозяин не пьёт. Юра наливал себе из запотевшего графинчика. Солёные огурцы, помидоры, зелёный лук, сало – в любом количестве.

После обеда дневной сон.

Проснулись, попили чайку и пошли во Дворец культуры, он в городе большой, выдающийся. Там даже театральные коллективы свои.

Встретили их военком, ветераны-афганцы и ветераны-чеченцы.

Все вместе поздравили перед полным большим залом маму Таню.

Мама Таня – полная, хорошо одетая женщина с извиняющимся взглядом. Всю жизнь она работала дояркой. Поражали её доброта и интеллигентность.

В конце мероприятия казачонок Яшка, лет двенадцати, с таким невероятным мастерством показал приёмы фланкировки, что дух захватывало, создавалось ощущение стального облака вокруг него. Сначала – одной шашкой, перекладывая из руки в руку, потом – двумя нагайками, потом – двумя шашками. Подрастают новые воины. Не хуже прежних!

После был общий стол. Наутро Юра уехал в Нижний Новгород.

## Владдислав ОТРОШЕНКО

Москва

(№ 1, 2017)

### ПОСЛЕДНЕЕ ОЗАРЕНИЕ ПУШКИНА

#### Добрый принц

Воля Рока начала осуществляться гораздо раньше, чем все ее сложные и разнообразные усилия сошлись в одной точке – в пуле, смертельно ранившей поэта.

Осенью 1833 г. в Берлине «молодой человек живого и независимого характера», как пишет о нем биограф, двадцатилетний француз родом из Кольмара по имени Жорж Шарль Дантес получил рекомендательное письмо в Россию на имя директора Канцелярии военного министерства графа Владимира Адлерберга. Письмо было подписано принцем Вильгельмом Прусским, к которому Дантес явился по протекции своих германских родственников искать «счастья и чинов». На родине он уже не мог найти ни того, ни другого. Июльская революция во Франции 1830 года заставила Дантеса, приверженца законной династии Бурбонов, покинуть элитарную военную школу Сен Сир, сулившую ему офицерский чин. Однако и принц Вильгельм не мог ему дать желанного чина, пообещав только – унтера. Слишком мало Дантес проучился в военной школе – меньше года.

Но совет принц Вильгельм дал Дантесу охотно. Ехать в Россию! И этот совет вместе с рекомендательным письмом был одним из наиболее важных усилий той воли, которая тщательно строила свой трагический и хитросплетенный сюжет.

#### Воскрешение в гостинице

Точное направление – Россия, Петербург – было выбрано. Но на что мог рассчитывать Дантес, а вместе с ним и воля рока, направлявшая его?

Едва ли граф Адлерберг предложил бы юному иностранцу нечто большее, чем принц Вильгельм. Положение Дантеса было плачевным. Отец – обедневший эльзасский барон с шестью детьми на руках – был в состоянии снабдить сына лишь суммой в 200 франков ежемесячно, тогда как на офицерскую жизнь в пышном Петербурге требовалась – 1000. Русского языка Дантес совершенно не знал. Военными науками не владел в той мере, чтобы сдать экзамен в Военной академии и получить «офицерские патенты». При таких препятствиях не могло быть и речи, чтобы Дантес вошел туда, где он мог бы столкнуться на равных с семьей, с друзьями и врагами Пушкина – в столичный высший свет. Письма было мало. Нужно было что то еще. И это «что то» незамедли-



тельно является. Рок одним махом устраняет неодолимые препятствия, пуская в ход свое непобедимое оружие – фантастический случай!

Осенью 1833 года, когда Дантес, как бы чего то дожидаясь, все еще скитается по Германии, в дело вводится новый персонаж – барон Луи Борхард де Геккерен. Он – нидерландский посол при русском дворе в Петербурге. Он одинок. Он благостно богат. Он принадлежит к одной из самых знатных голландских фамилий. У него надежные и обширные связи в вельможных кругах русской столицы. И он вдруг попадает – этак нечаянно, проездом, возвращаясь из отпуска на службу в Петербург, – именно в тот «маленький захолустный» городок Германии, где находится Дантес. А очутившись в этом городке, посол останавливается именно в той «скромной гостинице», где в дешевом номере, уже не помышляя ни о чинах, ни о России, лежит на кровати одинокий француз «с грозным признаком смерти у изголовья». Француза сразила жестокая простуда. Соединившись с его безденежьем и беспомощностью, она уже развилась в тяжелое воспаление легких. Дантес тает на глазах. Он уже должен исчезнуть из жизни, а заодно и из истории, не достигнув заснеженной поляны под Петербургом, близ Черной речки.

Но вот хозяин гостиницы – тоже случайно, за ужином – рассказывает барону с сочувственными вздохами об умирающем постояльце. Барон скуки ради решает взглянуть на бедолагу. И эта нужная встреча, искусно и настойчиво сотворенная Роком, происходит.

Впрочем, какое дело королевскому посланнику до умирающего скитальца француза. Ну, взглянул; ну, подал из милости на лекарства. И ушел. Но нет! Воля Рока предусмотрела всё. Ей, конечно, известно, что юный Дантес до крайности, до некоторой даже женственности, красив. И ей известно также – как известно это и всему петербургскому свету, – что барон Геккерен страстный гомосексуалист. Никаких случайностей случай не допускает. Сорокадвухлетний барон с первого же взгляда, охваченный и светлой нежностью, и темной похотью, отчаянно влюбляется в очаровательного юношу. Отложив свой отъезд из захолустного городка, посол самолично ухаживает за Дантесом, ставит его на ноги и, зная о его намерениях попытаться счастья на чужбине, предлагает ему ехать в Петербург с ним и под его покровительством.

Вот теперь всё слажено. Теперь – в Россию!

## Ропот гвардии

В октябре 1833 года Дантеса и Геккерена доставил в Кронштадт пароход «Николай I». А вскоре, когда Геккерен, исполняя мечту своего возлюбленного об офицерском чине, пускает в ход высокие связи, в судьбе Дантеса принимает участие и человек Николай I.

В январе 1834 года по повелению Николая Дантес был допущен к офицерским экзаменам. Три из них: по русской словесности, уставу и военному судопроизводству, – те, которые могли бы воспрепятствовать замыслам Рока, если бы Дантес явился в Россию без нежного и влиятельного покровителя, – Дантесу было разрешено не сдавать. Зимой 1834 года он стал офицером. Да еще каким офицером! Корнетом самого блистательного полка: Кавалергардского Ее Величества.

И вот теперь зловещая звезда уже восходила на петербургском горизонте, становясь различимой для Александра Сергеевича. Она, конечно, была еще тусклой, едва лишь приметной. Но Пушкин уже знал



ее имя. «Барон Дантес и маркиз де Пина, два шуана, будут приняты в гвардию офицерами. Гвардия ропщет», – записал он 26 января 1834 года в своем дневнике.

## Сивилла Флорентийская

Между тем в жизни самого Пушкина еще до приезда Дантеса развивалась, устремляясь к единой финальной точке, намеченной Роком, другая линия безжалостного сюжета.

18 февраля 1831 года после долгих и сложных перипетий сватовства состоялась свадьба Пушкина и Натальи Николаевны Гончаровой. Красота этой юной, девятнадцатилетней «богини» была такова, что даже признанные очаровательницы Петербурга, не в состоянии были испытывать к Наталье Николаевне ни чувства зависти, ни чувства соперничества. Ее облик вызывал лишь полный и искренний восторг. О нем говорили, не жалея эпитетов – «небесный», «поэтический», «несравненный», – как о чем то не принадлежащем земной суетной жизни и даже самой Наталье Николаевне. «Это – образ, перед которым можно оставаться часами, как перед совершеннейшим созданием Творца», – записала в дневнике внучка Кутузова, графиня Дарья Фикельмон.

Такой, наверное, и должна была быть жена поэта. Но жена не здешняя, не земная. Здешнюю и земную в ней разглядел поэт Василий Туманский, приятель Пушкина, посетивший новобрачных в Москве: «Пушкина – беленькая, чистенькая девочка, с правильными чертами лица и лукавыми глазами, как у любой гризетки». Все остальные – и приятели, и друзья – только восхищались. Но восхищаясь, почему то упорно отговаривали Пушкина от этого брака. Разумных причин тому выдвигали немало. Одни, самые близкие, такие, как князь Петр Вяземский, заботились о его холостяцкой свободе и преданности музам. Другие указывали на значительную разницу в годах и – неизмеримую – в жизненном опыте. Разница же в наружности («смесь обезьяны с тигром» было лицейское прозвище Пушкина) смущала всех, не исключая и самого Александра Сергеевича. «Пушкин не любил стоять рядом со своей женой и шутя говаривал, что ему подле нее быть унижительно: так мал был он в сравнении с нею ростом», – вспоминал Вяземский.

И все же только проницательная Дарья Фикельмон, прозванная «Сивиллой Флорентийской» за свою способность предугадывать будущее, с нечаянной внятностью высказала то, что, быть может, мучительно и безотчетно ощущали близкие друзья Пушкина, улавливая краем глаза в кутерьме житейских событий почерк Провидения. «Поэтическая красота госпожи Пушкиной проникает до самого моего сердца. Есть что то воздушное и трогательное во всем ее облике – эта женщина не будет счастлива, я в том уверена! Она носит на челе печать страдания», – записала Сивилла в своем дневнике 12 ноября 1831 года.

Никаких страданий тогда еще не было. Напротив! Все складывалась блестяще.

После переезда Пушкиных из Москвы в Петербург Наталья Николаевна была с восторгом принята при дворе. Шаг за шагом, бал за балом она завоевывала Северную столицу, обвораживая всех – от юнкера до царя, от провинциальной графинички до императрицы. Ее обожали, в нее влюблялись, ее боготворили, и это с каждым бальным сезоном все больше и больше развивало ее склонность к кокетству; льстило ее

женскому тщеславию. «Ты, кажется, не путем искокетничалась <...> Ты радуешься, что за тобою, как за сучкою, бегают кобели, подняв хвост трубочкой и понюхивая тебе задницу; есть чему радоваться! Не только тебе, но и Прасковье Петровне легко за собою приучить бегать холостых шаромыжников; стоит разгласить, что де я большая охотница», – писал ей Пушкин, любя ее, впрочем, с безграничным доверием.

К 1836 году в Петербурге уже не было дамы или девицы, которая могла бы сравниться с Натальей Николаевной по успехам в высшем свете и по количеству тайно страдающих поклонников.

## Метаморфоза кавалергарда

Тем временем и звезда Дантеса, которого Рок, оберегая свой замысел, наделил невероятной, не знающей осечек везучестью, поднималась в зенит.

Мало того, что он был принят в гвардейский полк сразу же офицером, что было редчайшим случаем. Вскоре корнета Дантеса переводят из запасного эскадрона в действующий – это было почти невозможно без знания русского языка, которым Дантес так и не овладел. Но всё невозможное устраняется с его пути.

В январе 1836 года Жоржа Дантеса, не смотря на множество дисциплинарных взысканий, производят в поручики. Барон Геккерен обожает своего любовника все больше и больше, щедро снабжая его деньгами и знакомствами. Но посол Геккерен – лицо официальное. И поэтому страстному обожанию нужно придать законный характер.

Весной 1836 года происходит событие, которое зажигает звезду Дантеса еще ярче. И в этом событии, как и во многих других, сделавших Дантеса Дантесом, проглядывает нечто странное.

При живом отце, французском помещике, дворянине, который к тому же в одном из своих писем в Петербург говорит об «исключительной силе уз, связующих отца с сыном», голландский посланник решает усыновить поручика русской службы.

В ответ на запрос Геккерена об усыновлении Дантес отец пишет: «В самом деле, наблюдая внимательно за ростом привязанности, которую мой ребенок внушил вам...» Вот тут бы Жозефу Конраду и отказать деликатно от этого обидного, если уж не загадочного, предложения. Но нет, «связующие узы» послушно устраняются из отцовского сердца. И Жозеф Конрад «спешит сообщить» Геккерену о другом отказе: «я отказываюсь от всех моих отцовских прав на Жоржа Шарля Дантеса и в то же время разрешаю вам усыновить его в качестве вашего сына...»

На усыновление дают согласие – тоже без малейших заминок – голландский король и русский император. И в мае 1836 года Жорж Дантес, превратившись в Жоржа Геккерена, принимает титул, герб и наследные права на состояние нидерландского посланника.

С этого времени в Петербурге уже нет «модного человека» равного Дантесу, который и до своей сиятельной метаморфозы был, по свидетельству полковых друзей, «избалован постоянным успехом в дамском обществе». Щегольское остроумие, обворожительное лицо, высокий рост... «Красивый, можно даже сказать блестяще красивый кавалергард», – говорит о нем князь Владимир Трубецкой. Как и юная Пушкина, Дантес шаг за шагом, раут за раутом покоряет гостиные и салоны вельможного Петербурга, где все от него в восторге. К 1836 году

он дружески вхож во все те дома – Карамзиных, Вяземских, Хитрово, Виельгорских, Фикельмонов, Воронцовых, – где часто бывает чета Пушкиных.

Он вхож в круг жизни Пушкина. Линии рокового сюжета сплетаются.

## Пляска смерти

Когда Пушкин на одном из светских раутов, куда он приехал вместе с женой и ее незамужними сестрами, Екатериной и Александрой, впервые увидел Дантеса, Дантес ему понравился.

Госпожу Пушкину Дантес, пользуясь выражением Геккерена, «отличил в свете» незамедлительно. «Отличила» его и она.

На упорные и открытые ухаживания Дантеса в зимний бальный сезон 1836 года Наталья Николаевна ответила таким приветливым поощрением, каким она еще не отвечала ни одному из своих поклонников. В свете недолго говорили об одной только «страстной любви» Дантеса и об одном только «легкомысленном кокетстве» Натальи Николаевны. Очень скоро произошло то, что высказал о своей жене и Дантесе сам Пушкин: «Il l'a troublé»\*. Все гостиные и салоны Петербурга наполнились толками о взаимности чувств Дантеса и Пушкиной. Свет принялся следить за их романом с игривым наслаждением – во все лорнеты. Сплетни и слухи жестоко терзали Александра Сергеевича, защищавшегося от них только работой и верой в непогрешимость супруги. Но временами он с трудом совладал со своею пылкой, ревнивой натурой. На званых вечерах при появлении Дантеса он то мрачнел, то нервно хохотал. А роковой сюжет тем временем неуклонно развивался.

В феврале 1836 года между Дантесом и Натальей Николаевной происходит объяснение в любви, о чем Дантес с восторгом сообщает Геккерену, отлучившемуся в Гаагу. В письме к барону он приводит слова Пушкиной: «я люблю вас как никогда не любила, но не просите у меня никогда ничего большего, чем мое сердце, потому что все остальное мне не принадлежит...»

Геккерен, вернувшись в Петербург, вдруг с необычайным рвением вмешивается в роман своего возлюбленного для того, чтоб устроить ему как раз вот это – «все остальное».

Взявшись за роль сводника, он преследует Пушкину повсюду. Перехватывает ее то в одном, то в другом бальном зале и, наклоняясь к ее уху, жарко шепчет ей под звуки мазурки о необыкновенных страданиях «сына»; о его «тяжелой болезни», будто бы вызванной любовными муками; о его готовности расстаться с жизнью за один только краткий миг близости с нею! Она должна подарить ему этот миг ради спасения его юной жизни – Геккерен просит, закликает, умоляет... Зачем? Здесь сказывается вся хитрость отношений между гомосексуальным Геккереном и бисексуальным Дантесом. Геккерена уже давно раздражает это увлечение, отнимающее у него немалую долю любовного пыла партнера. Если же Геккерен поможет Дантесу добиться от Пушкиной «остального», то при умелой огласке дела, которую опытный дипломат, конечно же, обеспечит, Пушкина, покрытая позором, будет неизбежно отлучена от петербургского света, а значит и от Дантеса, не важно кем – обманутым мужем или самим светом.

Но изощренные старания Геккерена не достигают цели. Что то не

\* «Он ее взволновал» (фр.).

складывается в роковом сюжете. Лишь бледные фантомы ангела смерти кружатся над поэтом. В течение 1836 года Пушкин трижды по разным причинам (литературным, условно светским) вступает в дуэльные отношения: с генералом Репниным, с отставным гусаром Хлюстиным, с графом Соллогубом. Никто из них, свидетельствуют письма и мемуары, стрелять в Пушкина, если бы дело дошло до барьера, не собирался. Подлинный ангел смерти ждал нового поворота событий.

И поворот случился.

Его осуществление было возложено на побочную дочь графа Строганова Идалию Полетику, питавшую по каким то мотивам (до конца неясным ни одному исследователю) столь бешеную ненависть к поэту, что на старости лет, живя в Одессе, она помышляла плюнуть в установленный там ему памятник...

### «Всё остановить»

2 ноября 1836 года Идалия Полетика приглашает Наталью Николаевну на свою квартиру в Кавалергардских казармах – пообедать, поболтать... Пушкина едет.

Очувтившись в безмолвной квартире, она проходит в комнату Идалии. Но вместо приятельницы ее ждет там Дантес. Выхватив пистолет, он падает на колени, приставляет дуло к виску и грозит застрелиться на ее глазах, если она сию же минуту не согласится на то, о чем ее умолял приемный «отец». Положение ее безвыходно. Дантес держит напряженный палец на курке. От отчаяния она громко вскрикивает. И на ее крик в комнату забегает горничная. Воспользовавшись ее появлением, Пушкина быстро покидает квартиру.

Так ли все было, как сообщают осведомленные мемуаристы, или иначе – не имеет значения. Это была западня! Свидание Дантеса и Пушкиной наедине в казарменной квартире (муж Идалии был кавалергардским ротмистром) состоялось. И сам этот факт давал барону Геккерену то, чего он желал.

Утром 4 ноября шесть адресатов – братья Росsetы, граф Соллогуб, семьи Вяземских, Карамзиных, Виельгорских и Хитрово – получают по городской почте в двойном конверте (внутренний – на имя Пушкина) единообразный анонимный пасквиль – шутовской «диплом», в котором Пушкин назван новым членом («коадьютором» и «историографом») «ордена рогоносцев». Точно такой же экземпляр получает в это утро и сам Александр Сергеевич.

Дело сделано. Барону Геккерену остается только ждать тех мер (удаление, деревня, что угодно!), которые будут приняты к Пушкиной.

Но то, что произошло, бросило Геккерена в холодный пот.

4 ноября, после откровенного разговора с Натальей Николаевной, в котором она рассказала ему и о преследованиях Геккерена и о подстроенном свидании, Пушкин посылает по почте на Невский проспект в особняк нидерландского посольства вызов на имя Жоржа Дантеса. 5 ноября письмо пришло. Но Дантеса дома не было, он дежурил в дивизионе. И письмо распечатал барон Геккерен... Дуэль!! На это он никак не рассчитывал. Это скандал, это конец его карьеры... А его возлюбленный?!.. Даже при удачном исходе поединка Геккерен теряет его: Дантесу грозит в лучшем случае разжалование и ссылка, в худшем (по букве закона) – повешение! Голова барона идет кругом. Но в кружении

страшных мыслей вдруг мелькает одна – спасительная. В письме Пушкина нет ни малейшего оскорбления, которое делало бы дуэль неизбежной, не указана и причина – один только вызов!

В тот же день, дождавшись Дантеса и запретив ему вмешиваться в дело, барон сам едет к Пушкину. Он объявляет Александру Сергеевичу, что «сын» еще не знает о письме, но что барон принимает вызов от его имени: Дантес будет драться. Однако Геккерен просит пощадить его «отцовское» сердце – дать 24 часа отсрочки! И Александр Сергеевич дает отсрочку. Она то и нужна была нидерландскому посланнику, который хорошо знал, как дорожат здесь друзья этим «потомком одного африканского негра», как выразился он в своем письме в Голландию. Ктонибудь из них обязательно явится, чтоб затушить пожар. И барон не ошибся.

На следующий день, 6 ноября, когда Геккерен снова приехал к Пушкину просить о новой, двухнедельной, отсрочке, он уже застал в его квартире на Мойке, поэта Жуковского, которого Наталья Николаевна срочно вызвала из Царского Села, где тот постоянно жил, воспитывая цесаревича.

«...всё остановить...» – записал Жуковский 7 ноября в своих конспективных заметках.

В этот день он уже вступил в переговоры с Геккереном. И барон, пользуясь тем, что Жуковский был далек от светских интриг и слухов, предпринимает такой ход, которого не ожидал никто, включая и Дантеса.

Он объявляет Жуковскому, что Дантес на самом деле горячо влюблен в старшую сестру Пушкиной – Екатерину Гончарову. Мало того, «сын» мечтает на ней жениться! И барон готов дать согласие на этот брак, если, конечно, Пушкин возьмет назад свой вызов. Но сделать он это должен не на том основании, что Дантес намерен жениться на его свояченице – женитьба в таком случае будет выглядеть трусливым спасением от поединка, – а просто так: возьмет на назад, и всё!

Воодушевленный этим «открытием» Жуковский едет с Невского на Мойку, чтобы успокоить Александра Сергеевича и обрадовать Екатерину, засидевшуюся в девицах и, разумеется, безумно влюбленную, как и многие барышни, в «блестяще красивого кавалергарда».

Но на это сообщение Пушкин отвечает с таким бешенством, что Жуковскому становится ясно – «всё остановить» невозможно. Теперь Александр Сергеевич еще более непреклонно желает драться. Мысль о женитьбе, ничем официально не подтвержденная, это только подлая уловка: как только он возьмет вызов назад, женитьба будет отменена, объясняет он Жуковскому.

В последующую неделю Жуковский убеждается, что именно так и замыслил Геккерен. Во время новых переговоров, к которым уже привлечена и тетка Наталья Николаевна, фрейлина Екатерина Загряжская, барон упорно увилькивает от официальных подтверждений.

Только 14 ноября, напуганный решительностью Пушкина, Геккерен в присутствии свидетелей вынужден объявить Александру Сергеевичу о намерениях Дантеса жениться на Екатерине Гончаровой. В ответ на это Пушкин вручает барону письменный отказ от вызова. Александр Сергеевич удовлетворен – низость Дантеса, вступающего в брак с нелюбимой женщиной под угрозой дуэли, доказана – и Наталья Николаевна, и светским друзьям. Дело улаживается – «всё останавливается».



Но вдруг в эту жестокую игру мести и пыла Рок вводит свою козырную карту – Дантеса. До того момента, пока он не получил письмо от Пушкина, он никак не заявлял о себе, во всем подчиняясь барону. Но в письме Пушкин подчеркнуто объяснял свой отказ от вызова сватовством Дантеса, и всю унижительность для него такой постановки вопроса («жениться или драться») Дантес хорошо понимал. Обиженный, он решил действовать сам.

Утром 16 ноября он послал к Пушкину своего секунданта, секретаря французского посольства виконта д'Аршиака, с указаниями добиться от Пушкина другой формулировки отказа – без упоминания женитьбы на m<sup>lle</sup> Гончаровой. В противном случае Дантес – «к его услугам».

Приступ бешенства, вызванный у Александра Сергеевича этим визитом, не шел ни в какое сравнение с прежним. «Ступайте завтра к д'Аршиаку. Условьтесь с ним только на счет материальной стороны дуэли. Чем кровавее, тем лучше. Ни на какие объяснения не соглашайтесь», – сказал он 16 ноября за обедом у Карамзиных своему секунданту графу Владимиру Соллогубу (тому самому, с которым он несколько месяцев назад мог оказаться у барьера и который собирался выстрелить вверх, потому что «смотрел на Пушкина, как на бога»). Свои указания Александр Сергеевич произнес таким тоном, что Соллогуб онемел.

В отчаянии был и Жуковский: «Снова дуэль. Секундант.»

К д'Аршиаку после бессонной ночи Соллогуб явился разбитый и подавленный. Его удивило, что и д'Аршиак тоже не спал. Еще больше его удивили слова д'Аршиака, сказавшего, что он «хотя не русский, но очень понимает, какое значение имеет Пушкин для русских». Явственно мелькнула надежда. Секунданты взялись тщательно изучать дуэльные документы. Шаг за шагом завязались переговоры, переписка.

К концу ноября усилиями друзей, стараниями Соллогуба и самого д'Аршиака, принявшего без совета с Дантесом заново сформулированный отказ от вызова, где по прежнему упоминалось сватовство Дантеса, – «всё остановить» удалось.

10 января 1837 года состоялась свадьба Дантеса и Екатерины Гончаровой.

Отсутствие прямых оскорблений, вмешательство друзей, затяжные переговоры – все эти «ошибки» впоследствии были учтены волей Рока. Это была репетиция. В смертельной премьере события разыгрались с фантастической слаженностью и быстротой.

## Путь к разгадке

В январе Петербург закружило балами. Они вспыхивали, зажигая окна вельможных домов, один за другим – у Строганова, у Вяземских, в Дворянском собрании, в саксонском посольстве, у Фикельмонов, у Воронцовых, у Мещерских.

И на всех этих балах, куда Александр Сергеевич сопровождал супругу, он вынужден был встречаться с новобрачной четой, – дома он не принимал ни Дантеса, ни Геккерена, заявив о невозможности отношений с этими «родственниками». А между тем следы ноябрьской бури уже улетучивались из ветреной головы Натальи Николаевны. Она снова взялась одаривать на балах Дантеса смущенными улыбками и кокетливыми взглядами, не обращая внимания на другие взгляды, – ревнивые и угрюмые, – своей сестры.

В сердце же Александра Сергеевича вновь открывались едва зажившие раны. Женитьба Дантеса, поначалу всех ошеломившая и заставившая сомневаться в его благородстве и способности любить (госпожу Пушкину или кого бы то ни было), вдруг получает в свете иное толкование. Геккерен и Дантес всеми средствами – через полковых друзей Дантеса, светских дам, посольских чиновников – распространяют слух, будто Дантес только потому и женился на нелюбимой женщине, чтобы спасти любимую – от бесчестья и злой расправы ревнивого мужа. Для подтверждения этой версии Дантес на балах с еще более дерзкой открытостью, чем до женитьбы, ухаживает за Пушкиной – танцует только с ней; обволакивает «жаркими и долгими взглядами» только ее; беседует, каламбурит, шутит только на радость Натали. И общество охотно принимает романтическую версию. Александр Сергеевич видит, как рушатся на глазах плоды его победы, добытой нервами, гордостью и мужеством. Удушливые сплетни, ядовитые ухмылки, жалиющие лорнеты – всё возвращается, как неотступный кошмар. Клевета уже не отравляет, а сотрясает всю его кровь, доставляя на раутах зрителям увлекательное зрелище: «снова начались кривляния ярости и поэтического гнева», – пишет Софья Карамзина.

Что свело эти «кривляния» в единый порыв навстречу роковой воле – приезд ли тригорских подруг Пушкина Евпраксии Вревской и Анны Вульф, которые рассказали ему, что и в провинции верят петербургским слухам, замечание ли царя, пососоветовавшего Наталье Николаевне «быть как можно осторожней и беречь свою репутацию», или особенная развязность Дантеса на балу у княгини Мещерской 24 января, – исследователям точно не известно.

С 26 января 1837 года события понеслись вихрем.

Утром в этот день Александр Сергеевич отправляет барону Луи Геккерену письмо. Содержание его выходило «из пределов возможного», как выразился сам Геккерен. Это было полное уничтожение: «Вы, представитель коронованной особы, вы отечески сводничали вашему сыну <...> Подобно бесстыжей старухе, вы подстерегали мою жену по всем углам, чтобы говорить ей о любви вашего незаконнорожденного или так называемого сына; а когда, заболев сифилисом, он должен был сидеть дома, вы говорили, что он умирает от любви к ней; вы бормотали ей: верните мне моего сына». О самом же «сыне» в письме говорилось, что «он просто плут и подлец». Такие оскорбления надежно исключали любые переговоры, кроме формальных – «о материальной стороне дуэли».

Вечером того же дня секундант Геккеренов виконт д'Аршиак уже был у Александра Сергеевича с письменным вызовом от барона, из которого следовало, что драться будет – и за себя, и за «отца» – Дантес. Вызов был принят. Д'Аршиак объявил, что он ждет секунданта, чтобы условиться о месте и времени поединка.

Секундант Пушкину нужен был особенный. Никого из близких друзей, кто пустился бы «принимать меры», он уже не желал посвящать в дело. Теперь он должен был остаться один на один с волей Рока, с некоей возвышающей силой – с «фаталитетом, который невозможно объяснить», как скажет потом князь Вяземский. Для Александра Сергеевича в этот день уже что-то объяснялось: слишком настойчиво врывается в его жизнь предначертанный сюжет. Все, кто видел Пушкина вечером 26 января на балу у графини Разумовской, где он втайне подыскивал себе секунданта, поражались его веселости, блистательности, легко-



сти... Секунданта здесь он не нашел. Англичанин Артур Меджнис, к которому он обратился, вежливо отказал.

На следующий день, 27 января, Пушкин встал в 8 часов утра в еще более приподнятом и бодром расположении духа, чем накануне, «после чаю много писал – часу до 11-го. С 11 обед. – Ходил по комнате необыкновенно весело, пел песни», – записал потом в конспективных заметках со слов домашних Жуковский. Веселости Александру Сергеевичу придавало и то обстоятельство, что он вдруг вспомнил о своем старом лицейском товарище Константине Данзасе. Вот этот скромный и благородный служака, инженер подполковник «самых честных правил», подходил в секунданты лучше всех! Пушкин послал за ним.

В 12 часов Данзас подъехал к дому на Мойке. Увидев его в окно, Александр Сергеевич сам выскочил к входным дверям, радостно встретил его, провел в кабинет и заперся с ним там, – вероятно, взял с него слово чести не разглашать дела. Через несколько минут Данзас вышел из кабинета и отправился по указанию Пушкина в оружейный магазин Куракина за пистолетами.

Ровно в час дня из дома вышел и сам Александр Сергеевич. Он взял извозчика; в условленном месте подобрал в сани Данзаса, уже выкупившего оружие, и они поехали в Большую Миллионную во французское посольство к виконту д'Аршиаку. Здесь Пушкин представил виконту своего секунданта и, высказав твердое намерение стреляться сегодня же, уехал.

Он дожидался Данзаса в кондитерской Вольфа, пока Данзас составлял с виконтом условия поединка. К половине третьего все уже было оговорено и записано. Расстояние между барьерами – десять шагов. Права первого выстрела нет ни у кого. Противники по знаку сходятся – у каждого по пять шагов – и в любой момент, не переступая барьера, стреляют. Место – за Черной речкой возле Комендантской дачи, время – пятый час пополудни.

Около четырех часов Данзас приехал в кондитерскую Вольфа. Александр Сергеевич спокойно пил лимонад. Необыкновенно спокоен он был и в дороге. Когда переезжали в санях через Неву, спросил у Данзаса: «Не в крепость ли ты везешь меня?» Данзас ответил серьезно: «Нет, через крепость на Черную речку самая близкая дорога». Пушкин, конечно, шутил. Никто уже не мог «всё остановить». Воля Рока, открываясь ему, превращалась в его собственную волю, и теперь это уже была не зловещая и жестокая сила, а светлая и ясная – проясняющаяся – воля его судьбы.

На место прибыли в половине пятого. Ровно в то же время приехали Дантес и д'Аршиак. Отыскали безветренную поляну среди кустов. Снега было очень много. Три человека – Данзас, д'Аршиак и Дантес – упорно трудились, вытаптывая барьерный коридор, тропинку. Пушкин в медвежьей шубе сидел на сугробе – «был столь же покоен, как и во все время пути», замечает Данзас. На вопрос секунданта, подходит ли выбранное место, отвечал: «Мне это совершенно безразлично, только постарайтесь сделать все возможно скорее».

Барьеры отметили шинелями Данзаса и д'Аршиака. Секунданты зарядили пистолеты. Поставили противников. Подали им оружие. Данзас снял шляпу, подержал ее высоко над головой. Махнул. Пушкин быстро подошел к барьеру. Остановился и начал наводить пистолет. Дантес на ходу – за шаг от барьера – выстрелил... Пуля, завершая свой длительный и запутанный полет сквозь времена и события, наконец остановилась.

Вошла в живот, перебила вену, скользнула по окружности тазовой кости и ударила в крестец, раздробив его на осколки... Ранение было не только «безусловно смертельным», как потом определили врачи, но и в высшей степени мучительным... Александр Сергеевич упал на шинель Данзаса и лежал неподвижно. К нему бросились секунданты. Двинулся в его сторону и Дантес. Но Пушкин тут же остановил его, сказав по-французски: «Подождите! у меня еще достаточно сил, чтобы сделать свой выстрел». Вернувшись на место, Дантес стал правым боком к барьеру. Согнутой рукой прикрыл грудь. Данзас подал Пушкину другой пистолет: дуло первого при падении забилося снегом. Александр Сергеевич приподнялся на левой руке. Точно и неподвижно нацелил пистолет в Дантеса. Выстрелил. Дантес упал. Пушкин отбросил пистолет. Воскликнул «Браво!», полагая, что Дантес убит.

Что то было в этом знаменитом восклицании – последние отголоски зрелищной и мучительной суеты бытия, уже отлетавшей от Пушкина. В следующее мгновение он начал прозревать нечто необыкновенное – непричастность Дантеса к свершившемуся. «Странно! Я думал, что его смерть доставит мне удовольствие, но теперь я чувствую, что это почти огорчает меня», – произнес Пушкин.

Дантес не был убит. Пуля ниже локтя насквозь прострелила руку... Мысль об убийстве не должна была примешиваться к страшным физическим страданиям Пушкина в те двое суток перед кончиной, последовавшей 29 января 1837 года в 2.30 пополудни.

Высокая и светлая воля защитила его от нравственных мук – подставила под пулю летевшую сквозь руку в печень Дантеса, серебряную пуговицу от подтяжек.

Через несколько месяцев, высланный из России, Дантес в Баден-Бадене, как пишет встретивший его там Андрей Карамзин, «с кавалергардскими ухватками предводительствовал мазуркой и котильоном».

Эта была не его дуэль.

Она целиком принадлежала только судьбе Пушкина. Всех, кто видел его смерть, поражало выражение «божественного спокойствия» на его лице. Жуковский об этом выражении сказал более определенно: «Великая, радостно угаданная мысль».

## Захар ПРИЛЕПИН

*Нижний Новгород*  
(№ 5, 2019)

### ЕСЕНИН. ОБЕЩАЯ ВСТРЕЧУ ВПЕРЕДИ

*Фрагменты книги*

\* \* \*

...сложная и порой болезненная тема: Есенин и церковь, Есенин и христианство.

Тема неприятия официальной церкви как института – вовсе не является приметой Есенина «советского», но заявлена несколько ранее.

Достаточно взглянуть на поразительные стихи Есенина 1916 года «Закружилась пряжа снежистого льна...»:

Пойти и рыдайте, ветры, на тропу,  
Нечем нам на помин заплатить попу.  
Слушай моё сердце, бедный человек,  
Нам за гробом грусти не слышать вовек.  
Как помрём – без пенья, под ветряный звон  
Понесут нас в церковь на мирской канон.  
Некому поплакать, некому кадить  
Есть ли им охота даром приходить.

Когда, в 19-м, в пору имажинистских хулиганств, Есенин сотоварищи отправились расписывать стены Страстного монастыря – это было вовсе не предательство по отношению к целому циклу христианских поэм, созданных в минувшие два года, – а личный, давний, хотя и не без влияния Клюева, сложившийся скепсис по отношению к церкви «казённой».

Оказавшись в 22-м году за границей и узнав об аресте патриарха Тихона и начавшейся акции экспроприации церковных ценностей, Есенин отреагировал, по иным меркам, почти кощунственно.

А именно – и публично, в разговорах, и письменно объявляет: «Очень не люблю патриарха Тихона и жалею, что активно не мог принять участие в отобрании церковных ценностей».

(Клюев, напомним, принимал.)

Свои объяснения есенинской позиции имеются и здесь.

Только в 1917–1918 гг. поместным собором и патриархом Тихоном было обнародовано 16 антисоветских посланий.

Зададимся вопросом: на чьей стороне тогда был Есенин – патриарха или советской власти? Ответ очевиден. Раздражение его на церковных иерархов родилось не вчера.

В период нахождения Есенина за границей в Советской России случился неурожай и начался голод. Советская власть обратилась к Русской

православной церкви с просьбой дать – здесь внимание: займы – государству предметы из золота, серебра и драгоценных камней. Драгоценности были необходимы для закупки продовольствия за рубежом. Патриарх Тихон отказался участвовать в этих договорённостях, назвав саму просьбу святотатством.

Когда ясен контекст – позиция Есенина становится если не просительной, то как минимум объяснимой.

Свой контекст и у злых строк маленькой поэмы «Русь бесприютная» (1924):

Ирония судьбы!  
Мы все острóщены.  
Над старым твёрдо  
Вставлен крепкий кол.  
Но всё ж у нас  
Монашеские общины  
С «аминем» ставят  
Каждый протокол.

И говорят,  
Забыв о днях опасных:  
«Уж как мы их...  
Не в пух, а прямо в прах...  
Пятнадцать штук  
Я сам зарезал красных,  
Да столько ж каждый,  
Всякий наш монах».

Россия-мать!  
Прости меня,  
Прости.  
Но эту дикость, подлую и злую,  
Я на своём недлительном пути  
Не приголублю  
И не поцелую.

Позже забылся и этот контекст, но в 1924 году ни для кого секретом не была массовая поддержка духовенством Белого движения. Поддержка имела вполне понятные причины, и тем не менее: Есенин был в другом лагере. И там, где был Есенин, отлично знали, что многие монастыри служили пристанищем белогвардейцам, у Колчака воевали сформированные при помощи духовенства «Полк Иисуса», «Полк Богородицы», «Полк Ильи Пророка», а под Царицыном – «Полк Христа-Спасителя», состоявший исключительно из лиц духовного звания.

Если попытаться взять шире, Есенин выступал не столько против церкви и уж точно не против православия – но против того, что Христа несут на знамёнах те, кто по мнению поэта, права на это не имел.

Он себя – себя! – видел пророком правды Христовой.

\* \* \*

По количеству наименований (но не по объёму) Есенин имажинистский, Есенин лирический, обращённый к женщине и даже, наконец, Есенин советский, – проигрывает Есенину – как христианскому поэту.

Есенин – автор внушительного религиозного наследия: по меньшей мере, сорока пяти стихотворений и маленьких поэм (даже исключая несколько, безусловно религиозных, но вместе с тем – выходящих слишком далеко за пределы канона, революционных поэм 17–18 гг.).

Странно, что до сих пор нет отдельного издания христианской лирики Есенина.

В русской литературе сочинителей, внесших такой огромный вклад в христианскую поэзию, – по пальцам сосчитать. А сочинителей уровня Есенина – и того меньше.

В 1924 году готовя первый том собрания сочинений, Есенин перечитал написанное им – и сам удивился, что он – религиозный поэт.

Пришлось в предисловии объясняться: «Отрицать я в себе этого этапа не могу так же, как и всё человечество не может смыть периоды двух тысяч лет христианской культуры...» – и предлагал воспринимать написанное тогда, как «сказочное в поэзии».

Есенин лукавил.

Самое замечательное, что это даже критика отлично понимала.

И советская, и эмигрантская.

Поэт Александр Туринцев в статье «Поэзия современной России» (журнал «Своими путями», Прага, 1925, № 6–7) писал: «Нет, сколько бы ни извинялся Есенин... за “самый щекотливый этап” свой – религиозность, сколько бы ни просил читателя “относиться ко всем моим Иисусам, Божьим матерям и Миколам, как к сказочному в поэзии”, для нас ясно: весь религиозный строй души его к куцему позитивизму сведён быть не может... По-прежнему взыскует он нездешних “неведомых пределов”. Неизменна его религиозная устремлённость, порыв к Божеству, меняется лишь внутреннее освещение...»

На свой лад ему вторил оголтелый советский критик Георгий Покровский в своей книге «Есенин – есенинщина – религия» (М.: Атеист, 1926): «...религиозные настроения красной (вернее, чёрной) нитью проходят через всё его творчество. Распустившись махровым цветком в питательной среде петербургского мистицизма, они видоизменяются применительно к условиям революционного момента, загоняются внутрь, приглушаются в период бурной реакции хулиганского периода и оживают в туманной, мистической форме последнего, упадочного периода. Прodelать такую эволюцию и сохраниться в условиях революционной ломки, когда очень и очень многие переоценили свои бывшие ценности и, в частности, религиозные, они могли только в том случае, если они были не привходящие, не наносные, а глубоко коренились во всей его психике, вскормленной древней народной религиозностью...»

Всё так, всё так. «Глубоко коренились в психике» и были вскормлены «народной религиозностью».

Религиозность начального этапа есенинского творчества словно бы гласит: русские – православные от природы и в природе.

На поля смотрят как богомольцы, причащаются у ручья.

Это не вполне пантеизм, как Леонид Каннегисер уверял Есенина.

Это обычная, органичная, спокойная уверенность, что Бог здесь, Бог везде.

Есенинское православие почти всегда бессюжетно и созерцательно.

Задымился вечер, дремлет кот на бруссе.

Кто-то помолился: «Господи Иисусе».

.....

Закадили дымом под росую роши...  
В сердце почивают тишина и мощи.

*(«Задымился вечер...», 1912)*

Православное сознание для него в то время – обыденно как дыхание.  
Проникновенная, тёплая, сердечная религиозность.  
Пахнущая простором, полем, дрожанием огня, хлебом.  
Трудом и богомольной дорогой русского человека, наконец.

По тебе ль, моей сторонке,  
В половодье каждый год  
С подожочка и котомки  
Богомольный льётся пот.

Лица пыльны, загорелы,  
Веки выглодала даль,  
И впилась в худое тело  
Спаса кроткого печаль.

*(«Сторона ль моя, сторонка...», 1914)*

В том, что если случится пришествие Спаса, русский человек Его опознает, – Есенин нисколько не сомневался.

Вспомним стихи «Шёл Господь пытаться людей в любви...» (1914) – где даже нищий, встретившийся Ему на пути, делится с ним краюхой.  
Более того, Господа опознаёт и жалеет даже русская природа:

Схимник-ветер шагом осторожным  
Мнёт листву по выступам дорожным

И целует на рябиновом кусту  
Язвы красные незримому Христу.

*(«Осень», 1914)*

И разглядев Его, наша природа ликует:

Прошлогодний лист в овраге  
Средь кустов, как ворох меди.  
Кто-то в солнечной сермяге  
На ослёнке рыжем едет.

Прядь волос нежней кудели,  
Но лицо его туманно.  
Никнут сосны, никнут ели  
И кричат ему: «Осанна!»

*(«Сохнет стаявшая глина...», 1914)*

Если когда-то и был Есенин счастлив по-настоящему, то в те дни, когда открылся его дар – а он ещё не придумал, что с ним делать. Дар ещё не висел на слабом человеке страшным грузом – а только обещал полёт и радость.

Чую радуницу Божью –  
Не напрасно я живу,  
Поклоняюсь придорожью,  
Припадаю на траву.

Между сосен, между ёлок,  
Меж берёз кудрявых бус,  
Под венком, в кольце иголок,  
Мне мерещится Исус.

Он зовёт меня в дубровы,  
Как во царствие небес,  
И горит в парче лиловой  
Облаками крытый лес.

Голубиный дух от Бога,  
Словно огненный язык,  
Завладел моей дорогой,  
Заглушил мой слабый крик.

Льётся пламя в бездну зренья,  
В сердце радость детских снов.  
Я поверил от рожденья  
В Богородицын покров.

*(«Чую радуницу Божью...», 1914)*

Он знал, Кому обязан даром.  
Он только боялся, что не сумеет отблагодарить.

И в каждом страннике убогом  
Я визнавать пойду с тоской,  
Не Помазуемый ли Богом  
Стучит берестяной клюкой.  
И может быть, пройду я мимо  
И не замечу в тайный час,  
Что в елях – крылья херувима,  
А под пеньком – голодный Спас.

*(«Не ветры осыпают пущи...», 1914)*

Так заявляется тема страшней его богооставленности: «...может быть, пройду я мимо».

С какого-то момента в стихи Есенина приходит тема монашества: там хотя бы не так страшит вероятность пропустить «тайный час».

В стремлении к монашеству есть много «поэтического», в какой-то степени, быть может, игрового – но есть, безусловно, не только это.

Да, внешние есенинские ставки были на удачу, на «оригинальность», но мы должны видеть глубже – в конце концов, мы знаем итог этого пути, огромность вложений и необъятность душевных растрат.

Кажется, можно себе вообразить Есенина – монахом: равно как и, скажем, Гоголя, Лермонтова, Достоевского, Гаршина, даже Льва Толстого. В этом есть какой-то важный признак русской литературы:



её внутренней сдержанности, обращённости к потустороннему, способности к преодолению человеческого, молитвенной собранности.

Уже давно мне стала сниться  
Полей малиновая ширь,  
Тебе – высокая светлица,  
А мне – далёкий монастырь.

*(«Опять раскинулся узорно...», 1916)*

Пойду в скуфье смиренным иноком  
Иль белобрысым босяком  
Туда, где льётся по равнинам  
Берёзовое молоко.

*(«Пойду в скуфье смиренным иноком...», 1914)*

Не за песни весны над равниною  
Дорога мне зелёная ширь –  
Полюбил я тоской журавлиною  
На высокой горе монастырь.

*(«За горами, за жёлтыми долами...», 1916)*

Все три фрагменты объединяет одно – растворённость монастырского, богомольного труда – в природе: везде монастырь соседствует с ширью, равнинами, полем – он и сам будто часть природы. И даже стремление к нему: «журавлиное».

Но в том же 1916-м, зимой, Есенин вдруг – в самый разгар бесконечной уже войны, – вдруг пророчесствует о скорых переменах:

Встань, пришло исцеленье,  
Навестил тебя Спас.  
Лебединое пенье  
Нежит радугою глаз.  
Дня закатного жертва  
Искупила весь грех.  
Новой свежестью ветра  
Пахнет зреющий снег.

*(«Покраснела рябина...», 1916)*

Что же? Что случится?

Предчувствия его – почти музыкальные. Приходят к человеку в состоянии полубабытья – и звучат:

Колокольчик среброзвонный,  
Ты поёшь? Иль сердцу снится?  
Свет от розовой иконы  
На золотых моих ресницах.

Пусть не тот я нежный отрок  
В голубином крыльев плеске,  
Сон мой радостен и кроток  
О нездешнем перелеске.

*(«Колокольчик среброзвонный...», 1917)*

И вновь – русский перелесок – как синоним рая.

Казалось бы, написавший эти стихи уже много согрешил в сознании своём («не тот я нежный отрок») – а кроток только во сне: но что-то звучащее неотсюда – обещает иную радость.

И – радость грянула.

Тучи с ожерёба  
Ржут, как сто кобыл,  
Плещет надо мною  
Пламя красных крыл.

Небо словно вымя,  
Звёзды как сосцы.  
Пухнет Божье имя  
В животе овцы.

Верю: завтра рано,  
Чуть забрезжит свет,  
Новый над туманом  
Вспыхнет Назарет.

*(«Тучи с ожерёба...», 1917)*

Одному своему товарищу Есенин как-то признавался: «Школу я кончал церковноприходскую, и там нас Библией, как кашей кормили. И какая прекрасная книжица, если её глазами поэта прочесть! Было мне лет 12, и я всё думал: вот бы стать пророком и говорить такие слова, чтобы... за душу брало. Я из Исаяи целые страницы наизусть знал...»

И мыслил и читал я  
По Библии ветров,  
И пас со мной Исаяя  
Моих золотых коров.

*(«О пашни, пашни, пашни...», 1917)*

Книга пророка Исаяи воистину поэтична и яростна; это один из самых жёстких в обличениях пророков – но Есенин верил, что даже с ним он в состоянии был бы найти общий пророческий язык: по одному же лужку гуляем.

Цикл религиозных поэм о революции выказывает безусловную осведомлённость Есенина в молебных песнопениях, в жанрах гимнографической поэзии – таких как тропарь, канон, псалом, акафист.

Происходящее он воспринял как Божественное откровение.

О, я верю – знать, за муки  
Над пропащим мужиком  
Кто-то ласковые руки  
Проливает молоком.

*(«Гляну в поле, гляну в небо...», 1917)*

Есенин пророчествовал и верил.

Кажется, его пытались остановить.  
Он сам рассказывал в стихах:

Отвори мне, страж заоблачный,  
Голубые двери дня.  
Белый ангел этой полночью  
Моего увёл коня.

*(«Отвори мне, страж заоблачный...», 1917)*

Пророку Сергею был нужен конь, чтоб участвовать в переустройстве мира, чтоб вывести землю на колею иную. Страж заоблачный коня спрятал – хотел приберечь его от жесточайших разочарований.

«Нет, дай».

«Ну, на».

Теперь иные могут сказать, что Есенин был запутан нечистым, а пророчества его обернулись кошмаром.

С коня упал, голову разбил... Оглянулся – а вокруг цирк, и все хохочут.

Так было? Нет?

Рискнём ответить: мы слишком малый срок прошли, чтоб оказаться столь убеждёнными.

Есенинская правота на новом повороте земной оси может высветиться и засиять.

Ничего не потеряно.

Другой вопрос – что, златовласый юноша двадцати двух лет, груз он взял неприподъёмный на себя.

За такую вовлечённость и чистоту – неизбежно приходится платить.  
Отворили ему не голубые двери дня – а жилы голубые на руке.

\* \* \*

В том же 17-м – когда ветры сияли и льды трещали – когда сердце колотилось и глаза были распахнуты, откуда-то, подспудная, вновь явилась та же тема, о которой вроде бы высказался уже ранее:

Свищет ветер под крутым забором,  
Прячется в траву.  
Знаю я, что пьяницей и вором  
Век свой доживу.

.....

Верю я, как ликам чудотворным,  
В мой потайный час  
Он придёт бродягой подзаборным  
Нерушимый Спас.  
Но, быть может, в синих ключьях дыма  
Тайноводных рек  
Я пройду его с улыбкой пьяной мимо  
Не узнав вовек.  
Не блеснёт слеза в моих ресницах,  
Не вспугнёт мечту.  
Только радость синей голубицей  
Канет в темноту.

И опять, как раньше, с дикой злостью  
Запоёт тоска...  
Пусть хоть ветер на моём погосте  
Пляшет трепака.

*(«Свищет ветер под крутым забором...», 1917)*

Перед нами не просто повторение сюжета стихотворения трёхлетней давности – 1914 года – о том, как он – автор этих стихов – однажды пройдёт мимо, не узнав Христа.

Это – расширенное и уточнённое пророчество, удивительным образом отражающее ещё не написанные, не прожитые, не задуманные стихи.

Здесь появляется тема «пьяницы и вора» – на которой построена будет вся «Москва кабацкая», до которой оставалось ещё пять лет.

Здесь уже «свищет ветер» – из классического стихотворения 1925 года, начинающегося с тех же слов: «Свищет ветер, серебряный ветер...»

Автор сообщает: разлуку с Христом, богооставленность – я не переживу.

Характерно, что в этих стихах Христа он проглядит – оттого, что пьяный: хотя в 1917-м Есенин вообще почти не пил, пристрастия к этому не имел, и до начала его пьянства оставалось тоже как минимум года четыре.

Это будто бы и не стихи – а форточка в будущее. Тот самый ветер распахнул: и дал всё увидеть, – тоска давит, ветер танцует на неизбежном погосте.

Всё себе предсказав, Есенин как заговорённый пошёл к этому состоянию и настиг его.

В предчувствии погоста, как о великой благодати, попросил только об одном:

Чтоб за все за грехи мои тяжкие,  
За неверие в благодать  
Положили меня в русской рубашке  
Под иконами умирать.

*(«Мне осталась одна забава...», 1923)*

Ответа не услышал.

Наверняка ответ был – но не услышал.

Решил, что этой благодати ему не будет. Радость голубицей канула во тьму.

В одном из последних своих стихотворений – «Не гляди на меня с упрёком», – написанном в том самом декабре 25-го, в психбольнице, – Есенин признается:

Если б не было ада и рая  
Их бы выдумал сам человек...

Мы понимаем, что означают слова «если б не было...».

Они означают: ад и рай – есть.

Есенин верил в Бога до последнего своего дня.

Ему не надо было ничего выдумывать про ад и рай. Он знал.  
Может, действительно, лучше сложилось бы, когда б тогда, в 1916 году,  
ушёл в монастырь?

...Но кто бы тогда все эти стихи написал?

Кто бы нас спасал, оставленных без его слова?

Без рая, о котором он рассказал, – и ада, который показал?

Показал прямо на себе.

**Андрей РУДАЛЕВ**

*Северодвинск*  
(№ 6, 2022)

## ПОБЕДИТЬ

### Василий Белов в дни российской спецоперации

В отечественной литературе можно найти многие ответы по поводу происходящих современных событий. Все там есть. В свое время она предвосхищала будущий пожар разрушительной перестройки, рассказывала и о том, что происходит сейчас.

Можно вспомнить, например, повесть Валентина Распутин «Пожар», увидевшую свет в 1985 году и ставшей своеобразным предвосхищением перестроечных событий. В ней говорится о пламени, которое «занялось в таком месте, чтобы, загоревшись, сгореть без остатка», было и указание на «злой случай» или умысел. Отмечен и сам процесс тушения, который все никак не удалось организовать: огнетушители «то ли высохли, то ли выдохлись», также и народ никто не сумел собрать в «одну разумную твердую силу, способную остановить огонь». Народ оказался разьединен.

Подобный дар и отличает настоящего писателя. Он проистекает в силу его слитности и нераздельности с отечественной цивилизацией. Таков Василий Белов.

«Жутковато произносить эти слова, но их надо произносить снова и снова. Произносить открыто и честно: в России в разгаре третья Отечественная война», – в свое время написал Василий Белов, подхватывая мысль академика Игоря Шафаревича. Беловская статья, появившаяся еще в 1997 году, называлась «Окопы третьей Отечественной».

Третья Отечественная – часть вековой борьбы России за выживание. Развернулась она в горбачевскую перестройку и протянулась до наших дней. Неизвестно, сколько эта война продлится. Станет ли она для страны последней, или Россия вновь устоит. Будто сегодня рассуждал писатель.

В своей статье Белов писал, что «русский народ сопротивляется очередному нашествию», но при этом не готов признать реальность происходящего. Люди «боятся признаться, что надвигается катастрофа», что идет война. Собственно, и Великая Отечественная начиналась под немецкие реляции по поводу освобождения от гнета большевиков. Горбачевская перестройка пошла намного дальше: она обольщала, создала глобальную утопию-выверт, через которую реальность происходящих процессов крайне сложно было рассмотреть.

Вологодский писатель отмечал, что «окружающий мир с каким-то непонятным злорадством наблюдает за стремительным и поспешным расчленением нашей еще недавно здоровой и мощной государственной

плоти». Явственно видел, что многие ждут, «когда Россия испустит, наконец, дух, разложится и станет политическим и экономическим перегноем для произрастания каких-то новых и, по их мнению, уже окончательных образований».

При этом Василий Белов апеллировал и к чувству самосохранения европейцев. Отмечал, что «микробы государственного разложения одинаково опасны для всех. Заразу нельзя ведь удержать в пределах национальных границ». Что сейчас явственно видно на примере украинских событий с откровенно нацистским уклоном. Возможно ли этот вирус запечатать в границах и излечить от него, или вновь распространится по всей Европе – большой вопрос.

Писатель акцентировал внимание на проблеме «самообмана», в котором пребывала страна все перестроечные годы, и даже после на руинах общество продолжало обманывать само себя, надеяться, верить в чудо, которое все само собой уладит, стоит только пойти туда, не зная куда... Этот самообман, из которого долгое время не хотели выходить, был в тоже время и формой самооправдания.

Обращал внимание Белов и на «фальшивые образы», которые завожили людей, ввели их в состояние, схожее с помрачением. Их суть в дуализме, двойственности, которая сбивает с толку: «Чтобы обнаружить упомянутую зеркальность, хотя бы свой собственный ненатуральный, обратный, иными словами – фальшивый образ, достаточно подойти к зеркалу, где правая рука становится левой, а левая – правой».

Таковым «фальшивым образом», например, является свобода. В екатеринбургском мавзолее постсоветской мифологии – Ельцин-центре – зал свободы венчает семь дней творения новой России, представлен в качестве ее результата. В современном мире много подобного рода понятий-перевертышей, которых используют для манипуляции массами. Таковыми оборотнями являются демократия и гуманизм. Еще в девяностые мир узнал, что бомбардировки могут быть гуманитарными.

Не обходил вниманием писатель и культуру отмены, которую называли реформаторством. По словам Василия Белова, «реформаторство, читай, не улучшение, а уничтожение чего-либо», своеобразный процесс выкорчевки и зачистки всего отечественного, своего.

Отмечал северный литератор и негативные последствия языкового реформаторства. На эти процессы смотрели, как и на рынок, дескать, язык сам во все разберется и «сам очистится от пены». Так, по мнению Белова, и происходило «забвение слова».

Цель культурного реформаторства состоял в особом выверте: «дай им волю, они отреформируют даже “Маленькие трагедии” Пушкина, отреформируют арию Сусанина Глинки, да так, что ни от Александра Сергеевича, ни от Михаила Ивановича ничего не останется». Он производился через деконструкцию, своеобразное расчленение, после чего происходило наполнение новым содержанием, фаршировалось другими культурными кодами. Так же, как и в языковой среде. Подобная стратегия отмены через выверт действовала все последние десятилетия. Это тоже одно из проявлений Третьей Отечественной.

Сейчас беловская страстная публицистика воспринимается остро актуальной. Но тогда подобное, без сомнения, было смелым гражданским поступком. За что моментально записывался в разряд крайних маргиналов, на который как раз и не распространялось понятие свободы, как главное демократическое завоевание. Такими запугивали, клеймили, не стеснясь в выражениях. Иного и не могло быть в обществе, погрязшем



в самообмане, в фантомах инореальности. Писатель же смотрел на много шагов вперед, он видел все происходящие процессы в их полноте.

Поэтому Белов с болью сетовал, что «несмотря ни на что, даже самая ответственная, самая размышляющая часть русского общества до сих пор не видит нового иностранного нашествия. Она зомбирована», лишалась памяти или ее память подменяли. Так советский период подменили памятью о темном и кошмарном прошлом.

Еще не было 2014 года, не наступило 24 февраля 2022 года, а Василий Белов отмечал, что «Запад ведет войну по всем классическим правилам, не брезгует ничем для победы над русскими, а сами русские до сих пор понимают войну как Сталинградскую или Курскую битву...». Отмечал, что «НАТО по маршрутам Наполеона и Гитлера вплотную движется к нашим границам», и при этом «мать городов русских Киев грозит Москве натовскими войсками».

«Россия терпит нашествие», – взывал к обществу Белов, говоря об ужасных посевах, раскиданных повсеместно «драконовых зубах русофобии».

«Гражданская война в России стала фактом», – а это уже писатель говорил об октябрьских событиях 1993 года в Москве. А после были чеченские кампании, а уже сейчас развернулись украинские события. В один ряд с октябрём 93-го он ставит войну в Югославии, которая привела к расчленению страны. Сейчас видно, что та гражданская рознь протянулась на десятилетия, эхо ее звучит и в наши дни. Да и Югославия – репетиция и отработка действий по более глобальному расчленению и разъединению.

Поднимает писатель и злободневную проблему молчания зарубежных литераторов, наблюдающих за бомбардировками Югославии. Отчего и возникает вопрос: «Неужели писатели мира верят вселенской лжи о кровожадности сербов и дикости русских?» Стоит чуть переформулировать его и можно задавать сейчас, в ответ же получим предсказуемую веру во «вселенскую ложь». Как показывают нынешние события, в глобальном информационном зомбировании возможно все: черное всегда можно выдать за белое и наоборот.

Уже тогда писателю было все понятно о намерениях пресловутого коллективного Запада, отсюда и его вопрос, обращенный к профессору Кельнского университета Казаку: «Европа забыла одну простую истину: медведь никому не грозит, если он не ранен. Если он ранен, то он опасен! Или Европа в плановом порядке решила добить медведя? Но это ведь и совсем уже не мудро...»

У Василия Белова есть статья «Стыдобушка» (1999), в которой он говорит об общем ощущении девяностых: стыд за происходящее. Он усиливается особенно, когда включается память, что в свое время страна устояла перед «грозными фашистскими полчищами», теперь же совершенно нет никакой воли к сопротивлению, будто утеряно чувство самосохранения, которое подменили различные фантазии и миражи, поразившие власть и всю страну «чужебесием». Говорил писатель и об идеологии наживы, которая на далекие задворки отнесла патриотизм, производя отчуждение от своей страны и своего.

Также можно вспомнить, что и Валентина Распутин писал о том, что на исходе девяностых было ощущение наступления критического периода отечественной истории, что все окончательно рассыпается, что «силы не стало, воли», что «бросились врассыпную кто куда». Что людей «обчужили», чтобы они стали отзывчивыми и восприимчивыми к чужому и были отчуждены от своего. Образовалась

человеческая пустота: «образ есть, а человека нету», будто через молотилку его пропустили.

Белов же отмечал, что «наша демократическая так называемая революция разделила русский народ. И старается делить его, дробить на все более мелкие составляющие. Нас лишают нашей национальной и духовной цельности. А когда душа начинает дробиться, невозможно никакое созидание». Какой тут может быть лад?..

Писатель вспоминал Бориса Шергина, который писал о том, что память и жизнь равнозначные понятия: «о родстве, о взаимной необходимости друг для друга “жизни” и “памяти”». Сейчас происходит сужение памяти до точки, отсечение ее, что дает простор для всевозможных манипуляций над разумом и человеческим сознанием. Так Белов и объясняет правоту изречения, что «народ, теряющий память, теряет жизнь». В горбачевскую перестройку, в годы разлома это и происходило.

В его «Плотницких рассказах» память связана с душой человека: «и никуда ты не денешься без следа, останешься». Нет ее, то получается, что и душа пропадает. И не только человека, но и рода, нации, страны. Поэтому необходимо строить, плотничать, создавать – беречь и запечатлевать ту самую душу, а не раскалывать, крушить. Разрушение или перестройка связана с потерей души или ее подменой.

Показательно, что в разговоре с критиком Владимиром Бондаренко писатель назвал себя советским человеком. Все потому, что «советский человек, по-моему, это прежде всего и русский человек». Для Белова была важна эта преемственность, противостоящая разделению.

Помните, сколько нам твердили о важности исхода советского или «красного» человека, которого нарекли «совком»? Дескать, тогда и наступит всеобщее благоденствие, а страна избавится от темного прошлого. Дело все в том, что целились в коммунизм, а попали в Россию. Впрочем, нет: целились как раз в Россию, только в нее.

Тот же Владимир Бондаренко спросил у него, чтобы пожелал своим читателям. Василий Белов ответил: «Победить». Преодолеть разделение, внутреннюю усобицу, ту самую гражданскую войну и установить лад, в противоположность существующему разладу. Выстоять в Третью Отечественную. Победить.

И еще о предвосхищении и видении наперед. В самом начале перестройки, в 1986 году, у Василия Белова вышел роман «Все впереди», название которого можно сейчас воспринимать пророческим. Это был год чернобыльской аварии, и в романе также упоминаются грозное предзнаменования в виде смерча, пронесшегося летом 1984 года по Ивановской области. В романе в том числе и о разрастании «мирового зла», которое «прячется в искусственно созданных противопоставлениях – экономических, культурных, национальных». И действует через принцип «разделяй и властвуй».

По словам героя книги Медведева, этот принцип действует не только на людей, но и на время: расчленяет его на прошлое и будущее, оставляя на месте настоящего пустоту. Тот самый принцип нигилизма, когда настоящее «как бы не существует, и это позволяет твоему дьяволу придумывать и внедрять любые теории, любые методы». Например, такой, как «разрушение последовательности». Сейчас, после начала российской спецоперации на Украине, мы его можем отлично наблюдать, когда отсекаются все причинно-следственные связи и выдается мешанина подтасовок с целью демонизации России.

Через подобное разделение разрушается лад, порядок, строй, ритм и красота. Как отметил тот же беловский Медведев, дьявол, от которого идет это разделение, «антиэстетичен», с ним разрушается красота.

И еще очень важная реплика, озвученная на самом старте перестройки, которая в своих разрушительных последствиях простирается до наших дней: «чтобы уничтожить какой-нибудь народ, вовсе не обязательно забрасывать его водородными бомбами», можно действовать методами того ж разделения «достаточно поссорить детей с родителями, женщин противопоставить мужчинам». Актуально, ведь правда?..

Да, и еще про это «все впереди» в самом начале перестройки: «Там, за океаном, уже знают, сколько русских останется к двухтысячному году... Сколько и что мы выпьем в этом году, сколько в том... Они знают, какова у нас будет смертность, сколько детей будут рожать наши женщины. Вычисляли даже процент дебильности. Они моделируют войны. Экономiku и политику. Поведение женщин и молодежи. Ведь идеологические наркотики нисколько не лучше физиологических. Да, да, наркотик моделирует поведение! Это так просто». Что уж говорить, мы слишком долго находились под влиянием этих «идеологических наркотиков»...

Еще раз: роман вышел в 1986 году, а Василий Иванович уже все предощущал в происходящих событиях, мало того, видел и день сегодняшней, с его «моделированием войны» и «идеологическими наркотиками». Писатель все знал, все чувствовал, все понимал за десятилетия до. Только для нас каждый раз все происходящее, что снег на голову...

Один из персонажей книги называет народ скифами и выносит приговор: «Вам вообще суждено исчезнуть!» Для этого необходимо разьединить, расчлениить, устроить ту самую пустоту через подлог. Произвести смуту и усобицу. В финале романа два главных героя замерли друг напротив друга, готовые сцепиться между собой. «Это было как раз посередине моста.. И Москва шумела на двух своих берегах», – таковы финальные фразы книги. Символично, не правда ли?..

Так и вспоминается драка двух стариков в финале «Плотницких рассказов», из-за которой создалось ощущение, что «все разрушилось, все распадалось». А все из-за того, что автор-рассказчик «вызвал из прошлого притихших духов».

Эти духи розни вылезли из своего подпола в перестройку и ураганили по стране. Теперь самое время запечатать их обратно и навсегда. Начать вновь писать нашу историю общности. Строить большой дом. Этим бы мы почтили память и Василия Белова. Он так подобного хотел. В этом и будет состоять наша победа.

## Николай ФОРТУНАТОВ

Родился в 1931 году в Волгограде. Окончил историко-филологический факультет Горьковского государственного университета имени Н.И. Лобачевского. Работал учителем русского языка и литературы, старшим преподавателем и доцентом, заведующим кафедрой русской литературы Нижегородского государственного университета, где преподает в настоящее время. Профессор, доктор филологических наук.

Член Союза писателей России. Публицист, критик, литературовед. Живет в Нижнем Новгороде.

### *Из книги*

## НЕЧАЯННАЯ СЛАВА

Жизнь и труды Павла Ивановича Мельникова – Андрея Печерского

### От автора

Так случилось, что эта история о П.И. Мельникове, известном читателям под его прославленным псевдонимом – Андрей Печерский, уже имеет свою историю, причем совершенно неожиданно сложившуюся прежде всего для меня самого, ее автора.

О ней надо сказать хотя бы коротко, иначе будет непонятно, почему вместо того, чтобы начать ее, как заведено в таких случаях, с самого начала, скажем, с детских лет будущего великого писателя, она вдруг начинается если не с конца, то откуда-то прямо с середины. Что за странность?

Но ничего странного здесь нет. С жизнью ведь не поспоришь, у нее свои резюны. Событиям же суждено было развернуться так, как они развернулись. В 1997 году в Нижнем Новгороде появился литературно-художественный журнал, так и названный – «Нижний Новгород». Издателем и главным редактором его был В. И. Седов, бизнесмен и писатель, работавший исключительно в жанре короткого рассказа, нередко с острым, увлекательным, захватывающим криминальным сюжетом. Я в это время как раз занимался творчеством Мельникова-Печерского. Собрал все свои черновые наброски, привел их в порядок, и вдруг стал вырисовываться какой-то странный жанровый неологизм: то ли наблюдения филолога-аналитика, то ли документальная повесть. Несколько завершенных глав отнес в редакцию, они получили благожелательный прием – и стали печататься с первого же номера журнала! А в конце года я был объявлен его лауреатом. Я, неопит в писательском ремесле, и вдруг такой успех, это было почти чудо.

Но затем дело застопорилось. Мельников оставался для меня загадкой. Бог дал ему громадные силы, щедро наделив разносторонними дарованиями, не дал только одного, чисто отрицательного, свойства – некоторой узости, способности сосредоточиться на чем-то избранном, умения обуздать себя, и он умудрился всю жизнь свою проспорить – с самим собой. Историк; писатель-беллетрист; педагог (преподавал в Нижегородской гимназии); краевед (основатель научного краеведения, до него проавлявшегося вольными импровизациями); ближайший сорат-

ник Даля в работе над Словарем, прекрасный знаток языка Поволжья и Сибири; один из глубоких исследователей старой религиозной распри – Раскола. Но он был к тому же еще и крупный чиновник, тянул лямку в Министерстве внутренних дел, никогда не вызывавшем у русских людей симпатии, да еще занимался по роду своей службы преследованием раскольников, что оказывало ему недобрую услугу в глазах тех, кто знал об этой стороне его деятельности.

Однако самым загадочным был финал его жизни. Разными путями, но он все-таки пришел в последний момент к одной цели. Смертельно больной: неотвратимо наступал паралич, он не мог двигаться, рука не держала не то что перо, а простой папиросы, речь была затруднена, немногие понимали его, а ему уже давно приходилось диктовать свои тексты, писать не мог. И все-таки каким-то невероятным усилием воли, умирая, он закончил, как оказалось, главный труд всей своей жизни – диологию «В лесах» и «На горах». И сразу же вошел в пантеон русских классиков, как равный среди равных. А у него были достойные соперники – Салтыков-Щедрин, Толстой, Достоевский. Это была и в самом деле нечаянная слава, но добытая тяжелейшим, упорным писательским трудом, о котором не подозревали его современники и не догадываются нынешние его читатели.

«Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается» – пословица эта, которая у всех на языке, права, но только в одном случае: если сказка, о которой она твердит, – всего лишь болтовня, росказни, легкое, пустое плетение словес. Настоящее художественное дело требует усилий, времени, раздумий, таланта. Шахразада, пока рассказывала свои сказки султану, спасая себе жизнь, потому что этот суровый чудак имел странное обыкновение убивать молоденьких девушек, наложниц первой ночи, – вместо того чтобы благодарить их, – успела подарить ему трех сыновей. Сказок же оказалось совсем немного для «1000 и одной ночи».

Пока у меня оставалась надежда хоть что-то сказать о великом художнике, о котором ничего или почти ничего в то время почему-то не было сказано, работа продолжалась. Труд великого мастера – всегда тайна, она требует доказательств, анализов, размышлений. На одном из ученых собраний коллег-филологов я случайно оказался рядом с исследовательницей зарубежной литературы и вдруг услышал, коротко обмолвившись о Мельникове: «Это удивительный писатель! Когда мне тяжело, я открываю диологию или что-то из его вещей, "Старые годы" например, и мне становится легче, он словно берет на себя мой стресс и мою усталость...»

Может быть, и разговор о нем, если продолжить его, даст повод читателю взять в руки какую-нибудь книгу этого автора. Он не просто гордость русской литературы, хотя этого уже достаточно для повышенного интереса к нему, он нижегородец по рождению, по своей жизни и по своему творчеству. Здесь он вырос, здесь началась его писательская карьера, здесь возник его прославленный псевдоним, несущий в себе отголоски мест старого города, который был ему так дорог. Москва и Петербург остались для него всего лишь биваками, его всегда тянуло на родину, он то и дело возвращался сюда в бесконечные странствия по Нижегородской губернии и, наконец, вернулся, чтобы умереть и стать частью истории России – неподражаемой, оригинальной страницей великой русской классической литературы в великую эпоху ее расцвета середины–конца XIX столетия.

Он оставил нам и нашему городу частицу своей славы. Мы в долгу перед ним. Ведь не иваны же мы, не помнящие родства, хотя и расточительны сверх всякой меры: забываем о том, о чем нельзя забывать, и не ценим того, что вообще не имеет цены, – русский гений, русский ум, русский характер.

А теперь в путь, читатель! После этого по необходимости второго предисловия. Время летит стремительно. Тот, кому захочется восстановить начало



книги, может легко найти его в любой городской библиотеке (напомню координаты: «Нижний Новгород», 1997, № 1–4). Часть первая называлась «Рассветные огни» и заканчивалась пермской ссылкой молодого Мельникова.

Пользуюсь случаем выразить сердечную признательность редактору журнала Олегу Рябову за публикацию фрагмента из части второй книги («Поиск»).

## Учитель истории

Вскоре после злополучного происшествия в Казанском университете: о том, что произошло на студенческой вечеринке, в которой принял участие Мельников, до сих пор не знает никто. Сам он хранил упорное молчание о ней, не проговорившись ни словом. Известно лишь, что попечитель университета М. Мусин-Пушкин, отличавшийся крутым нравом, пришел в бешенство, приказал арестовать Мельникова и тут же отправил его в ссылку в заштатный городок Шадринск под конвоем университетского солдата. Но вскоре одумался и сменил гнев на милость, правда, относительную: ему уже в пути было разрешено остаться в Перми; хоть и далекий город, но все-таки губернский, с гимназией, где и должен был отныне преподавать опальный кандидат. Звание кандидата присваивалось выпускникам университета, показавшим особенно высокий уровень подготовки. Им давалось право – даже казеннокоштным студентам, как Мельников, т. е. получившим образование за государственный счет, – продолжить научную деятельность, заняв вакантное место по той или иной кафедре в родном или в каком-нибудь другом университете. В выпуске Мельникова было шесть кандидатов, среди них он; трое впоследствии стали профессорами Петербургского университета. Мельникову прочили блестящую карьеру в Казанском университете, одном из лучших тогда университетов России, и хотя ему не исполнилось и восемнадцати лет, он готовился к поездке за границу и к экзамену на звание магистра. Специализироваться он должен был по кафедре славянских наречий.

Неожиданная катастрофа все смешала. Пермские впечатления еще более запутали ясную перспективу. Молодой учитель гимназии увлекся исследованием истории и быта сибирского края. К тому же он, никому дотоле не известный автор, стал печататься в «Литературной газете» А. Краевского и в его журнале «Отечественные записки»! Было от чего закружиться голове. Но его не забывали и в Казанском университете. Спустя некоторое время М. Мусин-Пушкин, следивший за его успехами, предложил ему вернуться в университет, но он отказался.

В этот момент и произошло еще одно, как выяснится значительно позже, судьбоносное для него событие. Уже после начала сотрудничества с Краевским он был переведен из пермской гимназии в нижегородскую, в родной свой город, в мае 1839 года.

Это был результат случайного стечения обстоятельств. Неслучайными стали последствия этого неожиданного события. Из Нижнего ему сообщили об открывающейся вакансии. Некто, вполне посредственный преподаватель истории, которого не жаловали ни ученики, ни гимназическое начальство, ни попечители, захворал, а затем подал в отставку. Этим воспользовались – и пригласили нового учителя истории и статистики Мельникова, возложив на него задачу «исправить все недостатки преподавания».

Вновь делопроизводство шло через Казанский учебный округ, вновь прошение, написанное рукой Мельникова, было в руках Мусина-Пуш-

кина. Как-то распорядится он на этот раз? Не придется ли снова помнить его лихом?

Министерство Народного Просвещения. Департамент. От попечителя Казанского учебного округа. В Казани 25 мая 1839 г.

Господину директору училищ Нижегородской губернии.

По представлению Вашему, милостивый государь мой, от 8 минувшего апреля, я увольняю старшего преподавателя истории и статистики вверенной Вам гимназии Толубеева, согласно прошению его, вовсе из учебного ведомства с 1-го будущего июля, и вместе с тем, уважая ходатайство директора училищ Пермской губернии и прошение учителя истории и статистики тамошней гимназии Мельникова, я назначаю его на место Толубеева, старшим учителем означенных предметов во вверенную Вам гимназию.

К этому нужным считаю присовокупить, что я о сем дал знать директору Пермских училищ, предписав отправить Мельникова к новому месту служения после 1-го будущего июля.

Попечитель Казанского учебного округа,

Тайный советник М. Мусин-Пушкин

Ещё раз грозный попечитель вспомнил о нем, одном из студентов-кандидатов выпуска 1837 года, и свое столкновение с ним, – и дал согласие удовлетворить его просьбу. Он был великодушен, незлопамятен, да и гнев давно прошел, осталась только досада на то, что блестящий выпускник ушел из университета и где-то сам торит себе дорогу. Он мешать ему не станет. Достаточно и того, что когда-то наставлял отечески на путь благонравия и благопристойности молодого человека, как помнится, довольно легкомысленного. Ах, молодость, молодость! У неё часто ветер в голове, вместе с умом и знаниями. Впрочем, как-никак, а выпускник Казанского университета. Он, Мусин-Пушкин, высоко поднял престиж университета на Волге, едва ли не лучший сейчас в России. И мешать своим выпускникам не намерен. Нижний Новгород, так Нижний Новгород! И к Казани ближе: быть может, одумается и постучится в двери *alma mater*, вакансии для такого, как он, всегда могут открыться.

До окончания гимназических экзаменов Мельников оставался в Перми. На выпускном акте ему было поручено произнести речь. Это была большая честь для начинающего педагога. Он простился с учениками, простился с городом, который дал ему приют на трудный год, первый год его самостоятельной жизни: он хотя бы пришел в себя после неожиданной беды, которая разразилась над ним, встал снова на ноги. У него почти закончена внушительного объема рукопись, никто об этом не знает. Отдаст ее Краевскому в «Отечественные записки», лучший российский журнал. Да и другие замыслы просятся на перо, многое осталось в набросках еще с последнего года жизни в Казани.

А сейчас – снова Нижний! Снова те же гимназические классы, которые он так хорошо знал, только теперь уже не ученик, а учитель Мельников, притом старший учитель! Снова родной город. Как-то сложится в нем его судьба? Будет жить он теперь не на Мистровской улице, пересекающей Варварку, где когда-то жил подростком, учась в гимназии, а недалеко от нее – на Черном пруду, отличное место, в доме Белокопытовых, там можно остановиться.

В последних числах сентября он уже приступил к работе, а лишь месяц спустя в ноябрьской книжке журнала Краевского появились первые очерки его «Дорожных записок. (На пути из Тамбовской губернии



в Сибирь)». Это была настоящая сенсация в Нижнем. Каков новый преподаватель истории в гимназии! О нем заговорят и в Казани: выпускник университета, кандидат! Он будет сразу же взят на заметку: одними с воодушевлением, другими — с тихим, сдержанным раздражением.

Но литературный дебют, бесспорно, удался. Какой наблюдательный, цепкий взгляд! Здесь чувствуется рука историка и этнографа, но великолепно владеющего пером... Кто этот Мельников? Как, учитель Нижегородской гимназии?! Давно ли? Не сын ли Ивана Ивановича Мельникова? И еще не женат?! О, это новость. Надо сообщить Марье Ивановне. Это так важно... для ее дочки.

Между тем молодому учителю не до матримониальных забот. Молодой учитель истории полон идей. Нужно продолжить «Дорожные записки». Он твердо обещал Краевскому и выполнит обещание. Уже готова статья дня него же о раскольниках, об их сектах, о скитах, хоронящихся в глухих лесных уголках Нижегородской губернии. Затем пора отдать переписчику «Исторические известия о Нижнем Новгороде», отрывок из исследования о Владимиро-Суздальском княжестве, самое время достать из-под спуда эту рукопись, оставшуюся ещё от подготовки в Казани к магистерскому экзамену. Нужно поскорее собрать сведения о Минине и по истории Нижнего Новгорода после 1612 года. Не предложить ли Краевскому рассуждение «О первоначальном расселении людей», концепция статьи уже составила, даже есть черновые наброски. Кроме того, в черновиках лежит провинциальный очерк «Ивановская красавица».

Нужно сделать еще «трактат», тоже для Краевского, о мелях волжских, об их причинах и о средствах если не истребить их совершенно, то, по крайней мере задержать дальнейшее их увеличение. У него готовы свои соображения на этот счет. Дело не только в истреблении лесов, как думают в Академии. Есть и другая причина, он ее заметил первым, а наблюдения делал в своем имении\* на берегу Волги, и они подтвердили его догадки. Но об этом позднее, в самой статье.

Что еще? Что он еще может предложить Краевскому? Статью о Нижегородской ярмарке — это в «Отечественные записки», а в «Литературную газету» — о музыкальных вечерах и концертах в Нижнем Новгороде, ведь напечатана же там статья о Харьковском театре. Почему бы не сказать о своем городе? Если угодно, он может прислать еще описание одной библиографической редкости, почти чудо — книга, напечатанная в Амстердаме в 1705 году на русском, голландском, французском, немецком, английском, латинском, итальянском и испанском языках. Важна же она в особенности тем, что в ней в 1705 году Петр Великий называется императором, провозглашен же он императором России в 1721 году. Пророческая ошибка! Эта редкостная книга принадлежит Нижегородской гимназии, он сам сумел ее раскопать.

Так... Еще что? Провинциальный очерк или лучше — рассказ «Звезда Троеславля», почти все герои списаны с натуры! Это только на-

---

\* О каком имении он писал Краевскому, остается загадкой. Скорее всего, это ещё одна из его мистификаций, какие он не раз предлагал Краевскому, чтобы повысить интерес к самому себе. У него у него после смерти отца остался лишь маленький клочок земли, но в Семеновском уезде, песок да лес, с 32 душами крепостных, которые не то что давали доход барину, а едва-едва сводили концы с концами. Ему приходилось из своего жалованья прикупать им семена для посева. Но поразительная интуиция! У него и правда будет имение на берегу, только не Волги, а Оки, и значительно позднее, о чем он сейчас даже не мог и помыслить.

чало большой вещи, которая будет состоять из шести подобных же частей. Уже готовы наброски, черновые эскизы. Провинциальная жизнь сама просится на бумагу. Что бы еще придумать Краевскому? Впрочем, достаточно и того, что есть. Дай, Господи, выполнить хотя бы это!..

Только молодая самоуверенность может так широко размахнуться в планах на ближайшее будущее, на один только текущий год. Самое удивительное не то, что он обещал сделать, а то, что он выполнил всё или почти всё, что обещал. Но едва не надорвался под непосильной ношей.

Из рапорта директору училищ Нижегородской губернии:

Честь имею донести Вашему Высокоблагородию, что я по расстроенному своему здоровью едва ли буду в состоянии приготовить к 15 декабря текущего года какое-нибудь сочинение, для представления ученого округа. Но чтобы не подать начальству мнения о моей не деятельности, я принимаю на себя честь донести Вашему Высокоблагородию, что я в продолжение девяти с половиной истекших месяцев настоящего 1840 года занимался следующими учеными трудами.

И затем называются эти труды, не включая сюда списка беллетристических его вещей, над чем он, как мы знаем, тоже усердно работал. Один только перечень того, что было сделано учителем истории всего лишь за несколько месяцев, занял несколько рукописных страниц! Он закончил «Дорожные записки», сверх того, начал три крупных работы: «История Владимиро-Суздальского Великого княжества», «Империя и варвары», «Персия при Сасанидах» (девять глав, 13 приложений и более 180 примечаний), статьи по нумизматике, по истории России и Европы. В это же время начато «Статистическое описание Нижегородской губернии» – труд, который займет многие годы его жизни. При чем все это – по большей части уже опубликованные работы. И где опубликованные! В «Отечественных записках» и «Литературной газете» Краевского, в «Маяке современного просвещения». Поистине этот молодой человек неутомим сверх всякой меры, труженик великий и талантлив к тому же. Однако гимназические правила неумолимы. Учитель гимназии обязан в конце года представить ученое сочинение по своему предмету не позднее 15 декабря, оно пройдет затем экспертизу в Казанском учебном округе и будет представлено автором на публичных чтениях. Таковы обычные требования к учителю гимназии. И от них никуда не уйдешь.

И все-таки нет правил без исключения. Несколько месяцев преподавательской деятельности, и такой результат! Это труд, который нельзя не оценить по достоинству.

Казань 21 дек. 1840 г. От попечителя. Господину Директору Нижегородских училищ

На представление Ваше, Милостивый Государь, от 13 текущего декабря даю Вам знать, что я читал некоторые статьи старшего учителя Мельникова, в различных журналах помещенные, всегда с особенным удовольствием, и что мне весьма было бы приятно если б г. Мельников прислал некоторые статьи свои для помещения в ученых записках Казанского университета.

Попечитель — Тайный советник Мусин-Пушкин

Снова Мусин-Пушкин, снова Казанский университет шлет привет своему бывшему студенту и кандидату. Никто не догадывался, кроме самого Мельникова, что это – жест примирения, прощения, более того – признания своей неправоты, своей горячности, несправедливости по отношению к нему, и кого же? Самого Мусина-Пушкина, грозного попечителя, так жестоко распекавшего молодого человека, выбросившего когда-то его из университета, сломавшего ученую карьеру.

Это вторая попытка Мусина-Пушкина каким-то образом снять с себя вину, загладить последствия своего, по всей вероятности, и в самом деле несправедливого решения. Первым шагом к примирению было его приглашение учителя Пермской гимназии вернуться в Казанский университет с тем, чтобы продолжить подготовку к экзамену на степень магистра. Участие в ученых записках – это лестное предложение, и Мельников, в душе которого не осталось ни гнева, ни раздражения, принимает его с благодарностью.

Первые шаги нового гимназического учителя невольно удивляют. Что это – исключительная одаренность или редкое трудолюбие? Или какая-то особая предрасположенность к научной деятельности? И то, и другое, и третье. Но есть еще одно обстоятельство, едва ли не решающее.

Казанский университет давал своим выпускникам отличную подготовку. Двадцатилетний Мельников однажды со стыдом признается в своем невежестве: он до сих пор еще не выучил немецкого языка. Кроме древних (латинского и греческого) он знает только французский, английский, итальянский, персидский, немного арабский и монгольский. Немецкие же тексты он лишь читает – значит, языка не знает. Добавьте к этому навыки творческой работы, умение искать и находить то, что нужно найти, – и вы получите не тип исключительности, а скорее характерности, свойственной старому университетскому образованию.

Уже в значительно более позднее время ученики учеников Мельникова, преподаватели русских гимназий, в том числе и нижегородских, совсем не хватавшие, как он, звёзд с неба, активно пополняют ряды советской профессуры и советских академиков. Они были прекрасно подготовлены – вот в чём дело. Настоящая же катастрофа для наших гуманитарных вузов и факультетов наступит тогда, когда на смену труженикам-ученым придут мученики общественной работы – профсоюзные и комсомольские студенческие функционеры, из которых рекрутировалась наука. Они были невежественны, потому что им просто некогда было заниматься в студенческие годы, как занимался в свое время Мельников, и они были малоталантливы или совсем бесталанны, потому что одаренность вполне заменяли изворотливость и практичность. Наконец, несмотря на чтение ими фундаментальных вузовских курсов, они были совершенно лишены общей элементарной культуры. Так появились косноязычные философы, ворочающие языком и мыслями, словно жерновами, филологи, бессильные высказать сколько-нибудь оригинальное суждение, искусствоведы, психологи, методисты, превратившие разговор о своем предмете в птичий язык, в жаргон, недоступный для посторонних. Это поколение псевдоученых всё же ушло. Но свое недоброе дело они успели сделать: каждый из них подготовил нескольких себе подобных. Процесс возвращения к старой русской университетской гуманитарной науке, которую представлял учитель гимназии Мельников, будет и долгим, и болезненным. Здесь врачует время:

нужно, чтобы весь этот шлак исчез, а он обычно забивает все поры общественного организма. Не скоро еще мы увидим Мельниковых в школьных и гимназических классах или за кафедрами вузов. Это случится только тогда, когда у нас перестанут взращивать циничную, как говорится, «пробивную» посредственность, движущуюся к цели где ползком, где шажком, где наушничеством, где интригами, а где почти открытым плагиатом, и дадут дорогу истинному таланту, истинному трудолюбию и знаниям. Но только когда это будет?

Мельников вспоминал о своем приятеле по университету Васильеве. На студенческой скамье он занимался монгольским, тибетским и китайским языками, затем выдержал экзамен на магистра монгольской словесности и отправился на десять лет в Пекин с миссией, в качестве чиновника, оплачиваемого университетом, с целью занять потом кафедру тибетского и санскритского языков. Так отбирали и готовили студентов-кандидатов в Казанском университете к ученому поприщу. Мудрено ли, что Васильев станет через некоторое время первым профессором-синологом Петербургского университета?

Спустя год после того, как Мельников подал рапорт о первых своих научных трудах, произойдет значительное для него событие. Он будет удостоен звания корреспондента Археографической комиссии. Это было большой честью, которой искали многие. Ему же в это время шёл всего лишь двадцать второй год. Дело было даже не только в опубликованных трудах молодого ученого. Он уже сейчас занимался тем, чем до него никто не занимался, – преимущественным изучением Нижнего Новгорода и Нижегородского края. Мельникову пришлось прокладывать ещё никем не проторенную дорогу: собирать древние рукописи, которых никто не знал, исследовать архивы, которых никто не касался. Работа, и без того нелёгкая, оказывалась вдвойне тяжела, так как ему приходилось преодолевать сопротивление чиновников, затруднявших доступ к источникам. Несколько интересных найденных документов были посланы им вместе с его публикациями в Археографическую комиссию. Они-то и обратили внимание на нижегородского учителя в Министерстве народного просвещения. Управляющий департаментом, академик, председатель российской Археографической комиссии князь П.А. Ширинский-Шихматов готов хоть сейчас присвоить ему высокое звание действительного члена Археографической комиссии («чиновника», как тогда говорили). Но он не вправе этого сделать, так как не может миновать некоторые необходимые формальности. И снова свое слово в пользу Мельникова произносит все тот же граф Мусин-Пушкин, попечитель Казанского округа.

Господину Директору училищ Нижегородской губернии

На представление Ваше, Милостивый Государь мой, от 8 текущего января, о дозволении старшему учителю вверенной Вам гимназии Мельникову обратиться с прошением к князю Ширинскому-Шихматову о занятии им должности чиновника археографической комиссии, даю знать, что для меня весьма приятно будет, если археографическая комиссия удостоит г. Мельникова звания своего чиновника.

Все так. Казанский университет гордится своими выпускниками, Мельников же пока что единственный, кто добился в его возрасте такой чести. В апреле 1841 года, после рекомендации Мусина-Пушкина,

он утвержден в звании корреспондента Археографической комиссии. Перед ним открываются архивы, которые прежде ему были недоступны. Это было осуществление его давней мечты, которой он не чаял, как добиться. Скажи ему год назад, что так случится, он не поверил бы.

Из письма к А.А. Краевскому 23 июня 1840 года:

Научите-ка меня, Андрей Александрович, как бы попасть в архивы, нельзя ли как-нибудь примкнуть к Археографической комиссии, в виде чиновника, как Матвеев в Астрахани. Больно бы хотелось порыться, а не знаю, как попасть.

Теперь же, с начала нового 1841 года, перед ним, как по волшебному слову из сказок «Тысяча и одна ночь», распахиваются двери тех самых драгоценных архивов, куда невозможно было проникнуть частному лицу, не члену Археографической комиссии.

Вообще в жизни Мельникова, если внимательно присмотреться к ней, существует какая-то странная символика чисел. Во всяком случае в молодые его годы она точно есть. Четыре, пять лет – вот это магическое число, с ним связаны и радости и неприятности, взлёты и падения. Впрочем, крайности здесь всегда уравниваются, они оказываются соразмерными, тоже словно по какому-то волшебству.

В 1829 году он поступил в Нижегородскую гимназию. В 1833 году – двойная жестокая выволочка по поводу мнимого посягательства на государственные основы власти, хотя это были невинные театральные представления, устраиваемые подростками в полуразвалившихся романтических башнях Нижегородского кремля, а спустя год он окончит гимназию одним из первых ее учеников. В 1834 году он зачислен в Казанский университет, а в 1838 году снова гроза бушует над его головой, да еще какая! Крушение всех надежд – и ссылка. А счастье было так возможно, что ещё тут скажешь! Но спустя четыре года после этих драматических событий появляются нашумевшие публикации его первых опытов историко-этнографического толка, и он, недавний опальный кандидат, проштрафившийся выпускник университета, утвержден корреспондентом Археографического общества! Это было раннее научное признание его трудов. А ведь он совсем еще молод, впереди целая жизнь.

Отныне вместе с одобрением и восхищением рядом с ним пойдут рука об руку зависть, недоброжелательство, интриги – верные спутники чужого успеха, особенно сильные в среде пишущей и ученой братии. Чего стоил один только профессор Иванов в Казанском университете. Он постоянно интриговал против Мельникова, мстительно срезал его учеников, поступавших в университет из Нижегородской гимназии. И все из-за того, что его самого не утверждали членом Археографической комиссии, как он ни старался. А министр внутренних дел Валуев, всякий раз судорожно хватавшийся за карандаш и начинавший править статьи Мельникова, полагая, что сам написал бы не хуже, еще и поумнее? А чиновники рангом пониже, кромсавшие его блестяще написанные служебные отчеты, не смущаясь тем, что нетвердо держали в руках перо и были не в ладах с грамматикой? Но самомнение, спесь – это большая движущая сила, и дюжинная посредственность бестрепетно вступала в соперничество с талантом, стремясь во что бы то ни стало подверстать его под общую мерку.

А сановные аристократы – как они пытались оттеснить его от наследника престола, когда тот, знакомясь с Нижегородской ярмаркой и



путешествуя по Волге, восхищался его глубокими знаниями края и его мастерством рассказчика...

Но это литературная и научная деятельность Мельникова, а он все-таки был учителем гимназии. Так каким же он был учителем?

## Каким учителем был Мельников

Сведения на этот счет очень противоречивы. Говорили, что вначале он энергично принялся за работу, но по неопытности слишком много требовал от учеников. Кое-что из его записок, использованных им для уроков, тогда же было опубликовано в «Литературной газете»: о падении Римской империи, персидская история в эпоху Сасанидов – это было чересчур тяжело и слишком учёно даже для хорошо подготовленных гимназистов. Он посмотрел, посмотрел на них, да и махнул рукой. В педагогическую рутину не впал. Он просто прошёл мимо неё и предоставил заниматься ученикам во время классов тем, чем им хотелось заниматься. Кто был увлечен историей, тот получал от него много полезного, кто отбывал повинность, получал ровно столько, сколько хотел получить, и не более того. Он прекрасно знал дефекты своего преподавания, но ничего не делал, чтобы их исправить. «Мои ученики, – говорит он, — вследствие того, что я обращал внимание только на особенно хороших и давал волю учиться или не учиться, были двух родов: или прекрасно знали предмет, некоторые так, что хотя бы на кандидата экзамен держать, или ровно ничего не знали и отвечали на экзаменах вроде того, что Александр Македонский был великий князь Новгородский, а Мохамед основатель королевства Английского. Середины у меня не было. Не знавшие истории вовсе не поступали в университет, а которые знали и поступали, те оказывались лучшими».

Одни ученики вспоминали, что обычный порядок урока у Мельникова был таким: придя в класс и наскоро спросив, что было задано, он садился на подоконник и начинал рассказывать то, что составляло содержание темы, которую ученики должны были подготовить к следующему уроку.

Другие утверждали прямо противоположное: Мельников неохотно говорил в классе, но стоило к нему обратиться с интересным вопросом, как он загорался, и слушать его в такие моменты было наслаждением. А если он замечал, что кто-нибудь из учеников интересуется историей, то готов был беседовать с ним часами, звал к себе на дом, давал книги, спрашивал о прочитанном, толковал вместе с ним, как с ровней, то есть всячески поддерживал интерес к предмету. Говорил же он всегда превосходно, книги выбирал так, чтобы они могли увлечь ученика и быть ему полезны. Его любимцы отвечали в классе не затверженный урок, а то, что прочли по теме, которая была задана всем, но прочли в рекомендованных им книгах или в тех, которые сами нашли.

Третьи же свидетельствуют в своих воспоминаниях, что он не слушал ответов в классе, занятый своими мыслями. Обычно задаст вопрос и начинает ходить по классу, не обращая внимания на то, что говорит ученик. Эта слабость его была известна, и дело не обходилось без шалостей, на которые подростки всегда горазды. Один на спор посреди ответа товарища обещался громко произнести фразу по ходу рассказа, что-нибудь вроде: «А у Эвениуса на дворе дрова стоят», – и вполне успевал в этом, потому что Мельников ничего не замечал. Другой, дойдя

до половины заданного ответа, начинал сначала. Мельникову кажется, что он слышит что-то знакомое. «Вы как будто уже говорили это?» – спрашивает он. – «Нет, я продолжаю», – отвечает шутник. «А, ну хорошо, говорите». И тот спокойно под веселые взгляды товарищей заканчивал повторение едва ли не слово в слово.

Эти подробности могли бы сойти за анекдот, если бы не передавались людьми, в точности слов которых не приходится сомневаться.

Но есть и другие и тоже бесспорные свидетельства. Мельников не относился спустя рукава к делу, а делал его так, как мог и как считал нужным делать. Во всяком случае он не был равнодушен к тому, чем занимался. Например, вспоминают, что он был безжалостен к бестолковым ученикам и в особенности к лентяям и преследовал их своим постоянно повторяющимся при неудачных ответах вопросом: «А дальше?» Это бесстрастно-ироническое «а дальше» вконец запутывало вруна и совершенно ставило его в тупик, так что он в итоге нередко раздражался слезами.

Почему остались такие противоречивые суждения о педагогических приёмах Мельникова? Да потому, что он и здесь был многолик. Каждый видел в нем то, что видел, или хотел, или мог видеть. Сам же он, не боясь прослыть чудачком, делал то, что трудно переоценить, – он учил гимназистов творчеству, а не долбне, способности самостоятельно мыслить, а не повторять чужие мысли, то есть он учил их тому важнейшему, чему и должна учить школа, но чему она, к величайшему сожалению (за очень редкими исключениями), не учит.

Это особенно ясно стало сейчас, при плачевном состоянии разрушенного нашими веселыми реформатами едва ли не до основания отечественного (когда-то довольно высокого) школьного образования. Тестовые принципы пресловутого ЕГЭ сделали свое дело в гуманитарных дисциплинах (и не только в них): дети за эти годы потеряли способность творчески мыслить и, что не менее страшно, утратили тягу к чтению, а то и другое – зловещие признаки деградации нации. Мы уже потеряли по крайней мере три-четыре поколения молодых людей, и невозполнимые потери будут только увеличиваться.

Так что уроки Мельникова-учителя по-прежнему полезны, о них стоит вспоминать. Он не стремился к тому, чтобы его ученики или сделались книжными червями, или умели отбарабанить в хронологическом порядке названия важнейших исторических событий, или затвердили бы назубок даты древних сражений. Любопытно, что во всех ревизиях гимназии отмечалось, что «учитель Мельников обладал обширными историческими познаниями и умел передать их своим слушателям», но нередко при этом появлялось замечание, что ученики его порой не крепки в хронологии. Он изгнал долбню из своих занятий, зная бессмысленность таких усилий. Он учил своих воспитанников проявлять творческую волю, знакомясь с историей, постигать жизнь прошлую и на основании ее – нынешнюю. Но не только со слов учителя, чтобы потом ему же их повторять. Мельников радовался проявлению оригинальности, самостоятельному, увлечённому подходу к теме.

Вот почему он был совершенно равнодушен к повальным педагогическим увлечениям, подобных эпидемиям, когда вдруг все бросались вводить по приказу начальства из Казанского учебного округа те или иные правила в преподавании, хотя в них было больше нелепостей и бессмысленных затрат труда, чем пользы.



Словом, Мельников давал право ученикам быть самими собой, а тем, кто мог, – даже стать более чем собой, потому что он работал с ними, не жалея времени, учил тому, что знал, давал им творческие импульсы, которые те могли самостоятельно развернуть.

Старший учитель истории нижегородской гимназии, несмотря на молодые годы, был достаточно мудр, чтобы усвоить старую истину: насильно мил не будешь никому и никого не вгонишь в рай дубиной, даже если этот рай – система излюбленных твоих педагогических и исторических идей.

Тупицы оставались у него тупицами, рачительные ученики знали, что нужно знать, увлекавшиеся предметом, благодаря его же влиянию и помощи, шли блестяще, вызывали восхищение своими ответами, участием в диспутах, и никакие интриганы не могли сбить их даже самыми каверзными вопросами.

Один из его лучших учеников, Ешевский, сменил в Казанском университете профессора Иванова, того самого, что преследовал Мельникова и его питомцев едва ли не открытой ненавистью. Другим его учеником был известный русский историк Бестужев-Рюмин, профессор Петербургского университета, академик, основатель первого высшего женского учебного заведения в России, получившего название по имени его учредителя — Бестужевские курсы.

Короче, Мельников был одним из самых известных преподавателей гимназии, хотя его самого, видимо, беспокоило то, что он отдавал этому роду деятельности только то, что оставалось у него от его собственных занятий историей, литературой, поглощавшими всё его свободное время. Его настоящая жизнь все-таки шла вне гимназических стен, здесь он скорее отбывал повинность.

Но с эффектом, добавим, о котором его коллеги могли только мечтать. Он готовил интеллектуальную элиту, так можно сказать, а это немалая заслуга и немногим по плечу. Посредственность, несмотря на все своё усердие, такого просто не в состоянии осилить. Здесь нужен талант, ум, оригинальность, одержимость, здесь нужны воля и труд.

Он это знал, и лучшие его ученики тоже это знали.

Из воспоминаний П.И. Мельникова:

Каков я был учитель – не знаю, как сказать. Самому о себе трудно судить, но отзывы тогдашних моих начальников, прошедших семинарскую премудрость, в литературе не признававших, после Державина и Карамзина, ни одного таланта (Пушкин, по их мнению, пустомеля, не имеющий изящного вкуса, и притом вольнодумец, Лермонтов – мальчишка, которому необходимы розги, Гоголь – сальный марака, а Белинский – сумасшедший человек, который сам не знает, что пишет), – отзывы таких людей, для меня не совсем благоприятные, я и тогда не ценил высоко.

Полагаюсь более на отзывы бывших моих учеников, например, Московского университета профессоров М.Я. Китарры и С.В. Ешевского, а также Константина Николаевича Бестужева-Рюмина, теперь одного из замечательных знатоков русской истории. Они говорят, что для массы учеников я был плохой учитель, но для тех немногих, которые хотели учиться, очень полезен. Дело в том, что мне скучно было биться с шаловливыми и невнимательными мальчишками, и, за их невнимательность к предмету, я сам оставлял их без внимания... Лучшие ученики мои занимались у меня, как студенты, писали сочинения по источникам, как например, Ешевский «О местничестве», и публично защищали с кафедры свои

тезисы, как бы магистранты. На таких диспутах бывали и губернатор, и губернский предводитель дворянства, и архиерей, и дамы, всего человек по пятидесяти и более.

Вот так, читатель! Человек пятьдесят, и среди них главные персоны города бывали на выступлениях учеников Мельникова по вопросам русской и всеобщей истории. Диспуты напоминали защиту магистерских работ при большом стечении публики и с нелегкими вопросами, неизбежными в таких случаях, а докладчики – всего лишь подростки-гимназисты – демонстрировали обширные знания и глубокую трактовку предмета, избранного для публичного обсуждения, и блестящую манеру изложения, – потому что кто же придёт добровольно слушать скуку?

Собственные же выступления Мельникова собирали громадную по тем временам для провинциального города аудиторию в 100–200 человек. Он способствовал сплочению нижегородской интеллигенции, ввёл публичные чтения в традицию, дал обществу возможность хоть как-то осознать себя, подняться на ступеньку выше и взглянуть на себя из прошлого времени, чтобы понять время нынешнее, свое время, а вместе с ним и самих себя.

Таков был учитель истории и статистики нижегородской гимназии Мельников.

Из речи директора нижегородской гимназии на акте 1846 года:

Особенно отличалось преподавание русской истории, под руководством человека опытного и глубоко изучившего этот предмет, бывшего старшего учителя истории г. Мельникова. Запас знаний, высказанных Ешевским и Бестужевым-Рюминым, его учениками, на некоторых литературных беседах, служит лучшим доказательством истины моих слов.

Глагольная форма прошедшего времени в отношении Мельникова использована здесь потому, что именно в 1846 году он покинул гимназию, избрав для себя, как это случалось с ним не раз, новый род деятельности.

## История с историей Козьмы Минина

Все в жизни Мельникова, даже с его необычайным разнообразием интересов, как-то сложно взаимосвязано и сведено воедино. Одно увлечение задевает другое, то, в свою очередь, цепляет третье, и постепенно, а часто довольно стремительно возникает новое движение и с годами все более набирает силу. Первые толчки могли быть случайны и появиться между делом, но любой такой шаг оказывался в результате необходим и целесообразен. Ничто в его жизни не пропадало бесследно, всё шло в ход.

Каждая из ступенек в служебной лестнице, которая шаг за шагом вела его наверх, к высоким местам в табели о рангах, была подготовлена им самим, но как бы и помимо его воли.

Он не был сосредоточен на достижении очередной цели, а напротив, разбрасывался и занимался несколькими делами разом. Правда, с годами стал осмотрительнее. Но, странное дело, все его попытки строить карьеру, заранее планировать каждый свой шаг заканчивались, как пра-

вило, неудачей, очередным провалом, а то, что выходило непреднамеренно и случайно, оказывалось самым эффективным и влияло на успех.

Еще в Казанском университете, перепробовав несколько тем при подготовке магистерского экзамена, он останавливается на изучении Владимиро-Суздальского Великого княжества, потом оставляет эти изыскания. Спустя некоторое время они вдруг понадобятся ему, когда он вплотную займется историей Нижнего Новгорода.

Оказавшись в Перми, в гимназии, вместо солидного университетского места ученого, он примется за этнографию, а она вдруг откроет ему страницы «Отечественных записок» и обратят на него внимание министра народного просвещения графа Уварова, и вскоре он – корреспондент Археографической комиссии. Знакомство с директором Нижегородской ярмарки графом Д.Н. Толстым, отчаянным, как и он сам, любителем русской древности, образованнейшим человеком, приведет его к изучению раскола, и он постигнет его впоследствии в таких подробностях и с такой глубиной, что будет признан лучшим специалистом в этой области.

Уже с начала 40-х годов, выбиваясь из сферы научной деятельности, и в то же время благодаря именно ей, не отказываясь от службы в гимназии, но часто изменяя ей ради увлечения литературным делом, он незаметно для самого себя входил в новые отношения с властью, с нижегородским военным генерал-губернатором.

По высочайшему повелению, то есть по распоряжению царя, нижегородскому губернатору было дано поручение: сделать разыскания о потомках Минина. К Мельникову губернатор вынужден был обратиться лишь спустя долгое время, получив нагоняй от самого графа Бенкендорфа. Случай этот в высшей степени характерен. В нем отразилась вся пирамида власти с ее вершины, где восседал державный правитель России, до подножия, где копошилась мелкая сошка, но тоже с большими амбициями и со своим норвом и своими кровными, не всегда порядочными интересами.

История этого поручения, как её вспоминал сам Мельников, была следующей. В октябре 1834 года в Нижний Новгород приехал император Николай I. Прежде всего он посетил кафедральный Спасо-Преображенский собор. Шел дождь. На непокрытой паперти императора встретил архиерей Амвросий с крестом и длинной речью. Император должен был слушать многословного владыку, между тем как осенний дождь обильно орошал его голову, начинавшую уже лысеть. После обычного молебна преосвященный Амвросий повел императора в склеп под собором, где покоились тела великих князей нижегородских и прах Минина.

Вход был низким. Преосвященный, идя перед императором во всем облачении, счел долгом предупредить августейшего посетителя, и, не выучившись в семинарии и духовной академии придворным тонкостям, сказал спроста: «Ваше величество! Поберегите голову!» Разгневанный длинной приветственной речью владыки и долго падавшим на венценосную голову холодным осенним дождем, император ответил: «Сами, преосвященный, поберегитесь, чтобы с вас митра не свалилась». Митра не свалилась, но преосвященный Амвросий был переведен вскоре после того в низшую епархию, в Пензу.

В склепе император поклонился до земли перед гробницей Минина и, обратившись к губернатору Бутурлину (тому самому, который принял Пушкина за путешествовавшего инкогнито в 1833 году по тайному

распоряжению, чтобы фиксировать прегрешения провинциальных властей, и дал ему невольно сюжет для гоголевского «Ревизора»), спросил: «Остались ли потомки после Минина?» Бутурлин, два месяца приготавливавшийся бойко и с ловкостью военного человека отвечать на всевозможные царские вопросы, подобного вопроса как раз не предугадал и чрезвычайно сконфузился. Император, заметив смущение губернатора, коротко сказал: «Отыскать. Если остались, я награжу за службу предка».

После отъезда императора Бутурлин немало ломал голову над тем, кому поручить исполнение высочайшего повеления. «Отыскать» – велел государь. Кому же отыскивать? Разумеется, тому, кто отыскивает в городе всякий люд: беглых, беспаспортных, мошенников и прочих темных личностей, что дается очень нелегко и требует специальных навыков, то есть полицмейстеру. Бутурлин так и сделал. Полицмейстером был тогда Махотин – фигура в высшей степени колоритная. Он был популярен в Нижнем, о нем ходило множество слухов. Добрый человек, но совершенно гоголевский полицмейстер: брат – брал, зато осетрами кормил. Во время ярмарки у него с утра до ночи был накрыт стол, разумеется, для избранных: стояли разные кушанья, вина, фрукты; всякий приходи и ешь на здоровье. Славные были кулебяки. Шампанское же было аховое – откровенная самодельщина. Покупал он у армян чихирь, из него и выделялось «шампанское». Ходили слухи, что бутылка такого шампанского обходилась полицмейстеру копеек в шестьдесят. Главный сбыт же этого вина был в многочисленные (в то время около восьмидесяти) публичные дома Канавина, содержательницы которых обязаны были покупать махотинское шампанское уже по 8 рублей за бутылку, продавали же они его своим «гостям» по 14 и 15 рублей. Торг выгодный для всех, кроме покупателей. Деньги, и немалые, оседали в кармане полицмейстера.

Махотин был бравым служакой, под Бородином потерял правую руку, но отлично играл в карты левой. Грамотный солдат, пройдя лестницу чинов низшей военной иерархии: капрала, ефрейтора, фельдфебеля, – он получил офицерство, дослужился до майора, вышел в отставку и в конце двадцатых годов сделан был нижегородским полицмейстером. На этом месте он пробыл до 1843 года, переведен был в Рязань, где, прослужив год, получил генерала при отставке и возвратился в Нижний Новгород. Здесь он и дожил свой век нижегородским помещиком с 500 душ крепостных и почетным опекуном дворянского банка. Так делалась карьера и составлялись состояние и общественное положение.

Что касается до взяток, то это было тогда в порядке вещей. Для характеристики необходимо упомянуть вошедшую впоследствии в пословицу в Нижнем Новгороде фразу о тамошних полицмейстерах: «Прежде полицмейстер брал одной рукой, потом двое двумя, а один и лапу запустил»\*.

Этому-то Махотину губернатор Бутурлин и поручил отыскать потомков Минина. Не имея решительно никакого образования и ещё менее зная русскую историю, безрукий полковник семь лет отыскивал «потомков» и нашел их целую кучу в среде купцов, мещан и даже крестьян и

\* Острая и веселая нижегородская пословица была игрой слов, но имела в виду конкретных лиц: сменявших друг друга в Нижнем полицмейстеров. Одной рукой бравший взятки – однорукий Махотин; двумя – Львов и Зенгбуш, а лапу запустил – Лаппо-Старженецкий.

кантонистов\*. Публика получилась пестрая, и ей уже мерещились богатые царские милости.

Слухи о полицмейстерских поисках родни Минина между тем разползались по Нижнему, вызывая все новых самозванцев с самыми фантастическими претензиями, порой анекдотического свойства.

Из письма Мельникова к А.А. Краевскому. Июнь 1841 года:

Кстати о Минине. Вот вам свеженькая нижегородская новость: одна здешняя мещанка, называющая себя происходящею от Минина и живущая в дрянном домишке близ церкви Похвалы, где сначала был погребен Минин, вдруг начала распускать слухи, что к ней является он, говорит с нею и требует, чтобы на месте ее дома построили церковь во имя Александра Невского, потому что на этом месте Минин был похоронен и хотя кости его положены были после в соборе, но «его прах нетленный» лежит под ее подпольем. Весь город сбегался к ней слушать рассказы ее и смеяться над тем, как она говорила, будто Минин сказал ей: «А коли церкви не построят тебе мои нижегородцы, так пусть домишко каменный, двухэтажный тебе выстроют».

Позднее Мельников использовал эпизод, который сам наблюдал, в «Исторических заметках», опубликованных в 1850 году в «Москвитянине». «Являлись люди, — писал он, — которые, в припадке сумасшествия, толковали, будто им являлся Минин в ночном видении и приказывал на том месте, где было положено тело его, поставить церковь... Имя незабвенного человека сделалось вывескою обмана — и где же? — на том месте, где он благовестил спасение России... Бредни, распущенные, кажется, единственно для того, чтоб иметь даровой дом». И иронически добавил в примечании: «Те, которым являлась тень Минина, говорили, будто она приказывает нижегородскому градскому обществу построить дом и подарить его тем, кого она удостоила своим появлением. Какое выгодное посещение замогильного гостя!»

Наконец, составленную с таким трудом родословную отправили в Петербург. Как и следовало ожидать, она оказалась никуда не годной и возвратилась в Нижний весной 1842 года с краткой резолюцией, начертанной высочайшей рукой и обращенной к Махотину: «Дурак».

Продолжение розысков было спешно поручено Мельникову, который к этому времени был уже известен как знаток нижегородской истории и своими занятиями в нижегородских архивах, да еще как действительный член Археографической комиссии. Работа была знакома ему, она была не то что трудная, но «мешкотная», как говорили в Нижнем.

Он читал ревизские сказки, «нырял», по его словам, в омут писцовых книг; ходил по церквям с их архивами — в итоге простудился и слег в постель и не бывал даже в гимназических классах, хотя для этого нужно было только спуститься по лестнице. Здание, где размещались квартиры учителей гимназии, после перестройки вплотную примыкало к центральному корпусу, в котором проходили занятия. Он работал, как это бывает у русского человека, что называется, запоем, не щадя себя. Так случилось, когда он надорвался над делами Археографической комиссии в 1841 году, так будет повторяться и впредь. Это был стиль его работы, лишенной педантизма, но очень напряженной и движущейся порывами, толчками. Он ничего

---

\* В те времена кантонисты — солдатские дети, которым необходимо было нести военную службу.



не делал вполсилы, медлительный, рассчитанный по минутам труд – это было не в его характере.

То, на что расторопному нижегородскому полицмейстеру с подручными потребовалось семь лет, он сделал за одну-две недели, опираясь не на сбивчивые слухи и шальные фантазии мнимых потомков Минина, а на документы нижегородских архивов. Его донесение графу Бенкендорфу уместилось всего лишь на десяти листах. Впрочем, впечатление о быстроте и легкости его работы обманчиво, как всегда. Он уже давно шел к цели, еще не поставленной перед ним, и уже давно приступил к необходимым для этого изысканиям. Еще до того, как весной 1841 года был утвержден в звании корреспондента Археографической комиссии. В одном из писем князю Ширинскому-Шихматову он сообщал, что готов доставить для публикации в трудах Археографической комиссии сведения о роде Мининых.

Подвергнув свой отчет литературной обработке, Мельников поместил в «Отечественных записках» 1842 года его фрагмент в виде заключительного раздела статьи «Исторические заметки», так и назвав его: «О родственниках Козьмы Минина».

Он знал, что документы, относящиеся к Минину, находились не только в архивах, но и в частных руках, и потому обратился ко всем обладателям таких старинных актов с настоятельным советом напечатать их, а не хранить под спудом. «Бумаги о подобных вещах, – писал он, – не частная собственность: это достояние нации».

В отличие от бравого нижегородского полицмейстера Мельников не отыскал потомков Минина по самой простой причине: их не существовало. Единственный сын Козьмы Минина, стряпчий Нефед Минин, умер бездетным, и пожалованные его отцу имения были взяты на государя. Но, занимаясь делом, порученным ему генерал-губернатором, Мельников открыл несколько совершенно новых сведений о Минине и вообще об эпохе 1612 года, чем впоследствии воспользовался в своих работах, а в одной купчей крепости отыскал, что Минина звали не Кузьма Минин, а Козьма Захарьич Минин-Сухорук. Свои находки, которыми очень гордился, он отправил Погодину, и они появились в его журнале «Москвитянин» в 50-х годах, и в Археографическую комиссию.

Как всё-таки причудливо порой переплетаются писательские судьбы! Островский, приступая к первой своей пьесе-хронике, использовал архивы Археографической комиссии, где были материалы об эпохе Смуты, представленные Мельниковым, и назвал своего героя так, как следовало, по Мельникову, его величать, дал полное его имя своей пьесе – «Козьма Захарьич Минин, Сухорук».

Но это случится в начале 60-х годов, а в начале 50-х Островский, бедствуя и кое-как сводя концы с концами, трудился как раз в «Москвитянине», выполняя большой объем редакционной работы: держал корректуры, правил рукописи, вел переписку с авторами. Вполне вероятно, что через его руки прошла статья Мельникова о Нижнем бурного XVII века, и было брошено зерно будущего замысла, которое прорастет лишь спустя десять лет. В годы студенческой молодости Островский слушал в Московском университете лекции Погодина по истории Древней Руси; Мельников ещё раньше, студентом Казанского университета, знал его работы, а через три года после выпуска свёл с ним близкое знакомство уже в Нижнем и в Москве; оба они оказались страстными собирателями и знатоками древних рукописей и старопечатных книг.

А литературные дебюты Островского и Мельникова? В 1850 году в журнале Погодина появился знаменитый «Банкрот» («Свои люди – сочтемся»), принеся автору громкую популярность и накликав на его голову самые жестокие гонения, заставившие его надолго замолчать, а спустя два года там же, в «Москвитянине», будет опубликован первый рассказ Андрея Печерского – «Красильниковы» и сразу же выдвинет его в число лучших русских беллетристов и обратит внимание читателей на странное имя автора, которое со временем будет греметь по всей России. Но сам автор вдруг тоже замолчал надолго, не из-за цензурного запрета, как это случилось с Островским, а из чувства неуверенности в себе: круг подписчиков «Москвитянина» был невелик, Мельников (уже Андрей Печерский) и верил и не верил своему успеху.

Нет, что ни говорите, а пути писательские неисповедимы. Здесь тоже правит некая высшая сила. Нам не дано предугадать не только, как наше слово отзовется, но и свой же собственный следующий шаг.

Работа, выполненная в короткое время, да еще в связи с высочайшим повелением, исследования о Нижнем Новгороде, о нижегородских древностях, появившиеся в 40-х и 50-х годах в известных журналах, читаемых в столицах и в провинции («Отечественные записки», «Москвитянин», «Русский инвалид»), обратили на скромного учителя истории нижегородской гимназии внимание генерал-губернатора Нижнего Новгорода князя М.А. Урусова. Кому, как не ему, этому деятельному молодому человеку, владеющему пером и уже известному литератору, да к тому же с его глубокими познаниями о прошлом и нынешнем состоянии Нижнего Новгорода и Нижегородской губернии, кому, как не этому энергичному человеку, можно было бы поручить редактирование неофициальной части «Нижегородских Губернских ведомостей», чтобы поднять их престиж и влияние?

Ему, только ему!

## Редактор

Мельников принимает предложение губернатора. Ему за короткое время удастся сделать многое. Достаточно сказать, что это были единственные провинциальные губернские ведомости, которые выходили не один раз в неделю, как обычно, а два раза. В них появилось с легкой руки Мельникова множество исторических, статистических и этнографических сведений, большей частью они были составлены и написаны им самим. На «Отечественные записки» и «Москвитянина» уже не хватало времени, все поглощала новая работа. Нагрузки росли. Появляются дополнительные обязанности, он их не отвергает, а, напротив, охотно берется за них. Мельников старается быть на виду и везде успеть. Это трудно, однако для него не невозможно.

Вялая, сухая, бессодержательная газета, наполненная случайными объявлениями и разным вздором вроде рецептов, как сохранять мясо от порчи, солить огурцы, содержать сушеные и каленые орехи (не газета, а пособие кухаркам), быстро преобразилась под рукой нового редактора. Газета-объявление, газета-реклама и газета-сплетня стала выполнять серьезную просветительскую роль. С особенным постоянством, отражая интересы Мельникова, в ней регулярно появлялись разнообразные исторические сведения о Нижнем Новгороде и о губернии,



перепечатывались обширные фрагменты из древних актов, разысканных им в архивах, в монастырских хранилищах.

Когда он успевал все это делать? Бог весть. Это был дневной и ночной (чаще всего ночной) труд.

Князь Урусов был энергичен, предприимчив сам и ценил эти качества в других. Мельников с его обширными знаниями Нижнего Новгорода и Нижегородской губернии был ему нужен. Он получал не просто расторопного, деятельного, а главное – умного исполнителя, что в русском государстве всегда было большой редкостью. И он, присмотревшись к редактору «Нижегородских губернских ведомостей», предложил Мельникову новый род деятельности, круто изменивший всю его судьбу.

В 1847 году (за год перед тем он уже оставил гимназию) Мельников был приглашен князем Урусовым на место чиновника по особым поручениям при нижегородском губернаторе. Всё приходилось начинать заново.

## Александр ЦИРУЛЬНИКОВ

*Нижний Новгород*

(№ 5, 2020)

### ЗНАМЯ ПОБЕДЫ: БЫЛЬ И НЕБЫЛИЦЫ

Ответы через годы

В свое время «Нижегородская правда» опубликовала большой материал местного краеведа Александра Аб-ва «Почему он не Герой?», в котором автор выдвинул «свою версию обстоятельств водружения Знамени Победы над логовом поверженного врага». Эта версия выглядит далеко не бесспорной и побуждает к дискуссии с автором, позиция которого базируется на воспоминаниях лишь одного участника событий – нашего 95-летнего земляка А.П. Ширгина, человека безусловно заслуженного, который был в мае 1945 года рядовым связистом, и на газетных очерках и мемуарах самых первых послевоенных лет. После этого в исследовательский оборот были введены многие новые документы, которые не только обогащают наши знания, но рождают порой совершенно другие трактовки, меняют устоявшиеся представления и в итоге информируют о том, что и как было на самом деле в Берлине в мае 1945 года.

В мае 1965 года, после парада в честь 20-летия Великой Победы, в Горький приехали из Москвы участники штурма рейхстага – Герои Советского Союза генерал-полковник Василий Митрофанович Шатилов, командир 150-й Идрицкой, Берлинской ордена Кутузова второй степени стрелковой дивизии, его однополчанин – сержант Мелитон Кантария и командир роты старший лейтенант Петр Греченков. В Горький герои приехали по приглашению Ивана Филипповича Матюшина – ректора медицинского института имени С.М. Кирова, который в дни штурма Берлина был в 150-й стрелковой дивизии главным хирургом. И, как выяснилось, даже оперировал Мелитона Кантария после легкого ранения в ногу недели за три до того, как тогда младший сержант-разведчик вместе с сержантом Михаилом Егоровым водрузили красный флаг под номером пять на крыше рейхстага. Знамена были изготовлены, пронумерованы и выданы атакующим рейхстаг подразделениям Военным советом 1-го Белорусского фронта и политуправлением корпуса.

...Буквально за день до приезда в Горький ветеранов 150-й дивизии я купил журнал «Советское фото» № 4 за 1965 год. В нем была опубликована величиной в целую страницу фотография работы А. Морозова – Михаил Егоров и Мелитон Кантария со Знаменем Победы на рейхстаге. Шатилов, Кантария и Греченков оставили на этом журнальном снимке свои автографы. И тут я спросил Шатилова, почему на снимке нет капитана Константина Самсонова, ведь Знамя Победы водружали три человека. И на только что состоявшемся в Москве параде в честь 20-летия Победы именно полковник Самсонов нес по Красной площади Знамя Победы, а сержанты Егоров и Кантария в новеньких, специально сшитых к юбилею мундирах ассистировали ему.

Я даже спросил, почему они не взяли Самсонова с собой в Горький. Шатилов резко повернулся ко мне и сердито отрезал:

– Нечего ему здесь делать! Он не наш!..

Для меня этот ответ был совершенно неожиданным. Шатилов, не уловив моего недоумения, столь же напористо продолжал:

– Его судить надо было, а не награждать. У его дивизии было свое знамя под номером, так он своих бросил, увидев, что наши Егоров и Кантария ближе к цели. Отличиться решил. И выбежал с ними и знаменем на крышу рейхстага. Не хочу больше ничего о нем говорить!..

Генералу было обидно, что «чужой» старлей, из другой дивизии «примазался» к славе его, Шатилова, людей и, как старший по званию, носит на торжествах его, Шатилова, Знамя Победы, а Кантария и Егоров по-сержантски ходят в сопровождающих. И главное, генерал ничего не может с этим поделать, потому что в Указе о присвоении участникам водружения Знамени Победы геройского звания с ведома и согласия Верховного главнокомандующего названы три фамилии знаменосцев. Указ, кстати, вышел через год после Победы, хотя представления на Кантария и Егорова Шатилов написал сразу же после их подвига. Но тогда, в мае 1945 года, они получили только по Красному Знамени, как и Самсонов, как и все – от командиров до рядовых бойцов, участвовавших в этой очень ответственной боевой работе в рейхстаге.

Василий Митрофанович Шатилов свято дорожил боевой славой своей дивизии и ревностно охранял ее от чьих-либо посягательств. Несколько раз было так, что, завидев сразу трех Героев Советского Союза и узнав среди них Мелитона Кантария, горьковчане-ветераны подходили к гостям, вспоминали о своем участии в штурме Берлина и в боях за рейхстаг. Шатилов задавал им несколько коротких вопросов и, удостоверившись, что подошедшие не из его дивизии, тут же терял к ним интерес.

Но был один случай, который мне хорошо запомнился. На второй день пребывания гостей в городе, когда о них уже рассказали накануне наши телевизионные «Горьковские новости», а в этот день вышли газеты с их фотографиями, снятыми в Горьком, мы, после организованной Матюшиным встречи со студентами-медиками, вышли на площадь Минина и Пожарского. У дверей института навстречу генералу Шатилову направился поджидавший нас на тротуаре стройный, сухощавый человек в коричневом костюме с рядами орденских планок на пиджаке:

– Товарищ генерал, разрешите представиться – капитан Романовский, служил под вашим началом при штурме рейхстага. Артиллерист.

Шатилов, не демонстрируя каких бы то ни было эмоций, посмотрел на неожиданно возникшего капитана в штатском, претендующего на высокую честь быть однополчанином, и с равнодушием, которое мне показалось нарочито деланным, спросил:

– А скажите, капитан Романовский, чем вы занимались 30 апреля 1945 года в... (и Шатилов назвал час с минутами, я сейчас точно не помню, а потому не называю).

Романовский не замедлил с ответом: «Прямой наводкой бил из пушки по боковой стене рейхстага, выбил пробоину, через которую проникли внутрь здания бойцы капитана Неустроева!»

Шатилова словно подменили, он подобрел, расплылся в улыбке и с распростертыми руками пошел к Романовскому, обнял, расцеловал: «Все точно, капитан Романовский, дорогой ты мой! Наш!.. Ты везде будь с нами. Мы сейчас идем выступать на телевидение. Ты тоже иди!»

Почти через год, 6 апреля 1966 года, в Горький по приглашению общества «Знание» приехал бывший капитан и комбат Степан Андреевич Неустроев. Был он уже подполковником, правда, не помню точно, то ли в отставке, то ли в запасе. Я позвал его выступить в телевизионном выпуске «Горьковских новостей». И перед эфиром спросил, почему он не приезжал вместе с героями штурма рейхстага в мае 1965 года. И он коротко и просто ответил: «Да Шатилов не позвал. У нас с ним не все гладко...» В пятиминутном разговоре перед телекамерой мой собеседник вспомнил, как трудно было определиться с рейхстагом и вообще сколько рейхстагов в Берлине:

– Когда допрашивали пленных, как пройти к рейхстагу, они, в свою очередь, спросили: какой рейхстаг нам нужен? По сути, так или похоже назывались там разные органы власти.

Неустроев рассказал, как его поразило, что здание рейхстага оказалось гораздо меньших размеров, чем он предполагал, но тем не менее это был массивный серый дом с куполом и башнями. Всего лишь три этажа, считая цокольный. В двухстах метрах за ним исходил черным дымом громадный многоэтажный дом. Он как раз и годился для рейхстага. Доложил и получил команду от комполка: «Наступай в направлении большого дома, если ты считаешь, что он и есть рейхстаг!»

Неустроев поставил задачу своим ротам обойти серое здание слева и атаковать горящий дом. Но атаки захлебывались одна за другой. Неустроев доложил прибывшему на КП командиру полка Зинченко, что никак не может пробиться к рейхстагу: мешает огонь, который непрерывно ведется из серого здания. Вместе с Зинченко стали изучать карту: что это за серое здание, которое так мешает своей стрельбой пройти к рейхстагу? Федор Матвеевич взобрался на патронный ящик, чтобы лучше видеть в окно серый объект. Смотрел на него, переводил взгляд на карту и вдруг весело выпалил:

– Так вот он – рейхстаг, Степан! Перед тобой! А ты говоришь, что он тебе мешает... Возьми его – и мешать не будет! А на тот дымящийся дом наплюй!

Полковник Зинченко сиял от сделанного им открытия и был взволнован не меньше Неустроева.

– Водружение Знамени Победы, – говорил в эфире Степан Андреевич, – складывалось из трех этапов. Во-первых, необходимо было ворваться в рейхстаг и овладеть им – хотя бы частично. Во-вторых, во взятом уже рейхстаге добраться по лестницам на верхние этажи, затем попасть в чердачные помещения, а оттуда на крышу. Там установить знамя. И, наконец, отбить фашистские контратаки. Именно так все и было, и таким, а ни каким-то другим путем прошли Егоров, Кантария, Самсонов и автоматчики из группы поддержки...

После передачи я пошел проводить Степана Андреевича до гостиницы «Россия» на волжском Откосе. Одет он был в такую же новенькую военную форму, которую героям взятия рейхстага выдали к параду в честь двадцатилетия Победы в мае 1965 года. Невысокий сухоощавый Неустроев выглядел браво и молодо. Шли мы не спеша и довольно долго – по всей улице Свердлова к памятнику Чкалову – и даже по предложению Степана Андреевича на короткое время спустились «в погребок», не доходя до Мытного рынка – «обмыть телевизионный заработок». Сразу после передачи Неустроев получил двадцать пять рублей, о чем расписался в гонорарной ведомости.

Как-то так вышло, что мы стали обсуждать, казалось бы, бесспорный вопрос: почему, чтобы победно закончить войну, нужно было обязательно взять рейхстаг и поднять над ним Красное знамя? Что, разве в Берлине не было других фашистских цитаделей, может быть, даже важнее рейхстага? Например, рейхсканцелярия с личным кабинетом Гитлера? Почему наши войска овладели ей проще и фашисты не обороняли ее с таким остервенением? Почему все сошлось на этом «массивном сером здании с куполом и башнями»?

Неустроев задумчиво улыбнулся:

– Я скажу тебе – почему! Потому что мы сами же и виноваты, сами дали немцам этот адрес, когда заявили, что символом нашей Победы будет поверженный рейхстаг с Красным знаменем на его куполе. А сказали об этом, когда война шла еще на советской территории. И все четыре года мы шли к этому рейхстагу за Победой! Наши враги, может быть, и сами удивились, зачем нам именно рейхстаг, иначе говоря, парламент, а не гитлеровская канцелярия, дом правительства или еще какой-то государственный объект. И в пику нам обороняли рейхстаг всей оставшейся у них мощью. А у нас к рейхстагу были «особые чувства» еще с середины тридцатых годов, точнее с 1933-го, когда Гитлер обвинил коммунистов в его поджоге и затеял трибунал против Георгия Димитрова и его товарищей. Мы тогда их спасли от всех ложных обвинений и встречали в Москве как героев. Даже германские судьи вынуждены были признать, что не коммунисты подожгли рейхстаг, а это дело рук провокаторов типа тронутого умом Ван дер Люббе. Вот с тех пор рейхстаг и засел у нас в сознании. И нам очень хотелось с ним поквитаться. Тогда, в мае сорок пятого, сразу после нашей Победы, поэт Долматовский читал на ступенях рейхстага стихи о том, что теперь действительно «рейхстаг большевиками подожжен»!

Тогда же от Неустроева я услышал слова, которые никогда ни от кого больше слышал и нигде не читал:

– Знаешь, я иногда думаю, что водружение Знамени Победы являлось чисто политической и демонстрационной акцией, которая сама по себе не могла сказаться на ходе военных действий, все шло само собой согласно логике войны. Знамя реяло над Берлином, а она еще продолжалась. И точка была поставлена даже не 9 мая, а 14-го – в Праге в последнем бою!

Я рассказал Неустроеву, как резко отреагировал Шатилов на мой вопрос о Самсонове.

– Наступил ты ему на больную мозоль! – с ходу отреагировал Неустроев. – Константин служил в 171-й стрелковой дивизии, был старшим лейтенантом и командовал батальоном, атаковал рейхстаг вместе с бойцами нашего капитана Василия Давыдова. Они вместе и ворвались в рейхстаг. И бойцы Самсонова располагались там на левом фланге моего батальона. Шатилов же никак не хочет признать, что батальон Самсонова был рядом со мной в рейхстаге, и уверяет, что моим соседом слева был батальон капитана Клименкова из одного со мной полка полковника Зинченко, то есть из его, Шатилова, дивизии. И я никак не могу убедить Василия Митрофановича, что Клименков в это время с двумя недоукомплектованными ротами по 30–40 бойцов по приказу Зинченко охранял штаб нашего полка в «доме Гимmlера». А в рейхстаге мы с Самсоновым воевали бок о бок и поддерживали связь по телефону. И в водружении Знамени Победы Самсонов принимал самое непосредственное участие.

Жаль, наш комдив этого не хочет признать, когда все участники штурма рейхстага тому свидетели. Ты, кстати, обратил внимание, что целый год после события шло разбирательство, кому следует вручить пять героических Золотых Звезд, которые были выделены Верховным для награждения участников водружения Знамени Победы?

– Потому что Шатилов был против «не вашего» Самсонова?

– Нет, тут была другая причина. Как только рейхстаг капитулировал, туда во второй половине дня 2 мая валом повалил народ. Многие приносили с собой флаги и флажки и укрепляли их где только можно было. Так что наше Знамя Победы просто затерялось среди них. И тогда было принято решение срочно поднять его на купол. Но как только «наше место» на фронтоне у бронзовых коней освободилось, там тут же появился чей-то другой флаг.

(Если внимательно приглядеться к опубликованному в газете «Правда» утром 3 мая 1945 года фотоснимку Виктора Темина «Знамя победы над рейхстагом», который был сделан в 3 часа дня 2 мая, то убеждаешься в правоте этих слов Степана Неустроева. Знамя Победы – на разрушенном куполе рейхстага, а на месте, где оно было впервые водружено – на фронтоне рейхстага у бронзовых коней, – видны совсем другой флаг и те, кто его поставили, заняв освободившееся место. Подробности, как был сделан этот и другой исторические снимки Виктора Темина, напечатаны дальше, а сейчас продолжение прерванных мною воспоминаний С.А. Неустроева.)

– В частях был ажиотаж: писались наградные листы на своих однополчан на присвоение звания Героя Советского Союза за водружение Знамени Победы. Были представлены сотни людей. А в газетах печатались интервью с солдатами и офицерами, которых корреспонденты отлавливали на крыше рейхстага и фотографировали у флагов. Началась невероятная путаница...

Неустроев рассказал мне про капитана запаса Федорова из 47-й армии, который разыскал его в 1957 году и заявил, что Знамя Победы над рейхстагом водрузили он и старший сержант Михаил Исаков. И в качестве доказательства показал снимок в газете. А под снимком подпись: «Капитан Федоров и старший сержант Исаков водружают Знамя Победы над рейхстагом». А на фотографии крыша рейхстага, фронтон парадного подъезда, флаг, развевающийся на ветру, держит Федоров, а рядом с ним старший сержант Исаков с автоматом. На вопрос Неустроева, что это и когда это было, капитан запаса без тени смущения пояснил, что 8 мая командование 47-й армии направило лучших воинов на экскурсию в Берлин в сопровождении фотографа армейской газеты и выдало флаг, чтобы поставить на рейхстаге. Это «задание» Федоров и Исаков выполнили вечером 8 мая, а 9-го пришла Победа. По возвращении в часть и после предъявления снимка командованию армии там на капитана и старшего сержанта были оформлены представления на звание Героя Советского Союза. Федоров считал, что Москва поступила по отношению к нему и Исакову несправедливо: они получили только по Красному Знамени, и уже 12 лет он пишет во все инстанции – «выводит на чистую воду Егорова и Кантарию, добывается правды»...

– Вот из-за таких «претендентов» политотделу 3-й Ударной армии и политуправлению 1-го Белорусского фронта едва-едва хватило 12 месяцев, чтобы во всем разобраться, – улыбнулся Неустроев. – Справедливость восторжествовала 8 мая 1946 года, когда, наконец, был подписан Указ, в котором названы имена пяти Героев: четверо



из нашей 150-й дивизии и один – Самсонов – из 171-й. Но Шатилов никак не может с этим смириться. И снова сильно расстроился, когда на прошлогоднем параде 20-летия Победы Костя Самсонов шел в центре со Знаменем, а Кантария и Егоров были у него ассистентами...

Между прочим, в словах Неустроева прозвучали точные ответы на вопросы, которые задавал мой коллега нижегородский краевед Александр Аб-в в статье «Почему он не герой?» в «Нижегородской правде» за 26 октября 2006 года, говоря о лейтенанте Алексее Бересте, человеке, безусловно, героическом и достойном самого высокого звания, и о том, почему Указ о присвоении этого звания пятерым получившим его воинам задержался на год.

Все просто. В советское время всегда и во всем господствовала разнарядка, и прежде всего в распределении высших наград. Помнится, бывший первый секретарь Горьковского обкома КПСС Николай Иванович Масленников как-то, отвечая на мой вопрос, сокрушался:

– Вот выделили нам на область одну Золотую Звезду «Серп и Молот» для сельчан, а претендентов по меньшей мере три! Просим выделить еще хотя бы одну для нашей великой доярки Марии Ивановны Кудаковой, у которой уже есть три ордена Ленина, в ответ говорят: дадим ей четвертый орден Ленина, а еще одной Звезды сейчас дать не можем. Только через год! А конкретно о людях, достойных награды, речь не ведут, все во власти разнарядки!

На боевую операцию, связанную с водружением Знамени Победы, Верховный главнокомандующий выделил пять геройских Звезд и ни одной больше! Ищите самых достойных и укладывайтесь в предложенный максимум! И только к 8 мая 1946 года «уложились»!

А пока еще два абзаца по поводу разнарядки. В тот самый день, когда наш земляк связист Александр Петрович Ширгин пытался передать с крыши рейхстага сообщение о водружении Знамени Победы (он до сих пор не уверен, услышали ли его в штабе, потому что провод то и дело перебивали осколками) и спустился вниз, его встретил командир его роты связи капитан Соболевский. Опытный боевой офицер произнес провидчески точные слова: «Все вы, Ширгин, – герои, но Золотых Звезд на всех на вас сейчас не хватит, доживи до ста лет и тогда получишь свою Звезду!» 20 октября Александру Петровичу исполнилось 95 лет, и проживи он еще пять лет, и стали бы готовить бумаги, необходимые для представления его к званию Героя России... Жаль, он умер в 96 лет...

По большому счету Алексей Берест в «звездный» список не попал только потому, что одной из пяти Золотых Звезд был удостоен Степан Андреевич Неустроев, командир батальона. Давать вторую Звезду из этих пяти еще и его замполиту посчитали слишком жирным куском. Две звезды из пяти – на один батальон! Негоже! Тем более что маршал Жуков вообще недолюбливал служащих в политотделах и комиссаров. Во всяком случае так объяснил мне это в далеком семидесятом году военный фотокорреспондент Виктор Антонович Темин, который часто встречался после войны с героями рейхстага, с тем же Берестом, а с Халхин-Гола, через все бои и дальше всю жизнь был дружен с Георгием Константиновичем Жуковым, до самых последних дней великого «маршала Победы». Темин помогал опальному полководу материалами из собственного богатейшего фотоархива, когда Георгий Константинович работал над своими «Воспоминаниями и размышлениями».



Мой коллега краевед А. Аб-ов считает опоздание Указа о присвоении геройских званий участникам водружения Знамени Победы на год следствием «опалы», которой подверглись будто бы три офицера – командиры батальонов Степан Неустроев, Василий Давыдов и Константин Самсонов. И объясняет эту «опалу» так: «Очевидно, им на какой-то период времени вечером пришлось оставить командование батальонами, обязав исполнять их обязанности заместителей. А это могло не понравиться маршалу Сталину».

Сейчас мы можем с полной уверенностью сказать, что Сталину могло «не понравиться» совсем другое, гораздо более важное (об этом чуть-чуть позже), чем то, о чем пишет мой коллега-краевед. Да и подумайте сами, кто бы решился в условиях выдающегося успеха и важности момента доложить маршалу Сталину о чем-то «не таком», с точки зрения современного краеведа, в поведении офицеров. Тем более что ничего «не такого» и не было! А действовали они по обстановке, весьма напряженной!

Правда, в мае 1965 года на Откосе в Горьком в разговоре, о котором я рассказал выше, Шатилов в сердцах обвинил только Константина Самсонова («Потому что он не наш, а из другой дивизии... Но бросился водружать наше знамя»), у своих офицеров ничего предосудительного в действиях он не увидел.

И был прав, потому что ни Неустроев, ни Давыдов непосредственно в водружении Знамени Победы не участвовали, на крышу рейхстага во время атаки не поднимались, своих подразделений не оставляли. А геройских званий удостоены за организацию боевых действий, обеспечивших выполнение задания командования. И об этом Неустроев пишет в своих мемуарах. Общеизвестно, что он послал сопровождать знаменосцев своего заместителя по политчасти Алексея Береста, от которого и узнал, что Знамя Победы водружено:

«Минуты тянулись медленно. Но вот наконец... На лестнице послышались шаги, ровные, спокойные и тяжелые. Так ходил только Берест. Алексей Прокопьевич доложил:

– Знамя Победы установили на бронзовой конной скульптуре на фронте главного подъезда. Привязали ремнями. Не оторвется. Простойт сотни лет».

Выходит, свой батальон на какое-то время самовольно покинул лишь Самсонов, но это тоже не так. Он, выполняя приказ полковника Негоды, во главе группы своих бойцов со своим дивизионным знаменем пробился на чердак рейхстага. По сути, два подразделения советских солдат участвовали в одной операции, вели общий бой с гитлеровцами. И Самсонов вначале помог водрузить победный флаг Бересту, Егорову и Кантарии, а потом и своим батальонным знаменосцам – разведчику младшему сержанту Еремину и минометчику рядовому Савенко.

Тогда же в 171-й Краснознаменной Идрицко-Берлинской ордена Кутузова стрелковой дивизии родилась песня:

Самсоновцы – наши герои  
Сломили твердыню рейхстага.  
И поднял над нею Еремин  
Полотнище алого стяга.

Закономерен вопрос: кто представил Константина Самсонова на звание Героя Советского Союза? Понятно, что не генерал Шатилов.

Значит, командир 171-й дивизии полковник Негода. Но неужели он выдвигал комбата на награждение за водружение «чужого» знамени? Конечно же, нет! Комдив имел в виду, что его подчиненный участвовал в водружении на рейхстаге сразу двух флагов!

Так что версия А. Аб-ва о какой-то вине трех комбатов, на которой базируются все его выводы, является чисто дилетантским вымыслом и ни малейшего основания под собой не имеет.

Возможность «опалы» со стороны вождя мой коллега-краевед уловил верно, но неверно объяснил ее причину. Как я и обещал, о сути дела позже. Но сразу же скажу, что «опалы» как таковой не было: Верховный, конечно, мог считать себя обманутым и принять суровые меры, но не к «трем офицерам», которые «оставили на заместителей свои батальоны», чтобы выполнить его приказ, провозглашенный еще в 1941 году, а к военачальникам самого высокого ранга, начиная с командующего Первым Белорусским фронтом маршала Жукова, командарма 3-й ударной Кузнецова, командира 79-го стрелкового корпуса Переверткина, комдивов Шатилова и Негоды. Но при их непосредственном участии был покорен Берлин, добыта Победа, и Верховный был добр и вроде как не обратил внимание на то, за что в другое время сразу бы лишил своего доверия и наказал бы так, что мало никому бы не показалось... Впрочем, Сталин никогда и ничего не забывал. И через годы находил возможность напомнить об этом тому, кому считал нужным... Немного терпения, и вы сами поймете, о чем речь.

Степан Андреевич Неустроев во время нашей прогулки рассказал, что пять лет назад, в 1961 году, в Институте марксизма-ленинизма при ЦК КПСС состоялось совещание с участниками штурма рейхстага. Споры были горячие и по поводу того, кто и когда первым ворвался в рейхстаг, и кто и когда первым водрузил Знамя Победы. Вопросов оказалось гораздо больше, чем правильных и точных ответов... Бывший член Военного совета 1-го Белорусского фронта генерал-лейтенант К.Ф. Телегин на этом совещании высказался весьма критично: «Водружение Знамени Победы приняло уродливый характер...»

И у него для этого были все основания, потому что и его подпись стояла под «совершенно секретным» приказом, который издал командующий войсками Первого Белорусского фронта маршал Жуков около 15 часов 30 апреля. В этом документе, в частности, говорилось о том, что воины 150-й и 171-й стрелковых дивизий «заняли главное здание рейхстага и в 14.25 подняли на нем наш советский флаг», за что командованию и бойцам этих дивизий маршал объявил благодарность.

Неустроев недоумевал, как же так – рейхстаг не взят, знамя не водружено, а в приказе за подписями командующего фронтом маршала Жукова, члена Военного совета генерал-лейтенанта Телегина и начальника штаба фронта генерал-полковника Малинина обо всем этом говорится, как о свершившихся фактах. В батальон Неустроева срочно прибыл командир полка Федор Зинченко: «Есть ли наши люди в рейхстаге?» – «Нет!» – ответил комбат. «Может быть, ты не заметил, может быть, кто-то помимо батальонов нашего полка проник в рейхстаг?» – «Нет!» – ответил Неустроев. – Там никого из наших еще нет! Я бы знал. Потому что у меня в соседях батальон Кости Самсонова из 171-й дивизии. Его людей в рейхстаге тоже нет!»

Зинченко был растерян не меньше Неустроева. Позвонил Шатилов, выяснил у командира полка обстановку. И дал указания:

– Если нет наших людей в рейхстаге и не установлено там знамя, то нужны все меры, чтобы любой ценой водрузить флаг, даже флажок хотя бы на колонне парадного подъезда, где угодно снаружи. Любой ценой!..

И Шатилов отключился.

– Вот такие дела! – вздохнул Зинченко. – Ведь там, – и он показал вверх, – уже знают, что дело сделано, а у нас тут конь не валялся... Могут большие головы полететь...

Командующий 3-й ударной армией генерал-полковник Кузнецов, командир 79-го корпуса генерал-лейтенант Переверткин, командиры двух дивизий – 150-й генерал-майор Шатилов и 171-й полковник Негода, уже получившие благодарности в приказе командования фронтом, были просто в панике – что делать?

Из батальонов Петра Неустроева, Якова Логвинено, Василия Давыдова 150-й дивизии и батальона Константина Самсонова 171-й дивизии стали направлять к рейхстагу с флажками храбрецов-добровольцев. Задание давалось самое простое – установить где угодно, только чтоб на рейхстаге!

– Никто из них до цели не добежал! – горько констатировал Неустроев. – Мой Петр Пятницкий подобрался к рейхстагу ближе всех, вбежал на ступеньки, но флаг свой закрепить не успел: погиб у колонн парадного подъезда. Потом, когда мы уже вошли в рейхстаг, флаг Пятницкого поднял и установил на той самой колонне, возле которой Петр упал, его товарищ, другой Петр – Щербина. А флаг первой роты капитан Ярунов приказал выставить в окне, которое выходило на Королевскую площадь... Ума не приложу, каким образом появился на свет этот приказ командования Первого Белорусского фронта!

Была Неустроевым сказана фраза, которую я дословно помню до сегодняшнего дня: «Знаешь, Саша, вокруг любого великого дела создаются мифы, легенды, так что до простой правды – как все было на самом деле – очень трудно докопаться, вернее, делается так, чтобы было трудно докопаться. Со временем, надеюсь, все равно все прояснится. Хочу в это верить. И постараюсь еще написать о том, что знаю и что сейчас мне сказать не дают создатели мифов и легенд в генеральских погонах...»

Признаюсь, до разговора со Степаном Андреевичем у меня тогда никаких сомнений в правильности канонических сведений, вошедших даже в школьные учебники, не было. Но он не стал меня посвящать во все детали. А мне было неловко его провоцировать на более откровенный разговор.

Но откровенный разговор все-таки состоялся. В журнале «Октябрь» в мае 1990 года, когда отмечалось 45-летие Великой Победы, Неустроев опубликовал очень яркие и полемические мемуары «О рейхстаге – на склоне лет». То, что он мне рассказывал, когда мы шли с ним по Свердловке, а потом сидели в номере гостиницы «Россия» в Горьком, там есть, но это только маленькая часть той правды, которую он раскрыл в своей публикации. Она слишком многое проясняет и во взятии рейхстага, и в водружении Знамени Победы. Точнее и определеннее, чем Неустроев, по-моему, никто нигде и никогда об этом не сказал и тем упредил возможности многих «открытий», на которые претендуют дилетанты в военно-исторической тематике...

А открывается эта публикация вот таким абзацем:

«За послевоенные десятилетия о штурме рейхстага написано много разных нафантазированных небылиц, которые по-русски называются враньем. Пытались и меня подстраивать под многочисленные авторитеты: “У вас расхождения с таким-то и таким-то. Переделайте, найдите компромиссное решение”, – неоднократно советовали компетентные товарищи... Доходило до того, что в одной и той же газете о водружении Знамени Победы писали по-разному...»

Накануне 9 мая 1984 года мне позвонил ректор Горьковского медицинского института Иван Филиппович Матюшин:

– Ко мне приехал на праздник Кантария, хочешь с ним встретиться?

– Конечно! И приглашу на прямой эфир с волжского Откоса 9 мая. У нас там будет работать передвижная телестанция.

С первой встречи с Мелитоном Варламовичем прошло 19 лет. Он постарел, погрузнел, одет был в серый костюм, на лацкане пиджака Золотая Звезда. Мимо шли люди, не догадываясь, кто этот человек, навсегда вошедший в историю нашей страны. В тот день на площади Минина и Пожарского, на Откосе много было героев минувшей войны, солнечность утру придавал блеск старых орденов и медалей.

Во время интервью Кантария вдруг сказал, что Знамя Победы он и Егоров водрузили на рейхстаге 1 мая 1945 года. Я прямо в эфире поправил его:

– Это было вечером 30 апреля в 21 час 50 минут, как пишет генерал Шатилов...

Но Кантария упрямо повторил:

– Нет, это было 1 мая.

Я перевел свой, видимо, весьма недоуменный взгляд на стоявшего рядом с нами и слушавшего наш разговор Ивана Филипповича Матюшина и уловил его шепот: «Он правильно говорит, так было...»

Жаль, что я не спросил Мелитона Варламовича, во сколько это было, замаял обсуждение этой темы и задал герою-собеседнику другой вопрос:

– Когда и как знамя с фронта было перебазировано на купол рейхстага?

– Это было 2 мая. Меня и Егорова вызвал командир полка Зинченко и приказал перенести Знамя Победы на купол рейхстага. Он сказал: «Видите, купол образуется из продольных и вертикальных ребер, используйте их вместо лестницы...»

Это было очень трудно выполнить. Куски выбитых стекол тут и там торчали из металлической обрешетки, так что мы с Егоровым здорово порезали руки, особенно Михаил, когда по арматуре взбирались вверх со знаменем. Был даже момент, когда заклепки на одной из поперечин, за которую держался Егоров, лопнули, одна сторона ее оборвалась, и он повис с флагом над пропастью на большой высоте. Но сумел подтянуться на руках и ухватиться за продольное ребро. Наконец, мы добрались на самый верх купола, там была небольшая площадка с флагштоком, естественно, для немецких знамен, в эту трубку мы вставили древко нашего Знамени Победы и крикнули «Ура!».

(У Неустроева в журнале этот момент описан так: «Кантария на узкой и зыбкой площадке купола поднялся во весь рост, одной рукой ухватился за древко, другую поднял и громко закричал “Ура!”. Капитан Ярунов, который стоял рядом со мной, не выдержал: “Хватит! Слезайте скорее к чертовой бабушке!” Начальник штаба майор Казаков нервно повторял: “Он еще лезгинку там будет танцевать,

абрек непутевый... Пусть только слезет, я ему покажу... пусть только слезет...»)

Помню, когда я после передачи пришел домой, то сказал жене: «Этот Кантария в своем Очамчири стал хуже говорить по-русски и вообще у него крыша поехала, уверял меня, что Знамя Победы они с Егоровым водрузили 1 мая. А Шатилов пишет – 30 апреля... А на купол перенесли только на другой день...»

Для верности я перечитал мемуары маршала Жукова, генерала Шатилова: везде одна и та же дата – 30 апреля 1945 года, 21 час 50 минут... Позвонил домой Василию Митрофановичу в Москву, поздравил с праздником и повторил, что сказал Кантария. И услышал в ответ:

– Не может такого быть, чтобы Кантария это сказал!

– Но он сказал! Я его поправлял, а он настаивал на своем!

– Суть в том, что 30 апреля они закрепили флаг на фронтоне рейхстага, а 1 мая по голым ребрам бывшего стеклянного купола взобрались на него и установили знамя на самом верху. Но датой поднятия знамени согласно моему докладу командованию считается 30 апреля...

– Василий Митрофанович, а Кантария сказал, что на купол флаг перенесли 2 мая!..

– Он все забыл!..

(Наверное, нужно сделать акцент на словах В.М. Шатилова: «Но датой поднятия Знамени согласно моему докладу командованию считается 30 апреля...») Неважно, как было на самом деле, важно, как считается. В советской истории было много примеров подобных условностей. Собственно, она с одной из таких условностей началась: считается, что крейсер «Аврора» дал залп по Зимнему дворцу, есть очерки, кинофильмы, живописные картины под названием «Залп “Авроры”», хотя на самом деле никакого залпа не было, а был одиночный холостой выстрел одной кормовой пушки, который дал сигнал к взятию Зимнего дворца. Но считается – залп! И не смей перечить, поправлять историю! То же самое с водружением Знамени Победы вечером 30 апреля 1945 года и переносом его на купол утром 1 мая. Эта неправда официально была принята за правду, вошла в мемуары военачальников, в военные энциклопедии, изданные в советское время. И, честное слово, обидно, когда подобные ошибки тиражируют сейчас в своих «сочинениях» знатоки, подобные моему земляку-краеведу, и на основании давно устаревших и опровергнутых сведений делают, как им кажется, «исторические открытия».)

Самое время тут снова обратиться к публикации Степана Неустроева в пятом номере журнала «Октябрь» за 1990 год. Вот к этим строкам:

«...2 мая в рейхстаг пришел командир полка Ф.М. Зинченко и сообщил, что звонил командир дивизии В.М. Шатилов, пообещавший скоро прибыть в рейхстаг. До прихода генерала знамя требовалось переставить с фронтона на купол. Для этого Зинченко вызвал Егорова и Кантарию...»

И дальше в том же журнале:

«Василия Митрофановича Шатилова как бывшего командира 150-й Идрицкой... дивизии я глубоко уважаю. Смел, талантлив. Горжусь, что мне посчастливилось служить под его началом. Но как “писатель” он вызывает огорчение, скажу более, возмущение. Его донесения и мемуары засорили головы советским читателям. Коренная переработка глав о штурме рейхстага требуется в книгах Ф. Лисицына, Я. Макаренко, М. Сбойчакова, М. Мержанова. Донесение, о котором идет речь, к сожалению, отразилось даже в книге маршала Жукова. Мне неизвестно,



кто готовил материал о штурме рейхстага для маршала Жукова в книгу “Воспоминания и размышления”. Но нужно отметить, что этот работник не разобрался в сути дела, а взял и переписал всевозможные вымыслы. Например: “...В 14 часов 25 минут батальон старшего лейтенанта К.Я. Самсонова и батальон капитана С.А. Неустроева 171-й стрелковой дивизии, батальон майора В. И. Давыдова 150-й стрелковой дивизии ворвались в здание рейхстага”. Но я в 171-й дивизии никогда не служил!

...“В 18 часов был повторен штурм рейхстага”. Невольно напрашивается вопрос: зачем в 18 часов был повторен штурм рейхстага, если в 14 часов 25 минут в рейхстаг ворвались три батальона? Я внимательно читал книгу маршала Жукова ... На странице 628 написано: “...гарнизон противника в рейхстаге численностью более 1000 человек не сдавался, шел ожесточенный бой внутри здания”. А на 629 странице говорится: “...К концу дня 1 мая гитлеровские части общим числом около 1500 человек, не выдержав борьбы, сдались, только отдельные группы фашистов, засевших в разных отсеках подвалов рейхстага, продолжали сопротивляться до утра 2-го мая”».

– Как же так? – удивляется Неустроев. – Гарнизон противника в рейхстаге более 1000 человек, из них 1500 сдались в плен, да еще отдельные группы засели в подвалах! Где же тут логика?..

Сейчас уже можно безо всяких обвиняков сказать, что 30 апреля Знамени Победы на рейхстаге не было, его доставили на крышу только 1 мая. На купол его переставили 2 мая во второй половине дня, ближе к вечеру. Просто хотелось как можно раньше доложить по инстанциям о том, что Знамя водружено. А когда поняли, что приняли желаемое за действительное, задний ход давать было уже поздно.

Что делать? Оставалось только усиленно подгонять знаменосцев и бойцов поддержки, но вчерашний день они догнать уже не могли. И тогда решили считать, что Знамя было водружено в тот день, про который доложено. Так было проще. И все до поры до времени продолжали играть в эту игру. Но слишком многие знали правду. И в конце концов перестали ее скрывать. И Сталин ее, конечно же, тоже знал...

На самом деле было так: 30 апреля около 12 часов ночи по берлинскому времени, то есть около 2 часов ночи 1 мая по московскому времени, в рейхстаг пришел полковник Зинченко и потребовал от Неустроева доложить обстановку.

«Полковника интересовало знамя, – вспоминает Степан Андреевич. – Я пытался ему объяснить, что знамен много... доложил, что флажки ротные, взводные и отделений установлены в расположении их позиций.

– Не то ты говоришь, товарищ комбат! – резко оборвал меня Зинченко. – Я спрашиваю: где Знамя военного совета армии под номером пять? Я же приказывал начальнику разведки полка капитану Кондрашову, чтобы знамя шло в атаку с первой ротой! – возмутился полковник.

Стали выяснять, расспрашивать, оказалось, что... знамя в штабе полка в “доме Гимлера”.

Зинченко позвонил по телефону начальнику штаба майору Казакову и приказал:

– Организуйте немедленно доставку знамени Военного совета армии в рейхстаг! Направьте его с проверенными, надежными солдатами из взвода разведки.

Вскоре в вестибюль вбежали два наших разведчика – сержант Егоров и младший сержант Кантария. Они развернули алое полотнище. Ему суждено было стать Знаменем Победы».

Вот и получается, что сама операция по водружению флага началась уже под утро, если не утром, 1 мая по московскому времени!

...Теперь жалею, что тогда, вечером 9 мая 1984 года, сразу же после телефонного разговора с Шатиловым я не позвонил Виктору Антоновичу Темину. Но сделал я это тогда осознанно: он уже тяжело болел, был парализован и говорил с трудом. Поэтому мне не хотелось волновать его расспросами. Оставалось вспоминать, о чем он рассказывал раньше.

В декабре 1970 года Виктор Антонович был в Горьком. Мы долго общались. И все подробности я знаю от него, как говорится, из первых уст. И он называл мне свои подтвержденные фотоснимками даты установления Знамени Победы – и на фронте рейхстага, и на его куполе...

Впрочем, все по порядку.

В конце февраля 1945 года Темин получил задание из «Правды» – разработать и предложить план проведения съемок водружения Знамени Победы над рейхстагом в Берлине и оперативной доставки снимков в Москву. 1 марта 1945 года Темин направил главному редактору Поспелову свои предложения.

– В докладной Петру Николаевичу я предусмотрел и технику фотографирования, и варианты доставки негативов в редакцию через 6–8 часов после съемки, – рассказывал мне Темин и заново переживал те предпобедные дни, когда он участвовал в совещании под председательством маршала Жукова, где в присутствии командующих фронтами, армиями, родами войск обсуждались стратегия и тактика последнего сражения Великой Отечественной войны.

Меня давно занимал вопрос, вернее, сразу несколько вопросов: когда, кем и где было водружено Знамя Победы над рейхстагом. И возникли эти вопросы, между прочим, после публикации к 20-летию Победы в 1965 году снимка Виктора Темина, сделанного явно с самолета: виден внизу весь рейхстаг, а на самой его верхней точке, на стеклянном куполе, древно с развевающимся на ветру красным флагом. Именно этот снимок был напечатан и на обложке проспекта персональной фотовыставки Виктора Антоновича в его родной Казани летом 1970 года, который он мне подарил.

Но почему-то в «Правде» за 3 мая 1945 года совсем другая фотография, сделанная снизу, и знамя не на куполе, а над фронтоном рейхстага. Кстати, и на снимках других фотокорреспондентов Знамя Победы не над куполом, а над фронтоном или, видимо, с другой точки съемки, у бронзовых коней на крыше рейхстага.

Вот что рассказал мне тогда Виктор Антонович Темин:

– Был такой кинофильм «Падение Берлина» Павленко и Чиаурели про русского солдата Алексея Иванова, который прошел всю войну и водрузил над рейхстагом Знамя Победы. Иванова в фильме сыграл Борис Андреев. Так вот, в этом фильме много было нагромождено всякого, но правдой было то, что Знамя Победы над рейхстагом поднял наш солдат-разведчик Алексей Иванов. Я его знал. Он погиб в тот же день, когда водрузил красный флаг на куполе рейхстага. Было это во второй половине дня 1 мая 1945 года. Посмертно он получил звание Героя. Я увидел флаг над рейхстагом, сделал несколько кадров издали и понял, что эта съемка впустую. К рейхстагу близко не подойти, идут жесточайшие



бои. У меня был запасной вариант: специально для съемки Знамени Победы мне был выделен легкий самолет пилота Ивана Вештака. Он ждал меня на летном поле в той части Берлина, которая была уже у нас. Не буду рассказывать, с какими приключениями я добрался до самолета. Вештак только сказал мне: «Артиллерия фрицев с ума посходила, зенитки лупят в небо, словно хотят весь боезапас израсходовать!» Мы взлетели. Иван держал самолет на предельно возможной минимальной высоте, чтобы мне было удобнее снимать. Над рейхстагом нам удалось пролететь только один раз. Берлин горел, все небо было в клубах разрывов. Я на всякий случай нажал на спуск аппарата, но дым пожара, поднятый ветром вверх, закрыл от меня рейхстаг как раз в момент съемки. Я подумал, что снимок не удался. Велел Вештаку идти на посадку. А когда сели, то насчитали в фюзеляже нашей машины почти пятьдесят мелких осколочных пробоин. В это время немцы из орудий ударили по куполу рейхстага, снесли его вместе с флагом Алексея Иванова. Кассету я тогда из «лейки» вынул, вставил другую, но проявлять пленку не стал, считая, что на ней все равно ничего интересного нет, один дым. А потом, даже если на пленке что-то и есть, то все равно публиковать нечего: знамя же с рейхстага сбито. И нужно ждать, когда появится другое...

Тут Виктор Антонович сделал отступление от плавного рассказа и перенесся мыслью на два десятилетия вперед:

– Прошло много лет после войны. Нагрянула какая-то срочная съемка. У меня пленка есть, а свободной кассеты нет. Я говорю жене: «Сейчас вытащу из кассеты ту старую непроявленную пленку, чего ее беречь. А кассету заряжу новой...» Но Тамара вырвала у меня кассету: «Не дам засвечивать! Прояви, что тебе стоит».

Через 20 лет после войны я проявил пленку и обалдел: дым, дым, дым, и вдруг всего один кадр – ясный, чистый. У меня задрожали руки, лицо окатило потом. Весь рейхстаг виден сверху как на ладони, а на куполе Знамя Победы. Потом, в 1967 году, на Всесоюзной фотовыставке, посвященной 50-летию Октябрьской революции, этот мой снимок был удостоен золотой медали, после принес мне призы и награды международных фотовыставок. Вот как в жизни бывает, все зависит от случая...

(Между прочим, фоторепродукцию с публикации 1965 года в газете «Правда» этого снимка с Красным знаменем на целом еще стеклянном куполе рейхстага Виктор Антонович тогда же, в декабре 1970 года, в Горьком, подарил своему давнему другу и коллеге горьковскому фотолетописцу, ветерану газеты «Горьковская правда» Нисону Михайловичу Капельюшу с дарственной надписью: «Однополчанину Н.М. Капельюшу от автора снимка “Знамя Победы над рейхстагом в Берлине” Виктора Темина. 20. XII – 1970 г. г. Горький».

Под газетной фотографией напечатано пояснение Ивана Вештака «Как был сделан этот снимок»:

«С самого первого дня боев за Берлин мне, бывшему летчику 919-го авиаполка связи 16-й воздушной армии, входившей в состав 1-го Белорусского фронта, было поручено выполнение полетов с фотокорреспондентом “Правды” В. Теминым для съемок с воздуха штурма фашистской столицы. В основном мы летали над боевыми порядками 219-й танковой бригады, часто находясь под обстрелом с земли. В общей сложности за это время наш самолет № 21 получил около по-

лусотни пулевых и осколочных пробоин. Но управление самолетом, к счастью, повреждено не было.

Хорошо помнится, как во второй половине дня 1 мая 1945 года с полевого аэродрома, находящегося примерно в 10 километрах севернее Берлина, мы вылетели для того, чтобы сфотографировать Знамя Победы, водруженное советскими солдатами над рейхстагом. Ориентировались по карте крупного масштаба. Полет проходил на минимальной высоте. Кругом дым пожарищ, все горит, рвутся снаряды, Мне даже показалось, что один из них попал в нашу машину. Но оказалось, пулей пробило несущую ленту крыла и она под действием встречного потока воздуха, спружинив о борт машины, ударила меня в плечо.

В связи с очень сложной обстановкой нам, к сожалению, удалось всего только раз пролететь вблизи рейхстага, где развевался Красный флаг. Вот так и был сделан этот единственный снимок.

Тогда, 20 лет назад, редакцией «Правды» мне за полеты над Берлином была объявлена благодарность, о которой хорошо помнится до сих пор».

Вы почувствовали, что Иван Вештак по праву считает себя соавтором этого уникального фотоснимка.

Итак, мы знаем от Мелитона Кантария и Степана Неустроева, что знамя на фронтоне рейхстага у бронзовых коней было установлено утром 1 мая. А Темин во второй половине того же дня снимает с самолета на целом еще застекленном куполе знамя Алексея Иванова. Выходит, до того пока немцы не ударили прямой наводкой по куполу и не разбили его, какое-то время на рейхстаге было два победных флага. Но есть еще одно обстоятельство, которое можно считать доказанным и имевшим место. Знамен было не два, больше!

Первыми знаменосцами Победы сейчас называют группу бойцов в составе В.Н. Макова, В.М. Минина, К.Г. Загитова, А.Ф. Лисименко и А.П. Боброва. Около 23 часов берлинского времени 30 апреля, что соответствует 1 часу ночи 1 мая по Москве, капитан Маков доложил командиру корпуса генерал-полковнику Переверткину, что его группа выполнила приказ и «флаг 79-го корпуса установлен на крыше рейхстага... в короне богини Победы».

И тут интересно мнение Степана Андреевича Неустроева, которое у него сформировалось после того самого совещания в ИМЭЛ в 1961 году, по поводу самого комбата Макова и его победного флага:

«Ради исторической правды нужно сказать, что капитан Маков и его подчиненные – люди отчаянные, храбрые. У меня никогда не было и сейчас нет сомнения в правдивости прозвучавшего доклада. Маков – серьезный и порядочный человек, он не допустит лжи, но в совершенном им подвиге меня огорчает то, что этот флаг на крыше рейхстага никто не видел. Маков допустил непростительную ошибку: после доклада генералу Переверткину ушел с рейхстага в штаб. Никого из своих подчиненных для охраны флага не оставил... Нехорошо так думать, но кто-то, видимо, этим воспользовался... Сразу после боев, то есть 2 мая, на крыше рейхстага, кроме знамени Военного совета 3-й ударной армии под номером 5, никаких других знамен и флагов не было... Такова печальная история флага 79-го стрелкового корпуса».

Давайте зададимся вопросом: куда же исчез этот «беспризорный» флаг? И предположим, что это его увидел разведчик Алексей Иванов и перенес от богини Победы на купол. И именно его сбили

артиллерийским снарядами фашисты. Тогда все становится на место. И знамя, сфотографированное Теминым на целом еще куполе рейхстага, и есть «без вести пропавший» флаг 79-го стрелкового корпуса.

О том, что на фронте рейхстага снова появилось знамя, Темин узнал только утром 2 мая. Почему не раньше? Когда я спросил его об этом, Виктор Антонович улыбнулся одними глазами:

– Ты представь себе весьма массивный рейхстаг и где-то наверху на его фронте красный флаг обычных размеров. Не надо думать, что он бросался в глаза. С земли разглядеть его было нелегко, если не знать, где он находится. А что творилось в Берлине в часы последнего штурма? Это не поддается описанию! Грохот разрывов, рев танков, гул тысяч самолетов – неба не видно за ними, гарь, дым пожаров... Всюду на улицах валялись сорванные фашистские лозунги с призывами к сопротивлению. Гитлеровцы не сдавались и мешали сдаваться тем, кто понимал бесполезность сопротивления. Когда немецкие солдаты в подземельях метро потребовали капитуляции, то фашистские офицеры заперли их там и пустили в тоннели воду. Спасти удалось немногим.

Наши с трудом продвигаются вперед. Из-за углов правительственных зданий «тигры» бьют термитными снарядами, а «берты» палят тяжелыми. Стрельба ведется отовсюду – из чердаков, подвалов, из кирх, из скверов... Поперек улиц свалены вековые дубы, вырванные вместе с корнями. Но это не может помешать продвижению наших танков. Тяжелый бой в парке Тиргартен. Вот он, в двухстах метрах дымится рейхстаг. Вижу Знамя Победы над фронтоном... Вместе с кинооператором Романом Карменом мы на танке пробиваемся к зданию рейхстага. Вокруг бой, стрельба. Наконец знамя у меня в рамке кадра, я лихорадочно щелкаю затвором. И знаю – у меня на пленке Знамя Победы! Еще несколько часов идут бои. А потом как-то неожиданно все стихает: Берлин капитулировал! Бегу к Бранденбургским воротам, через которые в начале войны отправлялись на восток «непобедимые» войска третьего рейха, а сейчас в обратном направлении движется унылая колонна пленных немцев... Делаю несколько снимков. У Бранденбургских ворот пляшут наши танкисты из 219-й танковой бригады первого мехкорпуса, припевая под гармонь частушку, только что сочиненную моим другом военным корреспондентом Александром Гуторовичем:

Ну их к дьяволу в болото,  
Бранденбургские ворота!  
Нам рязанские милей  
У Марусиных дверей!

Время идет быстро, уже вечереет. Надо торопиться. Мне во что бы то ни стало надо ночью быть в Москве, чтобы утром газета вышла с победными снимками. Из Берлина не выбраться. Все улицы забиты нашими танками. Но у меня наготове мой По-2 с Иваном Вештаком. С трудом добираюсь до него и лечу в штаб фронта. В 7 часов вечера звоню из штаба маршалу Жукову, прошу помочь мне как можно быстрее добраться до Москвы. Маршал знает о важности дела, которое заставляет меня его беспокоить. Выслушав мое сообщение о снятых кадрах и узнав, где я нахожусь, Георгий Константинович сказал: «Ждите моего звонка!» Не прошло и пяти минут, как он сам позвонил: «Все указания о вашей отправке в Москву мной даны. Счастливого пути!»

В тот же день, 2 мая, в 21 час на специальном самолете я поднимаюсь в воздух. Пленка с заветными кадрами у меня на груди под шинелью. Что бы со мной ни случилось, пленка должна быть доставлена в редакцию.

Тут надо иметь в виду, что Жуков дал мне его личный самолет и с его личным пилотом только до польского города Янува. Там мне предстояло пересесть на ночной бомбардировщик, который должен был доставить меня в Москву. Я с ужасом смотрю на часы и прямо-таки физически ощущаю, как уходит время. Я могу опоздать к выходу газеты, «Правда» окажется без самого главного снимка. Пересадка в Януве съест у меня по меньшей мере полчаса. Ломаю голову, как обойтись без посадки. Летчик по радио запрашивает у своего командования разрешения лететь в Москву. Ответа нет.

Тогда беру всю ответственность на себя и даю указание пилоту лететь в столицу, не делая остановки в Януве. Летчик подчиняется.

Но тут надо было учитывать еще одно важное обстоятельство: каждому летчику для перелета через границу Советского Союза ежедневно давали новый пароль. Летчик должен был дать ракетами сигнал, что летит советский самолет – «Я свой». Так как Жуков дал мне самолет только до Янува, летчик пароля не знал. Пришлось во время полета над Польшей дать радиogramму в ставку Верховного главнокомандующего о том, что везем важный материал о взятии Берлина и просим пропустить наш самолет через границу СССР. Мы надеялись, что приказ зенитным войскам о том, чтобы нас пропустить, будет дан, пока мы подлетим к границе. Сунулись было, но нас взяли в такие шоры, что, как потом выяснилось, наш самолет получил 62 пробоины. Пришлось болтаться в воздухе, ожидая приказа... На аэродроме в Москве нас ждала машина... Прихожу к редактору и торжественно рапортую:

– Снимок «Знамя Победы над рейхстагом» доставлен в редакцию!

Трудно передать те минуты. Мы, конечно, все взволнованы, радостный Пospelов крепко жмет мне руку, благодарит. Часы в редакторском кабинете показывают 3 часа 10 минут.

А вскоре я уже держал в руках свежий номер «Правды» от 3 мая 1945 года, в котором был напечатан приказ Верховного главнокомандующего о взятии Берлина и мои снимки: «Знамя Победы над рейхстагом в Берлине», «Митинг танкистов генерала Кривошеина у колонны Победы» и «Пленные немцы через Бранденбургские ворота возвращаются обратно в Берлин».

В 7 часов утра 3 мая мы взяли на борт самолета несколько тысяч экземпляров «Правды» и снова вылетели в Берлин. В 14 часов на улицах Берлина появились свежие номера «Правды» за тот же день. Бойцы-победители у стен рейхстага читали «Правду». Известие об этом в мировой прессе стало сенсационным. Лондонское радио поспешило сообщить, что на улицах Берлина его жителям советские солдаты раздают русскую «Правду», и высказало предположение, что газета специально напечатана в Берлине. 4 мая газета «Таймс» опубликовала мои берлинские снимки, переданные по бильд-аппарату из Москвы в Лондон. Наш корреспондент ТАСС из Лондона сообщил: в утренних изданиях «Ньюс кроникл», «Дейли телеграф энд Морнинг пост», других газет на видных местах первых полос напечатаны переданные из Москвы по бильду фотографии.

Меня угнетало только одно обстоятельство – моя вина перед маршалом Жуковым, который дал мне самолет только до Януве, а я

самовольно угнал его в Москву. Когда я 3 мая летел в Берлин с пачками газет, то мысленно представлял себе сцену встречи с маршалом. Я очень хорошо знал его крутой характер. И опасался только одного, что он не захочет меня принять и выслушать.

В Берлине люди из штаба Жукова сказали мне, чтобы я не попадался ему на глаза, потому что маршал в сердцах сказал: «Когда Темин вернется, прикажу его расстрелять!» Он был очень разгневан, что я его обманул, не вернул вовремя самолет. Тем не менее я с пачкой газет пошел к нему в штаб, вошел в приемную. Попросил дежурного доложить о моем прибытии с важными документами. Тот уже знал, в чем дело. И сказал: «Лучше уходите! Придите позже как-нибудь...» – «Позже нельзя, маршал должен увидеть снимки в “Правде” здесь первым!» – ответил я. И мимо остолбеневшего от моего нахальства порученца прошел к двери кабинета, открыл ее и вошел... Расстояние от двери до стола, за которым сидел командующий фронтом, я прошел как по раскаленным углям. Маршал на мгновение поднял глаза и снова опустил их вниз, набычился и молчал. Я подошел к его столу и, ни слова не говоря, положил перед ним газету «Правда» от 3 мая 1945 года с моими снимками.

Жуков поднял глаза на газету. Стал смотреть снимки.

Я же, улучив момент, стал оправдываться:

– Чтобы вовремя доставить снимки в редакцию и обеспечить выход газеты, мне пришлось нарушить ваш приказ, товарищ маршал... Я привез в Берлин несколько тысяч экземпляров «Правды»...

Чем дольше Жуков смотрел газету, тем больше его нахмуренное лицо прояснялось. Он поднял на меня свои стальные глаза, но гнева в них уже не было. А потом вдруг в глубине заплескали веселые искорки. Я понял, что прощен.

– То, что ты сделал, – маршал показал на газету, – подвиг. И был бы ты удостоен звания Героя. Но, – маршал замолчал, а потом отчеканил: – за недисциплинированность, за то, что угнал самолет... – Жуков снова сделал паузу, глядя на меня, словно раздумывая, как меня наказать, а потом безнадежно махнул рукой и улыбнулся. Открыл ящик стола, что-то поискал там левой рукой:

– Вот, получай вместо Золотой Звезды эмалевую! – И протянул мне орден Красной Звезды... – Можешь сразу привинтить, за документами на орден придешь вечером в наградной отдел...

Вот и выходит, что если принять за достоверное время водружения Знамени Победы, обозначенное В.М. Шатиловым – 21 час 50 минут 30 апреля 1945 года, то получается, что «неистовый репортер», как его называли, Виктор Темин, вылетел с отснятой пленкой в Москву в «Правду» на самолете Г.К. Жукова только через двое суток – в 21 час 2 мая?..

А, оказывается, никаких двух суток ожидания у Темина не было! Снимок появляется в газете утром 3 мая, и Темин искренне радуется, что в очередной раз, говоря журналистским языком, «вставил фитиля» всем своим коллегам. И редактор «Правды» П.Н. Поспелов, и ее самый главный читатель И.В. Сталин воспринимают эту публикацию как своевременную, а Г.К. Жуков сменил гнев на милость и даже готов был вручить В.А. Темину Золотую Звезду, но из-за недисциплинированности корреспондента награждает его эмалевой, то есть орденом Красной Звезды. И только когда начинаешь верить словам Мелитона Кантарии, которые тут же были подтверждены И.Ф. Матюшиным, понимаешь, как все становится по местам. 1 мая Знамя Победы появляется на фронте



рейхстага, но в дыму от разрывов его с земли плохо видно или вообще не видно. О том, что знамя водружено, становится известно только 2 мая, когда Берлин еще не капитулировал, Темин фотографирует его с земли на фронте рейхстага, и только позже знаменосцы перенесли знамя на купол. Сообщение о капитуляции Берлина «Правда» печатает в тот же день, 3 мая, на той же первой странице, что и снимок знамени над рейхстагом.

...Во время нашей первой встречи в декабре 1970 года я спросил Темина: на всех фотографиях, запечатлевших водружение Знамени Победы, сняты только двое – Михаил Егоров и Мелитон Кантария. Константина Самсонова и Береста рядом нет. В чем дело?

– Все очень просто, – ответил Виктор Антонович, – ни одного фотокорреспондента в момент водружения знамени рядом с бойцами не было, все фотографии – это инсценировка, исполненная с опозданием на день или на два. Самсонов, как вы сами знаете, служил совсем в другом воинском соединении, а мои друзья фотокорреспонденты Халдей, Морозов, Рюмкин, Харлампиев обращались, естественно, в 150-ю Идрицкую дивизию, и Шатилов посылал на фотографирование только своих бойцов-сержантов. Так Самсонов и Берест оказались за кадром. Хотя когда действительно шел бой за водружение Знамени Победы, Самсонов был одним из самых ярких действующих лиц, как и Берест.

Да, Самсонов был из другого воинского формирования, вообще в рейхстаге сошлись несколько соединений из разных корпусов и армий. И у всех была общая цель – победно завершить войну. Вы видели Самсонова только в кино и на фото, а я его знаю лично. Собственно, и на снимках видно, какой это высокий, атлетически мощный человек, этакий русский богатырь. Он не задумывался в тот момент, чье знамя должно стать Знаменем Победы. Об этом некогда было думать – шел бой. Но эти ребята со своим флагом были ближе всех к цели, к которой шли всю войну. И он бросился им на помощь. Внизу, на всех этажах, еще шли бои за рейхстаг. А над ним уже развевалось полотнище нашей Победы.

И самую главную свою награду – геройскую звезду и вместе с ней орден Ленина – Самсонов получил по одному и тому же Указу, по одному и тому же списку, что и солдаты и офицеры генерала Шатилова. Никого уже не интересовало, в какой части он служил, все знали и знают, вместе с кем он отличился. Вот почему именно он 9 мая 1965 года на втором параде Победы нес знамя, которое он вместе с Егоровым и Кантария водрузил над рейхстагом. А они шли рядом с ним, как были рядом с ним на фронте рейхстага...

Темин замолчал. И сосредоточенно смотрел на меня. Мне показалось, что он еще что-то хочет сказать, но сомневается, стоит ли это делать. А потом признался:

– Я не сделал ни одного инсценированного снимка в Берлине, там и так все было ярко и красноречиво. Вот почему у меня нет кадров водружения Знамени Победы. Егоров и Кантария – прекрасные ребята, мужественные люди, я видел, как они смущались, когда мои коллеги зазывали их на крышу рейхстага для очередного «водружения»...

И, обратите внимание, нет ни одного снимка, где бы бойцы были сняты у Знамени Победы на куполе рейхстага! А только под разными ракурсами на карнизе фронтона, это спокойное фотографирование

происходило 2 мая в тихом Берлине. Я думаю, вы догадались, что все это время знамя на купол не перемещалось и не спускалось обратно для фотосъемки...

И еще один момент требует уточнения. Когда мой коллега-краевед А. Аб-ов перечисляет награжденных за подвиг в Берлине, то после имен Михаила Егорова и Мелитона Кантария задается вопросом: «А где же простой русский солдат, который нес нашу Победу на своих плечах? Его забыли?.. Егоров и Кантария могли осуществить свой подвиг благодаря группе поддержки в 10–12 человек...» Понятно, что А. Аб-ов имеет в виду «простого русского солдата» Ширгина. Но позвольте, разве Егоров и Кантария – не простые русские солдаты, а какие-то особенные? Между прочим, не забыты имена воинов из группы поддержки Егорова и Кантарии. И история Великой Победы их сохранила, и орденов Красного Знамени они удостоены. Разве что за год работы в этой тематике мой коллега-краевед о них ничего не узнал и поэтому числит в неизвестных героях. Хотя для того, чтобы иметь нужную информацию, достаточно было бы хоть разок навестить Знаменный зал Музея Вооруженных Сил СССР в Москве. И я советовал ему сделать это, когда называл ему по телефону имена тех бойцов, что были рядом со знаменосцами и про которых я знаю по меньшей мере уже сорок лет.

Все они из полковой разведки капитана Кондрашова. Помогать Мелитону Кантарии и Михаилу Егорову были выделены бойцы, с которыми они не раз вместе ходили в разведку: Павел Кузьмин, Иван Герасименко, Николай Карноков, Михаил Редько, Иван Прыгунов, Николай Бык. Это они по пути по лестницам наверх забрасывали фашистов гранатами, вели прицельный огонь по врагам. Однажды заметили, что лестница не имеет продолжения и нужно искать какой-то другой подъем наверх в коридоре. Сообразительность проявил Михаил Редько: подергал за подобие дверной ручки нечто, смутно напоминавшее дверь. Но это нечто не поддавалось, тогда он с разбегу поддал плечом так, что скрытые старые ржавые петли сорвались, и Михаил кубарем влетел в проем за мгновение до пролетевшей мимо него пули. Правда, успел заметить, что стреляли немцы из черного отверстия в потолке, и понял, что это люк на чердак. А дверь, которую в прыжке выломил, привела на пожарную лестницу. Но до первой ее перекладины было не меньше трех метров. А из люка сверху били жаркие смертоносные струи. Залили люк своим ответным огнем и заставили немцев отступить. Потом стали строить, живую лестницу, становясь друг другу на плечи. Первым по ней взобрался Миша Редько, за ним – Иван Прыгунов и Николай Бык. И втроем стали забрасывать гитлеровцев гранатами. А довершили дело автоматным огнем. Под его прикрытием вломились на чердак другие бойцы, а с ними и знаменосцы. Когда чердак был очищен от врагов, поспешили на крышу, но высота оказалась недосягаемой для живой пирамиды. Тут Кантария вспомнил, что по пути на чердак заметил на полуразрушенной лестнице стальные решетки – остатки от перил. Втащили наверх две самые длинные, связали ремнями, обрывками найденной проволоки, даже санитарный пакет пришлось потратить. И по такой самодельной лестнице из решеток выбрались на крышу рейхстага. Тут из соседних с рейхстагом зданий началась такая стрельба, что шагу нельзя было сделать. Немцы всячески перекрывали дорогу к куполу. И тогда решили не рисковать и пробраться в более безопасное



место – к конной скульптуре на фронтоне. Поползли по-пластунски, прижимая к себе знамя. У Мелитона пулей сорвало пилотку, Михаилу навывлет прострелило штанину, лишь чудом не задело ногу. По сантиметру, с короткими передышками, под огневым прикрытием своих товарищей знаменосцы добрались до карниза и возле бронзовой конной статуи закрепили флаг, которому суждено было стать главным символом нашей Победы.

Завершая эту публикацию, мне все-таки хочется сказать спасибо моему коллеге нижегородскому краеведу А. Аб-ву, потому что если бы не его фантазии и придумки, которые он в качестве бесспорных фактов стал публиковать в местных и центральных газетах, я, может быть, еще долго собирал бы воедино все, что знаю и имею в своем журналистском архиве. Но благодаря ему поспешил с этим делом, чтобы читатели, не дай бог, не уверовали в то, что все его небылицы – правда.

## Вместо послесловия

*Письмо из редакции «Нижегородской правды»  
Аб-ву А.М.*

В связи Вашими неоднократными обращениями в нашу газету по поводу Ваших публикаций и публикаций А.М. Цирульникова мы обратились с рядом вопросов к главному специалисту – хранителю Знаменного зала Центрального музея Вооруженных Сил России в Москве Аркадию Николаевичу Дементьеву. А.Н. Дементьев известен как исследователь, много лет занимающийся изучением событий последних дней и часов Великой Отечественной войны, штурма рейхстага и водружения на нем советскими воинами победных знамен, в том числе Знамени Победы.

Мы получили от А.Н. Дементьева исчерпывающие ответы по хронологии штурма рейхстага и водружения Знамени Победы.

1. Впервые наши воины проникли в рейхстаг 30 апреля 1945 года после 21 часа, приблизительно в 21. 20–21.30. До этого наших солдат во вражеской цитадели не было. Здесь и далее данные приводятся по местному берлинскому времени. Примерно в 22 часа 30 – 22 часа 40 минут первое знамя на крыше рейхстага установили бойцы капитана Макова – Минин, Бобров, Загитов, Лисименко. Древко флага они воткнули в корону богини Победы. Примерно в 23 часа о водружении капитан Маков доложил командиру 79-го корпуса генералу Переверткину, который и вручил им корпусной флаг для водружения на рейхстаге. Это было первое красное знамя, водруженное на рейхстаге. Второй флаг рядом со знаменем Макова примерно через полчаса установили майор М. Бондарь и два сопровождавших его бойца. Интересна такая подробность: Бондаря на крышу рейхстага вызвал Минин, чтобы майор засвидетельствовал факт установления знамени группой Макова. Бондарь с со своими ребятами полностью повторил путь группы Макова, засвидетельствовал наличие знамени в короне богини Победы и велел своим бойцам прикрепить принесенный ими флаг к задней ноге вздыбленного бронзового коня.

Знамя под № 5 Егоров и Кантария по приказу комполка Зинченко доставили из дома Гимmlера в рейхстаг в третьем часу ночи 1 мая 1945 года по берлинскому

времени. Водружено оно было примерно через два часа на восточной стороне крыши рейхстага. Дело в том, что Берест в темноте ошибся и вывел знаменосцев на сторону, противоположную Королевской площади, к дипломатическому подъезду, а все военное начальство находилось как раз на Королевской площади с западной стороны рейхстага. Таким образом, какое-то время над рейхстагом реяли сразу три красных флага. К сожалению, лавина вражеских снарядов смела флаги Макова и Бондаря, флагу 150-й дивизии благодаря ошибке Береста повезло, потому что с восточной стороны вражеский обстрел был слабее и к рейхстагу подошли части 5-й ударной армии генерала Берзарина. Именно поэтому этот флаг сохранился и был провозглашен Знаменем Победы. Водружено на рейхстаге оно было 1 мая в пятом часу утра по местному времени. Все другие данные неверны.

2. Никаких бомбежек со стороны американцев по рейхстагу не производилось. Никаких насыпей или холмов, по которым можно было бы подняться на крышу рейхстага, ни внутри, ни снаружи здания не было. Даже после всех боев рейхстаг не выглядел развалиной и, несмотря на отдельные разрушения, сохранил целостный облик.

Все группы знаменосцев поднимались на крышу по лестницам и переходам. О том, что в составе какой-то из групп знаменосцев находился связист, сведений нет. Да и потребности в его присутствии не было. Все без исключения участники водружения красных знамен над рейхстагом 30 апреля (Маков и его группа), 1 и 2 мая 1945 года (а было водружено сорок знамен!) были учтены и в те же победные дни в Берлине награждены орденами Красного Знамени. У А.Н. Ширгина такого ордена нет.

Возможно, А.Н. Ширгин участвовал в водружении красного знамени над каким-то другим берлинским объектом. Как бы то ни было, ветеран войны А.Н. Ширгин достоин всеобщего уважения и признательности.

3. Никто из командиров батальонов – ни Неустроев, ни Давыдов, ни Самсонов, вопреки Вами опубликованному в разных газетах, своих подразделений не покидали, находились и воевали в составе вверенных им частей. Выполняли ту боевую задачу, которая им была поставлена, а потому никакой опале со стороны И.В. Сталина не подвергались, как не подверглись никакой опале и все другие участники штурма рейхстага и водружения победных знамен. Задержка на год с присвоениями геройских званий была вызвана большим количеством претендентов на самую высокую награду и с установлением наиболее достойных.

Думается, что Вам стоило бы в печати принести извинения читателям и потомкам трех комбатов, трех Героев Советского Союза, которых Вы публично обвинили в оставлении «на заместителей» своих подразделений, чтобы лично участвовать в водружении Знамени Победы. Вы утверждали, что Неустроевым, Давыдовым и Самсоновым, по словам военных юристов и генералов – ветеранов войны, у которых Вы консультировались, было совершено воинское преступление, за которое они могли быть подвергнуты самому суровому приговору военного трибунала, вплоть до расстрела, но Сталин через год простил их и наградил. По сути, Вы опорочили замечательных людей, различными способами распространяли о них Вами же надуманные ложные сведения. Говоря Вашими же словами, Верховный Главнокомандующий, будь он жив, мог бы за это на Вас «обидеться» и справедливо Вас подвергнуть опале.

4. Данные о том, что первые советские воины ворвались в рейхстаг 30 апреля в 14 часов 25 минут и вскоре овладели рейхстагом, не соответствуют действительности. Приказ № 06, подписанный Г.К. Жуковым, с благодарностью войнам, овладевшим рейхстагом, и его доклад Верховному Главнокомандующему, к сожалению, появились поспешно и не отражали реальных событий. Они не были

тогда дезавуированы, потому что получили широкую международную огласку, и долгое время продолжали выдаваться за правду, хотя уже давно (еще в 1990 году в газете «Правда») было сказано о том, что и как было на самом деле.

5. Публикации о том, что Знамя Победы было водружено над рейхстагом бойцами 150-й дивизии 30 апреля 1945 года в 22 часа 50 минут, ничего общего с историческими фактами не имеют. Подлинное время названо выше.

6. Темир действительно получил от Жукова личный самолет маршала до польского города Янува (Жешува), но обманул персональных пилотов Жукова, передав им от имени маршала распоряжение лететь до Москвы. И таким образом доставил свой снимок Знамени Победы над рейхстагом в «Правду».

Именно эти сведения приводятся сейчас в Центральном музее ВС России во время посещения Знаменного зала ветеранами войны и экскурсантами. Они получены в результате длительных – на протяжении шести десятилетий – научных исследований. Объективной альтернативы этим данным не имеется.

Другие вопросы, которые можно рассматривать как частные, второстепенные или уточняющие кое-какие детали, нами А.Н. Дементьеву заданы не были.

Мы считаем, что ответы получены исчерпывающие и продолжение дискуссии по вопросам, которые очевидны, не имеет смысла.

**Михаил ЧИЖОВ**

*Нижний Новгород*

(№ 1, 2024)

## «ЕГО ЖИЗНЬ НЕЛЬЗЯ БЫЛО ОТДЕЛИТЬ ОТ ЕГО КНИГ»

Обыкновенная биография в необыкновенное время.

К 120-летию со дня рождения Аркадия Гайдара (1904–1941)

*Он был жизнерадостен и прямодушен, как ребёнок.*

С. Маршак об Аркадии Гайдаре

Литературные критики частенько задаются вопросом, что нужно знать, уметь, каким нужно быть, чтобы стать детским писателем, способным понимать ещё не сформировавшиеся запросы детей, отвечать на них понятным для юного читателя языком. И влиять на детей! Кто-то считает, что у детского писателя должна быть ранимая душа, схожая с детской, мало знакомой со взрослой жизнью, с её сложностями, жестокими вопросами «быть или не быть», а нередко и «бить или не бить», с грубостью, авантюризмом, с неравенством и другими негативными вопросами бытия. Говоря простым языком, детский писатель – это в некотором роде «ребёнок» по определению Самуила Маршака, не разбирающийся в бытовых, то бишь взрослых, вопросах человек. Этакий нежный первоцвет, быстро сохнувший после сбора.

И как бы в качестве подтверждения этой мысли приводят пример мудрого Льва Толстого, тонкого знатока взрослой жизни, классика и автора социально-политических романов, казалось бы, насквозь видящего и понимающего весь окружающий мир, всех людей, населяющих его. Но создатель тонких психологических мужских и женских портретов своих современников, чьи порывы и поступки понятны людям спустя столетия, никак не мог создать удобоваримую детскую прозу. Образы ребят в рассказах Льва Толстого ходульные, с нехарактерной для детей речью. Толстому присуща сомнительная лаконичность, взрослая оценка происходящего. Нравоучения в так называемых сказках столь очевидны и прямолинейны, что от них попросту воротит и детей, и взрослых.

«Сказки об Италии» Максима Горького, писателя из народа и тонкого его знатока, прожившего в Италии 15 лет, соответствуют лишь названию. Им предпосланы слова Андерсена «Нет сказок лучше тех, которые создаёт сама жизнь». На самом деле эти «сказки» есть суровые социально-политические памфлеты и фельетоны.

И даже всё знающий и редкостный романтик Константин Паустовский писал немногие (восемь штук), но шаблонные сказки для детей.

Кстати, Паустовский («Коста» – так звал его Гайдар) был его лучшим другом. Аркадий Гайдар неустанно повторял слова: «Могу писать только о том, что лично видел сам». Видел же Аркадий Гайдар очень много, если не сказать чрезвычайно, невероятно много. И не просто видел как сторонний наблюдатель (ох, как много таких пустых «созерцателей» во все времена), а обдумывал, обобщал, общаясь с подчинёнными солдатами в годы Гражданской войны, с детьми, с друзьями. И не только видел, но был активным участником советского строительства. Того самого знаменитого преобразования страны, когда за десять (10) лет ей удалось пробежать ту индустриальную дистанцию, на которую Запад потратил сотню лет. Мало (я в этом уверен) тех, кто знает, что Аркадий Гайдар был профессиональным корреспондентом многих газет в разных городах Советского Союза. Пермь (газеты «Звезда», «Вечерняя звезда»), Свердловск («Уральский рабочий», Подмоскowie («Красный воин»), Архангельск («Волна» и «Правда Севера»), Хабаровск («Тихоокеанская звезда»), Москва («Пионерская правда», журнал «Пионер» и «Комсомольская правда»).

Вот, например, характеристика, данная Аркадию Гайдару в 1926 году после года работы в пермской газете. «За истекший период его работы в газете было помещено около двухсот (200) его фельетонов...

Неослабевающий интерес, с которым читатели следят за фельетонами, десятки получаемых на его имя писем и приходящие к нему в редакцию за советом рабочие служат лучшим доказательством того, что тов. Гайдар сумел правильно подойти к постановке вопросов в понятной форме и вполне приемлемой для читателей рабочей газеты. <...> Основными достоинствами его фельетонов, помимо удачной литературной формы, считаются: прямота, искренность, умение подметить и выделить основной момент, заслуживающий внимания читателя».

Гайдару в это время 22 года, и он не оканчивал никакого филологического высшего учебного заведения, тем более журналистского. И все эти умения Аркадия Гайдара вызывают у автора сих строк, сугубого реалиста, отдавшего 20 лет промышленному производству и прочитавшего несколько гайдаровских производственных фельетонов, несказанный пиетет.

Некоторые фельетоны сохранили актуальность и по сию пору, хотя эта пора уже отнюдь не советская. В фельетоне «Сказка о бедном старике и гордом бухгалтере», опубликованном 21.11.1926 г. в пермской газете «Звезда», критикуется неокрепшая советская власть, задерживающая выдачу зарплат рабочим. Бухгалтер, ссылаясь то на *баланс*, то на не отпущенные *кредиты*, то на *реорганизацию*, то на *ревизию*, не выдавал честно заработанные деньги «старику»-рабочему. И вот ведь какой фортель история устроила России. Аркадий Гайдар мечтал о торжестве «царства социализма», воевал за социализм с оружием в руках, отдавая здоровье, нервы, силы, а его внук Егор похерил одним росчерком пера все усилия деда. Вернул в Россию капитализм и «буржуинов», с которыми боролся Мальчиш-Кибальчиш и сам Аркадий Гайдар. Через одно лишь поколение, с 90-х годов также стали задерживать зарплаты, а то и вовсе их не выдавать, рассчитываясь кроватями, унитазами, глушителями для машин, посудой и т. д. Как внук стал Мальчишом-Плохишом, который «сидит, жрёт и радуется» (так у Гайдара в «Военной тайне»)? Как он стал предателем благородных идей деда – это тема для отдельного психолого-этнического расследования.

Кто-то может сказать, видя деяния Егора Гайдара, что его дед, журналист, очеркист, фельетонист, сценарист и замечательный советский детский писатель Аркадий Петрович Гайдар прожил жизнь зря. Нет, скажем мы! Потому, что своим творчеством Аркадий Гайдар воспитал поколение победителей, тех мальчишек и девчонок, зачитывавшихся его повестями, благодаря которым победили в Великую Отечественную войну, спасли нашу Отчизну.

Умение положительно влиять на читателя – это самое главное достижение писателя, это важнейшая цель литературы. К этой цели всегда стремился Аркадий Гайдар и успешно достиг её!

Наша задача – вспомнить в день 120-летия рождения великого детского писателя Аркадия Гайдара его жизнь и произведения, отдать дань восхищения его творчеству, его пониманию счастья, воспетого в рассказе «Чук и Гек». «Что такое счастье – это каждый понимал по-своему. Но все вместе люди знали и понимали, что надо честно жить, много трудиться и крепко любить и беречь эту огромную счастливую землю, которая зовется Советской страной».

Итак, по порядку.

## Детство

Обычно всякая великая личность обрастает мифами, тайнами реальными, а чаще надуманными, домыслами, а точнее, недоговоренностями, неточностями и искажениями. Так случилось и с Гайдаром. Вот первый пример, и связан он с днём рождения. В Большой Советской энциклопедии (БСЭ) и вышедшей недавно Большой Российской энциклопедии чётко названа дата рождения Аркадия Голикова (настоящая фамилия Гайдара): по старому стилю 9 января (22 – по новому) 1904 года. Однако курский писатель, уроженец города Льгова (где родился Аркадий) Семён Лагутич утверждает, что Аркадий родился на месяц позже. Он основывается на воспоминаниях льговских друзей семьи Голиковых и на письменном свидетельстве врача-акушера С.В. Кудряшовой, принимавшей роды ребенка в доме Голиковых. Так ли это важно? Зачем вносить путаницу в такой несложный вопрос? Искажение в дате, по мнению С. Лагутича, пошло с подачи писателя Бориса Камова (Бориса Калмановича Дворсона), «самопровозгласившего себя главным биографом писателя». Неудовлетворённое тщеславие Лагутича?

Но, однако, возникает интересная коллизия. В центральном архиве Екатеринбурга сохранилась анкета Аркадия Голикова, заполненная им в 1921 году при поступлении на военную службу в Приуральский военный округ. Ниже будет более подробно описан этот эпизод из жизни Аркадия. Так вот, на вопрос «имеются ли родственники за границей» он отвечает: «Есть, в Париже, но адреса не знаю. Фамилия Гутьер». Исполнительный директор Льговского сахарного завода Гутьер, по более позднему утверждению Натальи, сестры Аркадия, стал крестным отцом будущего писателя. Почему Голиков вдруг о нем решил написать в анкете? Вероятно, почитал крестного отца как родственника. Что из этого следует? Очевидное! Католик или протестант, то есть еретик для РПЦ, Гутьер не мог быть крестным отцом в православном храме. В начале XX века с этим было очень строго. Да, и сейчас при крещении в православном храме крестному отцу надо наизусть знать «Символ Веры». Священник, совершающий обряд, лично проверяет это знание.



Следовательно, Аркадий не был крещён вовсе, а посему и не записан в церковной метрической книге крещёных младенцев с указанием точной даты, что и привело к спорам.

В воспоминаниях Н.Н. Похвалинской, подруги сестры Гайдара, есть ещё одно косвенное подтверждение об атеистическом характере отношений: «Семья Голиковых не была религиозной. Я очень завидовала Аркаше и Талочке, что их не посылали в церковь». Так кем же был Гутьер Аркадию?

И всё же путаница в дне рождения присутствует. В фондах Арзамасского литературно-мемориального музея А.П. Гайдара есть журнал с прошениями родителей о принятии своих чад в реальное училище. «Май 1914 г. № 22. Голиков Аркадий. Рождения 9 января 1904 года. Сын чиновника...» Вроде всё ясно и понятно, но в «Календаре “Товарищ” для учащихся на 1917–1918 уч. г.» рукой Голикова Аркадия написано в разделе «Я» о дне и месте рождения следующее: «Льгов Курской. 9 февр. 1904 г.» Во многих книгах о Гайдаре есть фото этой записи. Небрежность великих в подростковом возрасте? Остаётся только гадать! Или вот ещё одна вопиющая неточность, допускаемая Аркадием Голиковым. В автобиографии от 1934 года, когда Гайдар известен всему огромному Союзу, он пишет: «Я ушёл в Красную Армию в ноябре 1918 года, когда мне не было ещё 14 лет». Это как же, позвольте спросить у человека, родившегося в январе-феврале 1904 года, что ему в ноябре 1918 года нет 14 лет?!

Кто-то скажет – пустяки! Перефразируя известное выражение, скажем: «Пустячок, но неприятно!» И возникает риторический вопрос: «Отмечали ли родители день рождения сына?»

Но мы забежали несколько вперёд.

Как французы появились в Льгове Курской губернии? Да очень просто! Киевский сахарозаводчик Гальперин Моисей Борисович в 1899 году построил на свои деньги в этом городке сахарный завод по французской технологии. Авторский надзор и руководство технологическим процессом осуществляли французские специалисты, среди них и был некий Гутьер. Для детей заводских рабочих построили начальное училище, где учителями стали родители Аркадия Голикова.

Итак, 9 по старому или 22 января (или февраля?) по новому стилю 1904 года в семье учителей – Петра Исидоровича Голикова (26.01.1879–23.04.1927) и Натальи Аркадьевны Сальковой (1881–16.10.1924) родился первый и единственный в семье сын Аркадий, названный так в честь деда по материнской линии. Остальными детьми были три девочки.

Фамилия Голиков происходит от старого русского слова «голик», обозначающего веник из сухих прутьев без листьев. Родом Пётр Исидорович из города Щигры той же Курской губернии. Дед его был крепостным, отец столяром, а сам он окончил сначала Щигровское уездное училище, а потом Курскую учительскую семинарию. Именно в Курске он и познакомился с Натальей – дочерью обедневшего дворянина Аркадия Геннадьевича Салькова, отставного штабс-капитана, имевшего в Щигровском уезде небольшое имение. Мать Натальи Аркадьевны рано умерла (о ней ничего неизвестно), и её воспитывала мачеха. Курскую женскую гимназию Наталья Аркадьевна окончила с золотой медалью, что давало ей право преподавать в начальных классах.

В 1900 году Наталья Аркадьевна и Петр Исидорович сочетались браком. Пётр получил место учителя в начальном училище при вышеупомянутом сахарном заводе. Так они оказались в городе Льгове. Жили они в комнатах при школе, где сейчас усилиями Лагутича образован



мемориальный музей писателя Аркадия Гайдара. Честь ему и хвала за это!

Отец Натальи был против этого мезальянса и не простил дочь до самого конца жизни. Не навещал внука, названного в его честь в качестве примирения, ни помогал материально. Наталья хорошо знала французский язык (в гимназии его преподавание велось на высоком уровне) и для разговорной практики тесно общалась с французскими инженерами, одного из которых мы уже упомянули. Знание языка подтверждает и лучший друг детства Аркадия Голикова Адольф Гольдин: «Его мать, Наталия Аркадьевна, свободно владела этим языком, учила и Аркадия и дочерей – Наташу, Олю и Катю – разговаривать по-французски».

В революцию 1905–1907 гг. рабочие сахарного завода бастовали, требуя повышения заработной платы, и, видимо, для составления петиции часто обращались к учителям Голиковым. Они прослыли в провинциальном Лыгве вольнодумцами и «неблагонадежными». Ареста супруги Голиковы избежали, но, боясь осложнений с хозяином завода, решили сменить место жительства. Пётр Исидорович нашёл работу в акцизном (налоговом) управлении в посёлке Вариха (от глагола «варить», девушка Варя к названию не имеет никакого отношения) при нефтеперегонном заводе Тер-Акопяна в Сормове Нижегородской губернии, будущем советском заводе им. 26 Бакинских комиссаров.

В конце лета 1908 года супруги Голиковы с четырехлетним Аркадием, трехлетней Натальей и только что родившейся Ольгой неожиданно для всех знакомых из Лыгова переехали на Волгу. И уже 5 октября этого года «не имеющий чина» П.И. Голиков был зачислен на службу в Нижегородское акцизное управление. В советские годы слава писателя Аркадия Гайдара была столь высока, что отыскивался каждый уголок, связанный с его жизнью. Так, на доме № 10 по улице Коминтерна установлена мемориальная доска с надписью: «На этом месте бывшего посёлка Варя находился дом, в котором в детские годы 1908–1909 жил выдающийся советский писатель Аркадий Петрович Гайдар». Вскоре Пётр получил повышение до старшего контролёра и перевёз семью в центр Нижнего Новгорода на улицу Варварскую.

И тут на крайнем к площади Свободы (Острожной) доме № 44 по улице Варварской висит памятная доска с надписью: «В этом доме в 1909–1910 гг. жил выдающийся советский писатель Аркадий Гайдар (А.П. Голиков)». На самом деле этот дом построен в 1954 году и в нём жить маленький Аркадий не мог. Какой дом был на этом месте в начале XX века, трудно углядеть даже на подробных фотоснимках Максима Дмитриева, но точно, что не 4-этажный. Хочется поклониться писателю творчеству Аркадия Гайдара, что не забыли о местах кратковременного проживания будущего знаменитого писателя в Нижнем Новгороде. Однако даты жизни указаны на доске неверно. Жили они здесь до лета 1912 года – времени переезда в Арзамас. 1912 год назван и в альбоме-справочнике «По улицам родного города» (издательство «Кварц», 2012).

Заработка у Петра Исидоровича едва хватало, чтобы сводить концы с концами в большой семье, тем более что в 1910 году родилась третья дочь Катя. Наталья Аркадьевна для повышения достатка в семье поступила на частные курсы фельдшеров-акушеров знаменитого в Нижнем доктора Маклашевского. Училась она в Нижнем Новгороде, а экзамены на диплом акушерки успешно сдала на медицинском факультете Казанского университета.

С дипломом Наталья Аркадьевна получила и направление – уездная больница в Арзамасе Нижегородской губернии, что в 100 верстах от Нижнего Новгорода. Пётр Исидорович выхлопотал новое направление в этот же уездный городок. Летом 1912 года семья перебралась в Арзамас, где они сначала, обживаясь и приглядываясь к новой обстановке, снимали флигель у Терентьевых, а потом купили небольшой деревянный дом № 25 на Новоплотинной улице. Дом сохранился и составляет главную достопримечательность литературно-мемориального музея А.П. Гайдара.

Город Арзамас был совсем не плох, а в 1781 году стал 4-м из уездных городов России, получившим от царицы Екатерины II свой «геометрический план» радиально-лучевого расположения улиц. Такой же, впрочем, план и у Нижнего Новгорода.

В архивах можно найти данные переписи жителей городка на начало XX века. Всего народонаселения около 15 000, из них 650 рабочих и кустарей-ремесленников, 655 купцов, 1189 монахов и монахинь, 519 дворян. Писатель Мельников-Печерский оставил свои впечатления об Арзамасе: «Город вообще очень хорошо устроен, улицы вымощены камнем, фонари, стоящие на улицах, по ночам зажигаются, а не стоят только для вида, как в иных, даже губернских городах. Тротуары также не представляют из себя капканов для ног несчастных пешеходов».

Позднее в повести «Школа» (1930 г.) Аркадий, уже не Голиков, а Гайдар, охарактеризует Арзамас так. «Городок наш Арзамас был тихий, весь в садах, огороженных ветхими заборами. В тех садах росло великое множество “родительской вишни”, яблоч-скоропелок, терновника и красных пионов. Сады, примыкая один к другому, образовывали сплошные зеленые массивы, неугомонно звеневшие пересвистами синиц, щеглов, снегирей и малиновок. <...> был похож на монастырь: стояло в нем около тридцати церквей да четыре монашеских обители».

Вскоре после обустройства в Арзамасе Аркадия отдали в частную школу Зинаиды Васильевны Хониной для подготовки к сдаче экзаменов в реальное училище. Она так отзывалась об Аркадии: «Веселый, жизнерадостный, неусидчивый, выдумщик и шалун, но шалун безобидный, чистый и честный мальчик». Здесь Аркадий знакомится со своим будущим другом Адольфом Моисеевичем Гольдиным. Примечательно, что и того и другого в семьях звали Адиками. Два года Адольф Гольдин и Аркадий Голиков учились у Хониной, а потом в 1914 году одновременно поступили в Арзамасское реальное училище. Частенько сидели за одной партой, да и жили соседями – через два дома друг от друга. И крепко дружили. Вот как характеризует Аркадия Голикова его лучший друг: «Голиков был крепыш, выше среднего роста, светло-волосый, с серо-голубыми глазами, с румяными щеками. На круглом лице чуть полноватые губы и добрая улыбка».

Арзамасское реальное училище (АРУ) создано в 1904 году. По уровню преподавания оно было 4-м в России после Москвы, Санкт-Петербурга и Варшавы. Наверное, поэтому для него к 1909 году построили новое красивейшее здание – гордость горожан. Недаром в этом здании до сих пор находится руководство города и района.

Одноклассник Голикова С.М. Соколовский вспоминал, что попасть в училище было очень трудно. Из 500 человек отобрали после экзаменов 24 ученика. Диплом по окончании реального училища давал возможность поступить в технические вузы и даже университет. Годовая стоимость составляла 25 рублей. К слову, заметим, что корова в это время стоила около

20 рублей. Учились здесь преимущественно дети состоятельных арзамасцев: дворян, купцов, чиновников и священников. Семья Голиковых с момента появления в городе сразу стала заметной: акушерки с дипломом Казанского университета в Арзамасе ещё не было. Люди, умеющие принимать роды, известны и уважаемы в любом населённом пункте.

Аркадий с детства рос ответственным человеком: надзор за младшенькими сестрёнками и помощь им ко многому обязывали. Он учился находить с ними общий язык и одновременно командовать ими, вырабатывать, так сказать, командный голос, так приготившийся ему в годы Гражданской войны.

Наталья (Натка), самая старшая из сестёр Аркадия, вспоминала о жизни в Арзамасе: «Наше детство было счастливым и беспечным. Родители не очень стесняли нас в наших играх. Нам разрешалось перевернуть всё хоть вверх дном, но при условии, чтобы сами за собой убрали, и это условие выполнялось нами, как закон». Согласимся, что это очень и очень немаловажно при воспитании детей. В другом месте воспоминаний Натки можно прочесть о старшем брате: «и даже чистил наши ботиночки». Подруга Натки А.И. Бабайкина вспоминала, что «и у нас, и у Голиковых тоже были коровы». А содержать корову – немалый труд, несмотря на всю беспечность детства. Справедливости ради надо отметить, что в семье жила тётка отца Дарья, которая и выполняла по дому всю тяжёлую работу.

В Арзамасском реальном училище Аркадий Голиков слыл одним из самых прилежных в учении, но озорным в поведении учеников. На уроках Закона Божьего, бывало, по целым урокам стоял в углу класса. Он много читал и активно изучал, в том числе и с помощью матери, французский язык и нотную грамоту. Пробовал писать стихи, и мать всячески поддерживала его в этом увлечении, даже специальный блокнот купила. Так, сестра Натка вспоминала, что в 13 лет Адик написал длинное стихотворение «Легенда о свободе», которое читал на школьных вечерах, а ученицы старших классов спрашивали Натку: «Неужели он сам сочинил?» Сестра подтверждала и очень гордилась Аркадием. У него, кроме всего прочего, были незаурядные актёрские задатки: он хорошо владел голосом, не боялся сцены и сотен глаз, устремлённых на него, играл в школьных спектаклях (сохранились не только записи в дневнике, но и фотографии).

И ещё из воспоминаний сестры, показывающих лад и семейный уют в доме Голиковых. Без них неординарную личность не воспитать. «Бывало, в долгие зимние вечера, после того как выучены и проверены родителями уроки, мы часто забирались все на кушетку, папа сажал младших девочек на колени, мы с Аркадием лепились к нему по бокам, мама, если она была “не дежурная”, усаживалась возле стола с каким-нибудь рукоделием или штопкой, а старенькая тетя Даша присаживалась поближе к печке».

Особенно Аркадий прочувствовал ценность знаний после своего неудачного побега на фронт Первой мировой войны, куда был призван отец. В автобиографической повести «Школа» (1930), где Аркадий Голиков слегка «зашифровал» себя под Бориса Горикова, сменив в фамилии одну лишь букву, признаваться в собственном незнании географии было стыдно. И Аркадий, к тому времени Гайдар, возлагает «честь» побега на выдуманного Тупикова, о котором пишет: «Первоклассник Тупиков оказался дураком. Он даже не знал, в какую сторону надо на фронт бежать...» И после разноса от учителя географии Аркадий и его

друзья делают правильный вывод как в жизни, так и в повести «Школа». «Первоклассники, внезапно уяснив себе пользу наук, с совершенно необычным рвением принялись за изучение географии...» Но, видимо, не только географии, так как жадной знаний Аркадий Голиков отличался всю свою короткую жизнь. Примечателен и такой факт. После поимки беглеца мать купила Аркадию географическую карту. Она до сих пор висит над его кроватью в мемориальном музее писателя в Арзамасе. Наталья Аркадьевна умело прививала здоровое самолюбие сыну.

Будущий генерал армии, начальник отдела ГРУ Генштаба Вооружённых сил СССР, а в детстве ученик АРУ Виктор Рябов вспоминал, как они с Аркадием (Рябов был на год младше) ездили на Пустыньские озёра. К тому времени Аркадий, а это год 1915, уже знал значение паровозных сигналов. Учил своего младшего соученика обращению с бродячими собаками: «Не показывай виду, что боишься, и собака тебя не тронет». Мудрость, коей не владеют и поныне многие взрослые люди!

Многочисленные походы за грибами привили Аркадию любовь к лесам, а значит, и их знание на всю жизнь. Константин Паустовский в повести «Мещорская сторона» пишет о том, как они втроём бродили по мшарам Рязанской области – «заросшим в течение тысячелетий озёрам». Он пишет: «Гайдар пошёл искать Поганое озеро. Гайдар не взяв компаса, сказал, что найдёт обратную дорогу по солнцу, и ушёл».

Через три часа низкие облака закрыли небо, и в такой мгле без компаса нельзя было, по мнению Паустовского, найти дорогу. И, действительно, это очень сложно, но не для Гайдара. «Мы кричали отчаянно <...>, но в ответ на наши крики не было слышно никакого человеческого голоса. <...> вдруг загудел и закричал, как утка, рожок автомобиля. Это было нелепо и дико – откуда мог появиться автомобиль в болотах...? Автомобиль явно приближался. Он гудел настойчиво, а через полчаса мы услышали треск в завалах... и из мшар вылез улыбающийся, мокрый измученный Гайдар». Что следует из этого эпизода? Простая истина: у Гайдара и в зрелом возрасте сохранился озорной, сравнимый с подростковым характер. Особо нужно отметить его знания и умения ориентироваться в глухих лесах.

## Боевая юность

Но вот «взметнулись красные флаги Февральской революции», так пишет Гайдар в автобиографии 1934 года для юбилейного номера журнала «Пионер», отмечавшего 10-летие. И далее: «и в таком захудалом городке, как Арзамас, нашлись хорошие люди. Пристал я к ним случайно, скорее из любопытства. Их было немного, держались они кучкой. Смело выступали они на митингах. <...> Позже я понял, что это за люди. Это были большевики. <...> Люди эти заметили, что мальчишка я любопытный, как будто не дурак и всегда верчусь около. Понемногу стали они доверять мне и давать разные мелкие поручения: сбегать туда-то, вызвать того-то. А я бегал, относил, вызывал, а сам всё слушал и слушал».

Но и не только слушал, но и пытался разобраться и узнать о большевиках как можно больше. Писал горячие письма отцу на фронт, задавал вопросы в попытках всё понять и сделать собственные выводы.

*Милый, дорогой папочка! Пиши мне, пожалуйста, ответы на вопросы:*  
1. Что думают солдаты о войне? Правда ли, говорят они так, что будут



*наступать лишь только в том случае, если сначала выставят на передний фронт тыловую буржуазию и когда им объяснят, за что они воюют? 2. Не подорвана ли у вас дисциплина? 3. Какое у вас, у солдат, отношение к большевикам и Ленину? Меня ужасно интересуют эти вопросы... 4. Что солдаты, не хотят ли они сепаратного мира? 5. Среди состава ваших офицеров какая партия преобладает? И как вообще они смотрят на текущие события?.. Неужели – «Война до победного конца»?*

Отец Аркадия Петр Исидорович Голиков за воинскую сметливость и личную храбрость, произведенный в прапорщики, образование позволяло, становится командиром революционного полка. Аркадий знает об этом из переписки, и отец становится примером для подражания. Сын после таких известий с ещё большим рвением погружается в революционную работу арзамасских большевиков.

«Но самое большое доверие мне было оказано, тогда, когда в октябре 1917 г. разрешили мне взять винтовку и послали меня при двух патрульных третьим – для связи», – пишет он в вышеупомянутой автобиографии 1934 года. С этих пор Аркадий Голиков уже не просто патрулировал улицы Арзамаса, но состоял посыльным при большевистском клубе, работал делопроизводителем в уездном комитете партии, охранял по ночам город и участвовал в создании арзамасского комсомола. Кроме того, писал заметки в ученическую газету «За свободу». Служил секретарём в редакции газеты арзамасских большевиков «Молот». Так формировалась неординарная личность!

В школьном дневнике «Товарищ» ученик 4-го класса АРУ Аркадий Голиков записывает. «11–17 февраля 1818 г. Меня ранили ножом в грудь на перекрестке (видимо, ранение было легким и спасла зимняя одежда. – М. Ч.). Был в Совете. Получил разрешение от Революционного штаба присутствовать на улицах в ночное время. 8–21 апреля 1918 г. В городе стрельба. 5 раненых с нашей стороны. Ночью идёт стрельба. Мы с Березиным ходим патрулём. Осадное положение. 29 июля – 1 августа 1918 г. К нам приехал штаб Восточного фронта. Жизнь в Арзамасе очень оживилась, совсем не та атмосфера. Военное обучение понемногу налаживается. Прошли рассыпной строй, скоро к стрельбе».

Мать Аркадия, Наталья Аркадьевна, вступает в партию большевиков, активно работает в профсоюзе, возглавляет Арзамасское правление союза «Всемидикасантруд» (Всероссийский профессиональный союз работников медико-санитарного труда). У неё появляются новые высокопоставленные знакомые, шефствующие над её сыном. Александр Фёдорович Субботин – арзамасский большевик, профсоюзный работник – в 1920 году станет вторым мужем Натальи Аркадьевны. Помогает Аркадию и военный комиссар города Чувырин, который, невзирая на юный возраст Аркадия – тому только 14 лет, но он был высокого роста и выглядел крепким парнем, – зачислил его в вооружённый отряд рабочих для защиты Арзамаса от кулацких банд, двигавшихся со стороны Муром.

Шефы и посоветовали Аркадию вступить в члены ВКП(б). В Центральном архиве Нижегородской области сохранилось заявление, написанное Голиковым на четвертушке листа писчей бумаги. Вот дословный его текст: «22 авг. 1918», чуть ниже: «В комитет партии коммунистов». Ещё ниже: «Прошу принять меня в Арзамасскую организацию Р.К.П.» Ниже: «ручаются за меня тов...» (следуют подписи). Одно ручательств-

во дала М. В. Гоппиус – ссыльная марксистка, другое – Ф. А. Вавилов, тогдашний председатель Арзамасского уездного исполкома. Кстати сказать, в тогдашний Арзамасский уезд входило семь нынешних районов Нижегородской области. По сути, весь юг. И совсем внизу подпись самого вступающего.

Краткость и простота вступления в партию большевиков поражает воображение. Однако учитывая несовершеннолетие Голикова, старшие товарищи дали ему время подумать до декабря. 15 декабря 1918 года уездный комитет ВКП(б) принимает его в ряды партии. Сохранился анкетный лист, который Аркадий заполнил 24 декабря того же года. В этой анкете Голиков увеличивает свой возраст на 2 года и пишет, что ему шестнадцать лет. Аркадий все еще боялся, что его по молодости не примут в Красную Армию.

Гольдин вспоминает: «Так он и ходил в уездный комитет партии большевиков в солдатской шинели, в папахе, в грубых кирзовых сапогах. И всегда при нем было оружие: винтовка или револьвер. А часто и то и другое – винтовка на ремне за плечами, а револьвер заткнут за пояс поверх шинели». Мальчишеские мечты об оружии сбылись, но пока Аркадий Голиков играет в капитана Сорви-голова.

Воплощению мечтам Голикова о Красной Армии помогают связи и знакомства матери. В декабре 1918 года в Арзамасе формировался красный отряд, командиром которого был знакомый Натальи Аркадьевны – Ефим Иосифович Ефимов. Мать Аркадия попросила Ефимова, чтобы тот взял Аркадия к себе адъютантом. Тот согласился.

В платежной ведомости за первую половину января 1919 года за порядковым номером 50 стоит имя «Голиков Аркадий Петрович». Он получает зарплату только за пять дней, начиная с 11 января. Эту дату и надо считать началом службы Аркадия Голикова в Красной Армии. В графе «должность» указано: «красноармеец – рядовой». Жалованье ему было положено 250 рублей в месяц. Сбылась его долгожданная мечта.

Через месяц руководство Красной Армии назначило Ефимова командующим войсками по охране железных дорог. С собой в Москву он взял и 15-летнего Голикова и даже поставил его начальником связи штаба охраны железнодорожных путей. Говорят, что Аркадий, несмотря на юный возраст, хорошо справлялся с обязанностями. Частенько Ефимов брал его на совещания с командирами частей железнодорожных войск, где Аркадий благодаря своей отменной памяти, нестеснительности и знаниям, полученным в АРУ, без запинки тараторил цифры и наименования железнодорожных станций, удивляя опытных командиров.

Три месяца пробыл Аркадий на этом месте. Совещания, каждодневные встречи с многоопытным начальником, по-дружески относившимся к юному помощнику, взрослые беседы с ним сыграли огромную роль в развитии личности Аркадия. Каждому подростку и юноше нужен знающий и уважаемый наставник. Тот, кто его имеет, намного опережает в развитии своих сверстников. Истории известны десятки таких примеров: Аристотель – Александр Македонский, Тургенев – Константин Леонтьев, Урицкий – Бабель, Бахтин – Кожин. Их много, подобных пар.

Полный юношеского максимализма и мальчишеской отваги Аркадий просит своего наставника, чтобы тот опустил его на фронт. Ефимов, выполняя волю матери, не отпускает юношу, но, в конце концов, они решили так: сначала военные курсы, а там – как жизнь сложится. По протекции Ефимова 15-летнего Голикова зачислят курсантом на Московские 7-е пехотные курсы. Кстати, моложе 18 лет на них не брали.

20 марта по штабу начальника обороны и охраны всех железных дорог республики в Москве издаётся приказ № 65, в третьем параграфе которого записано, что зачисленного в курсанты вышеупомянутых курсов Голикова освободить от обязанностей командира команды связи и снять с довольствия.

«Мама! Прощай, прощай! Все, что было раньше, – это пустяки, а настоящее в жизни только начинается. Я ушел воевать за светлое царство социализма», – напишет он в письме матери.

В апреле 1919 года курсы, а вместе с ними и Голикова из Москвы переводят в Киев, на 6-е Киевские курсы. 31 августа 1919 года Киев захватили войска Добровольческой армии Деникина. 16 декабря Красная Армия, форсировав замерзающий Днепр, освободила Киев и вновь установила там советскую власть. А комроты Аркадий Петрович Голиков 6 декабря у деревни Улла был ранен шрапнелью в ногу и контужен при падении с лошади во время взрыва снаряда. Лечился в одном из военных госпиталей. После лечения и выписки из госпиталя получил для поправки здоровья краткосрочный отпуск и в январе 1920 года прибыл на побывку в Арзамас.

Из Арзамаса он пишет письмо отцу, комиссару штаба 35-й дивизии, все годы находившейся на фронтах Гражданской войны. Это письмо заслуживает, чтобы его привести почти дословно.

*Дорогой папочка! Пишу из Арзамаса, куда прибыл на несколько дней в отпуск, несколько уставший после непрерывной работы и службы.*

*Я, однако же, возвращусь к ним, как только заживёт моя рана, полученная на фронте три недели тому назад. Рана пустяковая, в левую ногу, кость не тронута, скоро смогу бросить костыли, так что не беспокойся.*

*Да и какое может быть беспокойство?*

*Ты сам, проведший несколько лет на фронтах, сам знаешь, что на войне конфетами не кормят... <... >*

*Ну, ладно. Ты, я думаю, хочешь узнать сначала официальное моё пребывание на службе, начиная с 1 января 1919 года, то есть со времени моего поступления на военную службу?*

И далее на разграфлённом листе не без мальчишеского хвастовства указаны места службы 15-летнего солдата. (Форма подачи этих данных несколько изменена.)

*С 28 декабря 1918 года – адъютант командующего войск железнодорожной обороны и начальник команды связи его штаба.*

*С 20 марта 1919 года – курсант 7-х советских пехотных курсов командного состава.*

*С 7 апреля 1919 года – курсант 6-х киевских им. Подвойского курсов командного состава.*

*С 20 июня 1919 года – заместитель комиссара и председатель коммунистической ячейки курсов. Вот когда сказалась ценность вступления в РКП(б).*

*С 23 июля 1919 года – комиссар партизанского отряда курсантов, действовавшего на внутренних фронтах Украины.*

*Июль 1919 года – курсант тех же курсов.*

*С 10 августа 1919 года – комиссар отряда курсов, усмирявших кубанских казаков.*

*С 23 августа 1919 года – красный офицер взвода.*



*С 25 августа 1919 года – полуротный 6-й роты сводного маневрового полка бригады курсантов.*

*С 8 сентября 1919 года – ротный командир 6-й роты того же полка.*

*С 25 сентября 1919 года – по расформировании бригады прикомандирован к Смоленским пехотным курсам в качестве инструктора.*

*С 1 октября 1919 года – по собственному желанию отправился на Западный фронт в 468-й пехотный полк.*

*С 1 декабря 1919 года – Главное Военное управление военно-учебных заведений прикомандировало в Высшую офицерскую школу.*

И далее Аркадий пишет: «Список довольно большой для годичного пребывания в Красной Армии. Здесь не помечено, что я был на Григорьевском, Ангеловском, Соколовском фронтах, с товарищем Подвойским при взятии Жмеринки, Петлюровском, Деникинском и Польском фронтах. <...> В общем, я собой доволен», – резюмирует юный воин Голиков.

В Арзамасе Аркадий заболевает сыпным тифом. В конце марта 1920 года Голиков прибывает на Кавказский фронт, в 3-ю бригаду 14-й стрелковой дивизии, а 8 апреля того же года назначается командиром взвода 124-го стрелкового полка в Екатеринодар (ныне Краснодар)

После Кубани летом Голикова переводят на Кавказ и назначают командиром роты. Об этом назначении он с гордостью пишет своему другому лучшему другу Саше Плеско: «Командую ротой. Деремся с бандитами вовсю...»

Стиль писем Аркадия отцу после лечения в Арзамасе резко меняется: он стал суше и официальнее, а ведь отец так же, как и он, воюет на фронтах Гражданской войны. Вот какое письмо он пишет отцу 12 августа 1920 года, как только стало известно об отъезде матери из Арзамаса.

*Дорогой друг! (Выделено мной. – М. Ч.)*

*Буду сильно рад, если ты получишь это письмо, которое шлю с беловрангелевского фронта.*

*Крепкой и мощной стала наша армия, и зорко смотрим мы, парализуя попытки «южного орла» снова свить своё гнездо на нашей территории.*

*Жму твою руку и шлю товарищеский привет. Мой адрес: Действующая армия. 34-я стрелковая Кубанская дивизия, 303-й пехотный полк. Командиру 4-ой роты – Голикову.*

Полгода тому назад Аркадий обращался к отцу «Дорогой папочка». Называть же родного отца «дорогой друг» по причине одной лишь «взрослости» – это нечто запредельное. Хотя, вероятно, кому как. Обращает на себя внимание «совпадение» – такое обращение к отцу Аркадий допускает после трёхмесячного излечения в Арзамасе, после продолжительных бесед с матерью. Какую же тайну сообщила мать сыну, после которой тот перестаёт называть Петра Исидоровича не только папой, но и отцом?

Вскоре после того, как сын вылечился и уехал из Арзамаса в армию, Наталья Аркадьевна в 1920 году навсегда покидает Арзамас. Она уезжает в Киргизию, в город Пржевальск, там её второй муж Александр Федорович Субботин занимает видный партийный пост. Здесь она возглавила уездный здравотдел и параллельно с этим работала секретарем уездно-городского ревкома. Дети оставлены на присмотр и прокорм тётки мужа Дарьи Алексеевны. Дочь Натальи Аркадьевны (тоже Наталья)

позднее напишет в своём дневнике: «Как ошиблась мама, разрушив семью, сколько ошибок у отца...» Есть общеизвестная истина, что крепость и лад в семье полностью зависят от мудрости жены. В Пржевальске мать Аркадия и её новый муж буквально через год заболевают туберкулёзом. Их переводят в Туапсе, откуда Наталья Аркадьевна напишет бывшему мужу: «...ты очень любил меня, но у нас были тёмные стороны и очень тяжёлые: теперь же этого нет. <...> Ты знаешь, что мы с Шурой оба больны чахоткой...» Болезнь быстро прогрессирует. Их переводят в Алупку (Крым), где мать Аркадия Голикова умирает в 1924 году. Сохранилось фото от этого года, на котором можно видеть Наталью Аркадьевну, её дочерей Катю и Олю, тётку Дарью, с которой дочери приехали в Алупку проститься со смертельно больной матерью, Аркадия Петровича и А.Ф. Субботина. Кстати, в советский период на этой фотографии, которую можно найти в сборниках прозы Гайдара, все, кроме него и матери, заретушированы.

\* \* \*

Аркадий Петрович в 1941 году, будучи уже известным советским детским писателем, о событиях Гражданской войны 1919 и начала 1920 года в автобиографии напишет более кратко:

Был на фронтах: петлюровском (Киев, Коростень, Кременчуг, Фастов, Александрия). Весь 1919 год, до сдачи нами Киева в сентябре, – сначала курсантом, потом командиром 6-й роты 2-го полка отдельной бригады курсантов. Потом был на польском фронте под Борисовом, Лепелем и Полоцком – 16 армия, 52-я дивизия. Полк забыл, потому что у меня было три болезни – цинга, контузия в голову и сыпной тиф, – так что толком я опомнился только в Москве, откуда был направлен на Кавказский фронт (март 1920) и был назначен командиром 4-й роты 303-го (бывшего 298-го) полка 34-й дивизии 9-й армии. После захвата остатков деникинцев (армия генерала Морозова) под Сочи стоял с ротой, охранял границу с белогрузинами (мост через реку Псоу) за Адлером, но вскоре, когда генералы Гейтман и Житиков подняли на Кубани восстание, были мы перебросены в горы, и всё лето до поздней осени гонялись за этими бандами.

Рота Аркадия была невелика: 48 штыков и одна сабля – это значит 48 бойцов и сам командир. Ему полагалась лошадь и сабля. Было на всю роту два пулемета системы «льюис», 32 винтовки, 12 пулеметных дисков по 200 патронов в каждом и 12 тысяч винтовочных патронов. Полк занимался охраной шоссе и железных дорог, телеграфных и телефонных проводов. Непрерывно велась агентурная разведка и наблюдение за морским побережьем.

20 августа 1920 года по штабу бригады был издан приказ о переводе Аркадия Голикова из 303-го полка в 302-й (причина – поругался с командиром) на должность инструктора для поручений при командире 2-го батальона.

В октябре 1920 года за отличные боевые и командирские качества и навыки 16-летний Аркадий Голиков был отправлен в Москву в школу командиров на курсы «Выстрел» на отделение «Тактика». Учебный год на курсах делился на два периода: зимний и летний. В первом преобладала теория, во втором – практика. Военные методики связывались с педагогикой, чтобы поставить правильный взгляд на процесс воспитания и обучения современного бойца в зависимости от его социально-

го происхождения. Во главу угла ставилось политическое воспитание, без которого, считалось, что обучение будет малопродуктивным и ненадежным. Преподавали на курсах бывшие царские офицеры. Политически Аркадий Голиков был подкован отлично и, изучив только теорию ведения военных действий, считался досрочно и успешно окончившим курсы «Выстрел» в феврале 1921 года. Уже в марте 1921-го Голикова назначили командиром 23-го резервного (запасного) полка 2-й стрелковой бригады Орловского военного округа, дислоцировавшегося в Воронежской губернии. Отсюда он отправлял маршевые роты на подавление Кронштадтского мятежа.

В эти дни он пишет очередное письмо отцу, обращаясь к нему так же отстраненно «Дорогой друг». Среди строк можно найти признательные:

*Знаешь, я до некоторой степени люблю войну. Она приучает нас любить и ценить свою жизнь, а также не быть слишком требовательным к окружающей обстановке.*

*Был командиром батальона 10-й дивизии, чуть-чуть не попал в Щигры, в 6-й гарнизон, а сейчас сижу и размышляю над той работой, которая предстоит с завтрашнего дня мне – вступающему в командование 23-м запасным полком, насчитывающим около 4-х тысяч штыков.*

Через 40 лет бывший командир взвода (а на момент описываемых событий 30-летний) Оболдуев вспоминал, что в одну из ночей марта в полку был арестован высший комсостав: командир полка и командиры батальонов.

Бывшие царские офицеры готовились передать весь полк бандиту Антонову, поднявшему кулацкое восстание на Тамбовщине. Но им это не удалось. Они были вовремя обезврежены и убраны из полка.

Оболдуев далее вспоминал, что командиры рот и взводов утром ждали нового командира полка. И вот перед ротами в сопровождении комиссара явился новый «командир полка – юноша-подросток с румяными щеками». Назначение такого юного командира наводит на мысль, что в те дни не было более старого, опытного командира, которому можно было бы доверить полк. Это событие совпало по времени с кронштадтским мятежом в марте 1921 года.

В Центральном архиве Советской Армии найдено тринадцать приказов, подписанных лично Аркадием Гайдаром, и названы основные задачи запасного полка. «...В полку готовились маршевые роты. Полк вел караульную службу. Иногда ночью по тревоге направлялись дежурные командиры на подавление антоновских банд, которые в то время скрывались в Воронежской и Тамбовской губерниях».

Следующее письмо отцу:

*Я ушел в армию еще совсем мальчиком, когда у меня, кроме порыва, не было ничего твердого и определенного... Сейчас я пока командир 23-го запполка, но вскоре бригада переходит на трехполковой состав, и крайний полк расформируется. Осенью, по всей вероятности, уеду держать экзамен в академию, но только вряд ли выдержу, если не дадут месяцев двух отпуска для подготовки по общеобразовательным предметам, а то ведь что и знал, то позабыл все...*

У честолюбивого юноши появляется новая цель: стать красным генералом.

## Комполка ЧОН

Полк Голикова действительно расформируют, а его направляют через штаб Орловского военного округа в Тамбовскую губернию, где в это время шёл заключительный этап борьбы с антоновским белогвардейским мятежом. 30 июня 1921 года Аркадия Голикова назначают командиром 58-го отдельного полка по борьбе с бандитизмом, и 4 июля он вступил в должность. Где-то здесь, в Моршанске (место дислокации штаба полка), 17-тилетний Голиков почувствовал вкус спиртного. Подавление мятежа проводилось жестокими методами, вплоть до применения химических отравляющих веществ, расстрелов заложников из числа крестьян. М.Н. Тухачевский, командующий армией против «антоновщины», отмечал: «Без расстрелов ничего не получается. Расстрелы в одном селении на другое не действуют, пока в них не будет проведена такая же мера». Для многих людей, и не только русских, есть лишь один способ снятия стресса – спиртное. Как эта жестокость отражалась на неокрепшей психике и в душе юного Голикова, неизвестно, но привычка хвататься за бутылку и принимать революционную вседозволенность за норму прижилась.

К моменту вступления Голикова в должность основные силы повстанцев потерпели поражение. В июле руководством восстания был издан приказ, согласно которому боевым отрядам предлагалось разделиться на группы, скрыться в лесах и перейти к партизанским действиям или разойтись по домам. Восстание распалось на ряд мелких изолированных очагов, которые и пришлось подавлять отдельному полку под руководством юного Аркадия Голикова. В одной из схваток в него бросили самодельную бомбу-«чугунку». Взрывом Голикова контузило, а осколками ранило ноги.

В госпитале, куда он попал, он познакомился с 16-летней медсестрой Марией Николаевной Плаксиной, с ней Голиков официально расписался в загсе. Позднее родился сын Женя, но прожил он всего два года, а брачные узы Голикова и Марии Плаксиной, не выдержав тягот военной службы Аркадия, распались.

За боевые заслуги комполка Голикова направляют на учёбу в Академию Генерального штаба. Никто же не знает, что ему всего лишь 17 лет, так как, уходя в армию, он «состарил» себя на два года. Летом 1921 года он готовится к предстоящим в сентябре вступительным экзаменам. Аркадий и Мария живут в Москве и полны светлых ожиданий и надежд, но горячим мечтам не суждено было сбыться. Видимо, у высшего командования были кое-какие сомнения, и Голикова решили проверить ещё раз. 20 августа 1921 года Голиков отозван по запросу В.А. Кангелари – начальника штаба ЧОН (Части особого назначения). Ему вручают предписание в Приуральский военный округ, гласящее: «При сем следует в Ваше распоряжение для назначения на соответствующую командную должность тов. Голиков, бывший командующий войсками 5-го боеучастка армии по подавлению восстаний в Тамбовской губернии. О времени прибытия указанного товарища и назначении его в должность – донесите».

И вот 1 сентября 1921 года Аркадий Голиков вместе с женой Марией выехали в Екатеринбург (ныне Свердловск). По приезде останавливаются они в гостинице «Пале-Рояль». Здесь будущий писатель заполнил красными чернилами все документы, необходимые для назначения на новую должность, и написал автобиографию:

Родился в Льгове, Курской губернии. Сын сельского учителя. После 1905 года переменял место жительства в Сормово Нижегородской губернии. С 10 лет с начала мировой войны остался учиться один в реальном училище в г. Арзамасе. Революционное движение захватило на школьной скамье. 14-ти лет уже состоял членом РКП. Добровольно ушел в армию в наиболее трудный для республики момент, в октябре 1918 года (Колчак), где и нахожусь до сего времени. *Был два раза ранен в ноги и контужен в правое ухо, которое разорвало* (выделено мной. – М. Ч.). Все время вел борьбу и чисто боевую оперативную работу. Был на Петлюровском, Польском и Кавказском фронтах, а после ликвидации таких – по борьбе с повстанческим движением (бандитизмом) Тамбовской губернии. Занимал командные должности последовательно от комроты до начдива включительно.

5 сентября 1921 г. Екатеринбург. Голиков

Не будем останавливаться на неточностях в этом документе, отметим лишь один аспект. То ли ухо аккуратно зашили, то ли дырка была незначительной, но на фотографиях 30-х годов правое ухо на месте и отверстий в нём не видно. Ошибки допущены и в алфавитной карточке для военных, где Голиков прибавил себе три года. В графе «год рождения» стоит выведенная красными чернилами цифра «1901».

Интересно о себе написал Гайдар в личной регистрационной карточке. В графе «состояние здоровья» он отвечает: «Вполне здоров». В графе национальность он пишет, что «русский», а когда следом ставится вопрос о родном языке, оригинально отвечает: «Тот же». Здесь же он указал, что хотел бы жить в Башкирской республике, а на вопрос «имеются ли родственники за границей» вдруг ответил: «Есть, в Париже, но адреса не знаю. Фамилия Гутьер». Этот парадокс уже разобран выше.

Все документы Голиков отнёс в штаб Приуральского военного округа, где получил назначение на новую должность командира 3-го оперативного батальона ЧОН. 10 сентября 1921 года Голиков с беременной женой отбыл в Тамьян-Катайский кантон, так в Башкирии в те годы назывались уезды. Но там в основном бандитов уже выбили, и Голиков заскучал. Его тянуло в горячие бои, в схватки с врагами революции. Здесь, в Башкирии, стало уж слишком спокойно. В октябре 1921 года он один (к этому времени он и жена уже расстались) едет в Москву и снова получает боевое назначение, в Сибирь. Там еще не было покончено с бандитами, а у Голикова был большой опыт по ликвидации бандитизма на Тамбовщине и в Башкирии.

Приказом по 6-му отряду ЧОН Сибири от 24 марта 1922 года за № 83 Голиков назначен комбатом и командующим 2-м боевым районом в Хакасии между Кузбассом и нижним течением Енисея. В штаб батальона, расположенный в селе Божье-Озерное, Аркадий прибыл 27 марта 1922 года и тут же с юношеской горячностью чоновца принялся за дело.

Лидером антисоветского повстанческого движения в Хакасии считался бывший урядник красноярского казачества И.Н. Соловьев. Сам он родом был из местных казаков, и потому хакасы и русские поддерживали Соловьева. Тот находил общий язык с любым хакасским мальчишкой, знал от них о каждом шаге комбата Голикова. Комбат же о Соловьеве не знал ничего: осведомителей у него не было. Малый жизненный опыт и мальчишеский максимализм не позволяли вступить в контакт с крестьянами, к которым Голиков относился свысока согласно установкам партии. Если комбат ЧОНа и шел в тайге по его



следам, то видел лишь лошадиный помет, коробки из-под патронов, лыжню и всякую мелочь, что можно прочесть из его донесений, но вступить с Соловьевым в прямое столкновение не сумел. Юный Голиков оказался во враждебной среде. И это его в конце концов взбесило.

Что Голиков конкретно натворил, мы не узнаем, но, судя по методам, используемым ЧОНОм, нечто выходящее за рамки. Для характеристики чоновских методов «борьбы» с бандитизмом приведём выписку из приказа, подготовленного в Красноярском ЧОНе уже после отставки комбата Голикова.

Выписка из приказа №-014/к от 21 августа 1922 года:

§1.

Напоминание об обязательном объявлении населению района о расстреле заложников.

За нападение на гарнизон Туима банды Соловьева и убийство ими красноармейца, на руднике Юлия расстрелять заложников:

1. Аешину Александру (26 лет); 2. Тоброву Евдокию (24 года); 3. Тоброву Марию (17 лет);

За убийство в с. Ужур зампродкомиссара т. Эхиль расстрелять заложников: 1. Рыжикова А. (10 лет); 2. Рыжикову П. (13 лет); 3. Фугель Феклу (15 лет); 4. Монакова В. (20 лет); 5. Байдурова Матвея (9 лет);

§2.

Для широкого распространения в объявлении населению сообщить только фамилии заложников.

Подписано: ком. вооруженными силами Ачминбойрайона и замкомчонгуб Какоулин.

Жалобы на деятельность Голикова поступали от Спириных в Ужур, Ачинск и Красноярск. Телеграмму с просьбой принять меры по спасению людей прислал заместитель председателя Усть-Фыркальского волостного исполкома Коков. 3 июня 1922 года особый отдел губернского ГПУ начал дело № 274 по обвинению Голикова в злоупотреблении служебным положением. На место выезжала специальная комиссия во главе с комбатом Я.А. Виттенбергом, которая, собрав жалобы населения, заключила свой отчет требованием расстрела бывшего начальника боеучастка. Аркадия Голикова 14 и 18 июня допросили в ГПУ. Показав, что все расстрелянные являлись «бандитами» или их пособниками, он признал себя виновным лишь в несоблюдении при осуществлении данных акций «законных формальностей».

Упомянутый выше начальник Красноярского ЧОНа Какоулин, сам отличающийся жестокостью, наложил на деле № 274 суровую резолюцию. «Мое впечатление: Голиков по идеологии – неуравновешенный мальчишка, совершивший, пользуясь своим служебным положением, целый ряд преступлений». Но Какоулин же и спас Голикова, казалось от неминуемой гибели, видимо, по устному распоряжению Тухачевского, предложив спустить дело на тормозах и передать его в партийные органы.

Совместное заседание президиума Красноярского губернского комитета и Контрольной комиссии РКП(б) 1 сентября 1922 года постановило исключить Голикова из партии с лишением возможности занимать ответственные посты. И все 19 будущих лет, отпущенных Аркадию Гайдару судьбой, он даже и не пытался восстановиться в партии боль-

шевилов, понимая, что при рассмотрении его дела в Контрольной комиссии могут всплыть весьма негативные для него подробности.

После разбирательств в Красноярске Голикову сразу же назначили психиатрическое освидетельствование. В истории болезни с его слов записано о начале недомогания весной 1922 года. «Тут я начал заболеть (не сразу, а рывками, периодами). Всё что-то шумело в висках, гудело и губы неприятно дёргались. Появилась раздражительность, злобность. Появилось ухарство, наплевательское отношение ко всему, развинченность... Стали появляться приступы тоскливой злобности, спазмы в горле, сонливость, плакал».

В красноярской лечебнице Аркадию ставят диагноз «травматический невроз», подлечивают, и он уезжает в Москву, не желая комиссоваться. Ещё раз пытается поступить в Академию, но, разумеется, не проходит медкомиссию. «Я любил Красную Армию и думал остаться в ней на всю жизнь». Для Голикова уход из РККА – это крушение всех честолюбивых надежд. В Москве он обивает пороги РВСР и добивается своего. Его официально отправляют в отпуск и выдают удостоверение. Вот оно:

18 ноября 1922 г. № 407178 г. Москва

#### УДОСТОВЕРЕНИЕ

Дано сие бывшему командиру 58-го отдельного полка по борьбе с бандитизмом товарищу Голикову Аркадию Петровичу в том, что заместителем председателя Революционного Военного Совета республики разрешен ему шестимесячный отпуск с сохранением содержания по последней занимаемой должности, что подписями и приложением печати удостоверяется.

Заместителем РВСР в ту пору был Склянский Эфраим Маркович.

В мае 1923 года шестимесячный отпуск закончился, а Голиков все еще не восстановил свое здоровье, хотя настойчиво лечился в Первом красноармейском коммунистическом госпитале в Москве. Голикову уточнили диагноз: «Истощение нервной системы в тяжелой форме на почве переутомления и бывшей контузии, с функциональным расстройством и аритмией сердечной деятельности». Ездил на бальнеологический курорт в Красноярскую губернию, но...

Тяжелейшие думы не отступают (времени на них с избытком). Военная косточка явно унаследована Аркадием от деда, дворянского капитана Аркадия Геннадьевича Салькова, и вот она сломалась, эта косточка. Что же делать дальше? Путь в Академию при Генштабе закрыт навсегда. Как освоиться в мирной жизни? Быть простым инженером не позволяло тщеславие, перенятое от деда и матери. «Самое главное, что я запомнил, это то, с каким бешеным упорством, с какой ненавистью к врагам, безграничной и беспредельной, сражалась Красная Армия одна против всего белогвардейского мира». Эта ненависть стучала в сердце Аркадия пеплом Клааса до конца дней.

Пойти по стопам отца? Петр Исидорович к этому времени вернулся после демобилизации в Арзамас. Здесь он назначается председателем правления Единого потребительского общества (ЕПО) и руководит торговой деятельностью всего района. Нет! Это слишком мелко для него. На этот его вывод наталкивают слова Аркадия из письма отцу: «А все-таки чудно, право, чем черт не шутит. Был ты и учителем, и чиновником, и солдатом, и офицером, и командиром, и комиссаром, а теперь,



на тебе, – новый номер, – краскуп». Краскуп – красный купец. Так военные презрительно прозвали гражданских, занимающихся торговлей.

А как же прославиться, если не удалось этого сделать в военной форме? И Аркадий вспоминает о писателях, о своих стихах, о Луи Буссенаре, чью повесть «Капитан Сорви-голова» ему читала в подлиннике мать. О заметках, которые иногда вел между фронтами. Да, хватило у него сил и ума найти свою нишу. В этот год Голиков начинает писать повесть-воспоминание «В дни поражений и побед». И работает над ней напряженно, истово, как большинство психически неуравновешенных людей.

19 апреля 1924 года по личному составу армии появляется приказ № 102 Революционного Военного Совета СССР за подписью М.В. Фрунзе: «Зачисляется в резерв при Управлении РККА б. командир 58-го отдельного полка по борьбе с бандитизмом Голиков Аркадий Петрович с первого апреля сего года». Это еще не демобилизация, не увольнение из рядов Красной Армии. Аркадий продолжает получать военную зарплату, ходить в форме комсостава. Он зачислен в резерв при Управлении.

Летом 1924 года Голиков узнаёт о смертельной болезни матери, о том, что она находится на лечении в Алушке близ Ялты, и хочет быть ближе к ней, обосноваться в Крыму. Одновременно понимая, что долго держать его в резерве руководство РККА не захочет (он – выжатый лимон), обращается в РВС СССР, чтобы прикрепili его по воинскому учёту к Крыму. Ему пошли навстречу. 14 августа 1924 года по Реввоенсовету СССР издается приказ № 247: «б. командир 58-го отдельного полка по борьбе с бандитизмом Голиков Аркадий Петрович увольняется в бессрочный отпуск с зачислением на учет по Симферопольскому уезду». Вскоре Наталья Аркадьевна умирает, и с Крымом его более ничего не связывает.

## Журналист Гайдар

Аркадий Петрович Гайдар – по жизни редкий счастливчик. Но даже ему, не только родившемуся в сорочке, но и умному, далекому от ложной скромности человеку, нужны помощники, способные подсказать, свести с другими нужными людьми. Небольшой уездный город Арзамас, как ни удивительно, оказался богат на таких нужных людей. И первый из них Е.И. Ефимов, у которого юный Адик был адъютантом. Одно дело пойти на фронт в окопы, а другое – в мягкий штаб-вагон командующего.

Задумал Аркадий стать писателем – вот тебе старый наставник и советчик из Арзамаса. Им оказался любимый им учитель русского языка и литературы в Арзамасском реальном училище большевик Николай Николаевич Соколов. Он тот, кого два Адика (Голиков и Гольдин) прозвали Галчонком за прыгающую походку, чёрные волосы и чёрные уголья глаз. Он частенько захаживал в дом Голиковых по вечерам, баловался с хозяевами крепким чайком, вел политические беседы, ибо своей семьи у него не было. Соколов привил Аркадию любовь к литературе, всячески поощрял и развивал его способности.

Теперь он профессор в одном из военно-политических вузов Ленинграда. Как не идти к счастью, если оно само идёт к тебе? Голиков принимает решение поселиться в Ленинграде и вновь обращается

в Реввоенсовет с просьбой перевести его из Крыма на военный учет в Ленинград. 1 ноября 1924 года за № 368 последовал еще один, уже последний приказ Реввоенсовета СССР, касающийся военнотруженика Голикова: «Во изменение приказа РВС СССР по личному составу армии от 14/VIII сего года № 247 состоящий в резерве при Управлении РККА бывший командир 58-го отдельного полка по борьбе с бандитизмом Голиков Аркадий Петрович увольняется в запас с 1 ноября сего года, с зачислением на учет по гор. Ленинграду». Не лишённый пижонства, он тратит весь аванс на одежду – командирские хромовые сапоги, буденовку и длинную кавалерийскую шинель. Тому, кто смотрел кинофильм «Бег» и видел генерала Хлудова в такой шинели, легко представить Голикова, переезжающего в Ленинград.

Николай Николаевич Соколов поселяет Голикова у себя. Тот читает учителю законченную повесть «В дни поражений и побед». Любимый учитель тепло отзывается о труде ученика и знакомит его с известными на ту пору советскими писателями: Константином Фединым, Михаилом Слонимским, Ильей Садофьевым и Сергеем Семеновым. Константин Федин, как следует из автобиографии 1934 года, интеллигентно сказал ему: «Писать вы не умеете, но писать вы можете и писать будете». Что ж, хорошее напутствие на литературную деятельность.

В конце октября 1924 года он шлет письмо сестрам Ольге и Екатерине, в котором сообщает: «Дела мои идут замечательно хорошо. Прием переработанная книга встретила исключительно хороший. Такого я даже не ожидал. Но по техническим причинам выйти в свет она может только к 25 декабря». В просторном радостном письме Аркадий пишет, что познакомился с писателями. И только в самом конце одной строкой, да и то в качестве постскриптума, вставляет: «Только одно тяжело страшно... терять маму теперь». Страшно *теперь*, когда она могла бы порадоваться успехам сына в литературе.

Опытные коллеги по писательскому цеху посоветовали, что знание военной среды – это ещё не знание всей полноты жизни. Её надо знать досконально и посоветовали «побродить» по Руси. В марте 1925 года, судя по датировке нового письма сестре Наталье Петровне, он еще в Ленинграде. Ему город нравится природой, погодой, двухкомнатной квартирой, снимаемой за «6 червонцев в месяц», и дружеским отношением известных писателей. В апреле он уже во Владикавказе... и далее везде.

В июле 1925-го, побывав на отдыхе в Абхазии и Гаграх, отметившись в Щиграх и Харькове, Аркадий Петрович пешочком, как Максим Горький, двигается к Донбассу в поисках познания людей и жизни, надеясь получить там «спокойное место». В письме Семёнову, члену редколлегии альманаха «Ковш», где впервые вышла его повесть «В дни поражений и побед», сообщает, что побывал в Щиграх у родственников отца. О данном факте мало кто знает.

*Я прожил немного в уездном городишке Щигры у своей тетки, которую увидел в первый раз за всю жизнь. И когда взбаламутил всю ее семью, закрутив помимо своей воле голову своей двоюродной сестрице, когда помог разгрузить уголок одной из комнат от ветхозаветной позолоты, смазанной лампадным маслом, то мне дано было почувствовать, что ни родство, ни мое эффектное, но мало понятное звание литератора не служат достаточным основанием к дальнейшему пребыванию в сием богоспасаемом доме. И я ушел, посвистывая,*

*потому что у меня был еще червонец в кармане, табак в кисете и неизменная трубка во рту.*

Аркаша Голиков родился на юге России в Курской губернии. Согласно «Толковому словарю живого великорусского языка» В. И. Даля, «гайдать» с пометкой *юж. кур.* (то есть южное, курское) означает «бегать, шататься, лытаться». Первые четыре с половиной года он прожил на Курской земле и неоднократно слышал это слово. И вот, приехав на родину уже взрослым, 21-летним человеком, он опять услышал слова «гайдать», «гайдаи», «гайдар». Они ему понравились. Услышал поговорку «Гайдай – те саме, що гайдар» и решил взять его в псевдонимы, так как понял, что такое прозвище получает быстрый, проворный, резвый, расторопный человек, каковым он себя считал. И уже 7 ноября 1925 года при публикации в пермской газете «Звезда» новеллы «Угловой дом» подписывает её «Гайдар».

Косвенным подтверждением служат и призывы, коими он часто заканчивал письма свои друзьям: «Гей! Гей! Не робей! Твёрже стой и крепче бей!» (А где «гей!», то ищи рядом и «гай!» – идём.)

С конца XX века с этой версией легко согласиться, так как широко известен и популярен другой человек с подобной по смыслу фамилией Леонид Гайдай, комедийный режиссёр. Отец Леонида Гайдая родом с Полтавщины, то есть тоже с юга России.

Взять же за основу псевдонима вопросительное хакасское слово «хайдар» (куда?) не решился бы даже мазохист, так как оно ежедневно напоминало бы ему о тяжелейшем периоде в жизни. Сам Гайдар на вопросы об истоках псевдонима отмалчивался, тем самым давая повод разным толкам и мифам. Один из которых гласит, что в переводе с монгольского это якобы «всадник, скачущий впереди», но сами монголы опровергли эту точку зрения. На мой взгляд, притянута за уши версия аббревиатуры, предложенная сыном Тимуром уже после Великой Отечественной войны. Суть её такова, что в слове «гайдар» зашифрованы начальные буквы Голиков Аркадий, а Д заимствовано из французского, как «из» АРзамаса. И кто ответит внятно на вопрос: почему именно в ноябре 1925 года Голиков вспомнил об аббревиатуре, тогда как первая повесть «В дни поражений и побед», вышедшая в этом же 1925 году, подписана истинным именем?

Как Голиков оказался в Перми? И тут вступает в роль третий арзамасский помощник – Александр Плеско. Близкий друг по АРУ был в своё время редактором арзамасской газеты «Авангард», а 1925 году стал заместителем редактора пермской газеты «Звезда». О нём Аркадий вспомнил, бродя по Украине и Донбассу в поисках правды жизни. Он пришёл к правильному выводу, что ничто так не сближает с жизнью, как журналистика. Вернувшись из похода, Гайдар организует с ним встречу в Москве, и Плеско предлагает ему место штатного корреспондента в своей газете. Гайдар плодотворит и энергичен, кроме фельетонов и рассказов публикует с 10 января по 3 марта 1926 года повесть «Жизнь ни во что», а потом ставший широко известным рассказ «Р.В.С.».

В конце 1925 года при сборе архивных данных о революционных событиях в Перми знакомится и женится на 18-летней комсомолке Рахили (Лии) Соломянской, отец которой был членом Пермского губернского комитета РКП(б), а с 1925-го – председателем биржевого комитета. Немалый чин в пермской партийно-хозяйственной иерар-

хии, а Аркадий Гайдар уже на своём опыте ощутил всю ценность важных связей.

Весной, оставив беременную юную жену в Перми, с новым другом Кондратьевым отправился путешествовать в Среднюю Азию. Оттуда шлёт путевые заметки в «Звезду», а также печатается в местной прессе: «Правда Востока», «Туркменская искра». В Средней Азии Гайдар увлёкся изучением истории, и его привлёк образ жестокого полководца Тимура – Тамерлана. Жестокость (может быть, помягче – жесткость) он считал основной чертой характера военного человека. Гайдар так очаровался Тамерланом, что написал в письме жене, переехавшей из Перми к маме в Архангельск, что если родится сын, то назвать его Тимуром. Жена выполнила просьбу Аркадия, но дала сыну Тимур свою фамилию в свидетельстве о рождении. Благодаря Гайдару нерусское имя Тимур широко распространилось по просторам СССР и РФ. Оно особенно стало популярным (модным) после выхода в свет в 1940 году повести «Тимур и его команда».

Вся жизнь Аркадия Гайдара, как журналиста, так и писателя – в бесконечных поездках по огромной, великой стране, то по журналистским делам, то на отдых, то на лечение, то к друзьям, то в поисках тихого, спокойного места, где хорошо пишется. Недаром Гайдар в одном из многочисленных писем признался, что вагонная полка – это лучшая его квартира. Поэтому описывать все его перемещения по стране с указанием места, где написано то или иное произведение, значит полностью запутать читателя. Да мало что это даст в познании личности Гайдара, его творческого метода.

Литературный путь Аркадия Гайдара был прям, как полёт пули, – героизация Гражданской войны и успехов Рабоче-Крестьянской Красной Армии (РККА), романтизация посильной помощи армии от детей. Самые известные его произведения: повесть «В дни поражений и побед», рассказы «Р.В.С.», «Угловой дом», «На графских развалинах», повесть «Школа», рассказ «Четвёртый блиндаж», повесть «Дальние страны», повесть «Военная тайна», рассказ «Голубая чашка», повести «Судьба барабанщика», «Дым в лесу», «Чук и Гек», «Тимур и его команда», рассказ «Горячий камень». В каждом рассказе, повести или киносценарии (Гайдар писал и их) непременно упоминаются солдаты, командиры (слово «офицер» применимо только к белым) РККА. Их образы, даже самые незначительные и проходные, выпестованы с такой горячей любовью, что напоминают греческих героев, атлантов, титанов, богатырей типа Ильи Муромца. А какой мальчишка не хочет стать героем?

## Судьба

В одном из своих писем другу и писателю Рувиму Фраерману он признаётся в 1938 г.: «Милый Рувим, я ведь на самом деле сирота, и друзей у меня очень мало...» Твёрдого семейного счастья Гайдар так и не обрёл. С сыном Тимуром (антисоветские злопыхатели после 1991 года будут утверждать, что Тимур – не его сын) он впервые встретился, когда тому было уже два года. В 1931 году, когда он с Тимуром отдыхал в Артеке, от него ушла жена Лия Соломянская к заместителю редактора журнала «Октябрь» Израилю Разину. Биографы Соломянской пишут, что она не выдержала пьянок и дебошей со стороны писателя-алкоголика Гайдара.

В январе (будет там по сентябрь 1932 года) Гайдар уезжает на Дальний Восток. В Хабаровске работает собственным корреспондентом (разъездным) дальневосточной газеты «Тихоокеанская звезда». Живет в общежитии при редакции вместе с журналистом Борисом Германовичем Заксом, работавшим впоследствии многие годы в журнале «Новый мир». Б.Г. Заксу пришлось отводить Гайдара в психиатрическую лечебницу. Он позже рассказывал, что Гайдар не был запойным или хроническим алкоголиком. Гайдар был иным, он зачастую бывал «готов» еще до первой рюмки. Детально обследовавшие его врачи вывели такое заключение: алкоголь – только ключ, открывающий дверь уже разбушевавшимся внутри силам.

Осенью, по возвращении в Москву, у него завязываются дружеские отношения с детской писательницей Анной Яковлевной Трофимовой (1898–1980), у которой две дочери – Эра (Ира) и Света. Трофимова становится гражданской женой писателя. Их незарегистрированный брак длится несколько лет. Гайдар полюбил девочек, играл с ними, придумывал им разные смешные и ласковые прозвища, в качестве героинь вывел в своих произведениях.

В период с 1932 по 1934 год в московских и ленинградских издательствах «Молодая гвардия» и Детгиз опубликованы многие книги Гайдара. В 1934 году в стране создан Союз писателей СССР, и Аркадий Петрович Гайдар становится одним из первых его членов. Он уже любимый писатель советской пионерии.

Зиму 1934–1935 годов живёт в Арзамасе и в деревне рядом с городом вместе Анной Трофимовой и её детьми. Задумывает и пишет «Голубую чашку». В 1935 году А.П. Гайдар, согласно исследованиям его биографов, в официальном порядке расторгает брак с Лией Солянской, возможно, для того, чтобы узаконить отношения с Анной Трофимовой. Но... не судьба. Судя по переписке с А.Я. Трофимовой и ее дочерьми, А.П. Гайдар в период с 1935 по 1937 год часто болеет, лечится, а в перерывах между болезнями и лечениями ходит в походы. Переписка и отношения Гайдара и Трофимовой заканчиваются в конце 1937 года.

После Арзамаса возвращается в Москву, где в Союзе писателей проходит обсуждение его повести «Военная тайна». Тяжело переживает критику этого произведения. Очередное нервное потрясение. Оставляет Москву и едет лечиться в санатории Крыма. Подлечившись, осенью возвращается на короткое время в Москву, а затем направляется в подмосковный дом отдыха писателей в Малеевке. С 1936 года начинает работать в кино.

В 1937 году знакомится с писателями Константином Паустовским и Рувимом Фраерманом и проводит с ними лето и осень в селе Солотча Рязанской области. Пишет здесь «Судьбу барабанщика».

Один эпизод из совместных путешествий трёх друзей уже освещён выше. А вот как отзывается о творчестве и личности Гайдара Константин Паустовский в очерке к 50-летию со дня рождения Гайдара.

В своих воспоминаниях я приведу несколько таких кажущихся мелочей, тех «малых капель вод», в которых все же отражается солнце.

Это очень трудно – воссоздать образ ушедшего от нас человека без всяких прикрас, без того, чтобы не изображать его сусальным и шаблонным героем.

Иные воспоминания о Гайдаре как раз грешат этим. За мишурой, за слащавым умилением исчезает подлинный Гайдар – человек сложный, временами



трудный, во многом противоречивый, как большинство талантливых людей, но обаятельный, простой и значительный в любом своем поступке и слове.

Есть очень верное выражение: «В настоящей литературе нет мелочей». Каждое, даже на первый взгляд ничтожное слово, каждая запятая и точка нужны, характерны, определяют целое и помогают наиболее резкому выражению идеи. Хорошо известно, какое потрясающее впечатление производит точка, поставленная вовремя.

Он всегда был полон веселья, Гайдар. Искорки смеха роились в его серых глазах и исчезали редко – или во время работы, или в тех случаях, когда Гайдар сталкивался с карьеристами и халтурщиками. Тогда он становился жесток, беспощаден, бледнел от гнева.

Спуску он никогда не давал. Он приходил в ярость от мышиной возни маленьких и злых от неудовлетворенного тщеславия людей. Он преследовал их едкими стихами и беспощадными эпиграммами. Его боялись.

Гайдар был настоящим и большим человеком. Поэтому каждая даже «как будто бы мелочь», связанная с ним, определяет новую черту его глубокой натуры. ...Главным и самым удивительным свойством Гайдара было, по-моему, то, что его жизнь никак нельзя было отделить от его книг. Жизнь Гайдара была как бы продолжением его книг, а может быть, иногда их началом. Почти каждый день Гайдар был наполнен необыкновенными происшествиями, выдумками, шумными и интересными спорами, трудной работой и остроумными шутками.

Все, что бы ни делал или говорил Гайдар, тотчас теряло свои будничные, наскучившие черты и становилось необыкновенным. Это свойство Гайдара было совершенно органическим, непосредственным – такова была натура этого человека.

Он прошел по жизни, как удивительный рассказчик, трогавший до слез детские сердца, и вместе с тем как пронизательный и суровый товарищ и воспитатель.

Детей, особенно мальчишек, он знал насквозь, с одного взгляда и умел говорить с ними так, что через две-три минуты каждый мальчишка готов был по первому слову Гайдара совершить любой героический поступок.

И от себя добавим: и совершали!

В 1938 году А.П. Гайдар заканчивает повесть «Судьба барабанщика» и сразу же принимается за рассказ «Телеграмма» (первый вариант рассказа «Чук и Гек»). На даче в подмосковном Клину знакомится с дочерью хозяина Дорой (Дарьей) Матвеевной Чернышевой (урожденной Прохоровой). 17 июля официально регистрирует с ней брак и удочеряет ее дочь Евгению. Затем остаток лета и почти всю осень живёт и работает в Солотче. Союз писателей СССР, наконец, выделил ему комнату в коммунальной квартире в доме № 8 по Большому Казенному переулку. Отсюда Гайдар уйдёт на фронт Великой Отечественной войны в качестве военного корреспондента.

1 февраля 1939 года, в преддверье большой войны, вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении советских писателей. 172 литератора были награждены орденами СССР. По неведомым критериям одна часть писателей (21 человек) получила высшую награду страны – орден Ленина, другим вручили орден Трудового Красного Знамени, а третьей группе – младший орден «Знак Почета». В этой третьей группе – Аркадий Гайдар и нижегородец Николай Кочин. Нет нигде упоминаний, что они лично были знакомы.

«И всё бы хорошо, да что-то нехорошо» – есть такие слова в повести «Военная тайна». Так и с Гайдаром. В дневнике от ноября 1940 года он запишет: «Вчера, 28-го, написал письмо Рувиму. Мучает меня совесть, а о чём – точно не знаю». Вот это письмо.

*Здравствуй, Рува!*

*Я живу в лечебнице Сокольники. Здоровье мое хорошее... Одна беда – тревожит меня мысль – зачем я так изоврался... Казалось нет никаких причин, оправдывающих это постоянное и мучительное вранье, с которым я разговариваю с людьми... образовалась привычка врать от начала до конца, и борьба с этой привычкой у меня идет упорная и тяжелая, но победить ее я не могу... Иногда я хожу совсем близко от правды, иногда – вот-вот – и веселая, простая, она готова сорваться с языка, но как будто какой-то голос резко предостерегает меня – берегись! Не говори! А то пропадешь! И сразу незаметно свернешь, закружишь, рассыпешься и долго потом рябит у самого в глазах – эх, мол, куда ты, подлец, заехал! Химик!*

Сын Тимур вспоминал, что отец в припадках истерии и головных болей резал себя бритвами, чтобы «перенести» боль из головы на тело.

Некоторые люди с психическими отклонениями, тем более после травм головы (под Голиковым два раза убивали лошадь, и он падал на полном скаку) открывают в себе исключительные способности. В медицине такие случаи зафиксированы. То они начинают говорить на древнегреческом языке, то «вспоминают» истории тысячелетней давности, будто непосредственные участники, то умножают трёхзначные цифры на четырёхзначные в течение пары секунд. Писатель Аркадий Гайдар отличался феноменальной памятью.

Процитируем ещё несколько эпизодов из воспоминаний Паустовского:

Дольше всего мне пришлось прожить вместе с Гайдаром в селе Солотче, под Рязанью, в Мещерских лесах. Там он задумывал и писал некоторые свои повести и рассказы.

Писал Гайдар совсем не так, как мы привыкли об этом думать. Он ходил по саду и бормотал, рассказывал вслух самому себе новую главу из начатой книги, тут же на ходу исправлял ее, менял слова, фразы, смеялся или хмурился, потом уходил в свою комнату и там записывал все, что уже прочно сложилось у него в сознании, в памяти. И затем уже редко менял написанное.

<...>

Иногда Гайдар приходил и без всяких обиняков спрашивал:

– Хочешь, я прочту тебе новую повесть? Вчера окончил.

– Конечно, читай.

И тут происходило непонятное. Обычно в таких случаях писатель вытаскивает рукопись, кладет ее на стол, разглаживает ладонью, торопливо закуривает, причём папироса у него тут же тухнет, говорит несколько невнятных и жалких слов о том, что он совсем не умеет читать и рукопись к тому же еще совершенно сырая, и только после этого хриплым и прерывающимся голосом начинает читать.

Гайдар никакой рукописи из кармана не вынимал. Он останавливался посреди комнаты, закладывал руки за спину и, покачиваясь, начинал спокойно и уверенно читать всю повесть *наизусть страницу за страницей* (выделено мной. – М. Ч.).



Он очень редко сбивался. Каждый раз при этом краснел от гнева на себя и щелкал пальцами. В особенно удачных местах глаза его шурились и лукаво смеялись.

Раза два мы, его друзья, на пари следили за его чтением по напечатанной книге, но он ни разу не спутался и не замылся и за это потребовал от нас такое неслыханное выполнение пари – что-то вроде покупки для него подвесного лодочного мотора, – что мы бросили это дело и никогда больше Гайдара не проверяли...

Наступил роковой 1941 год. От 14 января в дневнике запись: «На несколько дней опять уехал в Сокольники». Санаторий в Сокольниках – это заведение психоневрологического направления. 29 января опять поехал в санаторий «Сокольники». Здесь он познакомился с проходившей реабилитацию после менингита Зоей Космодемьянской. Много времени провёл с ней в беседах Аркадий Гайдар.

А вот запись в Клину от 4 марта:

...Раньше я был уверен, что всё пустяки. Но, очевидно, я на самом деле болен. Иначе откуда эта легкая ранимость и часто безотчётная тревога? И это, очевидно, болезнь характера. Никак не могу понять и определить, в чём дело? И откуда у меня ощущение *большой* (выделено мной. – М. Ч.) вины. Иногда оно уходит, становится спокойно, радостно, иногда незаметно подползает, и тогда горит у меня сердце и не смотрят людям в лицо глаза прямо.

Мучительная плата за подростковые желания иметь револьвер, за юношеские желания стрелять во врагов революции, за взрослые мечты – стать знаменитым писателем. В жизни за всё приходится платить: здоровьем ли, покоем ли, душевным миром.

Когда началась Великая Отечественная война, Аркадий Петрович сразу попросился на фронт. Однако по состоянию здоровья его не взяли, и тогда он поехал на войну корреспондентом от «Комсомольской правды» (18 июля). Перед отправкой на Юго-Западный фронт произвел соответствующие распоряжения по наследованию его авторских прав.

На фронте принимал участие в боевых операциях, написал военные очерки «У переправы», «Мост», «Война и дети», «В добрый путь», «У переднего края», «Ракеты и гранаты». В августе на несколько дней приезжал в Москву. Встречался с родными, передал в редакцию «Комсомольской правды» рукописи очерков – для последующей публикации. Выступает по радио.

30 августа Гайдар снова возвратился на фронт. Под Киевом попал в окружение. Известному писателю предложили место в самолете до Москвы, но он отказался. Гайдар мечтал собрать из бойцов, не успевших выйти из окружения, партизанский отряд и продолжить борьбу. Отряд был собран, командовал им Горелов, а Гайдар стал пулеметчиком. Однако повоевать красному бойцу и писателю с фашистами, как планировалось, не удалось... Утром 26 октября 1941 года Аркадия Гайдара сразила немецкая пуля в краткой схватке на железнодорожных путях у будки обходчика возле села Лепляво Каневского района Черкасской области.

В 1947 году председатель Союза советских писателей Александр Фадеев на приёме у Сталина попросил провести перезахоронение с отданием военных почестей праха Аркадия Гайдара из безымянной могилы возле железнодорожной ветки в Каневском районе

на Новодевичье кладбище в Москве. Были отданы соответствующие указания. Однако Никита Хрущёв, правивший тогда на Украине, посмел перехватить инициативу. Прах Гайдара захоронили на высоком берегу Днепра в парке возле могилы Тараса Шевченко.

У некоторых исследователей до сих пор нет уверенности, что в Каневе похоронен именно Гайдар. Мистическим подтверждением может служить такой факт. Через два года после захоронения могильная плита с надписью «Аркадий Гайдар» дала трещину. Ее заменили на новую. Но и та треснула через некоторое время.

Гайдар любил тайны, они и сопровождали его всю жизнь: тайна рождения, тайна работы в Сибири, тайна смерти.

*Вместо P. S.*

В декабре 2023 года на радио «Вести-ФМ» радиожурналист сообщил, что в Смоленске подростки забросали снежками пламя Вечно-го огня. И задался извечным риторическим вопросом: «Что делать?» Ответ есть: **надо включить в школьную программу по литературе произведения Аркадия Гайдара.** Они учат подростков любви к Родине, они помогут избавить молодых от лжи, трусости, злобы, эгоистического своеволия и пренебрежения к интересам других людей.

**ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР****О. А. Рябов**

ШЕФ-РЕДАКТОР

Андрей Иудин

МАКЕТ

Арсения Костромина

ДИЗАЙНЕР ОБЛОЖКИ

Анатолий Гришин

КОРРЕКТОР

Лев Зелексон

**РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ**

Павел Басинский (Москва)

Владимир Безденежных

Валерия Белоногова

Николай Бенедиктов

Дмитрий Бирман

Диана Кан (Оренбург)

Елена Крюкова

Александр Орлов (Москва)

Захар Прилепин

Андрей Рудалёв (Северодвинск)

Роман Сенчин (Санкт-Петербург)

Евгений Эрастов

**ИЗДАТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ**

Олег Беркович

Сергей Горин

Олег Захаров

Людмила Калинина

Владимир Седов

Наталья Суханова

Надежда Шевелилова

Выпуск издания осуществлен  
по заказу  
правительства  
Нижегородской области

Свидетельство о регистрации  
средства массовой информации  
в Федеральной службе по надзору  
в сфере связи, информационных  
технологий  
и массовых коммуникаций  
ПИ № ФС77-60285  
от 19 декабря 2014 г.

**УЧРЕДИТЕЛЬ и ИЗДАТЕЛЬ  
ООО «КНИГИ»**

Адрес редакции и адрес издателя:  
603057, Нижний Новгород,  
ул. Бекетова, 24/2, ООО «Книги»  
Тел. (831) 412-16-04

Рукописи принимаются в редакции  
или по электронной почте:  
[jurnalnn@yandex.ru](mailto:jurnalnn@yandex.ru)

Сайт журнала: [www.jurnalnn.ru](http://www.jurnalnn.ru)

Тексты для публикации присылаются отдельным файлом Word с указанием авторства, наименования произведения и биографической справкой.

Неоткорректированные рукописи с большим количеством ошибок не рассматриваются. Редакция не вступает в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Ответственность за достоверность фактов несут авторы материалов. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.

При перепечатке материалов ссылка на журнал «Нижний Новгород» обязательна.

Подписано  
к распространению  
18.09.2024